

К СЕВЕРУ ОТ БУДУЩЕГО



Борис  
ХАЗАНОВ

Борис ХАЗАНОВ

К СЕВЕРУ  
ОТ БУДУЩЕГО\*

## **РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ**

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ  
КНИГА



Борис ХАЗАНОВ

# К СЕВЕРУ ОТ БУДУЩЕГО

Романы и повести

Санкт-Петербург  
АЛЕТЕЙЯ  
2010

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4  
Х73

**Хазанов Б.**

Х73 К северу от будущего / Борис Хазанов. — СПб. : Алетейя, 2010. — 446 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-359-8

В первом томе намеченного Собрания сочинений Бориса Хазанова представлены написанные в разные годы романы «Я Воскресение и Жизнь», «К северу от будущего» и «Антивремя», повести «День рождения инфанты» и «Соната опус 90». Общая тема, объединившая эти различные по времени и месту действия произведения, — память как залог бессмертия, как мост, соединивший историю и современность, как неиссякающий ресурс творчества. Книгу открывает эссе-предисловие Марка Харитонова.

**УДК 821.161.1**

**ББК 84(2Рос=Рус)6-4**

ISBN 978-5-91419-359-8



© Борис Хазанов, 2010  
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010  
© «Алетейя. Историческая книга», 2010

## «НАМ НУЖНО ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПАМЯТЬ»

### 1

В 1976 году в шестом номере эмигрантского журнала «Время и мы» появилась повесть никому до сих пор не известного писателя Бориса Хазанова «Час короля». Автор все еще жил в России, поэтому скрывался под псевдонимом. В редакционном предуведомлении говорилось: «Чудеса случаются редко, но все же случаются. Потом они входят во все хрестоматии... Появление прозы Бориса Хазанова кажется нам одним из таких чудес».

История разворачивается во время Второй мировой войны в маленькой европейской стране, оккупированной фашистами. Всем живущим здесь евреям приказано было нашить на свою одежду желтые звезды. И первым это сделал король неназванной страны Седрик Десятый, человек пожилой, пунктуальный, не привыкший отступать от заведенного распорядка — автор пишет о нем с восхищенным юмором. Вместе с королевой он, как всегда, без охраны, вышел на свою обычную прогулку, и жители столицы увидели на груди обоих звезды Давида. Прогулка еще не закончилась, когда едва ли не все население города высыпало на улицы с такими же звездами. «Какие-то люди выходили из подъездов с желтыми лоскутками, наспех приколотыми к пиджакам, дети выбегали из подворотен с уродливыми подобиями звезд, вырезанных из картона, некоторые нацепили раскрашенные куски газеты... Полисмен отдал честь королю, на его темно-синем мундире выделялась канареечная звезда».

Этой сценой роман заканчивается, что стало с королем, можно предположить. В написанном позже эссе «Идущий по воде» Борис Хазанов называет по видимости абсурдный поступок короля «Деянием с большой буквы», тем самым «мгновением истины», когда человек «раздвигает сетку узаконенных координат, словно прутья решетки», отстаивая ценность таких, казалось бы, растоптанных понятий, как честь, достоинство, человечность.

Вымышленная страна чем-то похожа на Данию — подобная легендарная история будто бы рассказывалась про ее короля и жителей Копенгагена. (Как выяснилось позднее, к реальности она имела, увы, мало отношения.) Достоверность, с какой описаны были улицы города, дворцовый быт, мельчайшие житейские подробности, позволяла читателю думать, что

рассказчик все это видел — между тем автор повести нигде в Европе тогда еще не побывал. Особенной же достоверностью отмечен эпизод, где король Седрик — кроме всего, еще и крупнейший в Европе уролог — осматривает фюрера оккупантов (по имени прямо не названного) и констатирует у него безнадёжную импотенцию.

Медицину автор знал не понаслышке — он сам по образованию был врач. Точней, по одной из специальностей. Родившийся в 1928 году Геннадий Моисеевич Файбусович (скрываться от компетентных органов под псевдонимом ему удалось недолго) изучал классическую филологию в Московском университете, когда его, студента последнего курса, в 1949 году арестовали и осудили на восемь лет лагерей строгого режима. Освободившись в 1955 году, он сумел поступить в Калинин (нынешней Твери) в медицинский институт и несколько лет работал врачом в сельских больницах, потом перебрался в Москву, защитил диссертацию, продолжал работать врачом.

Все это достаточно известная канва его биографии. По-настоящему кое-что начинаешь понимать, лишь внимательней вникнув в подробности. Помню, как удивлялся покойный ныне кёльнский славист профессор Вольфганг Казак, с которым Файбусович был дружен, человек, сам прошедший через советские лагеря для военнопленных: «Трудно себе даже представить, как после шести лет таких лагерей можно было сдать вступительные экзамены по биологии, химии. Ведь и в обычной жизни все школьные предметы успеваешь забыть». Я мог потом убедиться, что и классическую филологию Файбусович не забыл.

## 2

Мы познакомились в марте 1981 года у Григория Соломоновича Померанца, уже тогда широко известного философа, культуролога, публициста, зарабатывавшего себе, однако, на хлеб не более чем работой в библиотеке. Я незадолго перед тем закончил повесть «Два Ивана» — о временах Ивана Грозного, ее, как практически всё у меня в ту пору, не печатали, Померанц давал читать мою рукопись разным людям. Среди читателей оказался и Файбусович-Хазанов. Моя работа ему понравилась, в разговоре выяснилось, что наши взгляды, интересы во многом близки — было, на чем сойтись.

Мы стали перезваниваться, изредка встречались, иногда прогуливались по бульварам, подолгу беседовали о происходящем в стране и мире, о литературе, о политике, о русской истории. Хазанов продолжал публиковаться на Западе. В его книге «Запах звезд» на меня особенно сильное впечатление произвели рассказы о чудовищной лагерной повседневности — она здесь осмысливалась как-то по-новому, к этой жизни оказывались неприменимы обычные человеческие мерки и представления. Я спросил, собирается ли он продолжать эту тему.

— Нет, — сказал он. — О лагерях, если уж теперь писать, то по-другому, чем все делали до сих пор. Тут недостаточно обычного реализма, надо бы показать, до чего это особый мир. Думать, что существует общество угнетенных, которым противостоят палачи — наивная романтика. Среди угнетенных есть свои палачи, а среди начальства, особенно в низких звеньях, такие же подневольные, те же мари месят.

Я узнал, что сейчас он заканчивает роман о послевоенной студенческой молодости, где пытается еще раз осмыслить трагическую историю страны и свою собственную судьбу. Эти размышления во многом были связаны для него с еврейской темой.

«Я всегда ощущал себя евреем, — писал Борис Хазанов в эссе «Из «Писем без штемпеля»», — и хотел, чтобы и для других это не было тайной. И, значит, никогда не был «ассимилирован»... Для меня есть только один способ определить свое отношение к еврейству — это осознать свою личную судьбу как судьбу человека, принадлежащего к определенной общественной и национальной группе, той группе, которая укоренена в этой стране до степени самоотождествления с ней, но одновременно представляет в ней иное, древнейшее человечество».

Эта «укорененность до степени самоотождествления» позволяла ему с презрением отвергать упреки в «непатриотизме», все чаще исходившие уже тогда от людей известного толка. «Я жил в городе и деревне, — писал он в том же эссе, — в медвежьих углах и столицах. Мне глубоко безразлично, что скажут о людях, подобных мне, патриоты с бородами из пакли, в лаптях, украденных из этнографического музея. Я ходил в таких отрешках, которые им и не снились. И пусть черт унесет мою душу, если я не вправе повторить слова, сказанные другим человеком и на другой земле: где я — там русский язык, там русская культура...»

Активное участие Хазанова в выпуске самиздатского журнала «Евреи в СССР», получавшего все более громкую известность, его публикации в эмигрантских изданиях не могли не привлечь к себе внимания КГБ. Однажды я узнал, что у него провели обыск, изъяв рукопись только что законченного романа о послевоенных годах, о своей юности — безвозвратно утрачен оказался единственный экземпляр, другого у него не было.

— Перескажите своими словами, — пошутил я — не подозревая, как напряженно сам Хазанов уже осмысливал тогда эту поистине еврейскую, древнюю тему — тему памяти, запечатленной в письменных текстах, трагедию возможной утраты этих текстов, проблему их сохранения, восстановления.

В эссе «Буквы» он пересказывает хасидскую легенду о «господине благого имени», Баал Шем Тове, «который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Наверху, однако, сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий все еще не переполнилась. За свое нетерпение Баал Шем был наказан.

Он очутился на необитаемом острове, вдвоем с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражен амнезией: он забыл все формулы и слова. «Я тебя учил, — сказал он, — ты должен помнить». Но ученик тоже забыл всё, кроме одной-единственной буквы алфавита — алеф. «А я, — сказал учитель, — помню вторую: бет. Давай вспоминать дальше». И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась друг за друга, по тропе воспоминаний и припомнили одну за другой все двадцать две буквы. Сами собой из букв сложились слова, из слов сложилась волшебная фраза, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришел, но зато они могли мечтать и спорить о нем».

Эта легенда возникает еще раз в финале романа, который Хазанов закончил восстанавливать уже в эмиграции, дав ему название «Антивремя». Ее рассказывает герою, юному студенту, неожиданно разыскавший его человек — он оказывается неизвестным ему прежде родным отцом. Это уже пожилой еврей, бывший коммунист, активный участник революции и гражданской войны, прошедший через лагеря и давно уже в прежних идеях разочаровавшийся. Теперь он получил возможность — по тем временам едва ли не фантастическую — покинуть страну и переселиться в Палестину, где еще лишь предстоит создание еврейского государства. «Срок мандата истекает, Палестина получает самостоятельность». Чтобы окончательно убедить все еще отчужденного сына, он и рассказывает ему легенду о Баал Шеме.

«Эта притча о чудотворце, — объясняет он, — на самом деле притча о еврейском народе. Всякий раз, когда нам кажется, что мы уже у цели, что избавление вот-вот придет, всякий раз нас постигает жестокое разочарование. Всякий раз, когда мы пытаемся сбросить проклятье истории и выпрыгнуть из истории в рай, — нас ждет кара... Эта кара — забвение самих себя. Утрата памяти, единственного, что у нас есть, что сохранило нас как народ... И разве не то же произошло с нами сейчас? Бросившись в революцию..., мы упали на камни, мы очутились на бесплодном острове. Мы забыли, кто мы и откуда мы. Мессия не пришел и никогда не придет, а мы? Что нам делать? Нам нужно восстанавливать память. Нужно начинать с азав. Буква за буквой, слово за словом восстанавливать свою память, иначе говоря, восстанавливать самих себя... Лёня, — проговорил он, и в глазах его стояли слезы. — Лёня, мы должны с этого острова бежать... Для этого я тебя разыскал».

Юноша отвечает отказом. Он возвращается домой, где его уже поджидают, чтобы арестовать.

Когда эта сцена писалась заново уже в эмиграции, для самого автора она звучала, думается, по-другому, чем в Москве. Начиная свой роман, он тоже еще не хотел эмигрировать, долго сопротивлялся мысли об этом, как искушению. «Вот уже по крайней мере три года я вижу себя в невероятной ситуации. Становится осуществимой мечта, столько лет сосавшая меня:

уехать. Уехать вон, бежать, не оглядываясь... Когда-то, сидя в лагере, я представлял себе, что было бы, если бы на десять минут открыли ворота лагпункта и сказали бы: кому надоело — сматывайтесь». («Новая Россия») И объясняет — самому себе и другим — почему этого не делает, признается в своего рода «извращенной любви» к стране, которой «привык стыдиться», фантазирует об утопии какой-то «новой России», которую могли бы создать где угодно родственные по духу люди. «В море обломков единственное, за что я могу уцепиться, это русский язык».

В августе 1982 года решение стало вынужденным.

### 3

Известно, что уехать в то время можно было едва ли не единственным способом — по приглашению неких израильских родственников, нередко фиктивных. Но Хазанова в Израиле действительно ждали, предполагалось, что он продолжит там деятельность в еврейском журнале. Мне приходилось потом слышать, что некоторых друзей обидело его решение остаться в Германии. То, что для других называлось репатриацией, для него стало эмиграцией.

«Настал день, когда я вылез из самолета, увидел немецкие надписи над входом в аэровокзал — и это было все равно как если бы они были начертаны на древней умершей латыни», — написал он в очерке «Жабры и легкие языка». Изучавший в университете классическую филологию, с детства знавший и любивший немецкий язык, восхищавшийся Гете и Шопенгауэром, он ощущал себя все-таки человеком европейской культуры — это оказалось решающим.

В одном из позднейших писем Файбусович рассказывал мне, как с семьей приехал поездом из Вены в Зальцбург, там его встретили друзья, Владимир Войнович с женой, и довели в своей машине до баварской границы. «Подъехали, это было возле деревни Freilassing, я вылез из машины, подошёл к человеку в зелёной форме и, что называется, сдался пограничной полиции. Нас отвезли в ближайший полицейский участок, где я диктовал вахмистру, сидевшему за старой пишущей машинкой, кто я такой и откуда, и зачём припёрся с семейством. Единственный документ, который я имел при себе, был жалкий клочок бумаги, называемый выездной визой, — филькина грамота. Но то были другие времена — полиция вела себя, как филантропическое учреждение. Да ещё на моё счастье я говорил по-немецки».

Я уже однажды писал, что в ту пору отъезд человека в эмиграцию представлялся чем-то окончательным, непоправимым, слово Запад обрело тот же смысл, что для библейского Иосифа: это был Египет, то есть царство мертвых, куда уходили безвозвратно. Надежды увидеться снова почти не было. Даже писать за границу надо было с опаской — письма

просматривались, зачастую просто не доходили, тем более к человеку, отмеченному особым вниманием органов. Время спустя я все-таки стал отправлять Файбусовичу в Мюнхен письма на имя его жены, доходили и его письма. Все равно требовалось, конечно, умалчивать о многом, чего-то не называть своими словами, довольствоваться непрямыми намеками — это было тогда особое искусство.

Стало известно, что Борис Хазанов вскоре стал в Мюнхене одним из редакторов только что образованного журнала «Страна и мир». Номера доходили изредка через знакомых, я с радостью находил там блистательные эссе своего друга. А спустя несколько лет мне и самому довелось оказаться автором этого журнала, он все более становился не только эмигрантским. Времена понемногу менялись, возможность увидеться снова перестала казаться недостижимой.

В мае 1988 года я был впервые приглашен за границу, на литературную конференцию в небольшой западногерманский городок Бад-Мюнстерайфель. На второй день конференции, оглянувшись во время прений, я увидел входившего в зал Файбусовича. Он тоже увидел меня, помахал рукой и сел на заднюю скамейку. Уже совсем седой, волосы как-то смешно всклокочены. Мы обнялись, расцеловались, потом до полуночи просидели с ним за бутылкой вина — и бесконечными, как в Москве, разговорами обо всем на свете, главным образом о том, что происходило у нас в стране. Новостей накопилось много. А через несколько дней я смог приехать к нему в Мюнхен. Кроме меня, в гостях у Файбусовича оказался известный критик Бенедикт Сарнов, мы продолжили разговор уже втроем, прогуливаясь по мюнхенским улицам. На берегу реки Изар нас обогнала группа молодежи, и громкая немецкая речь, неожиданно вторгшись в наш разговор, показалась вдруг чужеродной. «Даже странно, — сказал Сарнов, — откуда здесь появились немцы».

На другой год Файбусович выхлопотал мне стипендию одного частного литературного фонда в городке Линдау на Боденском озере. Две недели мы провели вместе с ним и его женой Лорой, утром работали, после обеда гуляли по окрестностям. В разговорах Гена (так я к тому времени стал его звать) то и дело возвращался к теме эмиграции.

— У меня все время такое чувство, — сказал он однажды, — что я вырвался из отравленной страны. Я хожу по улице, вижу полицейского — и мне на него плевать. Я знаю, что ему до меня нет никакого дела. Тогда как в Москве я должен был бояться каждого.

«О чём я до сих пор жалею, — написал он поздней в письме, — так это о моих московских книгах. О пропавших книгах вспоминаешь, как об умерших друзьях. Почти всё осталось там, разошлось по рукам или попросту погибло. Считалось, что «старые книги» (изданные больше пяти лет назад) брать с собой не разрешается. Нельзя было иметь при себе какие бы то ни было документы, кроме выездной визы — клочка бумаги, имевшего вид филькиной грамоты. В аэропорту Шереметьево-2 раздевали догола. Мой

сын, ему не было восемнадцати лет, растерялся и поднял руки. Человек, производивший обыск, усмехнулся и сказал: ты что думаешь, здесь гестапо? Из чего, видимо, следует, что сам он именно так и думал. Женщин подвергали гинекологическому осмотру. Нравы и обычаи этой страны были неотличимы от преступлений. Закон представлял собой свод инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Права сведены к формуле: положено — не положено».

Я видел, как время от времени он поглядывал на меня с сомнением: что меня удерживает в стране, тогда еще СССР, над которой все явственней нависала угроза катастрофы — если я имею теперь возможность перебраться в другой, нормальный мир? Раз-другой действительно прорывался вопрос: «А ты не жалеешь, что не уехал?» Я отвечал, что разговоры в такой плоскости не для нас: прав ли он, что уехал, прав ли я, что остался. Все очень конкретно, очень индивидуально.

На одну из таких тем у нас возник неожиданно горячий спор, и Лора сказала мужу:

— Что ты хочешь, человек приехал из Союза, ему трудно отказаться от стула, на котором он сидит.

Меня это немного задело. На каком это стуле я сижу? Может, правильной говорить о топоре, который висит над головой; от него я очень даже готов отказаться. Лора стала в ответ рассказывать, как к ним пришли с обыском восемь человек вместо обычных шести, в дом, где никакой политики не могло быть.

— Я все последние годы работала на полторы ставки, приходила из больницы и думала только о том, чтобы пожрать и заснуть. Я им сказала: вы что, работу себе ищете? Если там столько народа, они должны иметь какую-то работу, оправдывать свое существование.

— Если бы я не уехал, я бы погиб, — сказал Гена. — Я видел документы, в которых значился вторым номером на арест. Второго лагеря я бы не выдержал... И даже если допустить, что я вернулся, что смог бы получить здесь квартиру, средства к существованию — я бы не смог здесь писать. Мне нужна дистанция. Как Гоголю нужно было жить в Италии, чтобы написать «Мертвые души». Как Тургеневу надо было уехать из России, а Джойсу из Ирландии.

«Литература питается не настоящим, а пережитым», — утверждал он в эссе «Ветер изгнания». Раз-другой мы с ним вели на эту тему дискуссии на радио «Свобода» и на «Немецкой волне». Я был против таких обобщений. Пушкин никуда не уезжал, Гоголь написал «Ревизора» в России. Возможно, и я при нужде смог бы в Германии работать. Не так просто было сформулировать чувство, чего мне там все же не хватает.

Странное сцепление мыслей вернуло меня к этим разговорам однажды в Москве, когда я увидел на улице испуганную сучку: прижав зад к земле, она отлаивалась от трех кобельков, которые подступали обнюхать ее с разных сторон. И вдруг понял, как надо уточнить эпизод рассказа, над которым

тогда работал. «Литература питается не настоящим», — вспомнилось мне. Для кого как. Для такого писателя, как я, важно ощущать некий трепет воздуха, шум повседневной жизни — это стимулирует мысль; возникают царапины, ниточки, на которых кристаллизуются внезапные идеи, образы.

Была еще другая сторона проблемы, которую Хазанов ощущал болезненней, чем я: основной читатель и у меня, и у него оставался в России. В своих письмах он не раз повторял, что не представляет себе, для кого пишет, не понимает, в чем внешний смысл его работы — просто не может не писать.

#### 4

Тема вынужденной эмиграции, тема исторической травмы, по-разному пережитой всеми, не оставляла Хазанова все эти годы. Мы продолжали ее обсуждать среди многих других в переписке, которая стала особенно интенсивной с появлением электронной почты. Как-то Файбусович прислал мне номера только что начавшего выходить в Германии журнала «Зарубежные записки». Публиковавшиеся здесь авторы жили в разных странах, в том числе и в России. Читая их, я чувствовал, как изменилась ситуация со времени наших дискуссий с Хазановым на «Немецкой волне» и «Свободе». Эмигранты уже не были политическими беженцами, они могли свободно приезжать в Россию, как приезжал теперь сам Файбусович, и при желании уезжать — или оставаться, как делали некоторые. «Я бы не стал говорить, как ты, что продолжают все-таки существовать две русских литературы, в метрополии и за рубежом, не вижу между текстами существенной разницы», — написал я ему.

Файбусович ответил мне в тот же день. «Вопрос (если он вообще существует) о двух потоках русской литературы или даже двух литературах всё же заслуживает обсуждения; мне кажется, в этом тезисе что-то есть. И связано это, в частности, с неоднородным жизненным опытом пишущих. Общее российское прошлое разошлось по двум руслам. Качество и букет вина зависит от сорта лозы, но в ещё большей степени от местного климата, солнечного режима и почвы. В литературе «почва» — это жизненный и культурный опыт писателя. На русское детство и юность накладывается — как бы ни сопротивлялись ему — совершенно новый и неслыханный опыт. Это опыт эмиграции. Я говорю именно об эмиграции, которая и сейчас представляет собой нечто отличное от поездок, от пребывания за границей в качестве участника фестивалей и симпозиумов, лектора в зарубежных университетах, от туризма и гостения у живущих на Западе родственников и т.п. Психология экспатрианта — дело совершенно особое и даст себя знать у одних раньше, у других позже. Разница между реальной жизнью в Западной Европе и в России — когда оказываешься «в чреве китовом», внутри этой жизни, — всё ж таки достаточно велика, и это, конечно, отдалённость взаимная.

Само собой, в таких рассуждениях невозможно не оглядываться на самого себя, даже принимать себя — невольно — за правило, и всё же мне кажется, что тут есть и что-то общее, присущее многим. Мы с тобой слишком хорошо знаем, что главный поставщик сырья для литературного творчества — память. Всё остальное — фантазии, книги, свежие впечатления, актуальные события — лишь вспомогательный материал, не так ли? Но (как сказано в Талмуде), быть может, справедливо и обратное: писатель впитывает и перерабатывает впечатления несущейся жизни, память о прошлом играет подсобную роль.

Можно сказать иначе, разделив роли. Автор, живущий в своём отечестве, — по крайней мере, русский автор, традиционно не затворяющийся в своём кабинете, — питается реальной действительностью. Эмигрант черпает материал из закров памяти. Оба утверждения (вполне тривиальных) не так уж противоречат друг другу, у них есть общий знаменатель — жизненный опыт писателя, опыт, в котором все времена сплавлены.

Можно прожить за границей пять, десять или двадцать лет, приехать погостить на родину и убедиться, что при всех огромных переменах мало что по существу изменилось: старые друзья остались друзьями, переулки детства всё те же, хоть и с другими вывесками; те же липы, те же дворы, те же лица, и все кругом говорят по-русски, смеются по-русски, толкаются по-русски. Тот же мат, древний, как сама Россия. Всё твердит о прошлом, воскрешает детство, юность; выхватываешь из увиденного то, что носишь в себе; и кажется, что бродишь среди видений прошлого.

Но, как ландшафт меняется, стоит только солнцу скрыться за тучей, отечество меняет свой облик, как только гость погружается в эту жизнь, ходит и ездит, и встречается с разными людьми. Он начинает понимать, что он не свой, но именно гость, и относятся к нему как к гостю; произошла смена местоимений; когда ему говорят: мы, у нас, то все понимают, что он исключён из этого «мы», он принадлежит «им», а не «нам». Оказалось, что за эти годы, сам того не сознавая, он превратился из иностранного русского в русского иностранца. Как у Ахматовой:

...Бежим туда, но (как во сне бывает)  
Там всё другое: люди, вещи, стены,  
И нас никто не знает — мы чужие.  
Мы не туда попали...

В чём дело? А дело в том, что его житейский и жизненный опыт более не совпадает с жизненным опытом соотечественников. Хуже того: он противоречит их опыту. Ты сбежал, тебя не было с нами, когда у нас происходило то-то, совершались великие события, — вот что хотят ему сказать. Вас не было там, где я был, вы понятия не имеете о мире, где я живу, даже если вы и катались туристами по европам, — думает он. Мы умчались вперёд, а ты опоздал на поезд и остался стоять на платформе. Твои часы показывают прошлый век. Нет, — хочет он возразить, — это мой экспресс уже давно в пути, это вы топчетесь на платформе. Обе стороны правы».

«Мое суждение о количестве русских литератур, — отвечал я ему на другой день, — основывалось на текстах из присланных тобой журналов. Можешь ты по ним различить, где какая? Другим может быть материал, тема, и то не всегда, да и что это значит? Хемингуэй только начинал в Америке, потом всю жизнь писал об Италии, Франции, Испании, Кубе, Африке, становился все больше европейцем, оставаясь американским писателем. Как-то в Дюссельдорфе я беседовал с немецким писателем (забыл имя, ты тоже был на этой конференции), который живет во Франции, немецких газет даже не читает, его от них тошнит, как от всего немецкого, — но пишет по-немецки и издается в Германии. То, о чем ты пишешь, имеет отношение к тебе (и не только к тебе), к стране, но не к литературе. Внутри самой страны можно подразделить литературу по идеологическому (как любили говорить раньше, партийному, классовому), эстетическому принципу — от иных моих компатриотов я отличаюсь не меньше, чем ты. Принадлежим ли мы к разным литературам? Некоторые, может, вообще ни к какой».

## 5

«Литература питается не настоящим, а пережитым». Написанное Хазановым в эмиграции действительно по большей части связано, как и прежде, с его жизнью в стране, которая называлась когда-то Советским Союзом. Немецкие персонажи, история, быт, проблемы Германии, в которой писатель, казалось, вполне прижился, культура которой ему близка, языком которой он прекрасно владеет, возникают на страницах его прозы лишь изредка, скорей попутно, в связи, например, с темой войны. Писатель был знаком с немецкими участниками этой войны, он заинтересованно следил за дискуссиями об исторической вине Германии, о феномене чудовищных тоталитарных режимов, не раз возвращался к этой непростой теме, которая в России так всерьез, так широко до сих пор не обсуждалась. И все-таки это для него другая, не совсем своя страна. Как, пожалуй, и нынешняя, постсоветская Россия, писатель это чувствует сам, как видно из только что цитированных писем. Персонажи Хазанова чаще всего ее лишь навещают, давая автору возможность отчасти рассказать о собственных впечатлениях, но больше домысливая воображаемые встречи, возможные судьбы персонажей, с которыми его сталкивала прежняя жизнь.

Да, основным поставщиком «литературного материала» для такого писателя, как он, остается все-таки память. Из книги в книгу, повторяясь иной раз почти дословно, переходят картины детских, школьных, студенческих лет, описания университетских аудиторий и залов, возникают образы преподавателей, читавших лекции по классической филологии, повествования о любовных томлениях, подростковых и юношеских, сменяются воспоминаниями о войне, эвакуации, а потом и о лагере, о доносчиках, надсмотрщиках, следователях, о людях, которые, вернувшись из за-

ключения, так никогда и не смогли по-настоящему оправиться от пережитого, о жизни провинциальных самоотверженных врачей, о нищенском быте русской провинции, как будто задержавшейся в давних веках, о странных, затаенных общинах — и о желании героев укрыться в какой-нибудь глуши, спрятаться от истории, которую Хазанов не раз называет кошмаром.

«Бежать, скрыться, вырваться из тусклой обрыдлой жизни, бежать из страны вглубь страны, туда, где тебя никто не узнает, — написал мне однажды Хазанов, — вековая мечта, которая возрождается в каждом столетии, при любом режиме... Это русская тема («мечта о прекращении истории», как говорит Манделъштам), — мотив, который подспудно звучит рядом с историческим процессом, всё больше принимающим облик абсурда, и поддержанный российской воронкообразной географией... Я и сам когда-то (если спуститься с историософских высот в реальный быт, в обыденную судьбу) мечтал поселиться с какой-нибудь бабой в тёплой избе и забыть обо всём».

Жизнь в его книгах беспощадна к утопиям, она не просто разрушает их, но словно смеется над ними. Роман Хазанова «После нас потоп» начинается фантазмагорическим прологом: стаи неведомых птиц обрушивают на Москву потоки помета, грозящие погresti под собой российскую столицу. «Птицы, или Предупреждение», называется эта впечатляющая глава, передающая тревогу и горечь автора, не перестававшего и в эмиграции размышлять о судьбах страны, которую не может не считать своей, страны, которая после пережитых ею катаклизмов словно все еще никак не извлекает уроков из этой по-настоящему неизжитой, а потому фатально повторяющейся истории.

## 6

В прозе Хазанова бывают важны не только сюжет, характеры, описания — он принадлежит к числу писателей, которые создают картины, образы и при этом сами высказываются о написанном. Ему близок тип сочинений, «в которых закулисная работа писателя вынесена на сцену: мы повествуем о чём-то, но одновременно и размышляем, как бы нам это сделать», пишет он. И в другом месте: «Когда роман (или рассказ) обретает внутреннюю необходимость, начинает жить по собственным законам, рефлексия о нём, о прозе вообще перестаёт быть инородным белком, но усваивается организмом, другими словами, подчиняется художественным задачам и становится частью целого, того, что ты называешь собственным миром... Роман насмехается над литературным критиком, которому рефлектирующая словесность чужда и непонятна. По крайней мере, я надеюсь на то, что философствование может стать компонентом художественности».

Читатель Хазанова не раз получит возможность убедиться, сколь важна в его книгах эссеистическая составляющая. Я же здесь который раз позволю себе продемонстрировать уровень этой эссеистики на примере его писем ко мне. Некоторые из них уже публиковались — право, они того заслуживают. Свои электронные послания ко мне он с некоторых пор стал нумеровать, их количество уже исчисляется сотнями. «Я не вёл дневников, мои письма — аналог дневника», — написал он в присланном мне эссе «Родники одиночества».

Для меня же продолжающийся разговор с ним — существенная часть моей жизни.

Особенно драгоценными в этих письмах бывали для меня фрагменты реальных воспоминаний, эпизоды лагерной, больничной, эмигрантской повседневности, рассказы о подлинных человеческих драмах. Откликаясь на какие-то мои слова о железнодорожных впечатлениях, Файбусович попутно рассказывал: «В последние месяцы моего потустороннего существования я был “комендантом станции”, последней остановки лагерной железнодорожной ветки, в нескольких километрах от нашего, самого северного лагпункта. Станция называлась Поеж, с ударением на первом слоге. Титул коменданта носил бесконвойный рабочий, в чьи обязанности входило заготавливать дрова и топить печи в помещениях станции, чистить крыльцо, выдавать машинистам керосин, добывая его из железной бочки известным способом — с помощью шланга, один конец которого погружается в бочку, а другой берут в рот, насысывают керосин, сплевывают (Мандельштам прав — керосин имеет сладковатый вкус) и опускали шланг в канистру; наконец, нужно было расчищать пути от снега и заправлять керосином, чистить и переводить стрелки. Собственно, там я и узнал, как функционирует железнодорожная стрелка».

В одном рассказе мне надо было написать о человеке, которому поставили ошибочный диагноз, потребовалась медицинская консультация. «Судя по тому, что ты пишешь, — отвечал Файбусович, — больной был доставлен с диабетической (кетоацидозной) комой. Кома — это состояние глубокого угнетения рефлексов, за исключением «первичных»: например, зрачки реагируют на свет. Но больной без сознания, без чувств, его можно колоть, тормозить — он ничего не чувствует, ни на что не отзывается. При сахарном диабете кома может быть инсулиновой (резкая передозировка инсулина) либо кетоацидозной (резкий дефицит инсулина), о последней в данном случае идёт речь».

И дальше еще два абзаца об экстренной помощи, о необходимых препаратах. Особое впечатление производили его рассказы о бывших пациентах.

«У меня была одна больная, пожилая одинокая женщина, уже не встававшая с постели, с безнадежным диагнозом; дело было в 24-й больнице, лет сорок тому назад. Когда я подходил к ней, она вынимала из ко-

робки на тумбочке диапозитивы: это была коллекция цветов. У неё уже не было ни цветов, ни квартиры. Она лежала и время от времени разглядывала эти стёклышки»...

Великое, несравненное знание! Мне бывало жаль, что в прозе этот бесценный жизненный опыт как бы видоизменялся, растворялся в вымышленном повествовании. Когда время от времени Файбусович сетовал, что зашла в очередной тупик его работа над прозой (обычное для пишущих людей ощущение), я не удерживался от желания напомнить ему, какой богатейший материал еще оставался им не использован.

«Знаешь, — писал я, — мне иногда вспоминаются эпизоды, разбросанные по твоим письмам. Петух с отможенным гребнем, оркестр заключенных на лесоповале... Драгоценнейшая мозаика. Я, помнится, уже тебя убеждал по другому поводу: если бы ты написал об этом! Фрагментарно, без сюжетной связи, перемежая попутными размышлениями, литературными, историческими, а может, набросками, эпизодами из незавершенных замыслов. Я понимаю, как сомнительны и даже нелепы любые советы со стороны, ты однажды уже с усмешкой отмахивался от назойливого моего жужжания. Но, право, грешно оставлять не записанным такой несравненный опыт, жизненный, интеллектуальный. У меня все же чувство, что такая книга могла бы стать для тебя главной»

«Жанр, о котором ты пишешь, конечно, очень соблазнителен, — отвечал он. — *В его вместительную раму ты вставишь ряд картин, откроешь диораму.* Хотя возникает подозрение, что такая мозаика — в некотором роде симптом инвалидности. И, самое печальное, это относится ко мне. Я даже стал писать, дней десять тому назад, что-то подобное, что-то на эту тему, отчасти под влиянием последнего тома дневников Т.Манна (1953–1955). И бросил. Начало было такое:

“Вот я сижу и думаю... Рука, столько десятилетий сжимавшая перо, исписавшая пуды бумаги, вот эта самая рука с лиловыми венами, измятой кожей, трудно поверить, вновь, когда уже всё сказано, всё изжито, колотит по клавишам, глаза вперяются в экран, — неужели я ещё жив, ещё в состоянии выдавливать драгоценные, густые капли воображения? всю жизнь я старался писать не о себе, всю жизнь писал о себе; но лишь при условии, что моё ‘я’ отторгалось от меня; ибо я рассматривал свою жизнь как сырьё, как нечто достойное внимания лишь в той мере, в какой оно может служить материалом для литературы. Тот, кто не может раздвоиться и пересоздать своего двойника в новое и независимое существо, тот не писатель. Затевая новую книгу, словно отправляясь в новое путешествие, я ехал инкогнито; теперь я могу откинуть капюшон, снять чёрные стёкла и отклеить искусственную бороду. Я больше не ‘художник’. Я — это просто я и больше никто. Поразительное чувство раскрепощения на пороге смерти”».

Год за годом Борис Хазанов продолжает неумоимо искать свой особый путь в литературе. В российских и зарубежных изданиях то и дело появляются его новые повести, рассказы, романы. Он стал лауреатом премии «Литература в изгнании» (Гейдельберг), нескольких премий Международного ПЕН-клуба. Его 80-летнему юбилею был посвящен особый раздел журнала «Зарубежные записки». Немногие в таком возрасте продолжают работ так столь напряженно и плодотворно.

Последний роман Бориса Хазанова «Вчерашняя вечность» принес писателю давно заслуженный успех не только за рубежом, но и в России — престижную «Русскую премию», учрежденную не так давно, как заявили ее учредители, для поощрения русскоязычных писателей, живущих за рубежом и чтобы служить, «сохранению и развитию русского языка как уникального явления мировой культуры».

Писатель и здесь остается верен своему способу повествования. «Вчерашняя вечность» — это «одновременно и рассказ о жизни, и рассказ о том, как сочиняется роман о жизни», пишет сам автор в «постскриптуме» к книге. Главный ее герой появляется на первых же страницах, это мальчик, живший, как сам Хазанов, до войны в одном из московских переулков, но автор то и дело, словно оговариваясь, заранее именуется писателем. Книга, которую раскрывает читатель — это и есть текст того самого романа, который герой, как станет ясно дальше, писал всю жизнь. В другом месте автор пишет, что «сам переселился в собственный роман». Отождествлять его с персонажем было бы, конечно, так же легкомысленно, как и отрицать в персонаже несомненные автобиографические элементы.

Жизнь всех героев «Вчерашней вечности», как и жизнь подразумеваемого повествователя, не просто разворачивается в течение многих лет на фоне исторических событий — она с ними переплетена, вписана в них. Вместе с мальчиком-автором в коммунальной квартире доживает свой век баронесса Анна Яковлевна Тарнкаппе, которой когда-то принадлежал весь дом, ее речи герою порой непонятны, он, бездумно повторяющий словечки советской пропаганды, другой жизни не знает. Но вот в этот быт вторгаются события начавшейся войны, реальность то и дело становится полужантасличной. Нацистский офицер появляется в московской квартире баронессы-немки с известием о победе Гитлера — а несколько глав спустя вполне достоверно описывается его гибель в Берлине, среди развалин Третьего рейха. Бывший однокашник героя, когда-то упрятавший его в лагерь, годы спустя, став генералом госбезопасности и ни в чем не раскаявшись, приезжает к нему с бутылкой коньяка для задушевной беседы — можно считать этот эпизод вымышленным, но фантастична ли сама ситуация? Возникают на тех же страницах и подлинные, самые зловещие исторические персонажи минувшего века, Гитлер и Сталин.

В романе вновь и вновь воспроизводятся многие, уже знакомые мотивы, сюжеты, образы произведений Хазанова: быт столичный и лагерный, произвол властей, незащитность людей перед тоталитарным ужасом — и вопреки всему любовь, желание выстроить семейные отношения, жить нормальной человеческой жизнью, все та отчаянная же попытка укрыться в какой-то отшельнической избе или сторожке, с печью, самогонкой, непонятно как добываемым пропитанием — и безнадежность этой полуфантастической попытки. В каком-то смысле «Вчерашнюю вечность» можно назвать произведением итоговым.

Редкостный творческий взлет писателя, разменявшего не так давно девятый десяток, позволяет, однако, думать, что главная его книга все еще действительно впереди. Я могу лишь слегка перефразировать слова Гете, которые любил цитировать Томас Манн: нужно мужество, чтобы так долго продержаться. Особенно, добавлю, в наше время — и в такой прекрасной творческой форме.

*Марк Харитонов*

## ПОСВЯЩЕНИЕ

С грустью, мало подходящей для такого торжественного для автора события, как выход в свет Собрания сочинений, я беру в руки эти тома. С этих страниц на меня глядит двойное прошлое. Это — прошлое, о котором повествуют мои сочинения, и время, когда они были сочинены. Всю жизнь я старался писать не о себе. Всю жизнь писал о себе. Ведь литература — это саморазоблачение. И, однако, стоя перед зеркалом, писатель видит другого человека. Правильнее будет сказать, что он видит смутную массу — многих людей: он размножился и исчез в этой толпе. Не он первый, не он последний... Чему эти творения могу научить читателя? У меня нет уверенности, что они смогут вообще кого-либо чему-нибудь научить. Что же касается самого автора, то они учат разве только одному: не принимать себя слишком всерьёз.

Я посвящают это Собрание памяти моей жены Лоры Викторовны Лебедевой-Файбусович.

*Б.Х.*

*Март 2010*

# Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

*Повесть*

*...Ему пришла в голову одна из тех, казалось бы, отвлеченных и несурзных мыслей, которые часто вдруг становились для него жизненно важными: он подумал, что порядок, которого жаждет в этой жизни обремененный, тянущийся к ясности человек, — не что иное, как порядок повествовательного искусства!.. Счастлив тот, кто может сказать «когда», «прежде чем» и «после»! Пусть даже с ним случится недоброе, пусть даже довелось ему корчиться в муках, как только ему удалось воссоздать события в их временной последовательности, он начинает чувствовать себя вольготно, словно солнце согревает ему живот... Большинство людей — рассказчики по отношению к самим себе... они любят естественную последовательность событий, потому что она похожа на необходимость, и чувствуют себя защищенными от хаоса, если кажется, что их жизнь подчинена определенному течению.*

Р. Музиль. Человек без свойств

*Есть три эпохи у воспоминаний.  
И первая — как бы вчерашний день.*

А. Ахматова. Северные элегии

## 1. УРОК МУЗЫКИ

«А кто там лежит?»

«Тихо, говори шепотом».

«Я шепотом, кто это лежит?»

«Ученики».

«Такие старые?»

«Да».

«Они уже научились?»

«Да».

«Чему?»

«Помолчи минутку».

«Я спрашиваю: чему они научились?»

«Хорошо себя вести, вот чему».

«Ха! Я и так».

«Да тише ты!»

«Я говорю, я и так хорошо себя веду!»

«Ну ладно, только помолчи».

«...они спят?»

«Ты же видишь».

«А что там написано?»

«Не знаю, это по-славянски».

«А я знаю. Моление о чаше».

«Знаешь, так и нечего спрашивать».

«Бьюсь об заклад, — говорит мальчик. — Сильва, ты меня не любишь. Легавый буду, я тебя узнал».

«Да ты что? Да я тебя!» Они уходят, провожаемые шиканьем.

На цыпочках, громадными шагами, голосом театрального заговорщика:

«Это был...»

«Можешь говорить обыкновенно!»

«Это был лес?»

«Не лес, а сад».

«А почему звезды?»

«Я почем знаю».

«Нет, правда».

«Потому что ночь, — чего глупости задавать».

«И все спали?»

«Да. А он молился».

«О чем?»

«Молился, чтобы его миновала эта чаша. Ему было страшно».

«Боялся темноты?»

«Иди хорошо».

«Я и так иду хорошо. Я не намерен терпеть твои придирки, имей это в виду. — Ма, скоро церковь закроют, да?»

«Кто это тебе сказал?»

«Ведь это все обман».

«Коли обман, так и нечего спрашивать».

Ах ты, Хоссподи, твоя воля! Он ступил в лужу. Притягиваемый к вещам, как булавка к магниту, он зацепился карманом пальто, вечно оттопыренным, за ухват водосточной трубы. На глазах у ошеломленных прохожих он превратился в многолапое и многокрылое чудовище с тремя головами, из которых высовываются три языка. Батюшки, что творится.

«Все расскажу отцу».

«Ха. А я расскажу, где мы были, — что, съела?»

Пауза. Силы приблизительно равны. Мальчик то еле тянется, заглядываясь на каждую вывеску, то несется вскачь «африканским» шагом, и она едва за ним поспевает. Это — апрель или, может быть, ноябрь, стекла окон отсвечивают, словно слюда, мостовая серебрится от сырости, и конец дня как бы совместился с его началом.

Величие отца невозможно было выразить словами, но оно проявлялось во всем: во взгляде из-под широкой кепки, важно надвинутой на глаза, в привычке давать длинные медленные звонки. С какой радостью, о, с каким прыгающим сердцем мальчик мчался по коридору, когда раздавались эти три звонка — как голос с неба, как рог герольда у ворот, и он знал, что отец ждет его там, высокий, верный, могучий, и нарочно гремел ботинками на бегу. Отец входил, сгибаясь под тяжестью рук, уцепившихся за его шею, ноги мальчика и чулках с выглядывающими из-под штанишек резинками болтались в воздухе, потом он бежал приплясывающим африканским шагом возле ног своего бога.

В комнате зажигался яркий свет, отец приносил с собой особенный воздух, запах дождя, шаги, звуки голоса, зеленые глаза; движением плеч сбрасывал пиджак, царственным жестом оттягивал угол галстука, и мальчик ходил с ним, как поводырь, из большой комнаты в прихожую, где была раковина, и назад, к столу. Полина, тихая, как

монахиня, входила с тарелкой, голос чрево вещателя шелестел в картонном рупоре на шкафу, и отец с газетой, опертой о хлебницу, с ложкой в левой руке, все тем же высокомерно-ласковым жестом слепого царя ерошил волосы мальчика. Мальчик рос, а жест этот оставался тем же, память синтезировала его из бесчисленных ежедневных движений, наполнила тайным смыслом, щемящей сердце тоской. Этот жест вобрал в себя годы. И когда он сидел на его колене, вглядывался в черные буквы, стараясь угадать то место, куда смотрят глаза отца, и когда стоял рядом, — большая рука по-прежнему ворошила ему волосы: он рос, а отец равномерно зачерпывал суп. Полина входила и выходила, черный рупор вещал дождь, вещал войну в Испании, вещал куплеты тореадора, выходную арию Сильвы, вещал надоедливое, важное или неважное, и ко всему этому примешивалось и приросло на всю жизнь большое и мягкое прикосновение ладони. Все те же зеленые глаза минутами оставались на нем с какой-то ласковой дерзостью; с некоторых пор рука стала смущать его, и он уже стыдился брать куски с отцовской тарелки, а ведь прежде ему было нипочем выпросить котлету (в памяти тотчас возникли оскорбленные брови Полины: неужели ты голоден?!) или, вытянув шею, отхватить из его руки полпомидора.

Она была мягкой, но и тяжелой, эта рука, и ее сила загадочным образом проявлялась в том, что она никогда не показывала эту силу. Только раз он испытал ее: запомнился маслянисто-желтый, веселящий и раздражающий блеск стеклянных шаров; оба откуда-то возвращались, и в трансе воспоминаний, в этом самогипнозе мимолетный эпизод словно застыл навеки в прозрачном янтаре. Беззвучное эхо его пронеслось сквозь десятилетия. И, может быть, это было не событие, а необходимое сочленение памяти, которое сообщало жизни повествовательный порядок; может быть, он помнил уже не самое событие, а вспоминал воспоминания. Он сбежал вниз по эскалатору, а ступени несли его наверх, он сбегал, а они его возвращали. Нарушились все регуляции, он как будто не слышал отца, его крепнущий зов; восторг непослушания охватил его; отец ждал, лестница текла и текла к его ногам. Кажется, это был поздний вечер, и метро уже опустело. И то, что отец не спускался, не пытался его ловить, наконец отрезвило мальчика: он подъехал, растерянно хихикая, с блаженной улыбкой идиота, и отец схватил его за руку своей левой рукой, точно надел наручник, — тотчас дребезжащий смех смолк, и мальчик чуть не разрыдался. Они быстро шагали рядом, это был ужасный, навсегда испорченный вечер, но страдал он не от боли в руке, а от молчания.

Отец умел молчать и пользовался молчанием как страшным оружием. Ничто не могло быть тягостней этого молчания, как будто из комнаты выкачали воздух, все звуки становились беззвучными, вернее, оглушали; уж лучше бы его оскорбили ремнем. Но ремень не

употреблялся, это была легенда, услышанная от каких-то других народов; зато молчание! Не было кары страшней, когда оказывалось, что не выполнен долг, не отбита некая повинность, смысл которой — будем откровенны — заключался отнюдь не в ней самой. Потому что на скрипке играли только ради отца. Ради того, чтобы все было хорошо. Чтобы отец, спокойный и могучий, шагал по коридору, сидел за столом и взглядывал зелеными искрами глаз, не томимый никаким предчувствием. Сама игра не имела значения.

Да, никакого значения, вопреки вдохновенным тирадам отца, когда, бывало, в хорошем настроении, полулежа на диване, он рассуждал о великих виртуозах, упражнявшихся целыми днями с утра до вечера. Но она была заповедана богом, утешала и радовала его; невыполнение — мрачило и повергало в молчание! Было очевидно, что под ней что-то подразумевалось, не могло же это пиликанье нравиться ему само по себе. Воистину музыка была кумиром для этого человека. Все смолкало и трепетало, все должно было мысленно возносить молитвы, когда хрипучий репродуктор рыдал на шкафу: «О, если б навеки так было!..» Великий, уже умерший певец, в бессчетный раз и не боясь наскучить, исполнял «Персидскую песню» Рубинштейна. И мальчик в почтительном недоумении взирал на бога, застывшего с полузакрытыми глазами и как бы качаемого волнами.

Обед был окончен. Полина уносила тарелки. Вопрос — давно подразумеваемый, жданный радостно или с ужасом, — «занимался?» — повисал в воздухе, его наконец произносили губы отца.

О, напряжение и тревога всех этих минут, притворная безмятежность, подозрительная рассеянность под взглядом отца, небрежный шик реплик и попытки отвлечь его посторонними разговорами, — тщетная надежда, что отец *забудет*. Отец никогда не забывал. Даже чувствовал заранее, какой будет ответ. И вот оно опускалось, это беспроблемное молчание, в котором бог света и радости темнел, каменел и заволакивался лиловыми облаками. Неуклюжесть Полины: «Зато мы сегодня хорошо поели суп» — морковный суп, эту отраву, богатую витаминами. Отец не отвечал и с каменным лицом читал газету. Вечер был уничтожен. Два одиноких человека сидели друг против друга, отец над газетным листом и он, жалкий, согбенный, болтающий ногами в углу. О, эта тишина, хрип удавленника на шкафу, струящийся свет люстры!

Года полтора тому назад мальчик выдержал приемные испытания в музыкальной школе, он даже имел несчастье отличиться. Отец, не мысливший иного результата, принял это как должное, экзамен должен был лишь санкционировать то, что уже давно было решено, и вот музыка стала вечным крестом его жизни, его колодкой, его ка-

торжным клеймом! Вот там, на шкафу, рядом с перхающим репродуктором, поблескивает орудие пытки, кожаный саркофаг. Но он чувствовал, что в пустыне молчания бог, окутанный облаками, тяжело страдал — и если бы можно было в эту минуту подбежать к нему, объяснить! Вместо этого мальчик сам каменел в напускном равнодушии, в этом дурацком спектакле безответственности — а на самом деле в одиночестве и горе. Ой не сумел бы объяснить, почему его так сокрушало это молчание, ведь не от страха наказания. Никакого другого наказания, он знал, не последует. Отцу и в голову не пришло бы ущемить его вещественно, лишить сладостей (впрочем, сладкого он не любил), отказать в обещанном карманном фонарике; истинное наказание заключалось уже в том, что отец ничего не делал, ничего не говорил, никак не показывал своих чувств — и тем именно обнаруживал, что страдает. Ибо, как уже сказано, единственный смысл постылого пиликанья был тот, что оно восхищало отца. Причина этого восхищения оставалась неясной, но не считаться с ним было невозможно. Отца было жалко.

И даже не только тогда, когда отец бывал удручен, утомлен и, пахнущий дождем и каким-то беспричинным, но несомненным несчастьем, кружил по комнате, хватался за галстук, точно дергал петлю на шее, когда он согбенно сидел за столом, завесив тенью свои прекрасные темно-зеленые глаза: это был странный человек, ни с того ни с сего впадавший в плохое настроение! Так вот, не только тогда. Чувство жалости постоянно жило в мальчике, оно не исчезало и в дни радости, когда отец, молодой, веселый, в растегнутом летнем пальто входил и подбрасывал его к люстре; и в этом чувстве, невидимо пропитавшем всю их совместную жизнь, мальчик был почти равен женщине.

Но тут жалость мерялась с жалостью же. О, они отлично угадывали друг друга. Сейчас, болтая ногами в углу, он был и преступником, и жертвой, раскаивался и дулся одновременно, и знал, что величественный бог-отец терзается сомнениями там, за газетой: заставить лентяя взяться за дело сейчас? до утра не разговаривать с ним? уехать? Не знал, что делать, и мальчик: необъяснимая скованность, чары молчания не давали ему сдвинуться с места.

Он поднимался. Суровый, он тащил стул к шкафу под косвенным взглядом того, занавешенного газетой. Ни слова не было произнесено; упертый в пол взгляд сына демонстрировал его непреклонную волю выстоять до конца: то был мятеж, бунт под маской нарочитого послушания; но уже отщелкивались замки саркофага; мурлыкал рупор, и отец поднимался, чтобы вынуть вилку из розетки. Как-никак это был жест примирения. Но молчание по-прежнему разъединяло их, точно темная река. На том берегу отец все с тем же прилежным видом про-

бегал глазами газетные заголовки: стул, и футляр со скрипкой, и разворачиваемые ветхие ноты — были приняты к сведению, не более. Между тем позиции окончательно переменялись, сын наступал, отец оборонялся, сын был жертвой, отец — насильником и обречен был терзаться муками совести, и так ему и надо. Не без вызова был водружен на стол будильник, заниматься так заниматься: час и ни минутой меньше. В дверях укоризненной тенью встала Полина: время-то половина десятого! Мальчик извлек инструмент из кожаного футляра, в глубоком молчании умастил смычок канифолью, встал в позицию — расставив носки ступней под углом, с задраннным подбородком, со смычком, трагически занесенным над струнами. И-и-и... раз!

Точно флагеллянт ожарил себя плетью.

Ах ты, Господи. Старые, обклеенные по углам упражнения Шрадика, не утерпев, съехали с буфета, служившего пюпитром. Отец проворно нагнулся и водрузил ноты на место. Ему пришлось подержать их некоторое время. И унылый, тянущий за душу звук повис в воздухе, взвещаая о мире и радости, вновь сходящих на землю.

После этого никто уже не удивился, когда приоткрылась дверь и вошел шаркающими шагами призрак.

Раз в неделю, по понедельникам, отец приходил со службы на два часа раньше, сын ждал уже одетый, и они ехали на трамвае к Илье Моисеевичу, учителю музыки, держа под мышками саркофаг и папку с оттиснутой лирой. Ибо не могло быть и речи о том, чтобы заниматься в районной музыкальной школе, — только у частного знаменитого учителя, к которому устраивались по протекции. Учитель, старый, неряшливый человек, одинокий и бедный, несмотря на чудовищную плату, которую он брал за свои уроки, жил в каморке, увешанной портретами композиторов и фотографиями своей молодости. Месяц тому назад старый учитель умер, отец подыскивал нового. Разумеется, занятия не могли прерываться ни на один день. Исполнялись старые пьесы, руководством служила тетрадка учителя с расписанными позициями, с особыми, сочиненными им самим упражнениями, с восклицательными знаками. Итак, призрак учителя в старой вельветовой куртке вошел, зябко потирая руками, и стал напротив буфета. «Подбородок!» — командовал учитель. И мальчик покорно вытянул подбородок, положил голову, точно на плаху, на эбонитовый подбородник. «Локоть. Выше гриф!» Мальчик оторвал локоть руки, подпиравший скрипку, от живота, лишив себя последней опоры и чуть не падая на буфет; ноги дрожали, точно он съезжал под откос; все, все в этих занятиях было придумано для того, чтобы его мучить, насколько легче было бы держать гриф правой рукой; он смотрел на свои невыносимо растопыренные, распятые на струнах пальцы, плохо различая их

сквозь слезы, стараясь не мигать, чтобы не потекло по щекам. «И-и раз, и... первый палец, третий па-алец!» — громко пел Илья Моисеевич, дирижируя свободной рукой, а другой придерживая ненадежные ноты. Это был его прославленный метод — петь и дирижировать. Жалкие, тягучие звуки раздавались в комнате, их слышали соседи и возмущались бессердечием людей, заставляющих ребенка пиликать до поздней ночи. То была бессмертная мелодия, творение безымянного гения — гамма до мажор, отец внимал ей, сидя за столом вполоборота. Полосатый свет люстры струился на его лоб и скатерть. И так он и сидит до сих пор в дальней вечности воспоминаний, охваченный невыразимым чувством счастья, любви и покоя, со скомканной газетой на коленях, сидит и смотрит на затылок мальчика, на его руку, которая водит смычком.

## 2. ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Тремя звонками возвещала о себе и тетка, но что это были за звонки! — суетливые, дребезжащие, и пока Полина, вытирая мокрые руки о передник, бормоча: «Сейчас, сейчас», бежала из кухни, нетерпеливая триоль взрывалась с краткими промежутками, точно там, за дверью, тетку поджаривал адский огонь. Она вваливалась, потрясая монументальной сумочкой, чудовищным ридикулем во вкусе тех лет. Мальчик ждал ее в безопасном укрытии, под письменным столом.

Тотчас раздавался плеск в прихожей; едва успев сбросить шелковый плащ, тетя мыла руки под краном. Брезгливость была ее манией, мытье рук — всегдашней услугой, вкупе с морковным супом и чтением романов. Затем снова зацокали ее каблуки — и остановились. Мальчик ждал. Хотя вряд ли было для нее неожиданностью то, что она увидела.

Плакат, висевший налево от двери, между швейной машиной и шкафом, изображал тетку в облике фантастического чудовища, с клыками и рогами, загнутыми, как у тура; между рогами вздымались винтообразно закрученные волосы, отдаленно напоминавшие ее шестимесячную завивку, и в когтях у тетки, как два окровавленных меча, краснели две морковки. Было совершенно очевидно, что понадобилось влезть на машину, чтобы прилепить к стене это произведение графического искусства, следовательно, пострадали и обои; но наибольший урон был нанесен швейной машине, на ее столик должны были стать ногами. И, разумеется, не могли отказать себе в удовольствии посидеть верхом на ее лакированной крышке. Все эти мысли вихрем пронеслись в ее голове. Обилие преступлений наполнило душу тетки горьким удовлетворением, действительность подтвердила ее

правоту: ребенок был испорчен «до мозга костей», в чем она склонна была усматривать дурное влияние Полины как малообразованной женщины и к тому же русской. В броне величественного презрения она пересекла комнату, не обращая внимания на мальчика, а может быть, и в самом деле не заметив его под столом. Из всех углов смотрели на нее оскаленные чудища, негодьяй трудился над ними полдня; под самым потолком, откуда его не так просто было сорвать, плакат, склеенный из трех листов бумаги для рисования, зывал к революционному пролетариату: *Все на борьбу с теткой Фиркой!* Война была объявлена. Прежде чем удалиться (в большую комнату), тетя окинула взглядом обезображенные стены; стол посреди комнаты, как всегда, был покрыт плюшевой скатертью с полянами, выеденными молью, — приданым мамы или бабушки, которую он никогда не видел. С люстры свешивался боевой флаг. Она оглядела комнату и сардонически улыбнулась. Чем хуже, тем лучше! «Полина!» — позвала она великодушным, звучным и торжествующим голосом.

«Полина, — не смей ничего трогать. Пусть отец полюбуется». И она уплыла, качая бедрами. Опустим многосмысленный подтекст, отчетливо прозвучавший в этих словах и в гораздо большей степени адресованный «прислуге», чем самому преступнику. Она провела там десять минут, — в это время мальчик покинул свое убежище, влез на стул и пририсовал страшному чудищу черным карандашом усы. Теперь лицо тетки напоминало портрет товарища Сталина — разумеется, без всякого умысла со стороны художника. В молчании, сверкая шлемом и потрясая доспехами, он исполнил перед идолом пляску воинственных горных племен. Послышались шаги, — он упрыгал в свое укрытие. Изредка из-под стола мигал его карманный фонарик. Тетка прошествовала на кухню, откуда спустя немного времени явилась, неся на подносе дымящуюся еду. Существовал особый шик в том, чтобы нести тарелку на никелированном подносе; можно было бы сказать, что она двигалась как бы несомая в свою очередь на серебряном подносе, возносясь над пошлостью коммунальной квартиры. Снова с наслаждением она мылила под краном руки, из полутьмы прихожей сверкали ее глаза, оправдывавшие ее библейское имя. Черные глаза, похожие на маслины. Где они теперь?

Морковное пюре, как всегда, утвердило ее в высоком чувстве самоуважения. «Ах, какая прелесть, — говорила она как бы для себя самой, — как вкусно и как полезно!» Слова эти также не лишены были внутреннего значения, состоявшего в том, что научная оценка пищи доступна лишь избранным натурам. Она и в самом деле утопала в блаженстве. Покончив с едой, она имела обыкновение покоиться в кресле с книгой.

Звук военной трубы нарушил молчание! На ветру развернулся боевой штандарт красной гвардии. Блеснула медь доспехов. Из прихожей медленно двигалось грозное шествие. Мальчик держал наперевес старую трость с костяным набалдашником, в правой руке перед собой он нес крышку от бельевого бака. Щеки его раздувались, — он исполнял походный марш, — и глаза блестели от волнения. Сердце билось, как оно уже никогда в жизни потом не билось. Так, под дробь барабанов, печатая шаг и одновременно удерживая в шенкелях горячую лошадь, рыцарь и пехотинец, он пересек комнату и оказался перед креслом; за высокой спинкой видна была голова тетки, как бы погруженной в сон. Но в вырезе кресла внизу, заполняя его, выбухало телесной полнотой уязвимое место. С сердцем, грохочущим в груди, стучащим в висках, мальчик занес копые, — ! — удар был нанесен в выбухающую часть, он бросился бежать, гремя крышкой от бака, и вопль уязвленного неприятеля сладкой музыкой звучал в его ушах. Тетка вскочила, она была ранена, искалечена, ей нанесли увечье! Гневные слезы лились из ее глаз.

По-видимому, общество двух женщин, из которых одна была достаточно любвеобильна, а другая выгодно оттеняла ее, создавая противовес, устраивало мальчика; никто не осведомлялся, отчего он никогда не спросит о матери, никого это не удивляло, считалось, что он все забыл. И так оно, в сущности, и было, Он не мог бы сказать, какого она была роста, какого цвета были ее глаза и волосы, вообще не смог бы описать ее ни единым словом. Фотографий ее не осталось или они были упрятаны куда-то. Так что, если бы спросили, какая она была, он ответил бы: *хорошая* или какой-нибудь другой милой детской глупостью, подразумевая неизвестно кого. Она ушла, не оставив по себе ни скорби, ни сожаления, не возбуждая даже любопытства: облик женщины, державшей его на руках в бесконечно далекие для него времена, исчез навсегда, бесследно рассеялся в памяти, подобно тому, как в огне без остатка растопилось ее тело.

Облик? — да. Но не образ. Здесь скрывалось противоречие, о котором мальчик, само собой, не помышлял, которое не сумел бы объяснить даже отец, единственный, кто доподлинно знал, что на самом-то деле мальчик ничего не забыл.

Ибо память нельзя уподобить трехмерному пространству сцены, на которой двигаются, встречаясь и расходясь, персонажи минувшего; миры памяти можно сравнить с рядами зеркал, обращенных друг к другу: то, что присутствует в их клубящейся пустоте, лишено качества наглядности. Образ матери жил в одном из этих миров, его и не нужно было вызывать, не требовалось усилий, чтобы оживить его, не надо

было напоминать о нем: он жил — сам по себе. Зеркало отражало другое зеркало, — спустя много лет в памяти возникал образ памяти же; в детстве, как и через много лет, мальчик не помнил слов, но зато помнил голос; не помнил цвет глаз, но помнил их выражение, помнил звук шагов, шорох одежды. Непостижимым образом он даже помнил запах матери. Без сомнения, он забыл много важного: в сущности, забыл ее всю; все, что осталось, были обрывки, намеки; но это оставшееся образовало часть души и вплелось, так сказать, в субстанцию его жизни.

Впрочем, и обрывки хранили изумительную яркость — отчетливость обстановки, среди которой блестящим, но недоступным глазу пятном появлялась та, которая придавала таинственный смысл этим воспоминаниям. Не надо было только эксплуатировать без надобности эти картины — не надо было слишком часто вспоминать. Редко вспоминая, лучше помнят. — Он помнил высокий потолок и полумрак широкого коридора в их прежней квартире, звонок и себя на цыпочках, открывающего высокую парадную дверь. Тотчас в переднюю поворно вошла яркоглазая цыганка с узкими бронзовыми руками, вошла с очевидным намерением украсть его, по крайней мере, так о них говорили, — и та, что была его матерью, высокая или низкая, он не знал, но очень молодая, испуганная, в одной рубашке выбежала из комнаты — очевидно, она уже была больна в это время.

Другой эпизод был связан с мусульманским камнем Кааба, черным пианино, стоявшим у окна: мать, повернувшись к мальчику, покачивая головой и играя бровями, играла «Мой Лизочек» и «Похороны куклы». В памяти брезжил неуловимый блеск ее глаз, блеск гладких волос, но и тут внутреннее зрение было ослеплено, и в центре, где находилась она, стояло сияющее пятно, тогда как все окружающее виделось четко: и зимний день за окном, и блестящее пианино, и он сам на полу возле ее ног, и даже кончик узкой туфли, нажимающей на педаль.

Он помнил, как она лежала в постели, — оттуда, из простыней, журчал ее смех; мальчик расхаживал по комнате, увешанный оружием — какими-то палочками, карандашами; мать учила произносить букву «л»: он говорил уошадь, уожка; отец приходил с работы, она лежала; мальчик сидел на полу и строил водопровод — а она лежала, она всегда лежала. Теперь было ясно, что все происходившее перед этим было в ином времени, в совсем другой жизни: память воспроизводила ту, прежнюю память. Вернее, она полусидела, на одеяле были разложены ведомости, она переписывала бумаги для домоуправления, так как больше не могла играть на пианино. Но, как и прежде, он не различал ее лица. Он забыл его.

С некоторых пор он находился у родственницы, которую, как ни странно, помнил гораздо лучше, может быть, потому, что и это оказа-

лось на периферии зрения; то была полная приземистая старуха в очках с такими толстыми стеклами, что глаза за ними походили на выпуклые глаза рыбы. В белом зубоврачебном шкафу у тети были припаяны фисташки; она уверяла, что они растут там, и мальчик верил.

В это время мать лежала в больнице, и с ней там что-то делали. Что-то неинтересное. Веселые дни, без тени и облачка, счастье, струившееся из окон, ослепительный блеск стекол в доме напротив, хрустальный звон сосулук! Диван, на который он бросался с разбега! В один из этих дней, расплывшихся в голубизне, пришел отец, днем, когда его никто не ждал, в пыльном солнечном луче его лицо было залито дождем. Вот это он запомнил с пронзительной яркостью: дождь, струящийся по щекам, и сквозь эти потеки — голос отца, неправдоподобно тонкий и как будто хихикающий, голос, лепечущий смешные слова... Мальчик не может удержаться, он хохочет!

Но вдруг до него доходит их смысл, он валится на диван, кто-то сует ему подушку, пахнет зубным лекарством, голос тети: «Не трогайте, пусть выплачется», но как раз плакать он и не может, точно кляпом заткнули ему рот, глаза, грудь, ему кажется, он вот-вот разорвется. Наконец, слезы брызжут наружу, он плачет долго и безутешно, потом он засыпает, побежденный усталостью и небывалой, никогда не испытанной головной болью. Здесь наступает большой провал — точно он проспал несколько месяцев; сразу после того дня, безо всякого промежутка он видит себя стоящим в прихожей, в их теперешней квартире, с задранной головой, рядом с отцом. Тишина, горит свет. Свет, электрический или солнечный, всегда присутствовал в его воспоминаниях. Отец, вежливый и спокойный, договаривается об условиях с домработницей: это Полина, в платке, с темным лицом, незнакомая и враждебная, ничуть не похожая на ту, которая теперь.

Ни отец, ни мальчик никогда не говорили о матери. Не упоминали о ней. Портретов ее не сохранилось (хотя сын знал, что в большом ящике письменного стола, на дне под кучей бумаг, лежит фотография. Он видел ее однажды мельком: заметив ее, он испытал стыд и смущение, точно ненароком заглянул в книжку с неприличными картинками, — стыдно, потому что мучительно интересуется, — он, собственно, не знает, что они неприличны, но чувствует, что такими их считают взрослые. Но постыдное и священное — близнецы, и, может быть, это был трепет святотатца, приоткрывшего покрывало, чтобы взглянуть на то, чего никто не имел права видеть. Так и он не имел права смотреть на лицо матери, болезненно-доброе, в пенсне, с полукружиями разделенных пробором волос. Похожее или непохожее, он не знал. Но и отец, сколько помнилось, никогда не заглядывал в стол. Мальчик

понял: нельзя было дать малейшего повода, по условиям этой странной игры, заподозрить, что кто-нибудь из них знает о существовании портрета). Даже в день, когда они ездили *туда*, — первое воскресенье апреля, — закон молчания не нарушался; они завтракали, выходили на залитый солнцем тротуар, перебрасываясь фразами о постороннем; пустой трамвай долго вез их кривыми безлюдными переулками; во дворах, между деревянными домишками, чернели глыбы снега. Чем ближе к концу пути, тем меньше они говорили друг с другом; воцарялась глухая немота, сын смотрел в окно. Мальчик играл в игру, придуманную им самим: двигал вверх и вниз задвижку трамвайного окна, и от этого будто бы зависело движение трамвая.

Несомненно, вера, в которой мы себе не признаемся, вера в то, что умершие в каком-то смысле не умерли и наблюдают за нами, и боязнь огорчить умерших — толкают нас на подобные поступки, заставляют совершать бесцельные паломничества к местам, по существу, не имеющим к ним никакого отношения. Да еще тащить с собою детей. За купами деревьев возвышалось подобие прямоугольной трубы из камня или бетона, той трубы, которая совсем немного времени спустя стала эмблемой судьбы всего их народа. Отец нежился на солнышке где-нибудь на скамейке невдалеке, а сын брел вдоль стены, замороженный видом бесконечных мраморных и эмалированных табличек, белых и желтых, как старые зубы, и бесконечных, бесконечных лиц — стариков, взрослых, девушек, даже грудных младенцев. Невозможно было представить себе, куда они все подевались, где они уместились все. Среди них был и овальный медальон с лицом матери, — мальчик лишь делал вид, что не знает о нем, проходя мимо него, он притворялся перед самим собой, что не узнает, — и надпись, составленная от его имени и от имени отца.

Итак, твердо предполагалось, что все происшедшее полтора (или два, или три) года тому назад, им забыто, и доказательством служило уже то, что он не спрашивал о ней, не интересовался, кому принадлежали кипы нот, так и лежавшие до сих пор на шкафу, — клавиры опер в твердых переплетах, «Времена года», распавшиеся собрания сонат и какие-то совсем ветхие обрывки, — и почему не идут старинные часики в виде домика с дверцей, остановившиеся на другой день после того, как она в последний раз их завела: точно она одна знала секрет их завода. Впрочем, мальчик давно сломал пружину и потерял ключ. Ничего другого не осталось, никаких женских вещей: ни флаконов с духами, ни туфель, ни шпилек, как будто все шпильки до одной расплавились и сгорели вместе с ее чудесными блестящими волосами и черной струйкой вылетели из трубы крематория. И если даже что-то и брезжило в его памяти, предполагалось, что оно ничего для него не значит; что даже смысл поездок на кладбище ежегодно, в один и тот

же день, — до него не доходит: если бы вместо этого поехали в зоопарк, он бы не спохватился. Тетка склонна была винить в этой бесчувственности дурное воспитание. Полина, напротив (и даже несколько нарочито), умилялась невинной беспамятливостью детской души. Но в том, что он ничего или почти ничего не помнит, убеждены были обе.

Между тем еще одно, невероятное и необъяснимое воспоминание хранилось в душе мальчика: один день, даже не день, а вечер, и, должно быть, уже поздний вечер, но без границ во времени — вечный вечер, затопленный ослепительным электрическим светом. Рассказать его было бы невозможно; быть может, в нем соединились воспоминания многих вечеров; да он ничего толком и не помнил, одни голоса и улыбки, из бесконечной бездны времен до него доносился беззвучный, журчащий смех, и это был смех матери. Два лица, черты которых он не мог различить, два светлых овала склонялись над ним, и еще он запомнил край стола, крахмальную скатерть и круглый предмет. Много лет спустя, когда он осознал это воспоминание и охотился за ним в зыбком хаосе памяти, — так пытаются ухватить скользкую блестящую рыбу, — он догадался, что это был за предмет, лежавший на тарелке или на круглом картонном дне: торт или ромовая баба; но он никогда не любил сладостей, и в этом аквариуме света и счастья торт был только условным аксессуаром. Одинокая свеча, символизирующая жизнь ребенка, высокая и тонкая, возвышалась над столом, и тайна соединяла эти два смеющихся овала. И смех, и разговоры, от которых остался в памяти слитный звук голосов, блестящая, журчащая речь, и то, что было его матерью, блеск глаз, запах волос, и высокая, розовая, еще не зажженная свеча — все это виделось точно в глубине водоема, и чем старше он становился, тем уверенней знал, что это — было, а не приснилось ему. Каждая эпоха его жизни передавала это воспоминание следующей, и, повторяясь в зеркалах, оно мелькало и исчезало, как только он пытался всмотреться в него, неуловимое, но такое же реальное, хотя и недоступное словам, как какое-нибудь ощущение, исходящее из внутренних органов.

Как мог он сохранить память о временах, которые ни один человек не может помнить? И все-таки это было оно, начало его жизни, мелькнувшее и исчезнувшее, как тело змеи в траве, чтобы потом мелькнуть в другом месте, далеко впереди. Возможно ли помнить себя годовалым? Конечно, нет, и в конце концов он не мог бы ручаться ни за одну подробность; тем очевидней, однако, было ощущение несомненной реальности целого. Но тут было еще одно, о чем мы не сказали: навязчиво-абсурдное чувство, в котором прозревалась важная для него истина, подобная истинам вещего сна или истинам тела, — а именно, чувство, будто мать и отец были некогда одним существом,

так сказать, отцематерью. То есть, собственно, была одна мать, в которую, словно в чашу, был каким-то образом погружен отец, и лишь потом они отделились, и обнаружилось, что между ними — возникший из небытия он, мальчик. Тут было сходство с рождением планет, и однажды, много позже, ему пришло в голову это сравнение, но то были уже времена, когда чувство начало выцветать под мертвящим светом разума. Ум относится к ключьям воспоминаний, как он относится к ключьям сна, не находя в них логической связи, а главное, не понимая, что в них, в этих клочках, почему именно им отдано предпочтение. Почему запомнился этот вечер, а не другой, почему нам снится случайное, ради какой надобности ожило во сне давно истлевшее воспоминание о человеке, по-видимому, не сыгравшем в нашей жизни сколько-нибудь значительной роли. И, однако, в этих клочьях брезжит некий смысл. Отец и мать были единым телом, они возникли из одного светящегося существа и должны были разъединиться, чтобы возник он; они разошлись, как половинки шара, и между ними лежал мальчик. Тогда, глядя на свечку и ромовую бабу, он еще помнил, что был частью их. Такова была эта странная космогония, таким мог быть необъяснимый ход мыслей мальчика, если бы смутное ощущение превратилось в мысль.

### 3. ВЕЩИ. ЕЕ ВЫСОКОРОДИЕ

«Ма. Расскажи о море».

«Да уж я рассказывала».

«Еще!»

«Чего ж тебе рассказывать, если ты все считаешь обманом».

«Видишь ли, — мальчик говорит голосом, похожим на голос отца, — видишь ли. Сказки тоже обман. Но мы их слушаем с удовольствием. И... на минуточку верим».

«Если веришь, — сказала Полина, — значит, было на самом деле. Не веришь, то и не было».

«Может быть, — перебивает мальчик, хмурясь, как всегда, когда ему надо подыскать объяснение необъяснимым фактам, — может быть, он стоял на доске?»

«Ну, чего болтаешь. Какая доска?»

«Или на плоту. Как Том Сойер».

«Я не могу с тобой спорить. Я не учена».

Вздых.

«Вот пристал. Пристал, как банный лист». Это тоже выражение отца, которого они оба копируют.

И все же ей приятен этот разговор, ведь мальчик — единственный собеседник, который способен отнестись к ее рассказу с абсолютной и непритворной серьезностью. Это не значит, что он воздержится от критики, цель которой — сделать более правдоподобными некоторые детали. Она знает почти наверняка, что повествование будет прервано неподобающими вопросами. Возникнет теологический диспут, в котором она не сумеет удержаться на должной высоте. Но другого такого случая у нее не будет.

При этом, как всегда, она испытывает внутреннюю борьбу. Не в том дело, что Бог и Евангелие — обман, а по ее мнению — правда. У нее достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что большинству людей и властям до Бога не было бы никакого дела, если бы самому Богу не было никакого дела до людей. То есть если бы он оставался у себя на небесах. Его соглашаются терпеть лишь при условии, что он никуда оттуда не двинется. Тогда про него забудут. Бог, он вроде раскулаченного, все добро отняли, лишен всех прав; пусть еще спасибо скажет, что жив остался. И пусть бы себе сидел где-нибудь там, высоко. Но ведь на то он и Бог, чтобы жить среди людей, без людей он не может. Его, как бы сказать, сослали, а он самовольно вернулся. В этом и заключается его преступление перед советской властью. И во все это она впутывает мальчика. Что сказал бы отец? Все равно, что совать ребенку папиросы.

В глубине души она знала, что то, что записано в Евангелии, и то, что говорится по радио и о чем пишут в газетах, — вещи несовместимые. С одной стороны Спаситель, грех и искупление, а с другой — Ленин и Сталин, склеенные щеками; как это согласовать? Да никак, И она понимала, зачем понадобилось разрушать церкви и арестовывать попов. Затем что нельзя служить Богу и черту в одно и то же время. Но она не могла это выразить в четких определениях — да и не решилась бы, — и это служило ей оправданием перед самой собой. Сама того не подозревая, она осознала великую истину: нельзя формулировать идею до конца, иначе жить будет невозможно. В ее душе, жаждающей гармонии, произошло великое примирение Христа и советской власти. И ведь вот, например, Елоховская церковь все еще работает. Значит, можно...

Здесь уместно будет сказать несколько слов о политических воззрениях Полины. Разумеется, она никогда их не выражала, — сделаем это за нее. В памяти Полины запечатлелись две эпохи, одна из которых — нэп — представлялась ей золотым веком, другая же, последовавшая за ней, казалась необъяснимым провалом истории, в сущности, ее следовало просто забыть. И она испытывала искреннее сочувствие к власти, взвалившей на себя бремя забот о благосостоянии

народа. Вместо того чтобы строить счастливую жизнь, она, эта власть, вынуждена все время отвлекаться. Мешают разные шпионы, диверсанты — остатки помещиков и капиталистов. А главное, приходится отвлекаться, чтобы кормить ленивый народ, которому надоело пахать землю. Все норовят в город, на все готовое. Социализм давно уже был бы построен, если бы не этот народ. С этой точки зрения народ представлялся неоплатным должником государства. И поскольку она сама до некоторой степени принадлежала к тем, кому наскучило пахать, она ощущала нечто вроде комплекса гражданской вины перед властью.

«Ма, — просит мальчик, — расскажи о море».

Она начинает — медленно и осторожно, словно сама входит в воду, прозрачную и холодную. Она рассказывает так, как будто речь идет о каком-нибудь таинственном приключении в тихом деревенском захолустье, таинственном и в то же время будничном. Хотите — верьте, хотите — нет, а люди своими глазами видели. Ну, так вот...

«Шли они, шли...»

«Кто — шли?»

Не успела она начать, как он уже переспрашивает. И не потому, что не знает. Наоборот: он все знает наизусть все подробности. Но он уже живет в рассказе и хочет расположиться в нем с максимальным комфортом. Мальчик — формалист, как все дети: ему нужно, чтобы все было названо. Все графы должны быть заполнены.

«Да, так вот. Погода жаркая, притомились. Подходят к берегу».

«Это было море?»

«Да. Или озеро. Но большое, берегов не видно».

«Глубокое?»

«Конечно. Подходят к морю... А им нужно было переправиться на другую сторону. Достали лодку, сели и поехали».

«Постой. Как же они все уместились?»

Замечание справедливое. Но оно сделано не для того, чтобы разрушить рассказ, а для того, чтобы утвердить его достоверность. Реалистические подробности! Закон эстетики. Тогда чудесное на этом фоне будет выглядеть еще поразительней.

«Вот так и уместились. Лодка была большая, а что тут такого? У нас в селе один перевозил через речку, баркас знаешь, какой у него был? Человек пятнадцать посодит, и еще место останется».

«Дальше рассказывай».

«Да. На чем я остановилась? Да, так вот... Сели в лодку, а он остался. Не захотел с ними ехать. Вот они плывут, а уж и солнышко закатилось. Берега не видать. Поднялся ветер».

«У них был парус?»

«Не знаю. Кажется, нет».

«Это глупо, что они не взяли парус».

«Ну, не взяли, что я могу поделаться. Сильный ветер гнал волны по морю, Лодку так и швыряет. И стало им страшно...»

Мальчик смотрит на нее круглыми глазами. Эффект достигнут. Он смотрит ей в рот, он видит перед собой туманное море и высокую белую фигуру над волнами.

«Вдруг апостол Петр говорит: А что это там виднеется? Они все посмотрели, и правда, кто-то к ним приближается. Вроде бы человек идет по воде... Подходит ближе. И видят, что это Он. И глазам своим не верят. Нет, говорят. Это — привидение. Это у нас в голове от страха мутится. Кто это, кто это? Нет, мы просто сошли с ума. А лодку так и бросает. Брызги летят. Сидят все мокрые. Тут Иисус поднял руку и говорит: Не бойтесь. Я не привидение. А они ни в какую. Не верят».

«Очевидно, плохая видимость», — пробормотал мальчик.

«Чего?»

«Дальше, — приказал он, понимая, что навигация — не женского ума дело. — Рассказывай про Петра».

«Да. Вот, значит, апостол Петр вдруг расхрабрился и говорит: Господи! Если это взаправду ты, то вели, чтобы и я к тебе пошел по водам».

«Ему тоже захотелось попробовать?»

«Он хотел показать, что он самый лучший ученик. Дескать, другие сомневаются, а он верит. В общем, убедил себя: вот встану и пойду».

«Понимаю, — сказал мальчик. — Хотел испытать силу воли».

«Господь из моря ему говорит: Ступай. Он встал и пошел. Вот так: шаг, другой — и пошел. Когда человек верит, то так оно и есть. И Господь ему издали улыбается».

И все бы хорошо, да Петр вдруг испугался. Глянул себе под ноги — ботушки, страсть какая. Кругом вода. И от лодки далеко, и до Иисуса далеко. Как же, думает, ведь потону. И только он это подумал, сразу пошел на дно».

«Его вытащили?»

«Вытащили, — сказала Полина с благодушным презрением. — Небось, не утоп. Вымок весь аж до костей. Трясется. А Господь ему и говорит. Эх ты, мол. Куды ж ты полез? И только вошел к ним в лодку, как и ветер утих. И берег показался. Вот тебе и вся сказка».

Подумав, мальчик сказал:

«Постой, тут что-то не то. Ты сама говорила, в лодке было тесно. Где же он там поместился?»

«Я этого не говорила», — возразила она.

«Нет, говорила, я сам помню».

«Да не говорила я!»

«Нет, говорила. Говорила».

Казалось, мальчик весь был устремлен в будущее: именно таким, будущим человеком, он был для взрослых, в глубине души не допускавших мысли, что он уже сейчас — человек, то есть нечто осуществившееся. Им казалось, что он ежедневно готов принять меняющийся мир, без сожалений отказаться от себя, что душа его во власти формирующих сил, а память — лишь тонкая пленка на зыблущейся поверхности, готовая каждое мгновение разорваться, подобно тому, как его телесная оболочка непрерывно взрывается изнутри силами, преобразующими его плоть. Отсюда вытекала пагубная безответственность взрослых, не склонных придавать значения духовному достоянию мальчика и не умеющих ценить его ценности. Отсюда происходило их убеждение, что мир, в котором он живет, — это мир несовершенный, гротескно-упрощенный, плоский и лишенный перспективы, наподобие детских рисунков. И с той же улыбкой, с тем же снисходительным презрением, с каким Робинзон смотрел на приближающегося к нему, приплясывающего и творящего магические жесты Пятницу, взирали они на жизнь мальчика в двух загроможденных рухлядью комнатах московской квартиры конца тридцатых годов, — на его мечи, копыя и амулеты, сваленные в углу, бумажный флот в темной нише под письменным столом, подлинным приюте его души, где, посвечивая в сумраке широко открытыми глазами, он умолкал, погружаясь в загадочную медитацию. Для взрослых это сидение под столом означало лишь упорное нежелание заняться разумной деятельностью; но какую разумную деятельность они могли противопоставить его жизни? Он предпочитал «обирать пыль».

Он пробуждался. Вчерашний хлам, истинная пыль времени, мелодраматизм судебных процессов, громоуханье газетных передовиц обретали новую, в некотором смысле более долговечную жизнь в его неуклюжих изделиях, в его фрегатах и галеонах. Мальчик вел свои корабли в туманный океан. На помощь! Там, «за далью непогоды», погибал, охваченный пламенем, флагман «Адмирал Нельсон». То горел искупительным огнем прокурор Вышинский вместе со своими обвиняемыми. Неожиданно дверь отворилась, и вошла Полина в пальто, с хозяйственной сумкой, лицо ее выражало сосредоточенную тревогу. Комната была полна дыма. Мальчик сидел под столом, внезапное смещение координат мгновенно мобилизовало его сообразительность: следы преступления были уничтожены, широкая мокрая полоса от половой тряпки удачно маскировала выжженное пятно. Но дым его выдал. Ужас и смятение Полины. Кашель мальчика из-под стола. Обгорелые клочки газеты на тряпке. В этот кульминационный миг разоблачений ей вдруг стало жалко его. Вот так всегда: Бог знает, что пробуждает в ней эту жалость, может быть, предчувствие неотвратимых

бед, которые еще ждут его. С той же превосходительной добротой Робинзона она расстелила коврик, открыла окно. Отец заметил пятно на полу лишь несколько недель спустя, когда острота события давно приутилась.

Когда он «осознал». Такова была обычная версия взрослых, с их презумпцией прогресса, который они понимали как непрерывный самоотказ. Они могли великодушно простить ребенку шалость или покарать его в воспитательных целях, но им и в голову не приходило признать за ним то, что они молчаливо предполагали естественным в самих себе — самодовлеющую экзистенцию. Они думали, что он переживает свое детство как тесную оболочку. И почти намеренно закрывали глаза на непонятный им в мальчике консерватизм достигнутого.

Этот консерватизм непостижимым образом распространялся на быт. Быт, можно сказать, служил его инобытием. Мальчик не любил гулять, огромный город не манил его, он с удовольствием проводил весь день дома, с замечательным искусством симулировал насморк. Угрюмо и настороженно посматривал на пришельцев. У него были любимые блюда, он готов был есть их каждый день. Пристроившись на краю стола, он рисовал одно и то же: рыцарей, змей. Он не ведал скуки, не знал пресыщенности. Власть мелочей он воспринимал как опеку и защиту, он дружил с вещами. Ничем иным, как выражением этой дружбы, был ужасающий беспорядок, посреди которого он жил, ползал по полу, отвернувшись от взрослых, что-то мастерил, с царственным равнодушием вникая ядовитым дроповедям тетки, ядовитым, потому что они должны были, отскочив от его затылка, рикошетом поразить Полину, неспособную приучить ребенка к аккуратности. Мальчик давно привык к тому, что он служил чем-то вроде отражательной поверхности, при помощи которой взрослые обменивались мнениями друг о друге.

Странное значение, которое, по-видимому, он приписывал окружающим его предметам, лишь утверждало незыблемость домашнего мира; в этом мире он жил удесятеренной жизнью, оттого-то никто, как он, не был так привязан к семейному статус-кво. В мальчике жило предчувствие того, что будущий завоевания ампутировать его свободу. Или он в самом деле догадывался, что то, что взрослые люди полагали реальным и важным, была весьма сомнительная важность, весьма подозрительная реальность, если не просто небытие — умерщвленная жизнь? Тогда как он, в тесной оправе убогого быта, был воскресением этой жизни. И, может быть, служил ее оправданием. Но в этой оппозиции миру взрослых у мальчика был союзник. Похоже, что Полина, с ее простотой, лучше других понимала его. Для нее он был одно настоящее, она ничего не требовала, не ждала будущего, не хотела и

страшилась его, хоть и верила, как все взрослые, что будущее — это некое совершенство: ни к чему ей было это совершенство. Культурные ценности были для нее вещью в себе, с которой она не знала, что делать. Вместе с мальчиком, не желавшим никаких новшеств, она находила убежище в раз навсегда очерченном домашнем кругу, и ее смирение было ничем иным, как скрытой враждой к рационализму взрослых, к их жестокому миру, в котором она была изменницей. Она не требовала, чтобы он разучивал все новые и новые упражнения, читал книжки и совершенствовал свою речь. Ее не коробило, когда он говорил «чего» вместо «что». Сама она говорила на неуклюжем и ласковом языке, на котором говорит народ. С ней было легко и свободно, как в старом костюме, в котором не запрещают валяться на полу. Одним словом, с ней можно было оставаться маленьким. В мире ребенка Полина была свой брат.

Он отвечал ей на свой манер — высокомерием. Десять раз она его звала к столу — он делал вид, что не слышит. Нужно было униженно просить его вымыть руки: дань ритуалу, заведенному взрослыми, который оба они должны были выполнять. Он был несносен, он помыкал ею! Он знал, что в этом поезде он почетный пассажир и без него поезд не тронется. Но взрослым было невдомек, что вот это-то самое «назло», стеклянный взгляд и окаменелое сидение на полу, что это и есть доказательство близости. Понимая это, она не огорчалась его непослушанием. В сумерках он неожиданно осыпал ее поцелуями, его глаза блестели от слез. После этого он неожиданно больно и жестоко щипал ее. Полина была свой брат, отец же был иноземным послом, перед которым представляли в парадных одеждах, с которым приходилось быть «большим». Но это тоже вознаграждалось — и как!

Выходной день принадлежал ему целиком, от пробуждения до вечера, и через тридцать лет он помнил во мгле идущий снизу, от Сре-тенских ворот, трамвай, два огонька — лиловый и красный — и эту непостижимую зоркость, с которой отец видел, называл номер трамвая, едва лишь показывались его огни. А загадка объяснялась просто: каждый цвет обозначал определенную цифру. Все это связывалось вместе и тридцать лет спустя выглядело как стройный рассказ: и снег, и меркнувший фиолетовый день, и пепельно-розовая стена Китай-города, и белые плащи тевтонского войска. Как океанский вал, они приближались, катились прямо на нас. Уже были видны конские головы, закованные в железо. А мы стояли у Вороньего камня, под прямоугольным, негнувшимся штандартом князя Александра Невского, и хлопывали себя по бокам рукавицами. Перед нами в снежной мгле расстилалось бескрайнее озеро, дул ветер, поднималась метель, на нас

катились рыцари, шли немцы, а мы похлопывали рукавицами и пританцовывали, так не терпелось нам поскорее принять бой. Отец сидел рядом с мальчиком и, казалось, волновался не меньше, чем он. Рыцари пошли на дно. Князь заклеил позором врагов народа, троцкистско-зиновьевскую банду, на том стоит и стоять будет русская земля, и кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Все восторженно аплодировали. Тогда еще было принято аплодировать в кинотеатрах. И вдруг, когда он был еще полон до краев пережитым, переполнен увиденным, вдруг обнаружилось несчастье: исчезла шапка мальчика, шлем из поддельного барашка с кожаным верхом, купленный за дорогие деньги. Зал опустел, и билетерша сурово ждала у распахнутых дверей, а они все еще искали ее под стульями. И потом в глухом молчании шагали вдвоем сквозь лиловый сумрак, в ртутном сверкании снега. Старая шапка отца моталась на голове у мальчика, и славный князь поник, точно из него выпустили воздух, что-то грубое и наглое вторглось в их жизнь. Но оно не нарушило связность рассказа, и вот, тридцать лет убедили его, что детство, оставшееся вдали, как зеленеющий материк, детство — только оно и было его подлинной жизнью.

Когда, на каком повороте произошло крушение, он не знал. Ему казалось, он растет и мужает, а в это время с ним совершалось что-то страшное; как оперируемый под наркозом, он перенес это незаметно для себя, шелест времени усыпил его. Так пациент пробуждается от нестерпимой жажды и нового чувства: у него больше нет ног. Прошлое ампутировано и уже не принадлежит ему.

Тридцать лет спустя мир предстал разбитым вдребезги, вещи — враждебными, люди — равнодушными друг к другу. И он понял, что владел тайной, и тайна эта была — смысл жизни, воплощенный в гармонии всех вещей. Сколько бы потом ни говорили ему об этой гармонии, он не мог ее ощутить, потому что не видел больше союза между собственным бытием и существованием мира; мир в лучшем случае оставался равнодушен к нему. Никому не было до него дела, и вычеркнуть из мира его никому не нужную жизнь — для неведомого Хозяина было таким же пустяком, как, чиркнув спичкой, поддержать ее с минуту и швырнуть прочь.

С тех пор никогда день его не был таким бездонным, никогда больше ночи не были мгновенным забвением и никогда истина бытия не была ему так близка. Словом, только тогда он был в полном смысле слова человеком. Детство подобно Средним векам. В расшитом плаще, окружив себя диковинной утварью, оно жаждет чуда и вперяет широко раскрытые глаза в пространство, окликающее его тысячей голосов. Цветущее Средневековье, презревшее рассудок ради прозрения, убогий рационализм — ради высшего разума, оно чувствует связь всех ве-

щей. Детство — чародей, одетый в мантию астролога. И вот отчего так впечатались в память мелочи быта: оттого что они не были хаосом бесчувственных предметов. Как мелодия делает необходимым каждый звук и как бы предсуществует по отношению к составляющим ее звукам, так гармония мира, в котором жил ребенок, придавала смысл каждой подробности. И его инстинктивное убеждение в том, что мир строен и симметричен и что сам он — центр этого мира, было вполне подобно уверенности адепта в том, что сферы изливают на него отовсюду свет и планеты скрещивают на нем свои лучи.

Глухо хлопнула старая парадная дверь, — он вбежал в дом своего детства. Через много лет он вдыхал затхлый холод подвала, запах пыли, известки и обросших паутиной проводов. Одним прыжком перелетел он через три вогнутых, отполированных ступени, ведущие на площадку первого этажа. Ему не приходило в голову, что несколько поколений жильцов вытоптали эти углубления в камне, прежде чем он появился на свет. Он читал пожелтевшие тексты на доске объявлений:

«Трудящиеся, вступайте в ряды МОПР».

Хотя ему объяснили, он толком не понял, что это значит; объяснение было маловразумительным, однако в мире мальчика эта надпись имела все же свой смысл — символический и декоративный; тогда как для взрослых она как бы вовсе не существовала.

«Совместной борьбой добьемся освобождения тов. Тельмана».

Кто такой Тельман? Он и этого не знал. Но Тельман обрел бессмертие. Потому что, как знать? — может быть, в этом и состояло его высшее предназначение: стать частью воспоминаний о полутемной лестнице детства. Может быть, только она, эта лестница, спасла Тельмана от забвения. Рядом висело воззвание к квартиросъемщикам, своевременно не вносящим квартплату. Без сомнения, это были те же люди, которых приглашали вступать в МОПР и добиваться освобождения Тельмана, Равноценность всех трех призывов, одинаково тщетных, была очевидной. Но в воспоминаниях они излучали спокойный, тусклый свет вечности. Цепляясь за железные прутья перил, мальчик зашагал наверх по торцам лестницы, ведущей на второй этаж, потом сел верхом на перила и съехал вниз на животе, навсегда запомнив ощущение скользкого гладкого дерева в паху. Он очутился снова на площадке первого этажа, перед дверью, подпрыгнул и успел нажать на белую пуговку. Звонок тренькнул, он прыгнул еще два раза. Получилось три звонка. Дверь медленно приоткрылась как бы сама собой, натянулась цепочка, и оттуда на него поглядело такого же роста, как он, старушечье личико. И он понесся, танцуя, по тусклому коридору.

Квартира: ее можно было бы описать языком одних запахов, для этого бы понадобился особый алфавит, где каждый знак обозначал бы

запах керосина, запах жареной рыбы, запах кухонной раковины, запахи корыт, свежевыстиранных носков, фотографий в комнате Марьи Александровны, запахи тоски и бедности, пыли и света, счастья и надежды, что завтра жить будет еще веселей. Запахи, словно иероглифы древнего исчезнувшего языка, заключили в себе всю эту умершую эпоху; этот язык был точнее всякого другого и понятней любых описаний. Мальчик бежал вприпрыжку по коридору, и запахи кухни оседали в его мозгу, чтобы тридцать лет спустя напомнить о том, каким он был когда-то. Только мелодия может соперничать с запахом, но язык музыки, хоть и знакомый, еще не стал языком души. В конце коридора дверь вела в «наши комнаты».

Наши комнаты! То, что стало анахронизмом, отчего давно отвыкли нормальные люди, евреи повторяют с параноическим упрямством; не в силах отказаться от архаического словоупотребления, они твердят: мой дом, в моем доме тем настойчивей, чем меньше их жильё отвечает этому почти религиозному идеалу. Никогда еще в нашей просторной стране не было так тесно. И мальчик не догадывался, каким, в сущности, необъятным подарком небес было то, что он с отцом и две женщины роскошествовали в двух комнатах. Даже в трех, если считать прихожую.

То была крохотная пестро оклеенная каморка, где двадцатисвечевая лампочка разбрызгивала по стенам болезненный свет. Над головой висели колеса велосипеда, одно колесо всегда покачивалось, доказывая этим факт вращения земли. За линиялой занавеской помещалась девическая кровать Полины. Из прихожей вы попадали в собственно первую комнату. Тут стоял запах шоколада; его источал темный паркет, натертый воском. Старый диван с двумя вдавлениями, напоминающими ложе для громадного арахиса, — казалось, так отпечатались на нем могучие выпуклости тетки. Буфет, — в его граненых стеклах навеки застыло отражение мальчика с занесенным над струнами смычком. Память обнюхивала вещи одну за другой, как старая собака. Вторая комната, два окна. Кровать и, наконец, он сам, он просыпается, смеясь и подсматривая одним глазом, как отец с вознесенным подбородком, перед крошечным зеркальцем в шкафу, затягивает галстук. Тишина, утро, штопаные гардины, белое небо, и в окне колеблется краешек флага, красный с черной каймой. Траурный флаг, о радость!

Кто-то опять умер. Праздничные, окруженные рамкой газеты. В цветах, обрамленный газетом, с орлиным носом, с коротенькими ручками и высоким животом, лежал на этот раз Орджоникидзе. Кругом вожди. Сейчас они возьмутся все вместе, как они всегда это делают, понесут и вставят его в кремлевскую стену. Мальчик сидел на широком подоконнике в одной рубашке, погруженный в молочные гре-

зы, теребя свою маленькую плоть. Глаза его созерцали пустоту. Мальчик не подозревал, что он воздвиг свой храм над руинами. Он воздвиг бы его и на необитаемом острове, и в городе, охваченном чумой. Ибо чем, как не развалинами, пылью и щебнем рухнувшего мира были все эти вещи, да и люди, беззвучными тенями сновавшие среди непрочных вещей. Был такой случай. В коридоре стояла тумбочка, крытая плюшем, его проплешины походили на выжженный мох. Плюшевая накидка так и просилась стать бархатной мантией, — с мечом на бедре, в буденовке, он одновременно изображал всадника Революции и короля Ричарда Львиное Сердце, во всех веках он чувствовал себя одинаково уютно. И он принялся потихоньку вытягивать скатерть из-под телефона. Неожиданно дверца тумбочки вывалилась вместе с замком. Мальчик раскрыл рот. Он сидел на полу среди распавшихся альбомов, рассыпанных открыток... «Ее высокородию». Нет, даже не ее, а ЕЯ, «в собственном доме...» В эту минуту вокруг него валялся мир, разрушенный до основания, на чьих осколках он вырос, точно голубоватый росток в расщелине могильной плиты, и о котором он не подозревал. На этих твердых картонках стоял адрес, их адрес, начертанный тонким и твердым пером. Весь дом с его лестницами и квартирами, черным ходом, парадным подъездом, с трудящимися и Тельманом — был ее собственным, и *esse homo*, — вот этот человек, — она была еще жива!..

Однажды он застал ее в уборной. Она стояла там в темной старушечьей юбке. Она забыла накинуть крючок. И о, какой смертельный испуг изобразился на ее лице, в ее глазах, точно он прибежал ее удивить. Костями трясущихся рук она поддерживала одежду.

Телефон зазвонил. Он звонил и звонил, но мальчик был занят: наморщив лоб, он отколупывал марку с двуглавым орлом от почтовой карточки. Впрочем, все содержимое старой тумбочки было старательно упрятано, дверца прилажена на место. На голове у него был бумажный шлем с намалеванной красной звездой. Телефон звонил. Полина замешкалась на кухне. Наконец, приоткрылась каморка, первая от парадной двери, рядом со счетчиком. И Марья Александровна, карлик на сросшихся ногах, ее высокородие, вышла в коридор, шаркая и влача на спине, словно гробовую крышку, свой горб. Итак, весь дом, густо заселенный жильцами, был подобен ковчегу уцелевших после потопа: люди, которые двадцать лет назад не могли бы встретить друг друга даже на улице, как морские обитатели не могут встретиться с жителями лесов, теперь оказались в соседних комнатах, снимали трубку одного и того же телефона, спускали воду в одной уборной и бок о бок, как равные, стояли на кухне возле злобно шипящих примусов.

#### 4. ПАССАЖИР СОБСТВЕННОГО ТЕЛА

Однако следовало бы уделить внимание и отцу мальчика и обозреть вещи, так сказать, с противоположной точки. Сопоставление взрослого и ребенка всегда содержит элемент нарочитости, невинность детства, воспринимаемого как анахронизм, очевидным образом вызывает к снисхождению, быть может, даже к состраданию. В партии с ребенком полагается снять ладью, если не ферзя. Но на самом деле в сострадании нуждается взрослый, и еще неизвестно, кто кому должен дать фору.

Проснувшись за минуту до звонка, Илья Ильич чувствовал себя усталым, точно день, предстоящий ему, был уже прожит. Нет, не прожит — отбыт, сброшен с ног, как забрызганные грязью калоши. Эти калоши будут ждать его всю жизнь: каждое утро — один и тот же мутный, неотличимый от вечера рассвет. Мысль о том, что надо идти на работу, тоскливое чувство безвыходности, то, которое через тридцать лет станет обычным ощущением сына, это чувство подавило в нем все другие чувства и мысли. Он лежал — или уже сидел, это все равно, — с видом человека, у которого переломан позвоночник. Конечно, это чувство уйдет, уступит место деловым заботам, мужскому чувству достоинства и мистическому сознанию долга. Будильник загремел под ухом, как мотоцикл. Объятый ужасом, Илья Ильич задавил его, дрожа от внезапного сердцебиения. Мальчик спал, по своей привычке на животе, обняв подушку.

В соседней комнате ходила Полина. Дальше все происходило в гипнотическом и все убыстряющемся полусне-полубодрствовании. Не он — его тело боялось опоздать, торопилось и тормозило безучастный мозг. С намыленной щекой Илья Ильич уставился совиным взором в зеркало. Звук жестяной трубы ненадолго вывел его из забытья. Остаток пионерской зорьки пошел на умывание. Чай — или что там. И уже одетый, в кепке и брезентовом плаще, он метался по комнате, забыв что-то сделать, что-то положить в портфель.

И, наконец, калоши. Семимильные сапоги: стоило ему вколотить в них ноги, как они вынесли его на улицу. Улица подхватила его под руки. Вбежав в комнату, Полина всплеснула руками, найдя недоеденный завтрак. Радио зорало «На просторах родины чудесной». Поток пешеходов нес Илью Ильича к остановке. Город встретил кругами луж, в окнах домов еще горел свет, трамваи шли друг за другом, то и дело останавливаясь и отчаянно звоня, люди гроздьями висели на подножках. Толпа сомнамбул заворачивала с площади в узкий, темный, как ущелье, Фуркасовский переулок, слышалось упорное, торопливое и безостановочное, как дождь, чмокание калош, кирзовых сапог,

дамских бот. Одно стремление владело всеми этими людьми — скорей вломиться в подъезд, снять номерок, втиснуться в лифт, доехать, добежать! Скользнуть в углубление между стулом и письменным столом и успеть протянуть руку к костяшкам счет, прежде чем раздадутся ровные три сигнала точного времени.

Илья Ильич шагал по коридору. Шагал не он, шагало его тело, но уже совсем другое, бодрое и упругое, оно помахивало папкой для деловых бумаг. Сзади и спереди шли сослуживцы, все шагали в одном направлении. Гуськом входили в кабинет начальника главка.

Одни бывали в этом кабинете каждый день, другие раз в месяц; иные еще реже, но сегодня все чувствовали себя уравненными перед грозным накатом событий. Тайнственная и будоражащая новость, хотя никто о ней не говорил, никто не показывал виду, что догадывается о ней, распространилась мгновенно, может быть, потому, что к ней уже были внутренне готовы — в сущности, ее ждали. И в толпе, входившей с почтительной робостью, со сдержанным достоинством, не спеша и не мешкая, по стенке, с папками под мышкой, единственная цель которых была показать, что никто ни о чем, кроме как о делах, не помышляет, в этом шествии честных, прямодушных тружеников, выслушивающих местечко где-нибудь не на виду, не было сейчас ни старших, ни младших, не было приятелей и врагов, Анны Ивановны и Ивана Степановича, не было даже мужчин и женщин; все старались походить друг на друга, мужчины потушляли глаза и, сами того не замечая, поджимали губы и покачивали бедрами, женщины шагали размашистой походкой, подняв плечи. Все превратились в кого-то промежуточно-безупречного и стоящего вне подозрений. Толпа стала одним человеком. Этот человек дисциплинированно входил, рассаживался, устремлял глаза вперед. Он изображал внимание, одобрение, ошеломление, непреклонную решимость и праведный гнев — а на самом деле ничего не чувствовал: ни гнева, ни решимости, наоборот, был доволен, что ему ничего не надо решать.

В этом коллективе, который представлял собой уменьшенное изображение народа, застигнутого врасплох в его «исторический час», — мы бы сказали: псевдоисторический, — как-то само собой установилось, что подлинная жизнь, состоявшая в том, что все эти женщины изо дня в день поднимались на рассвете, разжигали примусы, бранились с соседями, тащили в ясли сонных детей, изо дня в день мыли и стирали, толкались в магазинах, мучились от кровотечений, смотрелись в зеркало, ревновали мужей, — словом, жизнь как она есть — здесь не имела значения и даже скрывалась как нечто недостойное народа, ежедневно рапортуящего о своем счастье и желании трудиться еще лучше. Высокие

чувства неуместны в полукилометровой очереди за картошкой, они не согласуются с трехзначным номером, намалеванным чернильным карандашом на ладони; и невозможно рапортовать, стоя над корытом. И вот теперь эти женщины и мужчины, двадцать или тридцать человек, пожилые машинистки с карминовыми губами, рыхлые кассирши, лысые бухгалтеры, все они точно выставили перед собой громадный портрет, загородивший всех. И это картонное моложавое лицо с собачьей преданностью, выпученными глазами смотрело на начальника, секретаря парторганизации и еще одного человека, сидевшего в углу, и готовилось картонными губами прошелесть единодушное одобрение, единодушный гнев, картонной рукой отхлопать резолюцию, с готовностью открывало рот, чтобы затянуть «Интернационал» или там «Широка страна моя родная», готово было даже сплясать вприсядку, выбрасывая картонные ноги, если бы того потребовали обстоятельства. При всей своей мнимости и бестелесности этот человек-плакат обладал поразительной сметкой, всегда чувствовал, чего от него хотели, и моментально принаровлялся к обстановке.

Начальник главка сидел за массивным письменным прибором, высеченным из базальта. Две чернильницы с крышечками из желтого металла напоминали крепостные башни. За спиной у начальника знамя, распыленное на гвоздиках, хранило застоявшийся запах революции. Над ним висел в строгой рамке Товарищ Сталин.

Но сам начальник выглядел неважно, это был изможденный, изжеванный жизнью человек с высосанными бессонницей глазами. Темносиний полувоенный китель казался слишком просторным для его костлявых плеч. За торцом стола, боком к присутствующим, сидела секретарь партийной организации, молодая женщина в белой блузке с просвечивающими бретельками лифчика. Она была только что назначена вместо прежнего, исчезнувшего неизвестно куда секретаря, и ее никто еще не знал.

«Товарищи! — с погребальной прямоотой произнес начальник, — На нашем сегодняшнем, внеочередном, — он постепенно удлинял расстояния между словами, — совещании присутствует товарищ... — Тут начальник неловко встал и, поклонившись в угол, промолвил: — Иван Акинфиевич, пожалуйста!»

Фамилия, которую он назвал, никому ничего не говорила, она была какая-то средняя, среднестатистическая, подчеркнута невыразительная, точно условная кличка или газетный псевдоним; но именно эта безликость придавала ей особую и глухую значительность. Немалый смысл заключало в себе и имя. Короткое, обрубленное и рабочему простое в сочетании с громоздким крестьянским отчеством, оно указывало на глубокую почвенную связь с народом — и притом с русским народом.

Товарищ из горкома партии встал и со скромностью, не терпящей возражений, отстранил предложение занять место за столом. Он огорчился тем, что взял стул и повернул его спинкой к себе.

«Я, т-аищи, кратенько».

На нем была защитная гимнастерка политического руководителя — правда, не высшего ранга, не было накладных карманов, но все же. (Начальник главка был всего только в синем кителе хозяйственника.) Вообще все в Иване Акинфиевиче было продумано до мелочей. Лицо его было среднее — достаточно молодое и в то же время бывалое. Лыдистые глаза не заключали в себе никакой мысли, но выражали некое важное знание о жизни. Всем своим видом он показывал, что сам по себе он ничто (когда потом ему аплодировали, он аплодировал сам). Но его светлыми глазами смотрели другие товарищи из горкома, смотрела партия, его крепким военным голосом говорила идея, которая была выше всех людей, и потому он был — всё. Взявшись правой рукой за ремень гимнастерки, левой опираясь на спинку стула, он застыл, и этот жест был подобен команде «смирно». Все застыли. Начальник главка мрачно ссутулился за столом. Секретарь, напротив, выставила грудь. Все смолкло, и голос Ивана Акинфиевича, крепкий и хрустящий, как кожаный ремень, ритмично сотрясал воздух.

«Как вы уже знаете, — начал он, — из газет, наша партия, лично товарищ Сталин, весь советский народ... Враги хотели...» И он развернул перед собравшимися картину борьбы пролетариата с остатками эксплуататорских классов. Стальные фермы экономики и политики, вот истинная суть жизни, все остальное лишь придаток к этой основе и обманчивая внешность. Люди только делают вид, что живут своей жизнью, на самом же деле влекутся, как песчинки за волной, покорные своим классовым интересам. Мир прост. Два стана, два класса стоят друг перед другом, склонив каменные головы, как быки.

Голос оратора хрустел, подкрепляемый энергичным жестом, но все понимали, что это лишь предисловие. Сейчас он скажет главное. И он сказал. Его фразы стали короткими. Он уже не говорил, а как будто взлетал на качелях. Раз — раз. Взмах, другой. Товарищ Сталин — доблестные чекисты. Максимальную бдительность — при подборе кадров. Темп убыстрялся, толпа сидящих, задрвав головы и поворачивая глаза то вправо, то влево, с замиранием сердца следила, как он носится под потолком. Внезапно он умолк, повернулся к знамени и портрету и поднял слегка расставленные руки, дав понять, что пора аплодировать. Тотчас все отчаянно захолопали в ладоши, и он сам, с каменным лицом, сдержанно хлопал.

Начались выступления. Парторг, поправив бретельку под блузкой, перебрала лежавшие перед ней листки. Потом вдруг громко, страстно заговорила, поправляя то волосы, то бретельку, о том, как

она потрясена всем случившимся. Окончательно стало ясно, куда делся бывший секретарь. Ждали, что вот она сейчас скажет: вражеская агентура протянула щупальца и к нашему главку. За примерами недалеко ходить и т.д. Но секретарша в своей речи, хотя и горячеей, ничего лишнего, то есть нового по сравнению с товарищем из горкома, не сказала. Все поняли, что ни бывшего секретаря, ни другие имена не следует называть, ибо их не было. И все разоблачение именно в том и состоит, что таких людей никогда не существовало. Под конец слезы в голосе секретаря парторганизации высохли, он окреп и зазвенел.

Аплодисментов не было: необъяснимым чутьем нарисованный человек понял, что хлопать еще не время. Не хлопал и представитель горкома.

Медленно встал начальник главка, одернул китель, как в былые дни одергивал гимнастерку на митингах гражданской войны. Воздел кулаки. Глаза его, окруженные тенями, пылали лиловым огнем.

«Суровая пролетарская кара...»

Тут он как-то некстати задумался, начал шарить руками по столу, искал забытое слово. Наткнулся на стакан с остывшим чаем. Потом голова его стала запрокидываться, лицо поехало на сторону, и с коротким всхлипом начальник повалился навзничь.

Все очень удивились. Начальник бился на полу, пожилая медсестра дрожащими руками расстегивала на нем китель. Кто-то побежал за водой, хотя чай стоял на столе. Над ним махали газетами, потом несли больного по коридору и по лестнице вниз. Было известно, что он болен, — результат контузии, — но уж очень не вовремя все это произошло. А может быть, наоборот: в самое время. Знал ли он, что и его часы достукивают последние дни, что через каких-нибудь две-три недели он присоединится к тем, кто уже исчез, к секретарю парторганизации? Собрание закончилось. В опустевшем кабинете уборщица ползала с тряпкой под столом: больной обмочился. Иван Акинфиевич отбыл. Его автомобиль, урча, катил по переулку. Ему предстояло выступить еще в трех местах — двух главках и одном научном институте.

Илья Ильич вернулся на свой этаж, вошел в комнату № 312 и сел за стол у окна, на свое место.

За окном был двор, узкий каменный двор учреждения: грязные окна, грузовик. Рабочие разгружают ящики, ставят их прямо в лужу перед крыльцом. Их лица выражали безразличие ко всему на свете.

Стол Ильи Ильича, как старшего в этой комнате, помещался с одной стороны, а с другой, стол за столом, сидели, словно ученики за партами, сослуживцы. Горел свет. Трещали арифмометры, изрыгая ступки цифр. И эти цифры, которые когда-то были чем-то вещественным, деньгами или килограммами, накопленные трудом ли, обманом,

но всегда в обмен на человеческую жизнь, человеческий пот, ум, изворотливость, — здесь, отброшенные на счётах и прокрученные через арифмометр, теряли плоть, чтобы обрести символическое потустороннее существование. Беззвучными потоками, в дыму дешевых папирос, они текли и текли, как толпы умерших в загробное царство, из отчетов в ведомости, из ведомостей в сводки, чтобы потонуть в пропасти учета, превратиться в дым, в пар общих суммарных показателей. Предполагалось, что кто-то там, наверху, питается этим дымом. Но что могли сказать эти пустые оболочки, эти сухие скорлупки, эта половина — что могла она сказать о жизни? Каждый день видишь перед собой ряд склоненных голов, сутулых спин, черные нарукавники и пальцы, летающие по счётам. Если эти каторжники задумываются когда-нибудь над смыслом своей работы, что маловероятно, то во всяком случае каторжниками себя не ощущают: не догадываются, кто они на самом деле. Чтобы иметь терпение каждый день вот так садиться за столы и порхать рукою по счетам, нужно хотя бы подсознательно хранить веру в то, что твоя работа имеет какой-то общий смысл. Вот дождь за окном — это что-то реальное. И рабочие, хоть им и наплевать на все, в сущности, живут куда более содержательной жизнью, чем он, вся работа которого состоит в том, чтобы нагромождать одну абстракцию на другую, да еще делать вид, что приносишь пользу народу и государству. Что такое государство, как не громадное учреждение, величайшая абстракция?

Но, может быть, все дело в привычке, в усыпляющей монотонности существования, к которой бессознательно стремятся люди и которая сама себе цель и награда. Спроси сейчас у этих людей: для чего вы тут каждый день сидите в папиросном дыму? какой смысл в вашем сидении? Они ответят: смысл в том, чтобы получать зарплату и снова сидеть, а иного нам не нужно. И этот ответ лучше всяких рассуждений выразит истину. Ибо люди жаждут замкнутости. Как они предпочитают сидеть в теплой комнате, а не мокнуть на улице под дождем, так и в своей жизни они хотят отгородиться от внешнего мира. Как те, кто пришел с совещания, стараются поскорее забыть все, что они там слышали, как они там все были проникнуты одним чувством, единымдушным сознанием, что они ни при чем, что они — ни сном ни духом, что они маленькие люди, ничего не знают, ничего не видели, и, слава Богу, отважным чекистам, латникам и соратникам, нет до них никакого дела, — так и все люди жаждут замкнуть свою жизнь в узкий круг и свести свою деятельность к однообразной череде обрядов, над которыми им не надо задумываться. Все равно как если бы они переписывали изо дня в день книгу, написанную на непонятном языке.

Пальцы Ильи Ильича быстро выхватывали из папок нужные листки, вращали ручку арифмометра, он вставал и выходил к планови-

кам выверять сальдо, просил принести ему сводку за октябрь, рука его снова крутила ручку, он подписывал ведомости, словом, делал тысячу привычных дел, но его руки, глаза, все его тело давно уже научилось обходиться без него самого. Сам он сидел внутри себя и думал свое. Был аккуратный работник, неглупый человек, на своем месте. И был другой, тревожный и раздраженный, даже не человек, а зловещий эмбрион без рук и без ног, который только и способен был все критиковать, во всем находить бессмыслицу, который был враг всему, но, слава Богу, никто его не видел. Это он, когда наступил обеденный перерыв, встал вместе со своим хозяином и вместе со всеми повлекся по коридору, сверлил, как зубная боль, мешал перебраться привычным словечком с Анной Ивановной, с Иван Степанычем, он пронизал все тело смутной тревогой; нет, он ничего не доказывал, ничего не предлагал, так было и так будет, шептал он, и ни на что иное ты не способен; юношей ты оставил родной угол, белорусское местечко, кладбище, где лежали поколения твоих предков, шапочников, портных, музыкантов, ты бросил всё, тебя унес свежий ветер, тебя тянуло в большой город, ты бросил всё и полетел. И что же? Твоя жизнь обернулась затхлою конторой. Тебя завели, и ты качаешься, как маятник, пока не иссякнет пружина. Туда — сюда, домой — на службу.

Впереди шли две девушки, должно быть, продавщицы из магазина писчебумажных товаров, что на углу. Толпа уже теснилась перед входом в столовую с крутящимся вентилятором, исторгающим раздражающий запах подливки. Они встали в очередь. У девичьи простоватые широкие лица, и то, что светилось в их ярких глазах, отнюдь не было мыслью, то, о чем они болтали, был сплошной вздор. О тряпках, о какой-то Марусе. Но Илье Ильичу казалось, что дело совсем не в словах. В конце концов, сказал он себе, ради чего все это: смех и ужимки, и блеск глаз, и полнота бедер под наброшенными на плечи пальто? Чтобы понести живое семя, зачать и родить ребенка. А они, сидящие за столами контор, что они производят? Пыль цифр, канцелярские бумаги. Вот для чего они каждое утро втискиваются в трамвай, теснятся в лифте, сладострастно накручивают арифмометры. Цифры — их семя, которое они извергают на разграфленные листы бумаги...

Мальчик открыл глаза в ту минуту, когда дождь за окнами прекратился: как будто Бог детства провел ладонью по его лицу. Он был один и, взобравшись на подоконник, следил за прохожими острым зашпанным взглядом. Домашний лар, чревоуещатель, тщетно зывал со шкафа, пытался завлечь музыкально-образовательной передачей. Натянув рубаху на голые коленки, мальчик смотрел в окно. Влага еще висела в воздухе. Прохожие плелись с зонтиками.

Брызнуло солнце, и стальная синь тротуара позвала к себе так, как только можно звать в детстве; старый кирпичный дом наискосок, где кончался переулочек, порозовел и зажегся, все его окна засверкали, прохожие спешили обнять друг друга. На углу возле почтового ящика молодой нарком Ежов стоял в ежовых рукавицах, а рядом с ним насквозь промокший Ворошилов в остроконечной шапке сжимал в руке винтовку с широким штыком, похожим на кухонный нож. «Климу Ворошилову письмо я написал», — сказал мальчик, четко произнося слова.

Еще капало, еще струилось из водосточных труб; из их широких, как писсуары, раструбов текла на тротуар жидкая синька, текло серебро; и Надька, дочь дворника, вышла плясать босиком в лужах. «Та-чить ножи-ножницы, бритт-вы править!..» — запел, дрожа от счастья, голос точильщика со двора. В эту минуту с высот от повернувшейся где-то ставни сорвалась молния и ударила мальчика в глаза. Перед ним на солнечном мокром плакате нарком Ежов простирает руки в ежовых рукавицах. Лар пел: «Потому что у нас каждый молодой сейчас!» Какое счастье. Боже мой, какое счастье жить!

## 5. РЕЧЬ ВОЖДЯ И ДРУГИЕ НОВОСТИ

Под флагом командующего эскадрой, развернув паруса, головной корабль преодолел узкий пролив и вышел в открытое море. Ударил пушки. Оркестр грянул адмиральский марш. Отец стоял возле буфета. Внезапно он сказал: «Т-сс!» и приложил палец к губам. Репродуктор был переставлен на буфет, где во время занятий музыкой помещались ноты, и там, в этом репродукторе, происходило что-то великое и важное, по сравнению с которым мир мальчика был всего лишь радужный мыльный пузырек, плывущий по воздуху.

Он удивился. Из рупора исходил неопределенный шум — плеск или треск, похожий на хлопанье крыльев потревоженной стаи. Постепенно шум утих, слышны были еще отдельные хлопки, затем все смолкло; отец прикинул к рупору ухом; и вдруг оттуда послышалось бульканье. Отец улыбнулся таинственной улыбкой. «Воду наливает, — шепнул он. — Из графина...» Мальчик ничего не понял, он не постигал причину этой торжественности, но настроение папы передалось ему: оба, как заговорщики, затаив дыхание, переводили блестящие глаза с репродуктора на лица друг друга. Почти неуловимый, шелестящий и струющийся звук стекал с иглы репродуктора, воспринимаемый уже не слухом, а всем мозгом, — так шелестит ток в проводах над мачтами высоковольтной передачи. Затем раздался очень тихий, но отчетли-

вый звук, и мальчик догадался, что тот, невидимый и непостижимый, тот, который налил себе из графина, — пил воду по ту сторону передачи. Пил, как обыкновенный человек, маленькими глотками, точно не знал, что каждый его звук разносится по всему свету. Потом тихонько поставил стакан. Мальчик стоял, задрав голову к старому буфету. На полу стояли его бумажные корабли. И весь мир, застыв у репродукторов, с тайной, благоговейной улыбкой слушал, как он там булькает водой из графина. Весь мир был тронут и восхищен простотой, будничностью, естественностью, с которой величайший на земле человек пьет обыкновенную воду и, должно быть, отирает усы краешком пальца, точь-в-точь как какой-нибудь пожилой слесарь или бухгалтер. По-народному неторопливый, по-народному пристальный, просто так стоит на трибуне, навесив брови, поигрывает стеклянной пробкой от графина.

Так люди во всех углах страны, в жалких своих комнатушках, вдруг постигали в простом бульканье воды, в напряженной тишине невидимого зала и потустороннем шелесте эфира, истекающего из репродукторов, сверхъестественную суть Вождя. Эту суть не выражали его портреты, на которых Вождь был изображен красивым и юным, с радостным взором, молодой шевелюрой и литыми усами. Гораздо больше эту суть выражал его голос: она заключалась в том, что он был и молод, и стар одновременно, и мудр, и прост, как его сапоги. Думая за всех, наперед зная мысли каждого, он не хвастал своим всезнанием, не гордился перед людьми и не спешил высказаться. Медленно пил воду из стакана. И когда, наконец, начал говорить, то говорил самое главное, да так, что каждому было понятно.

Один мальчик не понимал. Сбитый с толку, он смотрел на отца. Он слышал, как голос, глухой и невнятный, сказал, что он не собирался выступать, но наш дорогой Никита Сергеевич силком притащил его на собрание. «Скажи, говорит, речь...»

«О чем же говорить? — спросил товарищ Сталин. И ответил: не о чем. Все необходимое сказано в речах наших руководящих товарищей». И мальчик думал, что на этом он кончит. А вместо этого пошла какая-то невнятица. Голос монотонно и как бы нехотя выдавливал из себя слова. Куда интереснее было слушать, когда он наливал воду. Время от времени репродуктор сотрясали аплодисменты. Значит, люди, сидевшие там, находили в этой речи какой-то смысл. Но какой? Отец слушал, приоткрыв рот, голос чревовещателя, и выражение напряженного ожидания не сходило с его лица. Мальчику стало скучно. Товарищ Сталин говорил долго. Он устал ждать. Собрав корабли, он побрел потихоньку прочь.

Мальчик пробудился с чувством случайной помехи, из-за которой не стоило просыпаться: отвернись — и назад к себе, в теплый сон. Но помеха не отступала, его словно трясли за плечо, и, перекатившись с живота на спину, мальчик заморгал, открывая глаза.

Но сейчас же кто-то подошел к двери; сердце его затрепетало, он зажмурился, стиснул зубы и замер, боясь шелохнуться и уже зная, что за дверью происходит что-то необычное, разоблачительное и роковое.

Его разбудили не голоса, а молчание: тишина, наступившая там, заставила его открыть глаза и насторожиться; он ощущал ее, словно запах гари, — и в ней как будто еще висело эхо слов, звучавших, пока он спал.

Там шла тайная жизнь взрослых, беззвучная, как жизнь рыб за толстым стеклом. Там произносилось полным текстом то, что он безуспешно старался угадать по движениям их губ, беглым взглядам или случайно оброненным словам. Там происходили события, о которых он не имел понятия. В самом деле, за дверью раздавались шаги, это ходил отец. Эхо слов висело в воздухе, но больше — ни звука сквозь трещину света, бесконечно долгое молчание за дверью, точно они хотели проверить, действительно ли он спит. Шаги отца.

Голос тетки проник сквозь щель:

«...Никогда ни с кем не считался!»

Он угадал ее жест, она сидела за столом под ярко-брызжущей лампой, как это бывает очень поздним вечером, когда свет брызжет в глаза, и бесконечным однообразным движением разглаживала скатерть, — он почувствовал жжение в кончиках пальцев от накрахмаленной скатерти. Сидела и говорила одно и то же:

«Что ж, можешь поступать, как тебе угодно! Ты ведь никогда ни с кем не считался. На всех наплевать!.. Как-нибудь обойдусь!.. Никогда ни с кем... Бывало, еще покойная Розочка...»

В ответ раздавались шаги, туда и обратно, и снова туда, и снова обратно, и мальчик увидел как бы воочию лицо отца: нахмуренное, окаменевшее, с таким лицом отец умножал трехзначное число на трехзначное. Он славился необыкновенным умением считать в уме и поражал этим умением Полину, тяжело трудившуюся с намусоленным карандашом над тетрадкой расходов.

Поворот у стены, где еще виднеются на обоях пятна клея, следы теткинго портрета с рогами. Теперь лицо отца приближалось. С гордостью мальчик вспомнил о том, что они одинаково с ним стаптывали ботинки — с внутренней стороны. «В аккурат» (как говорила Полина) одна и та же форма ноги.

Пятна клея еще желтели на обоях, а тетка как будто позабыла про всю их старинную вражду.

«Хоть бы подумал о...»

Это о нем.

«Ты думаешь, он все забыл?»

Голос отца возразил с холодным бешенством. С небывалой резкостью:

«Ребенка оставь в покое! Как-нибудь сам о нем позабочусь!»

И снова тетка — с истерическим вскриком:

«Что сказала бы покойная Розочка!»

Да как она смеет. Почему он позволяет ей так говорить? Без конца вспоминать имя матери, которое они оба никогда не произносили, не осмеливались произносить вслух! Мальчику это казалось кощунством. Что-то в их голосах, в мрачном шагании отца, в позднем, недобром, раздражающе-ярком свете было такое, что наполнило его неясной тревогой. В засекреченной жизни взрослых созревало что-то злое, нет, это была не обычная ссора. И ему захотелось, пока еще не прозвучали последние, окончательно все проясняющие и непоправимые слова, выскочить из-под одеяла и предстать перед ними. Услышать: «марш в постель!» и «как не стыдно подслушивать!», услышать: «она его совершенно разбаловала, ума не приложу, что делать с этим ребенком», услышать что-нибудь обыкновенное, нормальное, что он знал наизусть и из чего следовало бы, что мир не изменился и все осталось по-старому. И чтобы все это кончилось, чтобы забыли.

Вместо этого он напрягся еще больше, так что заныли колени и стали зябнуть пальцы ног. У него чесалось под подбородком, между ногами, между лопатками. Вдруг зачесалось все тело, зачесались кишки! Но главное так и не было сказано, он не дослышал самой сути, и Бог детства, вечно суетившийся возле него, напрасно подзуживал показать им, что он не спит: какой это был бы эффектный выход! Они бы так и ахнули. Мальчик не шевелился. Он понял — как это часто бывало с ним — смысл разговора и в то же время не понимал, о чем, собственно, они говорят. О ком?

Голос тетки:

«...можно вышвырнуть. Со старой, ненужной сестрой... чего с ней церемониться... За бабьей юбкой...»

Шаги; молчание. Желтый свет, от которого першит в носу.

«...а меня вышвырнуть за дверь. Чего со мной церемониться!»

Отец — не переставая шагать:

«Ты переедешь туда. Прекрасная комната, лучше этой».

«Еще бы! Вы все предусмотрели. Но я ее не виною, а! В ее положении... Но ты!.. Хотя бы посоветовался с родными... Родные зла не желают... И что это за специальность, машинистка. Господи... Где она хоть работает, ты знаешь?.. Преступное легкомыслие... не думать ни о себе, ни о родных... Наконец, о сыне... Ты думаешь, он тебя поблагодарит? Ведь он уже большой, и Розочку он помнит, в отличие от тебя...»

Откуда она знает, подумал мальчик. Откуда она знает, черт бы ее побрал!

Нет, отец прав, что хочет ее выселить.

«Разве такая женщина... нет, это выше моего понимания... А ей что, ей бы только переменить фамилию!»

Она снова упомянула о какой-то юбке, затем полилась каша неразборчивых слов. Тетка не успевала выговаривать их, и они липли к ее губам, мешаясь со следующими.

Вдруг она понизила голос, и он зазвучал со зловещей отчетливостью:

«Я, конечно, ее не виню. Годы идут, все такое. Интеллигентный мужчина, не какой-нибудь там Афоня-квас... Но подожди, подожди! — Голос тетки зазвучал вкрадчиво, почти игриво. — Она еще напомнит тебе, кто ты такой. Все до первой ссоры. И она тебе скажет: жид! Иди прочь, жид пархатый, вот что она тебе скажет. Жид! — со сладострастием повторила тетка это страшное, липкое слово, неизвестно что означающее, но, очевидно, имевшее к ним близкое отношение и притягивающее, как все тайные и запретные слова.

«Подожди, — зловеще-участливо приговаривала тетка, — еще дождешься. Еще вспомнишь сестру твою, дуру...»

Трах! — ударом ладони по столу отец прервал эти литании. Он заговорил быстро и неразборчиво, гудящим шепотом. Послышались всхлипывания тетки. Дверь стремительно растворилась; отец вошел и, видимо, не зная, что предпринять, быстрыми шагами подошел к окну. Несколько минут он глядел на пустынную улицу, освещенную фонарями. Мальчик замер, затаив дыхание до звона в ушах. Наконец, он перевел дух, веки его затрепетали и глаза открылись против его воли; отец взглянул на него, отвернулся и вышел из комнаты.

Старый Бог детства, с длинной бородой, похожий на обокраденного апостола, рвал на себе волосы и потрясал в темноте кулаками. Он один был во всем виноват! Он не доглядел!

Наступила ночь; фонарь, качаясь под ветром, шевелил занавеску; отец спал на широкой кровати; мальчик, зажмурившись, сидел у стены и говорил, бормотал, заклинал. Полина, босая, в длинной рубашке, замятой снизу, стояла за дверью и дула в замочную скважину, чтобы отогнать дурной сон. Это удалось ей после долгих усилий; мальчик умолк и опустил на подушку. Через несколько мгновений вновь затрепетала занавеска: сон влетел в форточку и, обессиленный, уселся на полу возле отцовских носков и ботинок. Ночь была тихой, чудной. Свет струился сквозь занавеску, Мальчик спал, раскинув руки на подушке, лицом вниз. И сон, мерцающий огоньками зеленоватых очей, сторожил его на полу, распластав в полутьме отсыревшие крылья.

## 6. ПОЛУНОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Город угомонился, и настала тишина, какой еще никогда не было. В конце длинного, как коридор, переулка бесшумно прошмыгнул черный автомобиль. Душераздирающе мякнул кот, послышалось царапанье когтей по толевой крыше старой деревянной пристройки, в которой дворник держал скребки и метлу. И снова все стихло. Вдоль всей линии домов, светлых внизу и темных сверху, черными тряпками на палках свисали флаги. Из черной тарелки напротив двух окон первого этажа, за которыми жил мальчик, падал на мостовую широкий конус света. Все спало, все оцепенело, и только бог его детства, дремучий старик, у которого росли отовсюду волосы — из носа, из ушей и из-под фетровой шляпы, — старик в лапсердаке, обутый в валенки, чтобы не простудиться, сидел на табуретке перед парадной дверью, под флагом, откашливался и харкал на весь переулок, растирая плевков. Потом раздалось ритмическое поскрипывание, прерываемое еле слышными возгласами, — старик пел молитву, раскачиваясь на табуретке.

И сейчас же из-за угла донесся глухой катящийся звук. Выехал некто широкоплечий, в военной фуражке грибом. А старец в это время прочищал ноздри в огромный платок, который он внимательно разглядывал, — он-таки простудился, — и на вопрос, заданный ему, ничего не ответил, а ограничился тем, что ткнул раза два через плечо большим пальцем. Приезжий стал втискиваться в парадное.

Давно все потухло и умерло в квартире, жильцы, сколько их было, лежали все по своим комнатам. В уборной затихал шум воды, журчало в бачке, да еще на кухне робко бежала вода из крана. И, кряхтя, елозили тряпкой под раковиной и медленно шаркали в коридор и возвращались, забыв что-то. И опять шаркали, влача на спине, как крышку от гроба, горб. Пискнула дверь. Марья Александровна, коммунальный домовый, в вязаной кофте поверх ночной рубашки, маленькая и сухонькая, с косичкой, торчащей из впадины на затылке, с большим ртом, вошла к себе в каморку, где на стенах сверху донизу мерцали, поблескивали стеклышками фотографии. Окно было задернуто. Комнату освещал фитилек, горевший в углу перед киотом в лампадке зеленого стекла. И два таких же тусклых, оцепенелых огонька теплились в ее взгляде, пока она сидела на кровати, охваченная забвеньем, свесив ноги в старых домашних туфлях.

Ей давно уже казалось, что кто-то вставляет ключ в замочную скважину. Вставляет и пробует повернуть. Внезапно она вспомнила, что забыла накинуть на ночь цепочку. Жильцы такие беспечные! Кроме нее, некому позаботиться. Давеча, выходя в уборную, она про-

верила запоры, но сейчас сомневалась, было ли это минувшей ночью или этой. А там всё тыкались ключом, примеряли его так и эдак. Она слушала, замирая от страха, боясь встать и пойти накинуть, пока еще не вошли.

Наконец, она набралась храбрости. Приподнялась с подушек, сама не помня, когда она успела лечь. Огонек все так же сверкал в углу перед киотом. Марья Александровна поплелась, ныряя сухой головкой, через комнату, вышла в коридор: слава Богу, цепочка была наде-та! Снаружи все стало тихо. Успокоенная, она потащилась обратно, точно старая домашняя черепаха. Огонек мигнул ей навстречу из далекого девичьего детства.

Какая длинная жизнь! Лет до шестнадцати, до восемнадцати она еще надеялась, что Бог пошлет ей жениха. Признаться ли? Ведь у нее все-таки был поклонник, длинный, долговязый мальчик чуть ли не вдвое выше ее, в очках, вот только никак она не может вспомнить; ограничилось ли поцелуем, а все остальное она выдумала, или было на самом деле? С удивительной ясностью она помнила разрозненные подробности, но общий смысл ускользал. Как странно, ведь она ни разу в жизни не была у врача и так и не знает, случилось ли это на самом деле или она себе насочиняла. Из этих крошечных подробностей, из двух-трех слов, из завитушек на бумаге, из того, что она сидела перед зеркалом с распущенными волосами, из безумной решимости и пустых, наполненных ожиданием дней, из ничего она сочинила роман своей жизни, и в него вошла вся Москва тех лет, так что нечего и пытаться сейчас решить, был ли мальчик в очках настоящим его героем или только поводом для мечтаний. Потом как-то очень быстро она смирилась со своей судьбой, хотела идти в монастырь, но поняла, что это в сущности не нужно. И как только почувствовала, что смирилась, все ее тело удивительно скоро увяло, превратилось в кубик, торчащий острыми гранями вперед и назад, и рот стал шире, и только ноги остались такими же красивыми и стройными. Она скрывала их под длинными черными платьями. На голове у нее в те времена красовался высокий, тронутый сединой шиньон. Она походила на важную директрису в пансионе для гномов.

Поздно, поздно! Сейчас она ляжет в свою кровать, — встанет ли? Кажется, Толстой писал на ночь: если буду жив. Если буду жива. Ах, о чем беспокоиться. Господь позовет, когда сочтет нужным. Слышно, как вода медленно капает из крана. Она уже лежит. Вот так, в ямке под горою подушек; какая, однако, отсыревшая простыня, как сыро сделалось в этом доме, этак и насморк схватить недолго. Сухая голова Марьи Александровны погрузилась в подушку. Подбородок уперся в грудь. Если буду жива. Отче наш, иже еси... И как раз в ту минуту, ко-

гда ее помертвелые девические губы, едва шевелясь, прошептали последние слова молитвы, — настойчивость того, кто с бесконечным терпением примерял ключ к замочной скважине, увенчалась успехом. Очнувшись, она отчетливо услышала, как дверь отомкнулась. Она не успела, да и не смогла бы ничего предпринять. Кто-то с мягким стуком ввалился в коридор.

Темной ночью, особенно глухой и темной оттого, что плотно задернутая штора отгородила ее от всего мира, далеко за полночь Марья Александровна, в ночной рубахе и кофте, с плотно сжатым лягушачьим ртом, с расширенными от страха глазами, держа в руках икону, сидела на кровати, составив окоченевшие ноги на скамеечке, готовая ко всему. Она лишилась речи и не могла позвать на помощь. Первая ее мысль была, что ее пришли арестовать. Значит, некого было и звать на помощь. Но почти сразу же стало ясно, что это кто-то другой. Медленно, пожалуй, слишком медленно растворилась дверь, точно к ней входил призрак; всколыхнулись тени, и это как-то помогло ей, отвлекло внимание: машинально оглянувшись в угол на лампадку, она с удивлением увидела там не лампадку, а свечу, правда, дешевую и недоброкачественную, как всё теперь, но всё же в комнате от нее было гораздо светлее. Она поразилась своей забывчивости. Открылась дверь, и в ней показалась человеческая фигура, впрочем, даже не человек, а полчеловека. Въехал инвалид на роликах, голова без шеи, он сосредоточенно работал могучими плечами. На нем была старая николаевская фуражка без кокарды. Шинель крест-накрест перетянута веревками и подвернута вниз. Он снял фуражку и утер подкладкой мокрый лоб. Она положила икону на подушку, ликом книзу. Она не верила своим глазам.

«Прикрой дверь, — сказала она. К ней вернулся дар речи. — Боже, как ты изменился».

Огонек свечи снова колыхнулся, и вся комната как будто пошатнулась. Инвалид прислушался. В кухне еле слышно чмокал кран.

«Да и ты, матушка, не блещешь красотой, — проговорил он. — Н-да».

Оба были смущены и молчали.

Он стал выпрастывать плечи из-под груза, висевшего у него за спиной. Мешок плюхнулся на пол.

Марья Александровна все еще не решалась слезть с кровати. Он так мучительно возился с веревками. Господи, подумала она, чего же я сижу? Надо встать, помочь. Но как же ему все-таки удалось войти? И как он ее разыскал? Она смотрела на него в упор, плотно сжав губы.

«Да тут старик один сидит, — усмехнулся гость, — израэлит какой-то. Не пойму, швейцар али ночной сторож? Впрочем, чего ж искать. Тут у вас почти ничего не изменилось. Разве что переулочек заасфальтировали, на мое счастье».

Так я и знала, подумала она, что цепочка не закрыта. Вот память.

«Насчет меня не бойся. Я у тебя не задержусь, передохну с полчасика и двинусь, никто и не узнает. Н-да. (Он вздохнул.) Привел-таки Бог встретиться. Ты думала, я помер? Я, точно, помер, расстрелян и похоронен, однако вот живу. Жив курилка. Ты извини, я закурю».

Он добыл из-за пазухи кисет, сложенную книжечкой газету. С необыкновенной зоркостью она углядела дореволюционный шрифт, увидела старую орфографию, ай-яй, какая неосторожность. Комната наполнилась табачным дымом. Она видела, как двигается его заросший щетиной подбородок.

Что он там говорит? — подумала она.

«Отсырела махра, — пробормотал он. Стал снова разжигать козью ножку, бумага вспыхнула, он закашлялся. — Князь Щёлоков, курва, проститутка... — он кашлял и ругался, — себе и шлюхе своей обеспечил место в салон-вагоне, а на других нас...ть! Представляешь?! Нет, ты только представь себе, Маша, — произнес он неожиданно с той давно забытой интонацией, от которой начало что-то медленно подниматься со дна ее души, и рука ее сама собой поднялась и зажала рот, а глаза все так же неподвижно смотрели на говорившего, — дождь льет подряд третьи сутки, а может, и десятые, дорога — сплошное месиво, ад кромешный. Люди оставляют в грязи сапоги, лошадей, повозки, наконец, совесть... Раненые лежат в грязи, да что там раненые. Вся Россия тонет, кверху колесами. Словом, видим такое дело, и — кто куда, к едреной фене».

Он слюнил палец, грязный, с черным ногтем, подмазывал самокрутку, торопливо затягивался, он спешил выложить ей свое, нисколько не думая о ней, не спрашивая, как она жила все это время, он говорил, не давая ей раскрыть рта, сквернословил, не уважая в ней не то что родную сестру, но хотя бы просто женщину...

«И я вот что тебе скажу: они правы. Да, правы тысячу раз, ослиный член им спереди и сзади... Кабы не они — ничего бы не осталось. Вся страна пошла бы с молотка, все до последней крохи скормили бы жидам, а русский мужик так и остался бы сидеть голой ж... в грязи, вот что я тебе скажу. Я, Маша, многое пересмотрел... Думаю, что и за границей кое-кто смотрит теперь на вещи по-иному.

Мы большевиков проклинали, а надо было им в ножки поклониться, словно новым варягам, придите, мол, и владейте нами. Мы

думали, дворянство — становой хребет России, ее честь, черта с два! Дворянство было и сплыло. В соплях своих захлебнулось. А Россия стала еще крепче! Ты думаешь, этот грузин, мать его, не понимает, чей жезл, чей скипетр он держит в руках? Не все ли равно, что они говорят, важно, что они делают». Ей все время хотелось задать ему один вопрос. «Сейчас, сейчас, — отмахнулся он. — Что я хотел сказать... — И вдруг закричал, гнусаво заблеял карикатурно искаженным голосом на базарный лад: — Марксизм! Ленинизм! Она-низм!.. Одни слова. Кимвал бряцающий... А Россия — вот! (Он выставил кулак.) Н-да!.. Дело не в народе, народ дерьмо. И не в дворянстве, дворянство — миф. Дело в том, ради чего все совершается в этой стране. А я тебе скажу! Ради того, что начал Иван Калита, продолжил Петр. И если никто, кроме большевиков, не смог, если никого не нашлось... что ж! Сойдут и большевики. В семнадцатом году образованный класс показал, на что он способен. Языком трепать... А народу дай волю, он пропьет к собачьей матери все царство. Вот тут они и приходят... Э, неважно, кто они такие! Они ведь только орудие. Они думают, что они строят новый мир, а на самом деле они орудие, да, для высшей цели, как Петр, как Иван Калита! Да, впрочем, уже не думают. (Инвалид махнул рукой.) Вот увидишь. Завтра, кха, наденут, кха, кха!.. наши погоны».

Он раскашлялся над вонючим тлеющим окурком, зажатым между двумя пальцами. Поднимет на ноги весь дом, подумала Марья Александровна.

Ее возмущало, что этот гость из прошлого, жалкий и страшный обрубок на колесиках, в котором она с трудом узнала помершего от испанки, а может, — как он сам сказал, — расстрелянного родного брата, которого помнила милым ясноглазым студентом, ее возмущало, что он не понимает, что ее интересует совсем другое! Точно будто после двадцатилетней разлуки нет другой темы для разговора, чем эта глупая и компрометантная философия об Иване Калите, России и тому подобных несуществующих, не имеющих отношения к жизни вещах. Точно вместе с половиной тела он потерял ощущение действительности. Разбудит жильцов, и разговора не получится. А ей так много нужно спросить у него, другого такого случая не будет. Ведь он мертв, в самом деле мертв, и когда кашляет так, что сердце надрывается, и когда грозит кулаком своему портрету, ну, конечно, ведь это он висит там в углу, в овальной рамке, чистенький мальчик в тужурке Московского университета, мамин любимчик, — все равно он мертв и его нет. Значит, правду говорят, что покойники являются с того света. А тот, неужели тоже погиб?.. Как, он сказал, его фамилия, этого князя в салон-вагоне?

«Щёлоков, — сказал инвалид мрачно. — Сука, проститутка...»

Она сидела с окоченевшими ногами, страдальчески улыбаясь и не сводя с него глаз. Вот так же вымученно улыбалась она много лет назад, когда при ней называли это имя.

Нет, решила она, не помню и не хочу вспоминать. И потом, тот был в очках.

«Не в очках, а в пенсне. Одно стекло разбилось, так он, представь себе, носил половинку. Длинный, как глиста. Я был длинный, а он еще длиннее. И губы красил. Ну что ты на меня уставилась? — крикнул он. — Ты-то уж, я полагаю, должна была его помнить!»

«Значит, — неожиданно для себя сказала она вслух, — ты затем и пришел, чтобы мне все это рассказать?»

«Выходит, что так», — усмехнулся гость.

«И ты тоже помнишь?»

«И я помню».

«Зачем же ты тут ораторствовал?»

«Знаешь, — сказал он, — у каждого свои заботы».

Марья Александровна взволнованно заерзала на постели.

«Ты прости меня, старуху, — заговорила она, — никак я не могу понять... Уж если об этом зашел разговор... Понимаешь, ведь у нас же с ним ничего не было, да и не могло быть.

Ведь я убогая, я... как это у вас говорится? Христова невеста. Я ни с кем, ни с кем!»

«Дура ты, — сказал он нагло и весело, — а если позабыла, то я тебе напомину. Он тебя взял в гостиной, вот и все».

Марья Александровна только трясла головою, прижимая к щекам ладони.

«...днем, часов в двенадцать, я зачем-то вернулся, не помню уж за чем. День был солнечный, вот это я помню, и с крыш капало. Когда же это было, Маша? Лет сорок назад? или уж все пятьдесят? Успокойся, я вас не застал... Я только увидел, что ты сидишь на софе, бледная, как мертвец, и глаза сверкают, а он стоит посреди комнаты с красными пятнами на щеках. Я сразу все понял. А он, этот твой князьинька, поднимает с полу очки, очки-то на полу валялись, возле дивана... и говорит, это я как сейчас помню: ах, это ты, говорит, Серж? а мы тут в буре играем. Но ты должна мне отдать справедливость: я тебе никогда ни словом не дал понять, что я догадался. Я и ему ничего не сказал, хотя знал, что он на тебе не женится».

Значит, все-таки в очках, а не в пенсне?

Он еще что-то пробормотал, но она не расслышала, словно по мере того, как таяла свечка, глохли и звуки. В каморке Марьи Александровны в самом деле становилось все темней, и она скорее угадывала,

чем различала висевшую прямо напротив нее фотографию, на которой сняты были трое: Сережа, «князинька» и еще какой-то кудрявый юноша, которого она уже не помнила. Нет, думала она, вытирая пальцами в углах глаз слезы. Ничего не было, я-то знаю. Все так, как он рассказывает, и у меня в самом деле сердце оборвалось, когда я услышала, что кто-то идет, но ведь он не знает, что было до этого. А что было? — спросила она себя. Да ничего не было. Не было настоящего чувства, несомненного, при котором «это» можно и отложить, когда «это» бережешь как подарок, приготовленный для любимого; а коли не было чувства, то «это» стало необходимым и неотложным. Я помню, в меня словно дьявол вселился. Я била, щипала его. Он думал, что я сопротивляюсь, а я била его со злости, вымещала на нем свою досаду за то, что такой недотепа... Ведь я врала, — продолжала она с ожесточением, врала, когда говорила себе, что так и не знаю, взял он меня или не взял. Ведь я и к доктору ходила, ну да, к этому знаменитому, как его, он принимал на Мясницкой. И что же? Врач сказал, прошу прощенья, мадемуазель, прежде чем вас исследовать, я должен знать, были ли вы замужем... именно так он выразился, удивительный лексикон! Я кивнула, а потом он мне объяснил, что с молодыми девушками так бывает: им «показалось», что они вышли замуж, «разумеется, с точки зрения анатомии», в чувства она не вдается, а фактически, кхм, до анатомии дело не дошло. Он даже позволил себе отпустить какую-то шутку насчет девы Марии. Я вспыхнула и назвала его пошляком...

Ноги совсем заledenели, надо бы сходить на кухню за грелкой. Ах, не нужен был и врач, она сама все знала без врача. Глаза ее блуждали по комнате, словно она пересчитывала свое убогое имущество: желтый самовар, ветхое кресло. Мамино кресло, единственная вещь, которую ей удалось спасти. И эти карточки, обступившие ее со всех сторон. Пускай у меня горб, думала она, и пусть я Богом обижена. Зато у него была горбатая душа. В ту самую минуту, когда он бросился поднимать с полу очки, вот тогда-то я и увидела, что у него душа горбатая... или это было пенсне? Поднял с полу и надел, даже не заметив, что надевает одну половинку. Вот почему они все погибли, подумала она без всякой связи, глядя на фотографии. У них были горбатые души.

«Баста! — вдруг произнес голос с порога. — Заболтался я тут с тобой...»

Очнувшись, она увидела, что он в фуражке и зацепляет верхний крючок шинели. Деревяшки, которыми он отталкивался, стояли наготове перед его тележкой.

Он начал было просовывать руки в лямки заплечного мешка: Но потом передумал, почесал в затылке и стал разматывать веревку.

«Все думаю, черт подери... еще протухнут».

Ужасно долго разматывал.

«Прости, Маша, — проговорил он озабоченно. (Она следила за ним со страхом. Язык не поворачивался спросить, что у него в мешке.) Ты бы не могла, кхм... устроить мне таз с водой?»

Таз? О, Господи! Что он еще придумал?

Согнувшись, он распутывал куль, из которого в самом деле шел тяжелый запах. Сначала он достал оттуда погоны. Когда-то золотые, они были теперь тусклые и помятые, в мокрых пятнах. Поплевав на них, он принялся чистить позолоту рукавом. Потом вытащил какую-то снедь в размокшей бумаге, понюхал...

Запах становился все сильнее, но она не могла понять, чем пахнет. Это был запах грязного солдатского мешка, нужды, кислого пота. Запах отсыревших лаптей, запах шпал и рельсов, змеящихся под тусклыми фонарями. Запах, идущий из тьмы товарных вагонов, по которым барабанит дождь. Запах горя, смерти, революции и Гражданской войны, Ах, когда же он, наконец, уберется, этот увечный, никакой он ей не брат!.. Она его не знает и знать не хочет. Надо встать и вызвать милицию,

«Уйду, не волнуйся, — бормотал инвалид, роясь в мешке. — Только взгляну, как там у меня, и пойду. — Он засмеялся. — А ты думала, я исчез навсегда, небось скрываешь, что у тебя родственничек деникинский офицер... Нет-с, мадемуазель, вашескорodie, ошибаетесь, от нас так просто не отделаетесь! Мы хоть и скovyрнулись с копыт, однако ж, вот, наслаждаемся вашим гостеприимством-с! Все мы... все мы тут... н-да».

«Таз, сука! — заорал он, — Где таз? Мне ноги мыть надо!»

И с омерзением, с ужасом, почти теряя сознание от удушливого трупного запаха, который пропитал всю комнату и, казалось, исходил от всех предметов, от кресла, от старых фотографий, даже от ее постели, с чувством внезапной и страшной догадки она увидела, что он вытаскивает из мешка одну за другой свои отрубленные ноги.

## 7. ПОЛУНОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

*(Продолжение)*

В ту же самую ночь — заметим, что рациональная теория сновидений должна обязательно учитывать влияние некоторых общих факторов, метеорологических или даже астрономических, иначе остается непонятным, почему в некий определенный момент сны посещают сразу всех, между тем как в другое время никому ничего не снится, — в ту же ночь Полина, домработница Ильи Ильича, видела нечто, оставившее отчетливый след в ее душе, хотя и малопонятное; когда она

попыталась рассказать свой сон мальчику, он засыпал ее вопросами, на которые она не сумела дать удовлетворительного ответа. Самое большее, на что она оказалась способной, это обрисовать внешнюю ситуацию; рассказ ее изобиловал реалистическими подробностями; наконец ей удалось более или менее вразумительно объяснить ему значение некоторых терминов, например, кто такой святитель. Но хотя подробности стояли, как галлюцинация, перед ее глазами, она не могла выразить, передать словами тот особенный фон, на котором разворачивался весь этот странный сюжет и который наполнял его, как ей казалось, глубоким смыслом. В нас всегда присутствует нечто, незаметно для нас сообщающее вещам гармонию и умиротворенность, либо, напротив, обнажающее их бессмысленность и пустоту.

Итак, она лежала за ситцевым пологом на своей узкой вдовьей кровати, в темноте, среди ночной тишины, которую равномерным гулким чмоканием отмечали падающие капли воды на кухне. Точно верстовые столбы, пересекающие пустыню. Она лежала на спине, положив левую руку на грудь, правая рука ее целомудренно покоилась на животе, прикрывая холмик волос, и голова слегка склонилась набок, словно голова убитой наповал. И вокруг нее разомкнулись стены прихожей, не стало лампочки под потолком, исчезли антресоли с велосипедными колесами. Одна занавеска осталась висеть на месте, но теперь она висела от стены до перегородки. За перегородкой сухо щелкали ходики и безостановочно стучали капли по крыше. Полина открыла глаза.

Она подумала, как хорошо спать в такую погоду, укрыться с головой ветхим ватным одеялом, и снова уснула. Но какой-то звук тормозил ее, не то звон капель, не то щелканье ходиков. Она проснулась окончательно, это был лай.

Она была еще молодой и ловкой и легко спрыгнула с шаткой деревянной приступки, прислоненной к печи. В отцовском зипуне, сапогах и в платке, держа в руках двустволку, вышла на крыльцо и направилась вниз к озеру, вдоль тускло поблескивающей тропы, вместе с повизгивающим псом, вглядываясь во мглу и не понимая, что там происходит.

Там никого не было. Несколько лодок, полных воды, стояли у берега. Пес Спирька прыгнул в лодку, пробрался на корму и сел. Тогда она заметила, на том берегу стоит человек, похоже, полураздетый, машет руками. Хлюпая сапогами в воде, она обошла лодку, нашарила под скамейкой жестяную банку и стала вычерпывать воду. Села за весла, мокрую юбку заткнула между ногами. Кобель смирно сидел на корме. Дождь стал как будто тише. Подъехали, мужик, поджидавший их, был в длинном белом балахоне, в лаптях, с сумой на ремешке, не

то странник, не то сбежал из больницы. На обратном пути почти не разговаривали, слышался плеск весел, скрип уключин, пес, весь мокрый от леговших на него брызг, переступал лапами, не сводя глаз с воды, медленно набравшейся в лодку. «Как кличут-то?»

«Спиридон», — ответила она равнодушно. «Имя вроде не собачье», — заметил ездок. Она обернулась, подняв левое весло, а правым табаня. Лодка начала разворачиваться, причалили. Спирька прыгнул на берег. Стали рассчитывать.

«Не надо, — сказала Полина. — У нас тут все даром перевозят».

«А ты сиди, милый, сиди», — сказал странник, и пес покорно опустил зад на траву, и больше она его не видела. Становилось как будто светлее, дождь еле моросил.

«Как же так. За труд надобно платить».

«Не надо», — повторила она и отвернулась.

Она подняла на него глаза.

На мгновение лицо странника показалось ей юным и прекрасным. Темные глаза в провалах орбит блестели, как вода на дне глубоких колодцев. Но сейчас же их блеск потух, теперь это был снова немолодой, утомленный жизнью мужик с глубокими складками на щеках и мокрой, торчащей клочками бородой. Над головой странника, вокруг лысого лба стояло тусклое сияние.

Ба, вот оно что, подумала она растерянно, И рубаха белая...

Она хотела встать на колени. Мужик остановил ее.

«Спасибо тебе за перевоз, — промолвил он, — я перед тобой в долгу. Не хочешь брать денег, скажи, может, чем другим тебе отплачу. Тебя как зовут?»

Она назвалась.

«Ну вот, Полина. Скажи, чего желаешь».

Она молчала, закусив угол платка.

«Ужли ты от жизни ничего не ждешь?» Она молчала.

Подождав, он спросил мягко: «Это твоя изба? Может, хочешь новую?..» И она снова замотала головой.

Тогда он стал расспрашивать ее внимательно на нее глядя с высоты своего роста, составив ноги в лаптях и держа руку на холщевой суме. Она отвечала, опустив голову, изба эта не ее, а отца, отец помер, а сама она жила в другой деревне верст за сорок отсюда.

Когда была коллективизация, ее мужик пришел на собрание в клуб сильно поддавши, вылез на трибуну и стал стыдить начальство, сидевшее за столом, обозвал их последними словами, а потом подошел к гипсовой голове, она стояла в углу, и плюнул на нее. И его тут же забрали, повели под руки два милиционера, один ударил его по голове, а кругом все смотрели, и никто слова не сказал. Сама-то она не

видала, лежала дома со своей женской болезнью, из-за которой у них и детей не было. Спасибо, добрые люди предупредили: мальчишка соседский прибежал. Она скрывалась, потом перебралась сюда.

«Зачем же ты, Полина, все это вспоминаешь?»

«Как же не помнить».

«А вот я сделаю так, что ты забудешь, — сказал он. — Тебе о будущем надо думать. Ведь ты не старая, у тебя все впереди».

«Нет, — пробормотала она, — ничего мне больше не надо. Об одном прошу Бога».

«О чем же?»

«Пускай пошлет мне легкую смерть».

Поднялся ветер с озера, заколыхалась занавеска, ей стало холодно, она повернулась на бок, натянула одеяло. Дождь капал, стучал по крыше, по траве, и белый странник смутно улыбался, устремив на нее мерцающие в темных провалах глаза.

«Легкую смерть? — сказал он. — Иди, Полина, иди».

Она повернулась и пошла вверх по тропинке.

«Стой. А теперь обернись».

Она посмотрела назад — на тропинке, где она только что прошла, шагах в десяти от нее темнело что-то: человеческое тело. Она быстро подошла, нагнулась.

Это была она сама, лежавшая поперек дороги с раскинутыми руками, убитая наповал, с выражением спокойного удовлетворения на лице.

Ночью Илья Ильич разговаривал с женой.

Он лежал с закрытыми глазами, а она в это время бесшумно двигалась по комнате, прибирая какие-то вещи, нашла на полу валявшиеся чулки мальчика, натянула на руку: чулок был аккуратно заштопан. Она развесила их на батарее.

«Который час?» — спросил Илья Ильич, не открывая глаз. Мальчик лежал рядом, зарывшись в одеяло, лицом к стене.

«Это ты?» — спросил он снова.

«Спи, — ответила она, — Тебе завтра рано вставать».

«А ты?»

«Посижу и пойду».

«Как это ты ухитрилась, — сказал он, приподнимаясь на подушке, — войти так, что никто не услышал? Как тебе вообще удастся снять цепочку... и тому подобное?..»

В лицо ему через узкую щель между гардинами светил фонарь. Жена сидела в кресле, он не различал ее лица, но видел улыбку.

«Ты неплохо выглядишь. Пожалуй, помолодел!»

«Это ночью так кажется», — оправдывался он.

«Давай закроем форточку».

Через мгновение она снова сидела перед кроватью, зябко запахнув халатик. Он вспомнил, что ей всегда было холодно.

«Вечно ты мерзнешь», — сказал он.

«Мы с тобой не изменились».

«Не знаю, — проговорил Илья Ильич, — ты, наверное, ждешь от меня подробного рассказа. А что, собственно, рассказывать? Жизнь идет. И в то же время стоит на месте. Никаких новостей. А... как твои дела?» — спросил он упавшим голосом.

Она улыбнулась и пожала плечами.

«Извини, — сказал он, — я до сих пор не собрался вставить приличный портрет. Эта фотография... она уже пожелтела. Хотя в сущности прошло так мало времени. Что я хотел сказать? Там есть мастерская, где можно заказать на фарфоре... Представь себе, вечно закрыто. То ремонт, то переучет».

«Боже, какая чепуха. Плюнь на этот портрет, кому он нужен?»

«Да, но все-таки».

«Мы отклонились. Как он?»

«Ничего. Ужасно ленится. Неплохие способности, но заставить лишние полчаса позаниматься — целая история. Полина его слишком балует».

«Я рада, что у него есть слух».

«Да, это у него от тебя. Вообще-то он мало на тебя похож. Разве что голос... иногда прямо твои интонации. Слушай, Роза, — сказал Илья Ильич, — мне надо с тобой поговорить. Я, пожалуй, встану».

«Боже сохрани. Разбудишь мальчика».

«Ты на меня сердисься, да?»

«Как тебе сказать: я все-таки женщина. Кто она такая?»

«Она русская. Вернее, наполовину русская, а наполовину...»

«Это не имеет значения».

«Ну вот, — обрадовался Илья Ильич, — а я что говорю? Больше было бы таких браков, меньше было бы антисемитизма!»

«Поэтому ты и женишься?»

«Я сам все понимаю, — буркнул он. — Отлично понимаю и отдаю себе отчет. — Он стал загибать на пальцах: — Не еврейка, раз. Два: ребенок».

«Тоже мальчик?»

«Девочка... Лет пяти или что-то в этом роде. Впрочем, это-то как раз неважно: девочку забрали родители мужа и все равно не отдадут, даже если бы мать этого захотела».

«Жаль. Лучше было бы, если бы вы соединили детей».

«Да? — задумчиво произнес Илья Ильич. — Ты так думаешь?»

«Ей захочется иметь своего ребенка. Мальчику от этого будет хуже».

«Неужели тебе непонятно, — сказал он, — ребенок носит его фамилию. Его фамилию».

«А она? У нее тоже эта фамилия?»

«Нет, конечно. Разве я тебе не сказал? Она развелась».

Жена по-прежнему сидела перед ним в том самом кресле, где когда-то, обложенная подушками, просиживала целые ночи. Он отчетливо видел ее поблескивающие в полутьме волосы. Видел даже выражение лица, хотя самого лица не различал. В сущности, все ее вопросы были риторическими, она и так все знала. Она знала обо всем, но он долгие был как-то прояснить все это и оправдаться.

Что тут удивительного? — хотел он ей сказать. Ты же знаешь, что кругом творится. Он прислушался и, наклонившись, быстро что-то зашептал.

«Вот видишь, — сказал он. — А ты говоришь. Сейчас все так делают. Сейчас даже вызывают и заставляют, слышишь, заставляют подавать на развод. И слава Богу, слава Богу, что хоть не арестовывают, не ссылают! И что в конце концов меняется, скажи на милость? Кому будет хуже оттого, что она развелась? мужу? Да его и в живых-то наверняка уже нет. Люди исчезают, как пыль, как...»

Помолчали.

«Да, да, да, — сказал он скучно. — Да. Я все понимаю, и Фира совершенно права. В такой обстановке это просто безумие. Мало того, что у нас в квартире, под носом, живет бывшая дворянка, я еще собираюсь связать свою жизнь с бывшей женой врага народа». Слова эти, как очистки, сами собой слетали с языка.

Он с отворачиванием вытер губы. Чем больше он оправдывался, чем больше счищал с себя эту грязь, тем больше чувствовал себя испачканным. Его оправдания были хуже самого поступка.

Он вдруг почувствовал, что существует солидарность мертвых. Они там все заодно. Жены и мужья...

Он пробормотал:

«Она сама не лучше».

«Кто?» — спросили из тьмы.

«Эсфирь. Ты помнишь ее мужа, ведь он тоже. И ее сразу же выслали. Потом она вернулась. Это было через полгода после того, как ты... ну, словом, уже после тебя. Ты думаешь, почему она вернулась? Потому что развелась, официально. У нее теперь девичья фамилия...»

Такая же, как у тебя, хотел он сказать, и заплакал.

«Илья, — сказала она, помолчав, — скажи мне откровенно. Ты ее любишь? Или просто... соскучился без женщины?»

Илья Ильич смотрел на никелированные шары в ногах кровати.

«Не знаю, — проговорил он. — Может быть, это и есть самое главное препятствие, Я смотрю на нее и вижу ее без платья».

«Вы уже?..»

«Да».

«Но имей в виду, — услышал он ее голос. — Мальчик останется со мной».

«Как это? — спросил он тревожно. — Почему это?»

Ему показалось, что она медленно растворяется в темноте, но в эту минуту свет фар проехал по потолку, и он убедился, что она еще здесь.

«Потому что дети всегда остаются с мертвыми, — сказал голос, — потому что они их продолжение. Он с тобой, пока я с тобой. А если ты от меня уйдешь...»

Ну, конечно! Мертвым хорошо: они всегда правы. «Но ведь это несправедливо!» — хотел крикнуть Илья Ильич, а на самом деле тяжелый хрип вырвался из его груди. Губы не слушались, слова застряли в горле. Впрочем, они были уже не нужны, ночной разговор окончился ничем, как все разговоры: ничего не прояснив, ничего не доказав. Но, Бог мой, кому и когда помогали доказательства?..

Так закончилась эта ночь, — быть может, не единственная, — когда в сумраке и тишине спящего города, лучшего города на земле, как его называли, где одно единственное окно на небе светилось до рассвета, и за этим окном расхаживал лучший и величайший человек на земле, это был свет его лампы, он один бодрствовал, а все спали, — когда в тишине оцепеневшего города, друг за другом, появлялись из-за угла, входили в подьезды, поднимались по маршам и отпирали квартиры заботливо припасенными ключами те, кого уже не было. Они заглядывали в комнаты, останавливались на пороге или садились на край кровати. Их не нужно было бояться. Они были мертвые, несуществующие, сгоревшие в огне, распавшиеся в ямах на лагерных полях захоронения, выскобленные из документов, бессильные что-либо предпринять, бессильные помочь; в худшем случае их можно было стыдиться, в лучшем — не поминать лихом. Они входили. И навстречу им поднимались с подушек, устремляли на них молочные, застланные сном, незрячие глаза те, чья жизнь была в некотором смысле оплачена их исчезновением. Но мудрость мертвых — как и их назойливость — была настолько же безобидной, как и бесполезной; весь урок

их воскресения пропал с наступлением дня; люди поднимались со смутным ощущением тяжести на душе, но без малейшей памяти об их приходе. — Так прошла эта ночь. Над городом сверкала заря. Полина встала и поплелась на кухню. Нехотя поднялся отец. Каждый нес в себе сознание тайны, неведомой для него самого. Теперь тот, кто бессонной тенью бодрствовал в своем окне над Москвой, мог прилечь; говорили, что он так и делает. Наступил новый день, и мальчик, единственный праведник, кому ни один загробный гость не докучал полужночной беседой, проснулся для новых дел, мыслей и тревог.

## 8. ВИЗИТ К ДАМЕ

Существовало две области умолчаний. Первая — наружный мир, в котором кое-как еще можно было разобраться. Разумеется, никто открыто не посягал на священные реликвии, как-то портреты и прочее, ни единым словом или усмешкой не подвергал сомнению речи и лозунги. Но мальчик давно догадался, что с этим миром дело обстоит не вполне благополучно. Он впивался зрачками, как иглами, в лица взрослых, — они оставались невозмутимы, лица подданных, глядящих на голого короля. Следуя правилам этой игры, он не имел права ставить вопросы в лоб. Неясной оставалась принципиальная позиция отца, за кого он — за красных или за белых? Присоединял ли он себя к достохвальной общности, именуемой «мы, трудящиеся», или сторонился ее? Было бы странно перечить голосу, который звал со шкафа, он явно рассчитывал на отклик; тем не менее, однажды, в ответ на какой-то выкрик, отец буркнул: не время, а безвременье. Последовал любопытный разговор о сущности феномена, называемого временем: отец счел нужным придать ему отвлеченный смысл. По его словам, речь шла о времени, которое показывают часы. Ну и что же? А то, что стрелки могут остановиться, но это не значит, что время стоит на месте. А вот когда останавливается время...

Тетка — из другой комнаты: «Перестань морочить голову ребенку!» Мало того, что «та» отравляет его мозги религиозными сказками, так он еще! Тетка критиковала фольклор Полины одновременно слева и справа: сказки подлежали осуждению и как антисоветские, и как «гойские». Словом, самая неясность этого мира несообразностей, навязанных кем-то правил и неискренность фраз странным образом делала ясным его неблагополучие. Но он был ничто по сравнению с другой областью, с наглухо засекреченным миром недомолвок, скрывавших внутреннюю жизнь этих людей.

Мальчик не сразу понял, что речь идет о красивой даме с шестого этажа. Отец пришел с работы рано, небрежно осведомился о занятиях

музыкой. Новый учитель все еще не был подыскан, следовало повторять старые упражнения. Пообедав, отец стал ходить по комнате. Полина бесконечно долго обмывала тарелки в полоскательнице.

Отец заговорил, и, значит, слова его отчасти предназначались для нее, — мальчик почувствовал это, как он чувствовал многое, не отдавая себе отчета, что это значит.

Он всегда хорошо понимал правила игры, хотя это вовсе не значило, что ему ясен их смысл. Как глухонемой, который смотрит кино, он ясно видел расстановку действующих лиц, улавливал нюансы их чувств. Но не понимал, о чем они собственно хлопочут.

Отец говорил длинно, Полина мыла посуду, много раз ополаскивая одну и ту же тарелку, и как будто хотела ободрить отца, показать, что то, о чем он все еще не решается сказать, уже как бы решено общим согласием взрослых. Но мальчику казалось, что отец оправдывается перед ней за то, что не сказал ей об этом раньше. Он обращался к мальчику, но говорил для них обоих. «Вот что, — сказал отец, называя мальчика по имени и поглаживая его руку своей широкой рукой. — Я бы хотел поговорить с тобой об одном деле...» И еще долго говорил о том, как бы он хотел с ним поговорить. Поговорить об одном деле. Дело это серьезное, и от него, можно сказать, зависит вся их жизнь.

«...понимаешь?»

«Да», — сказал мальчик, хотя пока еще ничего не было понятно. Но понимать значило для него войти в ту особенную атмосферу близости, которая создавалась чинным сидением друг против друга на диване, тихим и значительным голосом отца, ровным светом лампы. Мальчик был горд и счастлив, что с ним беседуют, как с равным. И не все ли равно, о чем?

«Значит, так, — вздохнул отец и нахмурился, как он делал, когда умножал трехзначное число на трехзначное. — Вот что я тебе хочу сообщить...»

«А я знаю», — вдруг сказал мальчик.

«Что ты знаешь?»

«Что ты мне хочешь сообщить... Про это, да?»

«Ну да, — неуверенно произнес отец. — Откуда ты знаешь?»

«Мне Полина сказала», — ответил мальчик и принялся болтать ногами.

«Да ты что! — Полина сняла с плеча полотенце. — Когда это я тебе говорила?» Отец опустил глаза, остановил ее жестом. Но уже что-то переменялось.

Исчезла атмосфера тихой серьезности, и не было больше равенства. Инстинкт подсказал мальчику, что равенство будет для него болезненным; а отец этого не понимал и надеялся продолжать в том же духе. Тщетно: мальчик предпочитал быть маленьким.

«Сиди ты, ради Бога, спокойно. Какой разболтанный», — сказала Полина.

(В этих словах заключалось указание, что отнюдь не она — причина этой разболтанности. Всегдашняя манера взрослых говорить одно, а подразумевать нечто совсем другое.)

Еще непонятно было, лучше или хуже это новое настроение. Впрочем, ясно, что не к добру. Под мальчиком медленно сжималась пружина, чтобы тем сильнее подбросить его; неудержимо захотелось пройтись гоголем, прогромыхать дерзкое слово. Но и жалко было — тишины и одинокого отца.

Отец сидел в прежней позе, сцепив пальцы на колене.

«Останьтесь», — сказал он, не глядя на Полину: она было двинулась с полоскательницей на кухню. Мальчик болтал ногами, глаза его блуждали.

«У каждого ребенка, — сказал отец, — должна быть мать».

Он замолчал, ожидая ответа.

«А у тебя?»

«Что у меня?»

«У тебя, когда ты был ребенком, была?»

«Разумеется», — сказал отец.

«Она тебя родила?»

«Да».

Полина с полоскательницей в руках позвала мальчика.

«Что значит — родила?» — спросил он.

Полина снова позвала.

«Ну, чего тебе?» — он скорчил недовольную гримасу.

«Ужинать, — сказала она, — мой руки».

(Пожалей ты его, вот что она хотела сказать.)

«Да ну тебя», — сказал мальчик и запрыгал на одной ножке через всю комнату. Повернулся, балансируя.

«Зачем она нам?» — спросил он, качаясь на одной ноге и выставив ладони, на которые нужно было положить ответ.

«Видишь ли, — отец уперся руками о колени. — Видишь ли...»

Он взглянул на сына и увидел в глазах у него искры, предвещавшие недоброе. Бес, хорошо знакомый домашним, готовился овладеть им.

«Ну-ка, живо, — сказал отец, нахмурясь. — Мыть руки и за стол».

Мальчик отступал, набычившись, он маршировал назад, к дверям, и грозно мурлыкал военный марш. «Б-х-х!» — он изобразил разорвавшийся снаряд.

«Кому говорю!» — повысил голос отец.

Ответом было презрительное молчание. Выхватив саблю, мальчик вылетел в коридор, на ходу прищипывая взмыленного иноходца.

«Вот видишь! А я что говорил? Так тебе и надо». Седобородый Бог детства злорадно потирал руки.

«Он глуп», — сказал Илья Ильич мрачно.

«Я бы этого не сказал! Но еще не поздно передумать. А? Верно я говорю, Полина?»

Полины в комнате не было, она отправилась за мальчиком.

«Глупости, — возразил Илья Ильич. — Я же не врага в дом привожу. У ребенка должна быть мать».

«Те-те-те, — передразнил старик, — знаем мы эти песни. Азóхэн-вэй! Уж если так приспичило, так разве Полина ему не мать? Вот на ней и женись».

Помолчали.

«Ты думаешь, Полина...»

«Перестань, — сказал отец. — Глупости какие».

Он расхаживал по комнате, повторяя про себя: «Глупости, одни сплошные глупости».

«Ма, расскажи историю».

«Нечего мне рассказывать, все рассказала».

«Ну, ма».

«Ничего я не знаю. Отстань».

«Ты хочешь со мной поссориться? Скажи: хочешь, чтоб я на тебя рассердился?»

«Да, — сказала Полина. — Хочу, чтоб ты рассердился».

«Ну что ж, — проговорил он зловеще. — Где моя сабля? Где мой ятаган?»

Он расхаживал по комнате, постепенно обрастая оружием.

В конце концов он оказался верхом на коне, закованный с ног до головы в железо. Двуручный меч — над головой.

«Рассказывай! — или голову с плеч».

«Ах ты, страсть какая. Уж ладно, смилуйся».

Он спешился. Свита увела коня.

Странное, тревожное время наступало для мальчика; оно бывает в жизни каждого. Старинные романисты называли его пробуждением. Но пробуждением от чего? Конечно, не от пресловутого «золотого сна»; дети видят мир так же ясно, как и взрослые.

Все самое важное в нашей душе происходит тайно; догадки, решения — все это лишь некое санкционирование того, что уже свершилось. Так женщина узнает о том, что она беременна, но когда, в какой момент произошло зачатие, не знает. Перелом, происходивший в жизни мальчика, можно было бы назвать крушением телеологического мифа: идея целесообразности всего сущего незаметно уступала место в

его уме чему-то другому. Он уже отвыкал задавать вечный вопрос: для чего? Для чего идет дождь? Чтобы напоить землю. Для чего педали у пианино? Ему объяснили, для чего правая; назначение левой педали было менее понятным, но в конце концов это можно было объяснить некомпетентностью тех, кто взялся объяснять. До определенного момента вещи и обстоятельства не могли нести ответственности за то, что взрослые не умели на своем водянистом, полном всяческих «видишь ли...» языке объяснить их цель. Еще вчера мальчик был обитателем расчищенного и обжитого континента целесообразности, где на все «для чего» и «зачем» существовал точный ответ. Все вещи, словно под влиянием магнитного поля, были ориентированы в сторону некоторого абсолютного центра. Так было вчера. Так по-видимому, обстояло дело и сегодня. Но уже завтра он оставит этот берег, завтра мальчик поймет, что на каждом шагу мир полон прорех. Вокруг, как волчьи ямы, зияют бездонные «ни для чего». Пройдет много времени, он увидит, что на дне этих провалов лежит «для чего-то», придет позднее сознание неведомого смысла, но никогда он уже не вернется к былой самоочевидности разумного мира.

Сам того не ведая, он начал скользить вниз. Он деградировал! Еще он находил удовольствие в том, что для большинства взрослых давно осталось за пределами жизни; неправдоподобие этих историй, наивное, ничем не замаскированное, не смущало его, он понимал, что правила игры запрещают спрашивать, как это Иисус мог шагать по морю, вернуть к жизни умершего; но смысл и цель этих подвигов, еще недавно вполне очевидные, становились для него все темнее. А потом и вовсе стали ему безразличны.

«Еще», — сказал мальчик, подумав.

«Чего тебе еще?»

«Еще расскажи».

«Ну вот что, — заявляет Полина, — хорошего понемножку. Тебе спать пора. Эвон, сколько времени: отец сейчас придет. А на скрипке ты занимался? Что-то я не помню».

После этого она переходит к следующему номеру, такому же заграничному, но она принадлежит к тем исполнителям, которые предпочитают беспроектную классику сомнительному модерну. Она восседает в старом продавленном кресле, где сидела когда-то другая женщина, ее голос звучит однообразно и успокоительно, как рокот неспешных вод, она вынимает из головы шпильку и почесывает ею затылок, под узелком волос.

«Нечего, говорят, нам туда ходить, нас там убьют и забросают камнями. Не пойдем и тебе не советуем. Все равно, говорят, — он уже помер».

А он им все свое. Вот, думают, упрямый. Ну, делать нечего, пошли они...

В это время прибегает к Марфе мальчишка ихний соседский и говорит: они там, за околицей, только боятся, как бы их кирпичами не забросали. Тогда она сама к ним пошла, подходит и говорит, вот если бы ты тогда с нами остался, мой брат бы не помер... Он и спрашивает: куды вы его положили? — А в погреб. — Проведи меня, хочу на него поглядеть. — Чего ж глядеть-то, батюшка? от него, чай, уж пахнет. — Все равно, говорит, проведи.

Ты, говорит, Марфа, не плачь, не горюй. (А у самого слезы так и текут.) Воскреснет твой брат. Она ему отвечает: да, воскреснет, небось, в Судный день, когда все мертвые встанут? Слыхали мы это. Господь на нее взглянул и сказал: напрасно ты, Марфа, сомневаешься, аз есмь воскресение и жизнь. Кто в меня верует, тот спасется».

Мальчик видит что-то вроде огорода, белое от зноя небо, и телега пылит вдаль. Вдруг со стороны улицы слышатся рев, топот, злобные выкрики, целая толпа бежит с палками, с ременными кнутами, а у некоторых камни в руках. Подбегают к нему, к ученикам, шумно дышат, задние насаждают на передних. И вот он стоит посреди красных, потных, недобрых лиц, в толпе бородатых евреев, похожих на русских крестьян, стоит этот чудак-человек — высокий, с костлявым лицом. Тяжкий зной и насупленные взгляды давят его стопудовой тяжестью. Вдруг не получится? Вдруг его счастье ему изменит на этот раз? Он ни на кого не смотрит, он смотрит на камень, которым приперта дверь в погреб. А кругом — бурьян, подсолнухи, а вдаль телега пылит по дороге. Тускло блещет оловянное небо, ни облачка, ни ветерка. Лето в полном разгаре. Страшное, смертоносное лето. Сейчас все решится, сейчас все или поверят в него, поверят бесповоротно, до конца, или проломают голову. Не блуди языком, не будоражь людей.

Он что-то говорит, но не слышно. Апостолы переглядываются, один грызет травинку, другой бороду чешет. Хриплым пересохшим голосом он приказывает отвалить камень. Никто ни с места.

Тут как назло начинают хлопать крыльями и петть петухи, один за другим, во все горло, с разных концов деревни.

Наконец, два мужика помоложе выходят и оттаскивают молча валун.

Он очистил горло. Приставляет ладони ко рту:

— Э-эй! Лазарь!

Молчание. Петух издали: кукареку...

Снова набирает в грудь воздух.

— Выходи!

Потом что-то скрипит. Это скрипит дверь. Визжат старые скрепы. Толпа стоит, открыв рот. Из черного подземелья выходит мертвец. В саване, голова замотана. Шаря впереди протянутой рукой, а другой загородившись от солнца, Лазарь вылезает на свет Божий из погребца. Пот течет по лицу Иисуса. Тяжко, знойно! Тридцать два градуса в тени.

И мальчик прыгает на одной ножке.

Мальчик прыгает, задача — пересечь комнату без остановки туда и обратно. Какое впечатление произвел на него рассказ, сказать трудно.

«Ма... — Он доскакал до угла и балансирует, не касаясь стены. — А что такое аз есмь?»

Визит к даме, обитавшей на шестом этаже, состоялся в один из ближайших выходных дней,— кажется, это было уже после того, как была учреждена семидневная неделя и забытые христианские названия снова дошли в ход, — хотя ничто, кроме названий, не могло уже воскреснуть,— итак, визит состоялся в одно из воскресений, и вечером этого дня, и потом, через много лет, он не мог понять, почему безделушки, наполнявшие ее комнату, все эти статуэтки, пудреницы, китайские веера, игрушечные шкафчики с уголками из перламутра и портреты томных танцовщиц, здесь и там асимметрично развешанные по стенам, почему вся ее комната, похожая на коробочку, возбуждала с самого начала неопределенную неприязнь, недоверие и тревогу. Точно вещи были виноваты в том, что произошло позднее; точно он был одарен удивительным в его возрасте предчувствием; в самом деле, это могло быть предчувствием; но спустя тридцать лет обратный ход лучей легко мог ввести в заблуждение, то, что он приписывал себе тогдашнему, могло оказаться обычным артефактом памяти. В действительности дело обстояло иначе, чуточку иной поворот: вещи — картинки и статуэтки — не вплетались в ритмичный хоровод окружавших мальчика предметов и запахов, они были случайны; несчастный Тельман, в пятнах мух, был ему роднее; они были иномязычны и враждебны, их жеманность коробила его, смущая в нем маленького мужчину, перламутровые уголки хотелось отколупнуть ногтями, — что он чуть было и не сделал, — бархатный олень, распластавшийся над нагло-скромной кроватью, глядел в пространство неестественными цветами глаз, смущал и сбивал с толку. Так, лежа на спине с открытыми глазами (дверь в первую комнату была прикрыта, там журчало радио, и отец, он знал, сидит за столом с развернутой газетой), мальчик вспоминал весь этот день, раздражавший его пестрой мешаниной бессвязных мелочей, дразнивший блеском перламутра, отполированных ногтей, серебряного чайника, который она несла, постукивая туфельками.

Но сама дама была прелесть — высокая, с узкой спиной и какой-то пеной из взбитого шелка спереди, чернобровая, с необычайным сиянием волос, но не темных, как у матери, а бело-золотистых, воздушных, и коричневые, горячие глаза ее странно отличались от светлой охры этих волос. Голос дамы, грудной и переливчатый, ворковал в ушах, распространяя аромат духов, мгновение — и теплые руки окружили его, она присела на корточки, и он почувствовал покусение на свою свободу, когда она привлекла его к своей теплой груди и стала щекотать губами уши. Он почувствовал все коварство этого щекотания. И конфет он не любил. Как это обыкновенно бывало с ним, мальчик не запомнил, что она говорила ему, не помнил и того, о чем она разговаривала с отцом, — кажется, о нем же, — но помнил звук голоса, влажные зубы и горячие глаза, которыми она моргала, пожалуй, слишком часто, то есть помнил то, что, в сущности, и было настоящим важным; он запомнил, что дама была доброй, надо отдать ей справедливость: не рассердилась, когда он что-то нарушил на этажерке, посыпались какие-то карточки, покатила по полу большая серебряная монета.

И не жадной: готова была подарить ему и эту монету (и он чуть было не взял), и что угодно.

И все же — «не пойти ли нам к тете Нонне, м-м?» — когда отец спросил в следующее воскресенье, словно не было между ними молчаливого уговора, что выходной принадлежит только мальчику и больше никому, словно такого закона никогда не существовало, — когда он так спросил, ответ был немедленным и безапелляционным: — «Нет». Этим мальчик хотел сказать, что с дамой покончено — раз и навсегда. Случайному не было места в их полной, гармоничной и самодостаточной жизни, и с цветастым оленем, с китайскими шкафчиками, с серебряным чайником на подносе, со всем этим было покончено. «Чудак, ты на нее сердит?» — сказал отец и щелкнул его по носу. Он стоял перед зеркалом, завязывая вишневый с черными ромбиками галстук. Впервые между ними протянулась, словно запретная полоса, двойная недоговоренность, оба молчали, каждый за своей сеткой из проволоки: отец — желая сделать происходящее само собой разумеющимся, сын — потому что не признавал его, не признавал за случившимся никаких прав, никакого статуса реальности.

Между тем, по мере того как общественность стала проявлять интерес к даме с шестого этажа, выяснилось, что все главное о ней уже известно. Все было известно, хотя никто ничего не видел, не знал, не слышал и никого не расспрашивал. Но подобные вещи распространяются по особым каналам, сходным с телепатическими, они, так сказать, разглашаются молча. Подобные вещи становятся очевидностью

без каких-либо объяснений, аналогично некоторым другим фактам человеческой жизни, последствия которых налицо, но о том, что их вызвало, распространяться не принято: как например, факт беременности. — Было известно, что муж у этой дамы «сидит» (мальчик представлял себе согбенного человека, сидящего на стульчаке), и разумеется, сидит недаром, обстоятельство, в известной мере аналогичное случаю бубонной чумы у вас в доме, однако, как и положено в таких случаях, проведена дезинфекция, иначе говоря, соответствующее лицо заявило о своем полном прекращении отношений с врагом народа и его дочерью, — как, где, каким образом заявило, никто не знал, но заявило. И таким образом перестало быть опасным для окружающих — хотя кто знает. Так или иначе, этот факт не мог не бросать особого света на предполагаемое замужество. Удивлялись легкомыслию Ильи Ильича. Возникла версия — косвенно реабилитирующая его, — что дама уже в интересном положении и как честный человек он не находит другого выхода. Тем более что она — согласно той же версии — не растерялась и написала заявление по месту его работы. Другой на его месте тоже написал бы куда надо, и ее бы выслали из города в двадцать четыре часа. Сожалели о мальчишке. На кухне, в угасающих сумерках долгого весеннего дня, мальчик, упершись затылком в Полинин живот, слушал тонкие замечания о лакированных ногтях и пергидроле, и о том, что ребенку нужна мать, а не... Полина защищала даму. На что соседка, Анфиса Федоровна, женщина с заячьей губой, чем, возможно, и объяснялась ее принципиальность, решительно возражала, что она не представляет, как это такая «принцесса» окунет свои пальчики в корыто. Что касается всеведущего Бога, Иеговы его детства, вечно торчащего на кухне, то и он был не прочь принять участие в обсуждении, мог бы даже кое-что добавить из того, что относилось к сфере его всеведения, кое о чем рассказать, например о том, что на прошлой неделе, ночью, в годовщину своего исчезновения, бывший жилец вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. И что как раз в это время наверху, на площадке шестого этажа показался Илья Ильич. Гость, услышав шаги, моментально испарился, исчез, как это обычно бывает с ними, но когда Илья Ильич прошел к себе в квартиру, он таки снова появился. Одет был, как и следовало ожидать, в бушлат и ватные штаны, босой, глаза открыты, весь испачкан землей. Заляпал глиной всю лестницу. В общем, он оказался мало похож на себя, если кто помнит, это был очень аккуратный мужчина, просто-таки щеголь; шел, держась за мошонку, так как — по сведениям, опять же известным только богу, — следователь бил его сапогом в пах. И так далее. Но ни о чем таком старый бог не рассказывал, во-первых, потому что мы жили в самой счастливой стране и он боялся, что ребенок

услышит, а во-вторых, никто бы ему не поверил, никто не поверил бы, что мертвые могут самовольничать, Да и в самого бога никто не верил, эти люди отказывали ему в статусе реальности. За исключением, может быть, Полины.

Так или иначе, но им явно пренебрегали, с демонстративной брезгливостью разгоняли ладонью махорочный дым (мальчику он очень нравился) и не желали даже выслушать его мнение, хотя оно полностью совпадало с их мнением. Бог, в жилетке, которую пересекала цепочка из поддельного серебра, в белых пейсах, вылезавших из-под ермолки, и с громадной самокруткой в беззубых устах, сидел на табурете среди примусов и полок с кастрюлями и своим неуместным поддакиванием, глубокомысленным киванием бородой и всевозможными «вот! вот! а что я говорил?» нарушал тонкую коммунальную дипломатию. Его позиция полностью совпадала с их позицией и даже больше. Кашляя и изрыгая вонючий дым, он заявил, что Полина Сергеевна вполне заменила мать ребенку и что от добра добра не ищут. Мальчик давно заметил, что старик заискивает перед Полиной. Но женщины по-прежнему высокомерно игнорировали его присутствие, и никто ему не ответил.

Тогда-то, в тот день, когда отец нарядился в вишневый галстук, и произошла история, о которой мальчик не мог вспомнить без стыда и содрогания. Дело в том, что некоторая интимная сторона его жизни, в которую Полина была посвящена совершенно естественным образом и без малейшего насилия над его стыдливостью (сколько раз она выговаривала ему за то, что он не умеет пользоваться бумажкой! — в ответ он лишь нагло передергивал плечами), теперь, судя по всему, должна была открыться ей. Не говоря уже о пугающем вопросе, вдруг мелькнувшем перед ним: кто будет его мыть? И вот, на пороге этого трудного будущего, в ответственный момент знакомства с красивой, смущавшей своею красотой, парадной и кокетливой дамой, — как он опозорился перед ней!

Как и отец, он был при параде. Об этом необходимо упомянуть, потому что костюм сыграл роковую роль в этой истории. Он стоял на площадке, под доской с Тельманом, в скрипучих ботинках, в проклятых, предавших его парадных штанах, к тому же слишком коротких, при каждом шаге выглядывают резинки. Словом, он был одет, «как жених», эти слова в устах Полины прозвучали бесхитростным комплиментом, вполне свободным от задней мысли. Ибо от всех других женщин «ма» радикально отличалась тем, что никогда не говорила напоказ, то есть так, чтобы слова ее только по видимости были обра-

щены к нему, а на самом деле предназначались для другого, — в данном случае для отца, которому они действительно подошли бы гораздо больше. Мальчик знал, что для Полины он всегда был истинным адресатом, последней целью и конечной инстанцией. Увы, отец был в этом смысле небезупречен; и он заранее готовился к тому, что сейчас там наверху начнется лукавый, неестественный разговор, в котором он должен будет исполнять роль какой-то игрушки; отец и Желтая дама, таинственно улыбаясь, станут по очереди обращаться к нему, а на самом деле — друг к другу.

Он знал, что она встретит его в дверях льстивой, ослепляющей улыбкой и ему станет не по себе оттого, что она так прекрасна; ему, а не отцу, она скажет первое слово; но эта улыбка на самом деле предназначена не ему, и отец тоже знает об этом, только делает вид, что не знает, и усмехнется. Но и его усмешка только для виду обращена к мальчику, а на самом деле — к ней. И поцелуй, который она наклеит ему на щеку (и будет потом стирать помаду удушливо-надушенным платком), этот поцелуй будет лишь символическим актом, означающим что-то другое, а не то, что обыкновенно означает поцелуй. Причем же тут он? О, как тяжело играть в игру, где ты считаешься полноправным участником, а на самом деле ничего не понимаешь, ничего не выигрываешь, и не лучше ли было бы сразу, пока они еще не поднялись туда, вернуться и содрать с себя этот противный, тесный костюм.

«Трудящиеся, совместной борьбой...» Он переминался с ноги на ногу, по привычке держась за руку отца; возникла какая то неловкость, заминка, нужно было идти, но отец медлил, уж не решил ли он в самом деле отменить экспедицию? Но отец оставался неуловим. «Веди себя как следует», — сказала Полина, в ее словах звучало наставительное понимание важности их визита. Это был как бы смوتر ее воспитательных достижений, и она призывала не ударить в грязь лицом. Оглядела его от крахмального воротника до белых чулок и сверкающих ботинок, в который раз поправила бант. «Не испачкай костюмчик». Его костюм, пф! Можно было подумать, что мир перевернется, если он посадит на него пятно от торта. Он был почти уверен: посадит. Но мир в самом деле преобразился с той минуты, когда он сменил застиранную одежку на этот претенциозный наряд, налагавший противоречивые обязанности, превративший его и в «большого», и в слишком уж маленького. Ибо в новом костюме он должен был играть сразу две роли: роль сурового послушника, безукоризненного отрока с книжкой в углу, и роль мальчика-куколки, — голубой бант, шедевр Полины, обязывал его изображать ангелочка. Ненавистный бант, щекотавший подбородок и делавший его похожим на девчонку!

Они шагают по лестнице, и Полина, сложив руки на животе, умиленно глядит ему вслед. Он чувствует ее взгляд, но в последний момент, оглянувшись, делает неожиданное открытие: Полина смотрит не на него. Она смотрит на отца. Что-то проплывает, нет, стоит в ее парализованном взгляде, что-то такое, что наполняет мальчика мгновенным страхом, пронизывает догадкой. Как если бы вдруг оказалось, что под твердым полом, по которому ходят, на котором сидят и играют, находится темный подвал, где живут неизвестные существа. Но тут лестница поворачивает, впереди новый марш, мальчик тащится вслед за отцом, он цепляется за железные прутья и ждет, когда хлопнет внизу дверь. Дверь так и не хлопнула. Выше, выше; звонок. Желтая дама выпархивает навстречу, точно она стояла наготове за дверью, поцелуй, платок — все, как он предвидел. Через минуту он сидит на полу, на красном ковре, от которого слабо пахнет плесенью: в качестве образцово-показательного ребенка он разглядывает картинки, покрытые папиросной бумагой, в старинной полуразвалившейся книге.

Вот тогда и настало время произойти этой трагической истории. Уже давно, два часа назад, когда они сидели за столом посреди целого выводка веселеньких синих чашек с золотым ободком, таких же, как ее волосы (в тот день она была особенно хороша, оживлена и в то же время задумчива, ресницы ее были покрыты черной краской, и он ждал, когда один кусочек, висевший на самом кончике, упадет в чашку), так вот, еще два часа тому назад, даже раньше, когда он разглядывал на ковре приключения маленького лорда Фаунтлероя, или даже когда они шли наверх и он видел глаза Полины, устремленные на отца, еще тогда, как ему кажется, он чувствовал, что ему нужно сходить в одно место. Теперь это чувство заслонило все другие. По опыту он знал, что можно забыть о нем, если заняться чем-нибудь другим. И некоторое время это ему удавалось. Он твердо знал, что никакая сила на свете не заставит его попроситься, то есть в сущности только спросить дорогу туда: это значило бы навеки опозорить себя перед красивой, надо все-таки отдать ей должное, удивительно красивой дамой. Он терпел, потом забывал, вспоминал и снова терпел. И когда он предпринял сверхъестественные усилия, чтобы откусить от огромной глыбы торта, которую ему навалили на тарелку, и не запачкать проклятый бант, когда целый пласт, оторвавшись, так шлепнулся, к счастью, не на штаны, а на скатерть, — то и этот несчастный инцидент, наполнивший его стыдом и горем, был, в сущности, подарком судьбы, так как отвлек его от неумолимо грызущего и нарастающего желания. Но ненадолго.

Его позвали за чем-то; он не смог встать с ковра и сделал вид, что вновь с необычайным интересом углублен в приключения маленького лорда. Потом наступил момент, когда он не мог сидеть и, прямой, как

палка, проковылял гусиным шагом к окну; впивался там неподвижным взглядом в нечто далекое и неопределенное, стоя на цыпочках и сжав побелевшие губы. Отец беседовал с дамой. Вдруг отец встал и подошел к нему. Спросил вполголоса. «Да», — сказал мальчик жарким шепотом. Дама подпрыгнула, всплеснув руками. Бедняжка, почему он молчал! Точно это требовало объяснений. Она повела его, упорно глядящего перед собой, по коридору, щелкнула выключателем, он остался один, близкий к обмороку, с бусинками пота на висках, полузадушенный своим бантом.

О-о, проклятье. Мальчик так торопился, что оставил пятно — вызывающе темное пятно на светлых штанах. Он все еще переводит дух, испытывая невыразимое облегчение, но по мере того, как он приходит в себя, ужас случившегося становится все очевидней. В струящемся шелесте электрического света он стоит над сверкающей чашей, оцепенело глядя в желтую лужицу с дрожавшим маслянистым блеском, не зная, что предпринять. Ждать, когда высохнет?.. С судорожной торопливостью он стягивает с себя штаны и пытается выжать пятно над фаянсовой чашей. Тщетные старания, не выдавливаются ни капли. Он надевает их и с огорчением видит, что мятое пятно выделяется еще больше.

А дама? А отец?.. Они должны были спохватиться, обеспокоиться его долгим отсутствием. Наконец, просто проведать — как он там. Его всегда угрозами выгоняли из уборной, когда он сидел слишком долго.

И тут ему приходит в голову мысль — и успокаивающая, и страшная. Отец забыл о нем. Он просто забыл, настолько его поглотил разговор с Дамой. А она — она, может быть, и помнит, возможно, догадывается, что у него что-то не в порядке, но ее это не волнует. Они оба слишком заняты. Им не до него. Эта мысль стоит перед мальчиком, словно написанная на стене.

С расставленными ногами он стоит, забыв спустить воду, оглушенный сознанием измены. Пятно постепенно бледнеет по краям. Струится свет, маслянистый отблеск слепит и гипнотизирует взгляд, кровь медленно стучит в висках у мальчика, на шее, он стоит и не слышит, не желает слышать идущие по коридору медленные большие, долгожданные шаги отца.

## 9. ОН ИХ УВИДЕЛ

...Был человек, даже не человек, а горло, картонное горло, которое без устали говорило, пело и играло, всех развлекало, всех перебивало, вмешивалось во все разговоры и болтало, ничуть не смущаясь тем, что его не слушают. Неистощимое, оно постоянно напоминало всем, что оно здесь, и не обижалось, когда кто-нибудь рассеянно про-

тягивал руку и выдерживал из гнезда вилку с лохматым проводом, который служил этому горлу вместо шеи. Стоило только зазеваться, задуматься, стоило машинально протянуть руку к вилке, и оно оживало, бодрое и веселое, как ни в чем не бывало. Нет, оно тоже простужалось, как все, говорило сильным голосом и натужно прокашливалось, но никто еще никогда не замечал, чтобы его феноменальное красноречие, его благословенная словоохотливость от этого сколько-нибудь пострадала, чтобы счастливый человек-горло хоть капельку приуныл. Он прикидывался то мужчиной, то женщиной, с утра пищал голосами детей из детского сада, благодарил за счастливое детство, потом, прочистив горло, начинал говорить голосом грозного и веселого дяди. Потом пел, хором или в одиночку, и играл на разных инструментах. Днем, отдохнув полчаса, картонный человек снова принимался говорить, почти всегда об одном и том же. Он говорил о родной стране. Это была единственная в мире, неповторимая, неслыханно счастливая страна, так что за многие тысячи лет никто никогда не знал такого счастья, которое выпало гражданам этой страны. В сущности, люди всегда трудились, поэты сочиняли стихи, а крестьяне пахали землю для того, чтобы появилась такая страна, люди только и мечтали, чтобы дожить до такого счастья. И вот оно наконец наступило. В этой стране все улыбались друг другу, смех и звонкие песни не умолкали с утра до вечера, люди жили в просторных светлых домах, похожих на дворцы, ели все самое вкусное и шли на работу бодрым шагом, под музыку, стройными рядами, держа на плечах отбойные молотки, серпы и что там еще полагается держать. И, работая, продолжали петь. Словом, в этой стране можно было ни о чем не беспокоиться. Но чтобы было яснее, как замечательно живется в этой стране, черное горло мрачным погребальным голосом сообщало, что творится в других странах. Там происходило что-то ужасное, Там царил голод. Города состояли из трущоб. Тюрьмы и застенки были переполнены борцами. Помещики и капиталисты надели на шею всем трудящимся одну широкую петлю и с каждым днем все туже ее затягивали.

Но кто же был тот, кому обязаны были своим счастьем все граждане юной, прекрасной, могучей и справедливой страны, к кому тянули свои ручонки счастливые дети и на кого с надеждой и любовью взирали угнетенные народы всех стран? Конечно, это был он, Товарищ Сталин, это его окошко светилось в Кремле, чьи звезды, как леденцовые петушки на палочках, сверкали над всеми странами и океанами, это он булькал водой из графина. После чего конусообразное черное горло, свесив со шкафа свой заостренный зад, говорило кишечным, сдавленным голосом самого вождя. Он начинал с того, что, собственно говоря, ему говорить не о чем, все, что надо было сказать, уже сказано в речах наших руководящих товарищей, и поэтому получалось, что он

вынужден говорить и вынужден терпеть бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Мальчик любил вождя. Когда нужно было дать честное слово, давал честное ленинское, сталинское и всех вождей, при этом само собой разумелось, что Ленин имел смысл лишь в том отношении, что был предком вождя, а «вожди» — Ворошилов с кухонным ножом, Ежов в ежовых рукавицах, Молотов в пенсне и Каганович в фуражке с молоточками — постольку, поскольку они его обрамляли и выглядывали из-за его головы. Разумеется, мальчик знал, что однопопый черный зад, сидящий на шкафу, лишь косвенно и отдаленно дает через себя поговорить вождю народов и, в сущности, не имеет с ним ничего общего. Мальчик перешагнул возраст, после которого становишься хозяином собственной мифологии, и превратился из мифотворца в эстета. Ему не нужно было объяснять, что это горло, которое, как пес на цепи, сидело на длинном проводе между папкой для нот и футляром-саркофагом, на самом деле и есть то самое, чем оно выглядит, — старый дребезжащий картон; но насколько интересней было видеть в нем живое существо! Мальчик усвоил опасную истину, согласно которой действительность моделируется нашим воображением.

Картон пел песни, частушки, в сущности, его цель состояла в том, чтобы отвлекать от нехороших мыслей и прогонять дурное настроение. Что он и осуществлял весьма успешно. Таким образом, то, что он не умолкал ни на минуту, имело резон. Ведь дурные мысли могут прийти в любое время. Но эта сорока-белобока была всегда себе на уме и, может быть, притворялась глупее, чем была на самом деле. В конце концов всегда или почти всегда было ясно, чем она кончит фразу, едва лишь ее начинала, и от этого казалось, что она выражает ваши собственные мысли. Картон стал членом семьи.

Картон сыграл марш «Если завтра война», казалось, он был слегка раздражен тем, что эту войну обещали каждый день, каждый день ее откладывали на завтра, а она все не наступала. Он исполнил песню о вожде, в которой были слова «с песнями любви и изобилья»: это *и-и* тягучим эхом неслось потом через все тридцать лет. Картон объявил арию Хозе. «Кармен, тебя я ува-жа-аю!..» — заорал мальчик. Раздался грохот, из другой комнаты зашлепали быстрые шаги. Картон запел арию Герцога. Снизу послышалось: «Сердце краса-авец! Словно кызме-е-не».

Услышав эту ужасную абракадабру, говорящий картон не мог усидеть на шкафу. Со словами: «И к перемене! Как ветер мая!» он спрыгнул на пол, волоча за собой провод, и стал приплясывать перед мальчиком; так они спели сообща оба куплета. И вдруг раздалась три звонка. Три протяжных звонка в коридоре.

Это не могла быть тетка, ее звонки были короткие и суетливые. Это не мог быть отец. Отец не приходил днем. Выбежала Полина, за-

спешила по коридору. Из комнаты напротив выглянула соседка, Анфиса Федоровна; в дверях своей каморки появилась сухая и плоская, точно голова старой черепахи, головка Марьи Александровны.

Широко, до отказа растворился парадный вход, молчаливый и небритый человек вошел боком и отколушнул верхний запор. Все с любопытством наблюдали это событие. Затем в зияющем распахе дверей, откуда дуло холодом, показался снова тот же человек, спиной вперед, он обнимал гигантскую плетеную корзину. Чудовище, подобное букве Н, где корзина служила перекладной, вдвинулось в коридор и пошло медленными шажками четырех ног прямо к их двери. Мальчик пролез, мешая им, в первую комнату и стал рядом с Полиной. Ее рука опустилась и привлекла его к себе, к животу. Двигаясь все так же, задевая плечами за косяки и едва не сорвав занавеску в прихожей, носильщики достигли первой комнаты, густой голос спросил: куда ставить? Все это происходило медленно, тяжеловесно и неотвратимо. Блестел паркет, картонный рупор смиренно помалкивал на шкафу, но посреди комнаты, на дороге, алело похожее на редиску рыцарское сердце, картинно пронзенное мечом. Над ним вилась лента с девизом «Я Воскресение и Жизнь», представлявшим такое нагромождение ошибок, что прочитать его могла только Полина. Задники сапог надвигались на него. «Щит!» — закричал мальчик, фанера хрястнула, человек машинально отшвырнул ее в сторону. Такими же инстинктивными шаркающими движениями раскидал он кубики, нога наступила на адмирала Нельсона и потащила его за собой. Наконец, корзина была водружена на отведенное ей место. Носильщики, не дав себе передохнуть, пошли за другими вещами. Явился китайский шкафчик с перламутровыми уголками. Принесли две спинки эмалированной кровати, повесив их на каждое плечо. Втиснулся, взбрыкивая изогнутыми ножками, овальный туалетный столик. Все это были кокетливые, прихотливые вещи, рядом с которыми убогие вещи отца выглядели плебеями. Сразу стало тесно. Мальчик сел на корзину. «Слезай сейчас же!» — накинулась Полина. Могла бы и потише. Подумаешь, стекляшки. Как-то само собой получилось, что крышка плетеной корзины приподнялась, из нее явилась граненая склянка с затейливой финтифлюшкой вместо пробки. Сверкая гранями, точно брусок желтого льда, она неожиданно выскользнула из рук и шлепнулась, выронив пробку. Духи разлились, распространяя удушливый запах. «Ведь вот, говорила же!» — прошипела Полина. Мальчик бросился в прихожую, успев захватить помаду и пудру, мгновенно разукрасился перед зеркалом. И в таком виде предстал перед робко остановившейся на пороге золотоволосой, кареглазой, стройной, как стебелек, растерянной и счастливой дамой. Итак — свершилось.

Цс-с... Не шуметь. Не двигаться, не шевелиться, не чихать, не пукать. Не Ды Шать. Осмотреть местность. Мальчик ощупью находит на животе кнопку. Нажимает: открываются глаза. Сначала один глаз. Обе двери, в прихожую и туда, к ним, наглухо закрыты; за окошком щебечут птицы, кирпичный брандмауэр косо освещен солнцем; как всегда по воскресеньям, утро кажется очень ранним: везде, на дворе и на улице, тишина.

Он не успел еще привыкнуть к этой комнате, к низкому дивану, на котором спала тетка; теперь это его диван. Недурно: широко и мягко. И вдруг, мгновенно вскочив, он сбрасывает одеяло и сидит, уперев кончики босых ног в холодный пол. После минутного колебания он пускается на разведку вокруг стола. Удивительное чувство голых шелковистых ног, задевающих друг за друга, колыхание рубашки, тишина, тайна, и вот он уже достиг цели. Внезапно в большой комнате взрывается треск, от которого мальчик едва не падает в обморок, громадное сердце тяжело колышется в его маленьком теле, в такт замирающим щелчкам: это последние, бессильные корчи будильника, который не завели, но забыли придавить накануне; отец кладет на него, не просыпаясь, большую ладонь, и вновь все тихо.

Медленно, медленно скрипит дверь, лицо мальчика протискивается в щель. Занавески нет, висит одна веревка. Нет иконы, нет и кровати, где спала «ма», ничего нет. В углу стоит веник. Он удивлен, то есть не удивлен, он это знал, но почему-то забыл. В эту минуту он неожиданно замечает, что за спиной у него, за закрытой дверью, в большой комнате, — не спят.

Они не спали, но и ничем не выдали себя; он уловил их присутствие не слухом, а чем-то, что обгоняло слух. Возможно, они лежат, скосив взгляд, и прислушиваются. Возможно, кто-нибудь из них подкрадывается на цыпочках. Сейчас дверь распахнется. А, негодяй! Он подслушивал!

Он застыл, растопырив руки, ждал до головокружения. Никто не появился. Посреди текущей, шелестящей тишины до него донесся простой и обыкновенный звук — хорошо знакомый ему вздох старой никелированной кровати. О, Господи. Ведь они просто спали. Спали и поворачивались во сне, как все взрослые по воскресеньям. Время от времени скрип возобновлялся, они не произносили ни слова, не шептались, не спрашивали вполголоса, который час. Ах, будь здесь старик, Бог детства, он бы схватил его за руку и увел на кухню. Где ты, бабушка? Мальчик подошел к двери и услышал молчание: оно было полно необъяснимых звуков. Дверь стала приоткрываться. Вещи жили вокруг него, так и эта дверь сама собой принуждала его посторониться. Он уступил ей, он стоял на пороге в ярком свете утреннего солнца,

бьющего с улицы, он был ослеплен этим потоком света и очарован новой мыслью. Его не могли заметить, даже если бы они не спали, ведь он был невидим!

Он был невидим, зато сам видел всех. Человек-невидимка, а что тут такого?.. Несчастный Гриффин, он бежал по ослепительно яркому, залитому солнцем снегу; и лишь глубокие следы от босых ног один за другим впечатывались, уходя все дальше и дальше. По этим следам, следя за их поворотами, стреляли... Человек-невидимка. В принципе вещь вполне возможная.

Он представил себя со стороны: длинная белая рубаша в пустоте над сверкающим паркетом. Пустой ворот, поднятый кверху рукав, всё что осталось от невидимой руки, от пальца, ковыряющего в невидимом носу. И вдруг рука опустилась. Непонятная новость вместе с жарким, все учащавшимся дыханием там, на кровати, вывели его из пространства; высунув голову из-за дверного косяка, он смотрел с глубоким недоумением на то, что происходило за никелированными шарами.

Солнце, вставшее над крышами, било из двух больших окон, ослепляя его, блестели шары, ярко переливалось новое шелковое одеяло, наконец, он увидел, — но кого? Бесформенное существо, вздымавшееся под одеялом. Тяжкое дыхание, звук борьбы. Он увидел бледно-золотистые волосы красивой дамы, спутанные волосы женщины, накрывшие и ее, и отца, потому что тот, кого она поборола, подмяла под себя, над кем она билась и кого приканчивала, — был его отец.

Но тут она застонала, словно ей самой медленно погрузили нож в низ живота. Жалобный стон перешел в долгий вздох, и на глазах у мальчика она скончалась. Они оба умерли, обняв друг друга. Наступила тишина. Солнце пылало в окнах. Мальчик плакал.

И хотя довольно скоро стало ясно, что ничего страшного не произошло, он ничего не мог с собой поделать и навсегда утратил способность быть невидимым. Они разъединились, она приподнялась, придерживая на груди край розового одеяла. «Ты уже проснулся?» — спросила удивленно. На лице ее был странный свет. Мальчик смотрел в пол, ноги у него окоченели, и он громко икал.

Тогда она сбросила одеяло, мелькнули ее ноги, повернувшись спиной, она запахнула халат и собрала на затылке волосы. «Ну, пошли», — мягко сказала она. Она вытерла ему щеки крошечным кружевным платком, заставила его высморкаться. Он тупо поплелся за ней.

Мальчик уснул, но спал недолго. Открыв глаза, он увидел, что солнце ушло с кирпичного брандмауэра, двор наполнился густой синевой, он вспомнил, что из прихожей вынесли кровать и убрали занавеску, на мгновение увидел снова рыжий свет над крышами и никели-

рованные шары. Он устроился поудобнее. Подложив руки под голову, он лежал на спине, глаза его блестели белым, неподвижным блеском, как вода в озерах.

Он был спокоен и суров. С холодным любопытством ждал, что она теперь предпримет. Как она начнет подлизываться.

Она вошла, напевая. Она, это было теперь ее единственное имя. «Тетя» не годилось; называть ее мамой, как наставляла его Полина, было немыслимо. Итак, она подошла и присела на край дивана. Волосы перевязаны сзади ленточкой.

«Мы будем друзьями, да?» — сказала она глубоким грудным голосом, в который вложила все свое очарование. Он смотрел мимо нее.

«У, какой злока». Она пощекотала ему подбородок. Мальчик засмеялся. «Ну, посмотри на меня».

Он взглянул на нее блестящими, полными ненависти глазами. Он не знал, как ему выразить эту ненависть. «Уходи, — сказал он раздельно. — Уходи от нас. У, с-сука. Пошла вон от нас! Чтоб твоего духу!..»

И умолк, несколько удивленный ее молчанием. Он с особым сладострастием выговорил это слово с его ядовитым и разящим, как стрела, «с», выпустил его прямо в нее и ждал бурной реакции. Но она молчала. Задумчиво смотрела на него, подперев подбородок узкой рукой с лакированными ногтями.

Потом, вздохнув, она встала. Мальчик думал, что она начнет собирать вещи. Она коснулась рукой волос и направилась в большую комнату, к отцу. В большой комнате тихо играло радио. Она прикрыла за собой дверь. Но он все равно услышал бы их разговор. Может быть, отец спал? Она вернулась, снова села к нему на диван и посмотрела на мальчика непостижимым взглядом, какой он иногда замечал у взрослых, — на него и в то же время сквозь него.

«Ты прав, — проговорила она, — дети всегда правы, но Боже мой, я ведь не навязывалась! Я сама говорила».

Он уловил новую интонацию в ее голосе, она признавала себя побежденной и не старалась больше его обворожить. Он позволил себе некоторую снисходительность. Милостиво слушал, подложив руки под голову.

«Да, ты имеешь полное право так говорить... Но при чем тут я? Вы все меня ненавидите. За что? Что я вам сделала плохого? Прямо заговор какой-то. Эта горбунья, похожая на бабу-ягу... Или эта, как ее... с заячьей губой?»

«А, — процедил мальчик, — Анфиса?»

«Послушай... Кто этот старик, о котором они все время говорят? Разве у тебя есть дед?»

«Какой дед, — сказал мальчик презрительно. — Это бог».

«Бог?»

«Ну да. Вообще-то его нет, но он иногда сидит на кухне. Такая игра», — пояснил он.

«Сумасшедшая квартира. Ты знаешь, — продолжала дама, горячо глядя на него, — я их боюсь. Честное слово. Особенно эту с губой. Мне кажется, она что-то замышляет. А?»

«М-м... как сказать?» — замылся мальчик, польщенный тем, что она обращается к нему, как к взрослому, и совершенно не имея представления, что ответить.

«Я так боялась выйти на кухню, что поднялась к себе наверх и там приготовила обед. А вечером прихожу, она стоит, представляешь себе?..»

Мальчик напряг внимание, все еще не понимая, что она имеет в виду.

«Представляешь, и запела: “За красу я получила первый приз, все мужчины исполняют мой каприз...” Ты думаешь, для кого она это пела?»

Да, завершение этого слишком затянувшегося утра можно было назвать счастливым: ибо оно закончилось как-никак примирением. Щеки дамы порозовели, она старалась успокоиться, прижимая к ним тыльной стороной пальцы с прохладными полированными ногтями. Но что-то изменилось.

Догадывалась ли она, что облегчение наступило просто благодаря двум-трем фразам, которыми она обменялась с мальчиком, этим бедным, запущенным сорванцом, за чье воспитание она теперь, будьте покойны, возьмется? Ибо если он бесконечно затруднял и усложнял жизнь взрослых, то ведь он же и служил для них чем-то вроде громомотвода. Но главное — это был неожиданный смех мальчика. Услыхав про «каприз», он расхохотался как безумный!

Этот смех все развеял.

«Клянусь тебе, я никогда...» — говорила она взволнованно.

«Ка... приз», — лепетал мальчик. Время пафоса миновало.

Она тоже смеялась.

Так прошло несколько минут, а затем смех прекратился. Мальчик сердито посмотрел на даму и показал ей язык.

Озадаченная, она сказала: «Ах ты, маленький злоюка».

И тоже высунула язык.

В ответ мальчик надул щеки, напрягся, не спуская с нее глаз, стал медленно краснеть и вдруг пукнул.

«Фу, — сказала она брезгливо. — Какой срам».

Он не знал, что ей еще ответить, и сказал:

«А я знаю».

«Что ты знаешь?»

«Я видел».

«Ну и что? — сказала она, глядя ему в глаза. — Глупец».

Мальчик почувствовал, что его преимущество слегка обесценилось. Тайна выглядела уже не столь жгучей. Возможности шантажа уменьшились.

«Когда люди любят друг друга, — сказала она, — это не стыдно. Вырастешь, поймешь. И потом, если бы этого не было, то и тебя бы не было».

«Как это?» — спросил он.

«А вот так. Ты хочешь, чтобы у тебя была сестричка? Так вот, без этого она не родится».

Он был сбит с толку: какая еще сестричка. Что она там несет? Не хотел он никакой сестрички. Он хотел быть один, с отцом. И с Полиной. И чтобы никого больше не было.

«Дурачок, — пропела дама. — Иди ко мне».

Очевидно, как все женщины, она полагала, что таким способом можно разрешить все проблемы.

Он колебался.

«Ну?..»

Что-то произошло. Он сидел на коленях у женщины, которую не хотел признавать, к которой был равнодушен, если не считать какого-то раздражающего любопытства, которое влекло его к золотоволосой даме, и все же было приятно раскачиваться и слушать, как она мурлыкает: «Спи глазок, спи другой». И еще что-то в этом роде... Спи глазок! У него было чувство, словно он в чем-то безвозвратно вязнет.

«Не надо», — сказала она, запахиваясь.

«Нет, — прошептал мальчик. — Что это?»

«Это грудь. Не надо, будь хорошим».

«Какой большой». Сосок затвердел в его руке. «Пусти», — сказал мальчик, стараясь раздвинуть полы халата.

«Нельзя. У мамы нельзя смотреть».

Это был рискованный шаг; и она постаралась как можно небрежней произнести это слово.

Он сделал вид, что не слышал.

«Ну хватит». Она встала и подошла к двери в большую комнату.

«Илюша! Хватит спать».

Мальчик не сообразил, к кому она обращается, потому что это было и его имя, и никто при нем еще не звал так отца. И он понял, как много между ними стоит нового и чуждого.

«Илюша, — в голосе дамы появилось нечто кокетливое, — можно нам к тебе? Мы теперь друзья!»

## 10. ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Мальчик стоял, выпучив глаза, с видом героического самоотвержения, влача смычок по струнам; в программе — Шрадик, «Упражнения», «Ария» К.В.Глюка, «Ригодон» неизвестного классика, фамилия была оборвана, и ряд других произведений; но уголком глаза он следил за «мамой». Она удалилась на цыпочках, деликатно прикрыв за собой дверь. Ее каблучки простучали по коридору, хлопнуло парадное, и сейчас же он бросил скрипку, схватил стул и потащил в прихожую. Это было непростым делом, принимая во внимание, что то, что он искал, находилось в самой глубине, среди батареи пыльных склянок; путь преграждали велосипедные колеса, одно из которых всегда вращалось, напоминая о том, что и земля не стоит на месте, — здесь, наверху, это чувствовалось, пожалуй, еще отчетливее. Он чуть не полетел вместе с табуреткой, водруженной на стул, рискуя обрушить на себя ветхую антресоль, все же операция была доведена до благополучного конца. Но теперь нужна была особая осмотрительность. Она появилась как раз в тот момент, когда он шел с кухни — отнес табуретку и заодно проверил, растворяется ли эта вещь в воде, — в эту минуту раздались три звонка. Беспечная, как все женщины, она не заметила, что стул стоит в прихожей, а мальчик тянет все то же ларго, от которого можно повеситься. Она позвала его нежным голосом, предлагая на время прервать самоотверженный труд. На столе стояло молоко и коржики, которые она испекла, это было одно из ее нововведений, пить в двенадцать часов молока, и чтобы подать пример, они пили вместе. Мальчик был благоденствен. Он уселся, в точности не представляя, как он осуществит свой план, но тут весьма кстати зазвонил телефон. Она встала и пошла в коридор. Звонили ей. Он вытащил из кармана спичечный коробок. Потом он побежал и бросил коробок в форточку. Сел. Она все еще разговаривала.

Когда она вошла, мальчик размешал молоко и подвинул ей чашку. Так решил тайный суд, заседавший под сводами подполья: все в черных капюшонах, закрывающих нижнюю половину лица. «Что с тобой?» — спросила она. «Ничего, — сказал он. — Пей».

Она улыбнулась. Победа за победой; правда, он еще никак ее не называет, но уже говорит ей «ты».

«Хитрец. Я выпью, а ты нет».

«Подумаешь, — сказал он. — И я выпью».

«Умница».

Она откусила коржик. Он не сводил с нее глаз. Радио шелестело на шкафу. Что-то не нравилось ему в его плане, что-то не то, но раздумывать некогда. Внезапная идея озаряет мальчика, он выхватывает

чашку из ее рук, быстро пьет и больше уже ни о чем не думает: его захлестывает неистовая радость. Тотчас начинается рвота, он корчится на диване, кажется, все внутренности лезут наружу, но ничто не в состоянии заглушить эту бешеную, жестокую, злую радость.

А колеса вращаются, повинуюсь кружению земли, а веселый человек шепчет в черном картоне, а солнце косо освещает розовый брандмауэр, встает над кирпичным домом, и плакат на углу сморщился, отчего штык, похожий на кухонный нож, переломился надвое, и на улице у подъезда стоят кучкой люди.

Веселый, бессмертный человек, он поет во все гордо в окне кирпичного дома напротив, уже совсем тепло, и женщина с голыми ногами моет раму. Он живет всюду, говорит со всеми, неунывающий человек-горло, и ведь правда — до чего замечательно все на свете! Как прекрасна жизнь! Но никто не радуется.

Вот степенно, как на демонстрации, выходит шествие из-за угла, медленно идут друг за другом: Полина в монашеском уборе, с ней рядом Святитель в белом, в белых лаптях и с золотой подковой вокруг головы, за ними старый Бог детства с седыми пейсами и цепочкой из поддельного серебра, за ним Тельман в красной рубашке, рот-фронт, держит кулак; за Тельманом еще много всякого народу, несут на палках портреты вождя и портреты мальчика. Все выстраиваются у подъезда. Конечно, так не бывает. Конечно, это только фантазия, просто люди собрались перед подъездом, ждут и тихо переговариваются. Тут кто-то спрашивал, как называется эта отравка. Так я вам отвечу. Крысид. Хорошенькое название, а? Вот именно, от крыс. Должно быть, несчастный случай. Вот что значит оставлять детей без присмотра.

Да как же без присмотра, ведь она даже бросила работу, чтобы с ним сидеть. Ха, тоже мне работа. Машинистка в конторе, помогать кому делать нечего. Вертихвостка, прости Господи. Все они такие. А знаете ли вы, где ее муж. Вот то-то и оно. Свою собственную дочь оставила, не то что за чужим смотреть.

Но тут все речи смолкают, и картонный человек поспешно сворачивает ноты, потому что в это время вдали на Спасской башне начинается неспешный мелодичный звон. Пикают сигналы точного времени. Из темной квартиры на площадку, где пахнет крысами, на весеннюю улицу, в переулок, полный прохладной синевы, плывет узкий деревянный челн. Суется, грозным шепотом распоряжается тетка, Эсфирь Ильинична.

Открываются задние дверцы. Все хотят помогать, все лезут, до чего бестолковый народ. Шофер сам, отстранив всех, вдвигает мальчика

в темный, как погреб, автобус. И как широченные рукава, как руки, разведенные в танце, над всем переулком плывет: «Широка страна моя родная».

Выходит отец. Об отце-то все и забыли. Он выходит, держа в руках щит с алым, пробитым насквозь сердцем. Лезет в автобус, ничего не получается, шофер ведет его, как слепого, с растрепанными, развевающимися волосами, показывает, куда сесть,

А где же она? Говорят, ушла наверх, в старую квартиру, лежит, не может встать.

В тот самый момент, когда шофер захлопывает задние дверцы, предлагает гражданам посторониться, из-за поворота, но не оттуда, откуда шла демонстрация, а с противоположной стороны, раздается звон, бряцают подковы и выезжают закованные с головы до ног всадники. Они останавливаются, лошади в малиновых пополах грызут железные удила и переступают копытами. Синь небес отражается в серебряных латах. Рыцари опускают копья. Конечно, так не бывает. Просто из-за угла, мелко стуча копытцами, бредет ослица. Трусит вдоль тротуара, бренчит колокольчиком. А на ослице едет Спаситель. Оказывается, это не соседи столпились перед автобусом. Это ученики, это окрестные крестьяне, бродячие торговцы амулетами, цыганки, высматривающие детей, словом, всякий люд. Но и это, конечно, выдумка, потому что так не бывает.

«Эй! Мальчик!»

Это возглас любви и жалости.

«Мальчик! Выходи!»

1976

# К СЕВЕРУ ОТ БУДУЩЕГО

*Русско-немецкий роман*

*In den Flüssen nördlich der Zukunft  
werf 'ich das Netz aus, das du  
zögernd beschwerst mit von Steinen  
geschriebenen Schatten.*

Paul Celan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты нагружаешь её тенями, что написали камни. *Пауль Целан.*

## ВРЕМЯ И Т.Д.

Поздно вечером 30 января 1945 года с командного мостика подводной лодки «С-13» были замечены огни пассажирского судна. Пароход «Вильгельм Густлофф», шедший с десятью тысячами беженцев из отрезанной Восточной Пруссии, шестипалубный, длиной несколько больше двухсот метров и водоизмещением 25 тысяч тонн, до войны принадлежал национал-социалистической организации «Сила через радость», потом был переоборудован под плавучий госпиталь, а позднее использован как транспортный корабль. Посадка происходила накануне, толпы беженцев запрудили гавань Пиллау, последнего портового города, который ещё удерживали немецкие части. Два буксирных судна вывели перегруженный корабль из освобождённой от льда акватории порта; в открытом море корабль сопровождали три сторожевых судна. С наступлением темноты капитан приказал не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. Погоня продолжалась тридцать минут. Пароход был потоплен тремя торпедами. Утонуло 8800 человек, что представляло собой своеобразный рекорд. Недостатком субмарин класса «С-13» было слишком продолжительное время погружения. Уходящую лодку настигли глубинные бомбы эскадренного миноносца «Лев». Лодка опустилась на дно, где уже лежал «Густлофф». Немецкие спасательные суда смогли увезти 900 человек. Перед рассветом патрульный катер VP 1703 обнаружил на месте гибели, среди плавающих трупов и обломков корабля, шлюпку с двумя мёртвыми женщинами и годовалым ребёнком. Мальчик был жив, его усыновил матрос катера.

Вахтенный офицер Юрий Иванов не помнил, как был выловлен из ледяной воды. Он был доставлен в порт Эльбинг, куда только что вступили наши передовые части, наскоро оперирован и отправлен в глубокий тыл в одном из переполненных санитарных эшелонов, которые шли друг за другом из Пруссии и Прибалтики. Ему было 22 года. Конкурс не был препятствием для него как для участника Отечественной войны, не говоря о том, что на десять девушек, подавших заявление, приходился один мужчина. Когда девица в треугольной причёске с коком над круглым лобиком, в платье в крупных розовых

цветах из крепдешина, с глубоким вырезом и квадратными накладными плечами, гордая своими общественными полномочиями, вышла со списком, чтобы выкликнуть его фамилию, у дверей топтался ещё один представитель дефицитного пола — юнец в курточке и коротковатых брючках, очевидно, медалист. Это было собеседование с поступающими без экзаменов. Ив́анов (с ударением на втором слоге, чему он придавал особое значение; все, однако, говорили: Ивано́в) вошёл в аудиторию, где сидела приёмная комиссия: парторг факультета, женщина, заполнявшая бумаги, и старец в полотняном пиджачке и академической шапочке. Иванов шагал, опираясь на палку, переставляя искусственную ногу, глядя прямо перед собой, бледный, огненно-рыжий, казавшийся старше своих лет, в пенсне — кто тогда носил пенсне? — и с планкой орденов на тёмно-синем в полоску пиджаке, который стоял на нём несколько колём, подошёл к столу и сел, словно ударился о стул. Ему был задан школьный вопрос; старец в ермолке мягко осведомился, что побудило его выбрать филологический факультет. Собеседование было закончено, неделей позже, в последних числах августа, он увидел своё имя на доске в списке принятых.

Удивительно, сколько событий уместилось в какие-нибудь шесть или семь месяцев. Кто не помнит этот год? Или, лучше сказать, кто его ещё помнит. То, что называют историей, вновь, как в древности, стало жанром литературы и усвоило все её сомнительные черты. Время, о котором идёт речь, — время не то чтобы баснословное, но такое, о котором не так-то просто вести рассказ. Парадокс недавней истории в том, что она куда менее надёжна, чем история далёкого прошлого. Даже то счастливое обстоятельство, что ты был её очевидцем, не спасает дела. Угли ещё тлеют под золой. Ты помнишь всё. И, однако, невозможно избавиться от чувства, что главное и существенное от тебя ускользает. Глядя на фотографии и документы, убеждаешься, что они лгут. Но ведь в этом и состоит их своеобразная достоверность, ибо таков их способ говорить правду. Это было время, когда вино победы кружило голову всем. Армия, словно изувеченный богатырь, с расколотым щитом, с головой в запекшейся крови, волоча за собой ногу, настигла уползающего дракона в его убежище и едва не испустила дух вместе с ним. Ещё не существовало телевидения — одно из немногих преимуществ этого времени. Зрители видели в кинотеатрах хронику подвигов и завоеваний, видели документальный фильм о параде победы, блестящую от дождя брусчатку Красной площади, маршала в орденах на белом коне и Вождя на трибуне, слышали гром оркестров и крики команд. Никому не приходило в голову, что это — победа, от которой никогда уже не удастся оправиться.

Как обломки корабля, вещи и детские игрушки на поверхности взбудораженных вод, дошли до нас реликвии этой эпохи. Маячит память о молодых людях, о тех, кто едва успел перешагнуть из детства в юность, кто ничего не достиг. Одинокие, они радовались, как несмышлёныши, залпам салютов и фейерверкам, были счастливы, что остались в живых, что война не успела до них добраться, сделать их обрубками, обжечь и обезобразить лицо. И лишь много позже догадались, в чём не могло признаться себе поколение отцов: что разгром и опустошение были расплатой за этот триумф, отпустошение и разгром, каких не знали за тысячу лет. Ибо история одурачивает всех.

Победителей не судят. Победитель сам себя судит.

## ТАНЕЦ. ИРИНА, ЧТО ОЗНАЧАЕТ: МИР

На всех трёх этажах Нового здания, сооружённого после пожара 1812 года, — с тех пор оно так и называлось, Новое, — гремела музыка, оркестранты дули в трубы, сидя над парадной лестницей у балюстрады, между двумя циклопическими гипсовыми кумирами, еще один оркестр помещался наверху, под стеклянной крышей, и повсюду, на галереях и в коридорах, топтались, раскачивались, крутились, задевая друг друга, пары, девушка с девушкой, воя пёстрыми шёлковыми платьями вокруг бёдер; явившиеся откуда-то полуподростки нестуденческого вида, кучкой, руки в карманах, «Беломор» в зубах, не решились разбить девичьи пары; кое-кто, впрочем, осмелев, развязно приближался к танцующим, хрипло выдавливал из себя: «Разрешите?..» и со стыдом, не удостоившись ответа, удалялся; морячок в подпрыгивающей пелерине изумлял широченными клёшами, рассекал нагретый воздух, облапив крошечную партнёршу; треск барабана, гром тарелок и кряканье генерал-баса, шорох девичьих ног в полуботинках на толстой подошве, называемых танкетками, — истинно военная метафора! — аромат дешёвых духов, пота, обещания, — краковяк, фокстрот, падеспань, венгерка — всё смешалось, все танцовалось на один манер, словно все объяснялись друг другу в любви на едином стандартном и общеобязательном наречии.

Прислонившись к колонне, выкрашенной под мрамор, в позе денди, в своём всё ещё новом костюме в полоску, в пенсне и при галстукке, студент первого курса Юрий Иванов цедил слова, глядя поверх толпы, из-за воя труб ничего не было слышно. Собеседница скучала, поглядывала по сторонам; этикет запрещал ей самой приглашать кавалера. Может ли он вообще? Наконец, она решилась. «Потанцуем?..» — спросила она уныло и тотчас раскаялась: в глазах Иванова

мелькнула растерянность, он мужественно задрал подбородок, сверкнул стёклышками пенсне. Труба уже повела свой томительно-счастливый рассказ. Иванов стоял, слегка расставив ноги в прямых широких брюках, палка повисла в его руке. Она хотела взять у него палку. Он переложил палку в левую руку. Из медных жёрл выплёскивалась грубая радость оставшихся в живых. Музыка заглушала голоса, и это было благословением, не надо было разговаривать, ненужные, вымученные реплики заменил диалог движений, шаг вперед, шаг назад, пароль и отзыв, переключка тел. Вокруг всё качалось и колыхалось. Они выбрались из сутолоки в уголок, где было свободней. Роли переменялись. Девушка почувствовала себя рулевым, он охотно принял обязанности матроса, танец раскачивал их, словно на палубе, оба прониклись серьёзностью, оба почувствовали облегчение, как актёры, которые поняли, чего хочет от них режиссёр; роли давали возможность найти своё место в сложном спектакле бала. «Вот так», — сказала она и показала, как правильно взять партнёршу за талию; он послушно обхватил её левой рукой, не выпуская палку, стараясь держаться на некотором расстоянии от её живота и груди. Она положила руку ему на плечо. Загнутая рукоятка трости слегка давила её между лопатками. Держа в правой ладони его ладонь, она решительно правила; оба смотрели вниз, она на его ноги, он на спускающиеся к плечам, тщательно расчёсанные тёмнозолотистые волосы. Иванов представлял ногу, стараясь приноровиться к шажкам партнёрши; так они протанцовали, вернее, прошагали под музыку несколько метров туда и сюда, меняя направление, как меняют галс корабля. Видимо, кавалеру было труднее двигаться задом наперёд, и она стала вести его на себя, что в общем-то отвечало правилам танца; и он заметил, что, отказываясь от обязанностей водительницы, она осторожно и, может быть, бессознательно навязывает ему другую роль, предписанную ритуалом, роль атакующей стороны. Теперь танец сам вел их. Сама собой его здоровая нога, таща другую ногу, поспешила за отбегающей партнёршей, так что оба чуть было не потеряли равновесие, но в последний момент Ира, Ирина, — так её звали, это открылось как-то само собой, — развернула резким, почти насильственным движением его и себя, и нога мужчины оказалась между её ногами; её пах под текущей одеждой скользнул под его бедром; оба остановились. Тяжело дыша, она отбежала к балюстраде. Иванов захромал следом за ней.

Народ спускался густой толпой по широкой лестнице, померкли матовые висячие шары, музыканты укладывали в футляры свои инструменты, тромбонист, держа в руках половинки тромбона, вытряхивал, словно застрявшие ноты, капельки слюны, над аркой входа, вниз, стрелки на светлом диске сходились, как бы подводя итог, и гипсо-

вые вожди над лестницей провожали праздник с высоты своих пьедесталов. Из толпы, осадившей гардероб, молодежь бросала на Иванова и его даму взгляды, в которых зависть смешивалась с сожалением. Девушки смотрели на человека в ярко-рыжей шевелюре, в стёклышках пенсне, с негнущейся ногой, который держал, расставив руки, лёгкое, должно быть, тряпичное, женское пальто. Его собственное пальто, перешитое из морской шинели, висело у него на локте. Им казалось, что она слишком уж медленно завязывает косынку на шее, насаживает на голову самодельную шляпку; им казалось, что всё это делается напоказ.

Девушки испытывали облегчение в толпе себе подобных, здесь не надо было вести себя по-особенному. Как если бы они всё ещё были в женской школе, вдали от наглых мальчишек; или сидели в зрительном зале, следя на экране за той, что была не лучше их, но у которой был какой ни есть кавалер; которая должна была кого-то изображать, перед кем-то позировать; и почти со злорадством они следили, как она неловко просовывает руки в рукава пальто.

Что же касается их собственных, малочисленных спутников, то они, эти хилые недоросли, спешащие повзрослеть, понимали, что их только терпят, за неимением лучшего. Да и танцевать они толком не умели, между тем как девушки словно владели этим искусством от рождения. Мальчики чувствовали себя брошенными на произвол судьбы посреди вертлявых, щебечущих существ в лёгких цветастых платьях, изнемогали от робости, страха и вожделения; хорошо вам, думал Марик Пожарский, тот самый юнец в курточке, который стоял в день собеседования у дверей приёмной комиссии, — вас много! И в самом деле, никогда ещё так близко не толкалось, не поворачивалось своими выпуклостями, источая запахи волос и духов, такое изобилие женского тела. Но стоило ему обратить взгляд на инвалида, стоявшего там, с палкой и пальто, как его осенила догадка: он вспомнил, что он здоров, молод и, кажется, не так уж уродлив, и ощутил себя владельцем лотерейного билета, который наверняка выиграет. Это было чувство счастливого ожидания и нерастраченного запаса — едва успевшего начаться бессмертия.

Тусклые лампочки подъезда посылали последнее напутствие уходящим, темно-синее пахучее небо раскрылось над ними, неясной массой воздвигся монумент отца-основателя русской науки, впереди над тёмной кровлей Манежа, над купами Александровского сада взошли пурпурные звезды. Астрология будущего предстала перед девочками, прыгавшими с крыльца, и ребятами, которых отмена бального этикета лишила остатков инициативы: они шагали в одиночестве, с жалким независимым видом. Обогнув газон с Ломоносовым, выходили из во-

рот, налево дорога вела мимо Старого здания к Охотному ряду, туда и двинулось большинство. Девушка и спутник остановились в некотором замешательстве. То, что произошло, было сюрпризом для обоих.

Стендаль отводит три страницы описанию сложных манёвров, благодаря которым Жюльену удалось задержать руку госпожи де Реналь в своей руке. Ира с внезапной отвагой сама просунула руку под левый локоть Иванова. Оправдать эту решительность могло разве только увечье спутника.

И они повернули в другую сторону. В сущности, это было одно движение: взять кавалера под руку и шагнуть направо.

Теперь задача была приноровиться к его неровному шагу. Волнение улеглось, но не надо забывать, что для волнения было достаточно оснований. Получалось, что мы «навязываемся». Так можно было истолковать нарушение этикета. Так нужно было его толковать. Не забудем, что действие происходит в обществе девушек без мужчин и невест без женихов. Возможно, будь Ира постарше, она бы так и подумала: да, навязываемся, лезем к нему; ну и что? Но до этого было ещё далеко. Не следует удивляться деспотизму приличий в государстве, где аскетическая мораль революции обернулась ханжеством, каких поискать. Этикет, как вериги под рубищем у подвижника, сковал юность, ещё не ведавшую о том, что политическая тирания предполагает как некое продолжение тиранию целомудрия.

И, однако, что́ должен был означать этот жест Иры, дерзкая инициатива, которую она взяла на себя, быть может, впервые в жизни? Не могла же она не знать, что такой знак может быть понят превратно. Была ли это в самом деле попытка сближения или всего лишь снисходительность к инвалиду? Или попросту страх в ночном неуютном городе? Иванов шествовал, глядя прямо перед собой, Ира старалась подладиться под его широкий, слегка подпрыгивающий шаг и внимательно смотрела себе под ноги. «А ведь я даже не знаю, — сказала она, держа под руку Иванова или, может быть, держась за него, — как вас... как тебя зовут!»

## ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ

В самом деле, было уже поздно; погасли через один уличные фонари; лишь кое-где в тёмных окнах теплятся огоньки керосиновых ламп. В домах после одиннадцати отключается ток. Даже в центре попадаются навстречу лишь редкие пешеходы. Город спал и не спал, больше не было будущего, зато явью становились воспоминания. Явь походила на сны, и непросто было отличить одно от другого. «Как зо-

вут... — проговорил Иванов. — Но ты же знаешь, как меня зовут». Он смотрел то на ярко освещённые стеклянные двери подземелья, то на часы у себя на руке, верх роскоши по тем временам.

«Ещё четыре минуты, вот сволочи», — пробормотал Иванов, которого, между прочим, звали Юрий Михайлович; хотя разница между ними была каких-нибудь пять лет, он успешно изображал перед девочкой знающего жизнь человека и даже сноба. Ире казалось, что он ещё старше. Но не называть же его, в самом деле, по имени-отчеству. Был, как уже сказано, поздний час, и чувство ночного города и одиночества вдвоём как-то вдруг пробрало обоих. Четыре минуты остается или, если быть честным, три. А они уже закрылись. Иванов забарабанил в дверной косяк. Светлый вестибюль и эскалатор — ступеньки всё ещё подъезжали из глубины — были пусты.

Несколько времени погода показались голова и плечи уборщицы, она выехала с ведром и шваброй, замотанной в тряпку. Иванов стукнул кулаком в дверь, старуха презрительно покосилась на них. С завязанными на затылке косичками бесцветных волос, болезненно полная, низкобёдрая, в рубище, из-под которого шаркали её голые ноги в шлёпанцах, она превратилась на краткий миг из рабыни в начальницу. Иванов стучал пальцем по циферблату ручных часов. Но теперь стрелки показывали уже первый час ночи. Женщина умокнула швабру, шлёпала и елозила мокрой шваброй по каменному полу. Так она приблизилась к дверям. «Я попрошу!» — громыхнул офицер. Поджав губы, она увидела побелешение от ярости глаза за стёклышками пенсне, перевела взгляд на удостоверение, которое он держал перед дверным стеклом.

Бесконечный, пустой эскалатор увозил их в подземный мир. Они сидели в мертвенном сиянии газосветных трубок одни на безлюдном перроне, грозно пылало зелёное око у входа в чёрный туннель, большой квадратный циферблат показывал фантастическое время; и прошло неизвестно сколько, девушка сбросила туфли, поколебавшись, улеглась на скамье, поджала ноги в чулках. Иванов выбрался из пальто и укрыл её, рукав свесился на пол, голова спутницы покоилась у него на коленях, и всё ниже опускалась на грудь его огненно-рыжая голова. Он очнулся, взглянул на часы.

Пол слегка ходил под его ногами; штормило. Э, нет, сказал Иванов. Не выйдет.

«Что не выйдет?»

Было и былём поросло, отвечал Иванов. И нечего возвращаться.

Девушка спала, утомлённая своей молодостью, толчейей, голодом, громом духового оркестра. Было уже сильно полночь, он вглядывался в полукруглый проём туннеля, и ему чудился доносящийся из мрака дальний гул поезда.

Голос из темноты сказал:

«Приказ есть приказ».

Мало ли что. Пошел ты с твоим приказом, с меня хватит. Хватит! — чуть было не крикнул он. — Война кончилась. — Но спохватился, что разбудит женщину. Ответа он не мог различить, ветер рвется из туннеля, колючие льдинки бьют в лицо, вахтенный в меховом комбинезоне, на площадке командной башни, рядом с антенной и трубой перископа, медленно поворачивает голову с биноклем и видит сквозь снежную мглу, прямо по носу, как светлячки, две, потом четыре точки. Он нагнулся к переговорной трубе, тотчас на мостик поднялся командир, точки превратились в огни, командир вполголоса отдавал вниз команды.

Оба нырнули в люк, срочное погружение. Огромный освещённый корабль в рамке перископа. Одна за другой три восьмиметровые сигары несутся к цели, четвёртая застряла в торпедном отсеке. Грохнул взрыв, второй, третий, столбы пламени осветили трубы и палубы с чёрной копошащейся людской массой, пароход заволокся дымом, чёрный нос поднялся над водой — последнее, что они видели. Нужно было успеть уйти на большую глубину, где давление воды уменьшало радиус взрывной волны от глубинных бомб. Люди услышали тяжёлый удар молотом с водяных небес, и ещё удар. «С-13» уходила от погони. И снова Данцигская бухта, радиограмма из штаба флота, лодка идёт в разрез волны, ветер в лицо, морозец градусов под двадцать, поглядывай, сказал командир, я на минутку спущусь, хвачу горяченького, справа двадцать заработал маяк, ага, намечается вход или выход больших кораблей. Вахтенный обшаривает в бинокль невидимый горизонт. Огни прямо по носу!

Новый удар потряс лодку, так что вздрогнула скамейка, на которой он сидит, голова женщины на коленях, на этот раз их достали, вода хлынула в отсеки, и тут, наконец, гул и грохот последнего поезда вырвались из туннеля.

## **ЭКСПОЗИЦИЯ: ALMA MATER**

История, как и природа, не терпит вакуума, то, что принимают за перевал времён, есть итог чего-то, что незаметно копилось до тех пор, пока история не израсходовала своё терпение. Людям, сумевшим дожить до победы, казалось, что война налетела, как ураган, на мирную жизнь; о том, что мирная жизнь была материнским лоном войны, никто не вспоминал. Все преступления прошлого были списаны, как непоплаченные долги, страдания забыты; люди старались не смотреть на

орды слепых, безногих и безруких, наводнивших толкучие рынки и пригородные поезда; нация переживала свой высший триумф, между тем как новая эпоха, словно чудовищный плод-ублюдок, созревала в тёмном чреве истории, чтобы в конце концов разорвать её ложесна. Новое и страшное приближалось и, в сущности, уже наступило. Смутно, не отдавая себе отчёта, его пришествие чуяли молодые люди. Но тайное дитя было их ровесником, они не помнили прошлого и не интересовались им. Проклятье истории ещё не успело дойти до их сознания.

А пока... пока что цвела прекрасная тёплая осень, лучшее время года в этом изумительном городе, под ласковым солнцем поблескивала брусчатка широкой Манежной площади, кроны Александровского сада под розовато-бурой стеной Кремля только ещё собирались желтеть, и грязно-белые, давно не отремонтированные храмины университета по обе стороны улицы Герцена мало-помалу вторгались в сны, превращались в родимый дом.

Войдём в ворота, обойдём памятник, поднимемся по ступенькам подъезда.

Взбежим по широкой лестнице на площадку под балясинами второго этажа: два боковых марша, галерея, бледно-морковные колонны под мрамор, белые монументы вождей и высокие узкие двери аудитории, некогда Богословской, ныне Коммунистической.

*Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!*<sup>1</sup>

Бледный день сквозит через стеклянную крышу. Толпа первокурсников запрудила парадную лестницу. Но можно не подниматься на галерею, можно обогнуть колонны первого этажа, пройти мимо пустой раздевалки, газетного киоска и уборных, толкнуться в низкую дверь. Прихватив полы чёрного, перешитого из морской шинели, наброшенного на плечи пальто, стуча палкой, в полутьме взобраться по крутым, в три марша, ступенькам потайной лестницы и выйти на балкон Комаудитории.

Там уже сидят: человек семь-восемь. Тускло-золотистая, с узелком на затылке и колечками на висках голова Иры, рядом — как же иначе — Марик Пожарский. Иванов протиснулся, надменно поблескивая стёклышками пенсне, полыхая рыжими волосами. Внизу уступами поднимались ряды сидящих, ерзающих, шумящих, шушукающихся; старец в шапочке, с клинообразной бородкой, тот самый, дремавший в приемной комиссии, восседал на эстраде, кутался в шубу, фетровые боты торчали из-под столика. Всё стихло, профессор Данцигер прихлёбывал чай из стакана с подстаканником, вещал мерно-величественным голосом, который едва доносился до сидевших на балконе.

---

<sup>1</sup> Вы вновь со мной, туманные виденья. («Фауст», Посвящение. Пер. Н.Холодковского).

Толпа текла вниз по широкой лестнице, журчали девические голоса, трое стояли под аркой с часами, не решаясь разойтись и не зная, куда податься. Сверху, с галереи второго этажа, озарённые золотушным лучом, их благословляли со своих постаментов гипсовые небожители.

## КОНЕЦ ПОЭЗИИ, ИЛИ РАБОРСТВО ПЕВЦОВ В КРЕПОСТИ ВАРТБУРГ

В те времена функционировали поэтические кружки.

Устарелая, как морские карты XVI столетия, география университета на Моховой была бы неполна, если бы, выйдя из Нового здания, мы не обогнули полукруглое крыло и свернули влево, как некогда повернула к югу флотилия Магеллана. Здесь начиналась узкая, как ущелье, улица Герцена, здесь рельсовый путь вёл от Манежа к Никитским воротам; а напротив — залитый солнцем флигель Старого здания и Зоологический музей.

Толкнув тяжёлую дверь, через тамбур с окошками касс, входили в сумрачный вестибюль и видели перед собой невысокую лестницу, мраморный бюст и строки славной оды на постаменте: *Дерзайте, ныне ободрены, раченьем вашим показать...*<sup>1</sup> Но не всходили, а направлялись налево, три ступеньки вниз, в полуподвал. Были участники и участницы этих собраний, и доживали свои дни наставники-стихотворцы. Ещё существовали резервации государственных поэтов, редевшие с каждым днем; их обитатели вырождались: ничего не делали, сидели на шее у стареющих подруг, выклянчивали авансы, пили водку и сочиняли стихи, похожие на лапшу. И всё же это был по своему величественный, полный смертной надежды, как пламя оплывшей свечи, конец. Если бы молодёжь об этом знала! Но она не догадывалась ни о чём. Прозе не было места в катакомбах клуба. Кучкой, как заговорщики, в тусклом коридоре стояли мальчики и девочки, в центре кто-то, рубя кулаком, как полагалось в то время, читал стихи. Входили в комнату, где стоял бесполезный рояль, рассаживались и ждали, когда начнутся стихи. Отворилась дверь, кто-то мешкал перед входом. Все головы повернулись к дверям. Вошел поэт. Он вошел, как врывается ветер, некогда им воспетый. *Итак, начинается песня о ветре... Посверкивая очами под грозowymi крыльями бровей, прошагал между стульями. О ветре, одетом в солдатские гетры. О ветрах,*

---

<sup>1</sup> Ломоносов, «На день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны».

*идущих дорогой войны.* Упругий ритм, похожий на марш, упрямое чередование одних и тех же согласных, рифма, какой еще не слышали, и главное, какой образ! Эти юнцы не знали, что гетры были взяты напрокат у Киплинга, ибо красноармейцы гражданской войны были обуты в обмотки. *О войнах, которым стихи не нужны.* Воображение рисовало им великана с красной звездой, в шлеме с прорезью, надвинутом на глаза, с ранцем за плечами, солдата, шагающего в серых гетрах по дорогам войны. Следом за руководителем студии ступал никому неизвестный, мрачного вида персонаж в пиджаке, одолженном у кого-то, с плоским перебитым носом на невыразительном лице.

Гулко откашлявшись, поэт уселся рядом с роялем. Началось чтение. Хорошо одетый юноша в заграничном галстуке, с пробором в масляно-блестящих тёмных волосах, по всему судя, отпрыск важных родителей, артистическим жестом положил ладонь на крышку рояля, взмахнул свободной рукой и заработал кулаком, словно вколачивал сваи, при этом он не произносил некоторых согласных; получилась так:

Юбовь, пьиди, пьиди скоей,  
я пвачу, пвачу, свышишь? — пвачу!

Каждое слово вбивалось кулаком, хотя по тону и настроению стихов это было вроде бы необязательно.

Тузы — пиковые — ночей —  
Мне нагадали — неудачу!

И далее в этом роде. Стихи произвели большое впечатление. Тузы пиковые ночей, это было что-то новое. Это был «образ», нечто ценившееся выше всего. Гугалиновый юноша смотрел сквозь длинные ресницы куда-то вдаль над двумя рядами девочек, и было странно и волнительно, что такой красавчик жалуется на любовные неудачи. Председательствующий наклонил кудлатую голову в знак одобрения. Прения были отложены на конец заседания, Марик Пожарский, с нетерпением ожидавший своей очереди, приготовился выступить вперёд, с цитрой, как рыцарь Тангейзер в Вартбурге, но тут руководитель вновь густо прочистил голос, что означало переход к главному пункту повестки дня.

Он указал на продавленный нос молодого поэта, автора фронтовой поэмы, у которого, сказал он, применив профессиональный термин, есть интересные ходы. Молодой поэт, впрочем, не совсем уже молодой, с поредевшими, цвета лежалой соломы, волосами, мрачно сказал, сильно налегая на «о», что поэма большая, в ней десять тысяч строк. Поэтому он прочтет другое стихотворение.

В этом стихотворении шла речь о возвращении с войны, о том, что он не собирается уходить на покой, потому что руки саднит от жажды работать, и в некотором противоречии с этим желанием в конце говорилось, что «лучше придти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Все посмотрели на пиджак поэта, но там обе руки были на месте. Председатель предложил перейти к обсуждению. Никто не вызвался. О Марике забыли. Встала маленькая, черноволосая, малиновая от волнения восьмиклассница и попросила разрешения прочитать стихи никому не известной поэтессы Ахматовой. Председательствующий поэт устремил на девочку ястребиный взор, покосился на ручные часы, может быть, сказал он, вы прочтёте что-нибудь ваше. Что-нибудь свое. Девочка обвела собрание умоляющим взором. Поэт развел руками. «Слава тебе, безысходная боль...» — начала она тоненьким голоском. При этих словах поэт встрепенулся, приподнял могучую бровь, соединил пальцы рук.

Слава тебе, безысходная боль!  
Умер вчера сероглазый король.  
Вечер осенний был душен и ал...

## ДОМ ПРИВИДЕНИЙ

В ворота гостиницы губернского города NN въехала рессорная бричка. Но (скажут нам) рессорных бричек давно уже не существует. Нет больше и господ средней руки, нет половых, выбегающих навстречу, нет поросят с хреном и со сметаной, мужиков, обсуждающих достоинство колеса, нет больше таких колёс и вообще ничего нет. Что же есть, что осталось от гоголевских времён? Осталось ли что-нибудь? В ворота подмосковного дома отдыха, разбрызгивая грязь, въехала машина. Была глубокая осень, время тишины, покоя и вдохновения. Это был дом, непохожий на обычные дома отдыха, принадлежавший особому ведомству, которое не называло себя ни ведомством, ни министерством; это был монастырь муз. В старинном двухэтажном особняке за забором, с высокими окнами в белых наличниках, с гостиной, где стоял рояль, столовой, библиотекой, бильярдной, постояльцев ожидали уютные комнаты — у каждого своя. Внизу, в прихожей, на дощечке стояло: «У нас в гостях...» — и дальше славные, заслуженные имена. Это был дом отдыха, называемый также домом творчества писателей. Ибо писательство, по тогдашним понятиям, собственно, и было не чем иным, как отдыхом, — не мешки таскать, как выражался племс. Можно даже сказать, что писательство в некотором высшем смысле было отдохновеньем от жизни, — хоть и притязало на исклю-

чительное знание народной жизни. Творчество, или что там под этим подразумевалось — лежание на кровати, постукивание двумя пальцами по клавишам машинки, мечтательное курение, поглядывание в окно, — творчество означало, что счастливцев (в нашем случае это был поэт) раз и навсегда освобождён от работы, от вскакивания с постели ни свет ни заря, от впахивания в автобус, от толчеи в подземных переходах и поездах, в угрюмой толпе таких же обречённых работать, от висения на подножке трамвая, от выстаивания в очередях, короче, от всего, что называется жизнью. Здесь, в этом доме, можно было встать когда хочется, лечь когда хочется, солидно прогуливаться на свежем воздухе, можно было в пижаме и тёплых домашних туфлях, подняв миллиардное копьё, обдумывать удар по шару или строфу эпической поэмы. Поэт выбрался из машины. С двумя чемоданами и зонтом под мышкой, в толстом ратиновом пальто и мохнатом картузе, тяжело дыша и помогая себе бровями, он взойшёл на крыльцо, вступил в прихожую. Он был встречен кокетливой горничной. Немного спустя гость отдыхал в носках на кровати, в комнате на втором этаже, на полу стояли его чемоданы, пальто небрежно брошено на стул. Ветки с остатками жёлтой листвы заглядывали в окно, рабочий стол с пишущей машинкой дожидался гостя. Это был тот самый поэт с грозowymi крыльями бровей, председатель поэтической студии в университете. *Итак, начинается песня о ветре.*

Вернувшись из столовой, он развесил вещи в шкафу, разложил на столе бумаги, книги с закладками. День померк. Зашумел дождь. Ветер истории ворвался в уютный дом, в полутёмную натошленную комнату. Завтра с утра предстояло засесть за работу. Может быть, это был его последний шанс. Поэт давно не выдавал ничего основательного. Суета и безделие, членство в комиссиях, председательствованье на юбилейных вечерах, суверенное сиденье до поздней ночи в ресторане дома литераторов высосали остатки вдохновения. Величественный, как бог-громовец, поэт всё ещё был окружён женщинами. Кормился переводами фантомных стихотворцев братских республик. «Баллада о ветре» перепечатывалась в хрестоматиях. Как-то незаметно ветер превратился в движение воздуха, подобное тому, которое создаётся вращением вентилятора. Такие устройства необходимы в эпоху умирания поэзии. Как, когда это случилось? Он звал юность, как зовут сбежавшую любовницу. Ему всё ещё казалось, что ветер улёгся оттого, что угасла поэзия, а не наоборот.

Ещё не было написано ни одного связного отрывка, замысел ривсовался, словно облачный замок. Это была Илиада наших дней. Её строки были медлительны, в них слышалась тяжкая поступь миллионов, умерший ветер революции должен был вновь зашуметь в них, как

ливень за окнами. Демиург истории должен был предстать живым человеком и былинным богатырём. Вождь являл сегодняшний лик революции. С трибуны мавзолея он простирал руку в будущее. Залатать разлезшееся время, соединить завет революции с верой в Вождя, таково веление дня. В конце концов это значило возродиться самому. В заботах об этом, под шелест дождя и поскрипыванье половиц старого дома, он погрузился в сон.

## **ВСТАВНОЙ ЭПИЗОД: ГОСТЬЯ «ОТТУДА»**

Настало утро; выспавшийся, умытый, с расчёсанными бровями, он сошёл вниз. Столовая помещалась в самой лучшей, большой и светлой комнате, всю стену занимал монументальный буфет морёного дуба. О бывшем владельце виллы было известно только то, что он некогда существовал и пропал. Посреди комнаты на тяжёлых резных ногах стоял обеденный стол, за которым рассаживались постояльцы. Позвякивали вилки, разворачивались крахмальные салфетки, хлебница путешествовала из рук в руки, с достоинством намазывалось на ломтики хлеба ароматное бледно-золотистое масло, не спеша, обратной стороной чайной ложечки разбивалась скорлупа яиц, входила улыбающаяся горничная в переднике и наколке, с кушаньями на подносе, всё было по-домашнему, без хамства, аристократично и вальяжно; «будьте добреньки, передайте соль», «с вашего позволения, сыр...», «а что там такое — о, гренки...». Подавальщице — «спасибо, Валюша». Всё принималось как должное, как осень за окном, всё подразумевалось само собой, никто не спрашивал, откуда взялась вся эта благодать.

С опозданием вошла новая жилица, её имя, известное и вместе с тем неизвестное, а лучше сказать — небезызвестное, значилось на дощечке в прихожей. Молва распространилась вполголоса и предшествовала её прибытию. Вошла женщина с тёмным пепельным лицом и серыми, как хрусталь, блестящими глазами, с коротко стриженными полуседыми волосами, узкая, плоскогрудая, с сигаретой в бескровных губах, в тёмно-суконном платье и накинутой на плечи серой вязаной кофте. Тотчас разговоры за столом прекратились, каждый был занят своим делом. После завтрака все разошлись по комнатам.

С раскрытым зонтом поэт стоял на крылечке в пальто и картузе, дневному сну он предпочитал прогулку. Было это, вероятно, через несколько дней после приезда. Выглянуло чахлое солнышко. Он свернул зонт. Серая дама вышла из дома. На ней был дождевой плащ, пожалуй, слишком лёгкий для этого времени года, голова повязана платочком из такой же ткани. Жизнь в доме, похожем на интернат, облег-

чает знакомство. По непросохшей тропе вдоль кювета, — худенькая гостья впереди, грузный поэт следом, — дошли до обломанной церкви, где размещалось местное сельпо. Сигарет, к сожалению, не оказалось, с сигаретами в этой стране была проблема. «В этой стране?» — переспросил он. Она кисло улыбнулась, поправилась: «В нашей стране». Это была, следовательно, «наша страна». Поэт иронически поднял бровь. Дама купила пачку папирос «Звезда». Улица вывела к лесу. Побрели вдоль опушки. Он спросил, где она поселилась.

Нигде, был ответ.

Закурив, она добавила:

«В Литфонде обещают что-нибудь подыскать. Пока буду жить здесь». На осторожный вопрос, одна ли она приехала, не уточняя, приехала ли в дом творчества или «вообще», — она ответила: одна.

Солнце то проглядывало, то исчезало за набухшими влагой облаками. Он не спросил, откуда приехала. Это было более или менее известно. Из царства теней, вот откуда. А может быть, мы здесь, подумал он, кажемся ей теньями. Чуть: мы здесь жили. Мы воевали, мы... он споткнулся и чуть не шагнул в воду. А они там прозябали. Шли осторожно, точно по минному полю. Обходя лужи, перешагивая через корни.

«Странно», — проговорила поэтесса и остановилась. Папироса между пальцами; хрустальные глаза устремлены в пустоту.

«Что странно?»

«Всё. И этот лес, и село».

«Вы хотите сказать: посёлок?» (Приятно и горестно было ловить её на ошибках.)

«Да. Ничего не изменилось! То есть, конечно, всё изменилось. И в то же время...»

«Вы здесь раньше бывали?»

«Здесь — нет».

«Простите, я перебил вас. Вы хотели сказать, всё — то же и всё другое?» Серая дама пожала плечами. «Вы не можете себе представить, — сказала она, — что это за чувство, слышать везде, изо всех уст русскую речь».

«Сколько времени вы не были, э?...»

«В России? С двадцатого года. Мы уезжали из Новороссийска... Вас эта тема не смущает?»

«Меня? — спросил поэт. — Нисколько».

«Я представляю себе, как вы на всё это должны смотреть».

«Как?»

«Вы один из главных поэтов той поры». (Она не сказала — советских.)

«Что значит — главных?»

«Самых известных».

«То есть... — он усмехнулся, — принадлежу этому времени?»

Она возразила:

«Мы все принадлежим этому времени».

Прошагали ещё немного.

«Итак... — промолвила серая дама. Она остановилась, улыбаясь, смотрела в пространство. — Итак, начинается песня о ветре...»

Проклятье. Как будто с тех пор он ничего больше не написал.

«О, простите. Это, кажется, Светлов. Или Луговской?»

«Нет. Это я».

«Идёт эта песня, ногам помогая. Качая штыхы... Они все уже умерли».

«Некоторые живы... Вы неплохо знаете нашу поэзию».

«Поэзия общая. Или ничья. Как язык. Как эти облака... И всё-таки странно. Ведь мой муж тоже воевал. Он был в Добровольческой армии», — сказала поэтесса и покосилась на собеседника — вызывающе, как ему показалось. Он подумал: сомнамбула. Нет, хуже.

Вслух он сказал:

«Я это знаю».

Она подняла брови. «Вы знаете, что мой муж был белым офицером?»

«Да. И что он погиб при отступлении».

«Откуда вам это известно?»

«У вас есть стихи».

«Ошибаетесь; вы, очевидно, имели в виду Цветаеву. Нас иногда путают».

Шли дальше.

«Я на гражданской войне по существу не был. Заболел сыпняком, не доехав до фронта».

«Это было тысячу лет назад, не правда ли?»

«Пожалуй, — сказал он. — Или позавчера».

Обогнув лесок, вышли к полю, заросшему почерневой травой. Поэт спросил, не собирается ли она что-нибудь опубликовать на родине. Собираюсь, сказала серая дама. Кто-то предложил подготовить небольшой сборник. Впрочем, совершенно напрасная затея.

«Но почему же?»

«Не напечатают. Меня здесь никто не знает. Говорят, уже есть отрицательный отзыв».

«Может быть, я мог бы вам...»

«Быть полезен? — быстро спросила она. — Спасибо, — и покачала головой. — Мне никто ничем помочь не может».

Она добавила:

«Даже если бы что-нибудь из этого получилось. Меня никто не станет читать!»

«Вы ошибаетесь».

Она промолчала.

Поэт назвал её по имени-отчеству, она встрепенулась. Можно ей задать вопрос?

«Сделайте одолжение».

«Вы не жалеете?»

Она не спросила — о чём. Усмехнулась:

«Не жалею».

«Извините моё любопытство... мою назойливость».

«Что вы, что вы».

«Я, конечно, понимаю. Но всё же. Что побудило вас?..»

«Вернуться?»

Поэт кивнул, и они продолжали свой путь.

«Нет, — сказала она, — здесь очень грязно».

На ней были лёгкие туфли; повернули назад.

«Логичней было бы спросить...» — пробормотала она.

«Кажется, снова крапает, — сказал поэт и раскрыл зонт. — Можно мне взять вас под руку?»

«Логичней задать вопрос, что могло бы меня остановить. Что останавливает многих. Страх? Вражда? Верность белой идее? От этой идеи ничего не осталось...»

«Да, конечно».

Она усмехнулась: «Откуда вам это известно?»

Поэт пожал плечами. Должно быть, сказал он (или хотел сказать), должно быть, мешает вернуться и ещё кое-что.

«Вы имеете в виду возможные репрессии. Может быть. В конце концов, судьба Марины и ее семьи должна была бы всех насторожить... Но ведь и это было давно, времена изменились. Как вы думаете?»

«Да, да, — поспешно сказал поэт. — Разумеется, времена изменились».

«Правительство даже специально обратилось к эмигрантам».

«Да, конечно».

«Что касается меня, то есть что меня заставило преодолеть страхи... или предубеждения... Было много оснований для возвращения. Само собой, против меня оцетинились многие. Я имею в виду литературную эмиграцию... Даже Бунин, и тот... Впрочем, он-то и ополчился на меня больше всех. Хотя не одна я решила вернуться. Но, в конце концов, дело не в этом».

Помолчали; поэт ждал продолжения.

«А дело в том... — сказала она, осторожно ставя туфли, перепачканные глиной, — это, может быть, слишком громко звучит... Дело в том, что я почувствовала, как бы это объяснить».

И хоть бесчувственному телу  
Равно повсюду истлеть,  
Но всё же к милому пределу...

В Sainte-Geneviève-des-Bois мне бы лежать не хотелось».

Зачем тебе, подумал он вдруг. Ты и так мертва.

Но он не знал французского языка и спросил: что это такое?

«Русское кладбище. Километров пятнадцать от Парижа. Там, можно сказать, лежит весь цвет».

«Что ж...» — пробормотал он.

«А вы? Вы как считаете? Искренность за искренность».

«Я?.. вы хотите знать моё мнение?»

«Да. Хочу».

«Стоило ли возвращаться».

«Да».

«Вам».

«Да — к примеру. Я понимаю, — сказала дама в сером, — что задаю бестактный вопрос. Вам, советскому патриоту. Хотите, я сама отвечу? — Не стоило».

«Вот как!»

«Но и оставаться не стоило. Дело в том, что поэзия умерла».

«Умерла?»

«Да. И там... и здесь».

Дождь зарядил. Вот оно, думал поэт. Это и есть нужное слово. Ты сама — смерть. Слава Богу, ничто из того, о чём она говорила, — её заботы, её холодное отчаяние — нас не касается.

Вдруг оказалось, что собеседница куда-то делась. Он окликнул её, снова по имени и отчеству. Она стояла за углом — лишняя, как вставной эпизод в романе.

Он подумал о том, что сейчас они вернутся (пожалуй, будет лучше, если не вместе), он взойдёт на крыльцо тёплого, уютного дома и оставит мокрый зонт в прихожей. Поднимется к себе и зажжёт настольную лампу. Начинает темнеть. Дни стали совсем короткие. Он ещё полон сил, ему жить и жить. Умерла ли поэзия? О, нет. Поэт наденет домашние туфли, закурит, завернётся в халат. И примется за эпикальный труд.

## ИРА У БАЛЮСТРАДЫ

Был на нашей памяти один студент, зубрил науки, сдавал зачёты и переходил с курса на курс, а сам тайком, дважды в неделю ездил в подмосковный посёлок и оканчивал вечернюю среднюю школу. Неизвестно, как он сумел стать студентом без аттестата зрелости, — впрочем, можно добыть фальшивый аттестат. О Марике Пожарском тоже можно сказать, что он был в некотором роде кавалером без аттестата зрелости; очутившись в высшем учебном заведении, оставался школяром и всё ещё переживал эпоху, когда каждое увлечение представляет любовь с первого взгляда. Этот взгляд натывается на какую-нибудь деталь, как взгляд кинозрителя на грудь актрисы, словно ненароком показавшуюся в кадре. Можно более или менее точно указать время, когда случилось короткое замыкание: были ранние осенние сумерки. Матовые шары уже сияли на галерее. Народ высypал на перерыв из Русского кабинета. Марик был студентом романо-германского отделения, но этот кабинет, комната с диваном, книжными шкафами и столиками, на которых стояли лампы, за недостатком свободных аудиторий давал приют группам всех отделений. Марик стоял в дверях, в неопределённой задумчивости, ничего не видя перед собой, невзначай поднял голову и увидел два девических силуэта. Они стояли шагах в пяти спиной к нему. Одна из них наклонилась над балюстрадой.

Она встала на цыпочки, отчего её красное платье слегка приподнялось, обрисовались бёдра, обнажились обтянутые чулками подколенные ямки, и прежде чем Марик сообразил, в чём дело, эти ямки отпечатались, как на целлулоидной плёнке, на дне его глаз.

Камера отъехала; Марик увидел её всю. Ира звала кого-то спускавшегося по лестнице, её ладони упирались в плоскую поверхность балюстрады. Платье из поблескивающей материи, должно быть, из сатина, с отделкой вокруг шеи, слегка вздёрнутое, облегло её тело, очертилась линия от рыжеватых завитков волос к приподнятым плечам, от подмышек к талии, где обозначилась поперечная складка, и далее, описав полукруглые бёдра, задержавшись на сотую долю секунды, взгляд опустился к слегка напряжённым икрам, к пяткам, привставшим над белыми туфлями-босоножками.

Ира на цыпочках, рядом с подругой, для Марика, впрочем, не существовавшей, склонилась над балюстрадой, нашла кого-то внизу, и вслед за этим движением поднялось её светлопунцовое платье, подчеркнуло рисунок бёдер и обнажило подколенные ямки. Тут он заметил, — чего никогда не умел замечать, — что красный цвет замечательно подходит к золотистым волосам, увидел, наконец, её всю.

Ира крикнула, смеясь, кому-то идущему вниз по лестнице бессмысленные слова и, очевидно, сейчас же забыла о нём; теперь она стояла вполборота к подруге, которая что-то настойчиво твердила ей; красное платье опустилось до коленок, Ира сняла руки с балюстрады, подняла ладонь к волосам, и снова едва заметно обрисовалось её тело, открытия следовали одно за другим, изгиб талии подчеркнул лёгкую выпуклость зада, из-под локтя показалась её грудь, но зрение было ослеплено, и Марик, если бы он закрыл глаза, увидел бы на сетчатке всё ту же фигуру, склонённую над балюстрадой. Почувствовав на себе посторонний взгляд, она обернулась, зеленые глаза смерили Марика. Всё это продолжалось, вероятно, не больше минуты, и, круто повернувшись, он вошёл в кабинет.

## НОВОЕ В ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Ах, какая началась жизнь. Полная загадок, захватывающего интереса, недоговорённости, таинственных взглядов, небрежных реплик. Жизнь, в которой обычные слова были пароллями особого диалекта, топорный перевод с иного, несравненно более тонкого языка. Как в обыкновенном языке смысловые оттенки каждого слова образуют некоторое семантическое поле, так сигналы тайного языка обретали смысл в магнитном поле особого рода. Генератором этого поля была девушка.

Вечером, когда над опустевшей галереей второго этажа теплились бледно-желтые шары, Марика Пожарского пронизывали волны таинственного предчувствия. Он топтался между статуями из алебаstra, расхаживал вдоль морковных колонн, соединив брови, точно решал математическую задачу, висел на балюстраде, борясь с искушением поглядеть вниз, на старуху-сторожиху и входную арку, и всё это до тех пор, пока не приходили в движение стрелки некоего прибора, пока сердце-счётчик не принималось отстукивать импульсы силового поля. Тянулись минуты, ожидание стало невыносимым. И вот показались под аркой ноги в танкетках, показалось пальто, суженное в талии, появилась она вся. Ира всходила по лестнице, опустив голову, на ходу расстёгивая потемневшее на плечах пальто, откинув капор, встряхивала мокрыми завитками волос, вышла на галерею. «Ты?.. Привет», — сказала она с притворным удивлением. По правде сказать, она удивилась бы, если бы его тут не было.

Ира выросла на Арбате в старинном доме, который видел конницу Мюрата; как все, проживала в коммунальной квартире и, как большинство граждан, не чувствовала себя обделённой. Полутёмный длинный коридор, заставленный рухлядью, упирался в их дверь;

большая комната была разделена пополам занавеской, переднюю половину перегораживал дедовский шкаф, справа помещались родители, слева спала Ира. В задней половине обитало семейство старшего брата, молоденькая, возраста Иры, жена и ребёнок. Ира мыла пол, стирала, стояла в очередях, нянчила плачущее дитя и знала, в буквальном смысле понаслышке, в чём состоит ритуал интимной жизни мужчины и женщины; шепот, скрип кровати, боязнь беременности, боязнь, что услышат, были компонентами этого ритуала.

Ира была невысокого роста, от природы несколько наклонна к полноте и лет через десять должна была превратиться в толстушку, если предположить, что к тому времени жизнь станет сытой. Ира мелко и твёрдо ступала на своих крепких коротковатых ногах, слегка покачивая бёдрами, которых ждало блестящее будущее. Она успела вступить в возраст, когда девическая неуклюжесть начинает казаться чем-то само собой разумеющимся. Весь её облик, походка, посадка головы как бы говорили: иначе и быть не может.

Кем-то сказано, что девушки бывают из серебра или из золота. В бледнозолотистом ореоле волос, казавшаяся бледной, с синевой под глазами, что можно было отнести на счёт женского нездоровья или хронического недоедания, она стояла перед Пожарским, давая понять, что он мешает ей пройти в читальный зал. Ощущала ли она невесомое дрожание, шелест магнитного поля, которое окружало её? Скорее она сама находилась под его воздействием, чувствовала, входя в университет, что её несёт прозрачное облако. Временами ей начинало казаться, что она влюблена; но в кого? В себя, разумеется. Предметом тайной симпатии, если не вожделения, была она сама, её тело, её походка; как если бы в ней самой жил подросток и подглядывал за женщиной. И она искала редкой возможности побыть одной, чтобы, сбросив одежду, насладиться лицезрением самой себя перед волшебным стеклом. Совсем другой вопрос, была ли она готова хотя бы пальцем шевельнуть, чтобы ободрить Марика. Она спросила, что он тут делает. Последовал неопределённый ответ, неохота идти домой или что-то в этом роде; но на том подлинном языке, где не было склонений и спряжений, на языке без слов, ответ не допускал двух толкований. «Надо к завтрашнему сделать перевод», — сказала она. «Я тебя подожду, ладно?» — отважно крикнул он вдогонку. Удаляясь, она слегка пожалала плечами.

## **ВПРОЧЕМ, НЕ ТАКОЕ УЖ НОВОЕ**

Если Ира (как большинство её сверстниц) к этому времени успела открыть себя, то неуверенность Марика объяснялась тем, что он всё ещё искал себя и не мог найти.

Девушка, стоящая перед зеркалом, делает открытие, подобное открытию Колумба; то, что предстало ей, не есть то, что она искала, но именно то, что надлежало открыть. Она испытывает чувство раздвоения; вот так могли бы её видеть другие; разглядывает себя как нечто новое и вместе с тем — «то самое»; та, что стоит в стекле, свидетельствует, что это она сама. Чтобы окончательно убедиться, она проводит руками от подмышек и ниже, вдоль талии, да, это её грудь и лирообразные бёдра. Её нежный, воздетый кверху подбородок. Все, что удостоверяло в ней женщину, что подчеркивало и делало неопровержимым ее пол, — всё это была она сама. Иначе обстояло дело с Мариком Пожарским.

Известная теория о том, что пенис есть символ власти, что его отсутствие воспринимается как потеря и, дескать, вот откуда снедающая женскую душу тайная зависть, досада, отчего ты не родилась мальчиком, — теория эта показалась бы Марику абсурдной, ибо он вовсе не гордился тем, что имел, и уж, конечно, не притязал ни на какую власть. На самом деле, если уж на то пошло, присутствие этого придатка тяготило, смущало, было причиной постоянной неуверенности, неловкости, беспокойства и тайных мук.

В темнице своего «я», куда едва проникали косые лучи света, барахтаясь в собственной душе, как на дне колодца, Марик не имел представления о том, чем жили и дышали представительницы другого пола, чем жила Ира, о чём она думала, чего хотела; само собой, невозможно было решить и насущный вопрос: какое место он занимает в её душе? Их «отношения» — приходится взять это слово в кавычки — можно было бы назвать приятельскими, если бы не влюбленность; можно было бы назвать любовью, если бы из них старательно не изгонялось всё, что напоминало о любви. Ведь сказал же Гейне: все мы сидим голые под нашей одеждой. Как под одеждой таилось нечто неупоминаемое, так под покровом студенческой фамильярности скрывалось напряжение, которому не было исхода.

Марика Пожарского, как и всех очень молодых людей, сбивало с толку очевидное противоречие: весь вид юной женщины говорил о том, что она созрела «для этого», а между тем эти существа вели себя так, словно ни о чём не догадывались, словно никакой любви и чувственности не существовало; был ли это стыд, гнёт репрессивной морали, расчётливая тактика — или Ира в самом деле ни о чём таком не помышляла?

Марик завидовал девушкам, не подозревая о том, что округлившиеся формы, которых не скроешь, могут подчас причинять такие же муки. Позу презрительной независимости он принимал за чистую монету. Получалась странная вещь: если девицы были снедаемы тайным

беспокойством, всё ли у них «в порядке», если они готовы были часами разглядывать себя в зеркалах, не упускали ни одной витрины, утешаясь зрелостью своих форм и вновь отыскивая изъяны, если с придирчивостью, не знающей снисхождения, с завистливой наблюдательностью оглядывали друг друга, у одной находили кривые ноги, у другой плоскую грудь, — то мальчики испытывали стыд и неловкость именно оттого, что стали мужчинами.

Мелькало ли у него хоть изредка подозрение, что от него ждут большей решительности? Эх, ты. В затуманенном взгляде Иры как будто сквозил упрёк. Немое поклонение надоедает. С чисто женской зоркостью она отметила, что Марик смотрит на неё не так, как «надо», не оглядывает её, как подобало мужчине, и почувствовала к нему жалость: Марик попросту ничего не видел. На самом деле Марик видел её лицо, видел её сразу всю; однажды вздрогнув от неожиданности, как от спички, вспыхнувшей в неумелых пальцах, он больше не разбирался в подробностях. Так близорукий любит пейзажем, так простодушный читатель воспринимает книгу целиком, не замечая красот стили, не умея оценить композицию целого и отдельных глав.

Да, но она могла думать совсем о других предметах! Очень может быть, что она вовсе не помышляла о нём. Марику нужно было прожить на свете ещё столько же лет, сколько он прожил, чтобы научиться угадывать мысли женщин. Он убедился бы, что мысли эти чаще всего не отличаются оригинальностью.

Между тем злоеющая репрессивная мораль не допускала даже мысли о том, что могло бы произойти, если бы Марик набрался отваги и перешёл в наступление. Стоп! Полосатый шлагбаум перекрыл дорогу в солнечные страны чувственности. Отдавал ли себе полуподросток второй половины сороковых годов вообще сколько-нибудь внятный отчет, что собственно является «целью», не был ли для него половой акт профанацией любви? Как ни удивительно (а впрочем, неудивительно), мальчики оказывались консервативней девочек. В то же время викторианский этикет предписывал отношение к женщине как к *être-objet*<sup>1</sup>. Коммунистическая мораль провозгласила равноправие полов, но при этом неявно навязывала женщине роль пассивной стороны. *Шагать с мужчиной в одном строю*. Это ведь не то же, что рекомендовать мужчинам шагать в одном строю с женщиной. Быть может, — подчиняясь той же морали, — Ира в самом деле чего-то ждала. По крайней мере, ждала внятного объяснения. Ждала в этот вечер, ждала завтра. Потом... как бы это выразиться? Перестала ждать. Каждодневные встречи в университете, рутина занятий, привычные шу-

---

<sup>1</sup> Одушевленному предмету (*фр.*)

точки, какой-то порхающий, приятельский, пошловатый тон сделали своё разрушительное дело. Игра, лишённая необходимой тактики обороны, игра без риска, словно игра в шахматы без опасности получить мат, лишалась смысла.

Вечер длится, вечеру нет конца, жёлтые шары сияют под высокими потолками, исполинские гипсовые кумиры осеняют широкую лестницу, тускло отсвечивают псевдомраморные колонны, наверху розоватые, цвета бледной моркови, внизу серые, как ливерная колбаса или суррогатное кофе с молоком. Сторожиха в тулупе дремлет на своём посту за столиком под аркой с часами. Марик бодрствует наверху.

Он стоит, прислонясь к колонне, опираясь локтем на плоский край балюстрады, щека подпёрта ладонью. Одна и та же мелодия без конца прокручивается в оступелом мозгу, волшебный, баюкающий звукоряд: «Утро в горах». *Нáрара, рáрара. Нáрара, рáрара.* А ещё — монотонно позванивая, постукивая, бодрым баском-говорком: *Бы́л обеспокоен очень воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет...* «Песенка ночных бомбардировщиков», ансамбль под управлением Леонида Утёсова. И опять Григ. Всё опустело, всё умерло, в коридорах темно. Мысли, звуки плывут над головой. Облачно-слизистые существа, крохотные монстры — голова и хвост барахтаются в мутной светящейся влаге. Он ждёт, когда, наконец, закроется читальный зал.

Что же мешает ему войти в читалку, сесть напротив? Стыд, робость, боязнь быть назойливым, а может быть, гордость? Ира знает, что он ждёт, и нарочно тянет время. Значит, не забыла, что он ждёт. Это испытание верности. Бесконечно тянется поздний вечер. Последние студенты-зубрилы уныло спускаются по лестнице, пробудившийся Марик вперил байронический взор в пространство, — она должна увидеть его надменный профиль, его равнодушный, его отрешённый профиль, и вот, наконец-то: она появляется в дверях, он замечает её краем глаза. Не удержавшись, поворачивает голову, проклятье, это не Ира. В опустевшем зале Марик бредёт между столами, подходит к усталой библиотекарше. Его не устаивают ответом. Иры нет, и неизвестно, как, когда она ускользнула. Шары под сводчатым потолком померкли, свет горит только внизу.

## ШЕСТВИЕ МАРИКА ПОЖАРСКОГО ПО НОЧНОМУ ГОРОДУ

Марик сбегал вниз по лестнице с чувством, похожим на радость висельника, нагло насвистывая: *Мы летим, ковыляя во мгле! Мы летим на последнем крыле!* Завораживающая мелодия. Всё пропало.

*Бак пробит, хвост горит, но машина летит.* Ступенька, еще ступенька. Машина летит! *На честном слове и на одном крыле.* Мужественно-расслабленным говорком, с англосаксонскими синкопами:

Ну, дела! (Там, та-тáм). Ночь была...  
Все объекты разбомбили мы дотла. (Тáм, тарáм!)  
Мы ушли, ковыляя во мгле.

Он шагает по влажно поблескивающему тротуару. На черном небе восходят малиновые светила. Город принимает его в свои объятия. Город, где только и можно жить. Фантастический, единственный в мире. Где всё вместе, эпохи и страны, Византия, Италия, Золотая Орда и Герцен с Огаревым, орлы на круглых щитах над воротами и подъездом, будка милиционера — посольство вчерашних друзей и союзников, перед которым не рекомендуется останавливаться, а вот мы возьмём и остановимся; и напротив, по ту сторону пустынной площади Манежа, за тёмной оградой Александровского сада и зубчатой стеной купол дворца, над которым в космическом небе, в призрачном сиянии плещется флаг, чёрный с кровавым отливом. Всё вместе, рядом, одно к одному. И где-то там, за светящимся окном, кабинет. Лампа на столе, и какой-нибудь персидский, шамаханский ковёр, по которому Вождь неслышно расхаживает в своих штанах с лампасами, заправленных в сапоги.

Там ли он? Остаётся ли он ещё человеком из плоти и крови?

Дальше, дальше... подъезд Колонного зала, Аполлон над четвёркою мраморных лошадей, в пахучей тёмной ночи сверкающая надпись над крышей ЦУМ'а: *Слава народу-победителю!* И везде, во всём одна и та же великая, зловещая и вдохновляющая тайна. Марик Пожарский шагает по городу, его шествие напоминает плаванье Зигфрида по Рейну, напоминает шаги командора, напоминает ночной смотр императора в треугольной шляпе. Он идёт пешком, ему далеко идти.

Вся команда цела,  
И машина пришла  
На честном слове и на одном крыле.

Поздно; гаснут фонари. В это время в старом арбатском доме Ира давно уже спит в своём закутке, подложив руку под щеку, антикварный шкаф отгораживает её от родителей. Станным, даже абсурдным, не правда ли, покажется сравнение магнитного поля восемнадцатилетней барышни с другим, мощнейшим излучением, которое ощущали все от мала до велика. С полем высокого напряжения, чьё смертоносное действие мог выдержать только тот, кто родился в нём или десятилетиями привыкал к его шелестящему присутствию.

И всё-таки, всё-таки... *Мы летим, ковьяля во мгле.* Юность сумела уравновесить воздействие двух полей, юность ухитрилась не замечать грозного шороха и потрескивания. Как лунатик не знает, что может споткнуться и упасть с высоты, так юность не подозревала о страшной опасности, подстерегавшей её на каждом шагу.

Но какой ценой, чем было куплено это шаткое равновесие? Любовь к тому, кто, скрывшись от всех, присутствовал всюду, чьи портреты давали не более адекватное представление об оригинале, чем иконы и фрески — о реальном облике божества, любовь к Вождю-Спасителю, которому молодые были обязаны своей молодостью, старики своей старостью, нищие своей нищетой, богачи богатством и в конце концов все и каждый — тем, что они живут, — не размагнитила ли эта любовь половую энергию? Кого нужно больше любить: Вождя или подругу? Конечно, Вождя! Женщина «отвлекает».

Люди старшего поколения помнили времена, когда он был человеком из плоти и крови. Чего они больше не могли вспомнить — когда и как влечение к Вождю начало заменять влечение к противоположному полу. О каком противодействии могла идти речь? И всё же, возвращаясь к Марик, мы можем сказать, что любовь к Вождю (или её остатки) была в конце концов перечёркнута. Чем? Любовью к Ире, чем же ещё.

Был обеспокоен очень  
воздушный наш народ.  
К нам не вернулся ночью  
с бомбёжки самолёт.

## **ВОЖДЬ В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ НОЧИ**

Никто не знает, что в этот час вблизи опустевших улиц, по которым бредёт Марик Пожарский, в клинике для особо почётных больных, нарушая режим, в своей палате с цветами, с картиной на стене, письменным столом и диваном для посетителей сидит знаменитый человек, великий артист или, точнее, режиссёр. Лампа с молочным абажуром освещает его бессонную всклокоченную голову. Синяя ночь дышит из приоткрытой фрамуги. Дорогой товарищ Сталин. Так принято, так требует этикет; говорят, он сам любит, чтобы его так называли.

Но с такими словами может обращаться к Вождю какая-нибудь доярка, так адресуются все — в воздух, в пространство, к великому портрету, с рапортом и славословием; а он — отнюдь не «все», и писать собирается по сугубо личному, но вместе с тем и государственно-важному делу, пишет, чтобы тот прочёл. Дорогой — и дальше по имени-отчеству? Этикет не предусматривает такую форму. Но и не запре-

щает. Всё дело в том, что в ней заложен особый смысл, в ней заключена уже некоторая степень доверительности, как бы намёк на близость и даже симметрию: великий артист — и Вождь. Вергилий и Август. Властители знают цену искусству, ибо только искусство сохранит их имя в веках, художник же, в свою очередь, нуждается в верховном покровительстве; оба, страшно сказать, но ведь это действительно так, оба — зависят друг от друга.

*Дорогой...* — и, подержав на мгновение в воздухе золотой «паркер», он выводит имя и отчество.

Далее — этикетное извинение за причиняемое беспокойство.

*Я до сих пор...*

Это «я», конечно, большая дерзость, «я», которым начинается абзац и всё письмо; что это ещё за «я», спросит Вождь, какое такое «я»? Но художнику, которого знает весь мир, позволительно говорить от собственного имени.

*Я до сих пор не писал Вам...*

Большой задумался. Получается, что он берёт на себя не только право писать к Вождю, но даже право самому решать, когда ему воспользоваться этим правом. Вождь может сказать: зачем вовремя не обратился ко мне? Почему скрываешься от меня? (С характерным для него акцентом.)

*Я до сих пор не писал Вам, чувствуя и зная, как сильно Вы заняты...*

Все знают, что Вождь занят. Но художник это ещё и чувствует — своим особым, пророческим чутьём.

*...как сильно Вы заняты и перегружены серьёзнейшими государственными делами.* Но ведь и художник занят важнейшим государственным делом.

*...как сильно, та-та-та... государственными делами. Однако, поскольку меньшей нагрузки для Вас в ближайшее время не предвидится...*

Вождь оценит эту шутку.

*...я всё-таки берусь написать Вам.*

Тяжёлый вздох. Теперь — к делу. Пора брать быка за рога.

*Дело идёт о Второй серии.*

Разумеется, нет никакой необходимости напоминать Вождю, что это за Вторая серия: он в курсе дела, он внимательно следит за этой работой.

*Мы настолько торопили завершение к началу этого года, что сердечные спазмы, появившиеся у меня от переутомления, в свою очередь завершились сердечным припадком (инфаркт), и вот я уже четвёртый месяц нахожусь в больнице.*

Человек со вздыбленными волосами снова впери́л взгляд в пространство, ему пришли на ум стихи народного поэта, другое Слово к Вождю. Как бы вылившееся прямо из сердца, произвольное. Искусно имитирующее бесхитростность и в самом деле бесхитростное, продиктованное чувством, которому, в свою очередь, кое-что продиктовали. Впрочем, самое известное стихотворение последних лет.

Оно пришло, не ожидая зова.  
Оно пришло, и не сдержатъ его.  
Позвольте ж мне сказать Вам это слово...

Поэт прекрасно понял свою роль, она состояла в отсутствии какой-либо роли, какого бы то ни было задания. А вот просто так, и ничего не поделаешь, пришло, и не сдержатъ его. Пусть другие изобретают искусные рифмы, стараются удивить смелой метафорой. *Простое слово сердца моего*. Хитрый простачок. Его наивная восторженность, его простодушная, крестьянская, пастушеская искренность такова, что он доходит до невозможного, только вдуматься — он говорит: мы так Вам верили! *Как, может быть, не верили себе*. Что это значит? Неужели он хочет сказать, что «мы» уже потеряли веру, осталось разве только поверить Вождю?

Режиссёр размышляет о том, что его назначение иное. Он не лежит, повергшись ниц, истекая благодарностью, у сапог Вождя. Он — Художник. Вождь может выказывать недовольство, Людовик XIV тоже был порой недоволен Мольером. Вождю может на понравиться его смелость, он может критиковать его, всё это — то, что можно назвать внешним диалогом Вождя и Художника. Но существует внутренний, неслышный для окружающих, неизвестный современникам разговор, который они ведут наедине друг с другом, и тут они — на равных. О, как тяжело это бремя, как тяжко давит плита на грудь.

## ИНТЕРМЕДИЯ В КОСТЮМАХ ЭПОХИ

В эту минуту (больной лежит на высоких подушках, руки поверх одеяла, грудь открыта, крохотная таблетка под языком, капли пота на лбу, знакомая история, не хочется вызывать сестру, не дотянуться до кнопки сигнала, боязно шевельнуться, кажется, нитроглицерин начал действовать, болит голова, это хорошо, главное — не поддаваться, медленно, равномерно, глубоко втягивать воздух), — в эту минуту он отчётливо, так что потрескивают седые волоски на груди, испытывает лучевое воздействие Вождя, дрожание электромагнитного поля. Там тоже не спят. Вождь шагает по ковру в своём кабинете, из угла в угол,

и, может быть, в эту минуту подошёл к высокому окну, смотрит на спящий город в редких огнях, под сенью красных, как леденцы, звёзд, — и думает о Художнике. Впервые с такой отчётливостью, физически, животом, мошонкой, режиссёр ощущает связь между собой и Вождём. Поле Вождя заряжено сексуальной энергией. Больному кажется, что сейчас произойдёт эрекция. Кстати, он всегда был чувствителен к красоте и могуществу мужчин.

И Вождь, несомненно, сознаёт эту близость. Вождь его поймёт. Он разрешит все трудности. Ведь это и его собственные трудности. Легче дышать. Мысли вернулись к незавершённой Второй серии. Шаги в коридоре. Это идёт дежурный врач.

Со слабым скрипом, с пением открывается белая дверь палаты, входят рынды в высоких шапках, в белых кафтанах со стоячим воротником и сафьяновых сапожках с загнутыми носками, серебряные топорики на плечах. Становятся по обе стороны у косяков. Входит, стуча посохом, вбивая наконечник в пол, покачивая набалдашником, огненноглазый, косматый, жидкобородый, татарообразный царь Иоанн IV Васильевич, это артист Черкасов. Великолепно найденный типаж.

Как его пропустили в этот час, спрашивает больной.

Царя — и не впустить! — удивляется Черкасов.

Должно быть, узнали. По Первой серии.

Может, скажешь: по картинке в учебнике? — грозный гость ухмыляется.

Впрочем, ты ещё до войны прославился, замечает больной. *Жил однажды капитан...* Паганель, «Дети капитана Гранта», бирюльки.

Кто-то услужливо придвигает кресло. Царь Иван усаживается возле постели, теперь он в длинной холщёвой рубахе. Согнутый в три погибели, тощая шея торчит между ключицами, борода вперёд, длинные плоские волосы, смазанные лампадным маслом, закрывают уши, рука высоко над головой висит на посохе.

Не знаю, говорит, никакого Паганеля. Не ведаю никакого Черкасова, не учён. А тобою недоволен.

Величественно-скрипучий, насморочный голос, великолепный актёр. Режиссёр одобрительно кивает. Жестом вносит небольшие поправки. Чем бы ты был без меня, думает он. Эстрадным фигляром. Ты — моё творение. Дитя моей фантазии, моего творческого гения.

Царь пронзает его огненным взглядом. Меня слушай! Али глухой?.. Недоволен я, шибко недоволен.

В чём дело, иронически осведомляется больной. Глубокая ночь, город спит, в палатах спят пациенты, писатели, генералы, ответственные работники аппарата ЦК, рядовых людей здесь нет, в просторном полутёмном коридоре бодрствует за своим столиком перед лампой с

черным абажуром, перед щитком с лампочками палат ночная сестра, дремлют дежурные врачи в своей комнате, опустив голову, сидит лифтёр в освещённой кабине, тишина, ничто не мешает их разговор.

*Сейчас опасность миновала, и в ближайшее время я перехожу на санаторный режим. Физически я поправляюсь, но морально меня очень угнетает тот факт, что Вы лично до сих пор не видели картины, уже готовой...*

Видел, как же, говорит Черкасов, члены Политбюро мною довольны. А вот тобою — лично я, — и он качает масляной головой, — нет!

*Картина является второй частью задуманной трилогии... сюжет строится вокруг боярского заговора и преодоления царём Иваном крамолы.*

Какой-нибудь Ромм, какой-нибудь Большаков или это ничтожество — Александров могли на него клепать, но царь — чем же он недоулен?

Кому, стонет самодержец, воздев костлявые руки, борода вознеслась вверх, очи к потолку, кому — и яростно осеняет себя двуперстием — доверю Русь? Кто довершит моё дело, истребит под корень бояр?

Ему! Он мой потомок, моя кровь.

Кто? Вождь?! Больной поднимает голову с подушек, напрягает лоб, это уже что-то новое.

Али не знал? Мой и орлицы моей Марии Темрюковны, черкешенки, царство ей небесное (снова размашисто крестится), единородный сын, именем Димитрий, Димитрий Иоаннович, да не тот, не тот, что в Угличе... Не сгинул, не отравлен, а тайно укрылся в кавказских горах, и вот теперь... От Димитрия он... Да только не хватит, как я вижу, твёрдости, некому подсказать... давно пора, весь народ пал бы ниц перед ним.

Он и так пал ниц, заметил режиссёр.

Мало! Венчаться надо на царство, как положено. Шапку Мономаха, да не из рук патриарших, дрожащих рук, — самому на себя возложить. Как я в Первой серии. Тишина, всё спит, и Художник, которому осталось жить несколько минут, прислушивается к стуку посоха, к шаркающим, затихающим шагам.

## WORDS, WORDS, WORDS<sup>1</sup>

Пронеслись дожди, деревья стряхнули остатки листвы, и, как чудо, возможное только в этом городе, наступили тихие, тёплые, скопчески-опрятные дни. Как будто осень, отряхнувшись от мусора, оставленного некультурными постояльцами, по-стариковски наслаждалась покоем и тишиной в опустевших хоромах. Ни одного пожухлого лис-

---

<sup>1</sup> Слова, слова, слова... («Гамлет», II, 2).

тика не осталось на чисто выметенных дорожках Александровского сада, кругом ни души, тускло поблескивал песок, за оградой урчал и бормотал город, бледно-голубое небо стояло над византийскими башнями, и за стеной, мелькая между ласточкиными хвостами зубцов, разгуливал часовой.

Они уселись на скамейке, подошёл, хромая, палка под мышкой, с кульками мороженого Юра Иванов. Ира расстелила платочек, отколушнула серебряную обёртку и разложила брикетки плавленого сыра. Юра вынул складной нож. Марик Пожарский глотал слюни, следил, как женщина нарезает батон.

Марик стоял, что-то дожёвывая, за его спиной виднелся купол дворца с повисшим флагом. Девушка и ветеран сидели по обе стороны от платка с крошками хлеба, комками сладкой бумаги, обрывками станиоля. Иванов извлёк из заднего кармана брюк шикарную коробку: чёрный джигит на фоне сине-серебряных гор. Ира собрала в кучку остатки еды, приподняла уголки платочка. Она держала платок в воздухе, словно приз. Марик поплёлся вытряхивать мусор в урну. Иванов помалкивал, сверкал стёклышками, важно курил, положив на трость негнущуюся ногу, держа длинную папиросу между средним и указательным пальцами.

«А мне?» — сказала она.

Он протянул ей раскрытую коробку. Ира выудила папиросу и встала между губами. Большим пальцем Иванов крутил колёсико зажигалки. Кончился бензин. Его рука потянулась в карман за спичками.

«Ты, — пробормотал Марик, как-то вдруг заволновавшись. — Что-то было в этой игре опасное и щекочущее, что-то шевельнулось во тьме сознания в ту минуту, когда бледные губы Иры сжали картонный мундштук. — Ты того, н-не затягивайся... Дай-ка мне!»

Из осквернённых губ Иры папироса-фалл перешла к Марику, словно совершался некий обряд.

Он разглядывал нож, на костяной ручке выцарапано нерусское имя.

«Это что, — спросил он, с Казбеком в зубах, перхая и давясь от кашля, — трофей?..»

Он попробовал, положив ладонь на скамейку между собой и Ирой, колоть острием между растопыренными пальцами.

«Это мне один подарил», — сказал Иванов небрежно.

«Немец?»

«Какой немец. С мичманом махнулись. Он мне этот, я ему свой... Брось. Дай-ка нож».

Иванов стал быстро и ловко стучать ножом между пальцами.

С закрытыми глазами Ира подставила лицо бледно-жёлтому свету с небес, вздохнула:

«Мальчики, мне пора...»

«Образцовая зубрилка, вот с кого пример надо брать».

Юра спросил, постукивая ножом: «Ты всегда занимаешься в читалке?»

«Дома негде приткнуться...»

И в это время чья-то фигура показалась в конце аллеи. Человек остановился перед обелиском революционеров.

Ира — не поднимая ресниц:

«Почитай что-нибудь».

Марик, которому ужасно хотелось читать свои стихи, делал вид, что не слышит, изучал погасшую папиросу, швырнул прочь.

«Он поэт», — сказала Ира.

Иванов: «Слыхали».

«Между прочим, в клубе есть поэтическая студия».

«Знаю», — сказал Марик.

«Ты там выступал? Прочти что-нибудь новенькое».

«У меня нового ничего нет. Я вообще перестал писать».

«У поэтов это бывает», — заметил Юра.

«После Блока, — сказал Марик, — поэзия кончилась».

«Как это кончилась?»

«А вот так. Один Исаковский остался».

«А что, — сказал Юра, — поэт как поэт».

«Да ещё Симонов».

«Что ты хочешь этим сказать?»

Ира: «Прочти то, что ты мне читал. Про зарю».

Марик уставился в пространство. Человек вдали не то стоял, не то приближался, как будто перебирал ногами на одном месте, и вдруг пропал.

Юра: «Ты, стало быть, единственный настоящий поэт».

«Возможно».

«Та-ак. Ну, валяй, слушаем единственного».

Марик вздохнул, огляделся, прочистил голос и начал читать, помогая себе кулаком.

«Н-небо! В-вывесит...»

При этом он слегка подвывал, как будто сидел в кувшине. Тёплый, тихий, бездыханный день, одинокий странник вдали на чисто выметенной аллее, бледный луч между безлистыми сучьями, стрелец на древней стене.

Небо вывесит утром цветную зарю.  
Пусть на стыке больших осиянных дорог  
Развевается платье твоё на ветру,  
Развевается платье твоё на ветру,

Обнажая изваянность ног.  
Я останусь стоять возле серой тоски  
У скелета замученных дней,  
Только пусть простучат об асфальт каблук,  
Только пусть простучат об асфальт каблук,  
Чтобы знать о дороге твоей<sup>1</sup>.

## ОБСУЖДЕНИЕ

«М-да, — сказал Иванов. — Ничего себе...»

Воцарилось молчание, оттого ли, что стихи произвели впечатление, или оттого, что не произвели никакого впечатления. Юра Иванов посвистывал, поглядывал по сторонам, свист перешёл в мурлыканье.

«Это что, немецкая песня?» — спросил Марик.

Ответа не было. Иванов мурлыкал. Потом громче:

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor!..

«Ну, и нечего здесь, — сказал Марик, — фашистские песни распевать».

«Её все пели, и там, и здесь. И немцы, и англичане, вообще все.

Wie einst Lili Marlen!  
Wie einst Lili Marlen<sup>2</sup>.

Хотите, ещё спою.

O, Hedwig! O, Hedwig!  
Die Nähmaschine geht nicht...»

«Ну, я пошёл», — объявил Марик.

«Куда? Сидеть».

«А чего тут делать...»

«Тебе неинтересно наше мнение?»

Поэт сделал неопределённый жест, пожал плечами.

«Слушайте, — проговорила Ира, — это ведь он...»

«Кто?»

«Былинкин».

«Тебе померещилось. Чего ему тут делать?»

«А я говорю, он. Эй!» — и она замахала рукой.

---

<sup>1</sup> Стихи Якова Серпина (1929–2002).

<sup>2</sup> Перед казармой, в свете фонаря... С тобой, Лили Марлен... («Лили Марлен», пер. И.Бродского.) Шлягер сороковых годов.

«Зализывает раны», — сказал Марик.

«У меня вот какой вопрос, — сказал, вальяжно развалившись на скамейке, Юра Иванов, — может быть, я неправильно понял...»

«Конечно, неправильно», — быстро сказала Ира, не сводя глаз с быстро удалявшегося человека.

«Между прочим, я ещё не спросил!»

«Ты лучше скажи своё мнение. Тебе понравилось?»

«М-м. Вообще-то ничего. Но отдельные выражения...»

«А мне нравится», — сказала она, встряхнув кудрями.

«Вот, например, как это понять...»

«Слушай, Иванов...» — сказал Марик.

«Иванов», — поправил Иванов.

«Хорошо, пусть будет Иванов».

Стихи висели в воздухе. Стихи, как осенние листья, упали в воду и медленно поплыли прочь. Ветеран восседал на краю скамейки, положив протез на палку. Поэт каменел посредине. Барышня помещалась поодаль, но на таком расстоянии, чтобы не разобидеть Марика окончательно; непринуждённо и, однако, ни на мгновение не забывая о том, что она сидит как подобает, грудь слегка выставлена, коленки вместе, полуприкрытые краем платья между полами слишком лёгкого пальто. Нужно было разрядить обстановку. Она проговорила:

«Мальчики, а это правда, что...?»

## ЭПОХА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЕЛ

Произошло разоблачение Былинкина. Кто-то обронил это слово, курящееся ядовитым дымом: «разоблачение».

Былинкин числился студентом русского отделения, но не имел времени для учёбы. Былинкин был знаменитой личностью, секретарём бюро, членом комитета, состоял в комиссиях, выступал на собраниях, был облечён множеством почётных обязанностей, дневал и ночевал на факультете; это был хилый мальчик двадцати пяти лет, с впалой грудью, с хохолком волос на темени, с планкой орденов на пиджаке, где-то в лесах Белоруссии сражался в партизанском отряде.

Специальностью Былинкина было разбирательство персональных дел, и можно сказать, что особым коварством судьбы было то, что он сам стал жертвой разбирательства. Что такое персональное дело, было понятно всем, хотя и держалось в тайне до того времени, когда всё было решено и оставалось лишь начертать: *Персональное дело такого-то*, третьим пунктом повестки дня. Тогда-то и наступал час, когда блистал Былинкин. Он вёл допрос, предлагал товарищам выска-

заться, подытоживал факты, вносил предложение: поставить на вид. Самое лёгкое наказание. Или: строгий выговор с занесением в личное дело, это уже серьёзней. Или: поставить перед райкомом вопрос об исключении из комсомола — что означало полный крах, костей не соберёшь, а может, ещё хуже.

Факультет помещался на четвёртом этаже Старого здания; миновав крохотную переднюю, попадали в коридор, по которому, должно быть, когда-то прохаживался Герцен под ручку с Огаревым. По которому шествовал юный, страшно серьёзный, в волнообразных кудрях и с немецким Гегелем под мышкой, Станкевич. Теперь по коридору пробегал с толстым портфелем член комитета и секретарь бюро Игорь Былинкин. Из коридора попадали в небольшой, прямоугольником, зал, за ним какой-то закуток, окно с низким подоконником, уборная, служившая курительной комнатой, местом отдохновения и раздумий о смысле жизни. Далее, повернув направо, ещё один коридор с окошечком кассы, где платили стипендию, с дверями парткома, профкома, секретариата, деканата... Но вернёмся в зал.

Рядом с расписанием лекций и семинарских занятий, на кнопках, на булавках, на чём попало висели объявления, кому-то назначали встречу, кто-то потерял очки (было дописано: «и голову»). Две других стены занимала склеенная из многих кусков факультетская стенная газета «Юность» с девизом-подзаголовком: «Шагай вперёд, комсомольское племя». После знамён, репортажей, патриотических и критических статей — отдел сатиры и юмора, многорукий, как Шива, фотоколлаж, и в каждой руке по портфелю, подпись в стихах: *И куда ты ни пойдёшь, там Былинкина найдёшь*. Былинкина ожидало блестящее будущее. Как вдруг это случилось.

Марик заметил, что это уже не секрет.

Но ведь ещё неизвестно, сказала Ира.

Если не секрет, возразил Юра Иванов, зачем тогда спрашивать.

«Пока ещё не решено, — сказал он. — Будут разбирать. Сперва на бюро, потом в райкоме».

«Ты ведь тоже член бюро», — сказала Ира. Слегка поёрзав на скамейке, положила ногу на ногу — открылась коленка, обтянутая чулком, она укрыла её полами пальто. Она спросила:

«А как же курсовое?»

«Это в райкоме будут решать. Разрешат, значит, будет курсовое собрание».

«Закрытое?» — спросил Марик Пожарский, который думал, как всегда, и о том, что говорилось, и о чём-то далеком.

«Само собой».

«У вас всё закрытое, — съязвил Марик. — Все знают, и всё равно закрытое».

Былинкина перестали видеть в коридоре. Слух оброс подробностями. Слух распустился, как куст, осыпанный ядовитыми цветами. Якобы свалился с неба некто с костылём, из деканата был направлен в секретариат, на другой день явился в бюро комитета. Предъявил книжку: «В едином строю», очерки о боевых операциях партизанского подполья в Могилёве, автор Игорь Былинкин. Нам эта книга известна, сказали ему, ну и что? Он самый, возразил приезжий. Произошло некоторое замешательство, человек с костылём утверждал, что они с Игорем старые знакомые, можно сказать, родственники. Былинкин приехал в Агрыз с эвакуированными, был назначен заведующим клубом. В 44 году отбыл: вроде бы на родину, в Могилёв.

Когда отбыл?

Зимой, перед Новым годом.

Попрошу товарищей выйти, сказал секретарь партийного комитета. Значит, продолжал он, оставшись наедине с приезжим, вы утверждаете, что Былинкин якобы не был в партизанском отряде, а якобы находился все эти годы... я вас правильно понял?

Так точно, отвечал колченогий человек.

А вы знаете, спросил секретарь, что значит очернить имя советского патриота? Правильно, сказал с костылём, только это не моё дело, это вы уж сами разбейтесь.

Разберёмся, сказал секретарь, а вы, собственно, кто такой? Приезжий отвечал, что он уже объяснял, кто он такой, и что они его целый год разыскивают. Кто — они? Семья, кто ж ещё, сказал приезжий. Что за семья и с какой целью, продолжал допытываться секретарь. С какой целью, переспросил приезжий и переложил костыль из правой руки в левую. А вот с такой целью: оставил девушку в деревне, с ребёнком. А я её брат. Вот мы все и приехали. Так-так, задумчиво проговорил секретарь. Все вместе. Уезжать не собираетесь? Приезжий развёл руками. Попрошу, сказал секретарь, пока о нашем разговоре никому не сообщать.

На другой день было создано бюро.

«Вы инвалид Отечественной войны?» — спросил секретарь. Оказалось, нет, нога покалечена с детства. Поинтересовались документами: паспорт как паспорт. Прописан в селе Агрыз, Агрызского района Татарской АССР. Справка с места работы, предусмотрительно запасённая приезжим: военрук районной средней школы. Кто-то из присутствующих задал вопрос, а как же обстоит дело с орденами. Имелись в виду боевые награды Былинкина. Как обстоит дело, переспросил хромой. Да я вам на базаре сколько хочешь этих орденов куплю. Я думаю, вмешался секретарь комитета, нам сейчас незачем поднимать этот вопрос.

«Вот что, — сказал он, твёрдо глядя в глаза приезжему, — вы поезжайте спокойно домой, мы разберёмся и сделаем соответствующие выводы».

«Как же так...» — заволновался агрызский военрук.

«Поезжайте. Сколько сейчас ребёнку? Годика ещё нет? Ну, вот видите. Поезжайте. Мы всё выясним. Напишите заявление, сестра пусть тоже подпишет, и пришлёте нам... Обратный билет у вас есть? Надо будет, — сказал секретарь, — заказать товарищу такси. Вы где остановились?»

## ДИСПУТ НА РИСКОВАННУЮ ТЕМУ

Думается, сказал секретарь, выражу общее мнение товарищей... Инцидент не должен выходить за рамки. Есть мнение, что торопиться не следует.

Надо поднять личное дело, связаться с военкоматом.

Кто-то намекнул: а не поставить ли в известность... м-м? Холодок пронёсся над сидящими. Секретарь загадочно взглянул на спросившего, не сказал ни да ни нет и заключил своё выступление так:

«Сделаем всё что от нас зависит. После предварительного выяснения передадим на рассмотрение комитета комсомола. Думается, не надо перегибать палку. Если факты подтвердятся, наказать со всей строгостью, но подумать о сохранении ценного работника».

«На базаре, так и сказал?» — спросил Марик.

«Не знаю. Я там не был».

«Где?»

«На заседании».

«А у тебя, — спросил Марик, — тоже есть награды?»

«Есть», — мрачно ответил Иванов.

«Почему ты их не носишь?»

«Знаешь что, — сказал Иванов. — Пошёл ты знаешь куда...»

Он добавил:

«Ты что, не понимаешь, что такие вещи на открытое обсуждение не выносятся?»

«Ну, значит, меня туда не пустят. Да я и сам не пойду», — сказал Марик и встряхнул буйной головой.

«Почему это ты не пойдёшь? Если будет общее собрание, пойдёшь. Это твой долг».

«Какой ещё долг, я не комсомолец».

«Как это не комсомолец, все комсомольцы».

«А я нет».

«Тебе надо вступить», — сказала Ира.

«Зачем?»

«Надо», — сказала она внушительно.

Марик задрал голову. Обвёл надменным взором пространство, нагие деревья, буро-розовую стену и обелиск в честь великих революционеров.

«Так вот, я вам скажу. Марксизм-ленинизм приказал долго жить», — изрек он.

«Это как понимать?» — усмехнувшись, спросил Иванов.

«А вот так. Война доконала. Ты разве не заметил, что вдруг всё исчезло: классовая борьба, мировой пролетариат...»

«Не заметил. Не до этого было».

«Мальчики, перестаньте...»

«Вместо всего этого — великий русский народ».

«Вместо чего?»

«Вместо всей этой хреновины».

«Ну и что. Он действительно великий».

«Не просто великий, а самый великий. Всё изобрёл. Иностранцы только и делали, что воровали наши открытия. Своровали радио, своровали паровоз».

«При чём тут марксизм?»

«Вот именно что ни при чём. Всё ложь, — сказал Марик вдохновенно. — Ложь и неправда! И нечего притворяться».

«Что неправда?»

«Да всё».

Молчание, зеленые глаза Иры блуждали по окрестностям.

«Много ты понимаешь, — сказал Юрий Иванов. — Что ты всё задал: правда, неправда... К твоему сведению, неправда...».

«Перестаньте вы, наконец...» — пробормотала она.

«Неправда — это не то же самое, что ложь».

«А что же это?»

«Необходимая версия действительности».

«Ага, вот как!»

«Да. Ты представляешь, что было бы, если бы тебе вот так, в открытую, лягнули: дескать, так, мол, и так, мы говорили одно, а на самом деле всё совсем другое?»

«Значит, по-твоему... по-твоему...» — и Марик злобно расхохотался.

«Что по-моему?»

Марик Пожарский умолк. Ира сидела, раскинув руки на спинке скамьи, с запрокинутым лицом, мерно, покойно дышала ее грудь, и пальто сползло с коленок. «Гейбельс сказал: пропаганда — это власть!»

«Откуда ты это вычитал?»

«Вычитал».

«А ты знаешь, что за такие слова по головке не погладят?»

«За какие это слова?»

«За такие. За то, что ты цитируешь Геббельса. Вообще за всё это».

Марик прищурился, процедил:

«Хочешь на меня настучать, да?»

Иванов сложил руки на груди.

«Ну-ка повтори», — сказал он.

«Что повторить?»

«Повтори, что ты сказал. (Молчание). Сволочь сопливая. Молокосос».

Всё в той же позе, не шевелясь, Ира сидела, подняв к солнцу лицо с закрытыми глазами, и всё растворилось в этом мягком тепле, в жидком сиянии, спор иссяк, обе стороны почувствовали, что *не в этом дело*. Не то чтобы они усмотрели в этом вечное, неисправимое стремление женщины обесценить всякий спор, если он не имел отношения к «жизни». Просто само собой стало очевидно, что дело не в русском народе и не в марксизме-ленинизме. Все это были мыльные пузыри. А дело в том, что она сидит здесь, между ними, и это в тысячу раз важнее всех споров, обсуждений, разоблачений и персональных дел.

## ERITIS SICUT DEUS<sup>1</sup>. РАЗГОВОР АСМОДЕЯ С УЧЕНИКОМ

Слава и гордость факультета, без пяти минут академик, а точнее, член-корреспондент без надежды стать когда-нибудь просто членом, — профессор Сергей Иванович Данцигер, маленький, крупнолицый, румяный, с мощным мясистым носом, густыми белыми бровями, в усах и клиновидной бородке, в чёрной шёлковой шапочке, насаженной на седые кудри, профессор-картинка, профессор-вывеска, — дремал подле парторга и пробуждался, лишь когда председатель, скосив глаза на коллег, произносил: «Можете идти». Очередной абитуриент — это был фронтовик на протезе — вышел, девица в крепдешиновом платье, справившись со списком, выкликнула следующего, и в комнату вступил на нетвёрдых ногах вчерашний школьник, чуть ли не подросток, в курточке домашнего изготовления и в брючках, которые едва достигали лодыжек. Марик Пожарский окончил школу на один год раньше, чем полагалось, это была идея, поданная учителем Александром Моисеевичем, — подзубрить за лето и сдать осенью экзамены за десятый класс. Марик сдал на пятёрки, но его знания были эфемерны. Вдобавок они страдали односторонностью. Он не сумел ответить

---

<sup>1</sup> И будете, как Бог (знать добро и зло; *лат.*). Бытие, 3, 5.

на вопрос, заданный секретарём парткома, его спросили ещё о чём-то, Марик барахтался и явно произвёл неблагоприятное впечатление. Но тут обнаружилось, что Сергей Иванович, подобно жирному парню Диккенса, не спит. Это обстоятельство решило судьбу Марика. Старец спросил, — вопрос, который он задавал всем, — что подвигло молодого человека избрать филологический факультет. И Марик по внезапному наитию продекламировал из «Фауста»:

Ich wünsche recht gelehrt zu werden  
Und möchte gern, was auf der Erden  
Und in dem Himmel ist, erfassen,  
Die Wissenschaft und die Natur<sup>1</sup>.

На что окончательно пробудившийся профессор Данцигер живо отвечивал:

Da seid Ihr auf der rechten Spur<sup>2</sup>.

Наступила пауза, профессор вдохновенно взирал на ученика, затем, спохватившись, покосился на парторга. Секретарь парткома хранил непроницаемый вид, он ничего не понял и ждал, что скажет профессор. «Я думаю, что...» — неуверенно проговорил Сергей Иванович. «М-м?» — отозвался парторг. — «Я полагаю...» — «Да, да, конечно», — спохватившись, кивнул парторг, и, хотя ничего более определённого из его уст не последовало, секретарша поставила против фамилии Марика галочку, в конце концов Марик принадлежал к дефицитному мужскому полу, да и собеседование, в сущности, было формальностью.

Но где мы? Марик Пожарский обводит зачарованным взглядом келью учёного чернокожника, небесную сферу, алхимическую посуду, голову Адама. Некто в рясе учёного доктора, скрыв лицо и голову с рожками под монашеским капюшоном, восседает на стуле с высокой спинкой, перед своим пультом. Славное имя профессора Данцигера, знаменитый университет...

## КАРТОФЕЛЬ ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА

Имя — это судьба, и никто охотней не согласился бы с этим утверждением, чем сам профессор Данцигер. Среди щелчков и уколов, которым судьба награждала его время от времени, худшим унижением

---

<sup>1</sup> (Ученик): Желая стать настоящим учёным, объять всё, что есть на небе и на земле, постичь природу и все науки.

<sup>2</sup> (Мефистофель): В таком случае вы на верном пути. «Фауст», I, 1898–2002.

в эпоху необычайно возросшего патриотического самосознания была необходимость внушать начальственным лицам, что фамилия его отнюдь не связана с национальностью, о которой, как о дурной болезни, не полагалось упоминать. Правда, имя и отчество были безупречны. Но, как известно, «эта нация» умеет маскироваться. В анкете профессора Данцигера стояло: русский. Тоже не довод. Наконец, с чисто филологической точки зрения, корневая часть этой фамилии, как, впрочем, и сомнительный суффикс, выглядела непристойно. Особенно теперь, когда бывший Данциг принадлежал Польше. Что же это получается: если не еврей, значит, немец?

У Сергея Ивановича были враги. Он знал, что у него есть враги. Завистники, дай им волю, не побрезгуют любой демагогией. Было чему завидовать. Импозантная внешность, солидная репутация в учёных кругах, имя на обложке общепризнанного учебника. Наконец, и, может быть, прежде всего, безукоризненная лояльность. Предыдущая глава могла подать повод к тому, чтобы заподозрить его в сношениях с духом отрицания и сомнения. Профессор Данцигер ничего не отрицал и не подавал повода к тому, чтобы обвинить его в сомнениях. Лояльность требовала подтверждений; в те времена лояльность именовалась общественной работой. Работа состояла в том, что он неизменно заседал на торжественных собраниях. Его академическая ермолка возвышала сидящих за красным столом президиума в их собственных глазах, густой благородный голос Сергея Ивановича Данцигера с несколько старомодным прононсом придавал особый вес его словам, когда он выступал с сообщением о том, что в президиум поступило предложение избрать почётный президиум во главе с Вождём, «кто за то, чтобы принять...» — и первым поднимал руку, и то, что он был беспартийным, в глазах ответственных товарищей имело даже положительное значение.

Но в звуке этого имени содержался ещё один сомнительный обертон, присутствовало нечто в самом деле двусмысленное, имя напоминало о том, кого никто больше не помнил или, по крайней мере, помалкивал о том, что помнил. Был ещё один Данцигер, Фёдор Владимирович, которого, собственно говоря, надо было бы называть Вильгельмовичем, но откуда же у Сергея Ивановича оказалось другое отчество? Этот вопрос нужно поставить в связь с бурным и смутным временем, когда изменилось всё, вплоть до названия страны. Давно сгинувший Федор Владимирович, увы, приходился Сергею Ивановичу родным братом. Брат был гордостью и проклятьем. Брат был знаменитый философ, мистик и рационалист, изобретатель христианства Третьего Завета, оппонент отца Павла Флоренского, архимандрита Серафима Высотского и других; оратор, спорщик, говорун, ценитель сев-

рюжьей ухи в Религиозно-Философском обществе, пожиратель облитых маслом блинов с икоркой в ресторане Литературно-художественного кружка, истинное олицетворение мыслящей, избалованной и уже малость *gâtée*<sup>1</sup> России 1913 года. Полная противоположность скромному и осмотрительному младшему брату.

Грнула война, Сергей Иванович получил приват-доцентуру в Петербурге, переименованном в Петроград. Фёдор же Владимирович очутился на австрийском фронте и оттуда вновь привлёк внимание публики патриотическими «Письмами капитана артиллерии». В роковом Семнадцатом году, как видный член партии к.-д., вместе с Гучковым и Шульгиным по заданию Временного комитета Думы (все тогда было временным) Федор Владимирович прибыл во Псков и даже будто бы первым вошел в салон-вагон литерного поезда, чтобы уговорить царя отречься. В мемуарах, изданных в эмиграции, он об этом, правда, не упоминает. Достоверно известно, что, будучи министром в правительстве Керенского (министром чего? — это уже вовсе никто не помнил), Федор Владимирович после переворота едва не был казнён большевиками, в уцелевшем имении матери, в Пензенской губернии, сажал картошку и обдумывал обширное сочинение о грядущих судьбах русского народа. Дошли слухи о прогремевшем в Германии трактате философа Шпенглера, черный Гамаюн вещал гибель. Кто же тогда спасёт Европу — и христианство? — вопрошал Фёдор Владимирович. И отвечал, стаскивая в сених заляпанные глиной сапоги: Россия. *Ex Oriente lux!*<sup>2</sup>

Это продолжалось недолго. Фёдор Владимирович послал в Москву статью для сборника — достойную отповедь гробокопателью фаустовской цивилизации. После этого кто-то приехал в картузе и куртке из жеребьячьей кожи. Данцигера-старшего вызывали в Москву, в Чека. Первое время, пять или шесть лет после изгнания из пределов отечества (с внятным предупреждением, что теперь уж, если вернётся, будет как пить дать расстрелян), он присылал письма из Германии; Сергей Иванович отвечал всё неохотней, наконец, связь прекратилась, брат сгинул, никакого брата не существовало, и профессор Данцигер — он был уже профессором — с законным правом мог писать в анкетах, что родственников за границей не имеет.

Как вдруг — сколько было этих «как вдруг» — случилось невозможное: Фёдор Владимирович воскрес. Получил разрешение вернуться. Годы изменили его не только внешне. Брат пересмотрел свои взгляды. Он согласился с Владимиром Соловьёвым в том, что своим величием Россия обязана жертвенной готовности русского народа от-

---

<sup>1</sup> Подгнившей (*фр.*)

<sup>2</sup> Свет — с Востока! (*лат.*)

речься от самого себя. Он пришёл к выводу, что ненавистная узурпаторская власть была на самом деле Божьим перстом. Она называла себя революционной, но в действительности спасла Россию. Пускай она всё ещё клянется Марксом и международным пролетариатом, — именно эта власть сберегла империю. К несчастью (ибо прошлого не зачеркнёшь), а вернее, к счастью, ему не разрешили прописку в столицах. Фёдор Владимирович не настаивал, отправился от греха подальше в Пензенскую область, в родные места. От усадьбы ничего не осталось. Несколько времени спустя дошли слухи, что он женился на деревенской бабе-колхознице, обитает в избе, полет картошку на приусадебном участке, дышит свежим воздухом и работает над сочинением о грядущих судьбах русского народа.

## ГРОМ ПОБЕДЫ

Оставим в покое мыслителя-пророка, эту старую рухлядь. Пора воротиться к нашим баранам, точнее, к одному из них. Каков был духовный путь Марика Пожарского, какими тропами добрёл он до филологического факультета? Подобно тому, как однажды потух — к счастью, ненадолго — свет кремлёвских звёзд (многие помнят этот инцидент, породивший так много слухов), так однажды прервалось излучение Вождя, исчезло магнитное поле, и те, кто пережил эту катастрофу, помнили о ней всю жизнь, даже если война застала их детьми. Лето было уже в разгаре, стояли жаркие дни, сверстники Марика разъехались кто куда, сам он собирался с мамой и старшей сестрой на дачу, которую почему-то сняли в этом году очень поздно. Всё было готово, посреди комнаты стояла бельевая корзина, перевязанная верёвкой, стояли на полу керосинка и плетёная бутылка с керосином, швейная машина, стулья один на другом. Ждали отца, который должен был приехать с грузовиком.

Марик Пожарскому исполнилось двенадцать лет, по своим убеждениям он был марксистом-интернационалистом с анархическим уклоном. Услыхав из чёрного картонного рупора обращение Молотова к советскому народу, Марик испытал необычайное возбуждение, выбежал во двор, ему хотелось скакать, маршировать, ни о какой даче, конечно, не могло быть и речи. На улице из двойных раструбов с крыш, над водосточными трубами гремела праздничная музыка. *Малой кровью, могучим ударом!* Мужской хор, как строй бойцов, чеканил оду на слова поэта-орденоносца Василия Лебедева-Кумача. Так и произошло. Красная Армия перешла в наступление. Двинулись, лязгая гусеницами, танки, понеслись с гиком лихие тачанки, помчалась —

сабли наголо — кавалерия. Распространился слух о том, что наши войска заняли Варшаву, Будапешт и Бухарест. В свою очередь германский пролетариат готовился встать грудью на защиту отечества всех трудящихся. Между тем дошло до сознания несуразное, непонятное: Вождь исчез. Поручил Молотову сообщить о вероломном нападении, это понятно, он занят; но прошла неделя, шла другая, Вождь не подавал признаков жизни, никто не знал, что с ним, где он, и стрелка вольтметра, напряжение поля с каждым днём съезжало от деления к делению, пока не приблизилось к нулю.

То, о чём говорилось вполголоса, реплики, полные недомолвок, разговоры о тёте Мане, которая вновь пожалует в гости, что означало: ночью будет воздушная тревога, снова тревога, — как, почему, если врага успешно отогнали, — всё это не было предназначено для его ушей, но Марик обладал сверхъестественной интуицией подростка. Сидя на каменном полу, в толпе между перронами станции метро «Красные Ворота», которая теперь превращена была в бомбоубежище, Марик Пожарский чувал гибельное исчезновение магнитного поля, и в этом было всё дело. Именно этим исчезновением объяснялись необъяснимые неудачи. Их уже невозможно было скрывать. Государственные органы, которые до сих пор так успешно справлялись с задачей обрывать реальность в парадный мундир, теперь не успевали одолевать новые и неслыханные трудности. Это было похоже на лихорадочное латание вновь и вновь расплывающейся одежды.

Вождь, наконец, очнулся, они услышали его глухой желудочный голос. Стало ясно то, что и так было ясно: немцы захватили Прибалтику, Белоруссию и, вероятно, много ещё чего. Вождь сказал правду или, по крайней мере, нечто близкое к правде. Вождь говорил правду даже тогда, когда он говорил неправду, а неправду, как постепенно выяснилось, он говорил чаще, чем правду... Он возглавил Комитет Обороны, и магнитное поле восстановилось. Победа была близка. Из закровов языка было добыто слово «ополчение», оно напоминало о нашествии поляков, о Козьме Минине и князе Димитрии Пожарском. Отец записался добровольцем в ополчение — так делал всё. Рано утром отец проводил их на вокзал, в этот день ему предстояло явиться на призывной пункт. Никто не узнал, что случилось с ополчением, куда оно делось, о нём не упоминали в сводках, его словно не было, и нигде было наводить справки об отце, который никогда больше не возвратился.

Бывшая Каланчёвская, ныне Комсомольская площадь кишела народом, подъезжали автобусы и грузовики, высаживались люди с узлами, чемоданами, швейными машинами, детскими стульчиками для каканья, из метро вываливались новые толпы, тротуар перед Казанским вокзалом, зал ожидания, лестницы, коридоры, перроны — всё

было забито людьми и скарбом. Еле успели отыскать свою организацию, для неё было выделено два пульмана. В такт мерному стуку колёс качались, лёжа вповалку наверху и внизу, на помостах из необструганных досок и на полу посреди вагона, против задвижной двери, это было лучше, чем метаться от духоты на нарах, ночью стучала откиннутая наружу крышка узкого продолговатого люка, что-то несло навстречу, казалось, вагон то взбирается на гору, то стремительно катится вниз, непонятно было, куда ехали, на рассвете остановились. Лязгнули буфера. Женщины неловко, задом спускались с нар, шарили место, куда поставить ногу. Оттащили в сторону тяжёлую дверь. Состав стоял бок обок с пассажирским поездом, слепо отсвечивали окна, и казалось, что там никого нет. Позади него слышалось медленное постукивание, видно было между вагонами, как движутся платформы, товарные вагоны, заскрежетали колёса, звякнули буфера, это подошёл ещё один состав. Кое-где на сумеречном оловянном небе ещё горели огни, можно было различить вдали буквы на мачтах семафоров. Было прохладно. Хрустя сапогами, прошагал мимо вагона железнодорожник, спросили: что за станция? Оказалось, Пенза. Долго ли простои́м? Час, не меньше, сказал человек.

Начали вылезать, прыгивать, умывались, поливая друг друга, поглядывали на медленно теплеющее небо без единого облачка, ожидался жаркий день, такой же, как все эти недели. Далеко на западе, на бледно-лиловом небе вспыхивали зарницы, пахло паленым, трава горела на корню. В те дни за спиной у катящейся, как океанский вал, вражеской армии уже осталось столько земли, что на ней можно было разместить ещё одну Германию и полдюжины государств в придачу; была применена новая тактика, артиллерия и пикирующие бомбардировщики концентрировались на узком участке фронта. Радисты в танках сообщали лётчикам координаты бомбовых ударов. Танки устремлялись в прорыв, следом бежала пехота в шлемах, похожих на ночные горшки, и окружала наших. Миллионы красноармейцев сдавались в плен, и об этом тоже не знали. Слухи заменяли информацию, но сводки от Советского информбюро были не более правдоподобны, чем слухи.

В те дни, в другом таком же эшелоне эвакуированных Ира Игунова ехала на юго-восток с матерью, тётей, бабушкой и братом, которому через год предстояло получить повестку; никто не думал, не гадал, что через год война докатится и до юго-востока. Юра Иванов стал курсантом Высшего мореходного училища и не знал о существовании Иры и Марика, как они не знали ничего друг о друге. И в те же самые дни середины июля, в ранние утренние часы Марик Пожарский загадочным образом потерялся.

Марик отправился за кипячёной водой, пролез под колёсами пассажирского поезда и побежал в обход товарняка, который подошёл следом за ними. С двумя полными бидонами он выскочил из вокзального здания, пустынного и спокойного, совсем не то, что в Москве, взглянул на большие перронные часы и убедился, что времени остаётся ещё много. Он шёл по путям, обходил вагоны, перелезал через тормозные площадки, поглядывал на неподвижные крылья семафоров, на красные и жёлтые огни, раздумывал над проблемой, занимавшей его все последние недели; как вдруг оказалось, что пассажирского нет и товарного тоже нет; он бросился к другому составу, но это определённо был не их состав и не их вагон.

## РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО КОРНЯМИ ВВЕРХ

В те же июльские дни ехала неизвестным маршрутом, с детским садом и школой имени Карла Либкнехта, с пионерским горном, барабаном и знаменем, с директором, завхозом, учителями, с бочонком селёдки, с упакованными наспех чемоданами, тринадцатилетняя девочка Соня Вицорек, иначе Сузанна Антония, по матери — фон Ирш цу Зольдау.

Здесь невозможно описать в подробностях генеалогию этой семьи; любознательный читатель может справиться в Готском альманахе.

Замок графов Ирш, где в ясные ночи свирепый одноногий старик взбирался на башню, прыгая с костылем по каменным ступеням, стоял на горе посреди леса; внизу, в долине, лежала деревенька, дюжина дворов, край был бедный и малолюдный; когда стало известно, что неприятельский отряд рыщет по окрестностям в поисках провианта и женщин, звездочёт приготовился к обороне с кучкой вооружённых слуг, но шведы так и не разыскали замок. Бавария была разорена, города сдавались один за другим, Валленштейн спешил на помощь из Богемии, но прежде чем он перешёл границу, Кёцтинг был сожжён дотла ордами протестантов, и смуглые, черноусые хорваты, закалённые в сражениях, не могли сдержать слёз, увидев, что осталось от города. Повсюду кругом пылали пожары, и толпы разного сброда скитались по дорогам и заброшенным полям, а сверху, с лесистых холмов, на них налетали на всём скаку одичавшие рыцари-громилы, каких прежде не видели в этом краю, и грабили всех, кого ещё можно было ограбить. Генералиссимус Тилли умер в Ингольштадте после того, как шведский рейтар пробил ему нагрудник копьём. Граф Ирш-младший, единственный сын, погиб при осаде Аугсбурга известие принёс полумёртвый гонец, кто-то видел молодого Ирша лежащим на поле боя без

чувств. Старик бодрствовал в башне, разглядывал чертёж и вперялся в зрительную трубу, искал ответа: что с сыном? Случилось чудо, упрямство победило, что-то сдвинулось в небесном механизме. Сатурн, вестник гибели, увял в лучах благодатного Юпитера. Ирш выздоровел от смертельной раны. Пришла другая весть, о поражении под Лейпцигом, — фортуна вновь отвратила лик от защитников апостольской веры. Но зато, к их радости, северный король пал под пулями мушкетёров. Вернувшись в замок, молодой Ирш нашёл старика отца при смерти, наследственное владение неразграбленным, обсерваторию в образцовом порядке.

Знай он о том, что его потомки впадут в лютерову ересь — пфальцская и баварская ветви угаснут в смене столетий, уцелеет единственная ветвь рода, балтийская, — знай он об этом, он проклял бы своё семя. Однако планеты не оставили своим покровительством последнего из его потомков. Последней была женщина. На щите графов Ирш был изображен зубр, склонивший рогатую голову. Упрямство Аннелизе Ирш было семейной чертой. Любовь, а затем и замужество Аннелизе единодушно осудила вся родня, отчасти из аристократических предрассудков, но главным образом из-за морального облика и политических убеждений Отто Вицорека. Трудно сказать, что сильнее вскружило голову Аннелизе: революционная идея или красота Отто. Он был строен, голубоглаз, заносчив, как и подобало сыну рабочего, вдобавок еврей; дерзко нёс свою голову с огненно-рыжей шевелюрой; в семнадцать лет примкнул к движению нудистов, этих апостолов разврата, позировал на пляжах в окружении девиц, изображавших наяд (есть фотографии), получил премию на конкурсе мужской красоты, играл на флейте и барабане, слагал баллады (говорят, ему подражал молодой Брехт), бедствовал, кое-как окончил на казённый кошт военно-медицинскую академию кайзера Вильгельма в Берлине. Медицина не была его призванием. Эволюцию его взглядов можно кратко охарактеризовать как замену одних фантомов другими. Отто Вицорек был батальонным врачом на Западном фронте, председателем солдатского комитета в Дрездене, а в пору знакомства с девушкой из стана эксплуататоров — членом центрального совета рабочих и солдатских депутатов. Дружил с Фридрихом Вольфом, был на «ты» с самим товарищем Тельманом.

В предпоследний день февраля тридцать третьего года, в Берлине какой-то голландец по имени Маринус ван дер Люббе, полуголый, обливаясь потом, выбежал из горящего рейхстага с воплем: «Протестую!», его сочли за поджигателя. История шлёпнулась в грязь; в семье Ирш переворот был встречен сочувственно. Аннелизе возвратилась в семейное поместье, в семи километрах от Мариенбурга в Восточной Пруссии, вернула имя и титул; с Вицореком было поконче-

но, Аннелизе оставила его так же решительно, как некогда завладела им. Вицорек бежал. Через Базель, Вену и Варшаву с новой подружкой и дочерью добрался до столицы мирового пролетариата, был помещён в гостиницу «Люкс» на улице Горького, 36, и получил в Отделе виз и разрешений Главного управления НКВД бессрочное право жительства в стране как ветеран рабочего движения, революционный журналист и подпольщик. Через три года подали на гражданство. Им дали квартиру из двух комнат с ванной и кухней в Нижнекисловском переулке, в доме, где поселились Вольф с женой и мальчиками, поэт и партийный функционер Эрих Куявек, Фишеры, Лотар Влох и другие; Сузанна Антония стала Соней.

Зимой последнего года войны пароход с беженцами из Восточной Пруссии был атакован русской подводной лодкой. В темноте из-за сильной качки к переполненному баркасу, за который всё ещё цеплялись руки тонущих в воде, невозможно было приблизиться. Всё же удалось кое-как перетащить людей в шлюпки спасательного судна. Аннелизе фон Ирш цу Зольдау была крупная рыхлая женщина лет пятидесяти; когда два или три месяца спустя она добралась до Аугсбурга к дальней родне, одежда висела на ней лохмотьями; никакой родни не оказалось, во второй раз после Тридцатилетней войны город был уничтожен. Аннелизе чуть не умерла от голода, но, к счастью, сумела списаться с Сузанной Антонией. Дочь находилась в советской зоне.

## РАЗЛОМЫ

Лязг буферов прокатился по всему составу, вагон дрогнул, медленно повернулись колёса, из приотворённой двери протянулось несколько рук, Марик бежал за вагоном с бидонами, бросай, бросай — кричали ему, втащили в вагон, поезд гремел на стыках, путаница рельс, семафоры, пакгаузы — всё исчезло. Поезд шел по насыпи, внизу тянулся кустарник, блестела вода. Здесь тоже были эвакуированные, женщины и дети, русская речь мешалась с нерусской, подросток сидел на краешке нар, ел бутерброд и пил чай из эмалированной кружки. Состоялось знакомство. Девушка лет двадцати ехала с отцом, высоким, тощим человеком с полуседыми всклокоченными волосами, с провалившимся лицом, между собой они говорили по-литовски и по-еврейски. Был ещё один сын, мальчик такого же возраста, и звали его так же; вот как, сказал отец, и, вероятно, это обстоятельство — одно и то же имя — имело какое-то значение. Этот Марк находился в пионерском лагере в Паланге, куда уже невозможно было добраться, и никаких вестей, и неизвестно, успеют ли их вывезти. Большинство родите-

лей, по-видимому, вовсе не собирались в эвакуацию, но у отца с дочерью не оставалось другого выхода. В Каунасе на вокзале так и не дождались автобуса с детьми, возможно, пионерлагерь успел эвакуироваться раньше; вдруг разнеслось известие, что немцы уже в городе. Из этих отрывочных рассказов Марик, не тот, кто пропал, а тот, кто сидел на краешке нар и вот уже третьи сутки ехал с незнакомыми людьми в неизвестном направлении, сделал вывод, что евреи были настоящими советскими патриотами, а литовцы предателями.

Прошёл слух, что едут в Уфу. Никто в вагоне не знал, где это находится, и Марику пришлось объяснять. До Уфы, впрочем, не доехали. Как в Средние века, это было время грозных чудес. На речном вокзале, где ждали парохода, чтобы плыть дальше по Белой, к Марику подбежала, вся в слезах, мать, она ждала здесь уже третьи сутки. Поздно ночью погрузились на баржу, лежали под звездами, пока пароходик где-то впереди шлепал колесом по воде; взошло солнце, мальчик спал, несколько времени спустя он сидел, протирая глаза, что-то жевал, люди вокруг лежали, укрытые чем попало, мать не отпускала его ни на шаг; вечером причалили к дебаркадеру. Всё смешалось в голове у Марика, летняя ночь и огни на чёрной воде, толпа брела с пристани навстречу, это было большое село, разместились в школе и прожили в физкультурном зале на полу, среди кульков, узлов, чемоданов, две или три недели.

Так началась новая жизнь, итоги которой, по прошествии трёх лет, были плачевны. Существует тайная связь между кризисом плоти и крушением веры в Бога; политическое мировоззрение Марика Пожарского (как и всех его сверстников) было сопоставимо с религиозной верой.

Был один случай, была такая деревенская девчонка, голоногое существо в коротком платьице, теперь уже не вспомнишь, как её звали; вдвоём шли по пыльному тракту, лес стеной стоял на холмах по правую руку, слева сверкала река. А вот хочешь, подмигнула она, покажу кое-что. Два дерева, как одно, стерегли круто поднимающийся луг. Два дерева обвилились стволами одно вокруг другого, словно две огромные змеи.

«Гитлер со Сталиным борется!» — с каким-то бессмысленным восторгом объявила она. И всё это вместе, белая пыль дороги, в которую так приятно было погружать босые ступни, опушка, залитая солнцем, и хихиканье, дурацкий смех, в котором почудилось ожидание, почудился вызов, и самое главное — неслыханное, невозможное сравнение великого друга и вождя с кровожадным фашистским ублюдком, — болезненно отпечаталось в душе у Марика: всякий раз при воспоминании об этой истории, которую историей-то не назовёшь, об

этой девчонке с бугорками грудей, ему казалось, что он упустил что-то, надо было обнять её, как Гитлер обнял Сталина. Вся жизнь вокруг была не такой, какой ей полагалось быть, какую представлял себе никогда не живший в деревне подросток, и далекая война шла не так, как полагалось, что, впрочем, было уже не новостью, и всё-таки невозможно было отделаться от вопроса — как же это так. Как это могло случиться, ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее! Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, а где теперь этот товарищ Ворошилов? Где лихой Будённый, шашки наголо, где Лебедев-Кумач, куда вообще всё подевалось? Куда делся германский пролетариат, который должен был грудью встать на защиту первого в мире... ах, о чём тут говорить, никакого германского пролетариата не было в помине, а были фрицы. Пламенный патриотизм подростка подвергся мучительному испытанию, — не то чтобы зашатался, но всё же... Как все вокруг, Марик жадно ловил известия об успехах, радио изо дня в день рассказывало о подвигах, враг нёс потери, непонятно было, как он может всё ещё сопротивляться, и вдруг как-то само собой оказалось, словно и не было новостью, что немцы давно уже взяли Киев, вдруг очутились в Харькове.

Вновь открытие поразило Марика: то, что происходило, оставалось тайной и, очевидно, стыдной тайной, иначе зачем её было скрывать? Хуже всего было то, что Марик перестал понимать Вождя, перестал понимать смысл великой максимы: Вождь говорит правду, даже если приходится говорить неправду. Не означало ли это, что Вождь говорит неправду, даже когда он говорит правду? Говорит ли он вообще правду? Давно прошла первая зима в эвакуации, новое лето клонилось к закату, и детской дребеденью казалось всё, чем он увлекался год тому назад, появились другие книжки, другие занятия, пришло новое знание, подобно знанию о чарующем эксперименте с отростком; но что-то ушло вместе с умирающим детством, ушла вера. Что в этом странного? Живи он на этом свете подольше, он понял бы, что утрата веры в Вождя не зря была схожа с утратой веры в Бога, подозрительно напоминала атеистическое прозрение, каким его переживала юность прежних поколений. Это было не что иное, как утрата метафизической уверенности в том, что мир устроен разумно. Болезнь треснувшего зеркала. Да, ты стоял перед зеркалом, расколовшимся на много кусочков, которые, однако, еще держались в раме, — упаси Бог дотрагиваться до них. И тут уже дело шло о чем-то большем, чем о крушении политической веры; речь шла о Зеркале мира, которое шмякнул оземь безответственный тролль. Поколение, шедшее следом за Мариком, было обречено жить в мире осколков.

Губительную роль сыграла и дружба с Александром Моисеевичем. С тем самым — высоким, костлявым, с провалившимися щеками, который крикнул Марику, бросай свои бидоны, и своими длинными руками втащил его, как клещами, в вагон; с вечно озабоченным и вечно что-то теряющим, потерявшим и своего сына. Александр Моисеевич преподавал в школе иностранный язык, обитал с дочерью в комнате у хозяйки, на самом краю села, и встречал подростка, когда тот, взойдя по скрипучей лесенке в мезонин, стучался в дверь, приветствием на языке врага. Учитель сидел в расстёгнутой жилетке, в широких бесформенных штанах на подтяжках, заложив ногу за ногу, боком к столу, покрытому клеёнкой, пил коричневый морковный чай, излагал последнюю сводку от Советского информбюро. Keine Bewegung an allen Fronten<sup>1</sup>. После чего разговор, лучше сказать, монолог учителя, продолжался по-русски. Александр Моисеевич жил до войны в Европе, по его словам, Берлин был самым благоустроенным городом. Германия — самая цивилизованная страна. Но этот народ охвачен безумием, он продан дьяволу, и ему готовится страшное возмездие, его ждёт судьба многочисленных народов и царств, которые были врагами евреев, а где теперь эти царства? Подобно войску фараона, он захлебнётся; подобно филистимлянам и амалекитянам, исчезнет с лица земли. Но... (воздев косматые брови, качая головой, на которой дыбом стояли серые волосы), но, если уж говорить правду, то, конечно, и *этот* не лучше. Два монстра схватились друг с другом.

«Да, но ведь ...» — лепетал подросток.

Учитель по-прежнему качал головой.

«А кстати, — спохватывался Александр Моисеевич, словно об этом ещё не было речи, — что нового на театре военных действий?»

Теперь Марик должен был повторить по-немецки последние известия. Учитель рассеянно кивал, поправлял произношение.

«Вот видите», — сказал подросток.

«Что я должен видеть?»

«Это делаем мы».

«Кто это — мы?»

«Советский Союз, — сказал Марик, — победит фашистскую чуму».

«Kein Zweifel<sup>2</sup>. Будем, по крайней мере, надеяться. Только неизвестно, что лучше. То есть, само собой разумеется, что с Гитлером надо

---

<sup>1</sup> На всех фронтах — затишье (нем.).

<sup>2</sup> Без сомнения (нем.).

покончить, иначе он покончит со всеми нами... Не только с евреями! — сказал Александр Моисеевич, подняв палец. — И все-таки неизвестно, кто из них опаснее... О-хо-хо...»

Он снова закинул ногу за ногу, сложил руки с переплетёнными пальцами, нижняя часть живота, несмотря на худобу, выступала, спина ещё больше согнулась.

«Неизвестно, что лучше, — повторил он, — и кто лучше... и мы ещё не знаем, кто воцарится в Европе, когда Гитлер будет разгромлен...»

«Произойдёт революция. После первой Мировой войны произошла революция в России, а после этой произойдёт в остальных странах.»

«Ага. Вот как!» — заметил учитель.

«А почему же тогда, — возразил подросток запальчиво, это было продолжение предыдущих дискуссий, — прогрессивные силы всего мира...»

«Какие эти силы, позвольте спросить?»

«Например, Ромен Роллан», — сказал мальчик, только что прочитавший «Жана Кристофа», толстую книгу, в которой самое сильное впечатление произвела глава о знакомстве с Адой.

«Я такого не знаю», — отрезал учитель.

Полногрудая Ада сидела на дереве, когда мимо проходил Жан-Кристоф, и не знала, как слезть. Спрыгнула в объятия Кристофа, а дальше всё происходит как бы само собой, они приходят в деревенскую гостиницу, *опираясь на руку Кристофа, Ада потребовала комнату*. И... и... погас мерцающий свет в саду, погасло всё. Кровать, как лодка...

«Кровавый деспот. Выродок», — бормотал тощий человек, и мальчик спохватываясь, понимал, о ком идёт речь, терялся, ужасался и восторгался.

## ДИВЕРТИСМЕНТ. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Марик Пожарский был блондином, светловолосые молодые люди выглядят, к своему огорчению, ещё моложе. Двоюродный брат Марика по имени Владислав был брюнетом. Бритые щёки и подбородок были серо-лилового оттенка, и это придавало Владиславу мужественный вид, хотя он был лишь на год старше Марика. Владислав устроил концерт Вертинского. Концерт состоялся в Новом здании, под вечер, в пустой 66-й аудитории, той самой аудитории на втором этаже, где некогда вахтенный офицер с негнущейся ногой предстал перед приёмной комиссией. Зрители — их было трое — заняли места в первом ряду.

Вертинский явился, за неимением фрака, в длинном, слишком просторном пиджаке небесного цвета с неестественно широкими накладными плечами, с оранжевым бантом на шее и антикварной розой в петлице. Несмотря на свою мужественность и знание женщин, Владислав был небольшого роста и довольно хилого строения, мало напоминал прославленного артиста, который, по рассказам, был высок и статен. Но Владислав недаром учился в студии театра имени Вахтангова. Раздались жидкие хлопки; Владислав раскланялся. Он был одновременно и конферансье, и аккомпаниатором Брехесом, и самим маэстро, объявлял номера, бил растопыренными пальцами по воображаемой клавиатуре и по-собачьи поглядывал на исполнителя, и он же балансировал на цыпочках, с вытянутой шеей, крутил чем-то перед грудью, вибрировал попкой и распевал тонюсеньким голоском: «Я маленькая балерина! Всегда мила, всегда нема!»

Затем сцена менялась, гасли огни и возгорались душистые светильники, Брехес самозабвенно брал аккорды, Владислав пел, молитвенно сложив руки, — пел завлекательным, полуночным, сладострастным баритоном, не спуская глаз с Иры:

Я безумно боюсь. Золотистого плена  
Ваших медно-змеиных волос.  
Я люблю ваше тонкое имя — Ирэна!  
И следы ваших слёз!

А кончилось всё тем, что Владислав, возбуждённый произведённым эффектом, распустив рывком, истинно артистическим жестом свой оранжевый бант, с ходу пригласил Иру и Марика к себе на дачу, «вышьем, потанцуем, нет, я серьёзно», — говорил он, хотя казалось, что он всё ещё играет роль; Ира смеялась несколько преувеличенно, закидывая голову, словно киноартистка, не сказала на да, ни нет, Иванов сидел на краю первого ряда, мрачный, как туча, положив ногу на палку. Владислав удалился, помахал рукой, не оборачиваясь, должно быть, отправился на вечернюю репетицию, на свидание с какой-нибудь актрисулей; и стало обидно за свою убогую жизнь, рутину занятий, стыдно за школярское усердие; другая жизнь, лёгкая, беспорядочно-упоительная, была рядом, огни города, раскалённые вывески ресторанов, бессонные ночи, таинственные любовные похождения. На другой день вечером в сумерках, в седьмом часу явились на вокзал. Шёл густой мокрый снег, смеясь, отряхивались, на грязном полу стояли лужи, валялись окурки. Кругом теснился народ с мешками, кошелками, деревянными чемоданами, инвалиды на самодельных тележках с роликами, голос по радио каркал неразборчивые слова.

Наконец, явился Владислав, весь в снегу, в облезлом тулупчике, обмотанный башлыком, что придавало ему бабий вид, бормотал что-то и поглядывал по сторонам, Ира смотрела на него растерянно, да и сам Владислав как будто ждал, что они сейчас скажут: мы передумали.

Она сказала, что не поедет, пришла, чтобы не подводить, сказать, что сегодня не может. Да и поздно уже. Как это поздно, встряхнулся Владислав, через полчаса будем на месте. Через полчаса поезд, битком набитый молчаливыми, угрюмыми людьми, всё ещё нёсся мимо тёмных заснеженных перелесков и слабо освещённых платформ. На какой-то станции сошло много народу. Становилось свободнее, по проходу между ногами сидящих, отталкиваясь деревяшками, ехали безногие на колёсиках, Владислав озабоченно поглядывал в окно, опустевший вагон гремел и шатался. Наконец, вылезли, было сыро, холодно, Ира в своих ботиках то и дело проваливалась в снег. Шли через поле под огромным сиреневым небом, навстречу слепым огонькам. Время от времени Владислав останавливался, похоже, плохо ориентировался. Оказалось, что дача не его, а дядина. Родители обретались где-то за границей, а дядя приезжал на дачу только летом.

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

«А вот и мы!» — вскричал Владислав, распахнув дверь с террасы. С потолка свисала люстра, испускавшая жёлтый, точно керосиновый, свет, в комнате стоял тусклый туман, оттого ли, что было холодно, или из-за того, что накурили. Ира пыталась стянуть с ноги мокрый ботинок, кто-то выскочил из стола, картинно встал на колено и стащил ботинок вместе с туфлей. Ира шевелила пальцами в намокшем чулке. Опоздавшим был назначен штрафной кубок Большого Орла. Марик Пожарский храбро осушил гранёный стакан с чем-то омерзительным, «вó даёт», сказал кто-то. Марик оглядывал собрание блестящими сумасшедшими глазами. «Закусить, закусить», — раздались покровительственные голоса, чья-то рука посадила его, шлепнув по плечу, за стол, и Марик, который не ел с утра, вонзил зубы в бутерброд, густо намазанный — трудно поверить — красной икрой. Вообще пиршественный стол являл собой смесь нищеты и роскоши.

Владислав подхватил под руки двух девиц, исчез в соседней комнате, из открытой двери донёсся звук патефона. Марик перебирал присутствующих победоносно-осоловелым взглядом, искал Иру. Она сидела в пальто, накинутом на плечи, на другом конце стола, и двое каких-то наперебой угощали её, один с волнообразной, наподобие

шестимесячной завивки, шевелюрой, тот, который подбежал снимать ботик, другой, плосколицый, страшный, редкозубый, с перебитым носом. Больше кавалеров, кажется, не было. Марик исполнился презрением, встал и нетвёрдым шагом вышел в другую комнату.

Там в полусвете помещался широкий продавленный диван, на столике у изголовья горела лампочка. Великий певец исполнял «В бананово-лимонном Сингапуре», но это был не Владислав, это был сам Вертинский. Впрочем, и патефон оказался не патефоном. В углу возле столика на полу сиял и лучился зелёный цветок из оргстекла. Перед ящиком, похожим на гробницу, сидела на корточках одна из девиц, подкручивала ручку завода и ставила пластинки. Пёстрое крепдешиновое платье лежало на её коленках и обрисовало зад. Владислав танцевал.

Он раскачивался вместе с партнёршей, левой рукой прижав её к своей груди, к просторному, чуть не доходящему до колен лазоревому пиджаку с широкими ватными плечами, в котором прятался его тщедушный торс: с полузакрытыми глазами, отдавшись томным, раздражающе-сладоэротическим и бессильным звукам, уверенно правя далеко отставленной правой рукой, танцевал стильно, нагибаясь над падающей навзничь и снова выпрямляясь, и внезапным рывком вращая её вокруг глубоко внедрившейся в пах ноги. Граммофон исполнил, вслед за Сингапуром, «Я безумно боюсь золотистого плена», «Говорят, что назначена свадьба» и ещё несколько произведений в этом роде, появились другие танцующие, затем кто-то потушил лампу, свет проник в комнату через полукруглую дверь из столовой. Умолкший ратруб загадочно мерцал в полутьме. Гости полулежали на диване в обнимку, кто-то сидел на полу, слышались вздохи, смешки, должно было начаться самое главное.

Несколько времени спустя Владислав оказался рядом с Мари-ком, стол с остатками пира был отодвинут, это было уже в первой комнате, выходящей на террасу, мистический свет струился по стенам, по лицам, граммофон ожил, неизвестно, что происходило в комнате за дверью, а здесь они оба смотрели на пышноволосого завитого отрока, который извивался, танцуя с Ирой. Она старалась поспеть за кавалером, следила за его ногами в щёгольских узконосых туфлях, танец происходил почти на одном месте. «Ба-альшой талант», — процедил Владислав. «Он тоже в вашей студии?» — спросил, с трудом ворочая языком, Марик. В это время пышногровый, отогнувшись назад, выставив хилые бёдра, старался повалить Иру на себя, а она упиралась рукой ему в грудь.

«Ты как насчёт того-сего? — спросил Владислав. — Вон с той», — он показал кивком на высокую в крепдешинном платье, стоящую в дверях. Марик Пожарский подумал, что вот он сейчас подойдёт к этой

дылде и отомстит Ире, и уже было двинулся вразвалочку, с развязной миной к рослой, выше его, девице, чтобы спросить, как полагается: «Вы танцуете?..» — но каким-то образом вместо неё оказался перед Ирой и её женственно-томным партнёром, оба тяжело дышали. «Ты, — сказал Марик, — ты вот что. Ты пойди отдохни...» — «А я не устал», — возразил пышноволосяй. «Нам поговорить надо», — сказал Марик. Он попытался отгеснить Иру от партнёра.

«Э, э, э, что за шум. В чём дело?» — услышал он сзади барственный, гундосящий голос, обернулся и увидел тупорылого с продавленным носом. «А это вас не касается», — хотел сказать Марик, а может быть, сказал и вместо ответа получил удар в челюсть. Удар был вполсилы, Марик схватился за щеку. «Вы что это, — воскликнула Ира, — вы что делаете!» — «А ну вали отсюда, — сказал тупорылый, в упор глядя на Марика. — Кто его привёл, ты?» — спросил он и повернул голову к Владиславу. Тот пожал плечами, замотал головой. «Значит, сам притащился», — констатировал тупорылый. В эту минуту кто-то показался на террасе. Новый гость вошёл в комнату. Вошёл, опираясь на палку, Юрий Иванов, снег лежал на плечах и обшлагах его перешитой шинели и на меховой шапке. Он снял и отряхнул шапку, снял запотевшее пенсне, снова нацепил и двинулся к тупорылому. «Ну-ка, подвинься», — сказал он. «А ты кто такой», — лениво спросил с перебитым носом. «Подвинься, говорю», — прокрипел Иванов.

«Это кто же это к нам пришёл, бабоньки!» — радостно пропел прогундосил редкозубый, внушительно прочистил голос, дернулся, словно его ударило током, развернулся — Иванов поднял ладонь, чтобы защититься, тупорылый толкнул его кулаком под дых. Иванов, потеряв равновесие, полетел навзничь, его подхватили, девочки завизжали, раздались голоса: «Инвалида бить, это уж нечестно...» — «А пуцай не лезет». Пуцай — было сказано, вероятно, для шика.

«Так», — сказал Иванов, тяжело поднимаясь и укрепляя пенсне на носу. Палка лежала на полу. Иванов опирался о край стола. Все увидели, что он пьян. Тупорылый смотрел на него, ослабившись. «Та-ак, — медленно повторил Иванов. — Ну-к, подойди». — «Что, ещё захотел? — спросил тупорылый. — Воин хуев», — добавил он. Иванов, не оборачиваясь, схватил что-то со стола, размахнулся и швырнул бутылку в гундосого. Девы бросились к нему, тупорылый стоял, пошатываясь, посреди комнаты и, по-видимому, плохо соображал, что произошло. Кровь и водка текли у него со лба. Граммофон пел из соседней комнаты кислотным голосом Клавдии Шульженко: «Говорят, что назначена свадьба. С капитаном бригантины Родрыгой».

## ПРИНЦИП КРАЕУГОЛЬНОЙ БЕЗЗАБОТНОСТИ

В эти годы писатель, которому суждено было перед смертью изведать всемирную славу, сидя на своей даче в посёлке для государственных писателей, в тепле и тишине, сочинял роман об эпохе высшей и краеугольной беззаботности. Так называл он чувство, присущее людям той эпохи<sup>1</sup>.

Это была допотопная эпоха. Ещё были живы те, кто о ней помнил. Потоп смыл всё. Беззаботность осталась.

Беззаботность как принцип жизни, как опора существования вновь доказала свою почти сверхъестественную живучесть. Она заменила умершую религию. Беззаботность, другое имя которой — фатализм, приняла безотчётный, нерассуждающий, простой житейский вид. Ни революция, ни война не смогли истребить абсурдную и спасительную уверенность в том, что всё образуется. Все утрясётся. Не завтра, так послезавтра, не через год, так когда-нибудь. Подождём, потерпим. Где наша не пропадала! Ничего нет, и достать негде, но что-нибудь да найдётся. Нет продуктов, зато есть карточки. Истрепалась одежда, однако носить можно. По-прежнему влюблённые находят друг друга, хотя негде уединиться. Каким-то образом рождаются дети. Ходят трамваи, народ гроздьями висит на подножках, как-нибудь найдём место поставить ногу, местечко на поручне, чтобы уцепиться. Как-нибудь доедем. Тряхнёт на повороте, так что шапка слетит с головы; кто-нибудь поднимет, подбежит и протянет. Ублюдок с лицом, по которому словно проехали на студебекере, собьёт тебя с ног — ты поднимешься. И мы ещё поглядим, кто кого.

Играет музыка, толпы движутся по тротуарам. В двусветном коктейль-холле на улице Горького, шикарно именуемом «кок», тонюсенькая рюмочка, «Полярный со сливками», стоит столько, сколько не заработаешь за год, а всё же от посетителей нет отбоя, и к вечеру выстраивается очередь на тротуаре. Девчонки в юбочках, в фильдеперсовых чулочках прогуливаются от Охотного ряда до Телеграфа и назад, топчутся перед гостиницей «Метрополь», поглядывая, не показалась ли милицейская фуражка. Играет музыка. Ничего нет, карточки не отовариваются, но все можно достать по блату. Конечно, за исключением того, чего достать невозможно. Но и того, чего не достанешь, можно добыть, если уметь; всё можно. Можно купить коверкотовый костюм на Тишинском рынке, принести домой, развернуть и увидеть вместо костюма обрезки, тряпье. Можно продать часы, которые не ходят и никогда не ходили, и купить такие же. Можно стащить на за-

---

<sup>1</sup> «Доктор Живаго», I, 7.

дворках старый ящик, найти местечко на том же Тишинском рынке, вошедшем в историю и фольклор, разложить макулатуру; потрясая истрёпанной книжкой, заорать во всю мочь: «А вот История маленького лорда Фаунтлероя!» Можно договориться, и тебе достанут диплом, ордена, гвардейский значок, удостоверение инвалида Отечественной войны и аттестат об окончании средней школы. Можно кататься на метро бесплатно, давиться в толпе перед контролёрами, приблизиться к одной, руку с билетиком тянуть к другой, шагнуть на ступеньку эскалатора — и поехали. А билет за 15 копеек ненадорванный в кармане.

Можно пристроиться к похоронной процессии. Постоять, обнажив голову, скромно сесть в автобус вместе с роднёй, сослуживцами, однополчанами или кто они там, перекинуться словечком, дескать, замечательный был человек, вместе в школу ходили. Войти в квартиру, а там поминальный стол, и отлично покушать.

Можно выстоять часовую очередь перед кинотеатром «Художественный» на Арбате, остаться с носом перед захлопнувшимся окошком кассы и купить с рук за углом, в последнюю минуту билеты на эпикальный фильм «Клятва».

## УХОДЯ ОТ НАС. ПОЛОТНЯНЫЙ ЭПОС

Гаснет свет. В последнюю минуту зрители всё ещё ёрзают, устриваясь удобней на жёстких стульях. И вот это начинается...

На необъятных просторах, в волжских степях, висит на стене фотография: хозяин избы Степан Петров вместе с Вождём, во время славной обороны Царицына. Отгремела гражданская война. Семья за праздничным столом. Что ждет их в Новом, 1924 году? Кулаки поднимают голову. Холодеющей рукой, смертельно раненный из кулацкого обреза, Степан вручает жене Варваре письмо — передать Ленину. И вот Варвара Петрова в Москве. Красноармеец с заиндевевшим штыком у ворот Кремля объясняет, что Ленина нет, он в Горках. Вместе с Варварой шагают по снежной аллее кавказский пастух Рузаев, узбекский хлопкороб Юсуф и украинский батрак Семён. Как вдруг — траурный плакат над колоннами фасада, Ленин отдал концы. Из подъезда выходят руководители партии. Но сперва появляются Каменев и Бухарин. Как-то сразу становится ясно, что это Бухарин и Зиновьев. Или Каменев — что одно и то же. Враги народа; это сразу видно по их физиономиям. Тем более что они уже и не маскируются. Думают, что настал их час.

В сущности, с ними было всё ясно уже тогда, оставалось только ра-зоблачить и поставить их к позорному столбу, зачем же понадобилось

столько лет, чтобы, наконец, с ними разделаться. Ведь это и есть главная задача, суть всей борьбы, вывести на чистую воду двурушников, агентов иностранного капитала, злейших врагов партии; революцию совершить — пустяк по сравнению с этой задачей. Но это сейчас нам понятно, а тогда обстановка была сложной. Кто там следующий вышел из подъезда? Выходят истинные ленинцы. Их легко узнать по портретам: Молотов, Дзержинский, Орджоникидзе, Буденный. Их озабоченные лица выражают тревогу. И не зря: враги готовят атаку на Сталина. А вот...

Вот! Пол под ногами ходит ходуном, качается люстра, зал сотрясается от аплодисментов, счастливый вопль: «Да здравствует товарищ...!» Зрители повскакали с мест, пришлось даже остановить проекционный аппарат. Луч повис над головами, воцаряется тишина. Все уселись. На экране он сам. Одинокий, поникший, неподвижный, в меховой шапке с опущенными ушами, а поодаль скамейка. Разрешается ли останавливать фильм посреди сеанса? Должно быть, это согласовано. Выдающийся артист нашего времени Геловани в роли товарища Сталина, а может быть, настоящий товарищ Сталин — так здорово он похож — играет самого себя, то есть Геловани. Все сидят, прикованные к стульям, все глаза устремлены на экран. Слабый шелест проектора, и Вождь оживает. Геловани продолжает свой путь. «Звук, звук!» — кричат в зале. Стучат ногами — тысячекопытный гром. В страхе, в панике киномеханик что-то нажимает, несутся кадры, вперед, назад, и, наконец, врывается музыка, Чайковский, Патетическая симфония. Геловани бредет к скамейке, на которой совсем еще недавно сидели вдвоем с Ильичом. Медленно поднимает голову, смотрит направо, куда же ушли верные ленинцы? Там, на снегу, на коленях стоит Варвара. Глубоко символический кадр: Родина-мать и её верный сын. Но пора возвращаться во дворец. В кабинете Ленина Вождь уселся за письменный стол. Под портретом Маркса, это тоже не случайно. Вообще здесь случайно, произвольному не место. Перед его взором проплывают картины прошлого, образ Ленина встает в его памяти.

Почему нет некролога? Глупый вопрос задает недалекий американский журналист Роджерс, он как раз подвернулся под руку на Красной площади. И не будет, отвечает Вождь. Ибо Ленин никогда не умрет. Но, конечно, и не оживет, — да и зачем? Он был бы здесь лишним. Никому нельзя доверять наследие Ленина, добавляет Геловани, оглядывая прищуренным взором Бухарина и Каменева, или Зиновьева, впрочем, это все равно. И восходит на трибуну. Позади него видна кремлевская стена и Спасская башня, и не догадаешься, что это макет. Медленно бьют куранты. Виден собор Василия Блаженного, его спустили на канатах на съёмочную площадку. Замечательная художественная находка режиссера Чиаурели. Именно так: не в Колонном зале, а на Красной

площади, вместе с народом, на фоне древнего Кремля. Уходя от нас, товарищ Ленин... и народ за ним повторяет хором великую клятву. Тут и кавказский пастух Рузаев, и узбекский хлопкороб Юсуф, и украинский батрак Семён. Вдруг толпа расступается. Варвара, высоко подняв письмо, несет Вождю. Все в зале видят надпись на конверте: «Ленину».

Что-то там происходит, поет хор, на площадь въезжает молодой тракторист, как вдруг трактор портится. Как в той самой, русской народной легенде о мужике, который застрял в грязи со своим возом, а тут как раз проходили мимо Иисус со святителями. Что ж, сказал Иисус, надо пособить. Никола засучил портки, полез в грязь, а Касьян стоит, не хочет пачкаться. Так и Вождь очень кстати оказался с соратниками — Молотовым, Ворошиловым и Калининым. Что же, говорит, надо помочь, и сразу установил причину поломки трактора. Оказывается, необходимо сменить в моторе свечи. Исключительно правдивая и вместе с тем глубоко символическая сцена. Разговорились. Батрак Семён или пастух Рузаев — кто-то из них — пожаловался Вождю на кулаков. (Видимо, они и подстроили аварию трактора.) Вождь посоветовал кавказскому пастуху бороться с кулаками. Тут вступил в разговор узбекский хлебороб Юсуф. Геловани подсказал ему, что необходимо прорыть оросительные каналы, чтобы поднять урожайность хлопковых полей. И как на зло в их беседу вступает все еще не разоблаченный Бухарин: лучше, говорит, будем покупать машины за границей. До каких же пор, мать твою так и сяк, думает Геловани, можно терпеть это предательство. Нет, отмечает он измышления Бухарина, не надо покупать машины за границей, идти на поклон к капиталистам, а необходимо самим развивать тяжелую промышленность.

Так и произошло. Успешно выполнен и перевыполнен пятилетний план по производству стали, чугуна и проката. Все встречаются в Кремле на большом народном празднике: тут и кавказский пастух Рузаев, и русский рабочий Ермилов, и, в общем, все. Артист Геловани приглашает всех в Георгиевский — или какой там — зал, в Георгиевском зале пляшут казачок, кавказский пастух Рузаев выдал лезгинку, а разбитной парень Иван подкатился к Вождю спросить разрешения оторвать нашу русскую, как когда-то во время обороны Царицына. Дело в том, что этот Иван — не кто иной, как сын Степана Петрова. Вождь, конечно, разрешил, Иван Ермилов, или Петров, это не важно, отчебучил барыню, Ворошилов растянул гармонь, а Буденный пошел вприсядку. А Геловани, с трубкой в зубах, улыбаясь, прихлопывал в ладоши. В этом проявился особый художественный такт создателей фильма — режиссера Чиаурели и автора сценария писателя Павленко, чувство меры, чутье художника подсказало им, что не следует заставлять Вождя плясать вместе с другими. Он, конечно, мог бы, и еще как,

но будет лучше, художественно убедительней, больше будет соответствовать историческим фактам, если Вождь будет просто хлопать в ладоши. Так веселились, пировали, а между тем время было сложное.

Замечательная актриса Гиацинтова, она играет рабочекрестьянскую мать Варвару или Варвара играет роль Гиацинтовой, это все равно, озабоченная, покидает праздничный зал. Ее не оставляют тревожные мысли. И вот она сидит где-то в закутке, кутается в оренбургский пуховый платок. Геловани входит и садится тут же. Это одна из самых важных, ключевых сцен. Она производит глубокое впечатление. Варвара спрашивает Вождя: будет ли война? Да, говорит он, и все в зале понимают, что каждое слово Вождя взвешено и продумано. Эту сцену товарищ Сталин сыграл с изумительным мастерством. Да, войны не миновать. И Варвара ему отвечает: что ж, нашему поколению не привыкать преодолевать трудности. Так они разговаривают, сидя вдвоем, Варвара и Вождь, отец и дочь. И то же время как бы муж с женой. И, само собой, мать и сын. Етить твою мать! Мировая кинематография ещё не знала произведений такой художественной глубины, такого исторического размаха.

Гитлер, живая карикатура, надрывается, бьет себя в грудь. Наша делегация в Париже, по указанию Вождя хочет начать переговоры, создать фронт миролюбивых народов. Но у французского и английского министров своё на уме, они ведут двойную игру и хотят столкнуть лбами Гитлера и Советский Союз. Бонне, сучий потрох, отплясывает в ночном притоне, типичный французский разврат, а Чемберлен юлит и лицемерит, что характерно для англичан. Вождь всё это предвидел. Под музыку Шостаковича тевтонская рать идет на Москву. Американский журналист Роджерс, тот самый, который спрашивал, почему не было некролога, советует Вождю мотать из столицы, пока не поздно. Нет, отвечает Геловани, Москва сдана не будет. Так и произошло, и пошли потом победа за победой. Здесь создатели фильма следуют выводам военно-исторической науки: удар — победа, следующий удар — следующая победа, восемь знаменитых сталинских ударов, в который раз всё совершилось по предвиденью и по плану Геловани. Ясно, что и в дальнейшем всё пойдет как по маслу, завершится новой встречей русской матери Варвары с Вождем, тут уже не съёмочная площадка — Вождь произносит речь в настоящем Кремле, великая клятва выполнена, конец. Брызжет тусклый свет с потолка, люстра горит вполнакала. Все сидят, как пришибленные, обалдев от величия времен и событий, от громыхающей музыки и спертого воздуха в зале. Стучат откидные сиденья, толпа валит к выходу. Тускло светится после дождя пустынная площадь, еще не рассеченная полуподземной трассой в те баснословные времена.

## ПРОВОЖАНИЕ И ОБМЕН МНЕНИЯМИ

А чем тут, собственно, обмениваться. В молчании обогнули каменный шатёр станции метро «Арбатская».

Марик Пожарский заметил, что здорово все-таки показана Сталинградская битва.

Иванов: «Угу».

Ещё прошли шагов двадцать.

«Здорово он танцевал с любовницей».

«Кто?»

«Ну, этот».

«Угу».

Марик: «Это что, танго?»

Ира подтверждает, что это было танго. Вот так же точно двоюродный брат танцевал на даче. Но о даче не хочется вспоминать, и Марик ограничился замечанием, что Владислав мог бы сыграть не хуже Вертинского.

«Это не Вертинский. Это документальные кадры».

Темно-синее небо дышит спокойствием, никто не попадаетея на встречу. Троица побрела к устью улицы Фрунзе, повернули направо, пересекли поблескивающий трамвайный путь. Ира с Мариком впереди, за ними, сгорбившись, опираясь на палку, поспешает Юра Иванов. Постукивает его посох, мерцают стеклышки, но во время сеанса он сидел без пенсне.

Окруженный желтыми фонарями, в кресле на своем цоколе, завернувшись в крылатку, сидит удручённый Гоголь. Надо ли что-нибудь говорить? Фильм, словно грохочущий эшелон, переехал зрителей и понесся дальше. Назвать его увлекательным, интересным? Не те слова. Грандиозный фильм провернул, как мясорубка, сквозь себя всех и каждого — и выдавил фарш.

«А Буденный вприсядку».

«Это не Буденный».

«А кто же. Не узнал усищи, что ли».

«Буденный уже не маршал».

«Как это не маршал?» — удивился Марик.

«Обосрался во время войны». Иванов покосился на Иру, ещё не было принято выражаться при барышнях.

«Самые длинные усы в Советском Союзе».

«Откуда это известно?»

«Я читал».

«Унтер-офицерские. Он был унтер-офицером до революции. Бывают длинней».

Разве не о чем больше говорить? Надо ли говорить... О чём? Все было ясно. Ничто не происходило случайно, не рождалось само собой, все выполняло высшую задачу, великолепный фильм. Торжество исторической необходимости. И, может быть, поэтому в нём было скрыто нечто мистическое. Фильм, где не было ни одного невыдуманного кадра, ни одной естественной сцены и ни одного слова правды, таил в себе истину по ту сторону правды и лжи. Это была история, превратившаяся в мистерию. Это был мрамор, похожий на картон. Видимо, Марик Пожарский в своих коротковатых брючках просто не понимал этого, не чувствовал, для него это был картон, раскрашенный под мрамор.

Грошовый скепсис. Нигилизм недорослей. Между тем задача, и смысл, и роскошь всего произведения состояли в том, чтобы заново сотворить мир — не более и не менее.

Надо было отменить незаконное, сомнительное, двусмысленное, хаотически беспорядочное прошлое — прошлое, в котором чёрт ногу сломит, — и установить прошлое, стройное, как геометрический чертёж. Надо было учредить новую, грандиозную, феерическую Историю с большой буквы. *Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!* Нет, быль сделать сказкой. Это была новая мифология, почище шумерской; действие, которое разыгрывали, сменяя друг друга, зловердные и благие божества, а где-то в низинах, куда стекали помои, обыкновенные люди старались им подражать. Божественный отблеск должен был играть на их лицах. Существуют ли боги на самом деле, существовал ли Вождь? Праздный вопрос. Что значит «на самом деле», — ведь это совсем не то, что На Самом Деле. На экране улыбалось, говорило, разглаживало усы и расхаживало в сапогах его земное воспроизведение. Все знали, что это актёр. Но актёр поразительно был похож на Вождя, потому что никто не знал, каков был Вождь «на самом деле». Актёр был как две капли воды похож на портрет Вождя. Устами актёра вещала мудрость Вождя, глазами, прищуренными, как у Вождя, взирало на зрителей провидящее око. Он появлялся, он шествовал, как если бы это был он сам; это и был Он Сам. Вот он идет по снежной тропинке, одинокий, погруженный в раздумье, в меховой шапке с опущенными ушами, не сразу можно его узнать, поскрипывают по снегу валенки. Но уже осенила догадка. Излучение коснулось сидящих в зале. Искусственное, инсценированное излучение, в меру возможностей искусства. Но только искусство, это тоже все понимают, способно изобразить Вождя, ибо тот, кто существует на самом деле, все равно что не существует. Никто его никогда не видел. Только в кино.

«Китаец, вот он кто».

Юра Иванов, холодно: «Не понял. Будённый, что ли?»

«Да какой Будённый...»

Ира: «Перестань. Чтобы этих разговоров в моем присутствии...»  
«Все они китайцы, бывает такой дальневосточный идиотизм».  
«Я сейчас уйду от вас».

Но есть во всё этом и другая сторона, существует высокая политика и трезвая целесообразность, и соплик Пожарский не имеет о них ни малейшего представления. Проходит наваждение, бледнеет фантазмагория, пока они бредут с Гоголевского бульвара на Арбат, — и Марика Пожарского так и подмывает спросить: а как же он сам? — Кто — сам? — Ус! Смотрит на все это где-нибудь там и терпит эту беспардонную лесть? В книжке Фейхтвангера говорится: Вождь пожал плечами и сказал, что же я могу поделать.

А, между прочим, интересно, как это Марик умудрился прочесть «Москву, 1937 год», книга была изъята. А вот так: в эвакуации, в сельской библиотеке. Преспокойно стояла на полке. Зачем нужны сто тысяч портретов человека с усами, спросил Фейхтвангер. Вождь ответил: что я могу поделать, раз меня так любят. Как — что? Прекратить, сказать: хватит! Но лесть ему нравится. Он ее поощряет! Сколько ни вывешивают портретов, ни воздвигают статуй, ему все мало.

Этот дурак не понимает...

«Кто дурак, я?» — Иванов, холодно: «Кто же еще. Ну и что там дальше сказано?»

«Он говорит: я не могу им приказать».

«Не может приказать. В том-то и дело!»

В том-то и дело, что монументы воздвигаются ему — и не ему. Мудрый Геловани — это он и не он. Потому что одно дело человек в Кремле и совсем другое тот, кто на портретах; потому что надо, необходимо, чтобы существовал хозяин, без него все повалится. Без него наступит хаос. Ради этого, хочешь не хочешь, согласишься на любую лесть. Какое там приказать — он вынужден отделиться от самого себя, не зря он себя называет в третьем лице. Люди шли в бой с его именем... Примерно так хочет, по-видимому, возразить Иванов, урезонить этого соплика. Но сегодня Юра двигается через силу, сторбленный, тащит пудовую ногу. Путь не близкий.

Пора расходиться, но Марик Пожарский выражает желание проводить Иру до дому. Иванов хмуро плетется рядом. В этот момент чувствуется, что он лишний. В этот решающий момент Марик, разгоряченный спором, полночным часом, призрачными огнями, мог бы вымолвить, наконец, что-то, что навечно отпечаталось бы в сердце Иры Игумновой. Пустые темные витрины на узком и безлюдном Арбате, влево уходит кривоватый Большой Афанасьевский переулок, трое топчутся перед крыльцом, над которым светится номер, и, как всегда, не знают что сказать друг другу.

## О ЧЁМ ГОРЮЕТ ГОГОЛЬ

О чём — сгорбленный, в кресле, кутаясь в крылатку? О сожжённом Втором томе? О своей России в бесконечной дали дорог, засыпанных снегом, залитых осенней грязью, о страшном городе нищеты и разбоя, о том, что скоро сташут с постамента — уже принято решение — и повезут на Никитский бульвар, во двор постылого талызинского дома, где так мучительно страшно пришлось умирать, — а здесь, на его законном месте водрузят другого Гоголя, самозванца, которого он знать не знает, слыхом о нём не слышал?

Русь, дай ответ. Не даёт ответа.

Ночь, тусклый блеск фонарей, и на скамейке фигура одинокого пешехода, присевшего отдохнуть. Что-то происходило наверху, человек-памятник с птичьим носом перевёл затравленный взгляд с Юрия Иванова на кого-то там: они приблизились, сначала двое. Потом их стало трое. Поодаль на *amase* ещё один.

Он поднял голову. Над ним стоял квадратный, тупорылый, с раздавленным носом.

«Кого я вижу! — прогундосил. — Здорóво, землячок».

Иванов окинул компанию сумрачным взором.

«Чего молчишь-то? А может, это не он?»

«Он», — сказал кто-то сзади.

«Здорово, говорю. Не узнаёшь?»

«Узнаю. Чего надо?»

«Чего надо... А? — удивился с перебитым носом и взглянул на своих. — Он спрашивает».

«Вот что, отцы, — сказал Иванов устало. — Отчаливайте. Я за себя не отвечаю».

«Чего-чего?»

«Валите отсюда. По-хорошему».

«Между прочим, должок за тобой. Бухой был, забыл?»

«Не забыл».

Иванов стал подниматься.

«Куда? — спросил гундосый. — Мы ещё не поговорили».

Иванов усмехнулся.

«Ну-ка, Манюня...»

Он не успел встать, как получил удар крюком под скулу, пенсне слетело на землю.

«Проси прощения, гад!»

Иванов отступал, косясь по сторонам, медленно занёс палку.

«Полегче. Знаем, какой ты храбрый».

Манюня врезал ещё раз. Кто-то, изловчась, вырвал палку у Ивана. Тупорылый с размаху треснул по спинке садовой скамьи, трость разлетелась пополам.

Он занёс ногу над стёклышками.

«Подыми, сука, гад недорезанный».

Иванов озирался — может быть, искал на земле что-нибудь тяжёлое.

«Подыми, говорят... Раздавлю на х...!»

Тут раздался свист, и компания исчезла. Чьи-то сапоги скрипели по песку. Человек шёл по аллее, остановился, увидев полулежащего на скамейке, покачал головой и пошёл дальше.

В полутьме Юрий Иванов прижимал к губам и носу окровавленный платок, обломки пенсне блестели на песке. Он решил посидеть ещё немного. Тупо, тяжело проворачивались мысли, плескалась вода, его качало, он стоял, держа перед глазами тяжёлый морской бинокль.

Огоньки во мраке, один, другой, ещё несколько, и пропали. Он снова сидел на скамейке перед каменным Гоголем, но на самом деле склонился над переговорной трубой: объект впереди по носу.

Иванов громко, длинно выругался.

## **МАРИК ПОЖАРСКИЙ РЕШИЛСЯ НА ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК**

Видение девушки в красном платье вновь посетило Марика Пожарского и тотчас померкло: тут было другое; тут вступила, можно сказать, в свои права литература. Ибо писание волнительней того, о чём пишут. Писание — это заменитель того, о чём пишут. Не зря в таких случаях употребляется двусмысленный глагол «излиться».

Наше существо тянется навстречу той, которая излучает магнитное поле, но истинная причина любви — в нас самих; причина — наше ожидание, потребность испытать воздействие поля, жажда любви. Такая любовь оказывается чрезвычайно хрупкой, и если она не осуществилась, благодарите судьбу; надежда прекрасна до тех пор, пока остаётся надеждой; чего доброго, и тоска, и восторг, и обожание испарились бы на другой день после того, как робкий обожатель сподобился бы, наконец, овладеть Ирой. Остался бы привкус чего-то, на что совсем не рассчитывали, осталось бы бедное женское тело; а пока...

*Я к Вам пишу — чего же боле...* В стихах? Гениальная идея. Однако по зрелом размышлении этот проект был отвергнут. Тут нужна была проза, серьёзная, в меру страстная, проникновенная, и вообще ему было сейчас не до рифм. В конце концов она и прежде наверняка догадалась, что его стихи были адресованы более или менее ей.

Наступило время прямой речи.

*Здравствуй, Ира. Или нет, проще. Ира! Я давно собирался...*

Он сидел в том самом «русском кабинете», из которого вышел однажды во время перерыва, — как давно это было, — и увидел её, она стояла у балюстрады, кто-то шёл внизу по лестнице, и она привсталала на цыпочки, отчего платьё приподнялось на её бёдрах, и открылись обтянутые чулками подколенные ямки; он сидел за столиком у стены, под уютной лампой, никому не мешая, а в углу напротив, на стульях и на диване расположилась группа русского отделения. Что-то бубнил вдохновенный доцент. Марик Пожарский вперил взгляд в бумажный лист. Перо, предоставленное самому себе, чертило что-то, выводило причудливые знаки.

Как известно, решающим шагом в расшифровке экзотических письмён была догадка, что мы имеем дело с письмом, а не с орнаментом. Что это, от кого это, скажет она, получив письмо по почте без обратного адреса.

*Ира! Я давно уже собирался...*

И вдруг — неизвестный алфавит, шифр.

Буквы нельзя придумывать как попало, буквы должны быть выдержаны в одном стиле. Нужно взять за основу графический архетип: круг, квадрат, угол. Буквы круглые, тонкие, похожие на кружева, как буквы грузинского алфавита, или свисающие с перекладины, как письмена санскрита, или извивы и локоны готического шрифта, или копыя и наконечники стрел рунического письма. Это был какой-то зуд, болезнь — изобретать письменность, выводить загадочные узоры и гадать, что они означают, как будто знаки существуют прежде всякого содержания, сами порождают неведомый смысл, и началась эта болезнь ещё в детстве.

Конечно, это лишь способ оттянуть неизбежное. Решение принято. Он порвал бумагу и оглядывался, куда бы выбросить. Положил перед собой чистый лист, умокнул перо. Теперь кто-то на диване зачитывал реферат.

*...стало вехой в послевоенной советской поэзии. Такие стихотворения, как «Стеной стоит пшеница золотая», как ставшее уже классическим «Слово к товарищу Сталину». Семинар по Исаковскому. Дураки!*

*Ира! Я давно хотел сказать тебе.*

Его рука снова чертит завитки. Увлекательное занятие. Задача — обойтись минимальным набором простых элементов, создать из них всё возможное разнообразие знаков. Секрет письменности, между прочим, в том, что не всякий знак обязательно что-то значит! Бывают

нулевые знаки. Вот эта буква, например, означает просто паузу. Знак может выражать настроение пишущего. Знак предупреждает: речь пойдёт о тайном, неизречённом.

Сколько можно? Сколько можно бубнить о поэтическом мастерстве стихоплёта, который даже не заслуживает того, чтобы его читать. Сколько можно марать бумагу дурацкими закорючками, вместо того чтобы... Нога осторожно придвигает мусорную корзину. Марик занят рисованием. Портрет Исаковского, весьма реалистический, на тоненьких ножках, в лаптях и с лирой. Нет, пожалуй, с гармонью.

Снова замерло всё до рассвета.  
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.  
Только слышно на улице где-то  
Одинокая бродит...

Туда ему и дорога. Казнённый крест-накрест, скомканный стихотворец летит в корзину. Художник воровато поднимает глаза: теперь перо рисует её. Нет, конечно, не конкретную её. Вечный сюжет искусства: Марик рисует Женщину. Круглое лицо и локоны наподобие ионической капители. Шея и плечи. Некоторую трудность представляют растопыренные руки, которые получились слишком короткими. Зато какие груди! Талия... широченные бёдра. Пах, похожий на нос корабля, на расщеплённое перо.

Его отвлекает движение в углу комнаты, доцент встал с дивана, задвигались стулья: перерыв. В панике Марик Пожарский комкает похабный рисунок, выгребает бумагу из корзины, прочь, прочь отсюда.

## ТОЛЬКО СЛЫШНО НА УЛИЦЕ ГДЕ-ТО

Всё происходит в одно и то же время. Все живут в одной стране. Каждого обнимает общая жизнь. Поздно вечером в толпе, на перроне Казанского вокзала стоит человек тщедушного сложения, в валенках и полушубке, в мохнатой шапке-ушанке — реликт бывшего благополучия. Пассажир втиснулся со своим багажом в вагон. Всю ночь и весь следующий день он качался, сперва притулившись в проходе, затем лёжа на освободившейся верхней полке, следовал маршрутом демобилизованных и заключённых, всех, куда-то и зачем-то едущих, для кого тряска в переполненных поездах, шапка под головой, чтобы не стащили, стук колес на стыках, как стук огромных часов под ухом, остановки, пересадки, блуждания по путям, ночёвки на вокзалах превратились в образ жизни. Удивительным образом после несчётных потерь страна по-прежнему была битком набита людьми. На рассвете третьего дня

пассажиры выглянули в окошко и увидели заснеженные леса, услышали свистки, почувствовал, что его тащит к изголовью, поезд шел по дуге, видна была загибающаяся цепь вагонов, поезд затормозил, завизжали колёса. Медленно поехали навстречу и остановились тусклые огни. Гром прокатился по вагонам. И — снова свисток, вагон вздрогнул. Поезд нёсся вперед сквозь сизую мглу, путешественник дремал на полке, провиант был съеден, день померк. В сумерках он стоял с вещами в тамбуре, боясь пропустить свою станцию.

Было уже совсем темно, когда он добрёл до калитки, взошёл на крыльцо и, удостоверившись, что это тот номер, который нужен, оглядевшись, постучал в дверь. Чье-то лицо глядывалось во тьму, отогнув занавеску, между горшков с цветами. Он миновал тёмные сени и вступил в просторную горницу, где пахло кислым теплом и уютom, на столе сияла керосиновая лампа, на комодке будильник отстукивал неподвижное время. Пока там, за тысячу вёрст, под гнусаво-торжественный перезвон выстраивались в караул могучие стрелки, гудел колокол, бился над куполом чёрный с кровавым отливом флаг, пока сменяли друг друга сутки, месяцы, годы, — здесь тянулся один единственный год, здесь время ползло так же медленно, как ползёт стрелка будильника. И встретили его так, словно он отлучался ненадолго.

Былинкин сидел без шапки и полушубка, босой, шевелил грязными пальцами ног. Вошёл, припадая на ногу, хозяин в зелёном поношенном кителе без погон, с бутылками в обеих руках... «Может, они сперва желают попариться? — спросила хозяйка. — С дороги-то небось». Сегодня как раз истопили, объяснила она. «А не поздно ли?» — «Чего поздно. Воды ещё полкотла». Гость сообразил — в дороге всё спуталось, — что сегодня суббота. «Веничком бы, оно для здоровья полезно. А может, и того», — прибавила она. Военрук подмигнул: «Это мы устроим».

Былинкин шествует под предводительством хромого военрука, покорно бредёт по улице спящего городка, хозяйка несёт таз, веник и узелок с чистым бельём. Слепо отсвечивают мёртвые окна, высоко над угластыми крышами сияет оловянная луна. Покойное, безопасное захолустье, не надо ни о чём хлопотать. Отсюда глядя, какая эта была изматывающая жизнь. В конце концов ему дали хороший совет — обратиться по добру-поздорову. На время, добавил кто-то. Что ж, переждём.

Гость остался один в предбаннике, в исподней рубаше и кальсонах. Оцепенелый, он не может заставить себя встать. Лампа под колпаком разбрызгивает тусклый свет, сыро, тепло, пахнет деревом, тянет гнильцой. Приезжий вздохнул. С усилием стянул с себя пропотевшее бельё, переступил, наклонив голову, через порог парной. Былинкин научился париться в эвакуации. Он вскарабкался на полók — отдох-

нуть, погреться, подумать о своей жизни. Он устал от этой жизни, как устают от долгой дороги. Ему показалось, что он всё ещё едет, раскачивается на полке и слушает перестук колёс. Он открыл глаза. Что-то скрипнуло в предбаннике, захлопнулась дверь. Кто-то вошёл. Он хотел спросить — кто там? — ждал, расставив тощие коленки, упёршись в полók ладонями. Тишина; видимо, заглянули и вышли. В эту минуту кто-то толкнулся в тяжёлую забухшую дверь, и призрак в белом, с огромными, блестящими в полутьме глазами вступил в парную.

## HAPPY END

Былинкин никому не писал, не предупреждал о своём приезде. Он поразился даже не тому, что она явилась, а какой она стала. Голоногая, лунноликая, с крепкой шеей, с полными белыми плечами, в короткой ночной сорочке с кружавчиками. Волосы сзади пучком. Она притворила за собой дверь, стояла в нерешительности. «Ты?» — спросил он растерянно.

Вот оно что, думал он, всё подстроено, и уже не выбраться отсюда. Он знал, что военрук приезжал в Москву не один. И он был рад, когда оказалось, что их быстренько спровадили, не понадобилось объясняться с Валентиной, с её братом, он вообще с ними не виделся. Значит, это был заговор. Они укатили назад с твёрдой уверенностью, что Былинкин вернётся, и, хотя никто ему в парткоме не говорил: возвращайся в Агрыз, просто намекнули, что лучше уехать куда-нибудь подальше, — им самим не хотелось громкого скандала, надо было спустить дело на тормозах, — хотя никто так прямо не сказал, но подразумевался Агрыз, и теперь ему было ясно, они пообещали военруку надавить на Былинкина, заставить его вернуться.

Он даже не спросил, как она тут оказалась, не спросил о ребёнке, — кажется, это была девочка, — он смотрел на Валю во все глаза, и мгновенная мысль о бегстве, дескать, позабыл что-то, сбегаю и вернусь, а самому — на вокзал, в кассе купить обратный билет, и поминай как звали, — мысль эта спуталась с другой мыслью, вообще что-то начало мешаться в голове, то, что он сидел голый, размлевший в тепле, не давало сосредоточиться. Валентина стояла в сорочке, приподнятой на груди, такой высокой груди у неё никогда не было. Была жалкая, тощая, глупая, как пробка, мыла полы в клубе. Он втянул в себя воздух, съёжился и прикрыл низ ладонями. Валентина смотрела на него, подняв лицо с открытым ртом, видно было, что она волнуется, кружева вздымались на ней, точно она не могла отдышаться. Теперь в Агрызе живу, пролепетала она, но непонятно было, у брата или отдельно от них.

«Дай-ка мне...» — сказал Былинкин, показывая на ковш, она поняла, бросилась к бочке в углу, белоногая, пышнобёдрая, со скрученными на затылке волосами, подала ковш. Плеснуть в лицо холодной водичкой, придти в себя. Успели-таки подсунуть ему рюмку зелья. Былинкин перевёл дух. И чем больше он трезвел, тем больше успокаивался. Тем сильнее было это чувство — ничего не спрашивать, ни о чём не думать. Всё образуется, всё устроится само собой. Валентина вышла в предбанник снять сорочку. Гость пил из ковша, провёл по лицу мокрой ладонью. Гость ли? Как-то, не спросясь у него, само собой получалось, что он вернулся насовсем. Из командировки, с учёбы. Его ждали. Женщина зачерпывает горячей воды и швыряет на раскалённые камни. Шипя, вырывается белая струя, горячий пар обжигает лёгкие, тускло, жарко, она уже не стесняется своей наготы, деловито мочит в шайке берёзовый веник. Так и положено: мужик на полке, жена с веником.

Он лежит плашмя, щекой на скрещённых руках. Валентина лезет наверх с деревянной шайкой. Над ним колышутся её груди, перед глазами круглые женские ноги. Она погрузила веник в горячую воду. О-о! Бывший студент, бывший герой-партизан, бывший секретарь бюро и член комитета, свергнутый, осмеянный, одинокий, полуживой с дороги, корчится в облаках пара, изнемогает от наслаждения под хлещущими ударами. Ох, хорошо. И ничего больше не надо. Он сел, отдуваясь. Шальная мысль, не тряхнуть ли стариной, прямо здесь, на горячем полке, растворилась в парном довольстве. Мирно сидят рядком.

Али ещё поддать?

Былинкин сошёл с помоста, опираясь на руку женщины, покорный, умиротворённый, да и о чём волноваться, всё образуется. Его усадят в прохладном предбаннике. Валентина, с головой, обмотанной полотенцем, оботрёт ему спину, и живот, и в паху, и ноги, и натянёт, чтобы не простудился, колючие вязаные носки, и поможет одеться, и нахлобучит шапку. И пойдут они рядом, она с тазом под мышкой, он, держась за неё, словно чем-то опоённый, под высокой серебряной луной, по спящей улице, где всё замерло до рассвета, *дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь*, а там уже стол накрыт жесткой крахмальной скатертью, опрокинуть в рот хрустальную стопку, закусить твердым, с лёдника сальцом, огненной рассыпчатой картошечкой, малосольным огурчиком, многоглазой, оранжевой, как заря, на громадной чугунной сковороде, глазуньей. А там и борщ, и котлеты, и опять по стопочке, по полной, кушайте на здоровье, Игорь Семёнович. Никто не спрашивает, какие у него, собственно, планы. Несчастный, тощий, с хохолком волос на темени, Былинкин сидит возле раздумяившейся, как ябло-

ко, помалкивающей, счастливой Валентины, ни дать ни взять — молодожёны. Будет тебе, отец, умеряет хозяйка расстаравшегося военрука, не очень-то его спаивай, — и всем понятно, что она хочет сказать, бабы — они дело своё знают, впереди брачная ночь. А что будет завтра, не всё ли равно, утро вечера мудренее.

## РЕМОНТ. МЫ НЕ ОТ СТАРОСТИ УМРЁМ

Иванову Юрию Михайловичу выдали направление на стационарное лечение в областной госпиталь инвалидов Отечественной войны, но туда пришлось бы неделями ждать очереди. Последнее обострение было в ноябре, после драки на даче у Владислава; всем троим пришлось топтать в крошечной тьме по грязному хлопляющему снегу и просидеть на станции до утра в ожидании электрички. Была, по крайней мере, причина. Сейчас особых поводов для рецидива не было, но стояла гнилая, промозглая погода, ни зима ни весна, поселившая колотье в отсутствующей ноге; вечерами охватывала тоска, некуда податься, невозможно согреться из-за озноба; культя была воспалена, пришлось отказаться на время от протеза. В виду этих обстоятельств Иванов пил целую неделю, почти ничего не ел, к ужасу матери, не показывался на занятиях. Да и не мог представить себе, как это он появится в университете на костылях. В поликлинике врачаха изъяснялась туманно, наконец, было произнесено это слово: остеомиелит, знакомое по тем временам, когда он кочевал почти полгода по госпиталям. Культя была с самого начала плохо, наспех ушита в Эльбинге, в дивизионном ППГ.

Ждать очереди не имело смысла, пришлось лечь в районную больницу, чему Юра был даже рад, хотя и здесь первые две ночи провёл в коридоре. Завотделением попенял ему, что он запустил обострение, пригрозил — еще раз повторится, придется делать экзартикуляцию в тазобедренном суставе, сам понимаешь, не радость. Операция по укорочению (это называлось «освежить» культю) была произведена в старинной Екатерининской больнице № 24 на Петровском бульваре, где они долго стояли в очереди перед регистратурой, старуха в грязнобелом халате поверх пальто водила пальцем по строчкам, переспрашивала палату, имя, отчество, которого, как оказалось, ни Марик, ни Ира не знали. В больнице, снаружи импозантной, с ампириными колоннами, было тесно и грязно, продолжался ремонт, затеянный ещё накануне войны; лифт всегда занят, поднимались по узкой лестнице, пробирались по коридорам мимо баб-малярок, ворочавших длинными кистями, в заляпанных робах, в платочках до глаз; шли навстречу

пробегавшим сестричкам, мимо коек с больными, лежавшими в коридоре, и полуоткрытых дверей в палаты, где всё свободное место было заставлено койками. Вошли, несмело озираясь, оглядывая лежащих. Юра лежал у окна, рыжий, почернелый и осунувшийся, без пенсне, поднялся было в постели с почти испуганным выражением и тотчас лёг, — не хотел, подумала Ира, чтобы увидели его без протеза. Оба топтались между кроватью Иванова и соседней, свежестеленной, кто-то умер ночью, и кого-то должны были перевести из коридора на освободившееся место.

Ира положила на тумбочку приношение. Друзья сидели рядком на краешке незанятой койки. Марик поглядывал в окно, деревья уже покрылись зелёным дымом, серые облака плыли над городом, томительная свежесть сочилась из открытой фрамуги, из-за поворота на бульвар показался трамвай. Разговор не клеился.

Потух вечерний свет, улеглась суета, сделан укол, сестра собрала градусники, субфебрильная температура. В коридоре шорох, плеск воды; сейчас начнётся качка — которую ночь одно и то же. Мужик рядом тоже не спит. Вдруг оказалось — вовсе не «экзитировал», лежит носом кверху как ни в чём не бывало.

## РЕМОНТ. ДЕВОЧКА НИЧЕГО СЕБЕ

«Тебя унесли, я сам видел», — сказал Иванов.

«Унесли, а потом принесли».

«Ты умер. Врезал дуба».

«Как и ты».

«Я жив».

«Значит, и я жив».

Иванов потёр лоб и сказал, что он всё понимает. «Что понимаешь?» — спросил сосед. Понимаю, сказал Иванов, что это бред, утром вкатили каталку и увезли труп. Потом приходили, сидели на пустой койке Ира и Пожарский. «А ты кто, вообще-то? — спросил Иванов. — Что-то я тебя не помню».

«Мореходку вместе кончали».

«Не было такого, не помню».

«Как это не помнишь. По случаю приближения немцев досрочно всем офицерские звёздочки, фуражки новенькие с крабом, прямиком из училища — в Кронштадт, это ты хоть помнишь?»

«Конечно».

Ага, сказал человек, значит, не совсем память отшибло. Всю зиму на базе проторчали. «С-13» в сухом доке. Загляденье, а не лодка. Гордость отечественной техники.

«Какая там гордость, вся изуродована глубинными бомбами».

«Это что же — значит, уже после?..»

«Не после, а ещё до нас. Вот, думаем, и с нами, может, произойдёт то же самое».

Постой, сказал Иванов, это ты говоришь или это я сказал?

«А какая разница — я, ты... Маринеско говорит: ребята, ещё немного потерпеть».

«Капитан третьего ранга».

«Он самый. Известный бандюга. До Нового года, говорит. А там дадим фрицам прикурить».

«Хочу спать», сказал Иванов.

«Я тоже».

«Ты-то причём, тебя нет».

«Значит, и тебя нет».

«Мы не от старости умрём. От старых ран умрём»<sup>1</sup>.

«Интересно. Кто это сказал?»

«Так, один».

«Ты их слушай, они тебе наговорят... А это кто такие были, на койке койке сидели? Девочка так себе. Лучше не мог подобрать?»

«Много ты понимаешь».

«Не, я шучу. Похожа на ту».

«На кого?»

«На ту... — так и непонятно было, на кого. Он спросил: — Ну, и как у тебя с ней?»

«Никак».

«Не даёт, что ли?»

«Пошёл ты к е... матери, я спать хочу». Юра Иванов прислушался, с кровати раздавался храп; отвернулся к стене, уверенный, что никакого разговора не было, просто подскочила температура, но дело обстояло как раз наоборот, фантазией было явление Иры с Пожарским. Он стал думать об Ире, о том, что она войдёт снова, — почему бы и нет? — прокрадётся к нему в темноте и сядет на кровать, но мысли его отвлеклись.

Всю зиму ремонтировали, залатали корпус. Вертикальный руль пришлось менять... Иванов ждал, что скажет сосед. Мужик на койке молчал. Иванов снова лёг на спину, стараясь поудобней устроить забинтованную культю, и скосил глаза: так и есть, чья-то голова на по-

---

<sup>1</sup> Семён Гудзенко (1922–1953).

душке. Ремонт был закончен, лодка как новенькая, потом отработка боевых задач в Неве между мостами, в охтенском море. В эту минуту он понял, что это его голова лежала на подушке, и окончательно успокоился. Он пробирается между койками. Упругим шагом выходит в коридор, видит спящую за столом дежурную сестру, поднимается по лесенке на командный мостик.

## АТАКА

Второй помощник капитана стоит на мостике рядом с антенной и трубой перископа, в шерстяном свитере, в меховом комбинезоне-канадке, завязки капюшона затянуты, над водой мороз градусов под двадцать с ветерком. Днём радиограмма из штаба флота: в связи с успешным наступлением наших войск возможное появление транспортных судов в районе Мемеля и Данцигской бухты. Хлопнул правый дизель, за ним левый. Зачавкали компрессоры. Лодка раскачивается в килевой качке, идём в район перехвата. Штормит, брызги замерзают на лету, колючие льдинки бьют в лицо. Несколько слабеньких точек, как светлячки, в снежной мгле. Исчезли. Он снова подносит к глазам тяжёлый морской бинокль с 22-кратным увеличением, докладывает: прямо по носу огни.

Голова в ушанке показалась из люка, командир вылезает на мостик. Капитан третьего ранга поднимает к глазам бинокль. Ага... вон он где, голубчик. В переговорную трубу: боевая тревога! Право руля, курс 240. Акустик докладывает из рубки: слышу гул двухвинтового судна на большом ходу. Лодка, накреньясь, катится вправо. Разворачиваемся носом к объекту. Командир приказывает принять балласт, лодка оседает, теперь она не так заметна, волны не сбивают её с курса. На мостике ледяной вал то и дело накрывает с головой и скатывается по гладкому корпусу. Проходит четверть часа, лодка идёт к цели.

Теперь уже хорошо видно. Большой, не меньше двухсот метров в длину, ярко освещённый, пяти- или шестипалубный лайнер идёт со скоростью, какую позволяет запрудившая все палубы человеческая масса, высоко на передней мачте бьётся крошечный флаг, и ещё два, один флотский со свастикой, другой с санитарным крестом, волочатся по ветру за кормой. Хлопнула крышка люка над головой, вслед за командиром вахтенный офицер спускается по лесенке. Срочное погружение.

Гулкое эхо в глубине моря, это лайнер, ударившись о скалистый грунт, подпрыгнул, как мяч, и грохнулся снова, подпрыгнул ещё раз, рассыпая обломки, и окончательно успокоился на дне. В шлемофонах

нарастающий гул переходит в рёв, его сейчас можно слышать без приборов, миноносцы преследуют лодку. «С-13» то и дело меняет курс, набирает глубину. Слишком медленно — вот тебе и гордость отечественной техники. Командир ведёт лодку туда, где наверху, на поверхности, плавают обломки, барахтаются пассажиры погибшего лайнера, там бомбить не будут; рёв винтов, стрекочущее эхо гидролокаторов всё сильнее, — у-ух-х, бух-х, — взрывы глубинных бомб то уходят раскатами, то приближаются. Все сжались, скрючились в тесном закутке, молчим, сидим, ждём удара, и в сумерках палата, где Юрий Иванов с замотанным в бинты обрубком ноги, сгорбленный, открыв рот, вперясь в пустоту, сидит перед пустой свежезастланной койкой, на которой накануне умер кто-то, — палата, два светлых окна, — медленно наполняется водой.

### ТРОЕ НА ЛЬДИНЕ

То, что Марик Пожарский равнодушно относился к поэтам-фронтовикам, к Межирову, к Гудзенко, ни в грош не ставил прославленных стихотворцев Суркова и Симонова (*Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...*), издевался над скромным полузрячим создателем «Одинокой гармонии» и «Слова к товарищу Сталину», всё это ещё куда ни шло. Но замахнуться на Поэта Революции! Марик утверждал, что Демьян Бедный писал ничуть не хуже.

«Семинар по Маяковскому! — И, сделав страшное лицо, угробным басом: — Другим странам — по сто! История — пастью гроба!.. Балашой был юморист». Все трое стояли перед расписанием лекций в маленьком зале между двумя коридорами.

Брели по коридору, впереди Ира и Пожарский, сзади поскрипывал протезом Юра Иванов.

Он спросил вяло: «Слушай, а что ты вообще понимаешь?»

Марик, не оборачиваясь, надменно:

«Ну, уж в поэзии я немножко разбираюсь».

Ира: «А мне Маяковский нравится. И у Симонова есть хорошие строчки.

Над чёрным носом нашей субмарины  
Взошла Венера, странная звезда...

Тебе нравится?»

«Мне?» — спросил Иванов и пожал плечами. Стихи, если уж начистоту, — чушь собачья, какие там звёзды над лодкой, идущей в разрез волны, в кромешной мгле под хлещущим ветром.

«Ей всё нравится, — парировал Марик. — И то, и это... А вот ты мне объясни...»

Вышли на лестничную площадку.

«Ты мне объясни, стихи о советском паспорте: что это значит — по длинному фронту купе и кают? Где происходит действие, в поезде или на пароходе? Я достаю из широких штанин! — закричал он, прыгая по ступенькам. — Выходит, сразу из обоих карманов. А эти папаша, каждый хитр. Картонная поэма, знаешь, кто это сказал?» Иванов сходит, держась за перила, выставляет трость, опускает ногу. Ира прыгает рядом. Марик ждёт внизу.

Марик, сурово:

«Товарищ Подвойский сел в машину. Сказал устало: кончено. В Кремль».

Тоненьким, писклявым голоском:

«Товарищ Подвойский прыг в машину, весело крикнул: кончено, в Кремль!!!»

Гробовым шепотом:

«Вы слышали? Товарищ Подвойский сел в машину. Неужели? И что? Как что? Кончено! В Кр-ремль...»

«Ну ты полегче, полегче».

И всё повторяется, все трое понимают, что не в этом дело. Не в Маяковском, пропади он пропадом.

Пред испанкой благородной  
Двое рыцарей стоят.  
Оба смело и свободно  
В очи прямо ей глядят.

«Ну, хорошо. — Иванов говорит спокойно, рассудительно. — Тебе виднее. Но неужели ты не хочешь признать, что он сам совершил революцию, в поэзии, в литературе. Что, в конце концов...»

Они вышли во двор. Ира — медленно, влюбленно:

Уже второй.  
Должно быть, ты легла,  
а может быть, и у тебя такое.  
Я не спешу, и молниями телеграмм  
мне незачем тебя будить и беспокоить.

Ну и рифма. *Легла — телеграмм*. Что-то поднимается каждый раз, как пена в закипающей кастрюле. И это называется дружбой. Бесконечные препирательства. Пожарский что-то там лепечет о Маяковском (потеряв, между прочим, всякую осторожность!), это оттого, что

он соплик, жалкий стихоплёт, смешно думать, что Ира может увлечься этим недорослем. А когда Иванов возражает, то вовсе не потому, что он в таком восторге от «лучшего-талантливейшего», просто он завидует Марику. Смешно представить себе, что этот тупой ортодокс, этот увечный воин может завоевать Иру.

Вот он снимает свое новое пенсне, достаёт платок, дышит на стёклышки. Нацепляет на нос, этакий денди. Марик старается не смотреть на Иванова, он почти не в состоянии совладать с приливом ненависти. Может быть, лет через двадцать Марик Пожарский поймёт... но будут ли они жить через двадцать лет? Что поймёт? Что ненависть есть не что иное, как надевшее маску вожделе. Что на самом деле оно рвётся к женщине, но, отброшенное щитом её равнодушия, переключается на другого; что гений пола не устремляется на добычу, но кружит над ней, как ослепший коршун. Разумеется, никто из них об этом не догадывается.

А вот пятьдесят лет тому назад они бы стрелялись. Где-нибудь на задворках, на заднем дворе, за полуразрушенной университетской церковью, а ещё лучше в безлюдном парке, где поют птицы на рассвете. Теперь сходитесь. Ира машет платком. Они идут навстречу друг другу, гремят выстрелы. Дым рассеивается, оба лежат неподвижно. И она стоит, дважды овдовевшая, между ними. И так ей и надо.

«А вот это, — говорит она, — разве это плохо?»

Я знаю,  
каждый  
за женщину  
платит.  
Ничего,  
если пока  
тебя  
вместо шика  
парижских платьев  
одену  
в дым табака.

Она не смотрит ни на того, ни на другого, её глаза обводят двор, чахлые кусты и ограду, удивительно нежен её подбородок, спокойно дышит её грудь. Может, Ире и нравится Маяковский, — Марик Пожарский вынужден признать, что Поэт революции, пожалуй, не так уж безнадежен, есть неплохие строчки, — но, конечно, куда больше ей нравится то, что они наскакивают друг на друга. Ей это не надоедает!

Сколько коварства, женского вероломства, сколько тайного издевательства в её спокойствии, в её позе, в этой наигранной непринужденности, ведь на самом деле она ждёт, ждёт с жадным любопытством,

когда, наконец, Иванов швырнёт Марика на лопатки. И Марику Пожарскому становится ясной вся пошлая суетность ее поведения, все это притворство, вообще вся их бабья суть.

И в то же время ему становится легче, он понимает, что игра ведется из-за них обоих, из-за него. Значит, он ей не совсем безразличен. Увы, это так: их троица держится на самом обыкновенном соперничестве. Через двадцать лет Марик мог бы сообразить, что у соперничества есть изнанка, хрупкая взаимная привязанность мужчин. И вот они топчутся во дворе перед дверью с вывеской факультета и не догадываются о том, как всё это шатко, хрупко, не хотят замечать трещину на льдине, где они стоят втроем, одни-одинёшеньки, и льдину несёт в океан.

«Дети мои, мы опаздываем», — говорит Ира.

Пора на лекцию в Новое здание.

За оградой по тротуару спешат горожане, равнодушные, мимо-лётные, рассеянно-раздражённые лица, кого в этой толпе интересуют стихи? У людей другие заботы. Вдалеке за широкой площадью сад, и зубчатая стена, и незаметный отсюда, безустали шагающий часовой. Люди не смотрят на стены и башни, их это не касается. Люди бегут навстречу друг другу, вправо к Библиотеке Ленина и налево к Охотному ряду и площади Дзержинского, к мраморно-гранитной крепости и новому, только что воздвигутому многооконному зданию с коридорами, камерами, подвалами, с кабинетами следователей, с прогулочными дворами на крышах, об этом никто не знает, никто ничего знает, а кто знает, помалкивает, и всё рядом, от университета каких-нибудь пятнадцать минут ходьбы, дико, странно подумать, как это может сосуществовать, как может уживаться одно с другим.

## **ИНТЕРМЕДИЯ В КОСТЮМАХ ЭПОХИ: ТРИСТАН И МЕЧ**

В истории рыцаря Тристана, племянника короля Марка, истории сватовства короля к белорукой Изольде и тайной любви Тристана и Изольды был загадочный эпизод, которому не даётся никакого объяснения; о нём хранят молчание и Беруль, и Томá, и Готфрид из Страсбурга. О нем не рассказывал и профессор Данцигер на своем семинаре по старофранцузской литературе. Тристан, чьё имя, предрекавшее горестную судьбу, было дано ему, по одним преданиям, матерью, по другим — влюблённой в него королевой Бланшфлёр, получил наказ дяди беречь и охранять Изольду в долгом морском пути из Ирландии в Корнуэльс. Мать невесты вручила ей серебряный сосуд с волшебным напитком. Может быть, тебе и не надо знать, сказала она Изольде, что

произойдёт после того, как вассалы и слуги приведут тебя к мужу в опочивальню, девушкам не полагается слушать о таких вещах, одно лишь прошу тебя исполнить. Кто такой благородный Марк, знают все, но каков он из себя, мне неизвестно, знаю только, что он стар, и не уверена, что он красив. Итак, попроси разрешения у короля, когда он войдёт к тебе, ненадолго отлучиться и выпей в одиночестве этот напиток: он свяжет вас навеки.

Путь корабля, разукрашенного флагами, под червлёными парусами, с искусно вырезанной из дерева фигурой святого Патрика на носу, пролёт мимо Дальних островов и Замка Слёз, в обход невидимых рифов, бури трепали путешественников, потом ветер стих, повисли паруса и вымпелы на мачтах, под палящим солнцем судно почти не двигалось. Кончились запасы пресной воды, и бедная невеста возжаждала так сильно, что захотела испить из сосуда. Тристан вошёл в каюту, где в изнеможении она сидела на ковре. Матушка велела мне отведать этот напиток в ночь бракосочетания, сказала Изольда, но я не силах больше переносить жажду. А что это за питье, спросил рыцарь. Не знаю, возразила Изольда, но думаю, что не отраву; не хотите ли пригубить. И оба с наслаждением испили.

После этого прошло несколько времени, или, лучше сказать, время исчезло. Очнувшись от обморока, они поднялись на ноги, взглянули друг на друга, и с тех пор Изольда не могла больше думать ни о ком, кроме как о Тристане, а Тристан ни о ком, кроме Изольды. И когда в каюту вошла Брангена, приближённая девушка принцессы Изольды, она увидела по их глазам, что случилось непоправимое.

В разных версиях легенды рассказывается о том, как король Марк со свитой встретил Изольду, благодарил племянника и пожаловал ему звание шамбеллана, то есть спальника; как устроен был свадебный пир и слуги готовили для молодых роскошную опочивальню. С гневом и горечью думал Тристан о том, что произойдёт; и новобрачная тайком утирала слёзы. Но успела шепнуть Тристану, что нашла выход. Когда король, возбуждённый и умощнённый, возлёг, ожидая Изольду, спальник погасил свечи в опочивальне. Зачем ты это сделал, спросил король, я хочу видеть мою жену. Государь, отвечал племянник, таков обычай Ирландии: когда девица входит к мужчине, нужно тушить огни, в уважение её стыдливости. Тристан с поклоном удалился, а в тёмную спальню вошла Брангена. Так король Марк лишил девственности Брангену вместо Изольды, а когда он уснул, служанка неслышно выскользнула из брачного чертога, и на ложе рядом с ложем короля улеглась Изольда. Хитрость удалась; наутро король призвал к себе Тристана и сказал: я назначаю тебя моим наследником в Корнуэльсе в благодарность за то, что ты сберег для меня Изольду. А так как он был стар, то в последующие две недели не трогал королеву Изольду.

Супруг отправился на охоту, бальзам любви, выпитый на корабле, распалил влюблённых, ничто не мешало им соединиться. И настала глубокая ночь. Случилось, что король Марк неожиданно воротился в замок. Он вошёл в опочивальню и увидел, что там никого нет. Призвал служанку, но Брангена молчала, потупившись и не желая лгать. Наконец, она созналась. Так значит, это была ты, сказал король, потрясённый услышанным; знаешь ли ты, какое наказание тебя ожидает. Но я пощажу тебя, продолжал он, если ты откроешь мне, где скрывается моя жена Изольда.

В крошечной тьме он углубился в лесную чащу, слабый огонёк мерцал впереди. Обманутый муж подкрался к окошку и увидел, что на столе пылает свеча. В глубине комнаты темнело ложе. Он вошёл и увидел спящих. Оба лежали нагие, и между ними обоюдоострый меч.

И гнев старого короля Марка утих, ибо он догадался, что всё это значит. Может быть, рыцарь Тристан устыдился, вспомнив благодарность короля. Может быть, верность племянника и вассала превозмогла вождение к Изольде. Может быть, оба предпочли вечное томление минутной вспышке огня. Кто знает? И не воображает ли себя девушка, которая учится на романо-германском отделении, наперекор всему принцессой Изольдой?

## ИОВ НА ЗАРПЛАТЕ

Диспут о поэзии выдохся; через узкие воротца вышли на тротуар. Снаружи перед университетской оградой, как всегда, сидит на тротуаре, отбывает дежурство пепельный человек в рубище. Седая щетина, серая вытертая на макушке голова, рядом собачий нос на вытянутых передних лапах.

Марик Пожарский приблизился к сидельцу. Нищий произнес свою формулу. Пес приоткрыл один глаз.

Подождав, нищий спросил:

«Тебе чего?»

Вместо ответа Марик протянул руку, сложил ладонь лодочкой, скорчил скорбную мину.

«Подайте Христа ради!»

«Чего?» — переспросил нищий, обратив к нему корявый лик.

«Больному-убогому, — пел Марик, — бедному студенту... Подайте на пропитание».

Собиратель подаяний воззрился на него, как, должно быть, взирал на самонадеянного юнца Елиуя праведник, познавший смысл страдания.

«Сучий потрох», — проскрипел он.

Мимо прохожие бегут друг другу навстречу, стучат подковки кирзовых сапог, шаркают опорки, постукивают каблочки женщин.

«Это же надо... — сказал нищий. — А ну вали отсюда».

Он скосил глаза на пса:

«Гони его на́-хер».

Зверь повёл ухом, не понимал, в чём дело, моргал, ждал подачки.

«Гони! — скомандовал хозяин. — Кому сказал...»

«Вот видите, — заметил Марик. — Он понимает».

«Не он, а она, — поправил нищий, — чего она понимает?»

«А то, что я, может, еще бедней, чем вы».

«Ты-то?»

Вместо ответа Марик с торжеством вывернул карманы коротких брючек-дудочек. Стоя ферттом, держал концы карманов в обеих руках. Нищий молча, скучно глядел на него. Профессионал презрительно оглядывал дилетанта.

Идея просить у просящего — да ведь это всё равно что обворовать вора, всё равно что потребовать за свидание плату от публичной женщины. Подрывная идея.

К тому же нищий на работе. Надо было быть полным идиотом, ослом, лопухом, чтобы не знать, что побиралец здесь, у ограды университета — на работе. Напротив Кремль. В двух шагах американское посольство. Присматриваем за прохожими, отмечаем подозрительных, особенно всех, кто собирается кучкой.

Надо быть таким лопухом, как Марик...

«Чего ты мне карманы-то показываешь! Чего показываешь-та! Видали мы таких! Студент прохладной жизни... У кого просишь? У кого вымогаешь? А ну иди отседа, — гремел нищий, — работать надо, а не попрошайничать!..»

Он стал подниматься с места, встал, подтягивая штаны, и оказался детиной огромного роста; собака, вскочив на ноги, залилась лаем; в эту минуту, ни с того ни с сего, с другого берега Манежной площади сквозь шум и шорох машин донёлся торжественно-гнусавый звон кремлевских курантов.

Юрий Иванов, хромя, поспешно приблизился.

«Держи», — сунул нищему монету.

Марику:

«Хватит кривляться. Пошли».

Куранты: «Динь, динь-дилинь. Бом!»

Вдогонку неслось:

«Суки поганые, мандовошки. Много вас тут развелось!»

## СВИДАНИЕ

И вот, это было недели две спустя, происходит нечто маловероятное. Нужно признать, что правдоподобие не является законом жизни. Мы живём в неправдоподобное время. Особа неопределенных лет, явно посторонняя и, хуже того, в которой что-то неуловимо выдавало иностранку, вышла из деканата. Миновав холл с расписанием лекций и стенной газетой, направилась к выходу. Она шагала уверенно, не глядя по сторонам, словно не впервые находилась здесь. Дочь, ростом выше матери, спешила за ней. Двумя маршами ниже находился философский факультет, ещё этаж — и они вышли во двор. Было уже совсем тепло. Щурясь от солнца, гостя мельком оглядела парадный фасад, арку, двойную лестницу, колонны и двускатный верх со знамёнами и гербом. С двух сторон по углам выходявшего покоем Старого здания стояли почернелые статуи.

Вышли на тротуар из узких ворот, дама покопалась в сумочке, склонившись, бросила серебряную монетку собирателю подаяний. Подальше сидел еще один, она подала и ему. Широкая и пустынная, мощённая брусчаткой площадь, посередине мемориальный камень, редкие автомобили, а по ту сторону площади, за оградой и зеленью крепостная стена, зубцы, башни со звёздами, с железными флажками, — итак, вот она, эта новая Византия, город чудес и тайн, и где-то там в жёлтом дворце за стеной прячется деспот, которому дочь поклоняется, словно живому богу.

Подождали, пока трамвай, два старых вагона, верезжа колёсами, поворачивал из узкой улицы вправо. Теперь, когда план, казавшийся нереальным, почти безумным, по-видимому, близок к осуществлению, гостя, прибывшая издалека, охвачена сомнениями. Зудящее любопытство, какая-то болезненная потребность увидеть воочию этого человека, — чем они могут быть оправданы в его глазах, согласится ли он вообще с ней разговаривать? Но поздно отступать, они перешли улицу. Ещё один памятник кому-то перед аудиторным корпусом. Вошли внутрь. Мамаши и дочка поднимаются по широкой парадной лестнице. Аудитория номер 66, они нашли ее без труда, десять минут до конца занятий.

Напрасное ожидание. В деканате дали неправильные сведения. По-видимому, намеренно. Дали понять, что ей здесь делать нечего. Но откуда они знают, с какой целью иностранка хочет повидать Юрия Иванова? Или все-таки знают, предупреждены по тайным каналам? Прозвенел звонок, молодежь выходит из высоких дверей, почти сплошь девицы, человека, которого им описали, нет. Толпа разошлась. Аннелизе графиня фон Ирш цу Зольдау, рыхловатая женщина за пятьдесят, с ак-

курратно уложенными короткими волосами серо-желтоватого цвета, с немного скуластым лицом и крупными выступающими зубами — фамильная черта, — в длинной вязаной кофте с вырезом, заколотым брошью, с перстнем-печаткой на безымянном пальце, в старушечьей юбке и неказистых туфлях, смотрит в тупой задумчивости вниз на лестницу, на спускающихся студентов. Что ж, тем лучше.

Конечно, *надо* было приехать, выполнить долг, который она сама себе навязала. Что теперь? Продолжать поиски, предпринимать новые усилия — *um Gottes willen*<sup>1</sup>, зачем, какой смысл?.. Будем считать, что наше упрямство вознаграждено. В сущности, можно лишь радоваться, что встреча не состоялась. И в который раз она спрашивает себя, для чего, собственно, ей всё это понадобилось. Но где же дочь?

Стремительно повернувшись, Аннелизе фон Ирш видит, как из опустевшей аудитории вышли двое. Вышла Сузанна Антония и с нею бледный парень в пенсне, с палкой и студенческим портфелем, с веснушками, медноволосый, — точь-в-точь, как у Отто, подумала она.

Матери, по-немецки:

«Мама, это Юрий Иванов».

## ДЕВУШКА НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ

Соня Вицорек — следовало бы сказать: фрейлейн Вицорек, но годы оккупации скомпрометировали это слово, — Соня Вицорек была непростая, даже в некотором смысле загадочная персона, из тех, о ком говорят: «со связями». Об этих связях не принято было распространяться, да и не так уж это интересно, достаточно будет, если мы скажем, что благодаря высокому покровительству удалось организовать поездку и встречу. Другой вопрос, было ли это в самом деле удачей. Что обещала, что могла принести такая встреча?

Для обитателей дома на Нижнекисловском (переведём назад стрелки скорбной эпохи) пакт о дружбе с Германией был подобен грому с ясного неба. Может быть, оттого, что среди эмигрантов не было достаточно проникательных, а главное, циничных людей, они не верили своим глазам: фотография с Риббентропом и Молотовым на первой странице московских газет. Вождь международного пролетариата в Кремле произнёс тост за здоровье гнусного германского фюрера. С речью выступил нарком иностранных дел: некоторые близорукие люди, сказал он, увлеклись упрощённой антифашистской агитацией. В квартирах эмигрантов начались обыски, пошли аресты, в одну из этих

---

<sup>1</sup> ради Бога (нем.).

ночей исчез Отто Вицорек. Соня осталась с подружкой отца, теперь эта женщина занялась хлопотами о возвращении в рейх. Ловили новые слухи, ждали выселения. Прошло несколько месяцев, и вдруг он вернулся, единственный из всех соседей. О том, что происходило во Внутренней тюрьме, отец Сони не рассказывал и о самой этой тюрьме никогда не упоминал. Внешне он несколько изменился, лишился передних зубов, отчасти даже лишился рассудка. Вицорек выздоровел от невзгод, но не от убеждений. Последующие события восстановили его энтузиазм и веру в Вождя, который, как теперь стало ясно, вовремя вмешался, чтобы пресечь беззаконие. К этому времени невенчанная жена, не разделявшая этой веры, сменив её на поклонение Шикльгруберу, сумела-таки уехать, её судьба неизвестна и неинтересна. Вицорек остался с дочерью. Вскоре началась война, и всё окончательно стало на свои места. Отто был членом каких-то комитетов, редактировал брошюры, подписывал воззвания. Соня отправилась в эвакуацию вместе со школой имени Карла Либкнехта. Три года жизни на Урале превратили её в рослую, светлоглазую, длиннозубую и длинноногую, уверенную в себе девицу, хоть и не получившую в наследство от отца его былую красоту, но всё же похожую на него, а ещё больше, может быть, на старого звездочёта, чей портрет не сохранило потомство. Наступила весна сорок пятого года, достопамятного, занесённого илом, забытого и незабвенного, — так застрекает в памяти мелодия, а текст давно забыт. В июне, в последних числах, Сузанна Антония прибыла во «дворец радио» в Шарлоттенбурге, бывшую казарму СС, где теперь было определено рабочее место Отто Вицорек.

Летели с пересадкой в Минске. Здесь впервые она увидела развалины. Увидела остатки укреплений по обе стороны Одера, воронки от снарядов, но дальше потянулись аккуратные поля, перелески, озёра, чистые, ухоженные городки, прямые автострады; казалось, войны здесь никогда не бывало. Страна была похожа на чисто прибранную комнату у прилежной хозяйки. Низкие облака заволокли иллюминатор, самолёт, гудя, стоял в густом молоке. Началась болтанка; последние клочья тумана неслись мимо. Внизу проплывало что-то ужасное, развороченные танки, обугленные леса, чёрные дымящиеся поля с торчащими из земли обгорелыми стволами. Дорога, по которой двигалось что-то в облаках чёрного праха. Появился город, но что это был за город: пустые, без крыш, коробки домов до самого горизонта, обломки церквей. Горы щебня и кирпичей росли навстречу, самолёт снижался. Кое-где расчищенные улицы забиты колоннами крытых брезентом грузовиков, коробочками-джипами, тележками, крошечные люди толкают перед собой детские коляски с кладью. Самолёт сел в Темпельгофе. Аэродром окружали остатки не-

когда импозантных зданий, выгоревших дотла. Отец волновался, она осталась безучастной, это была чужая страна, чужие люди, так вам и надо, думала Соня.

Вечером приехал автобус, кружили по мёртвому городу, проехать можно было только по главным улицам. Непонятно было, как, когда всё это можно разгрести. Да и надо ли. Уж лучше построить новый город где-нибудь в другом месте. На Франкфуртской аллее кое-где уцелевшие дома. Им отвели квартиру в бывшей гостинице для офицеров. Всё казалось удивительным Соне Вицорек. Немецкие надписи, люди на улицах говорят по-немецки. Берлинский «платг», который не сразу поймёшь. И, само собой, везде красноармейцы, в обмотках, в кургузых шинелях. Тёмные загорелые лица, белозубая улыбка. «Эй, фройлин!» Она отвечает по-русски.

После тюрьмы Вицорек заикался; до поздней ночи тюкал на машинке; Соня должна была читать напечатанное перед микрофоном, и первое время рядом с ней сидел русский майор. Несколько времени спустя она уже сама сочиняла тексты радиопередач, видимо, преуспела в этом, была откомандирована в Москву, окончила международную школу молодых кадров в Вешняках, заведение за высоким забором; Конрад Вольф, товарищ детства, был братом Маркуса Вольфа, которого все по старой памяти звали Мишей; и этот Миша стал теперь большим человеком, чтобы не говорить о том, кем именно он стал; можно было запросто к нему обратиться, всё прекрасно устроилось, всё, что нас здесь уже не может интересовать.

## БЕСЕДА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

«Он не помнит, я же говорила тебе».

«Спроси, где он потерял ногу».

«Мамочка...»

«Можно не переводить. Как-никак я филолог».

«Он говорит, что может обойтись без...»

«Только помедленней. Bitte sprechen Sie langsam».

«Поговори с ним сама. Скажи, что мне очень хотелось его повидать».

Иванов пробурчал что-то невразумительное.

«Он говорит, что счастлив с тобой познакомиться».

Аннелизе фон Ирш разглядила салфетку, по-видимому, не знала, с чего начать.

Вертела перстень. На перстне вырезан зубр.

«Вы изучаете немецкую литературу?»

«Изучаю», — мрачно сказал Иванов.

Соня, по-студенчески на «ты»:

«Почему ничего не ешь?»

«Боюсь испортить желудок».

«Он говорит, что не привык к такой роскошной еде».

Неслышно приблизился официант, подлил в чашки душистый кофе.

«Может быть, вы привыкли пить по утрам чай?» — осведомилась Аннелизе.

«Я? — сказал Иванов. — Ich...»

Он забыл слова. Да и пропало желание разговаривать. Он оглядел почти пустой зал, светлые окна с гардинами, пальмы в бочках, крахмальные скатерти, хрусталь. Нашего брата сюда не пускают.

Сейчас начнётся, думал он. Дружба народов, то да сё.

Аннелизе сложила салфетку вдвое, вчетверо.

«Не знаю, как вам объяснить... Мне хотелось вас увидеть... я вас разыскивала. То есть разыскивала кого-нибудь, кто... Мы оба... нас обоих... вы верите в предопределение? По-моему, он не понимает, переведи ему».

«Наш предок был знаменитый астроном. Переписывался с Тихо Браге. Мама считает, что спаслась благодаря звёздам».

«Какие там звёзды. Был шторм, снегопад».

«Да, но я не в том смысле...»

«Какой тут может быть смысл», — возразил он с досадой.

Аннелизе продолжала: «Мне кажется, мы могли бы найти общий язык. То, что мы оба остались в живых... Как, вы уже уходите?»

Иванов поднимался, опираясь на палку.

«Вот что... — проговорил он, сдерживая злость, не глядя на Соню. — Тебе такая вещь, как русский мат, известна?»

«Мат?»

«Да, обыкновенный русский мат».

«Немножко».

«Ну так вот, скажи твоей маме... — Он вздохнул. — Ну, в общем, скажи, что я благодарю за вкусный завтрак. Das Frühstück schmeckt gut».

«Ему надо идти на лекции».

Аннелизе фон Ирш опустила голову, через минуту Юра Иванов встретился с её взглядом.

«Мама хотела спросить, где тебя ранило».

«В море», — сказал Иванов.

«То есть... на Остзее?¹»

«Не помню. А почему это её интересует?»

«Я же тебе объяснила: моя мама в конце войны...»

«Знаю. Тот самый транспорт?»

«Ну да... пассажирский корабль».

Иванов пожал плечами.

«А кто мог знать?» — спросил он.

«Что знать?»

«Кто мог об этом знать — что пассажирский?»

«Он говорит, что они не знали, что корабль вёз пассажиров. — Иванову: — Мама почему-то считает... Может быть, ты все-таки сядешь».

«Хорошо, сяду, — сказал Иванов. — Мы получили приказ. В этом районе ожидалось появление немецких транспортов».

«Он говорит, что...»

«Вы что, позвали меня, чтобы допрашивать? Sie wollen...»

«Да, — вдруг сказала Аннелизе. — Я хотела бы с вами поговорить. Я, — сказала она упрямо и при каждом слове кивая, — должна — с вами — поговорить».

«Мамочка...»

«Я долго искала этой возможности. Спроси у него, достаточно ли хорошо он меня понимает или надо переводить».

«Моя мама говорит, что рада, что смогла тебя разыскать».

«Спасибо. Весьма польщён».

«Должна сразу же сказать: я вовсе не собираюсь вас... Наоборот!»

«Мама, подожди минутку. Юрий... Пожалуйста, не думай, что мы тебя в чём-нибудь упрекаем. Советский народ вёл войну с фашизмом. Мой отец старый коммунист...»

«Вот как».

«Да. Он был соратником Тельмана».

«Поздравляю; ну и что?»

«Как что? Мы на твоей стороне, а не на...»

«Кто это — мы?»

«Я и мама».

«Мама тоже? Не думаю, — сказал Иванов. — Я знаю, что она хочет сказать. Что там были женщины, старики, дети...»

«Там были, между прочим, и раненые солдаты», — сказала Соня.

«В общем, беженцы. Видимость была плохая, сначала думали, что это военный транспорт. Потом оказалось... в общем-то да, корабль

---

¹ Немецкое наименование Балтийского моря.

был освещён. Мы подошли совсем близко. Огромный пароход, как десятиэтажный дом, не меньше. Конечно, с конвоем. Но мы его вначале не увидели».

«Пойми, моя мама вовсе не собирается... И в конце концов, ты же был там не один».

«Я первым увидел корабль».

«Но ты же не виноват, что...»

«Да, да. Война, враг есть враг, всё ясно. И что творили немцы в России, можешь мне не объяснять. И, между прочим, то, что одно преступление нельзя оправдывать другим преступлением, это для меня тоже ясно».

«Что он говорит?» — спросила Аннелизе фон Ирш.

«Он рассказывает... как все это было».

«Догнали, шли параллельно. В каких-нибудь шести-семи кабельтовых... И то, что палубы переполнены народом, тоже видели, нельзя было не увидеть. Кто эти люди? Ясное дело — немцы, враги. Ну, и...».

«Ужасно, конечно, — сказала Соня Вицорек. — Но это можно понять».

«Может, и можно понять, не знаю. Победителей не судят, так ведь? — сказал Иванов. — А теперь представь себе: у нас боевое задание, выследить и уничтожить. А мы пожалели их и ушли. Что это значит? Невыполнение приказа, капитана под трибунал, и расстрел. И всех офицеров под трибунал».

«Что он говорит? Переведи».

«Сейчас, мамочка, сейчас...»

«Брось, — зло сказал Иванов и махнул рукой, — нечего переводить».

«Не моё дело вас осуждать, — сказала Аннелизе. — Но если бы вы знали, что там происходило... Все проходы, лестницы, всё забито, люди топчут детей, стариков... Меня втащили в лодку, ночь, снег, огромные волны, кругом крики тонущих, шлюпка переполнена, если бы вы только знали...»

«Знаю без вас», — сказал он.

## НЕ ВПОЛНЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Профессор Данцигер любил поговорить. (За что и пришлось заплатить.) Не на подмостках большой Коммунистической аудитории, где, сидя в шубе и фетровых ботах, прихлёбывая холодный чай, он скучно вещал в пространство, всегда начинал с одной и той же фразы: «На прошлой лекции мы рассмотрели вопрос о...» и заканчивал: «Но

к рассмотрению этого вопроса мы перейдём в следующий раз», — а здесь, на старом факультете, знакомом с далёких старорежимных времён, в комнате с грифельной доской, с облупленными столами, с подоконниками в глубоких проёмах, с видом на Манеж, перед избранным кружком учеников на знаменитом семинаре Данцигера по раннему немецкому романтизму.

Представьте себе это время, говорил Сергей Иванович Данцигер, и первые, вступительные фразы его рассказа напоминали речитатив перед оперной арией: представьте себе это короткое, неповторимое время. Разве только с Афинами пятого века можно сравнить скопление гениев на пяточке нескольких германских княжеств в первые десятилетия девятнадцатого века. Гёте выпускает первую часть «Фауста», «Избирательное сродство» и «Западно-восточный диван». Ещё живы Гердер и Шиллер. Гёльдерлину остаётся несколько светлых лет, он работает над «Эмпедоклом» и печатает последние стихотворения. Новалис дописывает первую часть «Генриха фон Офтердингена», Клейст создаёт «Пентезилею» и «Принца Гомбургского», выходят в свет «Эликсир дьявола», «Крошка Цахес» и «Серапионовы братья» Гофмана. Юный Гейне делает первые шаги в литературе... Все живут одновременно! И это ещё не всё, в музыке — это Бетховен. Это «Волшебный стрелок» Вебера и первые песни Шуберта. Это юная пора романтизма, небесно-голубого, как Голубой цветок Новалиса, цвета, ещё не ставшего багровым...

Профессор Данцигер говорил о Гейдельберге, Иене и Берлине, он оживал, молодец, розовел, не слышал звонка на перерыв, моргал, как филин, переводя от одного слушателя к другому загадочно-восторженный взгляд, и было ясно, что он видит не сидящих перед ним девиц, не Иру и не Марика Пожарского, а тех, давно ушедших, проживших короткую жизнь, писавших друг другу пространственные письма на языке, который мы хоть и понимаем, но который кажется нам невозможным, как невозможен больше этот восторг и пафос. Но профессору Данцигеру этот язык не казался смешным. Он и сам чуть ли не пел голосами этих сирен. Обратите внимание, говорил профессор Данцигер, что история, реальная история меньше всего интересовала этих людей, они хотели жить во всех временах, другими словами, в сверхистории: «Генрих фон Офтердинген» начинается с того, что часы бьют на стене в комнате, где лежит без сна юный Офтердинген, а между тем действие происходит в Средние века, когда никаких механических часов не существовало, — и это отнюдь не потому, что автор об этом не знает. Профессор Данцигер говорил о женщинах невозвратимой поры, без которых не было бы и этой поры, вокруг каждой вращалась вся эта компания поэтов и говорунов, словно хор планет вокруг

солнца, он рассказывал о Доротее, скандально прославленной своим возлюбленным, Фридрихом Шлегелем, в «Люцинде» (кстати, кто читал этот роман? Поднимите руку) и о своенравной Беттине, сестре Клеменса Brentано, которая однажды сцепилась в доме Гёте с подругой тайного советника, толстой Кристианой, о Каролине Шлегель, которая писала Августу: «Друг мой, ничто по-настоящему не существует, кроме творений искусства», и о другой Каролине, рослой и мучительно-робкой, неприступной и страстной, безответно влюблённой в профессора Крейцера и мечтавшей, переодевшись мужчиной, последовать за ним в Россию, — о бедной, непонятой Каролине фон Гюндероде, истерзанной противоречиями своей души, противоречиями эпохи, так что в конце концов она не увидела другого решения, как всадить себе ниже левой груди кинжал с чьим-то вырезанным на костяной ручке именем. Вы догадываетесь, чьё это было имя... А знаете ли вы, что начертано на её надгробном камне? О Земля, моя мать, и ты, Эфир, мой отец, и ты, мой брат, горный ручей, прощайте, я ухожу в другой мир.

Послушайте, друзья мои, говорил профессор Данцигер, вперяя взгляд то в одного, то в другого, послушайте, как описывает Беттина фон Арним свою подругу Каролину. По её словам, у Каро были тёмные волосы и серые глаза, она явилась на обед к епископу вместе с другими дамами приюта в чёрном орденском платье с белым воротничком и шлейфом и была похожа на призрачную красавицу баллад.

Он рассказывал о девочке Софи фон Кюн, в которую влюбился двадцатидвухлетний Фридрих Леопольд фон Гарденберг, тот, кто просил Августа Шлегеля опубликовать «Цветочную пыльцу» под псевдонимом Новалис. Но вправе ли мы поместить эту Зёфхен в один ряд с девушками и женщинами романтизма? — спросил профессор Данцигер и развёл руками. Мы знаем о ней слишком мало, вернее, мы знаем ту Софи, которую сотворил Новалис из двенадцатилетней, вероятно, ничем не замечательной барышни-подростка, круглолицей, толстенькой, с туповатым носиком, очень доброй, посылавшей ему записки с ужасными орфографическими ошибками. Нужно понять, воскликнул он, что означала встреча с Софи фон Кюн для человека, однажды написавшего: «Поцелуй — начало философии»! Но мы не знаем, чем стала бы эта Софи, если бы дожила хотя бы до совершеннолетия, что осталось бы от философской и мистической, истинно романтической любви, подарившей нам и «Гимны ночи», и «Офтердингена» (вы, конечно, прочли этот роман?), если бы не кончина невесты, которой едва исполнилось пятнадцать лет. Отчего угасла Софи фон Кюн? — профессор Данцигер горестно покачал головой, развёл руками. Гнойник в брюшной полости, три операции. Палочка Коха, ещё неизвестный, коварный возбудитель туберкулеза, тот, который спустя немного унёс и Новалиса.

Дребезжит звонок в коридоре. Сергей Иванович, кудрявый, ароматный, в чёрной шапочке, в бородке клинышком, в седых усах над могучим носом, чрезвычайно довольный собой, восседает на председательском стуле. Минута тишины, перламутровое небо осени за квадратными, врезанными в толщу стены окнами. Сейчас задвигаются стулья, сейчас девушки поднимутся, очнувшись от гипноза, оправляя платья.

## ТАНГО. МАРИК ПОЖАРСКИЙ ЗНАКОМИТСЯ С РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Для некоторых обыденных вещей трудно подобрать название. Холл? В русском языке середины века этого слова ещё не было. Вестибюль — тоже не годится, каждый филолог знает, что по смыслу корня это должно означать переднюю, где снимают верхнюю одежду.

В клубе никто не раздевался: холодно. Кучка девиц болтала в сторонке. Преподаватель опаздывал. Явился единственный молодой человек. Полчаса прошло; Марик Пожарский негодовал на себя за то, что затесался в бабью компанию; топтался в одиночестве; никто с ним не заговаривал, и сам он не проявлял желания участвовать в разговоре. Наконец, вошёл, тяжело переставляя ноги между двумя палками, с замученным видом, ибо он вёл занятия во многих местах, руководитель, следом, в шубе, некогда котиковой, с папкой под мышкой плелась аккомпаниаторша. Все гурьбой поднялись по ступеням парадной лестницы мимо мраморного бюста со стихами в честь восшествия на престол государыни императрицы Елисаветы Петровны. В пустом зале блестел паркет; стали в кружок.

Полы шубы свисали с круглого винтового стула, пожилая дама прошла по клавишам, разминая пальцы. Нога из-под ветхой юбки коснулась педали. «И-и... начали!»

Пары неуклюже поворачивались. Дребезжал рояль. Преподаватель дирижировал, сидя в кресле. На предыдущих занятиях мы познакомились с бальными танцами. Теперь — танго. *Мне зима всё кажется маем.* (Раз-два — три). *И-и в снегу я вижу цветы!* Танго (только, ради Бога, не говорите: тангó), танго, сказал преподаватель, это танец одновременно и церемонный, и сугубо интимный. Танго заключает в себе мир человеческих отношений. Танго — южноамериканский танец и танцует в очень строгом и остром ритме. Тáм! Татата-тáм. Та, т-тá! Шаг — и коротенькая пробежка. Длинный — и три коротких. И так далее, и так далее, и-и пробежка, и назад, и вперёд, и наклоняемся, и выпрямляемся! Смотреть на партнёршу, держать её, как держат вазу... Вокруг себя! Ба-альшой шаг. Три коротеньких. Стоп. Но так же не годится. Начинаем сначала — Розалия Юльевна, прошу. И-и!

Мне зима всё кажется маем.  
И в снегу я вижу цветы.  
Отчего, как в мае, сердце замирает?  
Знаю я, и знаешь ты.

Держите даму как полагается! Всё напрасно. Танец — диалог душ, любовная дуэль, в танце мужчина демонстрирует свою власть над женщиной, женщина незаметно властвует над мужчиной, — а где тут женщины, где тут мужчины? Девы топчутся, не попадают в такт. Преподаватель в кресле хлопает в ладоши. Скучная, как старая заводная кукла, Розалия Юльевна без конца повторяет одно и то же. *Мне весна всё кажется маем.* Какие слова! Серенада Солнечной долины. Упоительный фильм. И какой откровенный. Например, там есть одно место, когда она сидит в бочке с водой, ведь все знают, что на ней ничего нет. Впрочем, это, кажется, другой фильм. Девушка моей мечты. Эх, живут же люди.

Учитель хлопает в ладоши, перерыв. Бабуся добыла из недр шубы портсигар с махоркой, сладко закуривает.

В перерыве Марик Пожарский думает о том, что он никогда не научится танцевать, а ведь танцы — это самый удобный способ знакомиться с девушками. Странно, что он так неуклюж и непонятлив, разве у него нет чувства ритма? Все опять построились в кружок, преподаватель снова показывает руками, как и что. Поразительно в этих танцах то, что можно так, запросто обнять и, обнявшись, двигаться и кружиться, и при этом делать вид, что тебя не волнует магия прикосновений. Марик стоит, ожидая команды, его партнёрша, довольно толстая девушка с неподвижной физиономией, как будто околела в самообороне: он старается держать её крепче, как требует преподаватель, — главное, не уронить даму (да, попробуй-ка уронить эту колоду), — а она упирается ему в грудь, словно её хотят изнасиловать. Приготовились; и-и... И вдруг рядом с ними девица небольшого роста, по плечо Марику, остроглазая и остроносая, не поймёшь, красивая или уродливая. Бесцеремонно отодвинула его партнёршу, пристроила руку Марика себе на талию. Её рука у него на плече. И раз, два-два, три! Раз, два-два... И поехали. Совсем другое дело. И в снегу я вижу цветы!

«Ноги мне не отдави...» — пробормотала она. Зачем ей школа танцев, она, оказывается, всё прекрасно умеет.

Обоим жарко. Её пальто валяется на стульях вдоль стены, не пальто, а пальтецо. Следующее занятие, м-м... — говорит преподаватель и перелистывает толстую растрёпанную записную книжку. Листки падают на пол. Он придвигает их к себе палкой. Девочки прыгают по ступенькам. Выглянули на улицу; сумрачно, хотя время всего лишь начало четвёртого, моросит холодный, безнадёжный дождь.

С какого она факультета?

«Чего?»

У неё острый чёрный взгляд, непонятно, смотрит ли она на тебя или мимо тебя, худая, притягивающе-некрасивая, какой там факультет, она вовсе не из университета.

«Бр-р. Что будем делать?»

«Подождём».

«Он и через час не перестанет. Тебя как звать?.. А меня Клава. Проводишь меня, или как?»

Разумеется, после танцев кавалер обязан проводить даму.

«Неохота, что ль?» Она снова смотрит на него или мимо него.

«Нет, почему», — возразил Марик. Оказывается, эта Клава живёт где-то за Абельмановской заставой, у чёрта на рогах. Спустя час, продрогшие, они добегают до входа в женское общежитие, внутри на голых стенах бумажки, записки, выставка объявлений, посторонним вход строго воспрещается, не курить, окурки на пол не бросать, после десяти вход закрыт. Сторож-инвалид в валенках восседает за столиком, здорово, дядя Фома, — и, не мешкая, не оглядываясь, вверх по лестнице.

Комната вроде больничной палаты, в широком окне белёсый свет угасающего ноябрьского дня, койки с тумбочками, сумрачно, тепло, на стене гитара с голубой лентой, полукругом прикреплённые открытки, фотографии, плакаты вместо картин, хитро-весёлый солдат в пилотке набекрень, с вещмешком и автоматом, сворачивает самокрутку, за спиной дорожный столб: «На Берлин». На другом плакате родные дали, трактора: все, как один, подпишемся на заём. У окна за столом три девы и пожилая тётка играли в подкидного.

Марик стоял на пороге, чувствуя себя в высшей степени не в своей тарелке. Клава словно забыла о нём, сбросив на ходу пальтишко, уселась на кровать, платье между коленками.

«Чайку бы...»

«Сама и ставь».

«Ты чего, тёть Насть, со смены? Поесть чего-нибудь есть?»

«Ой, девоньки. Уж если везёт, так везёт».

«Зато в любви не везёт».

«С козырей пойти, что ли. С короля... А это кто ж будет?»

«Мой друг, ухажёр».

«Где эт-ты такого красивого подцепила».

«Красивого, да не про вас. — Подмигнув: — А, Маркуша?»

«Опять винни козыри. Ну что это такое».

«Коли везёт, так везёт».

«Зато в любви не везёт. Э-эх. — Потянувшись, Клаве: — Чего, уходить нам, что ли?»

«А мы занавеску повесим, да, Маркуш?.. Да сидите вы, так уж прямо... Ты, Марик, на них внимания не обращай».

«Может, с нами поделишься, хи-хи».

«Язык без костей. Что хочет, то лопочет. Он не из таких...»

«Да такой молоденький...»

«Он поэт. Ты ведь поэт? (Откуда она знает?) Чайку бы. Закоченела вся. А ты, тёть Настя, со смены, что ль?».

«Да вы раздевайтесь. Тут и сесть негде».

«Я постою, — сказал Марик. — Мне вообще-то пора».

«Посидите». Пожилая отправилась за табуреткой. Клава вошла в комнату с чайником. «Ты отвернись, ишь устался», — пробормотала она, отворила дверцу, стол поехал, поехал зеркало шифоньера. Клава оказалась в уютном халатике. Карты сгребли в сторону. Явилась на свет из тумбочки белая головка. Явился батон, — живут же люди, — невиданной красоты колбаса, банка со шпротами, лучок, посреди стола жестяной чайник и на большой тарелке нечто почти сказочное: лоснящееся, нарезанное ломтиками сало.

«Ну, девы, я вам скажу...»

«Чего, снова?..»

«Снова не снова, а в общем... Эх, жисть».

«Не горюй, обойдётся».

Разлили водку по чашкам.

«Уф-ф. Вот проклятая. Да ты чего сидишь, Маркуша! Сальцом закуси».

«Кушайте на здоровье, как вас по отчеству-то».

Сидели, вздыхали.

«Чего, девы, может, споём. Вот кто-то с горочки спустился. Наверно, милый мой идёт... Когда б имел золотые горы и реки полные вина!»

Все в отчаянии подхватили:

«Всё отдал бы за ласки, взоры!»

## ОБЛИК ЖЕНЩИНЫ

Гость старался не отставать от всех; тётя Настя вышла и не возвращалась; он пересел с табуретки на её стул. Клавдия пересела поближе. На столе воздвиглась вторая бутылка. Марик уже не стеснялся, поглощал всё подряд, мутно поглядывал на соседку. Поистине Клава обладала искусством как-то так устроить, чтобы казалось, что всему так и положено быть: всё было само собой разумеющимся, и знакомство, и этот пир, не надо было ничего объяснять, словно они давно знали друг друга; стало уютно, весело, он испытывал симпатию к этим

девушкам, не отличая одну от другой; и они отвечали ему дружеским снисхождением, грубоватым теплом простых женщин. Между тем что-то незаметно совершалось в оловянных сумерках, в сгустившемся воздухе, когда на улицах дрожат и вспыхивают дуговые фонари, блестят лужи и город зовёт и обещает головокружительное приключение. Если бы Марик Пожарский умел разбираться в самом себе, он осознал бы перемену; пока что он мог лишь её почувствовать. Марик научился видеть женщину — искусство не менее сложное, чем умение ходить. Чему он не научился, так это понимать женскую душу, но этот талант был просто ему не дан — и к лучшему: она осталась интригующей, чарующей загадкой.

Зато он прозрел. Близорукий надел очки: на месте облачного целого предстали подробности. Он видел причёску, одежду, поворот головы, тонкую, как у подростка шею, тонкие руки в широких завёрнутых рукавах домашнего халата, угадывал очертания бёдер и даже чувствовал их прикосновение к своему бедру; угадывал и то, другое, что было прикрыто одеждой. Клава была (как уже упоминалось) небольшого росточка, бледная, щуплая, с ямкой между ключицами, с крошечной грудью, с блестящими, как антрацит, неуловимо косящими глазами, отчего казалось, что она смотрит и на тебя, и не на тебя, и то, что она не была хороша собой, не портило Клаву, а наоборот, звало и обещало, и оттого вдруг стало так весело! Марик развалился на стуле, рубил кулаком, читал, завывая, стихи. Девы сидели молча, пригорюнившись.

Сперва предгрозовое напряженье,  
Листвы предчувственная дрожь.  
От немоты, от головокруженья,  
От белых молний невтерпёж.  
Потом лозняк, заломленный жестоко,  
Багровый свет то тут, то там,  
И шелест трав, как медный шелест тока,  
Летящего по проводам.

Марик читал стихи, где говорилось о дорогах и закатах, о лесах, о природе, которой не существовало в этом городе каменных дворов, подворотен, мусорных ящиков, трамвайных рельс, бульжника и брусчатки.

Ноябрь — и в эту пору года  
Почти весенняя погода!  
И пахнет тополиным цветом  
В лесу — совсем как перед летом.

Но что-то общее с весной  
Стряслось не с лесом, а со мной:  
Ударило хмельным и талым,  
Как веткой, по рукам усталым,  
Дохнуло тайною в лицо...

Он остановился. Девы ждали. «Забыл», — сказал Марик. Он задумался. Комната — тёмный аквариум, мерцающий зеленоватыми огнями за окном. Бледное лицо Клавы... Давно остыл чай. Марик читал...

Загорается солнце над стыком дорог,  
Никогда ты не ступишь на этот порог.  
Плещет платью твоё на холодном ветру,  
Плещет платью твоё на весеннем ветру,  
Обнажая изваянность ног.  
Уходи поскорей и меня не жалей,  
Мне не надо на память прощальных речей...<sup>1</sup>

## НЕЧТО НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ

К концу чтения оказалось, что они в комнате остались вдвоём. Пустые койки, плакаты, будильники на тумбочках — тусклый отблеск никеля и стекла. Клава вставала, садилась, не зажигала свет, поила крепким чаем.

«А они, — спросил Марик, — куда же они?..»

«Девчонки? Придут... Да, — проговорила она, кулачком подперев щеку, — здорово у тебя получается. Кто это, в платье? Небось, подружка твоя?»

Поэт подвигал бровями, глядел в пространство.

«Поссорились, что ль?.. А у тебя вообще-то кто-нибудь есть?»

Марик не то кивнул, не то помотал головой, и ничего не ответил. Она вздохнула, покосившись на будильник: «Мне скоро пора...»

«На фабрику?» — спросил он.

«Чего? Ну да, на фабрику».

Марик думал: никого нет, пора приступать. Обнять её, что ли. Оказалось, что и *это* как будто подразумевалось само собой; она сказала, усмехаясь:

«Посидели, выпили, время ещё есть. Пора в кроватьку, а?»

---

<sup>1</sup> Стихи Якова Серпина.

Марик несколько растерялся.

Она окинула его взглядом, отвела глаза.

«Это я так, шучу... — И продолжала, задумчиво глядя перед собой: — А я — что такого... я, может, и не против. Думаешь, я бы к тебе подошла, если бы ты мне не нравился...»

Марик прочистил горло. Можно сказать, мысленно засучил рукава. «Может, зажжём свет», — сказала Клава, вставая. Подошла к двери и щёлкнула выключателем. Брызнул свет над столом. Рюмки, чашки, тарелки с объедками. Она села рядом, зябко запахнула ворот халата на шее. «Тут такое дело. Мне сегодня нельзя».

«Почему?»

«Ну... войдёт кто-нибудь».

«А мы закрём дверь!» — сказал Марик.

«Всё равно нельзя. У меня краски идут».

Марик воззрился на неё.

«Ну, какие бывают у баб. — Вздохнув, оглядела стол. — Может, допьём?»

Она разлила сомнительный напиток по чашкам, вдумчиво выпила, и Марик, преодолевая отвращение, последовал её примеру.

«На-ка вот, закуси...»

«А ты?»

«Я не закусываю. Я, вообще-то, особо так не выпиваю. У меня папаня пил по-чёрному, сгорел от водки... Я ведь дальняя. Пермьячка, слышал про таких?»

«Коми?» — спросил он.

«Во, сразу видно образованного. Коми-пермяцкий округ, я ведь тоже грамотная. Семилетку окончила, надо куда-то дальше подаваться. Наши девчонки все разъехались, кто в Молотов, кто куда. А я в Москву на производство завербовалась. Сперва в Мытищах, потом ещё в одном месте. Теперь вот здесь...»

«Ну, и как?» — спросил Марик, чтобы что-нибудь сказать.

«Да никак. Мотаюсь по общежитиям».

Она остро взглянула на него, непонятно, в глаза или мимо.

«Я тебе неправду сказала. Насчёт кровей...»

«Они, наверно, сейчас придут».

«Кто, девчонки? Они у меня порядок знают. — Она добавила: — Ты не горюй».

«А я не горюю», — сказал Марик уныло.

«Ну, я в том смысле, что... — Вздохнула. — Хочешь меня поиметь, да?»

Её ладони коснулись халата, нащупали и приподняли то, что не могло быть ничем другим, как грудью.

«Тогда... — сказал он, запинаясь, — в чём же дело?»

«В чём дело... Да ни в чём. Постой, я ещё не досказала. Я тебе что хочу сказать. Ты пьяный, забудешь. И хорошо что забудешь. Ну, в общем, ни на какой фабрике я не работаю. Спасибо, добрые люди нашлись, не выгоняют. Конечно, за деньги. В Москве без денег ни шагу, а где их взять. За станком много-то не заработаешь. А я молодая, мне и того хочется, и того, и чтобы надеть что-нибудь приличное, и покушать. Я пирожные страсть как люблю. Трубочки с кремом: когда-нибудь пробовал?»

«До войны, наверно».

«Ерунда всё это. Ты меня не очень-то слушай, могу и сбрехнуть. Ну, в общем, — проговорила она, вертя в руках пустую чашку, — не хотела тебе говорить, уж больно ты...»

«Что я?»

«Беззащитный. Потом думаю, нехорошо обманывать. А там уж как получится. Ха-ха! — Она вдруг рассмеялась, встала из-за стола. — Друг ты мой любезный. Али не догадался?»

Она встала. Она открыла дверцу шкафа, вынимала и разглядывала платья на плечиках.

«Не догадался, — бормотала она, словно пела тихонько про себя, — не догадался... Да они тебе всё равно скажут. Или не придёшь больше?»

Натянула на руку шёлковый чулок, нет ли дырки.

«Уеду. Брошу всё и уеду. У меня сестра двоюродная в Молотове... Авось там не пропаду... Надоели вы мне все!»

«Кто надоел?»

«Все. Погуляю ещё немного, и... Ну чего смотришь, — сказала она грубо, — баб не видал, что ли... Мне переодеться надо. А вообще-то можешь смотреть, чего там. Смотреть-то нечего...»

Она стояла перед зеркальной створкой, вышла на середину комнаты, в проход между койками, покачиваясь на высоких каблуках.

С торжеством: «Ну, как?».

На ней было короткое цветастое платье с широкими накладными плечами, в ушах клипсы, губы в кроваво-красной помаде, короткая стрижка заколота сверху нелепой яркой прищепкой.

Вытащила откуда-то шубку не шубку, накидку не накидку, из рыжего меха.

«Ты вот что. Ты меня не провожай».

## ЗАБЫТЫЙ БРАТ, ИЛИ РАДОСТИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

*Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок, прокламировал Фёдор Владимирович Данцигер, озирая с крыльца убогую окрестность. Однако на скуку он не жаловался и вообще не имел оснований быть недовольным своей жизнью. Философскую базу возвращения на родину он построил, сражаясь за истину в рядах евразийства еще в двадцатые, еще в тридцатые годы, что же касается материальной базы, то на деньги, какие удалось скопить и привезти с собой, он отремонтировал избу, переложили печь, покрыли крышу железом, повесили новые наличники. Завязались знакомства, начальство не тревожило — получило указания, а главным образом оттого, что было польщено: осуществив старинный, славный завет опрощения, завет дворянства и русской интеллигенции, облачившись в толстовку, а то и просто в длинную, до колен, подпоясанную рубаху, в замызганных сапогах, в народном картузе, с сивой развевающейся бородой, Фёдор Владимирович стал легендарной личностью в округе. Кто он и откуда, толком никто не знал, известно было — большой человек, а в то же время не гордый, не зазнаётся, умеет уважить каждого. Разнёсся слух, что он здешнего корня, чуть ли не бывший помещик, но и это лишь прибавило славы Фёдору Владимировичу. Случалось, и районные чины заезжали к нему на поклон. И всё шло чинно, путём, не торопясь, как оно шло спокон веку в глубинной, невозмутимой, как морское дно, России.*

По утрам Фёдор Владимирович, голый до пояса, делал гимнастику в огороде, затем, пофыркав в сених перед рукомойником со студёной водой, утёршись грубым серым полотенцем, напяливая рубаху, входил в избу, крестился на образа в красном углу, отрывал листок календаря, подтягивал гири часов-ходиков и, пыхтя, сопя, протискивался за чисто выскобленный стол к самовару. Кто-то тем временем деликатно стучал в окошко. Марья Кондратьевна отмахивалась: «Небось подождёшь... успеется». Это ходил по улице вдоль домов колхозный бригадир, сзывал на работу. Она была женщина крепкая, степенная; где-то в городе проживали её взрослые дети, сама же она как бы остановилась между сорока и шестьдесятю годами — ни единого седого волоска, на щеках тёмный румянец. По субботам, в полутёмной, пахнущей сырым гнильём, мылом и берёзовым листом деревенской бане оба являли зрелище ветхозаветной супружеской пары: она невысокая, белокожая, крупнозаядая, с маленькой отвисшей грудью и крепкими плечами — и он, большой, пузатый,

поросший седым волосом, с крестиком между грудями, с остатками белых кудрей вокруг голого черепа, с фамильным мясистым носом и могучей шеей, всё ещё пышущий здоровьем и жизнелюбием. Баня в представлении Фёдора Владимировича была не просто гигиеническим мероприятием, баня — символ вечно обновляющегося бытия, залог здоровья мистического народного тела. В колхозе Фёдор Владимирович не числился, да и странно было бы гнать его на работу, Марья же Кондратьевна, убрав со стола, отправлялась часика на два, чтобы не придирались, зато усердно и долго копалась у себя в огороде, на четырёх сотках приусадебного участка.

Фёдор Владимирович из всей своей парижской библиотеки сохранил лишь горячо любимого им Пушкина, семейную Библию, «Pensées»<sup>1</sup> Паскаля, несколько разрозненных томов «Истории России» Сергея Соловьёва, «Das Antlitz Rußlands und das Gesicht der russischen Revolution»<sup>2</sup> с витиеватой дарственной надписью автора, Фёдора Августовича Степуна, старого друга и непримиримого оппонента, товарища по судьбам, по изгнанию... Да ещё томик возлюбленного Новалиса, да ещё Ницше, теперь совершенно ненужного. Вести книги с собой было небезопасно, — всё-таки, знаете ли, атеистическое государство, — он переправил их с помощью приятеля-дипломата, но для работы, в сущности, не требовалось ничего, необходимые цитаты он помнил наизусть.

Весь план книги был в голове. Фёдор Владимирович сидел за столом среди вороха листков, из которых немногие были исписаны сплошь его длинным наклонным почерком, а большей частью представляли собой короткие разрозненные заметки, иногда три-четыре строки: ключевые слова, догадки, озарения, ответы воображаемому оппоненту; были даже странные чертежи, кружки и символы, магический масонский треугольник и два треугольника один на другом — щит Давида. Наконец, были рисунки. Немало бы подивился биограф, поломал бы голову, увидев листок с искусно выполненной пером и цветными карандашами дородной обнажённой дамой; ко лбу, к локонам, глазам, соскам, к ямке пупка и широкому лону тянулись стрелки, поясняя значение этих ориентиров; то было символическое изображение праматери Евы — она же София, Вечная Женственность и Четвёртая ипостась; она же и православная Русь; таково было прозрение таинственной связи христианского тела России с космогоническим эросом.

---

<sup>1</sup> Мысли (фр.)

<sup>2</sup> Лик России и лицо русской революции (нем.)

Всё это, выношенное и обдуманное, теперь предстояло связать и свести воедино. Фёдор Владимирович Данцигер не был, конечно, столь наивен, чтобы рассчитывать на прижизненную публикацию своего труда. Но мало ли мы знаем творений русского гения, дождавшихся десятками лет своего часа и в конце концов дождавшихся. И кто знает, не накопит ли выдержанное вино полный букет, не окажется ли книга особенно созвучной подрастающему поколению, племени младому незнакомому. Но прежде следовало набросать предисловие. *Благосклонный читатель*, — писал Фёдор Владимирович, — *возможно, помнит то место в “Мёртвых Душах”, где помещик Тентетников раздумывает над сочинением, которое — дадим слово Гоголю — “долженствовало обнять Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить её будущее”.* Было бы самодеянным, в наш век специализации и неизбежно связанного с ней дробления знаний, предлагать нечто подобное, однако надеемся, что труд наш не обманет ожиданий читателя, который взывает единой универсальной истины, ищет обобщающего слова, жаждет синтеза...

В эту минуту (поглядывая в окошко между горшками цветов на деревенскую улицу со следами протарахтевшего трактора, на полуобвалившийся плетень, за которым, на той стороне, стоял никому не принадлежавший сарай и простиралась пустошь, некогда бывшая овощным полем) он подумал, что нигде, ни в постылой Франции, ни в околевшей под бомбами Германии не сумел бы исполнить свой долг мыслителя, патриота и христианина, — ни даже в российских столицах. Только здесь, на дне и в сердцевине. Здесь, Бог даст, он и окончит свои дни. Он вспомнил слова Гарденберга-Новалиса: человек есть источник аналогий во Вселенной. Вспомнил фразу Гёте о том, что, если следовать путём аналогий, то всё окажется в конечном счёте тождественным. И снова Новалис: когда физическое нисхождение по ступеням чувственного влечения достигает оргазма — совершается восхождение духа до экстаза. «Смысл и символика чувственности» — так должен был называться один из разделов имеющего явиться на свет всеобъемлющего труда.

Однажды он умрёт от разрыва сердца здесь, среди снегов. В жарко натопленной бане, на груди у Марьи Кондратьевны, в мягких, цепких объятиях родины, в смертной судороге, на высоте неслыханного наслаждения.

## НЕКТО ГЕННАДИЙ

Он писал дальше.

Эта страна всегда вызывала у иностранцев удивление, недоумение, восхищение, озабоченность, а подчас и ненависть, и вражду; никто, однако, не оставался равнодушным к этой стране; и постоянство этих эмоций, беспокойное внимание, которое она привлекала к себе на протяжении веков, сами по себе наводят на мысль, что в смене эпох, в череде невзгод и триумфов Россия хранила в себе нечто таинственное, незыблемое и непоколебимое, некое ядро, великую надысторическую идею. Настало время раскрыть эту идею.

Ближе к полудню Фёдор Владимирович покидал рабочий стол, запахивался в плащ, больше похожий на армяк, и во всякую погоду, в зной и дождь, с палкой в руке, в широкополой ветхой шляпе отправлялся бродить по некошеным лугам. Шагал по меже одичавшего поля, по шаткому мостику перебирался через тихую, тенистую речку, усаживался на старый пенёк где-нибудь на лесной опушке, у непрсыхающей колеи. Когда он возвращался, хозяйка уже хлопотала у плиты. По субботам в полукруглом чёрном зеве русской печи, в «печи огненной», как шутил Фёдор Владимирович, полыхали берёзовые поленья, Марья Кондратьевна, с раннего утра на ногах, в рукавицах, в оранжевом зареве, сгребала длинной кочергой алые угли, отставив кочергу, отвернув лицо от жара, вдвигала внутрь противни с бледно-желтыми лоснящимися пирогами. Уму непостижимо, откуда всё бралось в обезлюдевшей, Богом забытой деревне. В полдень, воротившись из бани, румяный и убоготворённый, философ восседал за столом.

Приходил Геша, Геннадий, кем-то приходившийся Марье Кондратьевне — брат не брат, седьмая вода на киселе; «повадился», как она говорила; но Фёдор Владимирович был ему рад, охотно беседовал, больше говорил сам. Хозяйка ставила на стол блюдо с оранжевыми глыбами пирога с капустой, с печёнкой, с грибами, являлся на Божий свет пузатый графинчик, зелёный лучок, хлеб из сельпо, так называемый серый, нарезанный крупными ломтями; наконец, несомая обеими руками в чугунной сковороде, шипящая и журчащая яичница с салом. Опять же загадка: ни разу в далеких своих прогулках, проходя мимо человеческого жилья, Фёдор Владимирович Данцигер не слышал ни бляенья, ни хрюканья; откуда этикие яства?

Как видно, любознательный Геннадий питал особенную симпатию к Фёдору Владимировичу, тут начинались расспросы о Париже (тема, никогда и ни с кем не обсуждавшаяся), о француженках и

французах, которых Геннадий называл «сифилистиками» (философ пожимал плечами), разглядывание книжек, фотографий, следовали подробные объяснения, что и как. Тут подвыпивший Фёдор Владимирович ощущал себя в двойной роли неоплатного должника перед народом и наставника нищих духом. Полный вдохновения, цитировал Тютчева. *Эти бедные селенья. Край родной благословенья.* Сам Христос посетил эту землю. Так оно и шло; потом вдруг этот Геннадий пропал, больше не появлялся, а немного спустя, в одно тёплое осеннее утро, как раз когда Фёдор Владимирович в шляпе и армяке собрался на прогулку, послышалось стрекотанье мотоцикла. Человек в шлеме и крагах остановил свой экипаж, пригласил сесть в коляску. Фёдора Владимировича Данцигера вызывали в районное отделение милиции. Отделение милиции, зачем? «А насчёт прописки». — «Какая прописка? Меня в сельсовете заверили...» — «То сельсовет, а то район. Да вы не беспокойтесь, сегодня же и вернёмся». Он не вернулся ни сегодня, ни на другой день, книги его забрали, бумаги сожгли, Кондратьевне сообщили, что никто у неё не квартировал. Вообще никакого Фёдора Владимировича, как ей объяснили, никогда в природе не существовало.

## ТОВАРИЩ ДАНЦИГЕР

Где причина, где следствие? Мы становимся жертвой дурной игры слов. Ибо следствие, если и происходило, то не было следствием, какое же это следствие, если всё решено заранее — задолго, может быть, до ареста. Причина же, если считать причиной негодяя Геннадия, тоже, если вдуматься, не была причиной; истинной причиной был сам философ, а из неё уже вытекал Геннадий, или вообще неважно кто. Приходится, стало быть, пересмотреть правомерность этих понятий, — а лучше сказать, приходится отказаться от причинно-следственного образа мыслей.

Заблуждением, пережитком этого образа мыслей было бы думать, что крушение старшего брата стало причиной неприятностей для младшего, и таким же заблуждением будет обратный вывод — что гибель Фёдора Владимировича была следствием крушения Сергея Ивановича. Ибо на самом деле судьба Данцигера-младшего — или, как он теперь именовался, «товарища Данцигера» — невидимо и неслышно, как червь в яблоке, зрела в нем самом, дожидаясь своего часа, и никто этот час не мог предсказать.

Таинственна, причудлива судьба слов. Профессор Данцигер с удовольствием побеседовал бы на эту тему. Старинное слово, пред-

положительно тюркского корня, завалившееся на антресолях языка, зацвело новой жизнью после революции, *наше слово гордое — товарищ*; но как-то незаметно это цветение стало издавать недобрый запах; всё сильнее от него тянуло покойницей. И вот, наконец, оно съехало в разряд вокабул, которыми лучше не пользоваться. *Товарищ Данцигер, некоторые товарищи...* — тут слышалось нечто отнюдь не товарищеское, несло чем-то другим, и те, к кому с этим словом обращались, чуяли в нём недобрый знак. Заседание, на котором присутствовал только один беспартийный товарищ, увы, это был он сам, открылось кратким вступительным словом секретаря комитета. Слепой гипсовый лоб в углу на тумбе, вода в графине, портрет Вождя на стене — все как положено; и Сергей Иванович в качестве лица всё ещё уважаемого помещался тут же за председательским столом, с торжественно-насупленным видом, как на рыбалке или как за красным столом президиума, в предвкушении своей миссии, чтобы подняться и объявить о том, что в президиум поступило предложение избрать почётный президиум во главе с... — и шквал рукоплесканий. *Разрешите считать ваши аплодисменты знаком согласия.* И снова овации. Но сейчас никакого почётного президиума избирать не предполагалось, и неясно было, для чего понадобилось присутствие профессора Данцигера.

Секретарь партийного комитета выступил в свете недавних решений, указал на необходимость борьбы с проявлениями низкопоклонства перед Западом, попытками принизить всемирно-историческое значение великой русской литературы. Пока всё шло на верхних регистрах общих фраз, можно было предположить, что заседание созвано с формальной целью откликнуться на историческое постановление. Постепенно он подъехал к главному. Всё ещё не говорилось, в чём именно состоит это главное, речь напоминала игру в «холодно» и «горячо», и слушатели угадывали постепенное повышение температуры. Ага... вот в чём дело. Вопрос стоит, сказал секретарь, о ненормальной обстановке, сложившейся на кафедре западной литературы. Кто хочет высказаться?

De te fabula narratur<sup>1</sup>, сказал себе профессор Данцигер, при этом он моргал, как филин, и поглядывал на сидящих. Можно ли было этот «вопрос», вообще *всё это* считать неожиданностью? Едва ли. Верный все той же, изжившей себя традиции каузального мышления, он и теперь подозревал за кулисами спектакля интриги завистников. Так оно и есть, — Сергей Иванович почувствовал странное удовлетворение, — парторг обратил выжидательный взор на сидев-

---

<sup>1</sup> О тебе сказка сказывается (лат.).

шего в первом в ряду стульев аспиранта N, тот поспешно поднялся, начал было говорить, но секретарь прервал его, мягко сказав: «Прошу лицом к товарищам», и повернул жестом к присутствующим. Аспирант, личность малоинтересная, не пользовался симпатиями заведующего кафедрой, так что налицо был личный момент. Присутствующие так и подумали. Аспирант был уже не молод, лысоват, изглодан жизнью; приехал из Тьмутаракани, проживал в общежитии с женой и ребёнком, мотался в поисках молока и выстаивал очереди в детской поликлинике, — а тут розовые щечки, холеная бородка, дворянский прононс, тут подчеркнутая учтивость, на самом деле издевательская, хуже всякого хамства; чему же удивляться? Аспирант успел пробыть в аспирантуре положенный срок без результата, получил продление срока, сменил тему диссертации, снова ничего не сделано, и ведь не скажешь, что лентяй, просто ничего не получалось. Становилось ясно, что держать его на кафедре дальше невозможно, в неких инстанциях возникла заминка, невидимые руки, державшие его, разошлись как бы в недоумении, встал вопрос о направлении по путёвке партии в колхоз, председателем. Но тут представился последний шанс. Аспирант N прочистил горло, заглянул в заготовленную бумажку. Заведующий кафедрой Сергей Иванович с тусклым любопытством, открыв рот и как-то особенно часто хлопая глазами, взирал на стоявшего к нему спиной аспиранта, который нёс околесицу, мямлил невразумительное, однако постепенно приободрился, хотя всё ещё обращался неизвестно к кому. Сергей Иванович слегка поднял брови, уловив, наконец, то, чего следовало ожидать, чего ждали и другие, а именно, что речь шла конкретно о нём; аспирант называл его «товарищ Данцигер», а о себе говорил: «мы, молодые учёные», и этим, собственно, всё уже было сказано и доказано; всё, что следовало за этим, — о горячей благодарности парткому, который вовремя обратил внимание, о том, что старшие товарищи поправят выступающего, если он в чем-то неправ, но что совесть коммуниста требует от него сказать правду, — было ритуальным украшением, необходимым гарниром к товарищу Данцигеру. Великое достоинство ритуала состоит в том, что он освобождает участников от сомнений; так игра на сцене не возлагает на актёров ответственности за содержание пьесы.

Однако... однако хорошая пьеса всегда включает в себе элемент неожиданности. Покончив с аспирантом, секретарь парткома оглядел собравшихся, очевидно, рассчитывая на других добровольцев. Собственно, второй доброволец был предусмотрен. Предполагалось, по сценарию, что выступит с критикой своего шефа доцент Капустин. Но он вдруг заболел.

Поднял руку член бюро Юрий Иванов. Секретарь парткома был приятно удивлён, кивнул, показывая, что одобряет инициативу. Иванов неуклюже поднялся с места, снял пенсне, надел, оглядел присутствующих. И произнёс что-то несуразное. Секретарь не верил своим ушам. И никто не верил. Иванов сказал, что не понимает, в чём дело.

Что значит не понимает, сухо спросил секретарь.

Иванов сказал, что борьба с низкопоклонством нужна и необходима, всем известно значение великой русской литературы. Тут ожидалось, что он добавит: и самой передовой в мире советской литературы. Он не добавил, видимо, забыл. Мировое значение, повторил Иванов. Но ведь кафедра-то — не русской, а западной, романо-германской литературы, почему же профессор Сергей Иванович, «которого мы все знаем...» Он хотел продолжать, парторг смотрел на него длинным парализующим взглядом. «Конечно, знаем!» — веско сказал парторг. «Я как коммунист...» — начал было снова Иванов, но секретарь комитета больше на него не смотрел. Увидев, что Иванов всё ещё стоит, он сказал: «Вы можете садиться». Иванов впился в него взглядом, видимо, сдерживая нахлынувшую ярость, секретарь вздохнул и оглядел стены комнаты поверх голов. Не хочет ли ещё кто-нибудь из товарищей высказаться? Никто высказаться не пожелал. После скучного выступления аспиранта N эпизод с Ивановым развлек присутствующих. Все молчали. Сам Сергей Иванович безмолвно глядел на своего студента, слегка подняв седые брови, моргал глазами филина, непонятно было (и сам не мог понять), одобрял он или осуждал неожиданный демарш. Потом опустил голову, чмокнул губами, как бы сказав: «Так!», сокрушённо кивнул и неслышно побарабанил пальцами по столу.

Предполагалось, что наступила его очередь. Секретарь повернётся к Сергею Ивановичу (тот всё ещё пребывал в задумчивости) и произнесёт: «Может быть, профессор Данцигер сам объяснит...» И все как будто уже услышали его покаянное слово. Вот он поднимается... то есть еще не встал, но сейчас поднимется и скажет, что с большим вниманием выслушал критику товарищей и коллег. Строго, с принципиальных позиций, наедине со своей совестью проанализировал свои ошибки. Сейчас... да, сейчас парторг предоставит слово для выступления товарищу Сергею Ивановичу Данцигеру, профессор Данцигер встанет и негромко, с достоинством прочистит голос. И, Бог даст, всё обойдётся. Профессор, однако, не встал и не просил слова. Вообще это был день сюрпризов. Секретарь, выдержав паузу, траурным голосом сказал, что обязан довести до сведения товарищей — в партком поступили сведения, проливающие новый свет.

Как теперь стало известно, профессор Данцигер долгие годы скрывал, что у него имеется брат белоэмигрант, окопавшийся в Париже, активный противник народной власти. Некоторое время тому назад он заявил о своём якобы раскаянии. Советское правительство разрешило ему вернуться на родину. Как теперь стало известно, этот человек, по происхождению немец, с которым профессор Данцигер все эти годы находился в постоянном контакте, разоблачён как агент одной из иностранных разведок. Профессор Данцигер скрыл и это. Думается, что необходимо — как минимум, добавил секретарь, — поставить вопрос об освобождении Данцигера от обязанностей заведующего кафедрой и его дальнейшем пребывании в университете.

## О ЧЁМ ОН ДУМАЛ. О ЧЁМ ВООБЩЕ ДУМАЮТ ЛЮДИ

Для Софьи Яковлевны это будет страшный удар, ведь она ни о чём не подозревает. Надо было предупредить. Но о чём, разве я ждал чего-либо подобного? — думал профессор Данцигер.

Ждал, конечно. К этому шло... Вопрос в том, следствие ли это общей обстановки. Или просто махинации. По-видимому, и то, и другое. Интриги, зависть, закулисная возня — всё это было и будет всегда, а уж в академическом мире... — я-то этот мир хорошо знаю. Но обстановка поощряет. Обстановка вдохновляет вот таких ничтожеств, — он взглянул на аспиранта. Боже мой, разве я ему помеха? Наоборот, и в этом всё дело. Я для него спасательный круг. На мне он может выплыть, во всяком случае продержаться на плаву.

Профессор Данцигер прислушивался к тому, что говорили выступавшие, сначала секретарь, потом этот жалкий, внушающий сострадание, которого навязали ему в аспиранты, — прислушивался, почти не слушая, улавливая ключевые слова, как слепой идёт дорогой своих дум и забот, движениями посоха контролируя ситуацию. Профессору Данцигеру стало скучно: если уж на то пошло, он всё знал заранее. Хоть и надеялся до последней минуты, что «это» его минует. Что — «это»?

Классовая ненависть, ответил он сам себе, *c'est le mot*<sup>1</sup>. Карлхен был прав. (Так он про себя называл некоего обобщённого Маркса.) Классовая ненависть, размышлял профессор Данцигер, есть необходимое следствие классовой солидарности, ведь в конце концов секретарь и этот аспирант — одного поля ягоды. Ненависть варваров к эллину, к касталийцу.

---

<sup>1</sup> Вот именно (*фр.*).

Нет, мы не зря (кто это — мы? Мы, старая профессура, те, кто остался. Кто хотел искренне сотрудничать с народной властью, да, народной, а вы как думали?), не зря признали правоту марксизма, ни в одной стране жизнь не давала столько доказательств этой правоты, как у нас. Спуститесь на землю! Жизнь проще, грубее, прямолинейней, чем вы думали. Пока вы там плавали в мистических облаках, как брат Фёдор. Когда же это я получил от Феди последний раз восточку, думал Сергей Иванович. Он прислал её с оказией...

Ах, какая неосторожность. Удивительно, но ему удалось поселиться недалеко от бывшего имения мамы. Мы оба молчаливо согласились, что нет необходимости поддерживать регулярную связь — по крайней мере, пока я заведу кафедру.

Монография почти готова, на русском языке ещё не было столь глубокой, столь обстоятельной работы об иенском кружке, — такое множество новых наблюдений, фактов, приведённых в связь и освещённых по-новому, такая точность и яркость портретов — поистине коронный труд его жизни. Да, уж это точно: не было и не предвидится, — он вздохнул, кивая своим мыслям. Разве что в Ленинграде Берковский. Но тоже, знаете ли. Новое поколение. Куда им, дай Бог, чтобы освоили азы. Так что придётся пока попридержаться. Пока вся эта муть оседет...

На докладе в Академии Сергею Ивановичу ставили в вину недостаток идеологического обоснования. И одновременно — как это ни комично — чрезмерную идеологизацию. Кто-то договорился до обвинений в вульгарном социологизме. Но, помилуйте. Развенчание шаблонов, пресловутой *poésie de la nuit et du tombeau*<sup>1</sup>, а заодно и развенчание романтических представлений о самих романтиках — см., например, мой комментарий к Песне мёртвых у Новалиса — всё основано на серьёзном анализе, всё это, господа, наука, отнюдь не идеология. Во всяком случае, не та. От которой, кстати сказать (*Klammer auf, Klammer zu*)<sup>2</sup>, вообще мало что осталось. Эта идеология попросту свелась к цитатам. Вам нужны цитаты? Ради Бога! Разве я не сылаюсь в предисловии на... В сущности, война её добила. Да оно и понятно: старая легитимация обветшала, нужна новая. Да, подумал профессор Данцигер, надо было предупредить Соню, что этим пахнет, подготовить её... А может быть, надо было вообще уехать, тогда же, сразу после того, как выслали Федю. Тогда ещё было возможно. Нет, это смешно, да и что бы я стал там делать. То же, что другие. Нет, это смешно. Другое дело, нужна ли вообще какая бы то ни было

---

<sup>1</sup> Поэзии ночи и могилы (*фр.*).

<sup>2</sup> Открыть и закрыть скобки (*нем.*).

идеология историку, в данном случае историку литературы. Не ведёт ли она к злоупотреблению историей. Скажем прямо, еретический вопрос; и тем не менее. Ага, снова о космополитизме. Намёк на мою фамилию? Господи, какой я немец? И что они знают о космополитизме — они извратили это слово. В устах Гёте оно звучало иначе.

Что и говорить, приятная неожиданность: ведь все думали, что этот фронтовик присоединится. Господи, неужели он не понимает. Бедный молодой человек. Теперь у него тоже будут неприятности. Ну-с, а теперь следующий номер нашей программы — покаянное слово г-на профессора. Между прочим, если вдуматься, то ведь они правы. На свой лад, конечно. Варвары правы по-своему. Прежняя легитимация себя изжила, нужна новая. И она может быть только национальной. Даже, если хотите, националистической. Пусть это делается топорно, но суть... Боже мой, разве я не доказал, что люблю Россию, когда отказался уйти в эмиграцию.

А-а, вот оно что. Только, ради Бога, сохранить спокойствие. Встать и сказать... что сказать? Он мне и слова-то не даёт. Всё равно как если бы сказали — у тебя неоперабельный рак. Даже ещё хуже. Бедная Соня. Они таки добрались до Фёдора. Чёрт его дёрнул вернуться. Что он, не понимал, какая это страна; что она провалилась, вслед за Германией, в какую-то другую историю — древнюю, среднюю или, может быть, ультрасовременную? Агент... нет, как вам это нравится? Это Федя-то, думал (или мог думать) профессор и без пяти минут академик Сергей Иванович Данцигер. Думал — или мог думать — и вечером, сидя перед молчащей Софьей Яковлевной, и на следующий, и через неделю, когда уже не оставалось сомнений, что ночью позвонят в дверь и скажут: «Проверка паспортов». Обычная формула. И предъявят ордер на арест.

## И НАШИХ ПЕСЕН ЗВОНКИЕ СЛОВА

«Много чего было. Я, когда в Мытищах жила, совсем замаялась. Меня на шёлкопрядильную фабрику определили, в ночную смену, а туда ездить надо — полтора часа туда, полтора обратно. Ну, думаю, я тут помру, куда деваться? Представь, нашла одно место. Оформили мне увольнение, по болезни. Давай выпьем».

«Короче говоря, к людям пошла работать, к одному начальнику. Квартира, я тебе скажу, прямо дворец. Полы паркетные, полотёр приходит. Мебель вся из Германии. Три комнаты: в одной они двое, в другой парень ихний, а третья гостиная. Да ещё кладовка, я там и спала. Всё делала: и готовила, и убирала, и за бабкой ухаживала. На-

обещали мне три короба, прописку постоянную, то, сё. А зарплату не платят. Два месяца прошло, я спрашиваю, как, мол, насчёт денег. Ах, ах, извиняемся, много расходов, вот муж получит, отдадим. Ладно, жду, ещё неделя проходит, другая, бабка мне говорит, а была как раз суббота: мы тебя отпускаем сегодня пораньше. С зарплатой задержались, ты уж прости, вот тебе за два месяца. Я говорю: спасибо. Приезжаю, мне девчонки говорят: а ты новость знаешь? Завтра реформа. Только это пока что секрет. Какая реформа? Денежная, один к десяти. И верно: наутро объявляют. А у меня получка на руках: что успеешь, покупай; а чего покупать, когда ничего нет. Или меняй, получишь с гулькин нос».

«В понедельник прихожу к ним, так, мол, и так, что же вы мне деньги выдали перед самой реформой. Ведь знали, что будет реформа. Нет, говорят, — нагло так, прямо в глаза, — ничего мы не знали. Ну хорошо, думаю, вы от меня так просто не отделаетесь. Говорю хозяйке: у меня к вам разговор. Какой разговор? Женский, говорю».

«Вышли в другую комнату, я говорю: так и так, давно собиралась вам сказать, я в положении. Поздравляю, говорит, а кто же счастливый отец? Я, конечно, мнусь, вроде бы стесняюсь сказать. Сынок ваш, говорю. Да как это, да не может быть, да ведь он несовершеннолетний. Какой, говорю, несовершеннолетний; он мне проходу не давал, а я девушка слабая. А ты уверена? Тебе надо сходить к врачу. Была, говорю, и справка есть, десять недель. Может, аборт сделать? Мы поможем. Нет уж, говорю, аборт делать не буду. У нас, говорю, за аборты сажают. И вообще: первую беременность прерывать нельзя, ещё бесплодной останусь. Да этого не может быть, да это не он! А вы, говорю, своо сыночка ещё не знаете. Хотите, позовите его, только, говорю, он все будет отрицать. Кто же это станет признаваться. Ну, вот видишь, — она мне говорит, — нет у тебя никаких доказательств. Есть, говорю. Мне врач сказал, можно сделать анализ на отцовство. В общем, наговорила ей. Заплатили мне отступные, новыми деньгами, рады были от меня отделаться».

«Давай за именинницу. Я ведь именинница сегодня. Угадай, сколько мне лет, ни за что не угадаешь».

«А то раз чуть замуж не вышла. Это уж потом, когда сюда переехала. Смех один, глупая была. Подкатился ко мне однажды такой из себя видный, в шляпе, сразу видно иностранец. По-русски говорит нормально. Я давно вас заметил, только не решался подойти. А чего, говорю, ко мне все подходят. И так нагло ему: хотите, дескать, получить удовольствие? Он на меня смотрит и говорит: не надо. Не надо так говорить. Я по вас вижу, вы не такая. А какая же? — спрашиваю Я, говорит, давно за вами наблюдаю. Спасибо, говорю, вы что, из

милиции? Да нет, как вы могли подумать. Я вообще-то приезжий, из-за границы. А по-русски так хорошо болтаете. А у меня, говорит, бабушка была русская, она меня вырастила».

«В общем, разговорились. Он мне так понравился. Даже не потому, что он такой красивый. Уж очень со мной хорошо разговаривает, уважительно. Глупая была. В общем, такая история, хочешь, расскажу. Ну давай, Маркуша, выпьем. Вон салцом заешь».

«Он мне и говорит: хочу продолжить с вами знакомство. Только мне не хочется, чтобы вы тут ходили. Ну, думаю, ёлки-палки, послал Бог ухажёра. А я, говорю, девушка свободная, хочу, гуляю, никто мне не запретит. Но ведь запрещено, говорит. Ага, так ты всё-таки мильтон, так бы и сказал. Нагло так говорю ему. Он молчит. И голову опустил. Потом говорит: перестаньте паясничать. У вас, наверно, есть покровитель. Есть или нет, говорю, это не твоё дело. Хочешь со мной идти, так пошли. За раз, говорю, столько-то, а если подольше, то столько. А нет, так и нечего лясы точить, вали откуда пришёл».

«Прямо так ему и говорю. Он посмотрел на меня, ничего не ответил. Повернулся и пошёл. И так мне вдруг стыдно стало, он-то ведь со мной по-хорошему. Сама не знаю, что делать, догнать, что ли. Вижу, он свернул к этому, ну, который там стоит. К памятнику. Догнала; говорю ему, вы меня простите, я необразованная, жизнь, говорю, такая грубая, кругом одно хамло. Это верно, говорит, жизнь у вас нелёгкая. А вы откуда, вообще-то?»

«Ну, я ему рассказала, так, мол, и так, приехала с Урала. А как вас зовут? Клава, говорю, Клавдия; а вас? Знаете, говорит, здесь холодно, — а мы сидим на скамейке, — вы легко одеты. Может, зайдём ко мне, я тут рядом живу. Я смеюсь, ну вот, говорю, чего ж вы сразу не сказали».

«Тебе не скучно? Хочешь, потанцуем, как тогда. Ты у меня сегодня единственный гость. Я девам так и сказала: мы лучше с вами другой раз отпразднуем, а сегодня вечером я хочу быть вдвоём с Маркушей».

«Короче говоря, он меня тащит прямо в “Метропóль”. Нет, говорю, вы уж не обижайтесь, нам туда ходить не положено. Я говорю, меня туда всё равно не пустят. По мне видно, говорю, кто я такая. Нет, ты не такая. Давай, если не возражаешь, будем на ты. Вошли мы, а там внутри так шикарно. Швейцар стоит, прямо генерал. Мой Гарри — его Гарри звали, а фамилию я так и не узнала — этому швейцару что-то сказал, тот на меня глазом зырк и ни с места, стоит, весь в позолоте, в фуражке, штаны с лампасами. В общем, поехали на лифте, зеркала, сама себя не узнаю. Он, оказывается, живёт там в номере».

«Я спрашиваю, мне сразу раздеваться или как. Так нет, он на меня серьёзно так посмотрел и говорит: я хочу, чтобы ты поняла. У меня к тебе совсем другое отношение. Мы поужинаем, говорит, а потом я тебя отвезу домой, ты где живёшь? В общежитии. Ну вот, отвезу тебя в общежитие».

«Вижу, он что-то мнётся. А тут вдруг стучат в дверь. Я перепугалась. Не беспокойся, говорит, лучше вот пододвинь стол сюда к дивану. Сам подходит к двери, а там официант с подносом. Гарри ему чаевые в зубы, то есть я хочу сказать — в карман, такой кармашек на груди, специально для этого, взял у него поднос, спасибо, говорит, мы сами управимся. Мне говорит: накрывай на стол, будь хозяйкой. Да, — я что хотела сказать. Я там что-то делаю, расставляю тарелки, а он ходит взад-вперёд. А у него там вторая комната, спальня. И дверь открыта. Кровать, ну просто огромная, не то что вдвоём — впятером можно спать. Он всё ходит. Потом подошёл ко мне и говорит: надо положить справа, а вилку слева. И салфетку не просто так, а свернуть, и стоймя на тарелку».

«Вон там, говорит, цветы, поставь вазу на стол, посередине. Я, говорит, Клавдия, понимаю, ты сегодня осталась без заработка. Так вот я тебя прошу, не в службу, а в дружбу, возьми у меня, и суёт мне деньги. А вот — я ему говорю — заработаю, ты мне и дашь; сама смеюсь. И на кровать глазами показываю. Да, говорит, заработаю. И головой кивает. Нет уж, не будем. Не хочу, чтобы ты меня своим клиентом считала».

«Ну, в общем, что тебе сказать. Поужинали мы, пили, уж не знаю какие вина. Я даже захмелела. Он ни в одном глазу. И всё время серьёзный. А я, как дура, всю дорогу хохочу. Так мне стало с ним вдруг хорошо. Вот как с тобой. Только я так и не поняла, кем он работает. Вообще — кто он такой. Вроде бы и русский, и не русский. Может, шпион. Говорю ему: ты что, шпион? А сама думаю: да какое мне дело. Сидим мы так, время полночь, нет, думаю, нехорошо будет так просто смотреться. В общем, снимаю с себя тряпки потихонечку. И, представь, мне даже самой интересно. Уж очень он мне понравился. Совсем почти осталась без ничего. Он на меня смотрит, руки сложил. Я к нему подхожу, галстук развязала, галстук на нём шикарный, сорочку растёгиваю, он всё сидит. Ну что, говорю, милый, так уж, говорю, положено. Целую его. Только, говорю, не думай, что это за деньги».

«Он говорит, я так не думаю. Только знаешь, Клава, лучше мы не будем. Я вижу, какая ты красивая, всё у тебя замечательно, так и сказал: замечательно. Но лучше мы сегодня не будем. Ты, говорит, не обижайся, прими душ, придёшь в себя, я тебя отвезу».

«Я ещё подумала, у него, наверно, что-нибудь не того; так ты не стесняйся, говорю, милый, я тебе помогу. Он усмехнулся и говорит: ты меня неправильно поняла. Не знаю, конечно, но женщины на меня не обижаются. Давай, Клава, — и повёл меня в ванную, — прими душ, а хочешь, полежи в воде, вот тут полотенце, простыня. Лежу я, как королева».

«Он позвонил, — там у него в номере и телефон, — вызвали такси, мы с ним сели и поехали. Он всю дорогу молчал. Я говорю: пусть остановится тут на углу, не хочу, чтобы ты видел, где я живу. В общем, стали мы встречаться. Я, конечно, с ним сошлась. Гулять перестала. Он мне подарков разных надарил. Думаю: а что же дальше? Бросит меня, наверно. И точно, однажды он мне говорит, у меня к тебе разговор».

«Я должен уехать. У меня были дела, теперь срок вышел, пора домой. А я ведь такая была дура, ничего не знала, никогда не спрашивала. Раз он сам не рассказывает. А тут не выдержала и спрашиваю, где же ты живёшь. Как где, говорит, в советской зоне. Что это за зона такая? А это, говорит, наша социалистическая Германия, неужели не слыхала. Я говорю, откуда мне знать, я тёмная. Он смеётся. Потом говорит: у меня к тебе, Клава, есть предложение. Поедем со мной. Как это, с тобой; да кто ж меня пустит. А ты, говорит, не беспокойся. Я всё обдумал, у меня большие связи, поедешь в гости как моя родственница, в общем, наговорил мне. Я говорю: у тебя там небось семья. Семья, да, — мать, сёстры. С женой я в разводе. Поживёшь у нас, понравится, мы с тобой поженимся. А не понравится, вернёшься».

«Я целую ночь не спала. Шутка сказать. Утром встала, перед зеркалом стою и думаю: куда ты такая мымра поедешь, что он в тебе нашёл? Собрала кой-что, девчонкам говорю, я, может, не вернусь. А он меня предупредил, чтобы я никому ни слова. И я им ничего не рассказывала, говорю только — мне надо отлучиться. Может, на время, может, вернусь; а может, и насовсем; будущее, мол, покажет. Приезжаю на вокзал».

«А там на эти перроны, откуда поезда за границу уходят, туда не пускают, всё загорожено. Мы так с Гарри договорились: я буду в зале, возле Сталина. Стою, жду».

«Знаешь что. Не хочу я больше рассказывать. Что я всё болтаю. Соловья баснями не кормят. Лучше с тобой потанцуем, как тогда, ты ведь научился, да? А чего там учиться-то. Я вот и патефон принесла. Сейчас поставлю».

*Люблю, друзья, я Ленинские горы. Там хорошо встречать рас-  
свет вдвоём!*

«Ну чего рассказывать. Жду; целый час прождала. Потом думаю, дай-ка я всё-таки расписание погляжу. Нашла расписание. Вижу: Берлин. Отправление девять сорок пять. А сейчас уже одиннадцать. Ну, и пошла себе назад в общежитие. Вот так, друг любезный. Пошла назад не солоно хлебавши. Иду, слёзы утираю. Эх, думаю... Да я его не виню. Сама виновата. И чего это я размечталась?»

*Мы вспомним наши годы молодые и наших песен звонкие слова.*

«Да что это за песня, ни фокстрот, ни танго! Постой, я другую пластинку найду. Маркуша... Дай-ка я сама. Сама всё... Посмотрю на тебя, какой ты есть. Чего это ты стесняешься, как девочка. А ты что думал, даром я тебя, что ль, позвала... Х-ха, ха! Я выпивши, ты не обращай внимания. Я тебе сейчас всё покажу, что и как... Давай, давай. Никто не войдёт, не беспокойся, дай-ка я... У них свои дела. Ну, хочешь, мы свет потушим. Я только сейчас на минутку; ты не смотри. Ну вот, а теперь можно».

## **ЗАГАДОЧНЫЙ РАЗГОВОР В НОМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ «МЕТРОПОЛЬ»**

Человек со светлым невыразительным лицом, в серой шляпе, в роскошном плаще из габардина, прошагал мимо кинотеатра «Востоккино», пересёк площадь перед стеной Китай-города и оказался перед другим кинотеатром и входом в отель. Дом мог напомнить ему здания эпохи грюндерства. Два фасада с затейливыми балкончиками выходят на площадь и на Охотный ряд, высоко наверху, под крышей — потемневшие плиточные панно, это уже югенд-стиль: ангелы, демоны, оливковые небеса. Человек вошёл в гостиницу.

Зеркальный лифт вознёс его на шестой этаж. Он направился было к своему номеру. Но передумал, повернул в другой коридор, там нашёл дверь и постучал костяшками пальцев. Ему открыли. Он растегнул плащ, отшвырнул шляпу и плюхнулся на диван-канapé. Na wie geht's<sup>1</sup>, спросил он.

«Завтра уезжаем», — был ответ.

Он рассеянно кивнул.

«Ужасно, — сказала Сузанна Антония. — Мама его разыскала».

«Also?»

«Also nichts<sup>2</sup>. Это молодой парень, студент. Инвалид без ноги. Мама очень разочарована».

«Разочарована, чем?»

---

<sup>1</sup> Что новенького (нем.).

<sup>2</sup> Ну и как? — Да никак (нем.).

«Разговора не получилось».

«Этого надо было ожидать. — Он пожал плечами. — Не понимаю, зачем ей это понадобилось».

«Я тоже не понимаю».

«Надо было её отговорить».

«Это невозможно. Ты же знаешь мою маму».

«Тебе придётся написать отчёт».

«Я знаю».

«Подробный: как и что. Где встретились, и так далее».

«Можешь мне не объяснять. А ему это не повредит?»

«Это отчасти зависит от того, что ты напишешь».

«Он мне понравился», — сказала Сузанна Антония.

«So?»<sup>1</sup>

Человек сбросил плащ, подошёл сзади и обнял её; оба стояли перед зеркалом: элегантный господин в дорогом костюме, превосходно выбритый, с волнистыми русыми волосами, правильными чертами лица, ни дать ни взять — ариец, и высокая длинноногая девушка.

«О! это уже что-то новое», — глядя в зеркало, сказала она.

«Ты так думаешь?»

«Может, не надо?» — спросила она, с любопытством глядя, как пальцы мужчины в зеркале возились с пуговками, расстегнули и спустили с плеч блузку.

Дальнейшее оказалось затруднительным, и она сама быстро и ловко отколушнула пуговку бюстгальтера на спине.

Теперь юбка. Оба сидели на диване. Игра продолжалась некоторое время, он привстал и перенёс её ноги в чулках на диван. Соня полулежала. Её куда-то несло, она смотрела и не смотрела, как мужчина медленно провёл ладонями по её ногам от коленок и выше. Но тут что-то случилось.

Упало напряжение тока в сети. И, чтобы сохранить видимость того, что её всё ещё домогаются и она сама решает, быть тому или не быть, — хотя на самом деле от неё уже мало что зависело, — она сбросила ноги с дивана.

«Das reicht!»<sup>2</sup>

Он ничего не ответил; наступила пауза.

«Ты же сам не хочешь».

Прозвучало ли это примирительно или осуждающе?

Человек стоял у окна. Сузанна Антония подумала, что между ними никогда ничего не было и, очевидно, не будет. Она подумала о

---

<sup>1</sup> Вот как? (нем.)

<sup>2</sup> Всё, хватит! (нем.)

том, что видеть в женщине исключительно сексуальный объект — типично буржуазный взгляд. Хотя... когда тобой пренебрегают как женщиной, это тоже обидно. Это даже оскорбительно. Сузанна Антония не считала, что коммунистическое отношение к женщине как к товарищу несовместимо с постелью, но её собственный опыт в этой области был невелик и случаен. Она была слишком занята ответственной работой, чтобы уделять много внимания так называемой личной жизни. Следствием была несвойственная ей робость. Она — придётся это признать — мало занималась своей внешностью. Может быть, подумала она, всё дело в том, что она слишком высокого роста. Долговязые девушки не пользуются успехом. В моде полнотельные славянские девахи или субтильные красотки с длинными локонами и высоченным коком, как у Дины Дарбин. Она поспешно убрала с глаз подальше свой крошечный бюстгальтер, сунула в шкаф скомканную блузку — белый флаг сдачи на милость победителя, который, однако, не пожелал воспользоваться капитуляцией. Плотно запахла в домашний халатик и завязала пояс.

Она спросила себя, — конечно, в шутку, ибо стеснялась недостойных мыслей, — а если бы дело дошло до логического конца, если бы она побежала, как бы спасаясь, в спальню. В конце концов, мы взрослые люди — какую позу предпочёл бы этот Гарри в постели? Между ними никогда ничего не было. А могло бы быть.

Человек по имени Гарри, — хотя, возможно, его звали иначе, — не уходил, габардиновый плащ, одежда дипломатов и ответственных работников, свесился со стула на пол.

«Я тоже отправляюсь, — сказал он. — На той неделе».

«Дела?» Он вздохнул, провёл рукой по волосам. Кивнул, но не ей в ответ, а своим мыслям.

«Они там намерены провозгласить своё государство. Все три зоны вместе».

«Когда?»

«Месяца через три. Теперь наш ход».

«Ты думаешь, восточная зона тоже будет...?»

«Это дело, собственно, давно решённое».

«А ты?»

«Что — я?»

«Я хочу сказать, твоё положение как-нибудь изменится?»

«Не слишком. Буду заниматься тем же самым».

«Оперативной работой», — заметила она полувопросительно, взглянув на него мельком, и почувствовала, что вялый разговор упёрся во что-то другое.

## ГОСТИНИЦА, ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Должен тебе сказать, — проговорил он, глядя в окно, — у меня совсем не этим голова занята».

Вот как; а чем же, спросила она, несколько сбитая с толку. Он снова сел на диван, поднял с пола шляпу и стал рассеянно чистить её рукавом.

«Не хочется уезжать?»

«Если начистоту, — человек усмехнулся, — нет, не хочется».

«Ну, это понятно, — возразила она. — Я и сама...»

«Да, конечно... Но, видишь ли, дело в том, что у меня...»

Прежде чем он договорил, инстинкт мгновенно подсказал Соне Вицорек его ответ. «Это, конечно, сугубо между нами. У меня тут появилось одно знакомство». Так и есть: женщина, как же иначе. Сузанна Антония испытала смесь стыда, лёгкого презрения и обиды. Ach was<sup>1</sup>, равнодушно возразила она, чтобы что-нибудь сказать.

«...довольно странное».

«Деловое?»

«О, нет. — Снова летучая усмешка. — Совсем даже не деловое».

«Eine russische Liebschaft?»

«В этом роде. Ein Flittchen»<sup>2</sup>.

«Вот как!» — подняв брови, сказала Соня Вицорек.

«Боюсь, буду по ней скучать».

«И давно?»

«Давно ли я с ней знаком? Да уже месяца два».

«Если не секрет, — спросила Соня, — где ты её подцепил?»

«Да нигде. Здесь, недалеко от отеля».

«Кто она такая?»

Он пожал плечами. «Я тебе уже сказал. Живёт в рабочем общении. Что-то есть в ней такое. Жалкое, что ли».

«Это тебя и привлекло?»

«Может быть. — Подумал и сказал: — Не только. Пожалуй, ещё что-то. Я увидел её как-то раз. Потом снова увидел. Ты будешь смеяться, но мне показалось, что это та самая женщина...»

«Frau meiner Träume»<sup>3</sup>.

«Meinetwegen»<sup>4</sup>.

«Которой тебе не хватает?»

«Можно сказать и так».

---

<sup>1</sup> Да неужто. (нем.)

<sup>2</sup> Интрижка с русской? — С уличной девочкой. (нем.)

<sup>3</sup> Девушка моей мечты (фильм с Марикой Рёкк).

<sup>4</sup> Если угодно, да. (нем.)

«Это всегда так кажется, — сказала Сузанна Антония. — Сколько же ей лет?»

«Не знаю. Лет двадцать — может, чуть больше. Может быть, двадцать пять».

«Наверное, все тридцать».

«О, нет».

«Красивая?»

Он поджал губы, покачал головой.

«Ты, конечно, не сказал ей, что уезжаешь?» — заметила она, уже не испытывая ничего, кроме досады. Своего будущего мужа она представляла себе товарищем по общему делу, по партии, преданным, чуждым всякой сентиментальности, высоким — примерно такого роста, как Гарри. Но не исключено, что её избранник будет русским. Конечно, он будет русским. Это совсем другой народ, не то что немцы. Будут ли они жить в Москве? Или в демократическом Берлине?

«Ты ей сказал?»

«Ещё нет», — сказал человек у окна.

«И не надо говорить».

«Это будет unfair»<sup>1</sup>.

«С твоей работой... Не хватает только, чтобы её ты потащил с собой».

«Да. Не хватает».

«Это всё равно невозможно».

«Doch<sup>2</sup>, — сказал он, — всё возможно».

«Что ты там с ней будешь делать? Извини меня, — пробормотала Соня, — раз уж ты сам рассказал. Я хочу тебя спросить...»

То, что произошло здесь в номере между ними полчаса тому назад, — вернее, то, что *не* произошло, — даёт ей право задать вопрос. Она испытывала жгучее любопытство. «Извини, — сказала она снова. — Вы, конечно, уже?..»

Человек слегка развёл руками.

«Ну и как она... на твой взгляд?»

Он возразил:

«Я понимаю, это может тебя задеть».

«Меня? Нисколько!»

«Ты спрашиваешь, какова она... im Einsatz sozusagen<sup>3</sup>. — Он светло взглянул на Соню. — Großartig. Besser kann's nicht sein»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Некрасиво (нем.).

<sup>2</sup> Отчего же (нем.).

<sup>3</sup> Так сказать, в деле (нем.).

<sup>4</sup> Изумительно. Лучше не бывает (нем.).

«Понятно», — закусив губу, промолвила Соня Вицорек.

Человек закрыл глаза.

«Видишь ли... — проговорил он, глядя в окно, и можно было подумать, что если бы она сейчас вышла из комнаты, он продолжал бы говорить, он бы не заметил. — Я человек, не склонный к мистике... В ней что-то есть. Я понимаю, что каждый в таких случаях говорит о женщине: в ней что-то есть... Если бы дело происходило лет триста или четыреста тому назад, я бы сказал, что это ведьма!»

Он рассмеялся, бросил взгляд на Сою, но смотрел сквозь неё.

«Очаровательная ведьма. Нет, конечно. Она очень простая, добрая и искренняя девочка».

Соне хотелось задавать всё новые вопросы, только о чём?

«Она хорошенькая?»

«Ты уже спрашивала, — он смеялся, он, по-видимому, был счастлив. — Нет, хорошенькой её не назовёшь. В том-то и дело. Я ещё не встречал женщину, которая обладала бы такой магией. Что ты на это скажешь?»

«Скажу, что рехнулся».

«Я думаю, — проговорил он, — я на ней женюсь».

«Ого».

«Вот тебе и ого. — Он добавил: — Отчёт напишешь сразу по приезде».

## ВРАГИ

Юрий Иванов, в трусах и майке, расставив ногу и протез, обеими руками сжимая рукоятку меча, стоял посреди комнаты с окном, выходящим во двор, в высоком старом доме на улице Веснина возле Смоленской площади, куда ещё до войны они переехали из другого дома. Тот, прежний дом был больше, монументальней, вообще был особенный дом, хоть и не такой знаменитый, как дом на набережной за Большим Каменным мостом, но тоже населённый непростыми жильцами: со своим детским садом, прачечными, распределителем дефицитных продуктов, с комендатурой и вооружёнными вахтёрами; само собой, и жили там не в коммуналках, а в отдельных многокомнатных квартирах. К числу новинок и достопримечательностей принадлежал грузовой лифт для спуска мусора. Лифт открывался прямо на кухню. Это было чрезвычайно удобно. Семеро в форме, в ремнях, в сопровождении коменданта, стараясь не скрипеть сапогами, не вызывая обычного пассажирского лифта, дабы не тревожить соседей, — многие, впрочем, и так не спали, это была эпоха бессон-

ниц, — выскочили из грузового лифта, выставив перед собой пистолеты и карманные фонари. Отец Юры вышел навстречу, заслоняясь рукой от слепящего света, он тоже не спал. Они торопились, обыск был произведён кое-как. Дом с вахтёрами в скором времени пришлось покинуть, и этим, как ни странно, всё ограничилось. Об отце — он получил десять лет без права переписки — было известно, что он работает на секретной стройке оборонного значения, в Сибири или на Дальнем Востоке, и так продолжалось всю войну. До окончания срока оставалось два года, после чего полагалась ссылка, но ещё раньше ходили слухи о том, что после войны будут выпускать, и мать Юры Иванова очень надеялась, кто-то «там» ей будто бы даже пообещал. Пока некая более высокая инстанция не сообщила, устно и сутобо конфиденциально, — разговор происходил в кабинете, но о главном было сказано в коридоре. Отец не работал на Дальнем Востоке, он вообще нигде не работал и не уезжал. Он был расстрелян на другой день после приговора, через шесть недель после ареста. А как же все извещения, справки, которые она получала? Высокая инстанция пожала плечами. Юра демобилизовался, как уже говорилось, весной 1945 года. К этому времени они давно уже проживали на улице Веснина.

Осталась мать (втайне гордая своим дворянским происхождением), осталась библиотека, никому не нужные книжки в выцветших картонных обложках. Удивительным образом не был изъят и этот грозный сувенир, меч умершего воителя, привезённый отцом из Синцзяна. И это при том, что первый вопрос, заданный отцу, когда они выскочили из лифта, был: есть ли в квартире оружие? Сдать! Он вынул из письменного стола свой браунинг. Меч украшал настенный ковёр в кабинете. Может быть, оттого, что меч висел на виду, он не привлек внимания. Отец махал мечом по утрам. Меч был тяжёлый, слегка изогнутый, с длинной костяной ручкой, и хранился в кожаных ножнах. Юрий Иванов поднял меч над головой, слегка потряс им, проверяя устойчивость позы, и сделал несколько резких движений по определённой системе, вправо, влево, вперёд и вверх. Крутя меч над головой, повернулся, что было труднее всего; размахнулся, примерился, издал, как делал отец, пронзительный гортанный звук, и р-раз, ударил, разрубив врага от плеча до паха; после чего, хромая, подошёл к письменному столу и положил меч на стол. Там лежали ножны и оставленное матерью письмо.

Он взглянул на конверт, письмо было без обратного адреса, обыкновенная марка. Он вышел в коридор и оттуда на кухню. В квартире проживало четыре семьи, после смерти бабушки у него и у матери было по комнате в разных концах коридора. Мать была на работе. Иванов вернулся в комнату, где, кроме обыкновенных вещей,

кушетки, стола, этажерки, помещался стеллаж с литературой о революционном движении в Китае. Иванов расчистил место на столе для чайника. Он уселся и надорвал конверт.

Он вертел в руках письмо, двойной листок необыкновенно белой, плотной бумаги с именем корреспондентки, короной и гербом: бык, низко склонивший вилообразные рога. Аккуратный и чёткий почерк. Восточный Берлин, такое-то число. *Sehr geehrter...* Потянувшись, снял с полки словарь, но словарь был Юре в общем-то не нужен. Да и письмо, к чему оно? Что ещё она собиралась ему объяснить?

*Sehr geehrter, lieber Herr Iwanow!*<sup>1</sup>

Довольно-таки церемонное обращение.

*Nach langem Zögern...* Я долгое время колебалась, прежде чем решилась снова напомнить Вам о себе. Разрешите мне ещё раз поблагодарить Вас за...

Опять эта дипломатия. Вместо того, чтобы прямо сказать, чего она от него хочет.

Но она ничего не хотела.

*Думаю, что Вы не удивитесь, если я скажу, что наша встреча произвела на меня большое впечатление. Наш разговор не выходит у меня из головы.*

*Кажется, я рассказывала Вам о том, как мне удалось Вас разыскать, несмотря на то, что, по сведениям, которые мой бывший муж получил из архива бывшего Министерства обороны, судно, на котором Вы находились, было уничтожено. Но, вопреки этому сообщению, оказалось, что кто-то из экипажа остался жив. Не могу Вам описать, как я была рада, когда узнала об этом!*

Нашла чему радоваться.

*Все эти подробности сейчас уже не имеют значения. Скажу только одно: вся история моих поисков кажется мне чудесным, почти неправдоподобным сцеплением обстоятельств, и то, что они увенчались успехом...*

Какой успех, с растущим раздражением думал Юра Иванов, что она несёт?

*...и то, что они увенчались успехом, что мне удалось с Вами встретиться и убедиться, что Вы существуете на самом деле, то, что я Вас нашла, а Вы, если можно так выразиться, нашли меня, — представляется мне знаком судьбы. И вот теперь Вы спросите: что я ещё хочу узнать или услышать от Вас, так ли уж необходимо продолжать это знакомство, тем более, что мы живём в разных государствах и новая встреча сопряжена с известными трудностями.*

---

<sup>1</sup> Дорогой, многоуважаемый г-н Иванов (нем.).

Вот именно, сказал вслух Иванов. Так ли уж необходимо. Он разговаривал сам с собой, сидя на кушетке, отстёгнул ремень и снял протез, чтобы дать отдохнуть культе. Запрыгал по комнате, — в углу стояли костыли, — снова с брезгливой миной взял со стола листок. Из окна был виден колодец двора, верёвки с бельём, арка подворотни. Эта женщина явилась из прошлого, и о чём ещё говорить — спаслась и пусть будет довольна.

Было и былём поросло. Так нет же, ей понадобилось напоминать, как будто он и так не помнит. Прошло уже сколько времени после этой нелепой встречи, а она всё не может уgomониться. Тягостный и никчемный разговор в ресторане, в роскошной гостинице для иностранцев, куда нашего брата на порог не пустят; вообще не надо было соглашаться. О чем она там бубнила? Ведь он же объяснил этим двум дурам: знали или не знали, что это за пароход, допустим, что знали, ну и что? Подошли ближе и увидели чёрную массу на палубах. Санитарный крест на трубе, несмотря на плохую видимость, тоже заметили. Знали, что из портов, которые немцам ещё удавалось удерживать, из Эльбинга, из Пиллау, из Розенбурга идёт эвакуация? Знали, ну и что?! А что они делали с нами. Война! Враг есть враг. И приказ есть приказ. Топить всех подряд, и никаких разговоров.

*Мне кажется, что я не сказала Вам и десятой части того, что хотела, что должна была сказать. По крайней мере, теперь это для меня стало ясно. Как ни странно, — но, может быть, это и Вам знакомо, — первые месяцы я совершенно не думала о случившемся. Я вернулась в родные места, где всё было сожжено и разрушено. Каждый день приходили новости одна другой ужасней. Рушились города. Мы узнали о гибели Дрездена. Там жили мои друзья, это был изумительной красоты город. То, что там произошло, никто и никогда не сможет описать, человеческое сознание неспособно вместить это... О том, что произошло со мной, с каждым из нас, мы уже и не вспоминали, думали только о том, как бы выжить. Не было ни будущего, ни прошлого, жили одним днём. Сузи вызвала меня к себе...*

## **ВЗМАХНУТЬ, И...**

В дверь постучались, мать заглянула в комнату.

«Ты?» — сказал он удивлённо.

«Я забежала на минутку. Ты завтракал?»

«Ещё нет».

«Ну, и хорошо. Я тут кое-что принесла».

«Не беспокойся», — сказал Юра. Она спросила: не опоздает ли он на лекции? Юра Иванов ответил, что времени ещё много. Мать присела на край кушетки. «Мне кажется, ты последнее время какой-то не такой».

«Обыкновенный», — сказал он.

«Что-нибудь случилось?»

Он пожал плечами.

«Что это за письмо?»

«Да так... от одной».

«От этой девушки? Ты совсем ничего не рассказываешь... Она тебе нравится? Почему ты не пригласишь её к нам?»

«Мать, — сказал Иванов. — Тебе пора на работу».

Он читал дальше.

*Мы давно уже понимали, что война проиграна, но этот изверг хотел, чтобы вся страна, все немцы погибли вместе с ним. Наконец, мы услышали по радио, что он пал в Берлине. Ходили разные слухи, говорили, что он принял яд вместе с Евой или что он бежал. Я знаю людей, которые до сих пор считают, что он скрывается в Южной Америке, меня это совершенно не интересует. Как Вы знаете, я оказалась, благодаря Сузи, в восточной зоне. Жизнь более или менее наладилась. Но я не хочу отвлекаться, хочу сказать вот что. Первое время я ни о чём не думала. Но однажды ночью проснулась, и вдруг всё снова встало перед глазами. Там были ужасные сцены. Когда мы сидели в баркасе, рядом, в темноте из воды высовывались головы людей, они были ещё живы, но лодка была переполнена. Мать с ребёнком подняла над водой свою девочку, цеплялась за борт, умоляла взять ребёнка, её оттолкнули. Я всё это видела. Я знаю, Вы думаете, что я считаю Вас виновником, Вас, и Вашего командира, и вообще вас всех. Нет, поверьте, такой мысли у меня нет. И к тому же я знаю, как много страданий мы, немцы, причинили Вашей стране. Я только хочу сказать, что хотя такие, как я, смогли уцелеть, каким-то чудом остались в живых, мы на самом деле умерли вместе с погибшими, утопившими, сгоревшими, с теми, у кого раздавило обломками полтуловища, у кого не осталось ни рук, ни ног, ни глаз, с убитыми на фронтах, задохнувшимися в дыму, — только сперва мы не заметили, что на самом деле умерли вместе с ними. Мы пережили войну, а когда всё кончилось, то оказалось, что мы не в состоянии жить. Поверьте мне, дорогой господин Иванов, я каждую ночь просыпаюсь, не могу понять, где я, война давно кончилась, а мне всё кажется, что я слышу свист и грохот, слышу крики людей, вой пожарных сирен или плеск воды, но я спокойна, я лежу глубоко на самом дне, и со мной уже ничего не будет, меня уже нельзя ни утопить, ни искалечить.*

*И вот теперь Вы. Зачем я это пишу. Мне нужно Вас видеть снова. Мне почему-то кажется — я уверена, — что Вы, кому пришлось пережить ещё больше, чем мне, Вы, сын народа, который в конце концов не сам начал войну, а на которого напали, — Вы можете мне помочь, может быть, даже поможете мне воскреснуть. Я почувствовала это сразу. Мне ничего не нужно от Вас, мы даже не будем вообще говорить о прошлом, мы просто посидим вместе, Вы расскажете мне что-нибудь о себе или о Вашей стране. Умоляю Вас, скажите, что Вы не отвергаете моей просьбы, откликнитесь...*

Иванов надел ногу, нацепил на нос пенсне, попробовал пальцем лезвие китайского меча и со свирепым выражением, закусив губу и прищурившись, изо всех сил рубанул мечом воздух.

## НОЧЬ. УНИВЕРСИТЕТ

Иванов сказал, что звонит по важному делу. Он сказал: «У меня к тебе одно дело».

«Что случилось?»

«Ничего не случилось. Надо поговорить».

«А в чём дело?»

«Немедленно», — сказал он.

«В чём дело?»

«Ни в чём. Нам надо...»

Пауза.

«Когда?» — спросила Ира.

«Сейчас».

«Да, но...»

«Срочно. Одевайся и приезжай».

«Может, ты всё-таки скажешь по телефону».

«По телефону не могу».

«А ты знаешь, сколько сейчас времени?..»

Он упрямо повторил: «Мне надо. С тобой... Ясно?»

«Ясно. Спокойной ночи».

«За невыполнение приказа...»

«Слушай, я устала. Хочу спать».

«Кто это ложится спать в десять часов».

Она молчала.

«Приезжай, — сказал Иванов. — Ну... пожалуйста».

Видимо, поддал.

Полчаса спустя она вошла в вестибюль, поднялась по ступенькам под арку.

«Ты куда это?» — спросила баба сторожиха.

Ира пробормотала: «Я на минутку... забыла книжку».

«Завтра приходи. Угомону на вас нет».

«Я сейчас». Она не стала подниматься по главной лестнице, выскользнув из-под арки, свернула по коридору направо и взбежала на второй этаж по двум маршам полутёмной боковой лестницы. Вышла к балясинам и гипсовым божествам. Жёлтые шары померкли, под сводами галереи пусто, полутемно. Она стоит в недоумении перед балюстрадой.

Ире двадцать два года. Она всё в том же коротком, суженном в талии, теперь уже изрядно поношенном пальто, в шапочке, перешитой из чего-то, в руках безобразная сумка-ридикюль, совершенно ненужная, просто для того, чтобы что-нибудь держать в руках, она вертит её так и сяк. Поглядывает вниз на циферблат над входной аркой и, опершись локтём на выступ колонны, примеряется, чтобы швырнуть сумочку вниз. Ира повзрослела и давно уже не была влюблена в собственное тело. Она думала, что скоро начнёт стареть, а между тем всё ещё ничего не случилось. Когда она услышала голос в трубке, ей показалось, что она давно этого ждала.

Было ясно, что она совершила глупость, приехав. Она побрела к выходу, к короткому маршу, который спускается к площадке перед главной лестницей под статуями. Но остановилась. Стрелки на циферблате внизу застыли. Она двинулась было вниз, снова остановилась, теребя сумочку. Вернулась, медленно зашагала по коридору в другую часть здания; не доходя до исторического факультета, там его и увидела: Юра Иванов не сидел и не стоял, а как-то полулежал, опираясь о подоконник. Она приблизилась, помахивая сумочкой.

Вид был самый безобразный: Иванов разложился. Ноги вот-вот поедут по полу, палка валяется рядом. Иванов моргнул, шлёпнул губами: «Привет!»

«Привет», — возразила она.

Наступило молчание, женщина смотрела на него, как смотрят на неубранное жильё.

«Ну чего, — сказал Иванов, наконец. — Ну, пришла. Ну, и молодец. А в общем-то, — он махнул рукой, — иди спать...»

Снова молчание.

«Как же ты теперь доберёшься домой?» — спросила она.

«Доберусь. Говорю, иди спать. Тут маленьким девочкам делать нечего».

«Где это — тут?»

«Ну...» — он повёл рукой широким неопределённым жестом. Ира наклонилась и подняла палку. Иванов опёрся на палку, привстал, другой рукой держась за подоконник. На всякий случай она спросила:

«У тебя снова... с ногой?»

«С ногой? — сказал он. — С которой?..» Он покачал головой.

«Слушай, зачем ты меня позвал?»

«Кто тебя звал? Никто тебя не звал».

«Ты хотел о чём-то поговорить».

«Поговорить — о, да. Поговорить надо».

«О чём?»

«Вот именно, — сказал Иванов, подняв палец. — Надо решить: о чём?»

Добрались до балюстрады, спустились по лестнице, она держала ветерана под руку.

«Посиди тут, я сейчас».

«Куда?» — грозно спросил Иванов.

Ира — сторожихе:

«Мы сейчас уйдём».

Старухе казалось, что она сидит, в валенках и тулупе, спустив ноги с лежанки, в избе, в родной деревне. Ира побежала по коридору, в углу за поворотом на стене висел телефон-автомат.

Никогда в жизни она не пользовалась этим роскошным методом передвижения, ей понадобилось довольно много времени, она стучала кулаком по стальной коробке, перевела кучу пятнадцатикопеечных монет.

«Сейчас приедет», — сказала она, возвращаясь.

«Кто? Никуда не поеду».

Она спросила, где он живёт.

«В Москве».

«Адрес!»

Он подумал и спросил:

«А деньги у тебя есть?»

Когда подъехали к дому на улице Веснина, оказалось, что Юра не может вылезти.

«Нализался, земляк, — сказал таксист. — Где воевал?»

Ира пересчитывала бумажки.

«Да ты что. Чтоб я с солдата деньги брал! Давай, тащи его».

## ЗАГОВОР ЖЕНЩИН

Судьба выбирает особых людей. Вы замечали, что судьба всегда выбирает особых людей? Это своего рода судебные исполнители.

Они кажутся случайными, первыми попавшимися — на самом деле это отобранные люди. Девушка остановилась поправить чулок. Она не знает, что уполномочена судьбой. Прохожий... вы даже не ус-

пели разглядеть его физиономию. Продавец воздушных шаров перед обелиском революционеров, в Александровском саду. Нищий, занявший свой пост на тротуаре перед оградой Старого здания. Они тоже орудие судьбы. Следователь государственной безопасности в мундире цвета крапивы, с рыбьим лицом, с жёлтыми плавниками погон, с эмблемой на рукаве и девизом «Оставь надежду навсегда», в ночном кабинете, где, кстати, как раз в эту минуту сидит в углу наш старый знакомый, профессор Сергей Иванович Данцигер, вернее, бывший профессор, сильно потерявший в весе и без кудрей. Судьба выбирает особых людей, участников заговора, не спрося у них; они лишь исполнители некоего веления, но родилось оно, представьте себе, не где-нибудь, а в лабиринтах нашей собственной души. Потому что судьба не то чтобы решает за нас, но подталкивает нас осуществить решение, которое мы приняли, ещё не зная об этом. Ира Игумнова нашла среди беспорядочно наклепленных кнопок на дверном косяке две пуговицы с одной фамилией, нажала один раз, другой; подождав, поднесла снова палец к звонку, послышались шаги. Звякнула цепочка. Высокая белая фигура с тёмными кругами глаз воздвиглась во тьме за полуотворённой половинкой входа. Вдвоём отвели ветерана в его комнату. Помогите мне, сказала мать. Ира, стесняясь, принялась расстёгивать пуговицы, стягивать со спящего одежду, отстегнула жёлтую кожаную ногу в чёрном ботинке. Они осторожно притворили за собой дверь.

«Куда ж вы теперь. Милая. Нет, нет; оставайтесь. Я позвоню. Скажу, что вы ночуете у меня...»

Ира вошла в полутёмную комнату, зелёный матерчатый абажур над столом, шкаф с книгами, разобранная кровать. Сейчас сменю бельё, суегилась мать Юры, вот тут ночная сорочка, полотенце. А вы, спросила Ира. Я на раскладушке, в кухне, у нас соседи хорошие. Было слышно, как она крутит диск телефона в коридоре. Ира осталась одна и, вздохнув, улеглась. Ей снилось, что она летит. Она должна была приземлиться, может быть, врезаться в землю, и открыла глаза. В длинной ночной рубашке она вышла из уборной на кухню, где не было никакой раскладушки, не было никого, пятна слепящего утреннего света лежали на полу, на плите, блестели крышки кастрюль на полках. На табуретке сидела кошка. В квартире стояла мёртвая тишина.

«Кис, кис», — прошептала Ира. Кошка уставилась на неё. Ира сделала шаг навстречу, кошка вскочила на подоконник, оглянувшись, «ну, что же ты», — промолвила Ира, кошка прыгнула в открытую форточку, пристроилась на раме и оттуда снова смотрела на Иру.

Упадёшь, сказала Ира, вышла в коридор и подкралась к двери. Юра Иванов лежал на спине, подложив руки под голову. На столе у окна сверкало стальное лезвие. Что это, спросила она.

«Меч».

Ира удивилась: «Настоящий?»

Он пожал плечами, опустил руки.

«Слушай, — сказал он, — ты меня извини».

«А где твоя мама?»

«На работе».

«Ну, мне пора, — сказала Ира. — Пойду оденусь».

В эту минуту она почувствовала, что стоит нагая под рубашкой. Было холодно босым ногам. Ира сложила руки под грудью, обхватила локти ладонями.

«Мне пора», — что-то в этом роде произнесли её губы.

Иванов сказал:

«Постой. Успеешь... — мрачным голосом, как ей показалось. — Мне надо тебе кое-что объяснить».

«Опять?»

«Что — опять?»

«Ты ведь уже собирался со мной поговорить».

«А... ну да. Нет, я серьёзно».

«А вчера было несерьёзно?»

«Вчера тоже было серьёзно».

«Ты, наверное, сегодня никуда не пойдёшь. Я скажу, что ты болен. Тебе надо отлежаться. Завтра поговорим».

«Нет. Сейчас».

«Что за спешка. Ну, говори».

«Это меч, — сказал он. — Ты помнишь у Бедье? Или у кого там».

Она не поняла.

«Роман о Тристане и Изольде. Вообще всю эту историю».

«Ну и что?» — сказала она со страхом.

«Между ними лежал меч».

Оба молчали. Ира улыбнулась.

«Могли порезаться», — сказала она.

«Могли. Дай-ка мне его».

«Слушай, Иванов...» — сказала она, называя его, неизвестно почему, по фамилии.

«Иванов. Дай, говорю».

«Зачем?»

Она взяла со стола меч и поднесла ему.

«Вот, — сказал Иванов. — Лезвием ко мне. Можешь не бояться. А теперь иди сюда... ложись. Ложись, говорю!» — крикнул он.

## МАРИК ПОЖАРСКИЙ ПОСТИГАЕТ ТО, ЧЕГО ОН НЕ МОГ ПОСТИЧЬ: ИСТИНУ

Кончено, Schluß, finis, сказал себе Марик Пожарский; оглядываясь на «прошлое», иначе говоря, на эти несколько лет, он находил его смешным, нелепым, стыдным. Марик стоял накануне важного решения. Собственно, решающий момент был уже позади. Ибо самое важное — принять решение; какое именно, вопрос второстепенный. Но, если угодно, то вот вам и ответ: Марик решил переменить свою жизнь. Ближайший смысл этого намерения был «порвать» с Ирой. Покончить раз навсегда с бесплодной, безвыходной, унижительной и смехотворной любовью, с этими метаниями между надеждой (на что?) и разочарованием (в чём?), с вечным ожиданием, бесполезной мукой, внезапным счастливым замиранием сердца от какого-нибудь мнимо-многозначительного взгляда и новой неопределённостью, новым отчуждением. Спросить, наконец, впрямую: да — или нет?

Однажды, представьте себе, он проямил что-то такое. И получил обескураживающий ответ: «Был бы ты лет на пять старше...» Означало ли это, что она всё-таки находит его достойным внимания, в принципе достойным своей любви, единственное препятствие — проклятые пять лет?.. Проснувшись однажды утром, Марик испытал небывалое чувство лёгкости, пустоты — оказалось, что он освободился. Он так и сказал себе: освободился. И пусть теперь сама жалеет.

Он попытался рассмотреть её подробнее, так сказать, критическим взором. Оказалось, что у неё коротковатые ноги, тяжеловатые бёдра. Однажды, когда она встала и забыла одёрнуть юбку, образовалась складка между ягодицами — это было ужасно. Он больше не смотрел в её сторону, не пытался с ней заговорить, с удовлетворением отметил её удивлённый взгляд; и даже под вечер, по привычке слоняясь по коридорам Нового здания, — домой идти, как всегда, не хотелось, — притулившись где-нибудь на подоконнике, пытаюсь читать и тут же бросая книжку, и снова расхаживая вдоль темнеющих окон, и возвращаясь на галерею, где уже теплились жёлтые шары, и бормоча стихи, — даже в это не лучшее время дня, когда некуда себя деть, некуда податься, Марик Пожарский вкушал эту опустошённость, для которой существовало другое название — независимость, ощущал себя свободным — мы чуть было не сказали: осиротевшим. Тут он увидел Иру, она поднималась по лестнице. «А, это ты», — сказала она, выходя на галерею, и остановилась.

Марик почувствовал привычное сердцебиение, но тотчас овладел собой; не выдал из себя ни слова; Ира, как всегда, шла в читалку; и вдруг она остановилась, взглянула себе под ноги, закусил губу. Марик догадался, вернее, почуял инстинктом бывшего влюблённого: случилось нечто; она подняла глаза с таким видом, словно что-то обронила по дороге и спохватилась; знаешь, проговорила она неуверенно, хорошо, что я тебя встретила, я как раз хотела тебе сказать.

«Сказать?.. Что сказать?» — пролепетал Марик, мгновенно забыв о своём решении. Да, кивнула она, сказать тебе кое-что. И какой-то ветер овеял Марика. Счастливое предчувствие! Ира, вместо того, чтобы исчезнуть за дверью библиотеки (куда он, по установившемуся этикету, не посмел бы последовать за ней), медлила, рылась в портфеле.

Она подняла голову и осмотрелась. «Надо бы где-нибудь присесть. Я даже не знаю... — и было неясно, ищет ли она местечко или то, что потеряла по дороге. Подошли к скамейке перед Русским кабинетом. — Нет, — пробормотала она. — Куда-нибудь подальше».

Обошли кругом галерею и свернули в коридор. Шли мимо высоких темноватых окон, потом налево. Там (как уже говорилось) был расположен исторический факультет, знаменитый тем, что на нем училась дочь Вождя. Легенда казалась странной, естественней было предположить, что факультет сам, со всеми профессорами ездил к этой дочери в Кремль или где она обреталась. Легенда казалась тем более неправдоподобной, что никто никогда не слышал о том, что у Вождя есть собственные дети, ведь это значило бы, что у него есть — или были — женщины. Вождь, в монументальных брюках с красными лампасами, в широких, как доски, погонах генералиссимуса, с литыми усами, с мужественным, гневно-радостным взором, бесспорно, не был бесполом существом; Вождь был надполом существом.

Это был тот самый подоконник, где Ира нашла пьяного Иванова.

«Не знаю...» — сказала Ира. Что она имела в виду? Они вернулись в «свой» коридор и устроились на подоконнике. Её портфель был прислонён к холодной трубе отопления.

«Я думаю... — проговорила она. — Мы ведь всё-таки друзья?»

«Ну да», — сказал Марик упавшим голосом, поняв, что её мысли совсем не о том. «Я подумала, что должна тебе сказать... это касается нас троих».

«Троих?»

«Ну да. Мы все как закупоренные. Ничего не можем друг другу сказать. Ты мне не можешь сказать, он мне не может сказать».

Ира взглянула искоса на него, словно хотела удостовериться, стоит ли продолжать. Или как будто запамятовала, что собиралась сказать. Её глаза прошлись по стенам, взгляд остановился ни на чём. Ира смотрела внутрь себя, и что же она видела? Всё то же: комнату и китайский меч рядом с лежащим на спине.

«Короче говоря, — сказала она, — у нас это было».

«У нас... у кого?»

«У меня с Юркой». Она опустила голову, тотчас подняла и остро взглянула на Марика.

На всякий случай он переспросил:

«Было?»

«Да».

Марик понял, о чём идёт речь, но продолжал спрашивать: что, что было?

«Ну что ты, маленький, что ли, — сказала она холодно. — Что бывает?»

Она прибавила:

«Он взрослый мужчина».

Видимо, это означало: в отличие от тебя. Марик сощурился, глядя в одну точку, напряжённо думал, только непонятно, о чём. Дикая мысль пришла ему в голову. «А ты? — спросил он. — У тебя уже был кто-нибудь?»

Ира покачала головой, еле заметно. Женским усталым жестом коснулась волос, сошла с подоконника, одёрнула платье, застегнула пальто.

«Ну чего ты, — сказала она. — Огорчился? — Они остановились на крыльце университета. За оградой, мимо Манежа, шурша, неслись машины, их было немного, совсем не так, как тридцать лет спустя, было темно, и малиновые, как леденцы, звёзды с невидимых башен всё ещё, как ни в чём не бывало, вещали баснословное будущее. Они двинулись к воротам, надо было еще что-то произнести. — Ну, хочешь, прочти стихи».

«Чего? — спросил Марик, очнувшись. — Какие стихи», — с горечью сказал он.

Она возразила, пожав плечами:

«На это надо смотреть проще. Это у всех бывает. Рано или поздно... И у тебя будет. — Она улыбнулась. — Будешь потом вспоминать».

Как будто доподлинно знала, не сомневалась, что с ним это ещё не произошло. Ему захотелось сказать, огорошить её: а вот, если хочешь знать — у меня тоже была одна.

«А я и смотрю проще. Мне-то что», — буркнул он.

«Ну что ж. — Они молча стояли перед воротами. — Если ты не очень сердисься... проводи меня».

И больше, кажется, не было сказано ни слова, Ира шагала, глядя прямо перед собой, помахивая портфелем, Марик о чём-то раздумывал и в конце концов понял, что в его жизни совершился поворот. Никто не мог предполагать — и меньше всего сам Марик Пожарский, — что внешним знаком этого поворота станет его нелепый поступок, необъяснимая хулиганская выходка; он только почувствовал, что надо что-то сделать, совершить что-нибудь такое, из ряда вон. Марик возненавидел всю жизнь, испытав при этом дикую радость.

На другой день, едва только он проснулся, его осенила идея. Всё стало на свои места, и теперь он лишь с трудом сдерживал нетерпение. Утром, как всегда, была лекция для всего курса, он сидел на балконе Коммунистической аудитории, у стены в углу, Ира где-то неподалёку — и прилежно записывала; Юра Иванов не явился; Марик явно не слушал, был чем-то занят. Прозвенел звонок; когда Ира вернулась на балкон, оказалось, что Марик просидел весь перерыв на своём месте.

Всё было готово, он поглядывал на большие часы внизу. Кто-то уже бубнил, сидя на эстраде за профессорским столом, перед профессорским чаем в стакане с подстаканником, это был доцент Капустин. Прошёл, кажется, уже целый час, но стрелка за это время передвинулась всего на каких-нибудь двадцать минут. Наконец, она достигла последней четверти. Пять минут до звонка. Марик расстегнул свой портфель. Марик никогда не ходил на занятия с портфелем. Он не имел привычки записывать лекции, у него были только тетрадки для занятий языками. Марик ничего не знал, ничему не учился, читал что хотел, а не то, что полагалось, учебники раскрывал только во время экзаменационной сессии, кое-как тащился с курса на курс, числился посредственным, но одновременно и продвинутым студентом, языки были единственным, в чём он успевал, далеко обгоняя других. Марик явился с портфелем, и внимательный взгляд Иры Игумновой отметил эту новость.

Наконец, звонок прорвался, зазвенел в барабанных перепонках, народ внизу зашевелился, захлопали крышки пюпитров, доцент Капустин собирал свои листки на столике. Марик расстегнул набитый битком портфель. Он перевернул портфель, и оттуда посыпались аккуратно нарезанные четвертушки бумаги, десятки, может быть, сотни листовок. Всё это разлетелось над амфитеатром, порхая, опускалось на скамьи, на головы, несколько бумажек упали на сцену, кто-то

свистнул в два пальца, началась весёлая паника, девушки и ребята протягивали руки к белым порхающим листкам, на всех бумажках стоял один и тот же подрывной, подстрекательский лозунг, была начертана единственная фраза: *Ну и х... с вами!*

## ЭПИКРИЗ. СУБМАРИНА УХОДИТ В ПУЧИНУ МОРЕЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ РАССКАЗЧИКА

*Per me si va nella città dolente,  
Per me si va nell'eterno dolore,  
Per me si va tra la perduta gente<sup>1</sup>.*  
Inf., III, 1–3

Некогда я бродил по улицам, где из десяти встречных девять были старше меня. Сейчас из десяти едва нашелся бы один, достигший моего возраста. Приняв предложение литературного журнала участвовать в конференции «Искусство в поисках новой идеологии», я уступил соблазну, которому успешно сопротивлялся добрых десять лет — с тех пор, как открылись границы. Начать с того, что меня удерживал самый обыкновенный страх. Совершенно согласен с каждым, кто назовет это суеверием. Я знал, что моё дело с грифом *Хранить вечно* ждёт своего часа в катакомбах гигантского архивохранилища, потому что дела эти не только хранятся, но и никогда не закрываются, и живо представлял себе, как где-нибудь в самом оживлённом месте, на улице Горького, которая снова стала Тверской, автомобиль с тёмными стёклами остановится у тротуара, вежливый голос окликнет меня, цепкие руки втащат в машину, и через десять минут мы окажемся там, где мне пришлось побывать когда-то. Я даже допускаю, что за истекшие двадцать лет — с тех пор, как я бежал из России, — пухлая папка стала ещё толще. Такие коллекции обладают способностью к самостоятельному росту и обогащению. И никто не знает, какими новыми инструкциями оснастилась канцелярия, пережившая всё и всех. Словом, говорил я себе, лучше туда не соваться. И всё же приехал.

Я стоял в зале с низким потолком, с диковинными рекламами на стенах, в одной из трёх или четырёх очередей, правильной будет сказать — в одной из трёх толп. Люди перебегали из одной толпы в другую, экономя время с ловкостью и чутьем завсегдатаев очередей,

---

<sup>1</sup> Я увожу к отверженным селеньям, /Я увожу сквозь вековечный стон, /Я увожу к погибшим поколениям. (*Данте*, «Ад», III, 1–3. Перевод М.Лозинского)

так что в конце концов я оказался последним. Люди переговаривались на языке, в котором мне было внятно каждое слово и где я не понимал ни слова. То было чувство нереальности, которая вот-вот должна была стать зловещей и необратимой действительностью; состояние, о котором говорит тюрингский романтик: если во сне мы видим сон, это значит, что ещё немного и мы проснёмся.

То было переживание языка — давно умолкнувшего, ставшего сакральным, подобно мёртвому языку священных книг, но который заговорил вокруг десятками уст и оказался жаргоном черни. Замечу, что таким же или почти таким, разве только с обратным знаком, было переживание живого английского языка, много лет тому назад, когда я приземлился в Соединённых Штатах. Вот так же я понимал его, ничего не понимая. Поистине, чтобы ощутить нечто подобное, надо было прожить безвылазно жизнь в стране, похожей на дом с закрытыми ставнями, за глухим забором.

Люди о чём-то совещались, смеялись, бранились, не стесняясь соседей, мешая обыкновенные слова с грязной руганью, которая, однако, выговаривалась, как обычные слова: матерная брань, лишённая эмоций — всё равно что кофе без кофеина. Затеплились матовые кубы над кабинами паспортного контроля, толпа заколыхалась. Каждый миг в самолёте над океаном поглощал огромные расстояния; здесь уходило десять минут на то, чтобы переместить чемодан на полметра, шаг за шагом, навстречу решающему мгновению, когда женщина-офицер в форменном галстуке, за стеклом кабины, поднесёт к уху телефонную трубку и, глядя в мой паспорт, вполголоса произнесёт несколько слов. Появятся двое и попросят «пройти».

Вместо этого, пристально поглядев на меня, поразмыслив, она хлопнула штемпелем; несколько времени спустя путешественник вышел в город, над которым сеялся дождь, и, усевшись в такси, назвал адрес по-русски, чего делать не следовало. Мне казалось, если я дам понять, что я здешний, меня не станут беззастенчиво обирать, как принято поступать с иностранцами; получилось хуже: меня, похоже, приняли за одного из этих нуворишей, *New Russians*<sup>1</sup>. Сомнительное сословие, вымахнувшее из-под земли, как красавцы-мухоморы после тёплого дождя. Город летел навстречу, и я все еще не мог избавиться от чувства, которое должен испытывать человек, стоящий на разводном мосту: одна нога здесь, другая там, а внизу — вода. Но хватит об этом. Я прослушал положенное число докладов на нелепую тему, конференция была для меня, как легко догадаться, не

---

<sup>1</sup> Новых русских (*англ.*).

более чем предлогом. Должен, однако, добавить к сказанному выше: мое намерение совершить паломничество на бывшую родину не было свободно от некоторой задней мысли. Каждый писатель ощущает себя более или менее лазутчиком. Если уж начистоту — ради этого я и отправился в путешествие. Я собирался написать роман.

Здесь, возможно, не будет лишним вкратце сказать о моих литературных амбициях. Я сознательно употребляю слово «амбиции» вместо того, чтобы говорить о достижениях. Никакими особыми достижениями мы, увы, похвастаться не можем. Два десятка повестей и рассказов из времён, которые нынешней молодёжи кажутся эпохой Среднего Царства, несколько статей, назовём их для пущей важности модным словом «эссе», — что ещё удалось опубликовать там, где, как говорили в старину, обретается «наш читатель»? В том-то и дело, что читателей раз-два и обчёлся. Можно указать причины, по которым мои творения не пользуются и, очевидно, не будут пользоваться успехом. Во-первых, они делят общую судьбу литературы. (Я имею в виду литературу, которая заслуживает этого названия). Публика, готовая тратить время и деньги на чтение серьёзных книг (а кто из нас согласится признать свои писания несерьёзными?), тает, как весенний снег. Во-вторых, — это уже мое личное дело, — я ненавижу так называемую актуальность. Оставим её газетчикам.

Сформулируем так: известность NN — лучшая, какую можно вообразить. Известность в весьма тесном кругу не щедрых на похвалы ценителей. В тот счастливый для него день, когда он покинет мир, журналисты, может быть, спохватятся, почуввав поживу. Но будет уже поздно. Невозможно будет брать у него интервью, чтобы наскоро тиснуть в воскресном приложении, невозможно будет строчить чепуху в газетах, чтобы завтра забыть его имя, теперь уже навсегда, невозможно будет перемолоть его на жерновах прессы и телевидения, чтобы ссыпать затем в мусорное ведро.

Итак, я воспользовался возможностью, сбежав с конференции, побродить по городу, который некогда — отчего не сказать об этом? — так любил. Который не променял бы — так мне казалось — ни на какой другой город в мире. Не берусь судить, хороши или плохи новейшие архитектурные преобразования, скажу только, что мне жаль пустоты и простора Манежной площади, расстилавшейся перед глазами, когда, бывало, выходишь из университетских ворот. Говорю, разумеется, о старом университете в зданиях по обе стороны от бывшей — теперь уже бывшей — улицы Герцена. Циклопический дворец на Ленинских горах, воздвигнутый заключёнными, моему сердцу ничего не говорит.

Я поднялся на филологический факультет, но никакого факультета не оказалось. В коридорах, в холле, где когда-то висела — может быть, я последний, кто её помнит! — стенная газета с фотографией славного Былинкина (*и куда ты ни пойдёшь...*), расположился новый хозяин, какая-то фирма, и уже нельзя было войти просто так: на площадке перед входом стоял охранник из отряда приматов. Он спросил, кто я такой. Я не мог ничего ответить. Откуда я знаю, кто я такой?

Не было больше и трамвая, который ходил в былые времена от Никитских ворот, звенел, сыпал искрами, поворачивал направо, шёл мимо университетской ограды и Горьковской библиотеки, мимо приёмной бабушки Калинина, — спросите сейчас кого-нибудь: кто такой был этот дедушка? И дальше, мимо Библиотеки Ленина, устья улицы Фрунзе и по Большому Каменному мосту в Замоскворечье. Липы вдоль тротуара перед Новым зданием исчезли, зато разрослись деревья за оградой и скрывают нового Ломоносова. Теперь отец русской науки сидит. Прежде стоял, положив руку на глобус, другой рукой сжимая упёртую в бедро подзорную трубу, которую издали можно было принять за детородный член. Бывший студенческий клуб, с которым так много связано, более не существует, над полукруглым фронтоном сияет восьмиконечный крест, ниже надпись золотом: *Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ*. Что она означает?

Я позвонил старой даме и договорился о встрече.

Перехожу к главной теме моего рассказа. Ветхий дом на Арбате, визг и скрежет канатов, потащивших наверх шаткую кабину лифта. Увядшая женщина с крашеными волосами, в туго подпоясанном дождевике и всё ещё модных здесь сапогах с копытообразными каблучками отворила дверь гостю, чтобы тотчас попрощаться; это была дочь. Неся букет, как посол — верительные грамоты, я прошествовал по коридору коммунальной квартиры и вступил в комнату, разделённую пополам занавесом на деревянных кольцах.

Голос из-за портьеры: «Одну секундочку!»

«Простите, что заставила вас ждать, — сказала хозяйка, выходя, хотя ждать пришлось недолго. — О! — воскликнула она кислым голосом, — какие чудные розы!..» Старость начинается не тогда, когда седеют волосы и опускаются углы рта, тускнеет блеск глаз и угасает вождение; старость начинается, когда постигаешь, и не умом, а всем телом, что ты не бессмертен. Полагаю, нет необходимости описывать внешность той, что предстала передо мною в это позднее утро, в предпоследний год страшного дотлевающего столетия; да я и не

сумел бы нарисовать её портрет, хоть и числюсь писателем, — разве только по свежим следам, воротившись в гостиницу; но я и этого не сделал, лишь наскоро, стараясь не упустить главное, занёс на бумагу наш разговор. Мы уселись друг против друга, и она спросила, надолго ли я приехал. Что за конференция?

Я объяснил, что обсуждается новая идеология.

«Новая?»

«Ну да. Взамен старой».

«И какая же это новая идеология?»

«Идеология разбитого корыта». Таковы были первые, совершенно ненужные реплики, которыми мы обменялись.

Я не могу её описать хотя бы потому, что и в первый, и в последующие два визита (срок моей визы истекал, я должен был торопиться), чем дальше, тем всё настойчивей, за чертами изжёванной жизнью женщины проступал образ той, прежней, которую знал я когда-то. Как если бы он возник в темном трюмо в углу комнаты и постепенно светлел, и рос, и, наконец, выступил из рамы; как будто привидение неслышно вошло и мягко отстранило реальную Иру. Ибо память — кто это сказал? — память ревнива и не терпит соперничества. Звук голоса, тень улыбки, манера встряхивать головой, даже то, что она время от времени поглядывала в зеркало в углу, чтобы поправить воротничок или седую прядь, — во всем этом было так много тогдашнего, несомненного, что постепенно меня перестало смущать то, что ошеломило в первую минуту, и расщелина времени уже не казалась такой бездонной.

Мы и не старались в нее заглядывать. Не было никакого желания рассказывать о себе, да и она не проявляла интереса к моей жизни; мы могли говорить только о том, что было общим для нас, было нашей жизнью, остальное не существовало; но, хотя она знала о том, чем я занимаюсь, — лучше сказать, пробавляюсь, — и, может быть, даже читала кое-что, ей, по-видимому, не приходило в голову, что гость явился из небытия с небескорыстной целью, и уж тем более она не могла догадаться, что предназначена стать героиней моего будущего шедевра.

«Да... — пробормотала она, — сколько времени протекло».

«Тысяча лет, а?»

«Тысяча лет».

Мы сидели и кивали друг другу, и было выдвинуто ещё две-три фразы в этом же духе, словно мы не знали, с чего начать, и тут, сам не знаю почему, я нарушил конвенцию; но разве то, о чем я загово-

рил, не было трещиной века, разве не было оно частью нашей жизни? Или, по крайней мере, её эпилогом. Я спросил Ирину Самсонову: как она отнеслась к смерти Вождя?

Она пожала плечами, вопрос был в самом деле ни к селу ни к городу. Тем более неуместно было начинать с него беседу. Вопрос заставил ее задуматься. Мы сидели за чаем. Украшением стола был замечательный румяный пирог, который она испекла к моему приходу.

«Это сейчас можно смеяться, — сказала она, — а мы тогда плакали. Я в это время уже преподавала в школе, у нас был митинг... Все плакали, и девочки, и учителя. У всех было такое чувство, как будто обрушился потолок. Или как будто произошло затмение солнца»

«Затмение?»

«Да; только не на время, а навсегда. Мало того, что мы все осиротели. Я могу сказать о себе — это было не только ужасное горе, — меня охватил страх. Я ещё была совсем молодая, только успела выскочить замуж».

«Замуж... а, ну да. Конечно».

«Люди старше меня, все были в ужасе, думали, что всё повалится, генералы начнут драться между собой за власть, нападут американцы, Бог знает что. Ждали всего».

«Но ведь...» — сказал гость и осёкся. Чуть было не забыл, что мы как бы условились, что не станем говорить обо мне, вообще не будем касаться всего, что было «после». Я не мог себе представить, что все беды будут мгновенно забыты. Мне хотелось сказать о злобной радости, которая воцарилась в лагере, когда гробовой голос Левитана провещал эти слова: *потерял сознание*. И все поняли, что он вот-вот околеет. Может быть, уже успел отдать концы, раз они там решились хоть что-то сообщить. И эту радость не могла унять даже боязнь стукачей. Мне хотелось рассказать, как я не верил своим ушам, узнав (гораздо позже) о том, что всенародная скорбь не была выдумкой пропаганды, что даже сотни задавленных в толпе, которая рвалась отдать последний долг каннибалу, не помешали горевать о нём. Я взялся за уголок пирога, который распался в руке. Хозяйка серебряной лопаточкой помогла переложить пирог мне на тарелку. Я рассыпался в похвалах её искусству.

«А почему это вас так интересует?» — спросила она, и это «вас» вновь развело нас в разные стороны.

В самом деле, что за тема для разговора.

Мы заговорили о старых знакомых. А что стало с таким-то, с такой-то.

Она спохватилась:

«Господи, что же я. Вы же принесли...»

Станным образом поиски штопора внесли какую-то нервозность в нашу грустно-умиротворённую встречу.

«Слушай-ка... — пробормотал я. (Мы все-таки перешли на «ты».) — Что произошло с Пожарским?»

Она молчала. Я разлил вино по стаканам. Ира сделала глоток и поставила рюмку на стол.

«Марик исчез, — сказала она. — Я думаю, его давно уже нет в живых».

Хотя я довольно точно представлял себе его судьбу, мне хотелось узнать подробности; я приготовился слушать.

«Тогда многие исчезали, исчез Москаленко, если ты его помнишь: он читал лекции по марксизму-ленинизму. Кокиев — Древний Египет... Ну, и, конечно, Сергей Иванович, это ведь было при тебе?»

«Нет, — сказал приезжий. — После».

«Потом была ещё какая-то история на философском, целая группа студентов. Разные слухи ходили. Я уже не помню. Меня тогда всё это не очень-то интересовало, у меня были другие заботы...»

А сейчас? — хотел я ее перебить, — интересны ли ей сейчас эти воспоминания? И тотчас понял по ее взгляду, что она угадала мои мысли, и уже незачем было объяснять, что заботы или что там она имела в виду — роман с будущим мужем, что-нибудь в этом роде, — что все это было и сплыло. А университет, лестница, гипсовые великаны, балюстрада, и сидение на подоконниках в коридоре, и Александровский сад, и юность — остались, и не было ничего важнее в нашей жизни.

Станные мысли приходят в голову. Я смотрел на нее и думал: дважды вдова. Конечно, я не думал об ее муже, о котором вообще ничего не знаю.

Можно ли быть вдовой мужчин, за которыми ты не была замужем?

Она продолжала:

«Марик... как тебе сказать. Я думаю, он был предназначен для этого. Иногда просто лез на рожон... Не эта история, так другая, рано или поздно. И даже если бы ничего такого не случилось. Я думаю, у него была такая судьба. Ты веришь в судьбу? Это был последний день, когда я его видела. Накануне у нас был один разговор... В общем, я ни о чём не подозревала. Я сидела на балконе, на нашем любимом месте, он тоже сидел на балконе».

Я спросил, что там было написано.

«Какая-то чепуха, не знаю. Я только видела, как всё это разлетелось, многие задирали головы, а он стоял наверху и смотрел. Все его, конечно, видели».

«Это были стихи?»

Она помотала головой.

«И что же?»

«Ничего, на этом всё кончилось».

То есть как, спросил гость.

«А вот так: кончилось, и все. Из Комаудитории всех выгнали. И сам он — я даже не заметила, куда он делся. Просто ушёл. Всё это быстренько убрали. Перерыв, правда, немного затянулся, но потом все снова уселись, лекция продолжалась. Все делали вид, что ничего не произошло. И вообще об этой истории больше никто не упоминал ни единым словом. Все понимали, чем это пахнет... Потом уже, когда меня вызывали, я узнала, куда пропал Пожарский. А так о нём тоже никто не вспоминал, как будто его и не было».

Вызывали, зачем.

«Не только меня одну, хотя все, конечно, скрывали... Давали подписку о неразглашении. Я ужасно боялась. Спрашивали, знаю ли я такого-то, — конечно, знаю, — какие высказывания слышала от него. Даже спросили, вроде бы в шутку, не собирался ли он убить кого-нибудь из руководителей партии. Я прикинулась дурочкой».

Она посмотрела в трюмо. «А в общем... — пробормотала она. — В общем-то какое это имело значение. Кто туда попадал, тот не возвращался».

Гость сказал: а стихи, куда они делись?

«Какие стихи? А, ну да. Не знаю...»

В следующий мой приход я спросил Ирину Самсонову: зачем он это сделал? «Зачем... Я тоже задаю себе этот вопрос. Что-то кому-то хотел доказать. Мне даже казалось вначале, что я была причиной... в какой-то мере. Мне так казалось».

Я снова спросил, и она ответила:

«Это был не то чтобы юношеский роман, а что-то вроде *amitié amoureuse*<sup>1</sup>. То есть с его стороны, конечно, что-то большее, а я? Сама не пойму, как я к нему относилась. Скорее всего не принимала его всерьёз. Но с другой стороны... Мы все жили в каком-то тумане...»

Она снова отвела взгляд, но не себя, а их увидела в тёмном стекле.

«Что я могу сказать? Вечером накануне того дня, да, это было как раз накануне, я пришла заниматься в библиотеку, даже раньше

---

<sup>1</sup> Влюблённой дружбы (*фр.*).

обычного. Я была уверена, что встречу его... Университет был как родной дом, мы там целыми днями околачивались, хотя у меня были и другие обязанности... И вот, — она вздохнула, — когда я его увидела, я решила ему всё рассказать. Меня всегда забавляло, что они оба вечно пикировались в моём присутствии. Марик — ещё понятно, но Иванов... Вообще мы все трое были неразлучны. И я подумала, что у меня от Пожарского не должно быть тайн. Тем более такой тайны. Это было бы нечестно.

Но тут было ещё кое-что, и, конечно, так, как я всё это изобразила, мне не надо было делать. Не надо было ему так говорить. А с другой стороны, рассказать всю правду тоже было невозможно. Короче говоря, была у меня потом такая мысль: что это я виновата в его гибели. Он же всё-таки понимал, чем грозит ему эта выходка». Не обязательно, заметил гость.

«Нет, я думаю, понимал. Все мы были наивны, и он тоже, даже ещё больше, но не настолько же. По-моему, это было сделано сознательно. Дескать, раз так, то я вам всем и отомщу. Я вам всем покажу».

Помолчав, она добавила:

«Я вообще не понимаю, как это он раньше не попал. Университет кишел осведомителями. Это же был комсомольский долг — докладывать; не правда ли?»

Считает ли она и сейчас себя виноватой?

Она пожала плечами, покачала головой.

«Нет, это была последняя капля. Это как-то копилось. — Сделав короткую паузу: — Это была судьба. Ему на роду было написано плохо кончить».

«В этом государстве?»

«Не знаю. Может, и не только в этом. Ты думаешь, — спросила она, — всё дело в этом государстве?»

По крайней мере, отчасти, ответил я.

«Вот именно, что отчасти. Это был такой характер. Я думаю, — прибавила Ира, — его добило то, что я сказала ему...»

На этот раз не было пирога, лежали на тарелке какие-то печенья, дочь приходила и снова уходила, нужно было преодолеть ещё один барьер, не выпить ли нам чего-нибудь покрепче? Она поставила. Мы чокнулись. «За что?» — спросила она. Выпьем, сказал я, за... и не решился договорить; она кивнула; я спросил: знает ли она, где воевал Иванов?

«Он никогда об этом не рассказывал. Он вообще не любил говорить о войне. Как-то раз Марик заявил, — это я хорошо помню, — что

мы будто бы принесли новое рабство вместо прежнего. Кто это — мы? Марик сказал: Советская Армия. Представляешь себе, это он говорит фронтовику. Кому же это мы принесли рабство? — Восточно-европейским народам. — Юра взбеленился и сказал, что он таких разговоров не потерпит. По-моему, это был единственный раз, когда зашёл разговор о войне. Но ведь все фронтовики не любят военных воспоминаний. Особенно, когда...»

«Когда что?»

«Когда ты вернулся калеккой».

Я спросил Ирину Самсоновну, известно ли ей, что к Иванову приезжали две немки.

«Нет... то есть да. Я их видела».

Рассказывал ли Иванов, спросил я, что-нибудь о них, об этом разговоре.

Она покачала головой.

«Эта девица хотела, чтобы Юра на ней женился. Хотела его увезти».

Я удивился:

«Откуда ты это взяла?»

«Ниоткуда. Знаю».

«Он сам тебе об этом говорил?»

«Никто не говорил».

Я возразил, что мне об этом ничего не известно, но браки с иностранцами, кажется, ещё в сорок шестом году были запрещены.

«Были, ну и что. У этой бабы были связи».

«Слушай-ка, — проговорил я и налил снова. — Раз уж зашёл разговор... Я хочу тебя спросить. Ты его любила?»

«Юру?»

Я кивнул. Она ответила:

«Я его жалела».

«Почему он это сделал?»

Она опрокинула рюмку в рот. Взяла что-то с тарелки, но, не откусив, положила обратно.

«Почему», — кивнула своим мыслям.

После некоторого молчания:

«Не знаю».

Гость ждал продолжения, наконец, она сказала:

«Я и на похоронах не была. Потом как-то позвонила его матери, мы встретились. Она мне рассказывала... Когда она пришла с работы, он лежал весь в крови. Перерезал себе горло этой штукой».

«Оставил что-нибудь, какую-нибудь записку?»

«Вроде бы нет».

Давно уже стемнело, мы сидели и не обратили внимания на то, что беззвучно открылась дверь.

Я хотел сказать Ирине, что приехал «собирать материал», но теперь мне ничего не нужно, никаких романов я писать не буду. Тем не менее отворилась дверь. Мы даже не слышали, как она открылась.

В сумерках, в чёрном фраке вошёл скрипач. Он был в тёмных очках, с плоским лицом и прилизанными волосами. Музыкант поднял смычок, мы услышали шлягер сороковых годов. Вошёл двоюродный брат Марика Пожарского Владислав, с бритыми лиловыми щеками, в лазоревом пиджаке и с розой в петлице. Вошёл призрак Иванова, с палкой, в морском кителе.

Я взглянул на Иру, она пожала плечами, как бы говоря: ну и что? Ничего.

«Извини, я хочу тебя ещё спросить, — начал я. У меня мелькнула догадка. И, кажется, она понимала это. — Ты можешь не отвечать, если тебе неприятно...»

«Спрашивай».

«Ты сказала, всю правду рассказать было невозможно... Значит, ты что-то скрыла от Пожарского? Что ты имела в виду?»

Она молчала, разглаживала рукой скатерть.

«Может, зажечь свет?» — сказала она.

Увидев на губах у меня застывший вопрос, она снова пожала плечами, как будто хотела возразить: нет, отчего же; могу сказать.

«У малышки была высокая температура, мы повезли её в Филатовскую больницу. Там признали корь...»

«Твоя племянница?»

«Да. Только я успела вернуться, он позвонил. Спрашиваю, в чём дело. Надо поговорить. Завтра? — говорю. Нет, сейчас, немедленно. Приезжаю в университет. Так и есть: мой Юра вдребезги пьян. По телефону ещё туда-сюда, а теперь совсем лыка не вяжет. Что делать, я вызвала такси. В те времена это была для нас немыслимая роскошь, но таксист выключил счётчик, не хотел брать денег с фронтовика. Кое-как мы его втащили, он жил с матерью, в двух разных комнатах. Ты у него бывал?»

«Мы вообще не были знакомы».

«Я тоже в квартире никогда не была. Комнаты были в разных концах коридора. Его мама уговорила меня остаться ночевать в своей комнате, а сама легла на кухне. Утром я не слышала, как она ушла, просыпаюсь — никого нет».

«Он позвонил тебе вечером, хотел поговорить. О чём?»

«Не знаю. Я же говорю, он был пьян. В общем, я решила взглянуть, как он там. Соседей не слышно, то ли спят, то ли ушли все на работу. Открываю потихоньку дверь и вижу, что он не спит, лежит, заложив руки под голову, и смотрит так, как будто никогда меня не видел. А я и в самом деле. Стою в чужой рубашке, босиком, мать Юры высокая, я поменьше, рубашка чуть не пола. Словом, я увидела, что он проспался, хотела уйти. Что-то меня удержало — на одну, может быть, лишнюю минутку, и, мне кажется, он это заметил. Он спросил, читала ли я Бедье, историю Тристана и Изольды. Мне стало страшно».

«Минутку, — сказал гость, — о чём речь?»

Опять-таки можно было догадаться. *И меч лежал между ними.* Только у Бедье, сказал я, этого нет, это исландская сага.

«Ну, значит, он спутал».

«И что же?»

«Мне потом его мама рассказывала... отец привёз из Китая».

«Well, — сказал гость. — Что дальше?»

«Ничего: я подошла к столу, взяла меч двумя руками, за рукоятку и лезвие, он был довольно-таки тяжёлый. В углу у окна стоял протез. Я положила меч на постель, Юра подвинулся. Ложись, сказал он. Ложись рядом, ничего не будет. Там говорится ещё о любовном напитке. Любовный или не любовный, но я тоже была как будто опенена. Ничего не соображала. Я только знала, что если я уйду, это будет для него таким ударом, что...»

«А ты сама — хотела?»

«Да. Я этого хотела. Я, может быть, даже знала, что это произойдёт. Ещё когда шла по коридору. Нет, ещё до этого. Мы в то время... ну, что говорить. Ты меня спрашивал, был ли у меня кто-нибудь до этого».

Я изобразил удивлённую мину.

«Ну, хотел спросить. Никого, конечно, не было. Но теперь я знала, что это произойдет. Я поняла, что это сама судьба так устроила, чтобы мы остались вдвоём. Что мать Юры нарочно оставила меня ночевать и ушла пораньше. И я почувствовала, как бы это объяснить... почувствовала, что должна сбросить с себя это бремя девичества, вот и всё. Всё моё тело взбунтовалось, я хотела стать женщиной. И ещё... — Она опустила глаза, её ладони разглаживали скатерть. — Мне было так жаль его. Эта бабья жалость... сама по себе была уже чувством женщины, а не девчонки, когда просыпается жалость, это значит, что ты становишься женщиной... Даже не жалость, а сострадание. Оно было для меня оправданием, что ли, перед самой собой.

Но мне и не надо было оправдываться. Я просто взяла и сбросила эту штуку на пол, этот дурацкий меч, легла и почувствовала его руку на себе. Холодную, как лёд. И весь он был холодный. Мы оба замёрзли. Я повернулась к нему, стала его целовать. Но он почему-то медлил. И я шепнула ему...»

Приезжий хотел спросить: что шепнула?

«Не знаю. Что-то такое я ему сказала на ухо. Дескать, всё будет хорошо, давай... И он как будто очнулся, повернулся ко мне и положил свою культю мне на бедро. Я ужасно обрадовалась. Меня охватило нетерпение... Я, конечно, была совершенно неопытна, а он взрослый мужчина, хоть и старше всего на несколько лет; я думала, он возьмёт на себя инициативу. Даже крикнула на него. Ну и, в общем... что говорить».

«Ничего не получилось?»

Она покачала головой. На другой день рано утром я улетел в Соединённые Штаты.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Если правда, что история есть не столько совершившееся на самом деле, сколько написанное о нём — на восковых табличках, на папирусе, на бумаге, — то история человеческой жизни начинается после того, как некто вознамерился о ней рассказать. Кладбища — это библиотеки ненаписанных романов.

Среди многочисленных функций романа мы должны выделить одну, может быть, главную: роман реабилитирует человека. Роман убеждает — в век неслыханного умаления человека, — что нет ничего более ценного, чем личность, и ничего более интересного. То, чему не научила гуманистическая философия, чего не сумела внушить религия, выполняет роман, последнее прибежище человечности.

Сочинитель сидит в номере гостиницы перед молочно-светящимся экраном, отводит взгляд — за окном узкий, глубокий колодец двора. В коридоре тишина. Кажется, ты один на всём этаже, во всём доме. Два чувства: первое — обыкновенное, привычное ощущение тупика; как будто готовишься, поплевав на ладони, долбить ломом каменную стену. Второе... о нём говорить труднее. Россия, которая настагает везде, как наваждение. Итак, о чём, собственно, мы собирались поведать? Иногда кажется бесполезной попытка восстановить историю книги. (Такие вещи уже делались). Два обстоятельства, или два образа, послужили первым толчком. Во-первых,

это был парень, бывший фронтовик, которого я увидел на первом курсе, через несколько дней после начала занятий, в первую послевоенную осень, в прекрасном сентябре. Он был рыжеволос, строен, тщательно, даже шикарно для того времени одет в новый, тёмный в полоску костюм. Он был в галстук и в пенсне, — кто тогда носил пенсне? Трость с набалдашником в правой руке. Ходил прихрамывая, по-видимому, на протезе.

Вероятно, он был не намного старше меня — мне исполнилось семнадцать, ему могло быть 22, от силы 24 года, но между нами было огромное расстояние, была война, мы принадлежали к разным поколениям. Только теперь, когда будущее, манившее нас, давно стало прошедшим, я могу понять, какого душевного мужества, какой выдержки стоила ему поза денди, цедившего слова, менторски-снисходительный тон и эти стёклышки, сквозь которые он взирал на нас, юнцов, — меня и моего товарища. Почему-то он устаивал нас вниманием, издалека спешил навстречу, припадая на ногу; мы тяготились его дружбой.

Этого человека (надеюсь, он ещё жив) я позднее уже никогда не видел, летучее знакомство растворилось в обилии новых впечатлений и дружб, вдобавок мы учились на разных отделениях. Я придумал ему военно-морское прошлое — и это была история, которая стала вторым отправным пунктом.

Автор узнал о ней из случайно увиденного немецкого документального фильма, в котором участвовали бывшие моряки, члены экипажа советской подводной лодки «С-13». Командир лодки, тридцатидвухлетний капитан 3 ранга Александр Иванович Маринеско, отец которого был румыном, после окончания Одесского высшего мореходного училища стал штурманом и капитаном торгового флота, а затем военным моряком-подводником. Он был хорошо известен на флоте, прославился как герой, был любимцем женщин, много пил, дебоширил, не ладил с начальством. После войны окончательно впал в немилость и умер в нищете и безвестности. История, о которой идёт речь, произошла вблизи Данцигской бухты, в ста километрах от побережья Померании: лодка «С-13», получившая приказ занять боевую позицию в южной части Балтийского моря, где ожидалось появление немецких транспортов, выследила и потопила большой шестипалубный пассажирский корабль «Вильгельм Густлофф» с беженцами из отрезанной Восточной Пруссии.

Описывать войну, никогда не быв на войне (автора должны были призвать осенью 45-го, если бы война продолжалась), — дело по

меньшей мере рискованное. В своё оправдание могу сказать, что я ограничился поначалу одним абзацем. Юрий перекочевал в роман, сохранив своё имя и внешность. Он стал у меня моряком подлодки «С-13», вахтенным офицером, который первым увидел огни вражеского корабля и был выловлен из ледяной воды после того, как лодку настигли глубинные бомбы немецкого эскадренного миносца «Лев».

Ради этого пролога — и воспоминаний, которые преследуют Иванова, — мне пришлось проштудировать довольно обширную литературу. Я снабдился справочниками и атласами военно-морского флота разных стран в годы Второй мировой войны, собрал сведения о моторном лайнере «Густлофф», прочёл воспоминания рулевого-сигнальщика Г.Зеленцова, участника подводной атаки (умершего через полвека, в 1998 г.), разглядывал карты и фотографии. Мне помог также документальный роман Л.-Г. Бухгейма «Das Boot» («Лодка»), по которому сделан известный фильм. Познакомился я и с другим романом, правда, вышедшим уже после того, как моё сочинение было готово, — «Im Krebsgang» нобелевского лауреата и довольно вульгарного писателя Гюнтера Грасса, где описана вся история корабля «Густлофф» от схождения с гамбургских стапелей в 1936 г. до гибели в Балтийском море. (Русский перевод, под искажающим смысл оригинала названием «Траектория краба», появился в журнале «Иностранная литература».)

Мне нужно было получить реальное, до мелочей, представление о том, что происходило в открытом море в снежную январскую ночь 1945 года.

Утром в каютах и рубках, в помещениях для раненых и родильниц, на всех палубах, где теснились полузамёрзшие пассажиры (в день катастрофы температура воздуха была минус 18 градусов, ветер до семи баллов), радио транслировало речь Гитлера: «Сегодня, двенадцать лет тому назад, в исторический день 30 января 1933 года, провидение вручило мне судьбу германского народа».

Посадка происходила накануне, толпы беженцев загроутили гавань Пиллау, последнего портового города, который ещё удерживали немецкие части. Два буксирных судна вывели перегруженный корабль из порта. С маршрутом не все ясно, по одним сведениям, «Густлофф» направлялся в Свинемюнде, по другим — пунктами назначения были Киль или Фленсбург. В открытом море корабль сопровождали три сторожевых судна. С наступлением темноты капитан корабля Петерсен (он был спасён) распорядился не тушить задние

бортовые огни и огни правого борта. С этой стороны «Густлофф» и был замечен. По некоторым сообщениям, капитан Маринеско, прежде чем атаковать, совершил обходный манёвр и зашёл с левой, береговой стороны; в воспоминаниях Зеленцова (и в моём романе) об этом не говорится. Последний из трёх выпущенных снарядов разрушил машинное отделение корабля, электричество погасло, и всё остальное происходило впотьмах.

Я почувствовал, что война с Германией вновь преследует меня, хотя кажется — что мне в этом прошлом, которое пронеслось стороной, совпало со временем отрочества, погружённого в собственный сон? Уехав (сорок лет спустя) из России, поселившись в той самой стране, которая тогда, на рассвете самого длинного дня 1941 года, двинулась всей громадой трёхмиллионного войска на Советский Союз, я научился читать летопись этой войны не одним, а двумя глазами, видеть войну не совсем так, как её видят в России. Моё понимание войны было пониманием человека, живущего полвека спустя, человека, который вступает на пепелище, успевшее зарости травой. Я всегда думал, что никто так плохо не разбирается в эпохе, как тот, кто в ней живёт; мы, конечно, не умней и не проникательней наших отцов, но у нас есть то преимущество, что мы пришли позже. Как бы то ни было, оглядка на военное прошлое, с какой приступил я к сочинению своего романа, по необходимости отличалась от стереотипа, которое пропаганда усвоила трём поколениям советских граждан; стереотип этот, по-видимому, незыблем по сей день.

Нелишне вспомнить о том, что, не будь нашествие остановлено, я и мне подобные были бы сожжены в печах. Страшно подумать, что стало бы со всей страной, если бы не удалось победить, — а ведь дважды, в ноябре сорок первого и в августе сорок второго, всё висело на волоске. Тот, кто пережил 9 мая 1945 года в Москве, кто помнит эти счастливые толпы, танцы на улицах, объятия, слёзы, это небывалое и никогда больше не повторившееся чувство, что всё страшное позади, всё прекрасное впереди, тот, у кого этот день, как у меня, всё ещё стоит перед глазами, — будет, наверное, возмущён или по меньшей мере удивлён, если я осмелюсь заявить, что победа обернулась поражением, досталась, как ни странно это звучит, ценой поражения, самого страшного, может быть, за всю одиннадцативековую историю нашей страны. Разгромлены оба противника; проиграли оба. Таков был слабо звучащий лейтмотив романа или, лучше сказать, его подспудная тема.

Я понял, что мой герой, мальчик-офицер, вернувшийся инвалидом, преследуемый, как кошмаром, воспоминанием о гибели женщин, детей, стариков и калек в бушующем снежном море, гибели, к которой он как-никак приложил руку, хотя никто не посмел бы его упрекнуть, — в конце концов он и сам едва не погиб, — что этот изобретённый моей фантазией Юра Ива́нов, так и не сумевший справиться с новой, мирной жизнью, есть в некотором смысле персонаж исторический. Мне стало ясно, что человек, которого война преследует не только буквально (сны, кошмары, напоминания, остеомиелит культи, наконец, визит спасшейся немки; сюда же — возможно — импотенция), но и в каком-то более общем смысле — война как отсроченная смерть, от которой он случайно ускользнул и которая в конце концов его настигает, — что человек этот олицетворяет катастрофу, которую называли победой.

С этого момента стало понятно, о чём мне нужно писать: о наследстве войны, о первых послевоенных годах, о юности этих лет на пороге ослепительного будущего, которое стало прошлым, так и не сбывшись. О холодном, словно из подземелья, северном, как сама Россия, дыхании, которым веяло от этого будущего.

Обозначилась и точка зрения повествовательной прозы, в данном случае — точка зрения невидимого рассказчика-хрониста, жившего вместе с героями и живущего сейчас: его наблюдательный пункт расположен «к северу от будущего». Я использовал для названия моего романа строчку Пауля Целана (самоубийство Целана, настигнутость прошлым перекликались с сюжетом, который мало-помалу стал проясняться) и у него же заимствовал эпиграф — короткое стихотворение из сборника «Atemwende» («Перемена дыхания»).

Прозаический перевод, сделанный мною, конечно, не мог передать всю многозначность и прелесть маленького шедевра.

«На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты нагружаешь её тенями, что написали камни».

Тебя нет, ты живёшь в памяти, на дне рек, уносящих к полярному океану наше мёртвое, несбывшееся будущее. Туда, на холодный север, я отправляюсь, чтобы встретиться с прошлым, встретиться с тобой; туда забрасываю невод, мою поэзию. И вытягиваю — даже не камни, а тени, которые отбрасывают камни, тени окаменевшего будущего, бывшего будущего.

«Тень», Schatten, одно из ключевых слов Целана, ассоциируется с зыбкостью и темнотой, с царством мёртвых, но, как сказано в другом стихотворении: Wahr spricht, wer Schatten spricht. Кто гово-

рит тенями, глаголет истину. Можно перевести иначе (памятуя о том, что *Wahrpruch* — это вердикт): кто говорит тенями, выносит приговор.

И всё же война в этом сочинении есть лишь некое *quo ante*. Осенью Юрий Иванов собирается поступить в университет. Выяснилось, что он всё же не главный герой предстоящего повествования, вернее, не единственный. Есть ли там вообще «главный герой»? Придётся повторить фразу, ставшую банальной: главный герой — время. Но с тем же правом можно сказать: любовь — вот истинный герой рассказа.

Рассказ... я произношу это полузапрещённое слово. Сколько раз нам твердили, и твердили мы сами, что традиционный повествовательный принцип исчерпал себя. Реалистическое повествование скомпрометировано, ибо скомпрометирована сама концепция реальности. Мы живём в послероманную эпоху. И, однако, я возвращаюсь к рассказыванию историй; у меня было чувство, что иначе мне не справиться с задачей.

Рассказ движется сюжетностью (или порождён ею), а сюжет, по Лотману, есть «революционный элемент» по отношению к картине мира. Рассказ в моём понимании подразумевает бедность фабулы, возмещённую богатством сюжета, переплетением мотивов, этих несущих конструкций повествования.

Другое дело — отказ от той непосредственности, которую Эрих Ауэрбах («Мимесис») считал отличительной чертой русской литературы, — непосредственности, порождающей особую запретительную поэтику: никаких комментариев «от автора», покажите нам людей и обстоятельства, а не рассуждайте о них; философствовать — не дело художника.

Я понимаю, что рефлексия повествователя, замечания о войне, о времени, о неумении молодых людей найти себя и проч., как и сугубо литературный, старомодно-иронический стиль этих размышлений, — всё это подвергает испытанию терпение читателя. И всё же мне кажется, что метаповествование как *pendant* к рассказу в собственном смысле, введение дополнительных точек зрения, присутствие рефлектирующей инстанции внутри самого рассказа в наше время так же естественны, как описания природы в романах XIX века. Фразу Камю «Хочешь быть философом, пиши романы» нужно перевернуть: «Хочешь писать роман — будь философом». Мне хотелось подвести некоторый итог; всякий роман есть итог; я вернулся к юности, самому важному (после детства) времени жизни, с тем чтобы в

эпilogue приземлится вместе с рассказчиком в машине времени на Шереметьевском аэродроме — в сегодняшней Москве. Подвести итог, что это значит? В XIX веке говорили об отчуждении человека-производителя от производства. Болезнью только что минувшего века я назвал бы отчуждение человека от Истории. Историческое сознание изнашивается. Оно перестало быть путеводной звездой. Идея великой цели скомпрометировала себя, надломилась иудейская стрела, указующая вперед, к Царству Божию на земле. Стала очевидной абсолютная несовместимость Истории, Политики, Нации, государственных приоритетов, национальных амбиций, всех этих зловещих фантомов, обесценивших личность, обесмысливших культуру и мораль, — с заботами и надеждами человека, с реальной жизнью людей, над которой демоны обрели неограниченную власть.

С исторической точки зрения жизнь людей стала чем-то не заслуживающим внимания. С человеческой точки зрения только она и является подлинной жизнью. Жить в Истории невыносимо, вне Истории — невозможно.

Но в романе констатация несовместимости двух времён, человеческого и надчеловеческого, меня больше не удовлетворяла. Я по-прежнему представлял себе Историю как нечто бесчеловечное, абсолютно лишённое того, что некогда называли историческим разумом. Требовалось, однако, соединить несоединимое — увидеть, проследить, каким образом человек реагирует на всеобъемлющее насилие. Материалом для этого представлялось мне время юности.

В те времена у нас устраивались балы. (О них бегло говорится во второй главе.) Внизу и на втором этаже, куда вела парадная лестница, вдоль колонн и балясин знаменитой балюстрады аудиторного корпуса на Моховой, под гром духовых оркестров, топтались, качались, крутились пары, и автор был усердным посетителем этих празднеств. Если в качестве исходного образца для Юры Иванова, — правда, только исходного, — передо мной сквозь дымку воспоминаний маячил настоящий Ю.И. (никогда на эти балы не ходивший), то второй персонаж, Марик Пожарский, восходит к нескольким прототипам; один из них — мой закадычный друг студенческих лет, арестованный, как и я, на последнем курсе, но получивший срок поменьше, а впоследствии ставший известным поэтом-переводчиком. Его оригинальные стихи приписаны Марику Пожарскому. И, наконец, третье лицо треугольника: девушка 18 лет, чем-то напоминающая одну реально существовавшую студентку. В главе «Танец» она учит инвалида фигурам танго.

И раз уж зашла речь о прототипах, можно добавить, что профессор Данцигер имеет некоторые черты сходства с покойным Сергеем Ивановичем Радцигом, заведующим кафедрой классической филологии. Я сделал Данцигера германистом, молодых людей — студентами западного, или романо-германского, отделения. Биография и отчасти внешность его брата могут напомнить о Фёдоре Августовиче Степуне, русском философе, предки которого были выходцами из Восточной Пруссии. Правда, Степун, изгнанный из Советской России в 1922 г., никогда не возвращался.

История, похожая на разоблачение Игоря Былинкина, произошла с известным всему курсу активистом-общественником Б.: он тоже считался бывшим партизаном. Кажется, ему разрешили после крушения заочно окончить университет, он стал доктором наук; его уже нет в живых. Но любовная история в эвакуации, прибытие в университет родственников соблазнённой девицы и т.д., а также возвращение Былинкина в Агрыз придуманы.

Дела давно минувших дней, прошлогодний снег... Воспоминания — сырьё, которое должно быть переработано. Отсюда следует, что если автор обращается к тому, что «было», получается не совсем то, что было. Живое, интимное чувство ушедшей жизни, то, что всегда и везде питало литературу, может ли оно быть всеобщим достоянием? Химический процесс, торжественно именуемый творчеством, денатурирует действительность; самое понятие действительности становится для романиста сомнительным. Реальными, однако, остались «декорации». Два старых здания, разделённых бывшей улицей Герцена, они и для меня когда-то были родным домом.

Гораздо больше, чем «нормальные» члены общества, романиста занимают маргиналы, те, кого не расплющил штамповочный пресс. Существенно важный мотив романа связан всё с тем же насилием Истории, точнее, с репрессивным обществом, куда вступили эти юнцы. То, что составляет реальное содержание их жизни, любовь, этот островок индивидуальной свободы, на котором юноша и девушка всецело располагают собой, чувствуют себя самими собой, — внутреннее изгнание, куда, сами того не сознавая, они уходят, чтобы отстоять себя, — оказывается западнёй, которую готовит им общество, изначально враждебное и карающее всякую независимость.

Каждый из них заново и на свой лад постигает роковую для подростка, переступающего порог юности, истину связи любви с сексом.

Между тем есть нечто закономерное в том, что секс оказывается под подозрением в фашистском обществе: секс есть вторая крамола.

В этом обществе нравственность носит полицейские черты. И подобно тому, как политическая несвобода усваивается с раннего детства, становится воздухом, которым дышат, входит в плоть и кровь, — так воспитываются стыд и скованность, становятся нормой поведения трусость и ханжество, какого не знало буржуазное общество. Идиотический этикет, казалось бы, дикий и невозможный на фоне бедности и плебейства. Пуританские нравы, обратная сторона подпольного разврата. Какие-то невидимые вериги, целая система недомолвок и недоговорённостей, целая область неупотребляемых слов, табуированных тем, неназываемых предметов. Всё это уже не навязанная свыше, но ставшая второй натурой несвобода. Носителями этой свободы-несвободы становятся персонажи: это роман о невозможности любви.

Я пытался передать то особое чувство, знакомое каждому молодому человеку, каждой девушке: почти физическое ощущение, что вокруг тебя и в тебе дрожит магнитное поле эротики и любви. Этот факт нужно скрывать. Он представляет собой нечто недозволенное, нечто постыдное. Нужно делать вид, что ничего подобного не существует — совершенно так же, как не существует тайной полиции, доносительства, всеобщего страха и всенародной нищеты. В этой ситуации находится Марик Пожарский, робкий бунтарь. Скованный и немой, что он придумывает? То, что придумывали влюблённые всех веков: объясниться заочно — написать письмо. Бумаге можно доверить то, что не может быть сказано вслух. В письме можно стать отважным, дерзким, письмо освобождает из плена трусости, неуверенности, стыда, другими словами, отчуждает пишущего от его собственной природы. И в то же время артикулирует его подлинные, его тайные надежды, мысли и чувства.

Но так как письмо есть не что иное как высказанное *вожделение*, оно (как говорит Ролан Барт) имплицитно обязывает к ответу. К какому ответу? Не к письменному, разумеется. Она должна будет дать понять, что письмо получено, сигнал принят. Как она это сделает? Прямо (навряд ли) или намёком? Проявит ли благосклонность? Может быть, посмеётся. Как бы то ни было, любовное письмо — это целое приключение. Увы, Марик не решается и на этот шаг. Вместе с тем он совершает важное открытие. Это открытие нового измерения мира — эротизма. Первичная физиологическая сексуальность преобразуется в безбрежную эротику. Мир оказывается для Марика, начинающего поэта, несравненно богаче, нежели для какого-нибудь Владислава, который (по-видимому) уже усвоил навыки секса, тех-

нику обладания женщиной как сексуальной партнёршей. Марик погружён в неутолённое желание — это ситуация художника. Его «объект» всегда прикрыт, прикровенен (он не может представить себе Иру раздетой), это «неразгаданная тайна» Тютчева. Но Марик сам, не сознавая этого, противится разгадке: она уничтожила бы любовь, низвела бы её на уровень секса. Безвыходность усугубляется ложным сообщением о том, что Ира принадлежала другому, — разочарование, сопоставимое с разочарованием в коммунизме и, далее, с метафизическим разочарованием, «болезнью расколотого зеркала», — и заканчивается бунтом, поступком, который Ира (и, очевидно, все окружающие) воспринимают как бессмысленный. На самом деле это не что иное, как мальчишеский вызов абсурдному миру.

Юношеская любовь не просто безвыходна; она движется к катастрофе. Рано или поздно эротическое поле должно было вступить в противоречие с другим электромагнитным полем — мистическим вездесущим присутствием Вождя. Если бы объявился кто-то пожелавший создать единую теорию поля (наподобие физической, поисками которой занимался Эйнштейн), он пришёл бы к выводу, что женщина и диктатор суть два полюса искомого универсального поля. Но единого поля не было. Психологическое «поле» Вождя исключало присутствие каких-либо конкурирующих воздействий. Поле, которое вот-вот прорвётся искровым разрядом в душном зале кинотеатра на Арбатской площади, где идёт демонстрация эпохального фильма «Клятва», истерическое поклонение Вождю-Вседержителю, — этот психологический климат, это поле не было метафорой, заимствованной из области, о которой автор в общем-то имеет смутное представление. Надо было жить в то время, чтобы почувствовать его реальность. И надо было сызнава вспомнить, как жестоко насмеялась жизнь над всеми нами. Вот отчего и эта тема вплелась в роман.

И вот теперь, когда я сидел в комнате на четвёртом этаже маленькой гостиницы на Монмартре и вперялся в молочный экран, всё как-то схватилось — так схватывается майонез после долгого перемешиванья, и составные части больше не расслаиваются. Образы и музыкальные мотивы сцепились в некое целое — девушка и два парня, томление и неразрешимость, незваная гостья из-за рубежа, выжившая назло всему, и оставшийся в живых юноша-инвалид, один из тех, кто пустил ко дну корабль с беженцами, профессор-конформист и его брат — мистический патриот, которого в конце концов пожрало любезное отечество, и разодетый в пух и прах, фат и трус Владислав, и Вождь за зубцами Кремля, и разрушенный жиз-

нию, всё ещё воспевающий великую эпоху поэт в доме творчества государственных литераторов под Москвой, и какой-то там аспирант N, и стукач Геннадий. И гениальный романтик Новалис, и девочка Софи фон Кюн, и стихи Марика Пожарского, и его танец в студенческом клубе с двадцатилетней камелией, и меч, лежащий, как меч легендарных любовников, как роковая преграда, между Ирой и Юрой, «лезвием ко мне». И весь огромный мир, который встал перед автором за этими людьми-знаками, домами-знаками, башнями-знаками, и юность, и Германия, и Москва. И вот этот морок рассеялся, сочинение — перед вами.

2003

АНТИВРЕМЯ

*Московский роман*



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Нижеследующая повесть может показаться попыткой изобразить жизнь соотечественников в такую-то эпоху, «романом воспитания» или исповедью горячего сердца в анекдотах, но на самом деле она ничего подобного не представляет. Для исторической картины, как и для истории души, здесь слишком мало материала, и герои мои, в сущности, находятся вне общества.

Это не значит, что все фигуры и обстоятельства высосаны из пальца (хотя таковых большинство). Кое-что представляет собой плагиат у действительности — главным образом сценические площадки. Данное сочинение скорее притворяется историческим повествованием или автобиографией, между тем как истинные намерения сочинителя были совсем другие. Но ответить, какие же это были намерения, очень трудно — если нужно вообще отвечать.

Есть несколько тем, обладающих ни с чем не сравнимой привлекательностью. Это любовь, память и время. Любовь в наш замечательный век изменилась — я говорю, разумеется, о литературе, а не о жизни. Перемена состоит не просто в том, что раньше романист провожал любовников до дверей спальни и откланивался, а теперь норовит улечься с ними в постель. Но в том, что натурализм почувствовал, что он надоел самому себе, и соединился с особым рода умозрительностью; в результате земная любовь превратилась в универсальный символ. Можно дать эротическое истолкование всему на свете, но это был лишь первый шаг. Теперь эротика сама становится вместилищем всех смыслов — всеобъемлющим шифром. Если стоит о чем-нибудь писать, то лишь о любви.

И есть особое пространство, в котором разыгрывается действие любви: назовем его памятью. Можно представить себе теологическую систему, где роль акта творения будет играть воспоминание. Классическая теология утверждает, что бытие Бога вне времени. Но тогда мир оказался бы вне Бога. Скорее нужно предположить, что область существования Бога — это будущее. Оттуда он творит мир, вспоминая о мире, который есть его прошлое. Другими словами, Бог всегда неактуален, всегда впереди: для нас он только будет. Можно сказать, что мы живем в его памяти, что он непрерывно извлекает нас из своего подсознания. Что-то похожее происходит с литературным творчеством.

Два вектора времени пересекают пространство памяти, словно два поезда, идущих навстречу друг другу. Осознав это, начинаешь понимать, что Случай и План — одно и то же, но видимое с двух разных концов. То, что в физическом времени представляется игрой случайностей, в божественном времени воспоминаний предстает как порядок и цель. Сны памяти — суверенная область литературы, потому что в литературе, как в сновидении, ничто не случайно, жизнь полна тайного смысла и несется навстречу своему завершению, как Галактика навстречу туманности М 31.

Эта повесть заключает в себе двойное воспоминание — о самой себе. Она была почти закончена, когда гости из высокого учреждения, посетив автора, взяли ее почитать — разумеется, без возврата. Это было так же просто, как смести сапогом муравейник. Спустя некоторое время я воздвиг новую муравьиную кучу и вот теперь сижу, куда же мне деться, и жду другого визита. Положение мое смешно, я понимаю, что без этой второй попытки вполне можно было обойтись, — как, впрочем, и без этого предисловия. Но, как сказано в «Братьях Карамазовых», «так как оно уже написано, то пусть и остается».

*16 мая 1982, Москва*

*У ворот Рима сидит прокаженный нищий и ждет. Это Мессия.*

*— Чего он ждет? Кого?*

*— Тебя.*

## ГЛАВА 1

Несколько времени назад в моей жизни произошло одно событие. Не помню, чем я занимался в тот день. Помню только, что очень не хотелось на ночь глядя тащиться Бог знает куда. Телефонный звонок раздался в третьем часу. В пять я ехал по Рублевскому шоссе.

Что представляет собой эта дорога, объяснять не надо. Все московские окраины одинаковы. Сидя сзади на продавленном сиденье, я провожал глазами однообразные прямоугольники новых домов. Можно было предположить, что случившееся возбудит во мне бурю чувств и оживит толпу воспоминаний. Ничуть не бывало. Я смотрел вперед — и только. У меня было ощущение, что думать и вспоминать я буду потом.

Тут произошел один эпизод: перед самой развилкой шофер затормозил и вышел из кабины. Вылез и я. Перегородив дорогу, стоял самосвал. Рядом «Скорая помощь» и проч. Благодаря моему высокому росту я без труда мог видеть из-за спин и голов, как из машины, помятой и украшенной лентами и воздушными шарами, извлекали белое платье и нейлоновую фату. Фата цеплялась за остатки искореженной дверцы. Жених в черном костюме, видимо не пострадавший, сидел внутри.

Я подумал: надо же. Случай выглядел до странности нарочитым. Никакого впечатления он на меня не произвел. Дорога снова со свистом и шорохом полетела навстречу, передние колеса наматывали ленту шоссе, задние разматывали. Путешествие кончилось тем, что мы приехали.

Они ждали меня. «Они» — это были три старухи, одна из которых, некая Светлана Сергеевна или Семеновна, в допотопной шляпке, заспешила ко мне, пока я расплачивался с таксистом.

«Это вы? Слава Богу. Мы уже три группы пропустили».

Эта терминология напоминала язык экскурсионного бюро. Очередной автобус подкатил ко входу, чуть не задавив нас. Оттуда поспешно стали вылезать люди, мужчины в парадных костюмах и женщины в темном, открылись задние дверцы, и выплыла ладья с по-

следним экскурсантом. Процессия выстроилась перед входом и, шаркая ногами, пошла внутрь, а навстречу им раздался скрежещущий звук, как будто растянули большой аккордеон.

Затем, урча, толчками, пододвинулся наш рыдван. Какие-то темные личности, их всегда много в таких местах, подхватили гроб и водрузили на каталку; гид, молодой человек с повязкой на рукаве, построил нас в две пары, мы впереди, две дамы сзади, меня он, очевидно, принимал за мужа, — и оглянулся в ожидании. Но оказалось, что музыка не была заказана. Потому что, видите ли, покупая хлеб, вы обязаны отдельно уплатить за корку.

Произошло замешательство, которое, впрочем, было быстро улажено. Чего здесь не терпят, так это лишней траты времени. Гармонь заиграла прелюдию Букстехуде. Мы двинулись вслед за тележкой, и все завершилось самым благоприличным образом. Нетрудно было догадаться, что стоявший в глубине большой трехстворчатый орган был декорацией. Внутри помещался обыкновенный проигрыватель. Что здесь было настоящим? Сама смерть выглядела инсценировкой.

Бродяги обступили трех старух, рассчитывая никак не меньше, чем на три бутылки. Но платила одна Светлана, странное, кстати, имя для дамы такого возраста, — я же в это время делал вид, что погружен в свои мысли. Мы посторонились, пропуская новое шествие, весьма многолюдное, с венками и представительными личностями во главе колонны, вновь грянула музыка, конвейер работал, — а между тем подземный огонь пожирал обивку, и дерево, и руки, и волосы, и глаза — все, что осталось от моей закатившейся жизни. Кое-как выбрались вон.

Далее мы направились к стоящему наискосок от крематория трехэтажному зданию безобразной архитектуры, где предстояло еще одно дело. Те двое остались сидеть на скамейке перед газоном, а мы вошли и стали подниматься по лестнице, и гений скорби склонял над нами гипсовую голову. Мы представляли собой не лишенное оригинальности зрелище: тощий, как жердь, старец с серебряными зубами и баба-Яга вдвое ниже его ростом.

Некоторые простые вещи с трудом поддаются определению. Старостью я называю такое состояние, когда в физическом смысле все больше находишься во власти мира, в униженной зависимости от атмосферного давления, от того, что съел за ужином, от пошлой музыки, не дающей уснуть. Но одновременно все меньше зависишь от мира духовно. Нет такого пророка, который мог бы утратить человека моих лет. Что он мне может сказать: что я умру? Или что я бессмертен? Друг мой, я все это знаю без тебя.

Взойдя на второй этаж, двинулись дальше, и, откровенно говоря, я начал жалеть, что ввязался в эту историю. На третьем этаже все выглядело уже не так помпезно. Мы повернули направо, а надо было идти налево, но разве кто-нибудь удосужится объяснить. В результате пришлось обойти чуть ли не все помещение. Мы шествовали из зала в зал, минуя дверные проемы с цифрами, как в музее, и в бессмысленном неживом свете люминесцентных ламп, со стен, покрытых сверху донизу мраморными дощечками, на нас смотрели из овальных медальонов лица несуществующих людей, мужчин, женщин, детей, юных девушек, старух, некоторые фотографии были парные, на других дощечках вовсе не было лиц, никто уже никогда не узнает, как они выглядели.

Попадались диковинные фамилии. В зале № 52 некто Давитая-Гинзбург блистал новенькой позолотой возле доктора исторических наук с совсем коротенькой фамилией — не то Жук, не то Лук. Что было общего между ними? Представьте себе, вы идете утром на работу, впахиваетесь в метро и даже не подозреваете, что в эту минуту вас толкнул плечом будущий сосед — Давитая-Гинзбург. Почему Гинзбург? Идет какая-то игра, нас тасуют, как карты, и, глядишь, мы легли рядом. Такие глубокие мысли приходили мне в голову, пока мы не добрались до служебного коридора и не отыскивали нужную дверь. Начались переговоры, во время которых моя новая знакомая Светлана Сергеевна проявила присущую ей деловитость и настойчивость. Никому не интересно получить нишу под самым потолком.

Одним словом, все это заняло уйм времени.

Дамы нас не дождалась. Нужно было искать такси.

Наконец уселись. Было неудобно молчать, и я спросил: при каких обстоятельствах это произошло?

Собственно говоря, я и так это знал, подробности в этом случае не имеют значения. Я знал это, потому что, как уже сказано, подземное пламя пожирало не кого-нибудь, а меня, потому что, собственно говоря, меня уже не было. Зачем же выслушивать от посторонних людей, что случилось с самим собой? Однако вопрос был задан, и последовал изобилующий утомительными подробностями ответ, который я здесь воспроизвожу summamim. В пятницу Светлана Сергеевна собралась к сыну, который живет в Радищеве, две остановки не доезжая Клина. Перед отъездом купила соседке хлеб, кефир, Виктория Николаевна благодарила, говорила, что она и сама могла бы сходить, но что-то как будто толкнуло Светлану Сергеевну, когда она уже спускалась по лестнице. Она вернулась и позвонила. Та долго не шла, но потом, наконец, открыла; все было в порядке. В понедельник Светлана возвращается. Звонит соседке, та не отзывается, но из

квартиры слышны голоса. Когда взломали дверь, то оказалось, что это был телевизор. Сама Виктория Николаевна лежала на полу ванной. Инсульт или инфаркт — что, впрочем, одно и то же.

В продолжение этой речи, нисколько меня не удивившей, я сидел, возложив руки на палку, созерцая коробки домов; в окнах верхних этажей глянцевым пожаром пылал закат. Я сказал:

«Вот на этом месте, когда я сюда ехал, была авария».

«Говорят, счастливая примета».

«Да уж куда счастливее. А вы давно были знакомы?»

«Лет пять... У нас, знаете ли, весь дом одни инвалиды. Все друг друга знаем».

Я надеялся, что моя миссия закончена, но при въезде в город она сказала:

«Простите. Не могли бы вы заехать со мной к ней на квартиру?»

## ГЛАВА 2

Квартира оказалась убогим жильем в современном вкусе — подобием фанерного ящика с тремя дверцами, которые вели на кухню, и в ванную и в другой ящик. Удивительные превращения претерпел язык за какие-нибудь несколько десятков лет. Спросили бы вы у человека тридцатых годов: что он называет квартирой? В темном закутке, так называемой передней, я поставил палку и повесил шляпу на крюк. Вошли. Это была полуслепая комнатка с желтыми обоями, затхлая, на подоконнике рядом с кроватью — высохший цветок в сером стакане.

«Извините, я подумала... Я не знаю, как вы на это будете реагировать».

Она металась по комнате, как летучая мышь, и кружила вокруг меня.

«Я подумала, что это ее желание. Конечно, не всякое желание можно выполнить. Мало ли что захочется... И к тому же они могут возражать!»

«Кто — они?»

«Администрация крематория или кто там».

«Вам помочь?»

«Спасибо. Потяните за эту ручку».

Мы пытались вытащить нижний ящик комода, ящик перекосилась. Она сунула руку в щель.

«Слава Богу, нашла, — сказала она, вставая. — Вы на меня не сердитесь за то, что я вас сюда затащила?»

«Ну что вы, Светлана Семеновна».

«Савельевна».

«Пардон».

«Видите ли, у нее почти ничего не осталось. Немного на книжке, но это уж племянник будет распоряжаться».

«Какой племянник?»

«Троюродный какой-то, почем я знаю. Седьмая вода на киселе. Я дала телеграмму».

«Вы хотели что-то сказать?»

«Да. Вот именно, хотела сказать... Ради Бога...»

«Полноте».

«Знаете ли, все в жизни бывает».

«Конечно. Так в чем дело?»

«Собственно, она не оставила никаких распоряжений, ни завещания, ничего. Был только разговор... Я так понимаю, что ей хотелось, чтобы этот медальон... Странная фантазия, что и говорить. Ради Бога, извините. Вот этот справа. Не вы?»

«Допустим», — сказал я.

«Ага, Представьте, я так и подумала. Сколько же вам было лет?»

«Столько же, сколько ей».

«Какая она здесь юная. Но узнать можно. А это кто?»

«Это ее брат».

«То-то я смотрю, они похожи. Я не знала, что у нее есть брат. Он жив?»

«Он умер».

«Ага. Ну, это уже легче».

«В заключении».

«Простите?»

«Я говорю: умер в заключении».

«Ах, вот как. Ага, ну да. Сколько же лет прошло с тех пор?»

Я пожал плечами. «Дела давно минувших дней, дорогая Светлана Савельевна».

«Наконец-то!»

«Что наконец?»

«Наконец-то вы запомнили».

«По-вашему, я уж такой маразматик?»

«О-хо-хо... Что ж делать-то будем?»

Летучая мышь! Она уставилась на меня своими дымчатыми, ночными очами.

«Делайте, что хотите», — ответил я и поплелся в прихожую. Ибо все это меня уже нисколько не касалось.

Поездка утомила меня, и когда, вернувшись к себе, я стаскивал с ног боты, руки мои дрожали. Перспектива украшать собой мраморную

табличку меня не волновала. Впрочем, я полагал, что милиция этого не допустит. Ведь они регистрируют все, что пишется на дощечках, и следят, чтобы портреты соответствовали надписям. Мне случалось видеть надгробия, где рядом с родителями помещалось изображение сына, погибшего на фронте. Или по крайней мере числящегося погибшим. А если на самом деле он жив? Отсюда следует, что должен существовать закон, запрещающий подобную практику. Как сказал поэт: спящий в гробе мирно спи, жизни радуйся живущий. Если, конечно, считать, что я жив. Таковы были мысли, приходившие мне в голову, пока я лежал во тьме, вспоминая весь этот тягостный день.

Подлинность дальнейшего не может быть подвергнута сомнению, благодаря давнишней моей привычке записывать сны. Хочу лишь заметить, что во сне, если уж быть точным, я никаких снов не вижу. Во сне я сплю. «Сны» посещают меня на границе бодрствования и какого-то другого состояния, которое я не знаю, как назвать, и то, о чем я думаю в это время, а я именно думаю, то есть как бы шагаю по дну реки, а не влекусь безвольно по течению вод, это скорее воспоминания, а не грезы о том, что могло бы быть, а может, было на самом деле, — тут я всегда остаюсь в некотором недоумении. Итак, я почувствовал, что не сплю. Я пробудился, как мне казалось, всего на одно мгновение и в следующую минуту уже спал, но на самом деле не спал, а притворялся перед самим собой. Тусклая мысль горела где-то в отдаленном закоулке моего мозга. Это была мысль о докторе исторических наук. У меня есть правило: я перебираю алфавит, пока не нападну на нужную букву, и так вспоминаю фамилию. Фамилия была совсем коротенькая, я ее буквально видел перед собой, напечатанную золотыми буквами. Я встал, нашарил шлепанцы и пошел на кухню выпить воды. Проклятый доктор, словно обмылок, не давался в руки. Постепенно я понял, что эта неудача есть просто частный случай другой неудачи, гораздо более обширной, имя которой — моя жизнь. Я догадался, что судьба не просто обыграла меня, как она обыгрывает всех и каждого, но поступила со мной как бесчестный шулер, обчистила до последнего рубля, ни одно из моих желаний не исполнилось, ни одна надежда не сбылась, моя юность была растоптана, и вот я теперь созерцаю эту мою жизнь. Я стал подыскивать подходящее сравнение: она была как люстра, которую я все старался повесить на крюк под потолком, пока она наконец не сорвалась — и вот я стою среди осколков.

Но затем что-то переменялось. Вода, вода несла меня, стремясь оторвать от дна! Вспоминая минувший день, я перебирал заново шоссе, автобус, трех старух, Букстехуде — так проглядывают содержимое бумажника, — и вдруг остановился: мне стало смешно; я не мог понять, как я поверил во все это.

Главное открытие состояло в том, что ничего этого не было. Мне просто все это приснилось. Теперь-то я точно знал — как будто вышел на песчаную отмель, — что ничего не было. Что же было? Была прекрасная погода. Я поспешно утер глаза и ускорил шаг. Стук туфелек, шелест платья несли меня за собой, и я даже не заметил, как шоссе перешло в проселок, а справа тянулась ржавая железная ограда. Я предложил зайти на минутку.

«А как же они?» — был ее вопрос.

Действительно, люди, стоявшие позади нас с венками, проявляли нетерпение: церковь уже виднелась невдалеке.

«Ладно, — сказал я, подождите меня здесь, я сейчас».

И, перемахнув через решетку, я устремился вперед по узкой тропе. Солнце садилось и било мне в глаза. У меня не было сомнений, что я иду самым коротким путем к тому месту, где находилась моя мать. Она сидела за столом в яме, точнее, в небольшом прямоугольном углублении, поросшем травой, из-за слепящих лучей солнца я не мог разглядеть ее лицо, но хорошо видел чистый лоб и гладкие блестящие волосы. Я остановился и сказал:

«Предупреждаю тебя, что я зашел только на минутку. Меня ждут. Ты, наверное, думаешь, что со мною случилось несчастье, но это совсем не так: я жив и здоров, в чем ты можешь убедиться. Кроме того, я молод, у меня все впереди. Я ее люблю, надеюсь, что и она меня любит. Через несколько минут нас обвенчают. Сейчас это снова принято. Собственно, это я и хотел тебе сказать, а остальное ерунда, на которую не стоит обращать внимание. Орган — просто ширма. Одним словом, все — сплошное вранье. Ну вот, а теперь я пошел».

Но она молча покачала головой, потому что я для нее был все еще ребенок, и она не принимала всерьез мои слова. Я должен был показать ей, что я взрослый. Спрыгнул в могилу, сел за стол и вытащил из кармана коробку дорогих папирос «Казбек». Сколько времени нужно, чтобы выкурить папиросу? Свидетельствую: я пробыл там не более десяти минут.

Пробираясь между ржавыми оградками, похожими на старые кровати, я оглянулся, — ее голова виднелась среди крестов, Она сидела в прежней позе, и волосы блестели на солнце. Лица я не видел.

Я выбрался на дорогу, я чувствовал, что опаздываю: невеста в фате и гости заждались меня. Но время здесь, очевидно, шло иначе, чем там, вот единственное объяснение, которое я могу предложить. Никого не было, и дороги тоже не было. Все заросло травой. Церковь обрушилась, из обломка колокольни рос пышный куст. Люди давно умерли. О том, что я остался, забыли. Мертвые забыли живого. Что

все это означало, увиденное с поразительной отчетливостью, сказать трудно. Я не спал и в мертвой задумчивости лежал, вперясь в одну точку, я был спокоен, я ни о чем не жалел; всё хорошо, думал я, жизнь прошла, и Бог с ней, всё хорошо...

### ГЛАВА 3

Я хочу сделать одно предупреждение. Данный текст не является художественным произведением. «Я», от имени которого здесь ведется рассказ, есть именно я и никто другой; не какой-нибудь вымышленный персонаж, а я сам, тот, кто сейчас отстукивает эти строчки, чья фамилия стоит на титульном листе; стояла бы.

Стояла бы, если бы я сочинял роман для утех и поучения читателей. Но у меня нет и не будет читателей. Зачем же я пишу и для кого? Должно быть, ни для кого. Мне трудно ответить на эти вопросы.

Конечно, я мог бы сослаться на интерес, который публика проявляет к «той эпохе». Но мне как-то неловко. Какая эпоха? Что за слова! Мы жили в эпоху, которой не было. Мы очутились в расщелине времен. Мы все, всё наше поколение, выпали из истории. Мы были похожи на действующих лиц в фильме, где пропал звук: что-то говорили, махали руками — а никто ничего не слышал. Это первый и последний раз, когда я говорю о поколении; я не принадлежал ни к какому поколению. Как сказал Иов: «Размышления мои побуждают меня ответить, и я поспешаю выразить их». Нет, лучше уж прямо сознаться, что единственный читатель, к которому я обращаюсь, это я сам.

Не помню, у какого автора я вычитал забавную мысль: он говорит, что порядок жизни есть не что иное, как порядок литературного повествования<sup>1</sup>. Случайные события, встречи, расставания нанизываются на так называемую нить рассказа, выстраиваются в ряд, и на душе становится веселей: начинаешь всерьез верить, что прожил жизнь не как попало, а следуя некоторому предназначению. Произносятся умиротворяющие фразы: «На жизненном пути...» и т. п., — как будто этот путь в самом деле существовал.

Такие соображения полезно иметь в виду всякому, кто притязает на «историзм», другими словами, поддается соблазну внести порядок в зыблущуюся жизнь; кто выстраивает цепочку событий, не замечая, что этим фальсифицирует действительность. По мне, единственным выходом было бы разграфить страничку на сколько-то

---

<sup>1</sup> Музиль.

столбцов и заполнять каждый столбик отдельно, ибо жизнь — это не одна, а множество повестей, рассказываемых одновременно. Только вот кто рассказчик? Иногда мне кажется, что я — чья-то ожившая мысль. И я верую, верую вопреки всему в то, что все случившееся с нами соединено внутренней связью. Память открывает эту невидимую связь. Вглядись в себя, вчитайся; не спрашивай, что было сначала, что стало потом; поступи с прошлым, как дерзкий романист поступает со своим героем, не страшась упрека в том, что он разрушает искусство, — на самом деле он разрушает рутину, он рвет нить времени. Он больше не всевидящий бог, не шахматист, рассчитавший партию на много ходов вперед; для него нет ни причин, ни следствий; откажись и ты от них. Единственное не навязанное никем объяснение событий, единственное, что делает их событиями, это я сам; единственный сюжет, который я могу придумать, — это история моей души.

Здесь будет уместно сказать два слова о герое этих страниц. Я человек сомнительный. Как легко догадаться, мне уже много лет, но каким я родился, таким и помру. С самого детства сомнение в прочности внешнего мира было главной чертой моего характера. Я всегда испытывал глубокое и непобедимое недоверие к действительности. Я входил и комнату, не сводя глаз с роковой половицы: ступишь на нее — конец, рухнет потолок и провалится пол. И так на каждом шагу. Я просто гипнотизировал себя! Моя жизнь проходила в исполнении всевозможных ритуалов, в неустанном старании разгадать заговор вещей. Я жил, как прозелит первого века, в вечном ожидании конца света; жил в поле высокого напряжения, чувствуя, как волосы потрескивают на голове, и если все еще оставался жив, то потому, что его генераторы каким-то образом уравнивали друг друга. Я знал — знаю это и сейчас, — что существую лишь по чьему-то недосмотру.

И в этом скрывался, как ни странно, источник своеобразного оптимизма! Я научился обманывать злую силу, единственным законом которой было то, что она действовала назло. Возвращаясь домой, я думал: хорошо, если бы все к черту. Если бы нагрянули бандиты, если бы снова началась война, если бы мой отец, пьяный, попал под трамвай, если бы мачеха заболела, если бы мы все умерли от нищеты и горя, и так далее и тому подобное. Этот гипноз был так силен, что я был уверен, что так оно и есть. И вместе с тем знал, что злая сила сделает все наоборот. Но она не должна была догадаться, что я знаю. И я крался в тусклой мгле, прислушиваясь к хлопанью дверцы и урчанию мотора за углом, как верующий еврей прислушивается к топоту ослицы, на которой едет Мессия, только теперь на

ней ехал Сатана. И я смотрел, не стоит ли «скорая помощь» перед нашим подъездом. Я входил, холодея от страха, нажимал кнопку и ждал: вот откроется дверь и кто-нибудь там, в коридоре, крутит диск телефона, вызывает врача, милицию... Миг тишины, казавшийся бесконечным! Каменная сырость лестницы! Шаги... И вот наконец мачеха в необыкновенном платье, в обычном своем домашнем халате, с обрывком прерванного разговора на губах, отворяет дверь. И радость, покой, благодарность неведомому Богу за то, что все обошлось, все живы и все осталось по-старому, наполняли мою душу.

## ГЛАВА 4

В приснопамятную пору мне исполнилось тринадцать лет, то было злое, несчастливое время. Я стал худеть, по субботам в бане отец заставлял меня становиться на весы, и каждый раз я терял в весе, я еще не был болен, но должен был заболеть, родители принялись хлопотать о том, чтобы поместить меня в лесную школу, и с этого времени, я думаю, все и началось. Началось, если можно так выразиться, Новое время моей жизни. Детство сравнивают с античной древностью, но я бы назвал его средневековьем, восхитительной, на мой взгляд, порой в истории человечества, а вот отрочество — это шестнадцатый век! Сырой ветер, запах тления, — гниют какие-то остатки, — томительное чувство свободы, мокрые ноги, кризис плоти и взрывы дикого авантюризма. Голова кружится от наплыва мыслей. Вселенские замыслы: придумать новую религию; создать универсальную формулу человека; написать великую поэму. И, наконец, чихнуть на «все» и записаться в Иностраннный легион. Этот легион был какой-то фата-морганой, вроде Нового Света. Иностраннный легион, братство душ, расквитавшихся с прошлым. Иностраннный легион — единственное подразделение французской армии, на трехцветном знамени которого отсутствует слово родина. Какие слова!

Ночью не спится, дьявольское наваждение. Ночью в душе зажигаются тусклые огни, и при свете их видны следы незваных гостей, объедки постыдного пира. Я считаю отнюдь не случайным, что упомянутый кризис совпал с переселением в лесную школу, а далее с открытием, о котором мне предстоит рассказать. Я даже думаю, что связь вещей была на самом деле иной, то, что качалось причиной, было следствием, и наоборот. Давайте представим себе такой мир, где следствия, так скачать, примеряют для себя причину, чтобы создать видимость порядка и честной игры, тогда как на самом деле это нечестный мир, где все подстроено. Это будет мир, в котором девст-

венницы сначала зачинают, а потом вступают в брак, мир, в котором логический порядок вещей — всего лишь дань приличиям. И в котором воспаление бронхиальных желез началось просто-напросто для того, чтобы было из-за чего ехать в лесную школу, и школа подвернулась лишь ради того, чтобы дать родителям пожить первое время после свадьбы без меня, вдвоем.

Однажды я задержался в спальне, это было чистой случайностью, я искал подушку, запрятанную каким-то озорником во время утренней суматохи, беготни по кроватям и швыряния друг и друга чем попало. Я бродил между рядами и вдруг почувствовал, что лишь делаю вид, будто занят поисками, я знал, что в спальне я не один. В углу лицом к стене лежал, накрывшись с головой, мальчик, который всегда опаздывал, но не потому, что не успевал, а из особого высокомерия, аристократической медлительности, словно он был полузаконным отпрыском августейшей семьи и ему не подобало сломя голову мчаться вместе со всеми в столовую. Бросив взгляд в его сторону, я вдруг заметил, что он повернулся на спину и смотрит на меня.

«Ты, — сказал он после некоторого молчания. — Ты чего делаешь?»

«Да вот, — пробормотал я, — з-запахнули к-куда-то...»

«У тебя линейка есть?» — спросил он.

«Какая линейка?»

«А ты почему отвечаешь вопросом на вопрос?»

«В классе есть», — сказал я, чувствуя себя в его власти. Ноги сами тащили меня к нему, словно он под одеялом наматывал леску.

«Хочешь, — сказал он, — покажу одну вещь?»

«К-какую вещь?» — спросил я и сел на край кровати.

Одеяло съехало с его ног. Он лежал, подложив под затылок тонкие руки с острыми локтями и устремив перед собой надменный и скорбный взгляд.

«Хочешь, смерим? — выговорил он. — Возьми рукой».

«Ух ты, черт», — сказал я, и сердце мое колыхалось, как колокол.

«Еще, — говорил он горячим шепотом. — Ну!.. Еще».

В эту минуту в коридоре зацокали каблуки. В дверях стояла воспитательница.

«Мальчики! — сказала она. — Звонков! И ты... (Мою фамилию она, очевидно, не помнила.) Что это такое? Все давно на завтраке».

«А, сволочь, — проговорил хрипло Звонков, — ты драться?..» Он сидел на кровати, и одеяло покрывало его колени. Воспитательница молча переводила взгляд с него на меня, я думаю, она догадалась, но не подала виду. На другой день я получил письмо из дому.

## ГЛАВА 5

В старинные времена Сокольники представляли собой глухое загородное место с тропинками, озерцами, болотистыми прогалинами; школа оправдывала свое название. Школа помещалась в двух больших деревянных домах, соединенных переходом. По этому переходу, едва успевал прозвенеть звонок, неслась голодная орда, с шумом и гамом втискивалась в умывальню, рвала друг у друга мокрые полотенца, затем все выстраивалось в коридоре у входа в столовую, перед столом, на котором стояли подносы с ложками для рыбьего жира. Каждый получал свою порцию и бежал на место, крича на ходу дежурным: «К нам, мы первые!»

Первыми были мы, то есть наш столик, и суп в тарелках, украшенных пионерскими эмблемами, дожидался нас. Вся школа, четыре отряда, радостно загребала картофельное пюре с подливкой, допивала компот и вылавливала вилкой компотное мясо, а мы четверо, два мальчика и две девочки, стояли на видном месте с листочками в руках, и солнце било нам в глаза. Это была устная газета. Все шло превосходно весной 1941 года, сталевары трудились, как никогда, и храбрые германские войска доедали Грецию. Как вдруг я услышал укоризненный шепот девочки, которая стояла сзади меня, держа наготове вести с полей: я нарушил порядок сообщений, перейдя от успехов тяжелой промышленности сразу к сводке германского командования. Я обернулся и в этот момент увидел краем глаза письмо, белевшее в шкафчике возле двери. Так замечают, садясь в трамвай, женщину, поправляющую чулок в подъезде. Тотчас трамвай отъехал. Но когда немного времени спустя толпа повалила к выходу, мой взгляд опять упал на белый конверт. Моя буква редкая, одна из тех букв в конце алфавита, которые сгребают, как крошки со стола, в последнюю ячейку. Вынув письмо, я узнал почерк моего отца.

Может показаться странным, но я помню текст почти дословно, и даже со всеми ошибками: например, слово «аферист» было написано через «и». Я помню, как выглядело это письмо: двойной лист из тетрадки в клетку. Помню затейливые, в виде треугольника, хвостики букв «у» и «д», загибающиеся книзу строчки. Все женщины, независимо от образования и характера, загибают строчки. Ибо рука отца была лишь на конверте, а писала мачеха. Если я где-нибудь и вношу изменения в ее письмо, то лишь очень незначительные.

«Дорогой наш, любимый и дорогой сын!» (Так и было написано: два раза «дорогой».)

«Пишу тебе с согласия папы. Мы долго думали и колебались, и я всю ночь не спала, всё плакала, не знала, что делать, но мы все-

таки решили, что ты уже большой и должен все знать, тем более, будет хуже, если кто-нибудь посторонний расскажет и нарушит твой покой».

Дойдя до этого места (представляющего собой цитату из арии Германна) и чрезвычайно заинтригованный, я уронил конверт, и тотчас на него наступили. Меня обгоняли и заглядывали ко мне через плечо. Солнце сверкало в широких окнах. Я шел по переходу.

Сразу же замечу, предупреждая возможные домыслы, что в дальнейшем никакой особенной роли это письмо в моей жизни не сыграло. Если я его запомнил, то по другим и мне самому не вполне понятным причинам. Мы помним одни факты и забываем другие; прошлое записывается по правилам, имеющим мало общего с его содержанием. Да и прошлое ли это? Порой мне кажется, что весь я один и тот же в одном времени, подобно тому как на старинном витраже события священной истории изображены все вместе. Вот я ползаю по полу, по квадратам горячего света под ногами бегущих, пытаюсь спасти конверт; вот я бреду в каменном зале за гробом Вики... Что было сначала, что потом?

«...и нарушит твой покой. В общем, не буду тебя мучить загадками. Позвонил один человек папе на работу и сказал, что необходимо встретиться, надо было сразу послать его подальше, но ты же знаешь папу, тем более он сразу не сказал, в чем дело, а когда пришел, то уже не выгонишь. Хотя держался скромно и прилично одет, сказал, чтобы мы не беспокоились и что он не аферист какой-нибудь и может предъявить документы, а как тут не забеспокоишься; папа ему очень спокойно сказал, что мы не милиция и нам его документы не нужны, но я на всякий случай посмотрела, он прописан в Мурманской области, а где остановился, неизвестно. У него нет на руке трех пальцев, я спросила, где оторвало, он ответил: на производстве, в общем, чуяло мое сердце недоброе.

Потом он стал рассказывать, что они из одного города и якобы он знал твою покойную маму, и все так складно, папа говорит, что все совпадает, не знаю, может, и совпадает, но разве это что-нибудь доказывает, рассказать можно все что угодно. А доказательств нет, да хоть бы и были, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Дорогой наш мальчик, ты знаешь, как мы к тебе относимся, я всю ночь проплакала, и я хочу тебе сказать, что мы твои родители и никому тебя не отдадим, а когда у тебя родится сестричка, то вы оба будете мои дети...»

И так далее... Письмо может показаться бестолковым, да еще эта манера писать без точек. Однако мачеха моя умела достаточно ясно выражать свои мысли, и если в этом послании она изъяснялась так

сбивчиво, то это было вызвано, я думаю, не одним только волнением. Видимо, она старалась исподволь подготовить меня к неожиданному известию.

Я сказал, что помню письмо слово в слово. Возможно, это не совсем так. Думаю, что какие-то фразы все же выпали из моей памяти, иначе оно не производило бы сейчас такого странного впечатления. Пытаясь поставить себя на место своих родителей, я спрашиваю себя, поступил бы я так, и отвечаю: нет. Появись на моем пути человек, оспаривающий у меня право считаться отцом моего сына, я предпринял бы другие действия и во всяком случае не допустил, чтобы мой сын получил такое письмо. Значит, оно было не совсем таким. Или же придется допустить, что мачеха скрыла от меня правду, то есть что позиции незнакомца были сильнее, чем следовало из ее письма. Быть может, письмо было лишь слабым отголоском событий, которые там происходили и о которых я никогда не узнал. В таком случае моей мачехой двигал не расчет, а отчаяние и растерянность. Именно это я почувствовал с необыкновенной ясностью.

Как бы то ни было, прочитав письмо, я ничего не понял. А может быть, понял все, но уверил себя, что не понял. Скрыл, так сказать, от себя самого эту нелепую новость. Делать было нечего, я вышел на крыльцо и уселся на верхней ступеньке. Весна, необычно ранняя в этом году, уже наступила. Дух тления витал в воздухе. Весна достигла той фазы, когда главная работа уже сделана, снег сошел, и нагая земля готова принять плодоносное семя. От бурой прошлогодней травы, от сырых досок крыльца поднимался гнилостный пар. Изумительная мысль неожиданно предстала передо мной. Мысль о бегстве. Иностраный легион! Единственное подразделение французской армии, на трехцветном знамени которого отсутствует слово родина.

## ГЛАВА 6

Крыльцо выходило на задний двор; через калитку, пробравшись вдоль забора, можно было дойти до угла Шестого лучевого просека. Здесь, на ветхих мостках, переброшенных через кювет, я поджидал по выходным дням моего отца. Он приезжал около десяти часов и шел от остановки трамвая в толпе родителей, и я видел издали его серый брезентовый плащ. На этот раз он не приехал. Я ждал все утро, ждал, сбегав с мертвого часа, после обеда, а вечером перечитал письмо мачехи, и мне бросилась в глаза фраза: «тем более будет хуже, если расскажет посторонний», — зловещий смысл этих слов только сейчас дошел до меня.

На другой день был урок немецкого языка, я сидел, уткнувшись в тетрадку и страхась взглянуть в окно, — и вдруг в самом деле увидел его: он сидел в беседке, спиной, но я разглядел его маленькую полу седую курчавую голову. Я услышал его голос, его отвратительный акцент; не помню, писала ли мачеха об этом акценте или я сам его придумал. Рука была закинута за спинку скамьи, и я узнал эту руку с отрубленными пальцами. Итак, он приехал за мной, рука готовилась схватить меня. Я отвел глаза от окна: так боец, поднимаясь после нокаута, обводит публику угасшим взором. У доски стояла ученица по фамилии Сеничкина, и я встретил ее молящий взгляд одинокого пловца в пустынном море. Эта глупая Сеничкина не догадывалась, каким пустяком была ее растерянность, какое это было счастье стоять у доски и спрягать глагол *müssen*, не думая ни о чем; все они не понимали своего счастья. Зазвенел звонок на перемену, во время которой я обдумывал оставшиеся у меня возможности. Мешкать было нельзя. С другого конца коридора Звонков, стройный, как принц Дакар, скользнул по мне таинственно-небрежным взором; но теперь наш заговор не имел значения. Какой-то малыш подошел ко мне, сказав: «А тебя вызывают к директору». Значит, он уже там, этот человек явился, чтобы увезти меня в Мурманскую область. Дверь в учительскую была отворена, завуч стояла у окна и говорила по телефону. Она подняла на меня глаза, продолжая говорить в трубку. Я попятился; но тут показалась учительница, спешившая на урок; пришлось возвратиться в класс.

Я уговорил соседку по парте поменяться со мной местами, чтобы меня не было видно из окна; позже я убедился, что беседка была пуста, — это подтверждало мои предположения. Возможно, он медлил, вняв уговорам директора подождать, когда кончится мертвый час. Мертвый час наступил, и я почувствовал, что дольше тянуть я не в силах. Я должен был немедленно что-то предпринять; все равно что. Голос воспитательницы произнес: «Поворачивайтесь на правый бок и ш-ш...» — это была ежедневная ритуальная фраза. Ее каблуки удалились по коридору. Это была последняя фраза — как удар судового колокола. Невольничий корабль отвалил от берега. Теперь спрыгнуть и вплавь.

С каждым мгновением движения мои убыстрялись. Кое-как я натянул штаны, затолкал болтающиеся шнурки в ботинки.

Уборная находилась в конце коридора. Закрыв за собой дверь, я стоял несколько минут с бьющимся сердцем, слушая тишину. Здесь была укромная гавань, где я чувствовал себя в относительной безопасности; нечто вроде промежуточной остановки, а также запретной зоны, куда не имели доступа взрослые. Здесь выясняли отношения,

сводили счеты, отсиживались во время урока, курили и переписывали сочинения; на подоконнике лежало все необходимое: тетрадные листы, огрызок карандаша и ржавое лезвие; здесь мастерили шпартгалки и возвращались в класс вооруженными до зубов. Сквозь замазанное мелом стекло сочился белесый свет, в бачке журчала вода. Собираясь с мыслями, я обвел глазами унылый интерьер, и вдруг меня осенило. Я взял с подоконника то, что там лежало, поднял рубашку и чиркнул наискось от левой ключицы вниз.

Рука дрогнула, и получилось плохо. Две алые бусины нехотя выступили из пореза. Мне стало досадно. Я брезгливо стер и стряхнул с пальцев вишневые капли. Прижав подбородком скомканную рубашку, я зажал бритву в щепоть и, не торопясь, нажимая, провел несколько штрихов крест-накрест. Но полоснуть сосок не хватило духу. Я стоял над облупленной раковиной, разинув рот и прижимая подбородком рубашку, и, как девочка, стискивал в ладонях воображаемые груди. Струйка воды бежала из крана, я смывал кровь из ран, которые нанес себе. Зачем? Я и сам не знал. Чтобы испытать силу воли на случай непредвиденных обстоятельств. Так я объяснил это себе.

До вечера я болтался где-то на территории, а ночью исчез из лесной школы.

## ГЛАВА 7

Был человек в земле Уц, и человек этот был я. Не было у него ничего, и все ему было подарено. Было у него все, и всего он лишился. Прошу уволить меня от пересказа дальнейших происшествий. Они неинтересны. Не то чтобы я забыл за давностью лет, что именно произошло дальше, нет, в памяти и сейчас стоит картина бесконечной дороги, по которой я намеревался дойти до станции, запах мокрого леса, серебристо-черная ветошь прошлогодней листвы, луна в голубоватом дыме облаков, и звук несется из неразличимой дали времен, и грохот вагонов, громыханье платформ, цистерн... Словно во сне, я простер руки к этому лязгу и грому... И ноги мои потащились по песку, и сильные и грубые руки, как клещи, вознесли меня на тормозную площадку, трубный голос изрыгнул чудовищный мат — и я уехал.

Но ощущение некоего перелома уже миновало. Разряд произошел, прочее было лишь затихающим эхом. В общем же, если говорить попросту и без эмоций, никаких непредвиденных обстоятельств не случилось. Меня разыскали и вернули. Я был заключен в изолятор, где до меня находился ученик, у которого подозревали скарлатину; приехал врач, разглядывал мою грудь, проверял сухожильные рефлексы и щупал яички, — все это называлось так: «пубертатный криз».

Как это часто бывает, ученое слово внесло успокоение. Таково терапевтическое действие терминов: ничего не объясняя, они восстанавливают порядок, нарушенный вторжением таинственного и необъяснимого. Они как будто дают понять, что таинственное тоже предусмотрено во всеобъемлющей картотеке знания. Кончилось тем, что родители взяли меня из школы, в качестве вознаграждения я был освобожден от экзаменов, но к моему рассказу эти подробности имеют лишь косвенное отношение, и дело не в них.

А дело в том, что это была счастливая ночь! Единственная в своем роде счастливая ночь вдохновения и свободы. Стоит мне только представить ту дорогу, по которой я брел, шагал, шествовал с одним лишь намерением — уйти прочь, и чем дальше, тем лучше, сырую гниль весеннего леса, тусклый туман и высоко в небе, в светлом кипении облаков голубой кружок луны, стоит увидеть себя на пустынном откосе, увидеть облитые мертвенным светом стальные рельсы, слепящее огненное око, услышать издали зовущий гудок, стоит мне только вспомнить все это, как поднимается со дна души то, что когда-то затопило ее до краев. Я шел и расплескивал свою свободу. Я больше ни о чем не думал. Я никого не боялся. И я уже не вспоминал о незнакомце и мачехином письме. Быть может, смысл его был на самом деле совсем иной, кто знает? Быть может, оно, это письмо, было благодеянием. Быть может, в высшем смысле оно стало лишь поводом. Пускай меня разыскали, вернули и посадили под замок, — я был уже не тот. Я выкарабкался из самого себя: там, в школьной уборной, как некая улика, валялась моя лопнувшая кожа, там коченеело изжитое и опостылевшее детство, там осталось все, чем я жил, мыкался и терзался еще вчера, все это валялось и засыхало, как старая кожа. Юная, голая и дрожащая от холода змея, вот кем я был теперь, вот кто уцепился за поручни последнего вагона и, подхваченный чужими могучими руками, вскарабкался, стуча хвостом, на тормозную площадку, — и покатил!

Эпизод с письмом не имел последствий. Теперь я понимаю, что в этом нет ничего странного: мы как будто заключили молчаливый договор, я помалкивал о письме, словно никогда его не получал, они тоже — словно никогда его не писали. Разговоры шли о том, как это я не попал под поезд, не простудился и т. п. Родители были напуганы. Случившееся перечеркнуло то, что было его побудительной причиной; так на пожаре не спрашивают, где та спичка, от которой запылал дом. Другими словами, события — бегство, поиск, возвращение, мое молчание, кажется в течение нескольких недель, раны на груди, которым я отказывался дать какое-либо объяснение, — были доста-

точным поводом для того, чтобы не вспоминать более о незнакомце, а может быть, мачеха инстинктивно понимала то, что теперь, через много лет, стало ясно для меня самого, — что письмо было лишь толчком. Таким образом, оно утратило всякое значение. Кстати: куда оно делось? Кажется, я его выкинул по дороге. Оно могло бы выдать меня, если бы меня поймали. Меня поймали, но письма уже не было. Вполне возможно, что оно выпало у меня из кармана, и я лишь подумал о том, что оно могло служить уликой. Ибо мысли, когда мы о них потом вспоминаем, нередко превращаются в нашем воображении в факты, и, следовательно, некоторые так называемые факты на самом деле были всего лишь мыслями. Что же было на самом деле? Получается, что на самом деле письма не существовало.

Таким образом, возникает вопрос, в какой мере все случившееся следует считать действительным происшествием, а в какой — отности на счет пресловутого «криза». Приезжал ли на самом деле этот человек? Ведь он тоже как будто согласился с тем, что его не существует, и, насколько я помню, никогда больше у нас не появлялся. То был призрак, однажды явившийся из туманных и гиблых мест, — чтобы сгинуть там вновь. Вскоре после этого началась война, и все окончательно потонуло.

## ГЛАВА 8

Из чащи лет я смотрю на свою юность, как старцы на Сусанну. Странно и дико подумать, что это то самое тело, в котором я протасился сквозь все эти годы. Мое тело — вот единственное, что соединяет нынешний день с тем далеким и безмянным, о котором даже нельзя сказать, сколько их было, о котором только и помнишь, что это был душный облачный день без дождя и без солнца. Я стою перед створкой шкафа, спиной к окну, и мое тусклое, окруженное серебристым нимбом отражение вперяется в меня сверкающим взором. Есть что-то постыдно-притягательное в этом свидании с чешуйчатым двойником. Вот, если угодно, замечательная черта эпохи, наложившей радикальный запрет на наготу, — ибо наша эпоха упразднила уединение. В коммунальном мире единственным местом, где вы могли остаться нагишом, была общественная баня. Никогда не существовало столь целомудренного общества, и следствием этого был особый градус чувствительности. Зал вздрагивал, как от удара током, когда вдруг оказывалось, что девушка моей мечты сидит в бочке с водой, откуда торчала ее прелестная головка, и дух захватывало при мысли, что произойдет, когда ей надоест сидеть на корточках. И верхом дерзости и отваги была гипсовая «Девушка с веслом» где-нибудь в Парке культуры, в бетонных трусах, забронированная лифчиком.

Из провала за мной шпионит мое «я» с тем же очарованно-обалделым выражением, с каким я вперяюсь в него, и вопрос, мучающий меня, — как я выгляжу, каков я? — остается без ответа. Я не в силах соединить части своего тела в единый образ и увидеть себя чужими глазами, скажем точнее: глазами незнакомой, слегка заинтересованной женщины. И я вижу только то, из чего я составлен: узкие плечи, грудная клетка словно плетенка. Несколько тонких белесых шрамов перечеркивают наискосок мою грудь. Длинный впалый живот и мальчишеские бедра. Что касается того, что именуют мужским естеством, оно у меня позорно маленькое: жалкий грибок выглядывает из темных завитков.

Звонок в коридоре врывается в мой слух — я застигнут на месте преступления. Тишина и снова звонок. Я открываю, полный стыда и смятения. На площадке стоит мачеха, держа за руку моего маленького брата Даню, в другой руке у нее сумка с картошкой. Она везет ее из Мытищ. Капельки пота, как роса, покрывают ее лицо, на губах пламенеют остатки помады, прядь волос выбилась из-под косынки, она отдувает ее уголком рта. Шествие по коридору втроем. Впереди я в майке и трусах, с тяжелой кошелкой, за мной плетется мой брат и бредут, шаркая, ее туфли. Наша комната, до невозможности загроможденная, заставленная мебелью, на столе швейная машина и гора кукол. Белый облачный день. Усталый малыш кричит на полу, стаскивая галоши. Мы избегаем смотреть друг на друга, всегдашняя неловкость стусилась и стоит между нами, словно перегородка из тонкого стекла — заденешь, посыплются осколки; мы обмениваемся незначительными словами; минуту спустя она исчезает, ее тяжелые шаги в коридоре, звук накинутаго крючка, затем из уборной доносится шум воды. Она появляется, посветлевшая и умиротворенная. Мы все постепенно приходим в себя. Пометавшись по комнате, стянув через голову тесное платье, она облачится в пестрый халатик, который вернет ей энергию и уверенность, ровное и неколебимое чувство долга.

После долгих лет войны и разлуки моя юная мачеха все еще напоминала деревенскую девушку, круглолицую и крепконогую, и казалась много моложе моего отца. Эта разница с годами даже усилилась: отец старел и ветшал на глазах, а она молодела, что не могло не отразиться на ее отношении ко мне. Обрисовать это отношение было бы трудно, могу лишь сказать, что виной тому была, как мне кажется, не только присущая мне манера все осложнять. В нашей семье всегда был элемент чего-то не договариваемого до конца, существовала непроясненность, похожая на душный ватный день, не разрешившийся дождем. Некоторые темы, а значит, и целые области язы-

ка находились под запретом, и я думаю, что здесь была полная аналогия с обществом, где вдобавок существовал запрет выяснять, что именно находится под запретом. Например, ни разу — что, впрочем, легко объяснимо — не заходил разговор о фронтовой жизни моего отца, и я так и не знаю толком, где он воевал и при каких обстоятельствах был ранен. Вообще он не любил упоминаний о войне, не терпел патриотических радиопередач, с отвращением отцеплял и швырял в ящик буфета свои медали из дешевого металла, похожего на олово, когда оба они возвращались после долгих и, как всегда считалось, успешных хождений по учреждениям. И такой же запрет был наложен на таинственный сюжет их брака, заключавший в себе нечто священное и стыдное, подобно некоторым государственным секретам, не обсуждаемым, хотя и бывшим у всех перед глазами. Интересно, что они и вели себя так, словно мачеха не была женой и хозяйкой, а какой-нибудь белоцерковской родней — мой отец происходил с Украины — на ролях не то экономки, не то домработницы; они не целовались, не сидели рядом, и разговор их чаще всего имел вид коротких монологов, которые мачеха произносила перед отцом, останавливаясь, чтобы выслушать его молчаливый ответ. Ее робость — хорошо ли она пригостила, постирала, убрала — сочеталась с бесспорным первенством, которое принадлежало ей в нашем доме.

Странно сказать: я не придумал способа обратиться к ней. Называть ее мамой у меня не поворачивался язык; еще глупее было бы говорить ей «тетя», и к тому же напоминало бы постоянно о нашей ситуации. В итоге я не нашел ничего лучшего, как говорить ей «ты» в ответ на смиренное «Леня» или даже «сын», произносимое обезоруживающим грудным голосом, каким она умела говорить, жесткое «ты», вытирающее, как кость, и которое я тщетно старался скрыть, проборматывал и опускал где только можно. И ничто не выражало откровенней, чем это проклятое местоимение, этот злосчастный эрзац отсутствующего имени, ничто не выражало откровенней тягостную стеснительность, спеленавшую нас, как ватное одеяло. Глухое одеяло стыда укрывало нас от зоркого взгляда соседей, всегда склонных принять одну из двух сторон, словно мы в самом деле были враждующими сторонами, жалеющих больного отца и осуждающих мачеху, или, наоборот, жалеющих мачеху и осуждающих отца, как будто кто-нибудь непременно был жертвой другого. Стыд и необъяснимое чувство стыда (за что? и перед кем?) были баррикадой, за которой отсиживались я и мои родители, и так же, как скрывалось от всех, что она покупает продукты на рынке на деньги, вырученные от продажи тряпичных кукол (согласно официальной версии она отоваривала какие-то спецталоны, якобы получаемые отцом), так

скрывались и мистифицировались наши семейные обстоятельства, наша неслаженность, наше необъяснимое неблагополучие, которое она преодолевала единственной бесспорно принадлежащей ей властью — властью любви. И только у одного человека все было в порядке, и он служил чем-то вроде рекламы нашей нормальной и счастливой жизни, человек, у которого была настоящая мать и настоящий отец: это был мой брат Даня, родившийся осенью 41-го года, в грозный месяц войны, когда все висело на волоске; с ним можно было вести себя естественно и свободно, можно было приласкать его, можно было шлепнуть. Тогда как во мне видели и своего, и не совсем своего, и, пожалуй, даже слишком своего, — некстати вымахавшего переростка, рядом с которым бросалась в глаза ее почти неприличная молодость.

## ГЛАВА 9

Война окончилась победой. Я имею в виду войну, которую мачеха вела за возвращение нам довоенной площади в Лялином переулке. Эта война в канцеляриях, со своей стратегией и тактикой, отважными вылазками и терпеливой осадой, шла с переменным успехом всю зиму сорок четвертого года и часть весны, то есть в месяцы, непосредственно следовавшие за приездом моего отца, война, где он представлял собой осадные орудие, вроде бревна, которое раскачивают, чтобы ударить им в неприятельские ворота. Но никогда не было стопроцентной уверенности в успехе, и это, я думаю, было лишь частным проявлением некоего универсального закона.

Если бы меня спросили: какая самая характерная черта нашей жизни во все времена? — я бы ответил, не задумываясь: ненадежность. Заметьте, я не говорю безнадежность. Но никогда и нигде вас не покидает чувство, что вы словно ходите по гнилому полу. И пусть вас не усыпляет кажущаяся неподвижность русской жизни: ничто на самом деле здесь не внушает доверия, ни вещи, ни люди, ни самые основы их существования; никакая теория не гарантирует прочности этих основ. Гигантская махина держится на веревочках и подпорках. И никто не поручится за то, что на следующем повороте у тройки не отвалится передок, не отскочит колесо и не покалечит прохожих: ведь так уже бывало. Пускаться на розыски метафизических оснований этой ненадежности нет нужды. В России метафизика сидит у вас на лестнице. История просит милостыню на углу, а по невыметенным улицам, мимо обалделых пешеходов, в черных автомобилях проносится абсурд. И на каждом углу вы слышите, как что-то тре-

щит, чувствуете, как все шатается, и из всех щелей и прорех к вам заглядывает злодейский фатум. Где стол был яств, там гроб стоит; в любой день могут кончиться продукты. Исчезнут мыло и спички. Снег завалит дороги. Грязь затопит города. Ведь так уже бывало. Однако я замечаю, что вновь растекаясь мыслью по древу; буду лучше продолжать.

Мой отец был демобилизован осенью 1944 года; к этому времени мы вернулись из эвакуации и жили на дальней окраине за Соколом, на улице Розы Либкнехт. Думаю, во всей округе не было человека, который мог бы припомнить, кто такие были Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Что касается самой улицы, то она представляла собой пустырь между двумя рядами наспех оштукатуренных бараков, в одном из которых мы жили. Дальше простирался неопределенный пейзаж, пространство, заваленное обломками кирпичей, заросшее бурьяном, все это буграми спускалось к оврагу, а за оврагом маячили еще какие-то постройки. Там тоже шла своя жизнь, трепыхалось белье на веревках, раскачивались на шестах скворечники, но была огромная разница между нами и заовражными жителями, ибо мы обладали тем, чего у них не было. Мы обладали московской пропиской. Мы были римские граждане, а они — нет. Человеку других эпох будет трудно понять, что значило иметь прописку, он подумает, что пропиской назывался штамп, удостоверяющий, что вы живете в таком-то доме. На самом деле и дом, и вы в нем существовали оттого, что была прописка. Подобно Слову — созидателю вещей, подобно имени, которое живет прежде своего носителя, подобно улыбке Чеширского кота, прописка была способна вести мистическое самостоятельное существование; вот почему обладать пропиской, живя в обманном глиной бараке, было бесконечно важнее, чем обитать в хоремах, но без прописки.

В этом бараке он разыскал нас. Отворилась дверь, и он вошел, неся фанерный чемодан с ручкой, которая была сделана из обрывка ремня и прибита гвоздиками, другой рукой он придерживал лямку заплечного мешка. Он вошел и поставил вещи на пол. Был полдень, и стояла солнечная погода. В расстегнутой шинели, в выцветших серо-зеленых галифе и тупоносых кирзовых сапогах, он сидел на табуретке, так что полы шинели свисали до пола, и манил двумя пальцами малыша, но тот не хотел вылезать из своего угла между окном и диваном и смотрел на него не мигая; испуг и желание смеяться одновременно выражались на его лице. Затем тот, кто сидел на табуретке, повернул лицо ко мне, усмехаясь неживой улыбкой, и лицо это было как бы освещено только с одной стороны: одна половина улыбалась, а другая была мертва. Лоб был продавлен, а вместо гла-

за — темная складка с кустиком ресниц. В эту минуту с улицы донесся шум, и голос крикнул: «Машина!» Это была мусорная машина, приезжавший раз в неделю вонючий фургон для собирания отбросов. Тотчас захлопали все двери, кто-то бежал по коридору, и брякала дужка. Отец повернул к дверям свое продавленное лицо, дверь распахнулась, и мачеха в пальто, наброшенном на домашний халат, с голыми ногами, гремя пустым ведром, влетела в комнату и обхватила отца. Были последние ясные дни октября, на столе стояли тарелки с остатками еды, стояла бутылка, мой отец спал на диване, солнечный отпечаток окна лежал на полу, и Дания на корточках, перед раскрытым чемоданом, разглядывал диковинный немецкий трофей из фарфора: румяный кавалер в голубой треуголке обнимал сзади за талию стыдливую поселянку. Мачеха потом продала этого кавалера на Крестовском рынке за шесть кочанов капусты, и мы везли их через весь город на скрежещущих санках под летящим снегом, по скользкой мостовой.

## ГЛАВА 10

В апреле мы простились, наконец, с Розой Либкнехт, и несколько недель прошло в счастливой изнурительной суете отогревания старого очага, с которым у всех, кроме моего брата Дани, были связаны неувыдаемые воспоминания. Вещи хранят верность в разлуке. И не горестные утраты, а счастливые узнавания ожидали нас, когда, разомкнув челюсти ржавого замка, мы вошли в нашу опустошенную комнату; не грязный и бедный двор предстал моему взору, когда я выбежал через черный ход на крыльцо, а милый двор детства, где все тотчас вспомнило и узнало меня: и пожарная лестница, и след футбольных ворот на кирпичном брандмауэре, и остов снеготаялки, стоящий на том же месте, что и пять, и десять, и, может быть, сто лет назад. В комнате, где в наше отсутствие жил, по выражению мачехи, «цыганский табор», стояла железная печка, но кое-что уцелело, остались буфет и зеркальный шкаф; теперь к ним прибавилось то, что мы привезли из барака. Удивительным образом при общем продолжающемся упадке благосостояния количество вещей не уменьшалось, а росло.

Но она, эта комната, берегла и некую тайну. За косматой от пыли занавеской на антресолях лежали стопки и вороха нот, объединенные по углам целые оперы в старинных переплетах, темперированный клавир Баха, прелюдии и фуги Дитриха Букстехуде в переложении для фортепиано. Трухлявые романсы и революционные песни

двадцатых годов... Красный Веддинг... Невозможно было придумать ничего более странного, безвозвратно ушедшего. Я созерцал эти руины, погрузившись в какой-то транс, отряхивая пыль и копать, между тем как Даня, стоявший у подножья стремянки, задрал голову, топал ногой и требовал, чтобы я сбросил ему что-нибудь.

Наваждение было недолгим. Со страниц бессмертных творений веяло смертью, сыпался прах; сыпались высохшие слюдяные трупки, все было усеяно, словно сыпью, бурными пятнышками. За хрупкой коростой обоев дремало жуткое полчище. Так дремлет, ожидая своего часа, рать Фридриха Барбароссы в пещере горы Кифгейзер. Клопы перестали быть домашним приключением; их присутствие приняло исторические масштабы и обрело исторический смысл. Годы великих переломов, индустриализация и коллективизация совпали с эпохой небывалого расцвета этих животных, триумф социализма был и их триумфом. Война застала их на этапе нового прилива сил, как если бы они были наделены таинственным даром предчувствия близкого катаклизма. До тех пор пока существовали клопы, можно было с уверенностью предсказывать, что судьба, схватившая за шиворот страну, не отпустит ее. Исчезновение их, напротив, означало бы конец истории. Клопы обнаружили исключительную способность к экспансии, дело шло уже не о жалких антресолях. Они жили под всеми широтами, в батареях центрального отопления, в мебели, на потолке. Клопы ползали по проводу, на котором висел матерчатый абажур. Праздник Первого мая пришлось посвятить военным действиям — что было равносильно покушению на существующий порядок. В углу на керосинке булькала смесь гуталина, черного хозяйственного мыла и уксуса в кастрюле, которая в дальнейшем не употреблялась ни для какой другой цели.

«Даня, отойди прочь!» — вскричала мачеха. Крохотная, ставшая для него тесной кровать мальчика и старая никелированная кровать родителей были атакованы с молниеносностью, напоминавшей нападение японцев на Перл-Харбор. На вражеские гнезда обрушились струи кипятка. Затем была двинута в ход кастрюля. Дымные сумерки сгустились в комнате, у стены сох матрац, мачеха, с прыгающей грудью, взмахами голых рук гнала воду к порогу, выжимала тряпку и, сдувая волосы со лба, озирала поле сражения. Отец угрюмо курил в коридоре. Антресоли были пусты, не ведаю, когда это произошло: там была расстелена газета, и на ней одиноко стоял фанерный чемодан. Все остальное исчезло, возможно, из соображений безопасности, ибо, кроме нот, там были и книги, грязно-серые политические сочинения баснословного времени, о котором не полагалось вспоминать. Однако у меня мелькнуло смутное подозрение, что соображе-

ния эти были предлогом для того, чтобы вынести прочь и спалить в кухонной плите какое-то иное прошлое. Что это было за прошлое? Я не успел задуматься над этим. День закончился, и настала ночь. Ночью же у них были другие заботы.

Я лежал посреди комнаты на раскладушке, имитируя дыхание спящего; зажмурившись, я пытался нырнуть в темный омут сна. Напрасно: меня тотчас выносило на поверхность. Что-то происходило, босые ноги неслышно опустились на пол, шаря ночные туфли. Я взглянул. Занавеска была отдернута, в полутьме на кровати смутно рисовались плечи и голова мачехи: она полулежала, приподнявшись на локте. Отца не было. Отец стоял у окна с пистолетом в руке и смотрел в белесую тьму. Дом был оцеплен. По двору крались темные фигуры. С трех сторон на крышах были установлены пулеметы. В переулке стояли крытые грузовики. А над головой раздавались шаги, это немцы ходили наверху в кованых сапогах, искали его. Мой отец повернул к двери свой единственный глаз, и туда же медленно повернулось его оружие. Его взгляд скользнул по моему лицу, он мог заметить, что я не сплю, но не обратил на меня никакого внимания. Шаги наверху затихли, это могло означать разное: что каратели ушли или что они затаились; может быть, они уже вошли в нашу квартиру и стоят за дверью. Озираясь, он ждал. Мачеха в длинной ночной рубашке сидела на корточках перед буфетом, наливала водку в граненый стаканчик и накапывала капли. Отец сидел на кровати, ему было холодно, он дрожал и стучал зубами. Она уговаривала его лечь, подробно доказывала, что они уехали. И в самом деле, с улицы доносился глухой удаляющийся рокот автомобиля. «Они во дворе, — сказал он, — куда ты дела пистолет?» Это был старый «ТТ» с просверленным стволом, он привез эту игрушку вместе с медалями и фарфоровым кавалером. Утром трещал будильник, и ночь казалась далекой и нереальной. Серая муть рассвета оседала в комнате, как в аквариуме. Отец спал, упершись в грудь подбородком, я видел его лоб с перламутровой вмятиной, и голая рука мачехи обнимала его за плечи. Некоторое время они лежали, по-видимому, не в силах очнуться. Внезапно мачеха вскакивала, придерживая на груди рубашку, тянулась за лифчиком, мучалась с пуговицами на спине. Ее движения становились уверенней, вскинув голову, со шпильками в зубах, она скручивала узлом волосы, затягивала на ходу поясok халата, и в синих глазах ее горела неукротимая решимость жить, двигаться и будить жизнь в других, в хнычущем малыше, в отце, который сидел на краю кровати, протирая свой загадочный глаз, и долговязом пасынке, чьи ноги торчали из продавленной раскладушки, упираясь в детскую кроватку. Я вылезал. Я стеснялся своих длинных тощих ног. На

кухне мачеха умывала Даню, пригнув его голову над раковиной, как над кормушкой. Бледные тени соседей тянулись по коридору. Журчала вода в уборной. Радио распевало за стеной. Она возвращалась в комнату, жестом жрицы неся чайник и сковороду. Мальчик, словно кукла, поворачивался в ее руках, застегивающих пуговицы, завязывающих тесемки. Отец с поникшей головой тыкал вилкой в тарелку; «Пора, пора!» — лаял диктор. На двор с оловянных крыш низвергался потоп света, солнце сверкало в слюдяных глазницах чердаков. Радио пело и ликовало. Так мы жили.

## ГЛАВА 11

Никогда я не вел дневника, но он существует и год за годом свидетельствует о том, чем я был; можно листать его, выхватывая здесь строчку, там абзац, но прочесть целиком невозможно, как невозможно обойти все улицы и переулки города. Чудовищный дневник моей жизни — вот что такое этот город под названием Москва, о котором я не могу сказать, хорош он или плох, безобразен или прекрасен: это письмена моей жизни, вот и все; это мысли, люди, мечты и надежды, превратившиеся в карнизы и подворотни; и плестись по улице — все равно что перечитывать густо исписанную и исчерканную страницу. И только я могу ее разобрать. Теперь многие страницы этого дневника вырваны, громады новых зданий подобны чистым вклеенным листам, на которых мне не о чем больше писать, остается ворошить то, что осталось. Москва, костлявый город нашей юности, как серое привидение, маячит перед глазами. Бесконечное лето тянулось, вобрав в себя и весну, и осень; календарь обманывал нас: то были не месяцы, а годы. Как стремительно уносилось назад время! И каким медленным казалось существование. Целые годы пролетели между апрелем и ноябрем. Погибла адская Германия, но это было германское лето — по выпренней многозначительности его периодов, по медлительности переобремененного синтаксиса. Тогда, в этом нет теперь никакого сомнения, совершились главные события моей жизни. Однако должен был существовать некий центр времени, подобный ядру сферической вселенной, ибо точно так же устроена сферическая вселенная воспоминаний: чем ближе к центру, тем масштаб вещей крупнее; когда же был этот день?

Возле Кировских ворот, все знают, находится почтамт; последуйте за мной через мрачный каменный свод, мимо лесенки, ведущей в подземелье сортира, и мы попадем во двор, залитый лужами, забросанный лохмотьями оберточной бумаги, а там крыльцо, узкая

лестница, коридор, и чем дальше вдоль дверей, мимо урн, плакатов, доски с приказами, мимо снующих женщин с бумагами, с жестяным чайником, чем дальше, тем сильнее становился особенный запах этого учреждения — остро-безвкусный запах газетной бумаги, металлический привкус во рту и запах рук с лоснящимися черными пальцами. Чем ближе, тем отчетливей слышался рокот какого-то сложного производства. И, наконец, визжанье вращающихся вальков, шорох транспортера врывались в слух, мертвенное сияние газовых трубок изумляло глаз, и голоса женщин в громадном помещении звучали гулко и слитно, как на вокзале. Голос чревовещателя объявлял из репродуктора:

«Поступает «Красная Звезда».

Поступала «Работница», поступал «Блокнот агитатора», в ярком сумраке упаковщицы в синих халатиках, с лиловыми лицами выстраивались вдоль конвейера, и навстречу им из дальних закоулков, качаясь и подпрыгивая, ехали кипы, перевязанные шпагатом. И девочки простирали к ним тонкие руки.

Скоро все свободное место возле конвейера и в клетушках загроздили тюки, повсюду валялись обрывки оберток, руки работниц проворно раскидывали по ячейкам газеты, блокноты, журналы, складывали, заворачивали, швыряли на конвейер хрустящие пачки, бумажные и джутовые мешки. Из люка в потолке съезжали на широкий лоток мешки и пачки из второй экспедиции. «Девоньки, поживее, а ну, налетай!» — кричала Тамара, переступая крепкими ногами, словно молодая лошадь, среди сыплющихся пачек и подняв к люку залитое лунным светом старое лицо. Все это надлежало рассортировать, записать в ведомости и спустить в нижний люк.

«Девоньки» — это были три бобылки-старухи, проработавшие здесь всю войну, Павлик Цацулин и я. Все вместе мы составляли, под начальством Тамары, коллектив сортировки. Холмы мешков и пачек грозоздились вокруг нас, плыли по конвейеру к грязному пологу из мешковины, прикрывавшему люк. Оттуда, словно из преисподней, тянуло сыростью, холодом Стикса. Оттуда гремел мат. Внизу находилась отправка. Там метался по платформе, бранясь и кашляя, инвалид на алюминиевой ноге, лил дождь, мешки летели и шлепались в темные недра фургонов, где их подхватывали грязные мускулистые руки, тяжелые автомобили, урча и сотрясаясь, выезжали один за другим из ворот, в брызгах луж, наперерез трамваям, катили вниз по улице Кирова, через Орликов переулок, мимо фабрики «Большевичка», а там, за площадью вокзалов, в дымах и туманах уже стояли, дожидаясь, составы. И длинные, лоснящиеся от дождя вагоны с облупившимися гербами везли нашу продукцию, бумажный груз в да-

легкие области великой страны, над которой не заходило солнце, над которой плыли созвездия, над которой клубились тучи и Божье око, склоняясь, изредка роняло слезу.

Это был странный товар! Никто из тех, кто упаковывал, перевязывал, сортировал, записывал в ведомости эти кипы бумаги, не относился к ней иначе, чем к бумаге, как будто редакции и журналисты существовали только для того, чтобы сделать ее пригодной для сортировки и записывания в ведомости, и леса падали для того, чтобы было что развезить грузовикам и вагонам; однако истинный смысл газет был иным. Всем своим существованием газеты опровергали центральный тезис государственной философии о том, что бытие определяет сознание. Ибо здесь сознание творило свое собственное, автономное бытие, не имевшее ничего общего с действительным.

И люди это знали. Люди, которые выстраивались по утрам в очередь перед киоском, не ожидали найти в газете чего-либо, что имело бы отношение к их действительной жизни. Это было бы так же странно, как ждать от оперного певца, что он споет частушки. Газета жила другой жизнью, которой никто никогда не видел и знал, что не увидит. Слова, которые она употребляла, имели другой смысл. Газета говорила: Народ. Но каждый понимал, что речь идет вовсе не о том народе, который бродит по улицам и толкается в очередях. Газета говорила: Страна, и всем было ясно, что это совсем не та убогая и разоренная земля, на которой все они жили. Она произносила — Победа и другие праздничные слова, но они означали не ту страшную, с выколотыми глазами победу, которая торговала зажигалками на Тишинском рынке и стучала деревянным обрубком по вагонам пригородных поездов, сирым голосом пела песни и протягивала шапку. Газета говорила: Вождь! — и воображению являлся человек, который существовал в особом пространстве, в византийской вечности наподобие золотого неба икон; представить его себе ходящим по земле было так же невозможно, как встретить в переулке Георгия Победоносца.

Отсюда вытекал особый статус действительности: действительность превратилась в постыдную тайну. Ибо не может быть двух миров, и люди это знали. Они знали, что их жизнь носит нелегальный характер. У каждого было чувство, что он со своим жалким бытом, со своими незаконными бедами и заботами — какой-то ненужный шлак, в то время как вся страна жила радостной героической жизнью. В конце концов они соглашались признать, что они, на самом деле, выдуманы вражеской пропагандой, что их попросту нет! Но они знали и кое-что другое: что как бы ни было плохо, может быть еще хуже. Это было законом их жизни. Предел достижимого благо-

состояния был близок, тогда как пределов возможного ухудшения никогда нельзя было предвидеть. Люди заключили немое соглашение с государством: они помалкивают, а оно разрешает им жить, как они живут, на птичьих правах.

## ГЛАВА 12

Павлик Цацулин ехал с фронта к родным на Урал, по каким-то причинам застрял в Москве и жил у дяди, капитана госбезопасности. Потом как-то само собой оказалось, что никакого дяди не существует, а ночует он на вокзале; женщины ходили к начальству, в конце концов Павлику разрешили ночевать в экспедиции, временно, пока не будет закончен ремонт в общежитии работников связи — который, правда, еще не начинался. Ночью Павлик лежал на пачках вчерашней почты или на столе в кабинете начальника экспедиции, а на рассвете отправлял печать на ранние утренние поезда.

Таким образом, его рабочий день длился до обеда, после чего он уходил «по делам», которых у него не было, или покурился где-нибудь в холодке, разувшись и лежа перед своими сапогами, на которых были развешаны черно-бурые портянки. Павлик Цацулин ходил в рыжей кургузой шинели без хлястика, в гремучих кирзовых сапогах, на груди у него брэнчали медали, он был худ, прыщав, голубоглаз, с рыжими ресницами и рыжим пухом на щеках. В полдень радио объявляло перерыв, мы стояли на галерее в большом здании почтамта, внизу под нами кишел людьми почтовый зал. Мне нужно было обедать, Павлику пора было идти по делам. Мы мешкали. Наконец на другом конце показались две девушки из военной цензуры, высокая и низенькая; завидя нас, они пошли в ногу, глядя перед собой и подрагивая одинаковыми прическами, — так войска меняют шаг, проходя мимо трибун.

Павлик вытащил из ветхих штанов коробку «Казбека».

«Я с ней в ресторан ходил, — сказал он, имея в виду высокую, которая нам обоим нравилась. — Пиво пили. Закурить хочешь? Ну, я пошел».

В коробке оказался вместо папирос самосад. Павлик свернул огромную козью ножку, и подковки его сапог загремели по каменному полу. Из экспедиции вышла Тамара. Мы спустились по служебной лестнице и вышли на мокрую, шумную и толкучую улицу Кирова, в плеск луж, шорох галош и гуденье автомобилей. Тамара рассказывала:

«Соседка у меня больная, рак у нее или что».

Оказалось, что в воскресенье Тамара ездила на Тишинский купить что-нибудь для соседки. Там она увидела Павлика Цацулина. Павлик торговал газетами и журналами. Он стоял с пачками в обеих руках и выкрикивал: «А вот кому Британский Союзник?»

Тамара хотела ему сказать: что ж ты, паразит, делаешь? Ты нас всех под монастырь подводишь! Но не решилась.

«Лучше ты ему скажи. Может, у него совесть проснется».

Так шли мы в толпе прохожих, и машины с плеском и шелестом проносились мимо с обеих сторон — по мостовой и в темных стеклах витрин. Тамара была невысокая плотная женщина лет сорока. Ее шаги мелко постукивали рядом со мной. Нас толкали, мы расходились, пропуская встречного, и снова шли рядом. Впереди показался кособокий переулок, где мы должны были распрощаться. Она жила где-то поблизости, а я направлялся в столовую. В кармане у меня лежали два талона на «второе горячее», и я различал необъяснимым чутьем за два квартала доносившийся оттуда запах мучной подливки и пригорелого картофеля. Голос Тамары раздавался рядом:

«Я твою Пашеньку давно раскусила, и медали он себе купил, это я тебе точно говорю... “Двадцать лет Красной Армии”, эва куда! Там же и купил... Там все продается. Я сама видела. Хочешь, орден Ленина, что хочешь...»

И тут произошел, не могу понять каким образом, неожиданный и нелепый случай.

Из кривого переулочка выскочил «виллис» — юркая коробочка, завизжал тормозами, затем откатился, вильнул в сторону, газанул и исчез в потоке машин на улице. Тамара осталась лежать на мостовой.

Я подскочил к ней.

Она открыла глаза.

«Ох, мамоньки, — сказала она. — Страсть-то какая. Никак жива?»

«Что же вы... как же вы...» — бормотал я.

«О-ох... И не спрашивай. Сама не знаю».

Вокруг нас стал собираться народ. Подошел старичок в картузе и белых усах.

«Вам надо сделать укол. Тут есть больница».

Вероятно, он имел в виду поликлинику на противоположной стороне, она находится там по сей день. Перед входом, на тумбе, лев, похожий на ребенка, сидящего на горшке, обнимает лапой каменный щит с гербом, должно быть, давно и бесследно сгинувшего на чужбине рода.

«Ну да еще, — сказала Тамара, поднимаясь. — Еще мне уколов не хватает. Авось, до свадьбы заживет».

«Скажите ей, — сказал старик, — что ей не о свадьбе думать надо. Скажите, что у нее может начаться столбняк».

«Чего?» — спросила Тамара.

«Столбняк».

«Ох, — простонала она, — Леня, милый. Голова-то как болит: как бы сотрясение мозгов не вышло».

«Вы не можете так идти. Я за вас не ручаюсь».

«Ладно, дедуля. Иди по своим делам».

«Тогда, — сказал старик, — придется вызвать “Скорую помощь”».

«Че-го? — спросила Тамара, нахмурясь. — “Скорую помощь”?.. Бог подаст! — рывкнула она. — Много вас, помощников!.. А вы чего стоите, нечего на меня глазеть. Расходись! Леня, милый, — забормотала она, — пошли отсюда. Пошли скорей».

«Видал? — шептала она, уцепившись за меня и сильно хромая. — Кто ехал-то? Небось, не заметил, а я сразу заметила. Голубые фуражки! Вот то-то. Ты, Леня, как эти фуражки увидишь, чеши от них подальше и не оглядывайся. И старичок этот... хрен знает кто. Может, подкупленный».

## ГЛАВА 13

Обнявшись, точно двое забулдыг, мы ввалились в полутемную коммунальную прихожую; узкий коридор вел в глубь квартиры, одна из дверей была приоткрыта, и оттуда сочился дневной свет. Играло радио. Слабый голос крикнул:

«Кто там?»

«Свои, Кирилловна, не бойся... Тут парень меня проводил. Веришь ли, под машину попала. О-ох, мамоньки! Нет, видно, есть Бог на свете».

В конце коридора находилась кухня, лилась вода из крана, и шаркали шаги Тamarы. Дверь ее каморки была напротив кухни. Я увидел никелированную спинку кровати, белое покрывало, внизу кровать была оторочена кружевным подзором. Белый, как бы зимний свет струился из окна сквозь накрахмаленные занавески, и в комнате стояла дремотная тишина. На стене стучали ходики.

В этой комнате была своя достопримечательность, которую я сразу же опишу, хотя она отнюдь не представляла, как говорят в таких случаях, художественной ценности — рыночное изделие, довольно распространенное. То был какой-то странный фокус живописца, почти кощунственный эффект зеленовато-зыбких тонов, — если только за ним не скрывался особый замысел. В темном стекле,

за призрачным отражением моего собственного лица, как будто поднявшееся со дна, стояло лицо с каплями крови на лбу и закрытыми глазами.

Я пригляделся. Постепенно веки стали прозрачными, и за ними открылись водянистые глаза. Эти глаза мерцали, и заволакивались, и снова мерцали. Он смотрел и не смотрел.

«Что, красивый у меня образ?»

«Угу».

«Это бабки моей образ. Ей барыня подарила. Ладно, — сказала она, — поглядел и хватит. Он не любит, когда в глаза смотрят».

«Как это?» — спросил я.

«А вот так, не любит и все».

Я спросил: как же на него молятся?

«Почем я знаю? Вот так и молятся, на лоб смотрят. Али в губки».

«А вы?»

«Что я?»

«Вы молитесь?»

«Много будешь знать, скоро состаришься».

Она стояла с табуреткой, я мешал ей. В носках и домашнем халате Тамара казалась совсем маленькой. «Ну-ка, голубь...» — пробормотала она. Она поставила табуретку у окна, села и подобрала полу халата. На полной белой ноге алела широкая ссадина, но крови не было. Кожа была прохладной.

«Не так, — сказала она. — Конiec бери в ту руку, а этой мотай. Не боись, какой же ты солдат?.. О-о! Полегче, голубь».

Обматывая бинтом ногу, я дошел почти до паха, закрытого халатом, она взяла у меня бинт, оторвала зубами и закрепила конiec.

Спohватившись, я взглянул на часы. В тесной комнатке стоял белый сумрак. Может быть, за окном уже падал снег. В этой комнате с белеющим на стене отрывным календарем, с чистыми полуистлевшими половиками, с высокой белой кроватью что-то происходило со мной, я почувствовал необъяснимое оцепенение, словно цоканье ходиков было только видимостью бодрствования, мнимым движением времени.

«Они спешат. Как-нибудь отбрехаемся, скажешь, в больницу меня возил... Чайку со мной выпьешь?»

Я не помню, слышал ли я этот вопрос или мне показалось. Потому что это мог быть совсем другой вопрос.

Снег сыпал за занавеской.

«Голова как чугун», — пробормотала она.

Разумеется, у нее болела голова, у нее могло быть сотрясение мозга, и она озлябла оттого, что долго мыла ногу холодной водой. Ра-

зумеется, ей нужно было лечь. Она складывала покрывало, расправляла и встряхивала одеяло, раскладывала подушки, радио мурлыкало в квартире, — все это я слышал, не оборачиваясь; потом она подошла ко мне сзади и, обхватив меня, прижалась щекой к моим лопаткам.

«Худющий-то, господи... У тебя мать есть?»

«Есть», — сказал я.

«Счастье какое, — сказала она, — что война кончилась. У меня сын был такой, как ты. И тебя бы убили... Это уж точно... Еще немного, и поминай как звали... Тебе сколько лет, семнадцать?»

«Там чайник кипит».

«Леший с ним».

Потом она сказала:

«Ну подиними».

Я пошел, снял чайник с керосинки, потушил огонь и вернулся.

«Куда поставить?»

«Да хоть куда, — сказала она, — вон на стол поставь».

Я поставил чайник на стол.

«Ты не бойсь, — шептала она, отколупывая толстыми пальцами пуговицы у меня на груди, — когда-нибудь да надо, так уж Бог велел... Так уж положено... А со старой даже лучше. Старая все поймет, всему научит. Со старой не стыдно... Голубь ты мой...»

Ходики неустанно стучали в моих ушах, пело радио, белел календарь, и снег сыпал за окнами, и шумел дождь, и странно, что я запомнил эту комнату лучше, чем то, что в ней произошло. Никакого чувства, никакого наслаждения я не испытал; она еще билась и стояла, когда со мною уже все было кончено; но сейчас кажется, что это тянулось невероятно долго.

Женщина от рождения знает то, что ей предстоит, это знание достается ей от прабабок, столько раз зачинавших мужчину в своем теле, что его плоть кажется им заблудившейся частью их собственной плоти; и, соединяясь с ней, они не обретают ничего нового. Поэтому девственность — это просто разлука, а долгая разлука как бы возвращает девственность.

Он же не ведает ничего; его память не простирается дальше его детства. Если женщина чувствует себя наследницей длинного ряда девственниц и матерей, то он — один на всем свете и принужден сам отвоевывать себе прошлое и будущее. Блуждая, как слепец, по чужой земле, он натывается на женщину. И ему кажется, что он прозревает. Ему надобно оправдание, оправдание своей жизни, необходимый смысл, — тот смысл, который не нужен женщине, потому что она сама его воплощает; у него своя теология, отличная от теологии жен-

щины, которая видит себя заместительницей Бога на земле, между тем как ему предстоит всю жизнь сводить счеты с Богом. И вот рождается надежда найти смысл своей жизни тут, на дне ее глаз, отражающих белизну неба, в разверстой воронке, в этой блистающей чаше тела, устроенного наподобие цветка. Это был долгий, изнурительный путь — словно битва с драконом, медленно отползавшим в ущелье. Длинная и извилистая тропа привела его в пещеру. Его дыхание прерывалось, зеленые круги плыли перед глазами, когда во тьме, в звоне падающих капель и мерцании светляков, полумертвый, он наконец достиг сокровища. Это был смысл, сердцевина смысла. Но лишь только он завладел им, или только подумал, что владеет, как вожденный подарок исчез, почва дрогнула под ногами, и голос из недр, громовой шепот, прозвучал у него в ушах: «А теперь уходи». Так он понял, что был только средством.

## ГЛАВА 14

Я увидел следующий сон — улицу, тусклый ненастный день и череду автомобилей, ехавших не обгоняя друг друга, точно ехали не они, а мостовая; на тротуарах теснились люди, и было такое впечатление, что они тоже движутся вровень с машинами. Все блестело от измороси; мостовая и крыши автомашин серебрились, как рыба чешуя, и лица шоферов белели, неразличимые, за стеклами; все текло, плыло и медленно уносилось между двумя рядами высоких домов в призрачный просвет, к площади Дзержинского, над которой клубились серые облака. В этом сне я отсутствовал: меня не было.

Меня не существовало, и тут мне пришло в голову, что таким и должен быть мир, такой должна была выглядеть улица, знакомая мне с детства, если бы я вообще не родился на свет: запруженная машинами и прохожими, тесная, как ущелье, с вывесками учреждений, с темными, как омуты, стеклами магазинов, в которых колышутся зонты и ноги, — но мертвая и беззвучная, как в немом кино, как бы снятая «оттуда», в сумеречном свете моего небытия; я подумал, что это я, несуществующий, смотрю на эту улицу, но в эту минуту я не был мыслящим и осознающим себя существом, но был самым этим чувством — неопределенным, не умеющим назвать себя ощущением жизни; я был никем.

Это продолжалось недолго: открыв глаза, я вспомнил, кто я такой. В комнате была по-прежнему белая тишина, и мерно щелкали ходики. Я продрог; времени оставалось немного, я должен был проводить ее до угла и там расстаться с ней. Я полагал, что бригадир

нашей экспедиции мужчина уже потому, что слово «бригадир» мужского рода, однако Тамара была женщиной, и я подумал: как хорошо, что мачеха не видит нас вдвоем, это было бы для нее неприятным сюрпризом. Между тем она говорила, смеялась, губы ее шевелились, и я кивал ей в ответ. Я не мог отделаться от чувства, что меня нет на свете и все это лишь призраки моего воображения. Наконец я понял, о чем она говорила, речь шла о Павлике, о том, что он торгует газетами на Тишинском рынке, чтобы скопить деньги на билет. Он собирался бросить ее с ребенком; речь шла об измене и предательстве. Значит, подумал я, она и с Павликом тоже? И я представил себе, как она привела Павлика в эту комнату и как это у них получилось. Обдаваемые брызгами, мы приближались к переулку, и она торопилась досказать свою историю, потому что на углу ее должна была сбить машина; так и случилось, не успела Тамара договорить, как военный автомобиль, юркая коробочка с двумя ведущими осями, передней и задней, проехала над ней.

Я смотрел на нее с недоумением. Я почувствовал, что забыл, что было дальше, и пока я не вспомню, она не поднимется с мостовой. Вокруг начал накапливаться народ, к нам протискивался запыхавшийся старик с белыми усами, а я все еще стоял, напрягая память; по-прежнему шелестел поток машин, толкались зонты; мы находились в пространстве воспоминаний. Когда говорят, что воспоминание — это реванш, который мы даем всепоглощающему времени, это надо понимать в особом смысле, это совсем не значит, что мы способны консервировать прошлое, хранить его в своем мозгу, как в рассоле, уберегая от гнилостных микробов времени. Память не есть фиксация прошлого. Иначе жизнь превратилась бы в бессмыслицу, мы убедились бы, что время — единственное, что может сцепить весь этот хаос встреч, разговоров, минутных дел, плывущих друг за другом, словно обломки снесенных строений, и наше «я», обалделый зритель, едва успевает шпроводжать глазами этот мутный поток; в таком случае память была бы просто дурной копией времени. На самом деле память — это победа над временем: быть может, намек на возможность жить в вечности, ибо что же такое вечная жизнь, как не жизнь, исполненная смысла и гармонии, но вне времени. Воспоминание не меняло лиц и событий, не приписывало людям того, на что они не были способны, но оно прозревало в событиях смысл и связь, более глубокую, чем связь времени; воспоминание демонстрировало свою высокую функцию оправдания жизни и устанавливало внутренний вектор движения событий, отличный от вектора жизни. Все было согласовано в эпизодах ушедшего прошлого; история преодолевалась, уступая место иной структуре. Вот почему канувшие в пропасть события оставили немолчное эхо в ушах и образы заурядных людей виделись окру-

женные как бы светящимся окоемом. Я подбежал к ней, она встала, и мы направились в глубь переулка. Случившееся сблизило нас — вот во что, собственно, вылился этот эпизод. Асфальт сменился булыжником, затем исчезла и булыжная мостовая, улица превратилась в хаос повалившихся заборов, поломанных палисадников; мы обходили лужи, пробирались под веревками с бельем; и чем дальше мы шли, тем она становилась грузней и неповоротливей и тяжело висла на моей руке. На крыльце сидел ребенок, глухонемой, примерно того же возраста, как мой брат Даня, может быть, это он и был, и строил из кубиков дворец. Мы вошли. Голос большой соседки спросил: «Кто там?» После этого я очутился в комнате у Тамары.

Это была та же комната, выцветший половик, ходики, то же лицо с венцом из колючек над тонкими бровями и зеленоватыми провалами глаз, лицо человека, которого никогда не было и который был, который смотрел сквозь опущенные веки; мне не нужно было вспоминать, это была та же икона и та же самая комната, я находился в ней наяву. Тамара зашевелилась рядом со мной, я снова закрыл глаза, снова открыл; ее состояние меня тревожило, я догадывался, что случившееся на улице было только поводом, чтобы проводить ее домой, ибо готовилось неотвратимое. Я опоздал в столовую, опаздывал на работу. Но теперь нечего было и думать о том, чтобы оставить ее. Икона поблескивала на стене, белел календарь, часы лихорадочно отстукивали секунды, но я понимал, что это лишь видимость, холостой ход механизма и стрелок. Существовал ли я? Или только готовился жить и меня еще не было? Неслышно отворилась дверь, на пороге стояла Тамара, она лежала рядом со мной, и она же стояла там, на пороге, в шерстяных носках, маленькая, как еврейская девочка, тот самый подросток с огромным животом, распиравшим ее, и маятник колыхался и гремел, как поезд, в котором нет ни одного пассажира. Я не мог произнести ни слова, мне было тяжело смотреть, как она мучается, кровь текла у нее по ноге; она мычала и гладила толстыми закругелыми пальцами мою кожу, которая была одновременно и ее кожей. Может быть, это была волна желания, медленно поднимавшаяся из пучины нашего общего сна и накрывшая нас с головой, — пробудившись первой, она, возможно, пыталась расшевелить и меня, неподвижно лежащего на дне ее чрева. Она задвигалась и, вздымаясь, выгнулась почти дугой, хриплый стон вырвался из ее сжатых губ... я почувствовал, как она уперлась ступнями в кровать, и мощная сила повернула меня и стала выталкивать наружу. После нескольких толчков она шумно вздохнула, распласталась, и все было кончено. Я лежал, ошеломленный, между ее ног. Это были роды.

Был задан вопрос: читал ли я «Молодую гвардию» Фадеева? Увы, я даже не слышал о существовании такой книги. А писателя такого слышал? Я пожал плечами... Это могло значить и да, и нет. Сверкающие очки, за которыми не было видно глаз, остановили на мне свои блики, и голос, каким могла бы заговорить выбеленная известкой стена, спросил, почему я избрал литературный факультет. Снова дурацкое пожатие плечами, взгляд, упертый в стол. А как насчет классиков, письмо Белинского к Гоголю? Письмо к Гоголю я помнил. На этом вступительное собеседование кончилось, меня послали выносить мусор в общежитии на Стромынке. Фадеев был отмщен.

Полагаю, что мне нет надобности описывать университет, каменные ворота и львиные головы, которые красуются здесь, должно быть, еще со времен московского пожара. Тусклый масляный свет, узкий коридор в одно мгновение переносил вас из солнечного сентябрьского дня и дребезжанья трамваев в призрачный мир, где теплились огоньки ушедшей эпохи, где жили реликты ее языка, где дышал ее благородный прах.

По этому коридору шел с тросточкой Герцен, в соломенной шляпе, под ручку с Огаревым. По нему везли чахоточного Станкевича, укутанного пледом, и электрические лампочки точили маслянистый свет на его напомаженные кудри. И вот теперь этот тесный коридор, где двери отворялись в классные комнаты, только вместо парт там стояли столы и стулья, был запружен поющей, воркующей, жужжащей, шелестящей толпой девушек, одних девушек!

Это была сплошная волнующаяся масса. Это был потоп завивок и причесок, разноцветных платьев, прозрачных блузок, туго стянутых лифчиков, нежная испарина подмышек, шорох и цокот диковинных голенастых птиц, это было шествие одиннадцати тысяч дев, двумя потоками влекущихся навстречу друг другу по коридору; эфирный ветер веял над этой толпой, аромат неумелой косметики, витал запах пота, волос, утюга и дешевого маникюра. Втянув голову в плечи, вдоль стены протискивался инвалид, подпираемый костылями. Издалека виднелась гимнастерка фронтовика, затертого, как корабль во льдах. Но то были фронтовики и инвалиды. А я? Каким образом я, здоровый парень, угодил в этот женский пансион? Подавленный, окаменевший от стыда, я брел наугад среди гомона и трепыхания платьев, мне было нехорошо, словно я надыхался ядовитым благоуханием цветов. Я чувствовал себя дезертиром на запретной территории, где настоящему мужчине не место.

Я укрылся в уборной. В мутном солнечном луче, падавшем из замазанного известкой окна, кучка мужчин стояла тесным кружком, спаянная молчаливой солидарностью презируемого национального меньшинства. Издали зазвенел и прокатился по коридору звонок. Склонив головы над заплыванной урной, они все еще доцеловывали, досасывали свои окурки. А за дверью журчали голоса, стучали туфли опоздавших, редела облаков летучая гряда. Нелепая фраза, модный мотивчик вертелся у меня в голове: «Мы летим, ковыляя во мгле». Будущее стояло в двух шагах. Быть может, оно должно было наступить завтра; быть может, уже сегодня.

## ГЛАВА 16

Мелодии провожали меня всю жизнь, как рой мошкары. Подобно многим людям, не способным к музыкальному творчеству, я обладаю навязчивой музыкальной памятью: эта память взяла надо мной исключительную, неестественную власть. Мелодии превратились в энграммы памяти. Но это память о том, что не сбылось. Вот в чем парадокс! Музыка мумифицирует будущее. Или я уж не знаю, как это назвать. В простой комбинации нот зашифрован проект, который стал воспоминанием, так и не осуществившись. Заметьте, что это свойство не зависит от ее качества. Волшебный рог Оберона имеет не больше прав над памятью, чем музыка балагана. Как будто пестрая, увешанная погремушками колымага джаза только и ждет за воротами, чтобы с громом и дребезгом выехать снова навстречу этому мифическому будущему, и трубный глас румбы возвестит о любви, и мужественно-блудливый голос пробормочет в пластмассовый рупор гимн ночных бомбардировщиков: «Мы летим, ковыляя во мгле. Мы летим на последнем крыле!»

Занятия начались. Я помню фразу в греческой грамматике Коха и Кэги: η ελιότημη ληγη εστι της σοφιας, αλλα ου της αρετης. Что означало: «Наука — источник мудрости, но не доблести». Славные окаменелости античного глубокомыслия, питательные сухари, с которыми нам надлежало двинуться в жизненный путь! Одиннадцать учениц сидели за длинным столом, по двое над книжкой, вода пальцами по строчкам, лишь последняя осталась без пары и была вынуждена довольствоваться моим обществом, доставлявшим ей очевидные неудобства. Не лучше себя чувствовал и я. Учебник лежал между нами, словно тарелка, куда каждому приходилось тянуться со своей ложкой.

Очередь дошла до моей соседки, она начала читать свою фразу громко и старательно, как актриса, вызубрившая свою реплику, но

тотчас сбилась, начала сначала и опять сбилась, старичок-доцент ждал, поблескивая стеклышками пенсне, но было ясно, что она все забыла, ничего не знает, не понимает и не может прочесть ни одной буквы. Я шепнул ей подсказку, она не слышала. Рука ее с облупившимся маникюром судорожно теребила прядь на виске. Она топталась на берегу, десяток греческих слов, точно скользких камней, по которым ей предстояло перебраться через поток, внушали ей непреодолимый страх. А на той стороне безмолвно блистал стеклышками педагог. И тогда я взял ее за руку и повел, а учитель с того берега протянул ей свою руку; между ним и мной возникла солидарность мужчин, заведомо сильнейших, я подсказывал громким шепотом, и учитель не возражал, он лишь кивал головой, когда она повторяла за мной род, число и падеж: ибо фразу требовалось разобрать, как в школе; так она добралась до конца. Оставался я, последний за столом. Но учитель уже оценил мои знания и доставал из сюртука почернелый серебряный портсигар, набитый махоркой. Звон колокольчика проехал по коридору, точно игрушечная пожарная команда. Ученицы встали, одергивая платья, и вышли одна за другой в коридор. Сумка соседки осталась висеть на стуле; старый учитель слюнил самокрутку, словно Пан пробовал свою флейту: я присел на подоконник, поглядывая на разогретую солнцем Манежную площадь, и мы оба молчали.

## ГЛАВА 17

Перед оградой Старого здания на асфальте сидел человек, несомненно игравший какую-то роль в моей жизни, так как он был одним из трех носильщиков, которые вытаскивали гроб. Иначе говоря, он был призраком, в том смысле, как я понимаю это слово: одним из тех людей, с которыми мы встречаемся время от времени, чтобы в следующую минуту забыть о них навсегда, и это «всегда» может длиться долгие годы, после чего они являются вновь. Они как кометы, которые возвращаются, описав неведомый путь; они прошивают время и приходят в другую эпоху, в образе других людей, но я-то знаю, что это один и тот же человек, как тот еврей, который, как утверждают, отказался помочь Спасителю, сказав: «Ступай своей дорогой», — и с тех пор ходит сам. Теперь он вытаскивает гроб из автобуса. Годы не изменили его, пожалуй, он даже выглядит моложе.

Он сидел на асфальте, и ветер шевелил седые космы вокруг его черепа, он был в очках, перевязанных ниткой, и читал толстую книгу. Кепка с медяками лежала перед ним на земле. А мимо шагали, цокая подковками, сапоги мужчин, шаркали калоши стариков, мель-

кали легкие ноги женщин. Однажды ветер стал листать Библию, если это была Библия, ветхие страницы полетели вдоль тротуара, один листок долетел до угла, откуда с визгом и скрежетом выворачивал трамвай, и попал под колеса. Но когда я поднял искромсанный лист, оказалось, что на нем ничего нет, словно колесо стерло с него текст. Я вернулся. Но нищего уже след простыл.

## ГЛАВА 18

Люди моего возраста помнят, что трамвай шел по улице Герцена и сворачивал в обе стороны, к Охотному ряду и к Замоскворечью. Если бы нужно было описать эти места, я перечислил бы все до последнего камня. Однако в этом нет надобности. По другую сторону трамвайной линии — теперь ее уже нет — находится Новое здание, так оно, по крайней мере, называлось в наше время; внушительный грязно-белый фасад в классическом стиле, а перед ним в чахлом сквере без единого деревца возвышался замаранный птицами монумент отца русской науки. Монумент был достопримечательностью особого рода. Ваятель изобразил отца науки в символической позе, как бы готовящимся оплодотворить родную ниву животворным семенем знания. Склонив на плечо круглую гипсовую голову в белых сардельках парика, он опирался левой рукой о глобус, а в правой — держал то, что по всем признакам не могло быть ничем иным, как детородным членом. *Держайте ныне ободренны*. Фокус был известен всем студентам, было известно место за оградой, откуда открывался вид на мастурбирующего кумира. На самом деле это была астрономическая труба, упертая в бедро.

Полюбовавшись Ломоносовым, входили в ворота, обогнув сквер, поднимались по ступеням и вступали в сумрачный вестибюль, а там впереди белела широкая лестница, на которой высились статуи вождей. И совсем высоко, над двумя ярусами колонн, выкрашенных под мрамор, над балюстрадой, за которой торчали головы мальчиков и девочек, над приплюснутым третьим этажом светлело, белело, холодело в железном переплете стеклянное небо. Собирался дождь. Кончилась лекция в Коммунистической аудитории. Толпа текла по лестнице. Призрачный свет наполнил храмину с розово-серыми колоннами и кумирами из алебаstra, к которым опасно было прислоняться — они пачкали мелом. Гул голосов заглушил все звуки. А я стоял на лестничной площадке, как бы погруженный в раздумье, но на самом деле дрожа от нетерпения, неизвестности и робости: ибо наука — источник мудрости, но не... Я поджидал свою соседку.

Она сошла по боковому маршу, как чужестранная гостя по трапу корабля, и, не сказав друг другу ни слова, мы пошли вниз. Это была первая удача, первая встреча, она произошла как бы сама собой, и вместе с тем было ясно, что не зря мы встретились здесь на лестнице. Тончайшая химия узнавания требовала постепенных переходов. Но меня не покидала тайная трусость, это была обыкновенная трусость мужчины, боязнь «влипнуть». Тайный голос предупреждал, что с явлением этой девушки моя жизнь изменится. Чтобы дать ей хотя бы приблизительную характеристику, скажу, что рядом с ней умирала музыка. Музыка никла и увядала, как никнут цветы под прямыми лучами, ибо в ней все было ясно и светло, в ее движениях не было ничего зыбкого, сомнительно-подразумеваемого, ничего двусмысленного; смысл, который она воплощала, был прост и обозначался одним словом: Вика, Ви-ка, — легким, как кивок головы.

Словом, она была такая, какая есть: дитя солнца, а не луны; и правила игры, которую она вела почти бессознательно, потому что игра эта вытекала из ее природы, были такими же простыми и определенными. Как будто она заранее знала свое и мое будущее. Эти правила, между прочим, возлагали обязанность время от времени принимать некое важное решение — на меня, чего никогда не было с Тamarой: ведь тогда от меня не требовалось никаких решений. Оттого музыка, как ни странно, сохранила свои права в том мире, где неярким светом мелькнула моя первая любовница; теперь же, выражаясь фигурально, мелодия должна была уступить место слову. Мы спустились по лестнице с говорливой толпой, почти бегом, — это помогало нам справиться с неловкостью; скосив глаза на Вику, я видел подпрыгивающий локон и край юбки над мелькающими коленками; то, что мы рядом после занятий, укрепляло в нас чувство, что мы — пара, но все мое существо тяготилось этой почти навязанной мне ролью ухажера, словно моя воля тосковала по безволию. Я принадлежу к людям, которые в каждой ситуации видят прежде всего ее худшую сторону. Я ощущал ту несимметричность, которая подчас бывает предвестием очень сильной привязанности. Несимметричность, ибо в свои восемнадцать лет она была женщиной, законченным творением, вышедшим из рук творца, я же с трудом отдирал ступни, прилипавшие к земле, я ощущал себя все еще слепком сырой глины. И мимолетный опыт близости с Тamarой ничем не мог мне помочь.

Тем временем небо над крышей померкло, и все отчетливей доносился снаружи из открытых настежь дверей равномерный шум дождя. Ей понадобилось достать что-то из кошелька, и она сунула мне свою сумку, как мне показалось, с умыслом; в том, как она это сделала, было нечто простое и непринужденное, часть все той же иг-

ры. Она копалась в кошельке или что там у нее было, — а я, мальчик на побегушках, я, жалкий поклонник, из тех, кому разрешают таскать шарф или зонтик, сгорал от стыда, чувствуя, что эта бабья прихоть, эта сумка — не что иное, как знак, что я приближен ко двору, и в то же время нечто выставяющее меня на посмешище. Словом, я находился в том периоде, когда уступка женщине рассматривается как признак слабости, а не силы. Я понял важную истину: что женщина — это ее вещи. Сумка, туфли, край платья над прыгающими коленками. И этот муторный аромат духов, морочащий голову, запах, который не то чтобы исходил от нее, но как будто слетался отовсюду, чтобы ее окутать. Все это нисколько не приближало меня к ней, а наоборот, отгораживало. Вещи окружали ее, как броня. В эту минуту странное, почти неестественное сожаление шевельнулось в моей душе: сожаление, что она не была мужчиной! Как просто, сильно, честно я бы ее любил. Без этого дурацкого ритуала встреч и провозжаний, без этой стены условностей, без притворства. Без этого забора из женских вещей, тряпок и безделушек. И вдруг, словно по волшебству, желание мое сбылось.

При выходе в вестибюль, внизу, в полумраке, точно под луной, стояла она, но в мужском наряде, в брюках, куртке и клетчатой ковбойской рубашке. Это была она — и он: в картинной позе, прислонясь к колонне, скрестив ноги и держа на отлете трубку, похожую на маленький саксофон, она, превратившаяся в мальчика, в пажа, в принца. Мы подошли, и наваждение рассеялось. Он повернул к нам матовое лицо, волосы его серебрились, губы казались черными. Впрочем, и вблизи они были похожи так, как могут быть похожими только близнецы; если бы они поменялись одеждой, ничего бы не изменилось, даже имена. Вика приветствовал нас ироническим реверансом. С самого начала меня неприятно поразила его театральность. Это было непрерывное примеривание костюмов и поз. Шут гороховый. «Шут гороховый», — сказала она, и эту фразу я слышал потом много раз. Подняв бровь, он вставил в глаз воображаемый монокль и, с трубкой в руке, в упор воззрился на меня. Мы стояли, не зная, что сказать друг другу, она оглядывала его с материнской заботливостью, быть может, несколько нарочитой, я переминался с ноги на ногу, посматривая по сторонам, точно меня ждали дела. Наконец народ, столпившийся у выхода, заколыхался, мы двинулись вон.

Последние нити дождя висели в воздухе, карнизы, крыши, похожие на писсуары раструбы водосточных труб — все было облеплено сверкающей чешуей; тротуар был залит серебром и синькой, солнце било из-за домов, и тяжело и грозно по ту сторону площади, под лиловым одеялом туч горели шлемы кремлевских соборов. В

блеске воскресшего дня Вика расцвела юной красой, а ее лунный брат посерел и померк. Дошли до ограды, остановились; подбоченившись, он протянул руку ладонью кверху. У них были какие-то свои условные знаки и ритуалы. Щелкнув сумкой, Вика вынула рубль. Означало ли это, что он с нами расстанется? Потоптавшись у ворот, мы продолжали наш путь вместе.

Вдоль тротуара были навалены куски взломанного асфальта, между ними зияли ямы. Стоял грузовик с откинутым бортом, и оборванные люди выгружали ящик с тощим шатающимся деревцем. Это были липы, которые сейчас окружают Манежную площадь. (Но, говорят, их снова вырубил.) И ничто, быть может, не говорило яснее, чем эти деревца, о том, что наступила новая и счастливая пора, в которую нам предстояло жить. Как удачно, вовремя мы стали взрослыми! Пьяные от солнца и сверкания луж, мы брели куда глаза глядят. Прошли мимо старика в перевязанных очках (Вика наклонилась и положила в кепку двугривенный), мимо американского посольства. Какие-то были дела на телеграфе, письмо маме... Разговор не клеился, точно мы обменивались репликами не друг с другом, а с кем-то шагавшим между нами, и я сильнее, чем обычно, спотыкался на каждой согласной.

Вика взглянул на меня и сказал в нос:

«Прошу великодушно извинить за бестактность... Это — волнение или с детства?»

«С д-д...» — сказал я.

Мы шли и шли, безо всякой цели.

## ГЛАВА 19

Здесь начинается каша, хаос. Если хотите — свалка памяти, где ничего не «пропало», за исключением того, что пропала сама жизнь, когда-то оживлявшая эти обломки: попробуйте расставить их по углам и полкам — вы получите искусственную конструкцию, похожую на то, что было, не более, чем музейный интерьер похож на подлинную действительность. Но память — нечто иное, память — до времени, и не ржавые прутья плюсквамперфекта, перфекта, имперфекта удерживают ее от распада. Сила сцепления, которую я не умею назвать, самое глубокое, что в нас есть, сила, не имеющая ничего общего с насильственной логикой языка, спасает то, что очень условно мы называем прошлым. Итак, я решительно отказываюсь описывать «события». Наше совместное времяпрепровождение было не чем иным, как преодолением времени, и в этом,

собственно, состояла его прелесть. Единственное происшествие, о котором придется все же упомянуть, стало концом нашей дружбы. Но о нем позже, ради Бога позже!

Эта дружба, в сущности, не терпела никаких событий. Ничто не связывало нас — или, по крайней мере, меня с ним, — кроме чистой устремленности чувства. Какого чувства? Может быть, покажется странным, если я скажу, что, видя его рядом с собой, я всегда чувствовал в нем его сестру. Это можно было бы объяснить совсем просто: подружившись с ним, было легче сблизиться с ней. Научившись с ним говорить, я мог надеяться, что не буду заикаться и в ее присутствии. Слово заикаться я употребляю здесь не в прямом, а в переносном смысле.

Но это только внешнее и формальное объяснение. На самом деле — прошу не удивляться, не возмущаться и не считать меня сумасшедшим, — на самом деле он и был ею, его сестрой. И скитаясь вместе с ним по извилистым переулкам, где тротуар был цвета черного олова, мимо заборов, за которыми темнели кирпичные стены домов, похожих на руины, мимо огненных вывесок, по дну этого единственного в мире, засасывающего, засыпанного мокрой шоколадной листвой и залитого лужами города, влачась за ним, я на самом деле влекся за ней и, как Фауст, был полон мыслей о Маргарите, погружаясь в бесовский омут вслед за своим вожатым.

С некоторых пор нас стали манить к себе эти вывески в окнах, занавешенных дешевым шелком, похожие на клубки червей, ядовито-оранжевые или жгуче-лиловые, наполненные струящимся газом; из раскрытых дверей дышало теплом, несло острым, кислородным, тошнотворно-аппетитным, и гром музыки обрушивался на нас, когда мы входили, ошеломленные, в дымный зал. На эстраде сидели с мертвыми лицами музыканты, точно привинченные к своим стульям, вперившись в ноты, а в глубине некто, похожий на пляшущего Шиву, корчился над медными тарелками, бил в барабан и тряс погремушкой. Все столы были заняты, и мы направились в угол, где сидел, среди бутылок и тарелок, одинокий человек, вероятно, какой-нибудь командировочный. «Разрешите?» — произнес Вика с великолепной самоуверенностью, и человек как будто проснулся, встал и обвел глазами стены и окна: казалось, он искал что-то. И мы видели, как он брел, сунув руки в карманы, к эстраде и скрипач склонял к нему, словно с корабельной кормы, лысую желтую голову, как приезжий протягивал деньги и тянулся облобызывать музыканта и как затем оркестр с внезапным ожесточением взмахнул смычками, точно саблями, и вострубил последний куплет прославленного танца «Фрейлехс», а спина приезжего качалась среди столиков и там, меж-

ду портьерами входа, к нему бросился седобородый, в серебряных лохмотьях швейцар. Оркестранты сидели, уперев скрипки в колени. Официантка сгребала со стола посуду. Она как будто не видела нас, но Вика умел показать, что он здесь как дома. Это умение складывалось из множества недоступных мне поз, жестов и выражений, из особой манеры сидеть, барабана ногтями по скатерти, из особого взгляда, которым он провожал ее, когда она удалялась, держа поднос с грязной посудой и покачивая низкими бедрами. Теперь между нами был просторный пустой стол, покрытый грязно-чистой скатертью, и какой-то фиал из желтого оргстекла, из которого торчал засохший цветок. Вика, рассевшись, обозревал замусленную карту, а она, с блокнотиком в руке, с лунообразной наколкой вокруг немолодого широкого лица, повторяла заученно-понимающим тоном: «Два салатика “Весна...” два леща... колбаски? Есть “Краковская”. Выпить что желаете?..» Откуда у него были деньги? Я подозреваю, что он просто крал их у Вики.

«Пошли!» — и я поднимался и шел за ним, мы подходили к публике, запрудившей все свободное место перед эстрадой, и некоторое время стояли там, точно два иностранца, затем я обнимал его за талию, и, раскачиваясь и правя, как коромыслом, сцепленными руками, мы въезжали в колышающуюся толпу. С моим ростом не представляло труда прокладывать дорогу в толчее, к чему собственно и сводился весь танец, но если можно придумать что-нибудь более странное, нелепое и вместе с тем пугавшее и будоражившее меня, чем это путешествие вдвоем на плохо слушающихся ногах, под изнуряющую музыку, среди шарканья подошв, то я прошу кого-нибудь это сделать. Вика превосходно играл свою роль, вилял бедрами и складывал бантиком губы, как вдруг взвизгнул: «Ай!» Пары повернули к нам головы. «Легче, ты, — буркнул он, — это тебе не латынь... Разрешите вас разбить?»

Это было сказано двум девушкам неопределенного возраста, качавшимся возле нас. Одна из них посмотрела на нас — или сквозь нас — сильно косящим взглядом и начала постепенно отъезжать от подруги, не переставая топтаться и покачивать в такт музыке кудрявой головой, потом протянула голые руки, и Вика подхватил ее. Музыканты встали, тромбонист, работая поршнем, прицелился в толпу, повел вправо и влево своим инструментом, и по толпе прошли какие-то волны. Вдруг погасла люстра, остались только тусклые светильники на стенах; в полутьме стучали каблуки, и взвивались платья. Это была румба, танец буйной, но искусственной радости, почему-то он всегда напоминал мне маскарад громадных насекомых, черных жуков и таинственных бабочек. Вика бросил меня на произвол судьбы. Тромбонист заметил меня с эстрады и обдал меня поверх голов ревом своей трубы, точно кровавой струей.

Бросил на произвол судьбы — если можно было считать судьбой внезапно доставшуюся мне даму. Девушка эта, искусственная блондинка с пышными кудрями и коком — я так и не мог понять, сколько ей лет, все женщины носили кудри и платья, делавшие их похожими на взрослых школьниц, — стояла рядом со мной, не удостоивая меня взглядом. Кто-то задел ее, она быстро повернулась и сказала: «Нахал!» И снова мы стояли и смотрели в толпу. «Вы танцуете?» — сказал я через силу. Она слегка повела головой в мою сторону. В глубине души я надеялся, что музыка сейчас кончится. Но оркестранты словно погрузились в транс, теперь они все сидели на своих местах и без конца играли одну и ту же мелодию, правда, гораздо тише и спокойнее. «Вы танцуете?» — спросил я снова. Она смерила меня взглядом. «Смотря когда», — сказала она загадочно. «Например, сейчас?» — проговорил я с вымученной улыбкой. Она помолчала и спросила: «А он кто?» — «Вы п-п-про кого?» — спросил я. «Этот, — сказала она, — который с Нинкой пошел». — «Это мой друг», — сказал я. «Красивый у тебя друг. Только больно нахальный», — добавила она. «Зато я не нахальный», — сказал я осмелев. «Ты? — переспросила она. — Кто тебя знает?» Потом сказала: «Тебе до него далеко». — «Д... З-з...» — начал я. Заикание находило на меня вместе с волнами музыки. Она смотрела на меня. «Ты что, больной, что ли?» — спросила она. Я улыбнулся. «До него далеко, а д-до тебя близко», — выпалил я. «Ишь ты. Разбежался, — сказала она презрительно. — Ты бы лучше...» Но тут музыка внезапно стихла, из толпы к нам вышли Вика и его дама, красоту которой портил сильно косящий взгляд. «Па-азволь!» — гаркнул голос сзади, это был, вероятно, официант. Почему официант? Ведь нас обслуживала женщина. Мы отправились к своему столу, но там уже сидели двое. И вообще это был не наш столик. Все выглядело так, как бывает в театре, когда сцена поворачивается, а действующие лица как будто не замечают этого, переходят в другое время, в другую комнату и продолжают разговаривать. За столом сидели мужчина и женщина, она трясла его за плечо и говорила: «Вась, пойдем. Вася. Слышишь аль нет?» Терпеливо и монотонно повторяла она эти слова, точно укачивала ребенка. И в конце концов это подействовало. Она опустила голову на стол и захрапел. «Ну вот, — сказала женщина, глядя на меня, — хоть волоки его, хоть что. У вас пятнадцать копеек не будет?» — «Пятнадцать копеек? — спросил я, с удивлением заметив (это бывало), что совсем не заикаюсь. — Сейчас, одну минуточку». Это бывало, потому что заикание подчинено таинственным законам, и если действие их почему-либо прекращается, то проходит и заикание. Сейчас, например, я говорю вполне свободно, по крайней мере никто не замечает мой недостаток, и это продолжается уже много лет. Тем временем Вика царским жестом одарял официантку, которая снова откуда-то появилась. Она приняла это как нечто само собой разумею-

щеется и стала составлять наши тарелки. Значит, это был все-таки наш стол, но серо-желтый графинчик, в котором должно было еще что-то оставаться, был пуст. Я попросил у Вики пятнадцать копеек. «Зачем тебе?» — «Позвонить». — «Давай позвоним вместе», — предложил он. «Кому?» — спросил я. «Ну хоть этой, как ее, Марии Стюарт». — «Давай позвоним Марии Стюарт», — сказал я. «Дурачина, — сказал Вика. — Она не подойдет». — «Почему это?» — «Потому что тогда не было телефонов», — сказал он. «Ну и что?» — спросил я. «Девушка, — сказал Вика официантке, — вам не трудно дать мне сдачу пятнадцать копеек?» Больше делать здесь было нечего, и мы вышли в сырой, синий, пронизанный огнями вечер.

## ГЛАВА 20

Мне мало известны — как это ни покажется странным — реальные обстоятельства жизни близнецов; не стану тратить время на попытки в них разобраться. Здесь больше предположений, чем фактов. Кажется, Вика где-то учился, чуть ли не в военном институте иностранных языков, привилегированном учреждении, поставлявшем шпионов для заграничной работы; но был оттуда изгнан. То, что Вика выгнали из института, это я мог понять. Родители сумели освободить его от армии и пристроили на фиктивную работу. Летом следующего года они должны были приехать в отпуск из Германии и устроить его еще куда-нибудь. Отец занимал важный секретный пост — какой, я думаю, не знал толком и сам Вика. Но все это меня тогда мало интересовало. Как это бывает в ранней юности, мне не приходило в голову связывать с реальными условиями его жизни все то неясное, таинственно-притягательное, что было в нем, что оставалось до конца, остается и сейчас; хотя многое прояснилось с тех пор, Вика ушел неразгаданным. И если она, его сестра, вошла в мою жизнь, выражаясь метафорически, в сиянии дня, в ровном и чистом свете, который окружал ее тело, в правильном ритме занятий и дней, который был внешним выражением ее собственной гармонии, то он, ее второе воплощение, как будто отделившееся от нее, он, с его трубкой, его ужимками, мерцающим взглядом, с его умением ни о чем не заботиться, никогда ничего не делать, внезапно исчезать и неожиданно появляться, с его иронией и каким-то — иначе не могу выразиться — бескорыстным коварством, он предстает передо мной как бы в мгновенных вспышках магия, словно всякий раз, когда я его окликаю, он молча обращает ко мне свое серебристо-могильное, свое лунное лицо, и тотчас же лицо это меркнет. Кстати: я совершенно не помню, при каких обстоятельствах мы фотографировались. Где это было, кто нас снимал?

Мы стоим втроем. На самом деле мы редко бывали вместе, я хочу сказать — все втроем, и подлинным спутником, товарищем долгих стояний у балюстрады между колоннами, блужданий по лестницам, сидений на подоконниках в сумрачных коридорах, скитаний по городу был он, о котором, увы, я не в силах сейчас сказать ничего вразумительного. Может быть, я был попросту в него влюблен? Мысль, которая тогда мне, конечно, не могла прийти в голову... Может быть, я любил Вику лишь потому, что бессознательно видел в ней отражение ее брата? Дело в том, что я не могу, не умею взглянуть на него моими сегодняшними глазами (как я гляжу на Вику), и он остается для меня таким же, каким был тогда. Слава Богу, что его уже нет на свете.

Присутствие Вики добавляло к воздуху, которым я дышал, некий кружащий голову газ. В иронии Вики заключалось нечто неслыханное. Была ли она обыкновенным мальчишеским нигилизмом, кокетством балованного сынка хорошо обеспеченных родителей? Напомню, что мы жили под знаком тотальной серьезности. То была тяжеловесная и нековкая серьезность государственных материалов, гипса и чугуна, из них сотворен был наш мир. Мы жили в эпоху чугунной поэзии, гипсовой веры, твердой, как камень, и хрупкой, как стекло. В ту пору ожил одический восемнадцатый век: облещенный птичьим пометом, он стоял в алебастровых штанах, с белыми сардельками на голове и с непоколебимой серьезностью сжимал свой негнущийся алебастровый жезл. Никому не приходило в голову улыбнуться, глядя на него... Серьезными были лица спешащих мимо людей, мужчин в потужухлых шинелях, старух под заштопанными зонтиками. Серьезными были эти улицы, отливавшие оловом. Все разделяло одну и ту же веру, во всех сердцах жило единое чувство, чувство подавленности и величия. Чувство империи. Ибо империя — это то, что невозможно исправить. Вдруг, у всех сразу, возникло сознание непреложности мира. Вот что я имел в виду, говоря об иронии Вики. Ирония Вики скрывала в себе диверсию. Она ставила под сомнение священное единообразие мира, она отрицала его статуарность, она стремилась удвоить образы действительности. Она навязывала миру, не желавшему быть ничем, кроме того, чем он был, новый смысл. Она... Словом, я зарпортовываюсь, хотя надо было бы сказать и о том, что его ирония, это косое светило, отчасти и возвышало действительность, оттеняя ее длинными тенями. Но уверен ли я в том, что если бы он воскрес, он не стал бы досадной помехой самому себе, не стал бы покушением на память о себе, которая остается для меня единственной и высшей действительностью? Быть может, я бежал бы от него, чтобы не знать, во что он превратился, как избегал столько лет встречи с его сестрой, хотя знал, что она живет поблизости...

Следовало бы сказать что-нибудь более конкретное о моем друге, однако я нахожусь в удивительном затруднении. Я помню не факты, а впечатления. В ушах звучит голос Вики, но я не слышу, хоть убей, о чем он говорит. Но о каких фактах, собственно, идет речь? Мы коротали время в бесконечных разговорах, в бессвязном обмене репликами. Мы шлялись по переулкам или слонялись по старому дому на Моховой, по его полутемным коридорам и лестницам. Моему прилежанию приходил конец, едва только я замечал внизу на лестнице его русую голову. Звонок созывал опаздывающих, мои тетради сиротливо лежали в аудитории, и я утешал себя тщеславной надеждой, что, быть может, она, его сестра, ревниво оглядывается, не видя меня на месте. Мое отсутствие было мостью ей — за что? Здесь был элемент соперничества и измены. Озираясь, я устремлялся в боковой коридор, а впереди уже шагала Вика с саксофоном в зубах; мы ели семечки, грызли заплесневелые баранки и играли ими в футбол; мы брели куда глаза глядят, дергая наугад запертые двери. Мы изнемогали от усталости, когда наконец находили приют в закутке под крышей, заваленном обломками мебели и рулонами старых плакатов, где на колченогом стуле доживал свои дни гипсовый, пострадавший от времени основоположник научного коммунизма и стояла швабра уборщицы.

## ГЛАВА 21

В юности разговоры имеют огромное значение, но не потому, что представляют собой средство обмена мыслями (достаточно пошлыми и во всяком случае не «расширяющими кругозор»), а потому, что создают особого рода неизведанную стихию. В эту стихию мы погружались, не чувствуя ее опасности. Мы плескались на поверхности ослепительных зыбких вод, уверенные, что у нас хватит дыхания вернуться к берегу, и чем дальше мы заплывали, тем сильнее была эта гордая уверенность. Мы были взрослые, мы могли купаться сколько нам вздумается! И нам уже было мало шлепать ладонями по воде, мы принялись нырять с открытыми глазами, стараясь разглядеть, что там, в зеленой глубине, и не видя ничего, кроме наших собственных мертвенно-белых и извивающихся рук и ног. И мы окунались до тех пор, пока один из нас не стал задыхаться... Тогда другой начал толкать его к берегу, но так неловко, что чуть не утопил друга, — а может, в самом деле хотел утопить.

.....

Запишу одну диатрибу, которая, может быть, даст представление если не об общем направлении наших бесед, то об их «уровне» — лучше сказать, о той атмосфере двусмысленности, которая их сопро-

вождала. Двусмысленность состояла в том, что мы говорили как о постороннем о том, что близко касалось нас самих. Двусмысленность проявлялась и в том, что нельзя было понять, верит ли Вика всерьез в то, о чем говорит. Разумеется, я передаю его слова (как и мои косноязычные ответы) лишь в общем виде.

Разговор зашел о любви, об этом неразведанном острове, где Вика был, надо думать, таким же новичком, как и я. Однако он рассказывал по нему, как хозяин. К сожалению, мы не обошлись без обычного в таких случаях цинизма. Вика утверждал, что может безошибочно угадать по внешности девушки, что «это» уже произошло. Каким образом? «По рисунку губ, — объяснил он. — Закон соответствия».

Хорошо помню, что в этот момент внизу зазвенел звонок. Кончилась лекция. Мне нужно было зайти в аудиторию и взять свои тетради. «Будь здоров, Карлуша», — сказал Вика, потягиваясь. Он хлопал кумира, обросшего паутиной, по бородатой щеке, и мы покинули наше убежище. Сверху было видно, как кучки студентов спускались по лестнице. Глаза мои привычно искали ее. Сойдя на второй этаж, я заглянул в аудиторию. Никого уже не было. Она успела исчезнуть, пока я спускался с третьего этажа на второй. Я захватил свое имущество; Вика ждал меня внизу возле киоска, где продавались газеты. Мы вышли на улицу. Далее беседа приняла метафизический характер, потому ли, что мы устыдились нашей грубости, или оттого, что почувствовали, что приблизились к черте, которая отделяла болтовню от личных признаний.

Кто-то, не помню кто, сказал, что взаимная склонность влюбленных есть не что иное, как воля к жизни существа, которое они должны произвести на свет, и, значит, ребенок в некотором смысле зачинается в ту минуту, когда мужчина и женщина видят впервые друг друга<sup>1</sup>. Не думаю, чтобы Вика, развивавший эту теорию, был знаком с мудрецом, который ее придумал. Не чтение, а чувство тайны толкало его — и меня — к подобным фантазиям. Образ женщины предстал перед нами как некий ребус, как тайнопись, выставленная напоказ, отчего эти письмена выглядели еще загадочней. Как многие молодые люди, мы были циниками или по крайней мере старались казаться ими и в то же время чувствовали, что словарь эротики двуязычен. И если тайна есть не что иное, как плоть, то плоть в свою очередь — оболочка тайны. Уловить ее мы могли разве лишь с помощью нами же созданной мифологии.

Он сказал, что ему нужно хотя бы для виду показаться в переплетной мастерской. Мастерская находилась на Гоголевском бульваре. Мы дошли до угла и повернули направо, на улицу, которая тогда называлась улицей Коминтерна.

---

<sup>1</sup> Шопенгауэр.

«Существует наука, — говорил он, — которая смотрит на это дело трезво. Физиология, и баста. Но тогда непонятно, к чему вся эта канитель. И взоры томные, и ветреные речи. Какого хрена? Пустая трата времени. Любовь, можно сказать, только отвлекает от дела».

«Видишь ли, — пробормотал я. — Смотря как на это с-смотреть».

«Слушай меня, — сказал он. — Моя гипотеза устраняет это противоречие. Моя гипотеза не отрицает физиологию. Однако физиология — это только лишь способ. Тусклое отражение истины в плоском зеркале действительности».

Фразы подобного рода, произносимые с неподражаемым пафосом, были в духе Вики.

«Кино, танцы, — продолжал он. — Дурачье даже не догадывается, что все это подстроено».

«К-как подстроено?»

«А вот так. Представим себе, что Икс встретил Игрек. Они думают, что встретились случайно. А на самом деле это он так захотел!»

«Кто — он?»

«Тот, кто должен родиться. Или, скажем, так — чтобы ты не боялся: тот, который *хотел бы* родиться».

Тень какой-то мысли промелькнула передо мной. Я спросил:

«Почему это я должен бояться?»

«Милый мой, — сказал Вика высокомерно, — каждый мужчина этого боится».

«Ну уж это не обязательно», — пробормотал я.

«Что не обязательно?»

«Чтобы сразу ребенок».

Тень была воспоминанием о Тамаре. Все эти недели, захваченный новыми впечатлениями, я не думал о ней. Мы проследовали мимо больших окон Военторга, в которых отражался голубой день, и воспоминание вернулось. Оно уселось, словно хищная птица, мне на плечи и стало клевать меня в темя. Я не видел лица Тамары, я видел другое. Стук ходиков ворвался в мои уши. Желание объять меня с такой силой, что я чуть не упал в обморок. Этого не было там, это было что-то новое. Вика продолжал говорить, но я слышал только голос. Его голос, заглушаемый гулками ударами сердца. Постепенно наваждение прошло, птица задумалась, и мое сердце, словно возвращенный беглец, медленно приходило в себя в своей темнице. Мы брели, направляясь к Арбату. Мне было стыдно.

«Ну и что?» — сказал я как можно более равнодушным голосом.

Молчаливым условием наших разговоров была особая ироническая отстраненность, как будто то, о чем шла речь, и особенно то, что в ней подразумевалось, не имело к нам никакого отношения. Мы были над всем «этим», точно медики, когда они говорят о больных.

«А то, — сказал он, — что не Икс и Игрек захотят — родят их, не захотят — не родят, а наоборот, они шепчут Иксу и Игреку: родите нас! Все эти вздохи при луне, если хочешь знать, — это просто забавы этих ребятешек... Они там развлекаются. Они выбирают себе родителей. Словом, представь себе такой мир, мир неродившихся детей, не действительный мир, а сверхдействительный. Такие туманные поля, облитые лунным светом... Там и мы с тобой когда-то существовали... то есть ждали, когда нам захочется существовать. А ведь мы могли и передумать, не правда ли? Могли не захотеть. И тогда бы нас не было. И женщина прошла бы мимо мужчины, и он бы ее не заметил. А еще, представь себе, они могут придумывать разные штуки. Возьмут, например, и сведут брата с сестрой. Или как-нибудь по-другому... А?»

Немного спустя он сказал:

«Послушай, друг Горацио. Ну ее на х..., эту мастерскую».

Мы сидели на скамье под желтеющими деревьями, перед покнишим остроносым Гоголем, и голос искусителя пел, шептал о вечности позади нас, об опрокинутом времени, о древе жизни, растущем корнями ввысь, о кукольном театре любви и неутоленном желании, чьи побегии поднимаются из глубин предсуществования, точно стебли кувшинок с илистого дна.

## ГЛАВА 22

Иногда я думаю не о том, что было, а о том, как я вспоминал об этом, и, следовательно, вспоминаю собственные воспоминания; они в свою очередь могут оказаться воспоминанием о других воспоминаниях и так далее. Самое же удивительное то, что память способна замыкаться сама на себя. Тогда пресловутая нить рассказа, то, что должно сообщать событиям видимость логической связи, завязывается в узел.

Например, я помню, как я стоял у балюстрады, поджидая Вику, как почти одновременно вышла она, а внизу на лестнице показался он, как он взбежал по ступеням и трубка торчала из его курточки, — и в это время в моей памяти проплывали подробности путешествия в некий переулочек на улице Кирова; но когда в самом деле я плелся по этому переулочку, увидел знакомые ворота, когда пробирался под веревками с мокрым бельем, — мне припомнился ни с того ни с сего

наш разговор возле балюстрады. Возникает естественный вопрос: что в действительности стояло между двумя зеркалами памяти — и что такое эта «действительность»? Или, может быть, именно так мы постигаем скрытые противотоки времени, которых не замечаем в обыденной жизни?

Я не оговорился, употребив слово «плелся»: чем ближе я подходил к ее дому, тем походка моя становилась все менее бодрой. Словно там, в своей темной комнате, она, моя любовница, медленно и настойчиво крутила ручку ворота, наматывая тонкий шпагат, на конце которого влачился я. Что меня туда тянуло? Вождление? О, нет. Я шел мимо мертвых, поблескивающих пыльными стеклами домов, мимо ворот и заборов; чем дальше, тем переулок становился безлюднее, дома — ниже; мои подбитые железом башмаки гремели по тротуару, и в руках у меня билась живая птица: я шел и нес в руках свое сердце. В смутном, томительном состоянии духа вступил я во двор: так идут к зубному врачу. Сырые простыни хлестали меня по щекам. Я нашел окно в углу двора — ее окно — и приник к темному стеклу.

Приставив ладони к вискам, я вглядывался в щель между занавесками — там все было по-прежнему. Все оставалось на своих местах, стол, икона; и кто-то спал, укрытый скатертью или пледом. Было воскресенье, я знал, что она должна быть дома. Но это была не она. На кровати лежал не человек, а полчеловека.

Я как-то сразу успокоился и пошел прочь. То, что место оказалось занято, распрекрасным образом освобождало меня — от чего? От необходимости — скажем так — сесть в зубо-врачебное кресло. Судьба сама распорядилась — и к лучшему. Словом, я был почти рад, увидев лежащего на кровати, кем или чем бы он ни был, и спокойным и независимым шагом вышел из ворот. Я миновал крыльцо. Был полдень, и пустой переулок впереди загибался и исчезал за подслеповатыми домами. Но как только дом Тамары оказался позади, шпагат натянулся, и ноги перестали слушаться. Все еще колеблясь, я повернул назад и вошел в полутемный подъезд.

Сейчас я вдвое старше ее. Мне приходит в голову нелепая мысль. Что если бы я женился на Тамаре? Моя жизнь пошла бы иначе. По крайней мере этот союз уберег бы меня от бед, меня ожидавших. Проклятием нашего времени было само это время. Рогожный куль с отсыревшим песком, который мы тащили неизвестно зачем все бесконечные и бессмысленные годы. От этой жизни можно было спастись только в самых ее глубинах, вот в таком мертвом переулке. Оставив куль у ворот, Судьба, быть может, дала мне знак. Я стоял перед дверью, тупо воззрившись на список жильцов. Этот список мне ничего не говорил: я не знал фамилию Тамары.

Я надавил кнопку звонка, и первое, что я услышал, когда дверь отворилась, был стук каблучков и скрежет аккордеона. Там плясали. Из коридора несло касторкой. Я узнал темную, как пещера, прихожую: вдоль стены, прикрытая тряпьем, стояла какая-то рухлядь, это была несомненно та самая квартира — та и как будто не та. В изумлении я смотрел на сгорбленную старуху с темным вороньим лицом, глядевшую на меня из щели, как будто со времени нашей встречи прошло не два месяца, а много лет, и она так страшно успела состариться; я силился выдавить из себя звук, как выдавливают сухую пасту из тюбика, а она, моргая, уставилась на меня. Она повторила свой вопрос и хотела уже захлопнуть дверь, когда наконец я справился со своими голосовыми связками. Каким-то полупшепотом я произнес:

«Тамара Сергеевна...»

«Чего тебе?» — спросила она.

«Дома?» — спросил я.

Помолчав, старуха сказала:

«Дверь затворяй».

Она побрела по коридору, остановилась у приоткрытой, как в прошлый раз, двери соседки и каркнула:

«Тома! К тебе».

Аккордеон умолк, и голос Тамары спросил из комнаты:

«Кому я там еще нужна?»

«Да ты чего стоишь, заходи», — сказала старуха.

В комнате больной соседки за столом сидели две женщины. Одна была грузная и усатая, с аккордеоном. Боком к дверям сидела Тамара. Она была в пестром летнем платье с короткими рукавами-фонариками, старое лицо ее покраснелось, и глаза ярко блестели.

«Батюшки, Леня!» — пропела она.

Сзади зашаркали шаги, я посторонился. Старуха несла двумя руками в закопченной тряпке большую журчащую сковороду. Мне положили на тарелку винегрета, две большие котлеты, поджаренные на касторовом масле, и глыбку сиреневого студня. Все это сильно пахло, и я почувствовал, как рот у меня наполняется слюной.

«Племянник мой, — говорила Тамара, — он у меня на профессора учится. Ты учишься, Леня? Кушай».

«Винца выпейте», — сказала старуха.

«Да куды ему, он непьющий. Он еще дите. Разве самую чутельку, ради праздника. Мы новоселье справляем, Леня. — Она вынула из рукава платочек и отерла раздумянившееся лицо. — Соседи у меня новые, хорошие соседи...»

Могучего вида женщина, по имени Лиля, заиграла, стараясь подобрать мотив песни «Когда б имел златые горы».

«И реки, по-олные вина! — подхватила Тамара. — Все отдал бы!.. Да ну тебя, — сказала она. — Не умеешь и не берись».

Лилия сдвинула половинки аккордеона и сказала басом:

«Концерт окончен».

Она поставила инструмент на кровать и пошла к дверям. Мы остались вдвоем с Тамарой, но не успели ничего сказать друг другу. За дверью послышался шум, восклицания. Тамара встала и открыла. Усатая Лилия и старуха, похожая на горбатую остроносую птицу, несли под руки проснувшегося инвалида. Это он лежал в комнате Тамары. Тамара взглянула на меня блестящими глазами слегка нетрезвой женщины, как будто хотела промолвить: «Вот такие дела, Ленья». Я перевел глаза в угол, там стояла грубо сколоченная тележка на роликах.

С детства помню я дребезжащий звук — раскаты роликов по асфальту: это мальчишки носились по переулку на самодельных самокатах. Я ловил вилкой раскисший студень, внимая звукам гимна ночных бомбардировщиков. И теперь эта мелодия воскрешает передо мной теплый, почти летний день, должно быть в конце сентября тысяча девятьсот сорок пятого года, цокот ходиков и гром самокатов, и Тамару со скомканным платочком в руке, и сидящего во главе стола, в лямях аккордеона, взъерошенного ветерана, лихо работающего узловатыми пальцами, не то гостя, не то хозяина.

## ГЛАВА 23

Тамара проговорила, обводя глазами стол:

«Жизнь-то какая пошла. Пей — не хочу... Ты ешь, Ленья, на нас не смотри. Эвон огурчик соленый».

«Кушайте», — говорила старуха.

Темной своей, жилистой рукой она налила до половины граненый стакан музыканту. Он посмотрел на него, продолжая играть. Усатая Лилия подперла щеку ладонью. Инвалид подпрыгивал на стуле, точно ехал на коне, играл бровями и кивал головой в такт музыке, но глаза его были устремлены в одну точку — он смотрел на стакан. Тамара поднялась, одернула короткое платье, поставила стакан на ладонь и поднесла ему.

Он взял стакан зубами и, медленно запрокидываясь, словно принимая какую-то странную казнь, стал пить, — все смотрели на его вздувшиеся жилы и подпрыгивающий кадык. Затем опустил голову, тяжело дыша, и у него взяли стакан. Старуха подала огурец.

«Вот так, — сказал он, хрустя огурцом. — Учись, пехота».

Он растянул с победным скрежетом во всю ширь сверкающий перламутром инструмент. Женщины пели:

«Хоть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда мой дом. Но мне кажется снова! Возле дома родного!»

В коридоре раздался протяжный звонок. Старуха побрела открывать.

«Нет никого, — сказала она, вернувшись. — Ребята балуют».

Снова позвонили.

«Да ну их, не ходи. Никому мы не нужны. И нам никого не надо... Нам и так хорошо. Верно, Ленья?»

«Точно, Тома, точно», — подтвердила Лиля.

«Тебе небось скучно с нами?» — спросила Тамара.

«Нет, почему же», — сказал я. В голове у меня немного плыло, но я уже пил водку раньше и умел держаться.

У толстой Лили дрожали губы, и она утирала глаза уголком скатерти.

«Ты чего?»

«А ничего, Томушка... Уж больно хорошо мне...»

«Ну и нечего сырость разводить, — сказала Тамара. — Давай, — мигнула она инвалиду. — Чего-нибудь повеселей».

Инвалид сдвинул створки гармони и сказал:

«Ни хера вы, бабы, не понимаете».

«Точно, точно, Федор Степаныч, темные мы. Куда нам, дурам», — сморкаясь, сказала Лиля.

Тамара сделала знак старухе, та налила еще. Федор Степанович выпил, на этот раз обыкновенным способом, то есть взяв стакан рукой, и произнес следующую речь:

«А ты молчи, когда с тобой старшие по званию говорят. Вот так. Пущай и он послушает, племянник он ай кто... Молодежь, смена наша. Ему полезно. Я что говорю? Я говорю: ни хера вы, бабы, не понимаете, хоть ты будь самая что ни на есть! Вам что хрен, что малина. Что трали-вали, а что, эти его мать, Бетховен! Все одно. Ваше дело такое: колбаса егто, студень... Такое ваше занятие. А на кой мне твоя колбаса? Что я? Куды я теперь? Усы одни остались. Вот как у тебя, — сказал он толстой Лиле. — Мы с тобой с усами, а он с мудьями, вот так. Я что хочу сказать... Ходили мы походами! Как говорится: от Москвы до Бреста, нет такого места. Наше дело правое. Немцу капут. И нам капут. Я вот тебе про себя скажу... Я кто? Я тебя спрашиваю, етить твою! Я — русский солдат! — сказал Федор Степанович, стукнув кулаком об стол. — Я за Родину сражался! В меня из пушек шмоляли, из «фердинандов»... А теперь я куды? Мне теперь, брат, каюк. Вон

там в дверь звонят, а чего не открываешь? Иди открывай! Там за мной пришли. С гробом и оркестром. Вечная слава павшим за нашу советскую!»

«Будет тебе, Федя», — сказала мать.

«Молчи! — крикнул Федор Степанович. — Я русский солдат! Меня не доби́ли! Я за Родину, за Сталина... Добейте меня!»

Он начал стаскивать с себя аккордеон, Лиля и мать подбежали к нему.

«Да куды ж ты... — говорила старуха, прижимая к груди хрипящего и бормочущего Федора Степановича и глядя его спутанные полуседые волосы, — Федь, а Федь... Очнись... Хошь, винца дам?»

«Хозяева дорогие, — сказала Тамара, — спасибо за угощение. Пойти воздухом подышать маленько».

«Куды ж вы? Чайку выпьем...»

«Дело у нас. Спасибочки за все».

Я вышел на лестничную площадку. Мне пора было уходить. Она догнала меня, кутаясь в платок, который накунула на себя. Дверь в квартиру осталась приоткрытой.

«Новые жильцы, — сказала Тамара задумчиво. — Умерла Марья, соседка-то моя. Вот их теперь вселили... Временно или уж как там... Вообще-то, — добавила она, — наш дом на ремонт будут ставить».

Мы молчали, не зная, о чем говорить.

«А я думала, ты меня не вспомнишь. Ну, как ты?»

«Да ничего», — сказал я.

«Как дома-то у тебя? Отец здоров?»

Я пожал плечами.

«Что, пьют шибко? Что ж поделаешь. Все пьют. А-ах! — она неожиданно зевнула. — Может, вернемся? Что мы тут стоим, как нищие».

В легком платье не по сезону, с короткими рукавами, в платке на плечах, она казалась и старой, и молодой, и наше стояние перед дверью на лестнице с каждой минутой все больше походило на любовное свидание. Она пугливо оглядывалась по сторонам. В ней уже не было ничего от прежней покровительственной манеры. Я даже приобрел, как мне показалось, какую-то власть над ней, и выходило так, что не она, а я должен был решать, что нам теперь делать. Надо было что-то сказать. Или уж — если считать, что она вышла меня проводить, — попрощаться. Но я молчал.

«Что же мы стоим? — повторила она неуверенно. — Пошли, что ли...»

И она двинулась, но не на улицу, а вверх по лестнице. Наверху было еще две двери, одна заколочена досками крест-накрест, а на другой висело прибитое гвоздями объявление. Крупными буквами, похожими на повалившийся забор, было написано:

«Мамка, я на тебя сердит. Прощай навсегда».

«Ишь ты какой», — сказала Тамара.

Снизу из приоткрытой двери доносилось скрипение аккордеона.

«Небось Лилька опять играет. С виду посмотришь, конь, а не баба, а сама... — Тамара махнула рукой. — Еще, чего доброго, за безногого выйдет. А мы теперь, Леня, на новую технологию переходим. Экспедицию всю расформировали. Цапулю твою — фить».

Она стояла ко мне спиной, крутя на пальце связку ключей, и смотрела через перила, и я видел серебристые нити в ее волосах.

Я совершенно забыл о Павлике. Если бы она сейчас не назвала его, я бы его никогда не вспомнил. Неожиданно я спросил:

«А он у тебя тоже был?»

«Кто? — спросила она, поворачиваясь, и пристально взглянула на меня. — Ты о чем?»

Я растерялся и пожал плечами.

«Ревнуешь? Что ж, и на том спасибо. — Она усмехнулась. — Как говорится, коли ревнует, значит, любит...»

Она провела рукой по волосам, глядя в сторону отсутствующим взглядом, и на лице ее промелькнула какая-то тень прожитых лет. Этот женский усталый жест словно отодвинул меня в сторону.

«Какая у нас любовь, — проговорила она. — Срам один. Я старуха, да и ты... — она посмотрела на меня снизу вверх, — не орел! Даром, что такой длинный вымахал... Леня, милый, не обижайся. Я ведь любя. На-ка вот... Я безногому на бутылку припасла, так чем даром пропадать...» Двумя пальцами она извлекла из лифчика вчетверо свернутую бумажку и сунула мне в карман.

«З-зачем?» — сказал, оторопев.

«Бери. Подкормишься... Да говорят тебе, бери!»

Я знал, что если я сейчас возьму эти деньги, то окончательно себя возненавижу. Мы молча боролись, она запихивала мне бумажку в карман брюк, я ей — назад, за пазуху, и кончилось тем, что мы чуть не повалились на пол, я успел подхватить ее, и мы так и остались в объятиях друг друга. Платок упал с ее плеч и лежал у нас под ногами. Я посмотрел на него, потом на нее... Она подняла на меня глаза, высвободила руки и, обхватив меня за шею, пригнула к себе мою голову.

«Глупый, — бормотала она, тяжело дыша. — Кто ж от денег-то отказывается... Я ведь от чистого сердца... Осерчал? Эх, ты...»

Она целовала меня в лоб, в глаза и все повторяла: «Эх, ты...» И я тоже хотел ей сказать, что я ее люблю, и, словно под теплым дождем, стоял под ливнем ее поцелуев.

«Дура я, сумасшедшая. Рехнулась на старости лет, — сказала Тамара, наклоняясь за платком. Мы оба дрожали, как в ознобе. — Это он давеча звонил, — говорила она, торопясь и не попадая ключом в замочную скважину. — Мальчонка такой баловной... Мать-то по выходным работает, мне ключ оставляет...»

Мы вошли, и замок защелкнулся за нами. Я не помню квартиру, да мы в нее и не заходили. Помню, что сняли в прихожей с крюка старый овчинный полушубок, а поверх полушубка на кухне, прямо на полу, она разостлала платок. И мы легли на него, как обреченные, и меня до сих пор поражает, сколько такта, умения, нежности проявила она, умеряя мой пыл, пока наконец не вспыхнула сама, словно куст... Я думаю, что чувство, которое влекло нас друг к другу, было чувством судьбы. Бывает, что судьба нагромождает препятствия, чтобы самой же их устранить, и тогда они становятся метами единственного пути, о котором еще никто не знает, что это — путь. И все, что казалось случайностью, было на самом деле лишь поводом для того, чтобы это произошло: и запах касторки, и новое платье Тамары, и речь Федора Степановича, и то, что новоселье было не новоселье, а род смотрин, но и смотрин не было, потому что толстая Лиля хотела выйти за инвалида, а старуха этого не хотела, и то, что мальчик, убегая, прибил к дверям объявление, и полушубок, и капающий кран на кухне, и солнце, косо бившее в окно. Все было подстроено, все вело нас по этому единственному пути. Так мореплаватель пробирается по извилистому проливу, не ведая, куда он его приведет, — и вот, перед ним океан.

Так завершилась схватка, которая началась на лестнице, но теперь это было сражение неумелого завоевателя со страной, которая покорялась — но и вела его за собой. Она была этой страной, и она вела меня. И чем глубже я в нее погружался, тем все меньше оставалось от завоевателя, тем ясней становилось, что мы — одно. Я был ее слепок, а она была моей формой, я устремлялся вперед, и она расступалась; я стал посохом, она — дорогой, я был ключом, она была скважиной, я стал тем даром, о котором сказано: «если бы ты знала дар Божий...» Я превратился в ее зеркальное отражение, все мужское во мне стало женским в ней, мы были небом и землей, путником и колодцем, мы были одно, и снова одно, и в который раз одно, одно.

Несколько времени спустя я услышал мерное чмоканье, тихий звон капель, падающих из крана в кухонную раковину, было сумрачно, долгий день клонился к вечеру, и к запаху женщины примешался прелый запах овчины. Солнце уже садилось, когда я присел, утомленный долгой дорогой, возле колодца. Она подошла и склонилась над срубом, только это было не дерево, а камень, четырехугольное

сооружение из грубо стесанных плит посреди поля, которое хозяин купил у прежних владельцев. И овцы блеяли, ожидая, когда их напоют. Она выпрямилась, сверкающие капли падали с ее кувшина, и я попросил напиться, я сказал: дай мне глоток... И она догадалась, что я из чужих мест, по моему выговору. Усмехнувшись, она спросила, как это я не брезгую пить из ее кувшина, я, иудей. И солнце висело над горизонтом, заглядывая в окно кухни, и блеяли овцы. Я увидел, что она стара, как мать, и молода, как новобрачная; я пил и не мог напиться, и она сказала: хочешь еще? И я ей ответил... Я ответил: если бы знала, кто я и откуда пришел, ты сама попросила бы у меня, и я дал бы тебе такой воды, что утоляет любую жажду. Ты дала мне напиться, а теперь я возвращаю тебе кувшин. У тебя сильные руки, просторные бедра, крепкая грудь. У тебя было много мужей, и никто тебя не насытил, никто не утолил твоей жажды. Теперь я буду твоим мужем. И она опустила рядом со мной, и мы стали пить вместе.

## ГЛАВА 24

«Ты уверен, — спросил я Вику, — что он подразумевал... п-п-подразумевал нашу?..»

«Можешь не сомневаться».

Мы обсуждали последнюю новость: знакомство и разговор с продавцом газет. Здесь требуются пояснения. Как уже упоминалось, газетный киоск находился в вестибюле Нового здания, при входе налево. Собственно, это был не киоск, а стол, на котором торговец раскладывал свой товар, позади него стоял шкаф, сбоку на гвоздике висели старое драповое пальто и мало распространенный в то время головной убор — фетровая шляпа.

Часам к шести, когда народ расходился и на галерее и в вестибюле зажигались матовые шары, продавец закрывал свой шкаф. Тут к нему и подкатился мой друг Вика с нелепой и нахальной просьбой одолжить его синий рабочий халат. Была придумана какая-то фантастическая версия, приводить которую здесь нет надобности.

Интересно, что он сумел настолько заморочить голову Вике, что она не ушла сразу, как делала всегда, когда видела нас вдвоем. Мы с ней стояли наверху за балюстрадой между постаментами вождей, и нам было видно все, что происходило под лестницей. План состоял в следующем. По обе стороны лестницы в глубине находились уборные, а между ними коридорчик и вход в подвал с хозяйственной кладовой. Как только Вика раздобудет халат, я спущусь по боковой лестнице и удостоверюсь, что в мужской уборной никого нет. Тогда она тоже сойдет вниз, незаметно пройдет в кори-

дорчик со стороны женской уборной, там будет лежать халат, она наденет халат, возьмет в руки швабру и войдет в качестве уборщицы в туалет для мужчин, чтобы полюбоваться тем, что мы или, точнее, он намеревался ей показать.

Одна из его сумасбродных затей.

Сразу же скажу, чтобы долго на этом не задерживаться, что замечательно продуманный план провалился. Продавец газет, выслушав моего друга, повесил халат в шкаф и запер створки. Вика вообще отказалась идти под лестницу (хотя ее разбирало любопытство) и в конце концов покинула нас. Узнала ли она когда-нибудь, что именно ей хотели продемонстрировать? Можно предположить, что узнала, когда ее вызывали для дачи свидетельских показаний. Так или иначе, она была бы шокирована. Однако разговор Вики с продавцом имел для нас неожиданные последствия. Дня через два Вика шел по Моховой мимо станции метро «Библиотека Ленина», и его окликнули. Он шел с улицы Фрунзе, где в переулке, в красивом старинном доме с лепными украшениями, — слишком красивом, чтобы я мог когда-нибудь там побывать, — жили близнецы.

Продавец газет (это был он) спросил Вику, есть ли у него несколько минут свободного времени. Здесь, возле метро, находилось его главное место работы, настоящий киоск, а в университете — нечто вроде филиала.

После этого продавец сказал, что его вмешательство может показаться неуместным и он просит извинить его, но его долг — нас предупредить. Вика сделал голубые глаза, но продавец не стал вступать с ним в дискуссию. Продавец газет вообще был краток. Он не говорил: как вам не стыдно, знаете ли вы, как это называется, и так далее. Он просто сказал — ребята, будьте осторожней. И все это время на окошке киоска висела картонка с надписью: «Закррито на обед».

«И все?» — спросил я.

«А чего тебе еще надо?»

Я заметил, что Вика взволнован этой новостью, но вместе с тем как будто и доволен.

«Слушай, — сказал я после некоторого молчания. — Может, нас еще кто-нибудь заметил?»

«Кто?»

«Не знаю, — сказал я. — Кто-нибудь».

«Ты что, струсил?»

«Да нет, — сказал я, — н-не струсил».

«Если нас накололи, то уже ничего не изменишь, — сказал Вика. — Но я не думаю. Мы бы тогда с тобой здесь не гуляли. Это у них делается быстро. Раз, и человека как не было».

«Откуда ты знаешь?»

«От верблюда».

Мы прошли еще шагов пятьдесят, и я снова сказал:

«Слушай-ка. А может...»

Он бросил на меня молниеносный взгляд.

«Если ты его самого подозреваешь, то спрашивается: за каким хреном? За каким хреном ему надо было нас предупреждать?.. Сидел бы себе, и молчал, и стучал потихоньку».

«А может, он хотел убедиться, что это действительно мы».

«В таком случае, — заявил Вика, — нам тоже надо убедиться. По крайней мере, будем точно знать. Видишь ли, мой друг Горацио: против разведки есть только одно оружие — контрразведка! Не надо уходить от опасности. Надо пройти сквозь нее и очутиться по другую сторону. Между прочим, есть предложение».

«М-м?»

«Пойти к нему», — сказал он.

«К... как к нему?»

«В гости. Он приглашает».

«Ты что же, с-собираешься обсуждать с ним наши дела?»

«Упаси Бог. Друг Горацио! О чем речь? Ничего не было! Понимаешь: ничего не было! Никто ничего не писал, и никто никого не видел. Он сам сказал — забудем и не будем больше возвращаться. Будем считать, что этого разговора не было».

«Ну да, не было, — сказал я. — Если бы не было, то...»

«То что?»

«Если бы не было, то и н-ничего бы не было», — сказал я.

«Дурья ты башка. Разговор происходил без свидетелей, ясно? А если без свидетелей, значит, ничего доказать невозможно. Мало ли кто там писал!» Этот довод показался мне убедительным.

«Впрочем, — добавил он надменно, — мы говорили не об этом».

«А о чем?»

«О разном. Любопытный мужик».

«Он и меня з-з... зв...?»

Две девочки в подворотне играли в классики. Дул ветер. Вика поднял стеклышко, метко бросил его и запрыгал по клеткам.

«Не хочешь, не надо, — донесся его голос, — не хочешь — не надо».

Roma locuta!<sup>1</sup>

Разумеется, мы пошли.

---

<sup>1</sup> Roma locuta, causa finita (Рим сказал свое слово — вопрос исчерпан; *лат.*).

Я считаю моделью политического вольномыслия заборные и сортирные надписи. Крамола, как мы ее понимаем в России, есть явление того же порядка, что и мат. Спустить штаны со священного идола государственности не то же ли, что начертать заветное слово, которое нельзя произносить, хотя оно известно всем? В самом процессе начертания есть нечто неизъяснимо сладостное.

В таком смысле и надлежит понимать развитие свободомыслия в России. Повсеместное распространение сортирной словесности есть факт, без которого характеристика нашего отечества была бы неполной. От тонущего в грязи клозета-скворечника под дырявой толевой крышей на глухом полустанке до кафельных чертогов в центре Москвы нет отхожего места, где вас не встречали бы знакомые лапидарные тексты и рисунки, где заветная тайна не отворила бы уста и не заговорила на грязном языке народа. Непристойность есть выражение глубокой потребности сделать тайное явным, идет ли речь о тайне пола или о политическом устройстве страны.

Я краснею при воспоминании об эпизоде, который мне придется сейчас рассказать, но хотел бы сразу внести ясность в оценку его последствий. У Герцена одна тетушка говорит: кучка студентов напугала *tout le gouvernement*<sup>1</sup>. В наше время не было никакого *gouvernement*, и никого мы не напугали. А главное, не было тетушек, которые произносили бы такие сентенции. Но называть себя жертвой беззакония было бы лицемерием. Беззаконие подразумевает внутреннюю неправоту государства, я же полагаю, что государство было право, поступив со мной так, как я заслуживал с его точки зрения. Государство всегда право, поскольку оно остается верным себе. Нельзя представлять себе закон как нечто вневременное государству: государство — это и есть закон.

Государство было право, учредив систему тотального сыска. Оно было право, поощряя и эксплуатируя человеческую низость. Право, когда истребляло всех тех, в ком видело своих врагов. Государство было трижды право, построив концлагеря. Упрекая его, мы совершаем логическую ошибку, мы подставляем на его место другое, которое кажется нам более «нормальным», а затем уличаем его в беззаконии. В действительности государство является нормой самого себя, подобно истине, о которой Спиноза говорит, что она есть критерий *sui et falsi*<sup>2</sup>.

Буду краток. Мне уже приходилось говорить о странном очаровании, которое находили люди моего времени в чтении ежедневных газет. К полудню перед столом продавца выстраивалась очередь.

---

<sup>1</sup> всё правительство (*фр.*).

<sup>2</sup> себя и лжи (*лат.*).

Монеты брякали о тарелку, и каждый нетерпеливо развертывал пахучие, пачкающие пальцы листы, словно надеялся увидеть там что-нибудь новое. Но находил он все то же, что и вчера. И это было именно то, что он хотел найти. Но тотчас некий рефлекс, физиологический отклик на прочитанное, давал знать о себе не терпящим возражений позывом, и, сложив вчетверо свою добычу, читатель газет устремлялся к тайной двери в темном углу. И вот, когда, войдя в сумрачный зал, пахнувший подземельем, уединившись и накинув на дверь крючок, и утвердившись на шатком помосте, и в последний раз пробежав глазами газетные столбцы перед тем, как употребить их в дело, он поднимал к стенам тесной кельи скорбный и утомленный взор, — что он видел? Он видел на стене то же самое!

Он читал передовицу. Он видел последние известия. Он вперялся остолбенелым взглядом в знакомые ликующие заголовки. Он видел все то же самое. И все наоборот.

На этих гнусных стенах, где всякий привык читать похабные афоризмы и рассматривать грязные рисунки, он видел другие призывы, такие же непристойные, и читал, и как бы соучаствовал в крамоле, что же касается картинок, то он видел то, без чего не обходилась ни одна газета: он видел портрет. Вождь был представлен в полном параде, со звездой победы и широкими, как доски, погонами генералиссимуса, в фуражке, в литых усах, со взглядом, устремленным вверх и вдаль, взглядом радостного леопарда, — но при этом он был гол, как сама истина, с короткими поросшими шерстью ногами и чудовищным доказательством своей мужской мощи. И, объятый ужасом, не довершив печального труда, читатель газет торопился покинуть страшное место.

Вот это произведение мы и хотели продемонстрировать бедной девочке, и какое счастье, что нам это не удалось... Уборщицы усердно соскребывали со стен кощунственные столбцы, но это лишь означало, что следом появится новый номер. Как-то раз я заметил, что неизвестные соавторы присоединились к нашему труду, — идея понравилась. Точнее будет сказать, к моему труду, ибо хотя идея принадлежала моему другу Вике, исполнителем, в основном, был я. Просуществовало все это недолго. Начался ремонт. Бригада плотников снесла перегородки, кабинки были уничтожены, и глазам новых посетителей предстал общий помост.

## ГЛАВА 26

Поход состоялся в один из ближайших дней, поход, подобный восхождению Десяти тысяч: свернув с шумной улицы, мы устремились в лабиринт каменистых ущелий, в дебри неизвестного матери-

ка. Но подвиг наш оказался напрасным, в тот самый миг, когда мы опрокинули варваров, царевич, жаждавший власти, пал, мы больше не были ему нужны. И мы отступили, мы шли, экономя припасы и воду, впереди шагали пешие воины, за ними везли раненых и больных, последними ехали конные военачальники, среди них был афинянин Ксенофонт, описавший этот поход, среди них находился мой друг Вика, там был и я, ныне описывающий события... И вот случилось однажды, когда войско длинной колонной в клубах пыли медленно поднималось по горному склону, мы услышали ропот в первых рядах, услышали тысячегрудый вздох. Донеслись крики: «Тáласса!.. Тáласса!..» Нужно было родиться греком, чтобы понять, что значило для нас это слово. С каменистой террасы мы увидели вдаль на горизонте сверкающую полосу воды. И я помню, как мы бежали, падая и сбивая с ног отстающих, ломая повозки, плача — бежали вниз, повторяя одно слово: «Море!»

Погода испортилась. Дождь затянул густой паутиной кривые улочки. Продавец газет проживал где-то между Пречистенкой и Арбатом. Мы заблудились в лабиринте перекрестков и тупиков, несколько раз возвращались на одно и то же место, к длинному приземистому дому с замусоренными окнами, ветхими деревянными ставнями и полуосевшими водосточными трубами по углам. На крыльце стоял вождь туземных племен.

«Папаша, не знаешь, где тут Малый Тетерев?»

«Нет здесь никаких тетеревей. Не водятся.»

«Переулоч такой».

«Ну, знаю, что переулоч...»

«Как пройти, не знаешь?»

«Не знаю, — сказал старик. — А на кой он вам?» «Битва у нас назначена. С персами», — сказал Вика. И мы потащились дальше.

«Стой! — крикнул с крыльца старик. Он был в телогрейке и высоких валенках с галошами. — Чего даром мокнуть-то, не уйдет ваша битва. Закурить есть?»

Мы вернулись и стали под навесом. Вика вытянул из кармана кисет. Вокруг капало и чмокало.

Вождь свернул козью ножку, пыхнул пламенем.

«Чтой-то я не понял», — проговорил он, кашля. Вика объяснил, что мы идем воевать с Артаксерксом.

«С кем?»

«С Артаксерксом, царь такой».

«Царей теперь нет, — заметил старец. — Отменены все цари».

«Видишь ли, дедуля...»

«Какой я тебе дедуля?»

«Ну папаша».

«Какой я тебе на́-хер папаша! Кха! Кха! Кха! Кы-хы-х-ха!»

Он долго и с удовольствием кашлял и выплюнул, тяжело дыша, под дождь ком слизи.

«Чего там у тебя в табаке насыпано? До кишок аж забирает!»

Разговор иссяк, некоторое время мы молча обозревали унылый пейзаж.

Я спросил:

«А вы царя помните?»

«Как не помнить; я всех помню. И царя, и этого».

«Петра Первого?» — спросил Вика.

«Не Петра, а Николашку. Ты не путай. И этого, как его, кото-рый с царицей жил».

«Распутина?»

«Какого еще Распутина? Она с Керенским жила».

«Понятно», — сказал Вика.

«Чего тебе понятно? Ничего тебе не понятно, — сказал старик презрительно. — Он, может, только числился. Вот как ты, примерно, числишься на работе, а другой за тебя вкалывает... Неспособный был царь, ясно?»

«Как это, неспособный?»

«А вот так: неспособный, значит, по мужскому делу. У него и усы не росли».

«В-вы ошибаетесь, — сказал я, — а как же на марках?»

«Чего?»

«На марках. Там он с усами и с б-б... б...»

«Он хочет сказать, на портрете».

«Нарисовать все можно, — заметил старик, держа толстую самокрутку в пожелтевших пальцах. — А я его своими глазами видал, вот как тебя».

Дождь лил и лил.

«Царя?» — спросил Вика.

«Царя, кого ж еще. Я, когда был мальцом, песни пел. А родители у меня были, можно сказать, нищие. Поэтому меня взяли на казенный кошт в школу капельмейстеров. Что такое капельмейстер, знаешь?»

«Дирижер?»

«Капельмейстер — это капельмейстер, — сказал старик, — не знаешь, так и не говори... Да. Летом повезли нас в лагеря. А у меня, понимаешь, кишки схватило, помираю. Меня к лекарю. Как раз полковой лекарь у командира части гостил... Он пощупал и говорит:

надо его в лазарет немедленно. Повезли в лазарет на кобыле, на которой воду возют. Пока везли, болело, привезли — отпустило. Говорят, надо лежать. Лежим. Вдруг...»

Он погрузился в задумчивость, навесил брови и засопел широкими волосатыми ноздрями, разглядывая окуроч, потом швырнул его в лужу.

«Ну, в общем, ревизия. Фершалá по коридору туда-сюда... Главный врач заходит, ребята, говорит, сами понимаете, кто к нам едет. Чтоб у меня все чин-чинарем! Мы, конечно, рады стараться. Слышим, идут. Много, цельная толпа. Кругом по койкам лежат взрослые солдаты, один я пионер. Как раз он меня тут и увидел: это, говорит, что за солдат? Какого полка?»

Я руки по швам, нос кверху, и гр-ромким голосом, как положено, вашего императорского величества лейб-гвардии тра-та-та-та! рядовой такой-то. Шустрый я был. Царь спрашивает у главного: что у него за болезнь? Главный у доктора; что за болезнь? Тот говорит: пенди-цит. Главный докладывает: пендицит, ваше величество! Ладно, говорит, поправляйся и больше не болей. И вот, слава Богу, сколько уж лет прошло, до сих пор здоров».

Помолчали.

«Ну и как он выглядел?» — спросил Вика.

«Кто, Николашка? Да никак. Росточку небольшого, пониже тебя. Конечно, с лентами, с перьями разными. Орденов! Как у маршала Жукова. Красивый был царь».

«С усами?»

«А как же».

«Ну вот, а ты говорил, не росли»,

«Чего я говорил? Ничего я не говорил! Ты на меня напраслину не вводи».

Снова помолчали. Стало светлеть. Дождь падал редкими каплями.

Старик сказал задумчиво:

«Кабы царь был, вся жизнь была бы другая».

«Лучше?»

«Какой там лучше. — Непонятно было, что он хочет сказать, но мы и не старались понять. — Раньше жизнь какая была, знаешь? Во! — Он показал кулак. — Никш-ни! Раньше порядок был... Вот ты, к примеру, сопляк, а как со мной разговариваешь? Ты бы разве так разговаривал? Ладно, — буркнул он, — заболтался с вами... Мне бы вот еще табачку».

Вика высыпал ему горсть на ладонь.

«Сурьезный табак, — сказал вождь. — Где брал?»

«Сам сажал», — сказал Вика.

«Эва! Огород у тебя, что ли?»

«Ну что, дедушка. Мы пойдем».

«Скатертью дорога!»

«Вы здесь живете?» — спросил я.

«Куды там... у людей живу. Сноха у меня тут».

Мы совсем было уже двинулись, как вдруг дождь снова начал покрывать кругами лужу под крыльцом.

«Ребята, — сказал старик. — Вы ребята молодые. Может, дадите чего, а? Копеек десять, больше не прошу. Вам куды, на Малый Тетерева? Эвон двором пройдете, он и будет».

## ГЛАВА 27

Переулок в самом деле был под носом, и найти дом продавца газет не составляло труда. Дом был необитаем. Высокий двухэтажный особняк, весь темный на фоне блистающего оловянного неба, с остатками герба на фасаде, стоял за полуразвалившейся оградой. Мертвенно отсвечивали его окна, блестели лужи. Кругом ни души. Сбоку участок был огражден забором. По ту сторону забора проход. Прыгая по кирпичам, утонувшим в грязи, добрались до заднего двора и увидели деревянный флигель. Наверху в двух окошках горел свет.

На крыльце оттоптали глину, вошли. Это была довольно крутая, в два марша, скрипучая деревянная лестница, скудный свет едва проникал со двора сквозь амбразуру над крыльцом. На площадке мерцали круглые кошачьи глаза. Зверь спрыгнул с перил. На дверях, обитых рваной клеенкой, можно было разглядеть потемневшую медную табличку:

«Профессор П. Х. Дымогаров».

Вика присвистнул.

«Может, не он?» — предположил я.

Из лохмотьев торчал звонок, старинная вертушка дореволюционного образца, точно такой звонок был в нашей квартире; правда, им уже не пользовались. Слабо продребезжал колокольчик, и настала зловещая тишина. Кот стоял наготове у наших ног, блистая зеленым серебром глаз. У подъезда стоял автомобиль, черный автомобиль, похожий на гроб. Мы ждали, выставив пистолетные дула, убийца же тем временем уходил по чердаку.

«Старший лейтенант Нечипорук!»

«Здесь», — сказал я.

«Приготовиться к штурму. Не стрелять».

Неожиданно сама собой дверь начала открываться. Появилось пухлое белое личико, на нас уставились круглые глаза.

«Пардон, — произнес Вика. — Мы к Павлу Хрисанфовичу. Он дома?»

«Дома», — сказала девочка, и дверь захлопнулась.

Снова тишина, затхлый холод лестницы и кот под ногами.

Убийца вылез из чердака и неслышными прыжками уходил по крыше. Наконец послышались шаги. Щелкнул выключатель, звякнула цепочка. Брызнул свет...

«А-а, — сказал продавец газет. — Брысь! Пошел вон... А, молодые друзья... Рад, рад. Входите».

Было непонятно, действительно ли он радуется нашему явлению. Отшвырнув ногой ломившегося зверя, продавец газет запер дверь и накинул цепочку. Мы очутились в тесной прихожей, где все место занимал шкаф, а напротив него висело зеркало, откуда, словно из преисподней, взглянуло на меня мое лицо с длинным носом и взлохмаченными волосами.

Собственно говоря, это была не прихожая, а часть комнаты, отгороженная шкафом. В проеме висело что-то вроде портьеры. Направо находилась кухня. Хозяин говорил:

«Хочешь кормить его, корми на улице. Сколько раз можно повторять? Я спрашиваю».

Ответом было молчание, словно та, к кому он обращался, была немой или слабоумной. Сунув палец в рот, она глядела на нас круглыми, как пуговики, черными глазами. На ней было белое домашнее платье, ветхое и застиранное, черные чулки и вязаные деревенские носки, ей в самом деле можно было бы дать не больше одиннадцать лет, много — двенадцать, если бы не одно странное обстоятельство: она была женщиной. Женщиной с полной грудью, и это сочетание полноты с испуганным детским личиком и малым ростом производило впечатление, которое мне трудно определить, притягивающее и отталкивающее одновременно.

«Ступай на кухню, Клава...» — промолвил Павел Хрисанфович.

В комнате мы увидели круглый обеденный стол, еще один в простенке между окнами, очевидно, рабочий стол профессора, кровать под ветхим пикейным покрывалом, с двумя подушками, — другого ложа не было, разве что она могла спать на кухне... Кто она была, эта девочка-женщина: дочка, внучка, домработница? Быть может, он привез ее с собой из гиблых северных краев, из какой-нибудь умирающей среди ржавых болот деревни? Я заметил, что и Вика, вступивший с профессором в учено-иронический диспут (Павел Хрисан-

фович суетился, шаркал дырявыми шлепанцами, сам вскипятил чайник на плитке, стоявшей на письменном столе среди бумаг, расставил чашки, затем кряхтя опустился перед буфетом, — явилась бутылка), я заметил, что Вика, рассевшись у стола и помахивая трубкой, тоже как будто преодолевал некоторую неловкость и время от времени бросал зоркий взгляд мимо профессора. За неплотно прикрытой дверью не слышалось ни звука.

Я листал толстую растрепанную книгу, но мысли мои, стыдно сознаться, были там, на кухне. Я был не в силах совладать со своим воображением, которое рисовало мне Бог знает что: как она зажигает газ, как она стаскивает через голову тесное платье и грязноватую рубашку, и остается в одних носках, и кружится, перебирая короткими толстыми ножками, держа в ладонях свои тяжелые груди, перед черным окном, в котором пляшут, отражаясь, лиловые венчики огня, ее черные глаза летают по стенам, жидкие волосы веют в теплом воздухе, и вот наконец она превращается в ведьму и белой кометой уносится в форточку к своему коту.

Подняв глаза от книги (заложенной полосками бумаги, испещренной птичками, подчеркиваниями, восклицательными знаками), я увидел портрет этой Клавы: круглое личико состарившегося дитяти в паричке, похожем на чепчик. Это был прикреплённый над письменным столом вырезанный откуда-то портрет Леонарда Эйлера — что указывало, как это стало понятно позже, на особый характер ученых интересов хозяина... Голос Павла Хрисанфовича окликнул меня. В это время за столом уже чокались. Профессор поигрывал размочаленными концами шарфа, которым была обмотана его тощая шея. Я не мог преодолеть приступ дикой, охватившей меня застенчивости (со мной это бывает). Временами его голос, мягкий и вкрадчивый, как бы вовсе исчезал из моего слуха.

На обратном пути мы чуть не поссорились: Вика сказал, что от глаз продавца газет не укрылось впечатление, которое на меня произвела толстая Клава. Какое же это впечатление, спросил я. «Обыкновенное, — сказал Вика. — Как кусок свинины на голодного». Я проглотил эту грубость, и несколько минут мы молча пробирались вдоль забора, ежеминутно рискуя выколоть себе глаза острыми голыми ветками. «Ты не тушуйся, — продолжал он. — Тут ты добыешься больше, чем с моей сестрицей». — «При чем тут твоя сестрица?» — спросил я.

Выбравшись на тротуар, мы принялись оттаптывать с ног излишнюю грязь, и хлопанье наших подошв эхом разнеслось по пустынному переулку. Что-то гнетущее было в голубоватом свете, сквозившем через марлю облаков. Тротуар успел кое-где подсохнуть. Тускло светились номера домов.

В его глумлении, увы, скрывалась доля правды. Обе девушки как будто совместились в моей душе. В ларце моей любви существовало второе дно. Целомудренный образ Вики отбрасывал тень — приземистую, на толстых ножках; а может быть, сама Вика превратилась в тень, в воздушный мираж, и эта, маленькая, с птичьими глазами без зрачков, с ротиком как мятая роза, осталась на земле ее заместительницей, и с ней не нужно было никаких церемоний, ибо едва ли она понимала другой язык, чем язык голодных взглядов и грых объятий.

Но неожиданное открытие разозлило меня больше, чем этот намек: он догадался о моей любви! Он знал о ней и посмеивался надо мной. Я вдруг увидел себя его глазами и понял, каким нелепым воздыхателем я должен был ему казаться. Я вообразил, как он будет рассказывать ей о нашем визите к Хрисанфовичу и как весь вечер я был сам не свой, он украсит свой рассказ невероятными подробностями, распишет эту Клаву как доказательство моего истинного вкуса. Правда, тут же я подумал, что этот рассказ, быть может, возбudit ее ревность и заставит ее, наконец, взглянуть на меня как на мужчину, ибо до сих пор я был в ее глазах размазней, мямлей, в лучшем случае мальчишкой, с которым не может быть ничего «серьезного». А между тем что могло быть серьезней и выше моего чувства к ней! Я любил ее так сильно, что мне не нужно было взаимности. Я понимал рыцаря Тогенбурга. И что же? Достаточно было какой-то толстозадой девчонке взглянуть на меня, как от рыцарства не осталось и следа.

«Валяй! Старик не будет против».

Я остановился и с ненавистью взглянул на него.

Пожатие плеч, его улыбка канатного плясуна, лунного лицедея... И снова согласный стук наших шагов по асфальту... Этот разговор, который я привожу здесь только ради того, чтобы не опустить ничего из застрявшего в памяти, завершился еще одной тирадой моего друга, достойным образцом той игры с действительностью, которой мы предавались изо дня в день. Суть этой игры, в которой он, как всегда, был учителем, я — учеником, состояла в том, что реальный ход событий рассматривался лишь как один из возможных. Мы чувствовали себя в одно и то же время героями и творцами романа, именуемого нашей жизнью, и не отказывали себе в праве предпочесть одной сюжетной линии другую. Мы были игроками и склонялись над доской, где в качестве фигур стояли мы сами... Нечего и говорить о том, что действительность отомстила нам за такое отношение к ней.

«Предположим, — сказал Вика, — что наш звездочет — стукач. Планеты открыли ему, кто сочиняет в клозете антисоветские пасквили, и теперь он собирает матерьялец для секретного дяди и таким образом искупает свое прошлое...»

Я похолодел.

«Ты это серьезно?»

«Разумеется, серьезно, а ты как думал?» — хохотнул он.

Поворот, и неожиданно переулочек кончился: мы оказались на Пречистенке. Я еще мог успеть на метро. Двинулись к Дворцу Советов. Залитый светом Дворец поднимался выше облаков. На вершине стоял Ленин. Все это было нарисовано на фанерных щитах и освещалось софитами, а сзади был котлован: гигантский фундамент был разобран во время войны.

Мы шагали, изо всех сил преодолевая усталость, и эхо нашего возвращения несло за нами, как пыль за марширующей колонной.

«...Но он не торопится, — продолжал Вика, едва ворочая полумертвым языком. — Чтобы войти к нам в доверие, он предупреждает нас об опасности. Мы прекращаем выпускать сортирную газету. Переходим к рукописной. Десять экземпляров под копирку... или там гектограф. Номер висит на дверях, на колоннах, на члене у Ломоносова. Дядя-паук, само собой, в курсе событий и потирает лапки... Мы становимся в семействе Херсановича своими людьми. Я сочиняю революционную поэму. Ты трахаешь Клаву. А Херсановичу только это и нужно. Звезды так велят, ничего не поделаешь! И вдобавок совесть чиста: ты оскорбил его семейную честь, так поделом тебе... И вот в один прекрасный день... вернее, в одну темную ночь...»

Ветер из подземелья рванул мои волосы, теплый испорченный воздух шибанул в нос, в пах. В ужасе и восторге я сбежал по ступеням в пещеру метрополитена и, задыхаясь, ввалился в пустой вагон. Я боюсь спать, чтобы мгновенно не уснуть. Мне восемнадцать лет. Я бессмертен.

## ГЛАВА 28

То, что я собираюсь сказать ниже, — лишь малая часть соображений и догадок, которые можно было бы привести касательно личности и мировоззрения Павла Хрисанфовича Дымогарова; я воздержусь от них, так как не располагаю достаточным числом фактов. Пусть эти строки, по необходимости лаконичные, послужат запоздалой данью памяти о нем. Думаю, что я единственный, кто сохранил эту память. Что стало с Клавой, куда делись записи Павла Хрисанфо-

вича, его вычисления и то, что он называл Полным Прогнозом, — неизвестно. Продолжателей у него, насколько я могу судить, не нашлось, а дом в Малом Тетеревом переулке давно снесен, да и переулка больше не существует.

Не исключено, что он в самом деле когда-то что-то преподавал, хотя едва ли был профессором. Скорее всего (как я предполагаю) он просто присвоил себе это звание в тех местах, где люди придумывали для себя всевозможные звания и чины, лишь бы не оказаться на дне. С этим званием он и вернулся. Как и когда Павел Хрисанфович пришел к своей идее, произошло ли это в заключении (если он был в заключении) или раньше, не знаю. Замечу лишь, что его наука должна была оправдывать для него тот особый фатализм, который был безусловным законом для целого поколения людей и на языке тех лет именовался патриотическим долгом. То, что угодно кесарю, начертано на небесах.

Нечего и говорить, что я отношусь ко всякого рода гаданьям скептически. Я не могу даже утверждать, что его наука привлекала меня с чисто эстетической стороны — как сочетание строгой знаковой системы с весьма зыбкой семантикой (что сближает звездословие с музыкой). Эстетика — это было по части Вики, великого мастера двусмысленности, недаром он с таким увлечением слушал продавца газет. Тем не менее главная идея нашего друга профессора созвучна моему личному ощущению времени. Я поясню это на следующем примере. Много лет меня преследовала, да и теперь еще посещает, этакая фантазия, если хотите — кошмар. Я купаюсь в море, заплыл далеко, пора возвращаться. И вот я плыву к берегу, волны несут меня на своих спинах, и кажется мне, что вот-вот я коснусь ногой твердого дна, но волна, обогнав меня, ударяется о берег и откатывается мне навстречу, и я никак не могу доплыть. Мне бы надо спокойно переждать обратную волну и плыть с попутной, но у меня нет опыта, я первый раз купаюсь в море, и вот я напрасно истощаю свои силы, отчаяние охватывает меня, берег, такой близкий, недостижим, я барахтаюсь, хватаю ртом воздух, рвусь вперед, а встречная стена воды окатывает меня с головой. Я никогда не бывал на море, я житель глухого материка, и море для меня — миф, далекое и несбыточное видение. Но во сне я вижу его мерцающие блики, нестерпимый блеск воды, слышу его шум и плеск, как будто оно за стеной. И вот, мне кажется, видение не зря посещает меня. Я верю в вещи сны, хоть и не в том смысле, какой обычно вкладывают в это слово.

Мы можем с равным правом полагать сон предвестьем действительности, а действительность — предсказанием сна. Сон — это движущиеся картины, которые действительность развешивает на стенах

души, но я думаю, я догадываюсь, что действительность состоит из двух противоположных движений. Время несет нас на своих плавниках из прошлого в будущее. А из будущего навстречу катится обратная волна и накрывает нас с головой. Так в борении времени и того, что несетя ему навстречу, в сшибке свободы и предопределения зыблется наша жизнь.

Некоторые факты, на которые ссылался П. Х., любопытны. Конечно, сами по себе они не новы — хотя в те дни, во время наших визитов в деревянный флигель, они удивляли и интриговали нас. Один из них был гороскоп Эйлера — факт, по выражению Павла Хрисанфовича, хрестоматийный. Эйлер, похожий на Клаву, висел над профессорским столом. Между прочим, ему принадлежала идея параллельных рядов. Речь идет, пояснил Хрисанфович, об особом рода функциональной зависимости, когда обе переменные поочередно являются и аргументом, и функцией. Однако, добавил П. Х., он предпочел бы не отвлекаться.

Итак: в тысяча семьсот сороковом году мекленбургская принцесса Анна, внучка Иоанна V, произвела на свет младенца, которому спустя два месяца был пожалован титул императора. Этому императору, Иоанну Шестому, а вернее, Третьему, если вести счет по числу царей, едва успел миновать год, как однажды ночью, зимой, в спальню его матери регентши вошла цесаревна Елизавета Петровна в кирасе, надетой поверх платья, с ватагой преображенцев, и сказала: «Сестрица, вставай». После чего вынула императора из колыбели, расцеловала и передала усатому гвардейцу. Мать и сына повезли на Соловки, потом еще куда-то, позже мальчик оказался в Шлиссельбурге, все бумаги, где называлось его имя, были уничтожены, всякое упоминание о нем запрещалось, и сам комендант не знал, что за узник сидит у него в каземате. Был проект женить его на государыне; Екатерина тайно побывала в крепости и нашла там двадцатидвухлетнего парня, дикого и наполовину поврежденного в уме, сидящего в углу, как зверь; он, однако, знал, кто он такой. После этого получена была из дворца инструкция умертвить арестанта в случае покушений с целью его освобождения, что и было выполнено в 1764 г., когда императора пытался вызволить некий Мирович; таковы факты.

Согласно официальному предсказанию жизни Иоанна VI, составленному Эйлером при рождении младенца, его ожидал царский венец, а далее долгая и счастливая жизнь. Венец сбылся, хоть и не надолго, о прочем же никогда более не вспоминали, если не считать темных слухов вроде того, о котором фрейлина Загряжская рассказывала Пушкину. Да и никто уже не доверял пророчествам астро-

логов. После переворота начались гонения на немцев; Эйлер уехал. Но! (Продавец газет поднял палец.) Но гороскоп сохранился. Не фальшивый, представленный двору, а настоящий, ужаснувший академиков, и поэтому его никому не показали. Он сохранился в «Делах с известным титулом» и даже был опубликован сто лет спустя в малоизвестных «Записках Екатеринбургского Общества ревнителей отечественной истории», откуда его и выудил П. Х.

«Вот, — сказал он, — обычный солярный гороскоп, такой же, как у Эйлера: обратите внимание, друзья мои. Считается, что восточные дома отвечают событиям первой половины жизни, западные — второй. Что мы здесь видим? Западные дома пусты. Это значит, что второй половины вообще нет. Ее не будет. Асцендент в созвездии Стрельца. Марс в XII доме и поврежден близостью Сатурна: насильственная смерть... ну-с, а теперь прошу взглянуть на эту таблицу. Перед вами так называемый зодиакальный паспорт. Своего рода послужной список. Левый столбец — годы жизни... Получается забавнейшая вещь».

## ГЛАВА 29

Повторяю то, что уже мною сказано: вынужденный уделить место сим предметам, я снимаю с себя ответственность за эту часть моих записок. Какова была цена ученым исследованиям Павла Христанфовича Дымогарова, была ли его система истиной или мифом? Судить не берусь. Скажу больше: этот вопрос мне глубоко безразличен. Буду продолжать... Итак, если верить профессору, ему удалось реконструировать весь жизненный путь несчастного Иоанна Антоновича, всю его темную судьбу. При этом он утверждал, что смог восполнить многие белые пятна, в частности подтвердил считавшуюся абсолютно недостоверной версию о том, что попытка освободить узника, стоившая ему жизни, была не единственной. Первый такой случай должен был произойти, когда ему было около шестнадцати лет, то есть сразу по прибытии в крепость. Место императора в камере должен был занять двойник. Таким образом, открывался новый династический вариант русской истории. Однако дело не в императоре. Как сказал П. Х., это всего лишь пример; правда, таких примеров не так уж много.

В шестнадцатом столетии несколько любопытных прогнозов сделал знаменитый Джеронимо Кардано. Он даже предсказал день собственной смерти, и когда этот день наступил, уморил себя голодом, чтобы не посрамить науку. Другие его пророчества были удачней, а главное, он первым попытался сравнить астрологическое

предсказание с фактами уже известной жизни. Такое сравнение служит как бы нормировкой прогнозирующего прибора. Известны и другие проверки, иногда они совпадали, иногда нет, причем возникает вопрос, не является ли астрологический ряд, в том случае, если он не совпал с реальным, не является ли он указанием на вариант действительности, в каком-то смысле предусмотренный, но не реализовавшийся?

Произнеся эту фразу, продавец газет подмигнул, и ощущение зыбкости всего, что нас окружало, — хорошо помню, — пронзило меня в эту минуту. Такое чувство должен испытывать канатный плясун, поглядев случайно вниз. Хрисанфович показался мне сумасшедшим. Но он не был сумасшедшим. Он встал, прошелся туда-сюда, включил радио. Разговор продолжался.

Разговор продолжался, причем профессор как будто прочел мою мысль, сказав, что все это может, конечно, показаться пустыми бреднями, однако существует твердая почва, эту почву составляют чисто формальные соотношения, но для того, чтобы их установить, чтобы постигнуть истинную семантику языка планет, нужны многие сотни гороскопов, многие сотни зодиакальных паспортов. И усталый жест, которым он указал, вздохнув, на свой стол, был приглашением вернуться к прозаической действительности.

Между тем из картонного рупора доносилось что-то, казавшееся мне знакомым. Голос продавца газет утомительно звучал в моих ушах, лекция мне прискучила, к тому же я испытывал определенное разочарование оттого, что не было Клавы. Я томился по ней, если уж на то пошло... Кажется, она гостила у родственников в деревне. Что это была за деревня и какие родственники, ума не приложу. Именно тут произошел эпизод, о котором я считаю нужным упомянуть. Диктор назвал имя: Дитрих Букстехуде. Это был концерт из цикла «Новые музыкальные записи». Имя это мне, конечно, ничего не говорило... И вот в комнату вплыла колышущаяся мелодия, вплыла, словно рыба на серебряных крыльях-плавниках, словно отверзла очи чья-то душа. «На-ра... ра... м-м...» — мурлыкал астролог, приподнимая крышку чайника, стоявшего на плитке, и, собственно, оттого и оказался у стола, над которым висело радио. Наконец чайник закипел. Павел Хрисанфович понес его, словно брашно к поминальному столу, по дороге выдернув обе вилки из розеток — вилку электроплитки и радио. Музыка смолкла. И я вспомнил, где она исполнялась.

Я вспомнил это с такой же отчетливостью, с какой помню теперь, что происходило на другом конце жизни: старуху Светлану Савельевну, гйда с повязкой и скрип колесницы в гулком холодном за-

ле, где меня приняли за мужа. И ту, которая лежала в деревянной ладье, в хрустальной колыбели, чье юное тело расплавилось в огне, ибо она оставалась прежней, в то время как я старел. Клянусь, это было так, а не иначе; время сделало круг. Все это мне припомнилось — не теперь, а тогда. Павел Хрисанфович застыл с чайником, струя кипятка лилась мимо чашки на скатерть, и губы его шевелились. Внезапно он опомнился. «Ах!.. Я вас не облил?»

.....

Отсюда оставался один шаг до создания метаастрологии как системы. Объяснить конкретный смысл этого термина я, впрочем, едва ли сумею. Если я скажу, что наука эта была способом схватить антивремя, несущееся нам навстречу, зашифрованное в значках светил, — будет ли это достаточным объяснением?.. А Вика? Вика слушал лекцию Хрисанфовича с неподдельным вниманием. Очевидно, было что-то в профессоре, в его голосе и взгляде, даже в его манере сидеть за столом, забросив ногу за ногу, сузив глаза и поигрывая концами шарфа, было что-то, магнетически привлекавшее моего друга. Вика утверждал, что «идея» ему ясна. Однако из этой идеи следовали выводы, которые надлежало принять как научную истину. Верил ли он в истину? Скорее его увлекло внешнее оформление. («Красиво врет», — вот его слова.) Красота профессорских построений состояла в том, что строгость системы, немые столбцы цифр и четкие, как ходы в шахматах, правила оперирования со знаками сочетались с неясным и жутким смыслом, который стоял за всей этой математической чертовщиной. Вот эта чертовщина, которую мы оба чувствовали, я думаю, гипнотизировала Вику. Я думаю, — как это ни покажется сейчас кощунственным, — что между ними было родство душ.

Сам Павел Хрисанфович следующим образом пояснил свою мысль: существует *пратекст* действительности и правила, при помощи которых он может быть непосредственно прочитан. Для этого обычная шкала времени заменяется абсолютной, наподобие абсолютной шкалы температур, и проблема перехода от прошлого к будущему снимается. Весь ансамбль событий рассматривается как «длящееся настоящее». Смена событий оказывается иллюзией, вроде бегущих букв на световой рекламе: на самом деле никакого движения нет, просто вспыхивают разные лампочки. Сами по себе они ни появляются, ни исчезают.

Павел Хрисанфович говорил о подспудном слое в астрологии, существование которого постулировал Кеплер. Имеется знаковая структура, своего рода алгебра астрологического языка; очищенная

от шелухи суеверий, она представляет собой голый формальный аппарат прогнозирования. Это алфавит и грамматика пратекста. Астрология — предок науки. Когда-то под астрологией подразумевали предсказание судьбы. Не обязательно личной: делались попытки расширить прогноз до масштаба города и даже целого государства. Разумеется, они носили донаучный характер; однако не следует ими пренебрегать. Задачи метаастрологии, сказал П. Х., существенно шире. Ее возможности необозримы. Понятно ли нам, о чем идет речь?

Диковинная наука была не чем иным, как интерполяцией истории в будущее. История была предопределена — в буквальном смысле написана на небесах. Но — оставляя в стороне вопрос об истине — был ли профессор вполне беспристрастен в своих попытках прочесть этот загадочный текст? Не уподобился ли он придворному гадателю, чей прогноз должен был в любом случае сулить счастье, благополучие, долгую жизнь и царский венец? Увидел ли он этот венец на челе России? Говорилось о науке, о поисках объективной истины. Но ученый азарт Хрисанфовича питался иной страстью, «угрюмый, тусклый огонь» согревал его, то был огонь патриотизма. Патриотизм был для него абсолютной точкой отсчета, высшим доводом и высшей моралью, то есть моралью фаталистической; патриотизм примирял прошлое страны с настоящим и одновременно примирял собственное прошлое Павла Хрисанфовича с настоящим, возвращая его жизни смысл, без чего она обратилась бы в прах.

## ГЛАВА 30

Давно пора было наступить зиме, но по-прежнему лили дожди, и город был похож на огромный тонущий корабль, который напрасно подавал в тумане сигналы бедствия. На безлюдных улицах, между накренившимися домами, метался ветер, качались фонари и брызгали водой ржавые водостоки. Деревянный дворец Хрисанфовича стоял весь черный от сырости, пробираться к флигелю приходилось держась за шаткие доски забора, и вокруг крыльца с хлопающей дверью, среди полузатонувших кирпичей, похожих на Курильские острова, бежало рябью тусклое море. Кот сидел на перилах с египетским терпением. К этому времени знакомство наше с профессором превратилось в некое подобие дружбы... Он даже называл нас своими учениками, несмотря на задиристо-непочтительный тон, который Вика усвоил по отношению к нему; этот тон, впрочем, лишь подстрекал красноречие Павла Хрисанфовича. Словом, нас тянуло к нему, а

он, в свою очередь, испытывал видимую потребность в нашем обществе, пожалуй, привязался к нам, точнее, привязался к Вике, так что я даже ревновал к нему моего друга. Разувшись на пороге, мы шлепали босиком на кухню, где Клава развешивала на батарее наши носки. Постепенно ее присутствие в профессорском доме перестало казаться загадкой: почему бы ей, в самом деле, не быть обыкновенной домработницей, каких немало было в Москве до войны, спасавшихся от колхоза, деревенской скуки и безвыходного девичества? Мы вошли. Крепкий чай, по бутерброду на брата, слипшиеся конфеты-«подушечки» в вазе желтого стекла, желтый, похожий на юбочку матерчатый абажур и наш хозяин, бедный и тощий, обмотанный ветхим шарфом, концы которого болтались на его впалой груди, младенец Эйлер в полутьме над письменным столом — все казалось теплым, уютным, как будто ждало нас, все грело и веселило после жестокой непогоды.

В этот вечер Павел Хрисанфович сказал, что он часто думает о глупом эпизоде, как он выразился, — едва не погубившем нас.

«Слава Богу, все, кажется, обошлось».

Мы помалкивали, потягивали чай с блюдец, поджав босые ноги под столом. В сущности, мы почти уже забыли о нашей газете.

Продавец газет продолжал:

«Я думаю, вам следует знать, что кое-кто обратил внимание на ваше предприятие. Догадываетесь, о ком я говорю?»

Нет, мы не догадывались.

«Меня вызывал оперуполномоченный, — сказал Павел Хрисанфович. — В каждом учреждении есть оперуполномоченный. В университете тоже есть».

«Да?» — спросил Вика.

«Да».

«Где же он сидит? У него есть кабинет?»

«Разумеется».

«Где?»

Павел Хрисанфович крикнул.

«Вот этого, Вика, я, к сожалению, не могу вам сказать. Уполномоченный это — как бы вам объяснить, — это секретная фигура. Представитель госбезопасности. Каждого, кого туда вызывают, предупреждают, что он ничего не должен разглашать».

«А вы?» — спросил Вика.

«Что я?»

«А вы разглашаете?»

Звездочет промолчал, пососал конфету.

«Почему вас?» — продолжал спрашивать Вика.

«Потому что мимо меня все проходят. Я сказал, что ничего не заметил. Вот так, друзья мои... Слава Богу, все обошлось».

Некоторое время мы все молчали. Затем Павел Хрисанфович сказал:

«Как вы догадываетесь, я тоже был, э-э... читателем и отдал должное вашему остроумию. Разумеется, я понимаю, что это была мальчишеская шалость. Я все понимаю. Но все-таки... Позвольте вам задать один вопрос. Зачем вам, в сущности, это понадобилось?»

Тишина. Да и что мы могли ему ответить? Низачем. Затея была прекрасна сама по себе.

Профессор встал.

«Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Что вы хотели сказать этой вашей... газетой? Знаете, друзья мои, — сказал он, прохаживаясь по комнате взад-вперед и в волнении потирая руки, — я все же как-то не верю, что это одна только шалость. Я не собираюсь устраивать вам допрос, и вообще, мы договорились, что никто ничего не видел... Могу, если не возражаете, ответить на свой вопрос сам. Расшифровать общую идею, которая содержалась в вашем, м-м, выступлении... Вы позволите мне говорить начистоту?»

«Валяйте», — сказал Вика, откусывая огромный кусок бутерброда.

«М-да... ну что ж! Вы хотели сказать, — я подчеркиваю, что намерен лишь эксплицировать идею, так сказать, обнажить вашу мысль, хотя, может быть, вы ее и не вполне осознавали, я готов это допустить, но смысл вашей пародии именно таков, — вы хотели сказать, что существующий порядок, да, именно, существующий порядок — есть ложь и бессмыслица. Вы хотели сказать, что победа России в величайшей из войн — это пиррова победа, а величие русского государства — мнимое величие... Не выдавши страну, не имея правильного представления об ее прошлом, не зная ее народа, я подчеркиваю: не зная! — вы уже его осудили, не так ли?»

«Дядя, — лениво сказал Вика, — при чем тут народ?»

Речь Павла Хрисанфовича, казалось, не произвела на него никакого впечатления. Я покосился на «дядю». Профессор сидел в позе Петра, разговаривающего с царевичем Алексеем, нога на ногу, стуча желтыми ногтями по скатерти и вперяя в Вику сверкающий взор.

«Еще чаю?»

«Благодарствуйте...»

«А вам?»

«Спасибо, б-больше не надо», — пробормотал я.

Разговор продолжался: звездочет спросил, читали ли мы Чаадаева?

Нет, мы не читали.

«Вы знаете, кто это такой?»

«Чаадаев — друг Пушкина», — сказал я.

«Да, — подтвердил он. — Допустим. Хотя, если вдуматься, вовсе не друг...»

Он вздохнул, поднялся, и наконец на столе появилась давно ожидаемая бутылка. Замечательная иностранная бутылка с экзотической этикеткой, куда Павел Хрисанфович каждый раз подливал напиток, судя по всему, не столь высококачественный.

«Нехорошо, — пробормотал он, слегка дрожащей рукой извлекая пробку, — сам знаю, что нехорошо, но так и быть: по рюмочке! Раз пошел такой разговор...»

## ГЛАВА 31

Оказывается, мы повторили тезис Чаадаева. То есть мы повторили бы тезис Чаадаева, если бы «эксплицировали идею». Эта идея (мне она тут же понравилась) есть отрицание России. Нет, поправился профессор, ставя рюмку на стол. Не отрицание, а глумление. Вся русская мысль в продолжение ста лет вела спор с Чаадаевым и дала ему два противоположных ответа. Однако спор не кончен. Павел Хрисанфович налил себе еще и после некоторого колебания — мне и Вике.

«Историю можно трактовать двояко, в терминах науки и в терминах провидения. Я считаю, что один взгляд не противоречит другому. Как вы полагаете?»

Как? — да никак. Разговор трещал, дымил и все не мог разгореться. Едва ли, впрочем, звездочет ждал от нас серьезных возражений. Ученый спор съезжал в туманную область пророчеств, в смутный и опасный бред, в шорох крамолы. Я заметил, что голос Хрисанфовича как будто проваливается, — так бывает, когда смотришь в телевизор. Пользуюсь этим современным сравнением за неимением лучшего. Человек на экране о чем-то толкует, вы следите за движениями уст и вдруг ловите себя на том, что давно уже не слышите, о чем он там говорит. Потому что и уста, и вставные зубы, и фосфорный блеск глаз, и ногти, барабаниющие по скатерти, сами ведут красноречивый рассказ, но рассказывают не о том, о чем говорят слова. О чем же?

За языком скрыт другой язык, за этим лицом стоит другое лицо, за мыслями, пробегающими, как деревья за окном вагона, бежит в противоположном направлении другой строй мыслей — словно дальний строй деревьев. Но где был тот, кому все это принадлежало? Я

поглядывал на запавшие черты продавца газет, ловил его погибающий взгляд, — да, именно так надлежит смотреть на историю, как бы с двух концов, ибо если будущее заключено в прошлом, то и прошлое, в свою очередь, есть не более чем текст, записываемый под диктовку будущего, — слушал, и мне казалось, что человек этот говорит на иностранном языке. Звук его речи значил больше, чем самая речь. Мысль, как тонкий налет, осела на его лице. Но как только я устремил внимание на это лицо, он вернулся в свою речь, и я снова потерял его, ибо не слышал того, что он говорил. И так повторилось несколько раз.

«Как вы понимаете, — донесся его голое, — я отнюдь не из тех, кто готов петь хвалы этому режиму. — Он улыбнулся. — Надеюсь, вы на меня не донесете?»

«Можете не надеяться», — сказал Вика.

«Хе-хе...»

«И не вздумайте бежать на чердак. Там тоже наши люди».

«С вами не соскучишься. Еще по рюмочке?»

«Валяйте...»

Профессор кисло улыбался, качал туфлей. Вдруг на кухне что-то грохнуло.

Мы все разом повернулись, точно ждали этого.

«Клавушка! Ты что там делаешь?.. Ты спишь?»

Тишина. Туфля на ноге Хрисанфовича перестала качаться, вино слегка колебалось в его руке. «Клавушка» не откликнулась. Потом дверь начала потихоньку отворяться; на миг выглянуло круглое совиное личико и снова исчезло.

«М-да, — сказал профессор. — На чем бишь мы остановились?.. Итак, я отдаю справедливость вашему критицизму. Но, господа! — Он поднял рюмку, точно говорил тост. — Надо видеть вещи в исторической перспективе. Надо понять, что эта власть... как бы к ней ни относиться... только оболочка! Позвольте мне сформулировать один деликатный вопрос».

«Какой вопрос?»

«От ответа на него, собственно, все зависит... Была ли революция неизбежной?»

«Конечно», — сказал я,

Я произнес это неожиданно для самого себя, потому что, как я уже говорил, разговор наш был важен не тем, что говорилось вслух, а чем-то подразумеваемым, что висело в воздухе и все еще не могло разрешиться, как мгла за окнами, как присутствие Клавы за дверью.

«О! — Звездочет поднял брови. — Вот так, без всяких сомнений?.. Прекрасно, молодой человек. Рад, что вы включились в дискуссию. Позвольте вас, однако, спросить: откуда вам это известно?»

«Что известно?» — спросил я бестолково.

«Что большевистская революция была неизбежным следствием нашей истории. Что она вытекала из нее».

Я пожал плечами. Я даже придал своему движению невозможную презрительность, потому что профессор явно придерживался другого мнения. Дело в том, что причиной, заставившей меня открыть рот, была злоба. Я это понял. От блаженной неги первых минут не осталось и следа. Меня раздражали его витиеватость, лукавая уклончивость, все эти «м-да» и «если позволите так выразиться», но еще больше раздражало нечто, для которого я не могу подыскать определения. Словом, я искал, на чем мне сорвать свою злобу.

«Интересно, очень интересно! — сказал Павел Хрисанфович. — Между прочим, мои данные говорят о том, что революция, по крайней мере в той форме, в какой она произошла, отнюдь не была целью русской истории. Как вы понимаете, термин «цель» употреблен мною в его специфическом значении... Но дело не в этом. Безусловно, такой вариант, я имею в виду насильственную ломку, был предусмотрен. Но были и другие. Даже в пятнадцатом году вероятность крушения была невелика, а в шестнадцатом и начале семнадцатого стала еще меньше... Я, друзья мои, хорошо помню предреволюционные годы. Должен вам сказать, что никакого развала не было, напротив, страна постоянно шла на подъем. А что касается революционного движения, то давайте обратимся к фактам».

«Давайте!» — сказал я и стукнул кулаком об стол.

«Может быть, — заметил он мягко, — мы больше не будем наливать? Боюсь, что наш друг...»

«А вы не б-бойтесь!» — сказал я.

«Русские мальчики, — кивая головой, пробормотал Хрисанфович, — русские мальчики...»

Голос его снова начал пропадать.

Но мне хотелось с ним спорить.

«Вот вы говорите, — начал я, не слушая и не слыша его, — вот вы говорите: великая страна, великий народ. Какой же он в-в-в... великий, если всё... — Мне хотелось привести наиболее веские доводы. Но они требовали слишком длинных фраз, слишком долгих объяснений. А я хотел сокрушить его одним ударом. — Нет уж, — прорычал я. — Все это надо вдребезги... к чертовой матери...»

Я обвел глазами стены убогого жилья.

«Газета! — сказал я презрительно. — Ерунда собачья... Не газетами надо действовать. Знаете, что Ленин сказал? Ленин сказал: мы таким путем не пойдём».

«Каким же?» — спросил он осторожно.

«Что каким?»

«Каким путем предлагаете идти вы?»

Я посмотрел на астролога, и мне показалось, что он снова говорит на двух языках: одним языком говорили уста, а другим — глаза и руки, вертевшие рюмку.

«Надо вот что, — сказал я, лихорадочно соображая, что бы мне такое придумать. Потому что на самом деле я хотел высказать ему совсем другое. — Надо... купить несколько сот открыток. Понимаете, обыкновенных почтовых открыток. И бросать их в почтовые ящики. Надо открыть людям глаза. Одним словом, нужны энергичные меры... Нужна н-новая революция».

«Это что, у вас такая идея?» — спросил Хрисанфович Вику.

Вика устремил в пространство таинственный взор.

Хрисанфовичу, однако, мои слова как будто даже понравились. Я констатировал это с удивлением.

«Вот, вот, — кивал он, словно экзаменатор, который слышит отличный ответ. — Именно так они и рассуждали!»

«Кто рассуждал?»

«Видите ли, м-м... Не берусь утверждать, что именно так они формулировали свою задачу. Но ведь это не так уж и важно. Важно, какими, так сказать, импульсами они были движимы».

«Кто они?» — спросил я, сбитый с толку.

«Люди, совершившие переворот, — сказал он. — Надеюсь, вам известно, что это не те люди, чьи портреты вы теперь видите на улицах во время праздников...»

«Ка... какие праздники?»

Звездочет вздохнул.

«Я говорю не о праздниках, — тихо проговорил он, глядя на меня большими глазами. — Существовали, м-м, определенные силы, которые сдвинули на короткое время курс отечественной истории. Существовала этническая группа, более, чем какая-либо другая, заинтересованная в крушении страны. Но мне кажется, э-э...»

Тут у меня мелькнула одна мысль. Он не назвал меня по имени — может быть, потому, что и я никак не обращался к нему. И теперь он делал вид, что забыл, как меня зовут. Но он не мог забыть. Это была особая, тонкая и ядовитая форма презрения.

«Мне кажется, э-э... вы не следите за моей мыслью...»

«Очень даже слежу», — сказал я злобно.

«М-да. Кхм!»

«Что же это за этническая группа?» — спросил я.

«Видите ли, — проговорил он задумчиво, — вы, вероятно, и сами это знаете...»

«А Ленин?» — сказал я.

«Увы! — улыбнулся Хрисанфович. — И Ленин не исключение. Именно он-то как раз и не исключение».

Он принялся изучать бутылочную этикетку.

«Это что? — спросил я, пораженный. — Это... по вашим таблицам, по вашей к-к-кофейной гуще так выходит?»

«Нет, кофейная гуща тут ни при чем. Это документальный факт».

«А ты что, не знал?» — донесся голос Вики.

«Но судьба, — продолжал мертвым, покойным голосом Павел Хрисанфович, — позаботилась о том, чтобы люди, посеявшие зло, сами потом перебили друг друга... Вот вам и разгадка знаменитых процессов тридцатых годов. Трудный, мучительный процесс самоочищения национального тела России».

Он устал. Я вдруг заметил это. Лицо его обвисло, рот приоткрылся. Он вертел свою рюмку двумя пальцами, потом, словно только сейчас увидел, что в ней осталось вино (какая-то жгучая и отвратительная на вкус настойка), внезапным движением опрокинул ее в рот. Глаза его медленно, как восходит тусклая звезда, поднялись и застыли на моем лице, и он проговорил:

«Да-с, позаботилась. — И добавил: — А за кофейную гущу ты мне заплатишь».

Последняя фраза, возможно, не была произнесена. Возможно, он сказал ее на том, другом языке, который я тщетно старался понять. Во всем этом разговоре была какая-то безысходность. Вдобавок звездочет все время уходил в сторону.

Нужно было объяснить ему, нужно было набраться терпения.

«Как вы не понимаете?» — сказал я.

С трудом ворочая языком, я продолжал:

«Какое очищение? Партия переродилась. У нас не социализм, а фашизм! — высказал я, наконец, свою главную мысль. — Если бы Ленин остался в живых, его бы объявили врагом народа и расстреляли».

Звездочет внимательно меня слушал.

Подумав, я добавил:

«Как у Достоевского».

«Простите?»

«Вы читали “Братья Карамазовы”?»

«Допустим», — сказал Хрисанфович.

«Там есть такой Великий инквизитор. Он говорит: зачем Ты пришел? Ты нам не нужен, завтра сожгу Тебя».

«Так-таки и сказал?»

«Вы что? — спросил я. — Вы надо мной с-с... смеетесь?»

«Боже упаси», — сказал Хрисанфович.

«А вот он, — сказал вдруг Вика, — тоже еврей».

«Я не еврей!» — вскричал я, дрожа от негодования.

Профессор вздохнул, переменил позу.

«Не будем ссориться, друзья мои. Не будем ссориться... В самом деле, Вика, — сказал он строго, — откуда вы взяли?»

«Догадался, — ответил Вика. — По портрету».

«Что?» — сказал я, поворачиваясь к нему, Он смотрел на меня смеющимися глазами, я — на него, мучительно вспоминая, о чем шла речь и откуда вообще взялась эта тема. Безвыходность, я уже сказал, что во всем этом была глухая безвыходность. Я хотел сказать нечто важное, великолепное и убийственно-меткое, но слова застряли у меня в горле, и я был похож на человека, запертого на ключ. Теперь оба они — и Вика, и продавец газет — были моими врагами.

## ГЛАВА 32

Продавец газет налил себе чаю, но чай остыл.

За окнами шелестел дождь. Кряхтя и морщась от боли в пояснице, он поднялся, и до слуха моего донеслось, как он долго и безуспешно пытался воткнуть вилку в розетку.

«Кстати, — протребезжал его голос. — Вы могли бы обуться. Еще простудитесь, чего доброго».

Он позвал:

«Клава!»

Мы тупо посмотрели на дверь,

«Клавушка!»

И дверь сама собой открылась.

Не открылась, а распалась от толчка изнутри — и взорам нашим предстало нелепое и сказочное явление: Клава, одетая в не поддающееся описанию платье, вероятно, сшитое из лоскутков, с идиотически-кокетливой ухмылкой стояла, как в раме, в дверном проеме кухни, растянув веером над толстыми коленками цветастый подол и поводя туда-сюда бедрами. Мы воззрились на нее, словно это была ожившая целлулоидная кукла или восточная богиня, со-

шедшая в убогую профессорскую келью с конфетных небес, — и профессор, повернув к ней растерянное лицо, с чайником в руке, проворковал умильно:

«Красавица, уж такая красавица! Лучше некуда».

Она все крутилась на пороге, улыбаясь и выставя неестественно полную грудь.

«А теперь ступай к себе».

Он сел и устало повторил:

«Ступай к себе...»

Явление Клавы в новом платье разрядило обстановку. Дверь затворилась. Она там что-то делала: прыгала или прохаживалась — может быть, танцевала. Хрисанфович, аккомпанируя себе пальцами по столу, мурлыкал жидким тенорком арию Каварадосси. Потом я услышал, как он сказал:

«Я хотел вас спросить, Леня...»

Впервые он назвал меня по имени,

Я поднял голову.

«Простите, что я снова возвращаюсь. Но вы сами об этом упомянули... Чья это была идея?»

Теперь он мурлыкал какой-то романс.

«Газета?» — спросил я.

«Вы можете мне не отвечать, я не собираюсь вас допрашивать».

«Моя».

После всего, что я тут говорил, мне было стыдно признаться, что тексты сочинял Вика, а не я. Впрочем, я плохо помнил, что именно я говорил; все это восстановилось постепенно, позже...

«Моя, — сказал я. — А что?»

«У-гм... А девушка?»

«Какая девушка?»

«Ваша девушка, — мягко сказал он, еле заметно нажимая на слово «ваша». — Она... знала?»

«Не знала», — сказал я.

«О, если б знать, что сердцу будет мило. Что суждено... Знаете что, — проговорил он, — я бы хотел дать вам один совет. Даже не совет, а так, на всякий случай. Если вас вызовут... ну, словом, если это дело всплывет...»

«Там все сломали», — сказал я.

«Вот именно, и слава Богу. Так вот, мой вам совет... на всякий случай. Ни за что не сознавайтесь».

Павел Хрисанфович, растопырив пальцы, взял аккорд. И еще аккорд. Павел Хрисанфович играл неведомую музыку на скатерти.

В эту минуту я вдруг заметил, что Вика пропал. Его не было за столом.

Я взглянул на профессора; тот рассеянно пожал плечами.

Я встал.

Дверь на кухню была закрыта, и оттуда не доносилось ни звука.

Я вошел в кухню. Если мною и двигали какие-то чувства, то лишь недоумение и любопытство. Итак, я вошел.

На кухне, у окна стояла Клава, и Вика, наклонившись над ней, обнимал ее сзади. Оба стояли спиной ко мне. Личико Клавы смутно белело в запотевшем стекле.

Не выпуская ее из объятий, Вика повернулся ко мне. Я стоял на пороге, босой, и смотрел на них. Вика был в ботинках с незавязанными шнурками.

«Тебе чего тут надо?» — спросил он.

«Ничего», — сказал я.

«Иди отсюда».

Я молчал.

Он оставил ее и подошел ко мне.

«Ну! — сказал он. — Кому сказано? Иди к...» Он глядел мне в переносицу, и его губы спокойно и медленно договорили все до конца.

Краем глаза я увидел Клаву, острыми глазками она уставилась на нас. Вздохнув, я ударил Вику в подбородок.

Глаза его потускнели, он усмехнулся.

«А ну еще, — сказал он. — Валяй еще, сволочь, говно паршивое...»

Он мгновенным движением присел, схватил меня ниже колен, и я повалился. Он вскочил и ударил меня ногой в живот. Я скорчился. Он стоял и ждал, когда я разогнусь, чтобы ударить еще, но тут в кухне очутился Павел Хрисанфович. Помню, как они вдвоем с Викой волочили меня к умывальнику, рядом стояла Клава в своем необыкновенном платье, держа полотенце, они что-то говорили, а может быть, пели, причем я с удивлением отметил, что профессор был совершенно пьян.

## ГЛАВА 33

Мне позвонила Светлана Савельевна: помню ли я, какой сегодня день? Эта баба-яга явно оказывает мне знаки внимания. Я сказал, что не помню. Вот и она тоже, совсем из головы вон, что поделаешь, склероз! (Все это — с радостным воодушевлением.) Помолчав, я добавил, что и ее не помню. Интересно, ответила она, что я вообще помню?

Договорились встретиться на конечной остановке метро. Вперлись в автобус. Снова гармошки новых микрорайонов, сверкающее, как сабля, шоссе и пустынные небеса.

Таким образом, благодаря этой поездке мне представилась редкая возможность лицезреть собственное изображение там, где можно увидеть какие угодно лица, но не свое. Удовольствия я от этого не получил, но и неприятных чувств тоже не испытал. Угнетавшая меня всю дорогу неловкость рассеялась, когда, предводительствуемый бабусей, я вступил в «зал». Мне казалось, что на меня будут оглядываться, сравнивать с фарфоровым медальоном и пр. Но никто на нас не обратил внимания. А если бы и обратил, то мог бы принять меня, скажем, за дедушку. Однако дело в том — и это самое забавное, — что я и в дедушки самому себе не годился. Я смотрел на фотографию и не находил решительно ничего общего между мною и этим юнцом, который стоял там между двумя похожими друг на друга, словно это был один и тот же человек, близнецами.

Я не имею в виду себя нынешнего. Я имею в виду тогдашнего. Узкоплечий юнец с замученным видом, темноволосый, давно не стриженный, с голодной кадыкастой шеей, тщетно пытающийся придать своему лицу ироническое выражение, — это совсем не тот я, какой живет в моей памяти, и я совершенно убежден, что, повстречайся я с ним в те времена на улице, я прошел бы мимо, не признав в нем не только своего alter ego, но и дальнего родича. Фотография притягивает на полномочное представительство прошлого, с которым на самом деле имеет общего не больше, чем след, оставленный на песке Пятницей, с самим Пятницей. Фотография как будто бы должна удостоверить воспоминания, поставить на них штамп «с подлинным верно», — а на самом деле свидетельствует о том, что подлинная реальность — это только наши воспоминания. Чтобы я так стоял, с голодной тоской вперяясь, точно в око будущего, в зрачок фотоаппарата? — да никогда этого не было. Я не мог быть таким. Прежде всего, я был счастлив. Да, вопреки всему, каждую минуту своей жизни — я был счастлив.

Под странной семейной группой две фамилии (разные, ибо она была замужем), и оставлено место для третьей. В отличие от тех двоих, с которыми все в порядке, с этим молодым человеком еще не все покончено. Он все еще где-то шляется, но место для него приготовлено и билет куплен. Напрасная забота. Когда здесь появится мое имя, кто посмеет утверждать, что это имя — его? Есть только я, а его никогда не было.

Тогда возникает любопытный вопрос: были ли те двое?

«Присядем», — сказала Савельевна. Присядем, сказала смерть. Какие-то люди подвинулись, освободив для нас место на одной из скамеек, стоявших, как в музее, посреди зала. Я сел...

Итак, я утверждаю, что кто бы ни был изображен на этой фотографии, выставленный здесь, словно некий заложник смерти, преступник, который все еще разгуливает на свободе, — кто бы он ни был, это во всяком случае не я. Встает вопрос: кто же они? Были ли эти двое, был ли он, лукавый оборотень, брат-сестра, тем Викой или той Викой, которая, словно в сказочном саду, жила в единственной и нерушимой реальности воспоминаний, мелькала там за оградой, между деревьями... или она тоже была самозванкой, с чужим обликом и чужим именем?.. — впрочем, имя-то в самом деле было другое, я уже сказал, что она каким-то образом вышла замуж, о чем, кстати, я не имел ни малейшего представления, бабуся подсказала, хотя и она никогда этого мужа не видела и не слышала о нем, и неизвестно, куда он делся, может быть, его и не было вовсе или вся роль его состояла лишь в том, чтобы дать ей другое имя. Но чем дольше я смотрел на это чужое лицо, тем больше узнавал его. В самой неуловимости его было нечто знакомое, становившееся все более знакомым. Да! Вот оно.

Наш «роман», если пользоваться этим малоподходящим термином, развивался неопределенно: иные дни мы проводили вместе, а на завтра еле здоровались. Какая-то необъяснимая скованность не давала мне подойти к ней, ей — взглянуть на меня; с трудом достигнутая простота и непринужденность отношений вдруг исчезала, я стогал от желания видеть ее и вместе с тем тяготился ее присутствием, — думаю, что и она испытывала то же; с деловым видом я выходил в коридор, кого-то искал глазами, но не ее; на следующем перерыве повторялась та же игра, и, наконец, последний звонок, последний шанс подойти к ней, и я знаю, что она прищипливает берет, тогда было принято прищипливать, краем глаза вижу ее закинутые руки и выражение лица, как будто говорившее: я занята, у меня своя жизнь, нам не по дороге. И видя, как она удаляется, я испытывал облегчение, точно меня отпускали с дежурства.

Но затем планеты, описав замысловатые дуги, сходились, и в другой какой-нибудь день мы оказывались рядом, на лестничной площадке, в толпе выходящих, мы обменивались случайными фразами, и эти фразы кой-как, на живую нитку, соединяли нас; ей нужно было поправить берет, и сумка болталась у нее на руке и мешала, наводя на мысль, что я мог бы поддержать ее, — все эти мелочи укрепляли необходимость идти вместе, а потом уже какая-то инерция влекла нас дальше, и все предлоги и поводы отпадали сами собой. Лиловая мгла окутывала город, зажигались ранние фонари, зеленый глаз сиял на перекрестке, и неслышно, словно на дне аквариума, улицу пересекали косяки прохожих, и выплывал из-за угла, шевеля

плавниками, тяжелый троллейбус. Она прятала в кармане моей шинели озябшие пальцы, измученные, продрогшие, мы влеклись в людском потоке, почти не разговаривая, не в силах расстаться, не зная, что нам делать с собой.

Я беру это слово «роман» в кавычки, потому что оно означает однажды и навсегда предписанный сюжет, мы же, подобно героям неумелого беллетриста, терялись в отступлениях. Неуловимые, мы ускользали от его воли, от того, что составляло наш долг литературных героев, ради чего, собственно, и сочинялся роман. Бесцельные странствия по городу никуда не вели; оказалось, что мы не можем ни отказаться от своей роли, ни довести ее до конца. Мы смутно чувствовали ее заданность. Словно нам кто-то навязывал нашу любовь.

Самое слово это ни разу не было произнесено; и сейчас я называю его с известным сомнением. Юношеское, почти детское томление, смесь темного влечения с растерянностью, страхом, досадой, — было ли это любовью? Но тогда почему этот образ, бледным пятном проступающий на ночном негативе памяти, образ почти утраченный, все-таки не истлел до конца и, очевидно, уже не истлеет, и негатив пойдет в могилу вместе со всем, что тут еще осталось, почему эта холодная, как клешня, неживая рука лежит по сей день у меня в кармане и я тщетно пытаюсь согреть ее своей рукой? Нас пугало то, что нормальных людей должно радовать, — двусмысленность этого слова. Не мытьем, так катаньем бульварный беллетрист склонял нас, увлекал, тащил нас все к тому же, ничего другого он не умел придумать. И мы шли и не шли, не знали и знали, что развязка — постыдная суть — всегда одна. В том-то и дело, что «любовь» не была состоянием; произнести вслух это слово значило обречь себя на поступок.

Подобно религии, сексуальность соединяет небеса и землю, верх и низ, и так же, как религия, таит в себе вопрос, не есть ли огромная душа мира, заглядывающая в нашу душу, — самообман. Мир, сказал мудрец, это сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Можно было бы сказать, что мир — это гигантское сферическое зеркало и мы в фокусе этого зеркала: со всех сторон мы видим чудовищно увеличенный, молча глазающий на нас отовсюду образ нашего «я». Гигантское искривленное отражение — кто это? что это? Бог?.. Бог, который только и может открыться нам в таком обличье, в подобии колоссальной проекции нашей собственной личности? Или это мы сами, и тогда факт нашего существования как существ, способных вместить в себя целый мир или, что то же самое, повсюду находить только себя, свидетельствует лишь о том, что мы со своим разумом, своей душой, своим неразстворимым «я» в самом деле одни в мире, что мы

и есть конечная реализация замысла, который исчерпывает себя в нас, так что мы — единственное, что от него осталось?.. Познавший любовь узрел Бога. Или думает, что узрел, — между тем как из зеркала на него пялятся монстр, ехиднино порождение: он сам.

Проклятая сочиненность сюжета, чертов романист! Мы воображали себя свободными. С таким же успехом могут утверждать, что они свободны, литературные персонажи. Лунное дитя, если воспользоваться теорией моего друга Вики, а проще говоря — физиология, — вот как назывался сочинитель, придумавший нас, для которого мы были всего лишь действующими лицами, исполнителями бездарного сюжета. Я ненавидел физиологию. Я знал о ней кое-что, в отличие от Вики, казалось, ни о чем не подозревавшей, — и страшился мысли о том, что внутри меня дремлет нечто, ожидающее удобного момента. Слишком прочно этот «момент» был связан с другими чувствами и обстоятельствами, и одно лишь предположение, что эта озябшая девушка, робко бредущая рядом со мной, займет место Тамары или слабоумной Клавы, повергало меня в стыд и ужас. Я любил ее вне плотских помышлений, наперекор тому, что называлось «любовью», и с каменным лицом, устремив в пространство непреклонный взгляд, шагал, сунув руки в прорези шинели моего нищего отца, — шагал, окоченев от любви, — и рука в кармане тайком согревала ее руку, и это было как бы секретом от нас самих.

Это было пределом того, на что мы могли отважиться. Вспыхнули фонари, и ртутное свечение залило город. И подобно тому, как пасмурный вечер уступил место светлому ночному дню, — темный зверь исчез в беспорочном сиянии чувства. Так огонь отрывается от горящих поленьев, уносясь в небеса. Так любовь воспаряла над «субстратом». Надолго ли?

Ибо дьявол вернулся в другом одеянии. Дьявол рутины предписывал нам быть не просто парнем и девушкой, а кавалером и дамой. Если любовь не была вожделением, она должна была стать ритуалом. Мы устали, продрогли, присоединилось еще одно деликатное обстоятельство — мы хотели в уборную. И сами ноги подтащили нас к раскаленной неоновой вывеске, под которой в оранжевом сумраке, как в преддверии ада, блестя волчьими глазами, толпилась шпана.

Мы прошли сквозь нее, как сквозь строй. О, я помню взгляд низкорослого ублюдка, которым он присосался к моей Вике! Взгляд, подобный грязному языку, которым он лизнул ее снизу вверх между ногами. Я схватил Вику за локоть, охваченный дурными предчувствиями. Мы встали в очередь перед кассой. Кашляющая билетерша обратила к нам траурный взор. В этом взоре была безразличная констатация все того же. Длинное полуосвещенное фойе напоминало

бомбоубежище. В облаках пара, над морем голов, на тесном возвышении громыхал эстрадный ансамбль. «Подожди меня тут», — шепнула она.

Вот это лицо я и узнал на фарфоровом медальоне. Как будто оно повторило: подожди меня тут.

.....

Я кивнул и, выждав минуту, направился следом за ней. Встретившись снова, мы делали вид, что слушаем музыку, чтобы не смотреть туда, где должен был находиться «коммерческий буфет». Однако ее заинтересовал старик, сидевший в сторонке за столиком. Перед ним стояла домиком картонка с объявлением, глаза его были устремлены в пространство, а руки безостановочно двигались, точно он вязал на спицах. «Зачем тебе?..» — пробормотал я, но она уже вынимала из сумки рубль. Человек возвел на нас мутные очи, тотчас руки его заработали с ошеломительной быстротой, замелькали ножницы, длинный фестончатый обрезок свесился и упал на пол, — старик протянул нам вырезанные из черной бумаги портреты: это были я и она. Это могли быть наклеенные на белый лист носами друг к другу Тристан и Изольда, это была любая пара в этом зале, это была вечная и неизбежная комбинация. Ударил набат, и толпа шарахнулась к темным вратам, из которых повеяло тухловатым холодом; стиснутые со всех сторон, мы вперлись в зрительный зал. И на мглистом экране перед нами предстала, как некий назидательный образец, выставленная напоказ чудовищно-глупая фабула нашей любви.

## ГЛАВА 34

Светлый дым плывет над сидящими, над зачарованной публикой, шелестит, струится на полотне сухим серым дождем, становится испаранным городом, морем крыш, окнами, одним огромным окном. Кукольная горничная появляется в чертогах, следом за ней быстрым шагом в прекрасном костюме и в шляпе входит энергичный господин. Дождь все идет. Джентльмен шевелит губами. Затем все летит кувырком. Треск, грохот обвала. Зажигается мертвенно-желтый электрический свет, словно нарочно, чтобы подчеркнуть нищету зрителей. Люди потерянно озирают поблескивающие масляной краской стены и лозунг над стынувшим пустым экраном. Копится нетерпение. Начинается ропот, топот, затем все взоры устремляются вперед, волнение стихает, и некоторые встают, чтобы лучше видеть: там что-то происходит. Там крепчает разговор, там толкают друг друга в грудь, и шапка слетает на пол, кашляющая билетерша спешит вдоль сцены в тело-

грейке поверх форменного жакета, за ней шагает, как аист, милиционер. Но тут внезапно гаснет свет, и затхлой прохладой веет в затылок. Кажется, что шевелятся волосы на голове, стрекочет аппарат, жемчужный туман мерцает и плывет над головами; струится дождь, и снова город, снова горничная отворяет дверь, и за ней, под иглами дождя, входит джентльмен в шляпе, шевеля губами на незнакомом языке. И медленно надвигается на цепенеющий зал прекрасный мир, где не носят ни валенок, ни галош, ни проволочных очков, ни полуистлевших кашне, где не бывает войны, где нет карточек и очередей за картошкой, где мужчины выходят из стеклянных дверей и сбегают по светлым ступеням в вечное лето, в солнечный день, и вот, заняв собой все пространство, заполнив зрительный зал, в светящемся облаке, в водопаде волос, с треугольным хохолком над выпуклым лобиком и бьющимися, как крылышки, локонами за маленькими ушами, под тонкими дугами бровей, в лучах ресниц является она, бессмертная, как сама любовь, не ведающая, что она так прекрасна, вся — удивление, вся — блеск глаз и мельканье коленок; покачиваясь, она парит в мгlistом луче, в призрачном дымном конусе, порхаёт край ее короткой юбки, коленки ходят вверх и вниз, и божественно-длинные ноги без усталости крутят педали. И этот жест, когда, подняв ладонь, другой рукой держась за рог велосипеда, она машет кому-то там! И маленькая грудь, заметная под шелковой блузкой. Сквозь шорох и шелест доносится ее божественно-писклявый голосок. Она поет! Девушка-синица, не устающая крутить педали, махать рукой и раскачиваться на узком пружинистом седле, попирая его своей ладной попкой, — она и школьница, и судьба, и королева, она ни о чем не подозревает, не знает, что она восхитительна и что на нее смотрит целый зал, и не надо! Не надо ей знать. Ее голосок, глаза и локоны сами знают, что в них заключен весь смысл жизни, нескончаемая песнь жизни, и через два часа она снова будет петь и работать коленками в дымном луче, и снова тридцать рядов блестящих глаз, и в каждой паре глаз она отражена, а сейчас она уменьшается, отъезжает назад вместе с дорогой, словно ее потихоньку подтягивают сзади на канате, птичий голос умолк, город отодвинулся, она едет одна на своем двурогом коне, как одинокий ковбой по степи, и туда, к ней, в расширяющуюся раму экрана влекутся души сиротеющих зрителей. И она пропадает за поворотом.

Опять дом, и опять сухой дождь. Пышная дама в черных кружевах склоняет над вязаньем красиво приклеенный вокруг лба седой шиньон. Она подъезжает вплотную к первому ряду и, подняв мерцающие от слез глаза, долго, проникновенно говорит. Титры. «Мой мальчик, заклинаю тебя именем покойного отца». Портрет угрюмого

старика над мраморным камином. «Мама, это выше моих сил». И песня синицы запекает вдали. Придерживая рукой шляпу, он выходит из солнечного подъезда. «Вы можете ехать, Анри». Анри (сверкающий черный лимузин), вздохнув, уезжает. Он вынимает портсигар и постукивает длинной папиросой о крышку, на которой виднеется княжеский герб. Задумчиво смотрит на высокие окна, за которыми коротают остаток роскошных дней пышнотелые кружева. Короткая пауза, и его мужественные ноздри поворачиваются к нам. Право же, он недурен собой! Все мужчины в зале пристыжены сознанием своего ничтожества рядом с этим витязем в шляпе. Все девушки воображают, что они так же прелестны, как та, что пела песню. Простой, как азбука, музыкальный звукоряд, дуэт флейты и ручья. Меркнет свет на экране, и я взглядываю сбоку на Вику. Она глядит на экран, широко открыв глаза, и жестокое чувство неполноценности уязвляет меня, мое сердце тлеет тусклым огнем зависти, я знаю, что она ничем не уступает той, что ехала на велосипеде, но у нее нет такого отважного кавалера. Вся тайна любви оказывается простой, как игра в пашки. В мире есть только девушки и герои, прочие не в счет. Экран меркнет. Сцена в кабаке, где проводит время негодяй, купивший девушку у разорившихся родителей, о чем никто пока еще не знает. В эту минуту я чувствую, что вместе с происходящим на полотне происходит что-то рядом со мной. Вдруг скрипит стул. Углом глаза я вижу слева от себя волосы и глаза соседки, застывшие невидящие глаза, и замечаю белый край комбинации и раздвинутые колени. Там что-то делается, немая борьба рук, страха и вожделения. Затем она одергивает платье и встает. Оба пробираются к выходу. Песня райской птицы гремит с экрана, мелькают шелка, крутятся пары, но для тех, кто сидит под дымным лучом, этот бал жизни останется небывалым настоящим, еще более недоступным оттого, что он совершается сейчас, перед глазами, только сейчас, всегда сейчас.

## ГЛАВА 35

«Я забыла Коха», — говорит Вика, и мы отправляемся в университет на выручку Коха и Кэги, хотя, может быть, это было что-нибудь другое, например, «Краткий курс истории ВКП(б)». Это мог быть другой день. Мелочи цепляются, как репья к ногам, когда продаешься сквозь лес памяти, но при этом теряется ощущение сменности событий — все становится одним сплошным событием. Уже поздно, время закрытия читального зала, последние зубрили спускаются с широкой лестницы. Начинается унылое препирательство со сторожихой.

«Мы же вам объясняем...»

«Нечего мне объяснять».

В этот момент звонит телефон. Звонок доносится из библиотеки на первом этаже, смолкает — и снова. Грузная старуха поднимается, опираясь ладонями о стол, и шаркает валенками в галошах по каменным плиткам коридора, и пока она там переспрашивает кого-то громким недовольным голосом, мы совершаем прорыв. Мы возносимся по темной боковой лестнице на второй этаж, бежим по коридору мимо черных окон с выщербленными подоконниками, мимо высоких дверей, я дергаю ручку, свет пересекает темную аудиторию, словно упавшая колонна, входим, еще не успев отдышаться, книга лежит целехонькая в ящичке стола. Надо возвращаться. Мы медлим. И нас охватывает чувство судьбы.

Это чувство невесомо, неуловимо, и в нем нельзя признаться даже самому себе. Догадку, словно теплящийся огонек, нельзя раздувать: она погаснет. Вдруг все отодвигается — и книга, и сторожиха, мы понимаем, что это судьба заманила нас сюда, для чего? Для объяснения? Ибо мы живем в эпоху, когда все еще необходимы объяснения, нам кажется, что без объяснения не бывает любви. Все это неясно; но судьба не любит, когда ее отгадывают, ей надо, чтобы ее принимали за стечение обстоятельств. Мы плетемся по тусклому коридору, где плафоны горят в разных концах, и как будто не замечаем, в самом деле не замечаем, что идем не назад, а вперед; в конце коридора налево — владения исторического факультета, направо крутая лестница тремя пролетами огибает колодец, там наверху мехмат. Сзади нас догоняют шаги, человек в брезентовом армяке, покосившись, прошагивает мимо, сворачивает налево. Мы — направо и вверх.

В ущелье математиков свистит эфирный ветер, темно, впереди мерцают огни, это светятся лампочки на галерее. Не доходя до площадки с правой стороны боковая лестница. Туда мы и бредем, время возвращаться.

Время возвращаться, ибо что же еще остается здесь делать, эта мысль как заноза под ногтем, и с каждым шагом я загоняю ее все глубже. Впереди тусклые лампочки, а в высоких окнах прозрачная белизна ночи. Вика останавливается и подносит руку к глазам. Но еще прежде чем мы замедлили шаг, мое сердце начинает колыхаться, как колокол. Мы стоим у окна. Она вся еще вгля — дышается в циферблат. Эти часики, небывалая роскошь тех лет, — знак принадлежности к высшему сословию. Она смотрит на часы, подносит их к уху. В эту минуту мои руки сами собой поднимаются и ложатся ей на плечи. Она стоит спиной ко мне. Я на целую голову выше Вики, может быть, поэтому неизвестный фотограф поставил меня посредине между близнецами.

Она поднесла часики к уху и этим движением, намеренно или невзначай, стяхнула мои руки. Подумав, я снова взял ее за плечи. «Не надо», — сказала она мягко. «Почему?» — спросил я, и колокол в моей груди бил и бил, предвещая беду. «Ты сам знаешь». Она подняла голову, прислушиваясь. «Сторожиха, — проговорила она. — Сторожиха идет». — «Ну и что?» Она отошла в сторону и остановилась, вероятно, подумав, что я обиделся. И я сам почувствовал себя обиженным, неизвестно за что, но это как-то облегчило мое положение. Словно я имел право обидеться. Тогда я прочно принял обиженный вид, насколько это было возможно в полумраке, разбавленном смутной белизною окна. Она произнесла мягко: «Слышишь? Пошли, Леня, уже поздно». — «Да, поздно», — сказал я. Я подошел к дверям аудитории против окна и взялся за ручку. «Нет», — сказала Вика. Я пошел к следующей, и следующая была тоже закрыта. «Нет!» — повторила она. Эта игра непонятным образом развлекала нас, сердце мое уже не так колотилось, птица беды перестала хлопать крыльями; я шел вдоль дверей и дергал за ручки, а она плелась следом, уговаривая меня или, вернее, нас обоих сойти вниз. Одна комната оказалась открытой, мы вошли и прислушались. Мы хватались, как за соломинку, за всякое дуновение, доносящееся из внешнего мира, инстинктивно понимая, что только враждебный внешний мир мог помочь нам преодолеть последний ров, зияющий между нами. «Идет». — «Кто?» — «Она идет». Мы оба засмеялись. «Тише ты!» — «А мы ее не пустим», — сказал я, берясь за стул. «Ты с ума сошел, что ты делаешь?». Стул висел на дверной ручке, как в школьные времена. «Открой сейчас же. Пусти. Нет. Пусти меня, ну!» — сказала она злым шепотом. Книжка шлепнулась из раскрытой сумки на пол, что-то посыпалось и раскатилось в разные стороны. Мы замерли, держась друг за друга, в позе, в которой нас застало случившееся. Ибо ясно было, что теперь-то уж старуха нас засекала. Словно застигнутые вспышкой магния, боясь шелохнуться, мы не спускали глаз с двери. А монета все катилась по полу и где-то в углу наконец упала на бок. Мы смотрели на дверь. Казалось, хитрая старуха там, в коридоре, тоже остановилась и слушает. Стул начал подрагивать. Она дергала за ручку! Вика вцепилась в рукав моей шинели. Комната была словно наполнена известковой водой и постепенно раздвигалась: стали видны ряды столов, портрет над доской и прочее. Вика на корточках подбирала с полу рассыпанные вещи, передвигаясь мелкими шажками, и ее коленки смутно поблескивали в темноте. Я подошел, держа на ладони горстку монет. Она подняла ко мне лунное лицо, это было лицо мальчика, в сумеречной полуяви она превратилась в своего брата. Но на самом деле она была девушкой. Она поднялась,

молча протягивая раскрытую сумку. Не глядя, я высыпал в нее монеты. Словно водоросли, наши тела колебались в зыбкой влаге, и время шелестело, пронизанное встречным потоком, как вопрос и ответ. Вопрос и ответ, это были мы сами. Что-то переменялось, пока мы бродили и ползали во тьме, собирая ее девическое имущество, пудреницу, зеркальце, сдвинулось что-то с мертвой точки, и вещи утратили свою угловатую враждебность, стул перестал качаться, и мы почувствовали, что взгляд и слово не падают больше, словно в темный колодец, в бездонную душу другого: мы стали вопрос и ответ, и то, что стояло между нами, словно вражда двух рас, ибо с чем же, как не с проклятьем расы, можно сравнить проклятье пола, то, что нас разгораживало, стало общей родиной для нас обоих. Странно, что это чувство, в сущности такое простое, — что тайна пола роднит, а не разделяет людей, — открылось нам только теперь. Как будто до сих пор мы стояли друг против друга, я в своих мужских латах, с мечом, она за щитом свой девственности, и каждый напряженно следил за маневрами другого, и вдруг вся эта арматура упала и рассыпалась в прах. Мы стояли возле окна. Все шелестело, стучало кругом и непрерывным бормотаньем наполняло слух. Это снаружи по железному карнизу стучал дождь. И так же бессвязно, непрерывно, чувствуя на губах щекотку ее волос, я говорил ей на ухо бесконечную сагу моего одиночества, тоски, отчаяния. Подоконник сзади вдавился мне в спину, и холод железной батареи пронизывал меня до костей. Распахнув полы шинели, я принял ее в себя, дыша в путаницу волос, а она дышала мне в грудь, не шевелясь и не отвечая моим словам, лишь изредка переступая ногами, касавшимися моих онемевших ног. Дождь стучал и струился у меня за спиной. Дождь — это и был ее ответ. Но в эту минуту произошло нечто постыдно-отвратительное. Я уже сказал, что преграда пала между нами. И это сделало неважным, ненужным то, что за этим обыкновенно следует. А тут случилось то, о чем, клянусь, я и не помышлял, когда наши души, наконец узнавшие друг друга, обнявшись, уносились прочь из юдоли страха, недоверия и лицемерных уловок плоти. Из темного тела пришел сигнал, сначала еле заметный, точно кольнуло иголкой — один раз и через мгновение еще раз. Губы мои еще бормотали жалобу любви, когда это случилось, и, объятый нестерпимым стыдом, запнувшись, я отодринулся от нее, незаметно, но она это почувствовала.

Я думаю, что она догадалась еще раньше, в ту самую минуту, когда кольнуло иголкой; первым произвольным движением ее было приникнуть ко мне снова, и в темном моем сознании внезапно жикнула светящейся мухой мысль, что она этого ждала! Но это была ложь. Гнусная ложь, придуманная спинным мозгом. Случившееся

было неожиданностью для нас обоих. Вся еще в кольце моих рук, она неслышно переступила ногами, центр тяжести переместился, и теперь она просто стояла подле меня, совсем рядом, но уже сама по себе. Мы молчали. Ее душа, я чувствовал, опять облеклась в тончайший, но прочный доспех. Это было так же естественно, так же неизбежно, как движение рук, заслоняющихся от огня. С каким-то ужасом мы внимали тому, что происходило во мне, — словно смотрели на столб дыма, вздымавшегося из лесной чащи. Мне было неудобно стоять, жало и давило, я с трудом сдерживал отвратительную дрожь, сотрясавшую меня, и как можно незаметнее я расставил ступни и втянул живот. Дождь царапался и ломился, как утопленник, в оконные стекла.

«Извини», — пробормотал я.

«Ничего, — сказала она тихо, — это сейчас пройдет». И я не понял, кого она имела в виду: меня или себя.

«Да?» — спросил я.

Она снова слегка отстранилась, давая мне возможность встать удобнее. Умница, она все понимала.

«Ничего, Леня, ничего, — шептала она. — Сейчас пройдет. Не думай об этом».

«Да?»

«Не шевелись».

«Знаешь, — сказал я. — Этот как-то неожиданно».

«Ничего».

Она подняла ко мне свое лицо и поцеловала меня. Точно я был ее сын и был нездоров или попался на чем-то. Но ведь с сыновьями это бывает.

«Какой он...» — проговорила она голосом, каким говорят с детьми.

Впервые слово было произнесено, названо, хоть и в форме местоимения. И как только оно было произнесено, оно перестало пугать. Оно отделилось от нас. Это был не я, а «он». Смежив глаза во тьме, мы смотрели на него, точно на ядовитый гриб, выросший между нами.

«...большой!..» — досказала она.

«Да? — спросил я, дрожа как в ознобе. — Ты так думаешь?»

Мы молчали, точно ждали чего-то.

«Тебе очень хочется?»

«А тебе?»

«Я не могу», — ответила она.

«Ты боишься?»

Она опустила голову и молчала.

Мои руки понемногу спускались по ее спине, я почувствовал изгиб поясницы, сам того не сознавая, я прижимал ее к себе, как простреленный зажимает рану.

«Ты никогда не?..» Превозмогая стыд, я что-то бормотал и искал ее пуговицы, но она молчала. Я расстегнул на ней тонкое осеннее пальто, она была в шерстяном коротком платье школьницы.

«Лучше потом», — шепнула она.

«Почему?» — тупо спросил я.

Меня бил озноб, и озноб передался ей. Мы оба пылали и леденели.

«Мне сейчас нельзя», — пролепетала она.

«Мы ничего не будем делать, — сказал я. — Мы только чуть-чуть».

«Не надо, прошу тебя», — сказала она, ловя тонкими похолодевшими пальцами мои руки, скользившие по ее худеньким бедрам. Некоторое время продолжалась эта борьба, но это были не мы, это был человек, состоявший из нас двоих, который вздыхал, уговаривал себя и боролся с собой — вместо чего? Господи, — да хотя бы вместо того, чтобы рассмеяться.

Она подняла на меня темные глаза.

«Хочешь, — проговорила она, — я помогу ему?»

Она не сказала: тебе.

Мы снова были оба против «него».

«У меня руки холодные, — сказала она. — Погрей мои руки».

Я поднес ее пальцы к губам. Они были точно пальцы умершей. Я сжал их, но они потихоньку высвободились. Она что-то делала там, неловко и нежно, я успел почувствовать обжигающий холод ее рук, и в ту же минуту мгновенное счастье изверглось из меня. Почти теряя сознание, я привалился к стене. И это было все. Мы молчали.

«Ужасно», — сказал я.

«Тебе было тяжело?»

Я пожал плечами.

«Господи, — промолвила Вика, — откуда столько...»

«Возьми мой платок».

«Ничего. Все в порядке».

«Черт бы все это побрал. Чтобы все провалилось на свете».

«Ты не виноват. Это все естественно».

«Первый раз, — проговорил я с трудом, — и вот...»

«Ничего. Знаешь, сколько времени?»

«Сколько?»

«Половина... Да, половина одиннадцатого».

Мы снова умолкли.

«Пойдем, Ленья», — сказала она.

«А как же сторожиха?»

«Бог с ней».

«Здесь есть выход во двор. Где военная кафедра. Может быть, он открыт?»

«Может быть. Пошли».

«Иди» — сказал я.

«А ты?»

«Я посижу».

«Ты на меня сердишься?»

«Что ты, — сказал я. — За что мне на тебя сердиться».

Она проговорила:

«Мне ужасно жаль, что так. У меня такое чувство, будто мы кого-то убили».

Помолчав, она добавила: «Какой странный запах».

«Да, — сказал я. — Тут целое человечество».

«Это мы его убили», — произнесла она.

На слове «его» она сделала легкое ударение. Я понимал, о ком она говорит. Теперь, когда «его» не было, он не был нашим врагом. Он был нашим общим творением, почти ребенком, нашей свечой, цветком на высоком стебле. Подкошенный и увядший, он валялся у наших ног.

«Хочешь, мы посмотрим на него? — сказала она. — Теперь уже не опасно».

«Чего смотреть», — сказал я.

Я сидел в темноте на краешке стула, запахнувшись в шинель моего отца. Мне было холодно.

«Слушай», — проговорил я.

«Что?»

«Ты... в самом деле не могла? Или не хотела?»

«Какая разница», — сказала она устало.

«Отвечай», — сказал я.

«Я же сказала», — ответила она.

«Ты имела в виду месячные?»

«Конечно», — сказала она спокойно.

Еще одно слово, которое удалось выговорить. Но теперь было все равно.

«Это правда?»

«Почему ты спрашиваешь? Конечно, правда».

«Значит, — сказал я тупо, — если бы это было в... другой день, ну, словом, если б-б-бы этого не было — ты бы согласилась?»

Она молчала.

«Вот видишь», — сказал я.

«Что видишь?»

«Ты мне наврала».

Она пожала плечами. «Зачем задавать такие вопросы?»

«Зачем? — переспросил я. — Чтобы все было ясно, вот зачем».

«Разве и так не ясно?»

Снова молчание, сумрачные высокие окна, портрет, поблескивающий на стене. Дождь на улице стих.

«Я тебе скажу, — тихо произносит она. — Я не знаю. Если ты спросишь, люблю ли я тебя, а ты, между прочим, ни разу не поинтересовался, так вот, если ты спросишь, я отвечу: наверное, да. Я бы с тобой ни за что сюда не пошла, я же понимала, к чему идет дело... Если бы ты для меня ничего не значил. Но это, понимаешь? Это совсем другое дело. Я действительно сейчас нездорова, честное слово даю. Честное комсомольское. Если бы ты был повнимательней, ты бы заметил».

«То есть как?» — спросил я.

«А вот так. У женщин это всегда на лице написано».

Я впервые об этом слышал.

Какая-то мысль вдруг мелькнула у меня, и я спросил:

«Разве ты женщина?»

«Конечно, — сказала она. — Я и в десять лет была женщиной».

«Ну и что?» — сказал я.

«Ничего».

«Ты хотела что-то сказать».

«Да, хотела. — Она коротко вздохнула. — Понимаешь, это все не так важно... Я бы, может быть, и решилась, если бы...»

«Если бы что?»

«Если бы ты был немного старше!»

«Вот как?» — проговорил я, болтая ногой.

«Да. Тебе надо все подсказывать... Я... — она замялась. — Я совсем из другой среды, это, конечно, тоже неважно, но все-таки. Я из другой среды, ты должен был знать жизнь лучше меня. А у меня такое впечатление, что я старше и сама тебя учу. А я не хочу быть старше».

«По-твоему, я такой уж ребенок? — угрюмо возразил я. — У меня...»

«Что у тебя?» — спросила она мягко.

«У меня была женщина», — сказал я.

Это нелепое, вычитанное из дурного романа выражение, к моему удивлению, не вызвало у Вики никакой реакции. Помолчав, она сказала:

«Я знаю».

«Откуда?»

«Ниоткуда. — Она пожала плечами. — Я просто подумала, что ты... Ну, в общем, что у тебя уже было».

«Разве это можно заметить?»

«Я подумала, когда ты начал меня целовать в шею. И еще раньше догадывалась. Кто она такая?»

«Так, одна...» Я махнул рукой. Я понимал, что этот жест — предательство, но мне было уже все равно. Во всяком случае, у меня не было ни малейшего желания хвастаться своим опытом.

«Девушка?»

Я покачал головой.

«Ну да. Я так и думала. Леня, милый, пойдем».

## ГЛАВА 36

«А вот и сынок пришел!» — бодро выкрикнул мой отец. Он сидел за столом, в полном параде, при галстукке, в медалях, с седым кустом бровей, нависшим над переносицей. Яркий свет абажура струился на белую крахмальную скатерть, комната была погружена в оранжевый полумрак. Кроватка Дани расстелена, и ночной горшок стоял наготове; сам Дания, полураздетый, в чулках и лифчике, тер глаза кулаком; сам Дания, полураздетый, в чулках и лифчике, тер глаза кулаком и болтал ногами, по-видимому изо всех сил борясь со сном, а мачеха, сидя на корточках, читала ему вполголоса нотацию, чрезмерно красноречивую оттого, что в комнате находился гость. Немного спустя послышался тонкий звон струйки по дну горшка.

«А вот и сынок...» Слово это было точно заимствовано из какой-то образцово-патриотической пьесы. Я стоял на пороге, в шинели, с трудом возвращаясь к действительности. В сущности, я был еще там, я брел по пустынной Покровке, пошатываясь от усталости, машинально обходя лужи, сознание мое вяло фиксировало окружающие предметы, вывески, дома, угол темного переуллка. Моя рука медленно поднялась и нажала кнопку звонка, отпустила и снова нажала. Звонка я не услышал. Я не имел ни малейшего представления, сколько сейчас времени, они должны были давно спать. Как вдруг дверь отворилась, точно встречное время плеснуло мне в лицо: мачеха стояла в необыкновенно нарядном платье и смотрела на меня.

Я думал, что она будет меня ругать за позднее возвращение. Но вместо этого она просто сказала: «Как ты поздно», подняв на меня ясные глаза, и странным образом в этом взгляде и голосе мне почудилось почти одобрение. В коридоре был уже потушен свет, она от-

крыла дверь в нашу комнату, и я снова увидел ее платье, фигуру и волосы, собранные сзади в пышный пучок; неясная мысль мелькнула у меня в мозгу, что все это должно что-то означать и ничто в ее красоте не случайно. В ту же минуту я вошел, увидел накрытый стол и сидящих за столом.

«Садись, садись...» — проговорил мой отец бодро-фальшивым голосом. Спыхватившись, он начал разливать вино по высоким синим рюмкам, которые у нас никогда не ставились на стол, налил полную рюмку себе и долил гостю и мачехе — их бокалы стояли пригубленные. Мачеха вышла, вернулась и снова вышла. Отец провозгласил: «Ваше здоровье!» Он был уже довольно пьян и твердо, как ставят штемпель, поставил рюмку на скатерть. Затем принялся расчищать вокруг себя место, сдвинул тарелки, водрузил локти на стол, сцепил руки и прокашлялся, устремив на гостя безумный глаз, как будто намеревался произнести речь.

«Вот так! Такое, значит, дело», — сказал он веско, не то начиная речь, не то подводя итог сказанному. Гость, с бокалом в руке, с превеличенной уважительностью кивнул ему, отхлебнул и опустил рюмку на стол. Мачеха поставила передо мной тарелку с жареной картошкой, котлетой и половинкой соленого огурца.

«Вот так», — повторил мой отец, глядя на меня.

«Чайник вскипел, — сказала мачеха. — Может, чайку?»

«Можно и чайку!»

«Спасибо. Благодарю вас», — тихим, тонким и угодливым голосом отозвался гость. Печальные склеротические глаза поднялись от скатерти и взглянули на меня.

«Вот, Леня, — начала мачеха, — познакомься...»

В эту минуту Даня подал голос с кровати. Мачеха выпрыгнула из-за стола.

«Это еще что такое? — вскричала она. — Чтоб я тебя больше не слышала!»

«Я пить хочу», — сказал мальчик.

Мачеха расставляла парадные чашки. Скатерть, портвейн, галстук, в который обрядился мой отец, и необыкновенное, черное с красным платье мачехи, делавшее ее молодой и таинственной, все это было не просто ритуалом гостеприимства. Вещи свидетельствовали о высоком уровне жизни и семейном благополучии. Вещи доказывали государственную благонадежность. Комната смердела благополучием. Этого благополучия ни при каких обстоятельствах не мог достичь, этой благонадежности не имел и не мог иметь человек, сидевший за столом, голь перекатная, неведомый пришелец. Мачеха

вышла из-за стола и, дуя на блюде, подошла к кровати моего брата Дани. «А теперь повернись, — сказала она, — на другой бок, и чтоб я тебя больше не...»

«Видите ли...» — вздохнув, сказал гость и плоской ладошкой провел по убегающей назад лысине. Он говорил с акцентом, и на руке не хватало трех пальцев. Она была права!

«Г-хм!» — крикнул отец.

«Видите ли... Я вас пхекхасно понимаю... Но и вы меня поймите!»

«Пейте чай», — промолвила мачеха.

Она вскинула на отца жестокие синие глаза.

«А ты что молчишь? Тебя это не касается, да?»

«Вот такое дело, уважаемый!.. — заговорил мой отец, грозно мигая глазом, так что заколыхался косматый куст бровей. — Вот такое дело, уважаемый... — Гость поспешно подсказал свое имя и отчество, но отец продолжал, словно не слышал: — Закон, говоришь? А что закон! Закон что дышло. Да... И так, и сяк».

«Нет такого закона, — отчеканила мачеха. — Я была у юриста. Он говорит, нет такого закона».

«Видите ли...» — пролепетал гость.

«А вы пейте чай, пейте», — сказала мачеха зловеще.

«Может быть, — робко и заискивающе продолжал гость, — мы спсхим... может быть, он сам что-нибудь нам скажет?..»

«Что он знает? — отрезала мачеха. — Он еще ребенок».

Гость посмотрел на нее затравленным взглядом.

«Я повторяю, — сказал он с сильным акцентом. — Я... разве я ему враг? В конце концов я ни на чем не настаиваю...»

«Вот, — сказал мой отец. — Не настаиваю. Это уже другой разговор».

Они говорили обо мне так, словно я был одной из этих красивых вещей, которыми мачеха уставила скатерть. Мне представилось, как они рвут друг у друга из рук блестящий чайник. Охваченный страхом, я тыкал вилкой в тарелку. Мачеха подложила мне еще котлету. Я отодвинул ее.

Но странным и неуместным, быть может, покажется, если я скажу, что другое чувство оставалось позади этого страха. Позади всех бед и всех новостей, заряженных зловещей неясностью, стояло высшее чувство тех лет. Это было королевское сознание превосходства и тайная жалость к ним. Что бы ни случилось — я был молод. Молодость, словно золотой диплом, лежала у меня в кармане. А для них солнце жизни уже клонилось к закату. Я был как бессмертный среди обреченных на смерть.

«Но хотя бы видеться?.. — спросил гость. — Разве я не имею права?..

«Видеться пожалуйста», — сказал отец.

«Незачем, — сказала мачеха. — Только зря беспокоить и себя, и... А так что ж... Милости просим, — прибавила она высокомерно. — Всегда будем рады».

Говоря это, она смотрела на отца, затем медленно протянула руки и отобрала у него бутылку. Отец засопел, завесился седоватой бровью.

«Ах, — сказала она вдруг с рыданием, — ну скажи ты хоть слово! Разве я... Разве мы...» Она встала и вышла из комнаты.

Мы молчали, проклятье сковало нам уста, проклятье, тяготившее над всеми нами еще со времен лесной школы, если не раньше, и я знал, что они не спят, хоть ни единого звука не слышалось за занавеской, но и дыхания их не было слышно. Неутомимо тикал будильник. Затем заговорил Даня. Я лежал, зажмурив глаза, когда мне следовало встать и успокоить мальчика, который сидел на кровати и громко бормотал, говорил, возражая в темноте кому-то. Мачеха выпрыгнула из-за занавески, ее босые ступни и длинная рубашка прошелестели мимо меня; она присела на кроватку и что-то сказала вполголоса, потом запела, и через минуту малыш, распластавшись на животе, спал крепким сном. Вдруг я услышал, как отец сказал: «Я его на х... пошлю! Пусть идет жалуется». — «Тише ты!» — всполошилась мачеха. «Он спит», — сказал отец. Они умолкли, потом мачеха осторожно спросила: «Леня?» Я молчал. «Да подожди ты!» — сказала мачеха нетерпеливо и быстро зашептала что-то отцу. Я понял, что у нее есть свой план, и план этот состоял в том, чтобы тянуть время, откладывая окончательное решение, — тянуть и выжидать, пока неустойчивый социальный статус пришельца не сработает, как шесть лет назад, и он снова не сгинет там, откуда пришел. Почему-то она была уверена, что это непременно случится. Отец же был другого мнения. А именно, того мнения, которое он и высказал с решительностью, не достававшей ему во время разговора за столом, потому ли, что был подавлен новым ударом судьбы и нетрезв, или потому, что и сам гость вел себя не агрессивно. Сейчас, в сумраке и тишине ночи, картавый гость казался посланцем ада, и самый его вид, мальи́й рост, искалеченная рука и угодливая улыбка, его скрытое за робостью упорство внушали желание покончить с ним одним ударом, раз и навсегда. «Я законов не знаю, — сказал отец, — я только знаю, что если он еще раз придет, я его знаешь куда пошлю? Я его в шею вытолкаю. Пускай только явится». — «Да погоди ты», — сказала мачеха. И вновь зашелестел ее шепот, точно листья, кружась, опускались на воду, слипались и уплывали, и желтая рябь осенних листьев за-

блестела вдаль. Я стоял, перегнувшись через железные перила моста, это был край раскладушки, холодный алюминий. Я смотрел на струящуюся подо мной реку, пора было возвращаться домой. А я все смотрел на плавучие листья. Сны не вещают о будущем, во всяком случае, я таких вещей снов никогда не видел. Но сны мои открывали в жизни нечто такое, о чем наяву я никогда не догадывался, а может быть, не имел силы признаться себе в этом. Сны озирали и мое существование очами некоторой высшей субъективности, примитивной по сравнению с собственным моим разумом и даже чуждой всякому разумению», но стоящей над ним, как большое бледное солнце над уснувшими полями. И лишь на одно мгновение, миг, который во сне равняется целым часам или дням, туманное око этой безличной субъективности, око божественно идиота, вперилось в мои глаза, сливалось с ними, и как будто постигало то, что невозможно постигнуть, ибо невозможно облечь в разумные слова нечто, существующее до всякого слова. Итак, пора было возвращаться домой. Домой: это чувство гнало меня, словно ветер, дующий в спину. Улицы, озаренные желтым светом керосиновых ламп, были безлюдны, передо мной блестел наш излучистый и пустынный Лялин переулок, по которому неслышно свистел и рябил лужи внезапно проснувшийся ветер. Там и сям, между темными окнами, над подъездами, воротами и на углах домов я замечал треплющиеся черные флаги. Переулок был необыкновенно длинный. Я шел, минуя один квартал за другим, оставляя за собой перекрестки, над которыми качались желтые лампы, колебля круги света, и в боковых разветвлениях тоже порхали и плескались над запертыми подъездами шелковые черные флаги. Ветер гнал впереди меня мусор и раздувал полы шинели, я почти летел, еще перекресток, дальше мастерская по ремонту обуви, отделение милиции и наш дом, издали видно, как хлопает дверь парадного. Чтобы не будить звонками соседей, я решил войти через черный ход. Но крыльцо забито — две доски крест-накрест, я пробую их оторвать, дергаю за ручку, ручка хлябает, но дверь не поддается. Я оглядел наш старый двор. В окнах всюду было темно, дом спал. Я побежал на улицу, вошел в парадное, делать нечего, как можно осторожнее нажимаю кнопку звонка. Должен раздаться резкий дребезжащий звук; никакого звука не последовало. Звонок, очевидно, не работал, этого только не хватало. Я давил и давил на кнопку, силясь выжать из нее хоть какой-нибудь звук, в отчаянии, понимая, что если я сейчас до них не дозвонюсь, то все погибло. Мне приходит в голову, что надо снова пойти во двор и постучать в окно. И вдруг дверь открывается. «Слава Богу, — сказала мачеха, — это ты. Я уже думала, что ты уехал». Она стоит в нарядном дорогом платье и смотрит на меня. «Куда

уехал?» — спросил я. Оказалось, что в квартире и во всем доме никого нет. Я остановился на пороге нашей комнаты, кровать Дани была пуста, и я сообразил, что он эвакуировался с детским садом. Занавеска над кроватью родителей была отдернута, там тоже один голый матрац. Мачеха стояла перед кроватью, держась за спинку стула, на ней было траурно-черное с красными пуговицами и красным воротничком, подчеркивающим белизну шеи, платье. Я все еще не мог понять в чем дело, где отец и куда делся приезжий. «Я его жду», — сказала она. «А отец? — спросил я. — Ты забыла про отца». Она пожала плечами. «Отец на фронте», — сказала она, Тут я увидел, что стекла перекрещены, как дверь крыльца, это были полоски бумаги. «Немцы?» — спросил я с ужасом. Она опять пожала плечами. Ее губы шевелились, и я понимал ее, не слыша слов. «Конечно, кто же еще, — прошелестела она. — Они входят в город. Они вот-вот придут, собирайся». — «А как же наши?» — возразил я. «Говорю тебе, все уехали, — сказала мачеха. — Москву сдают, а население эвакуировалось». — «А флаги, — спросил я, — почему флаги черные?» — «Они не черные, — сказала мачеха. — Это тебе показалось. В темноте все кошки серые». — «Серые, да, — заметил я. — Но не черные». — «Нет, — сказала она, — они красные, и, когда немцы поедут по городу, на них нарисуют свастику. Постой. Кажется, едут», — сказала она. Мы прислушались. «Это тебе показалось», — сказал я. Она всё еще стояла в своем нарядном платье, с серьгами в ушах и бусами на груди, на столе бутылка красного вина, рюмки и чашки; горит оранжевый абажур, и все это отражается в дверце шкафа, в тускло-желтом стекле, перед которым когда-то я стоял, разглядывая свои шрамы. И я подумал, как хорошо нам было жить в этой комнате. Но теперь шкаф был пуст, там висели деревянные плечики Чего же мы ждем? Надо уходить. Курский вокзал был недалеко. Мачеха покачала головой: поезда не ходят. Уйдем пешком. По шпалам. Она снова покачала головой. «Мы его пригласили, — сказала она с сомнением. — Надо дождаться». — «Черт с ним, сам виноват. Надо вовремя приходиться». Я взял со стола бутылку и сунул ее во внутренний карман шинели. «Слышишь? — сказала она. — Уже идут». «Это вода шумит в водопроводе». — «Нет», — ответила она. Гул или, может быть, это был гул самолетов, грохот кованых сапог, звон оружия нарастал, это был звон будильника. Голая рука мачехи, протянувшись из-за занавески, остановила его.

## ГЛАВА 37

Мне случается иногда путать воображаемые воспоминания с действительными (что неудивительно в мои годы), но уж этот-то эпизод я не выдумал: я имею в виду аварию на Рублевском шоссе.

Самосвал ударил свадебную машину. Я не стал разглядывать, кто там и что. Но, говоря по совести, так ли уж обязательно надо свихнуться, чтобы заподозрить здесь нечто не равнозначное простой случайности? А что такое случайность? Что такое судьба? Снова и снова вспоминаю я нашего друга Хрисанфовича и его теорию, смысл которой — и ответ на заданный вопрос — можно выразить совсем просто: смотря с какой стороны глядеть на события. Связь событий становится ясной не раньше, чем актеры доиграют пьесу до конца, — иначе жизнь показалась бы очень неумелым сочинением. Значит, наша жизнь кем-то сочинена?.. Вот я сижу и думаю о том, что случилось. Я исписал уйму бумаги, многостраничная летопись запрудила мой стол, а ведь речь шла всего лишь о начале жизни, неужто все прочее прошло бесследно и все остальные годы не заслуживают даже беглого упоминания? Неужели я, вдовец своей юности (как выразился Флобер), всю жизнь только и делал, что полол траву на могилах и сидел, перебирая в пальцах сухие стебельки, вперив взгляд в пустоту, пережевывая одни и те же воспоминания? Видел ли я живую жизнь вокруг себя? Не далее как вчера попался мне на глаза безногий инвалид перед винным отделом, мой ровесник: он лежал со своей тележкой среди мусора и пустых ящиков, колесиками кверху, и спал; вот, подумал я, жуткий символ моего времени, моей страны. Нет-с, позвольте, не моей, а вашей. Я в ней не жил, а варился в ее каннибальском желудке, влачился по ее кишкам и был извергнут, словно вонючий отброс; а то, что было моей жизнью, было совсем в другой стране, в стране неувядающей юности, и она ничего общего с вашей страной не имеет. Эта Светлана Савельевна, тоже моя ровесница. Эта сморщенная смерть... Значит, она существовала и в те времена, ходила по тем же улицам и, может быть, сидела на ближней скамейке во время нашего разговора в Александровском саду (к этому разговору я сейчас вернусь). Но нужно было, чтобы мы познакомились лишь сейчас. Что если бы она подошла к нам и сказала: ребята, вы, кажется, с филологического? Я на одну минуту... Я только хочу сказать, что наше с вами знакомство впереди, в невероятно далеком будущем. Мы с вами, Вика, будем жить на одной лестнице, а вы, молодой человек, появитесь еще позже. Отчего бы ей так не сказать? И доктор исторических наук мог бы тоже здесь оказаться, мог подойти ко мне и сказать: мы познакомимся, когда меня уже не будет на свете. Странные фантазии, скажут мне. Люди, когда мы их встречаем, начинают для нас жить как бы только с этой минуты, мы не задумываемся о том, что их жизнь, как и наша жизнь, тянется из глубин прошлого, словно стебель водяного цветка, и там, в этой туманной зеленой бездне, наши стебли, быть может, однажды скрестились.

Нужно было дожить до такого состояния, чтобы понять, что наша жизнь в самом деле сочинена, — понять это тепер, когда всё кончено. Смысл жизни лежит вне жизни.

Меня тянет резонерствовать (следствие долгого молчания), а пора бы уж вернуться к «нити». Однако нить рвется в моих руках, и рассуждения — далеко не лучший способ связать концы. Что было дальше? Александровский сад; а что было до сада? В памяти необъяснимый провал: похоже, что ничего и не было. В наших встречах снова наступила пауза, порой сидение в аудитории за одним столом превращалось в мученье; потом тянулись дни полного равнодушия, отупения, несуществования друг для друга; потом однажды мы столкнулись нос к носу в дверях факультета. Я пробормотал: «Здравствуй».

«Здравствуй», — сказала она и хотела пройти мимо. На ней был теплый платок и другое пальто, длинное, отороченное снизу мехом, сделавшее ее взрослой и чужой. Неизвестность и тайна окутывали ее.

Я спросил, где она пропадала все эти дни.

«Так... Родственники приехали».

«А», — сказал я. Мы стояли в проходе, мешая другим.

«Извини, — проговорила Вика, — я спешу».

Жалким голосом я спросил: «Проводить тебя?»

Она пожала плечами. Я плелся следом за ней по коридору, ждал ее у дверей деканата (она принесла справку). После этого мы спустились и вышли во двор. Был сухой, холодный, какой-то оловянный и незвонкий день.

«Ладно, — сказал я. — Бывай».

Она, однако, медлила. Поглядывала на голые ветки деревьев, покусывая губы. Глаза ее сухо блестели; она что-то соображала. Вдруг она спросила:

«А ты сейчас куда?»

«В столовую, наверно», — пробормотал я.

«Ты разве дома не обедаешь?»

«Да нет, — сказал я неуверенно, — как когда».

Отец доставал для меня талоны «второе горячее», но талонов обыкновенно хватало на неделю-другую. Вообще же я не имел привычки обедать.

«Хочешь, — сказал я, — пойдем вместе?»

«В столовую?»

«Ну да».

«Это мысль, — усмехнулась она. — Я, знаешь, сегодня еще ничего не ела».

С двумя дымящимися тарелками — на каждой картофель облитый соусом, именуемый «рагу», и ломтик хлеба — я протиснулся сквозь толпу, осаждавшую раздаточное окно, и, лавируя между стульями, на которых были навалены сумки и пальто, добрался до дальнего столика под глубоким подвальным окном, где ждала Вика. За столом сидел едок, старик сурового вида в железных очках. Вика расстегнула пальто, под которым оказалось кокетливое, еще не виданное мною платье, и сбросила с головы платок. Мы принялись за еду, но сейчас же она сказала:

«Не хочется. Ты не обижайся, все очень вкусно...»

Девушки, одетые так, как была одета Вика, не ели «второе горячее». Они не ходили в столовую. Старик наблюдал, как она щиплет хлеб. Так же внимательно он смотрел ей вслед («Я сейчас», — буркнула она). Я тоже поглядел. Потом перевел глаза на соседа и узнал его. Старый знакомец — нищий, который сидел перед решеткой университета. Я думаю, что в его присутствии не было ничего странного: почему бы ему не заглядывать время от времени в университетскую харчевню? Она появилась некоторое время спустя, я поднялся и пошел ей навстречу, а старик подвинул к себе тарелку Вики и начал есть. Мы вышли из-под каменной арки, словно из преисподней, ветер ударил нам в лицо, город, серый и просторный, подхватил и понес, и нам навстречу грянула музыка. Это была пьеса Грига «Дюймовочка», простенькая мелодия, оркестрованная с необычайным блеском. Вероятно, то были дни, близкие к Октябрьскому празднику, и время от времени, для пробы, включались репродукторы на крышах. И снова все повернулось. Я взглянул на Вику и увидел, что она бледна. Она показалась мне некрасивой, и в лице ее появилось что-то заискивающее. А во мне все пело и ликовало. Я был свободен и независим, мог идти куда мне вздумается и делать что захочу. Я был красив и юн, и каждая струнка во мне играла, и теперь *она* зависела от меня и тянулась за мной, а не я за ней, у меня впереди была целая жизнь, ибо я был мужчиной — а она уже начала увядать. Так ей и надо! Я почувствовал вдруг, какое огромное преимущество быть мужчиной. Мы обогнули двор университета, прошли мимо Герцена в каменной тоге. Впереди был Манеж; потом — высокие чугунные ворота с римской эмблемой, сырой песок, просторный и голый Александровский сад.

## ГЛАВА 38

Я что-то рассказывал, а Вика помалкивала, брела, сжавшись и засунув руки в отороченные мехом рукава. Вероятно, ей было не очень интересно, она слушала меня из вежливости. Наконец она сказала: «А ты веришь в судьбу?»

«Не в этом дело...» — сказал я.

Перед этим я говорил ей о Кардано. Джеронимо Кардано был один из любимых героев нашего друга и наставника, продавца газет. Этот Кардано составил полный прогноз своей жизни, вычислил дату смерти, а когда эта дата приблизилась, уморил себя голодом ради вящей славы искусства.

«А я верю, — сказала она. — Мне одна цыганка предсказала...»

«Не в этом дело. Астрология, видишь ли... это не наука, но не потому, что она основана на фантастике, а потому что в ней нет проблем. Там готовый рецепт. Вот если ввести в нее внутренние проблемы...» Я увлекся, развивая свою мысль.

Она остановилась и высунула язык. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Ловлю снежинку».

Я посмотрел на небо. Снега не было. Чувствуя легкое раздражение, я спросил:

«Что же она тебе предсказала?»

«Что я умру в родах».

Мысль эта показалась мне нелепой; я промолчал.

«Ерунда все это, — сказала Вика, усаживаясь на скамейку. — Я хочу покурить, достань мне папиросу».

«Ты разве куришь?»

«Иногда».

В эту минуту редкие белые снежинки появились в воздухе, словно рождаясь прямо из него. Небо над городом было сине-белым, сизым. Сзади доносился гул машин. На пустых дорожках стали собираться щепотки соли. Снег превратился в крупинки, которые сыпались на нас, потом как будто запас иссяк, Вика держала перед собой протянутую ладонь, и редкие крупные снежинки опускались на нее как некий дар небес.

«Под настроение, — сказала она. — А что тут такого?»

«Да ничего», — сказал я и пошел к обелиску. Там стоял, обозревая это архаическое сооружение, человек в шинели на костылях. Я подошел, он обернулся и спросил:

«Это что ж такое?»

«Памятник революционерам», — ответил я.

«Каким таким революционерам?»

«Разным, — сказал я. — Видите, там написано».

«Ничего я не вижу», — сказал инвалид. Он ухватился за перекладыны костылей и подпрыгнул на ноге, как птица, собирающаяся взлететь.

«Извините, у вас не найдется?..» — спросил я. В эту минуту к нам подошел высокий молодой человек в очках, он искал Боровицкие ворота. Солдат молча указал на выход из сада. Я возразил, что надо в другую сторону.

«Чего брешешь? — буркнул инвалид зло. — Ты его не слушай, — сказал он молодому человеку, — он те наговорит...»

«Да вы сами не знаете, — сказал я. — Боровицкие — это...»

«Молчать!» — закричал он.

Все это походило на скверную игру или сон. Я повернулся и пошел прочь.

«Стой! — приказал инвалид. — Держи».

Он отвернул полу шинели и, подняв обрубок ноги, достал из кармана пачку «Беломора».

«Да не бежи ты, куда бежишь. Спички есть?.. Тоже мне куряка».

«Спасибо», — сказал я.

«А ты мне вот что ответь...»

После этого он вступил в долгий разговор с будущим доктором исторических наук, а я вернулся к Вике. Она сидела, держа руки в рукавах.

«Вас, мой друг, за смертью посылать можно».

Порывшись в сумочке, достала зажигалку, затейливое изделие из металла и перламутра. Я спросил, откуда такая штучка.

«Отец привез».

«Разве он приехал?»

«Кто?» — спросила она.

«Отец».

«Отец?»

«Ты же сама говорила, родственники какие-то приехали».

«А... Да нет, — проговорила она. — Никто не приехал».

Она взглянула на меня и повторила задумчиво:

«Никто, Леня, не приехал».

Сделав несколько затяжек, она встала и сплюнула в урну. Она стояла в задумчивости над урной, затем швырнула туда недокуренную папиросу. Подошла, села. Поправила на голове платок, который явно не шел к ней.

«Тошнит, — сказала она. — Все время тошнит. И утром тошнит, и днем... Ты представляешь себе? От всего тошнит».

Она смотрела на меня сухими блестящими глазами, как будто впервые меня видела, и мне стало не по себе; все это было как-то нехвата.

«Ты больна?»

«Да».

«А что с тобой?»

Она вздохнула и сказала:

«Понимаешь, он еще кое-что привез».

«Слушай, Вика, — сказал я. — Я эти твои загадки не понимаю.

Говори по-человечески».

«Что говорить-то? — усмехнулась она. — Ты, мой друг, ненаблюдателен. Ты просто изумительно ненаблюдателен».

Я воззрился на нее, и смутная догадка стучалась ко мне в душу, но я ее не пускал.

«Ты думаешь, я ушла из-за этого старика?.. Впрочем, может быть, и из-за этого старика. Меня мутило. Еле успела добежать. Вывернуло всю наизнанку».

«У тебя не в порядке с желудком?»

«Да, с желудком. Я влипла в историю, Леня».

«К-какую историю?»

«Обыкновенную. И... старую как мир. Ну, в общем, я беременна, вот в чем штука».

«Как это?» — спросил я остолбенело.

«Очень просто. Как все бабы беременеют».

«Какие бабы, что ты болтаешь? — сказал я. — Этого не может быть. Этого просто не может быть. Это противоречит всем законам природы!»

Она спросила:

«А ты-то откуда знаешь?»

«Ну... — я замялся. Потом добавил: — У нас ведь ничего не было».

«У нас?»

«Ну да. Н-н-непорочного зачатия не бывает».

Она усмехнулась. «Ты в этом уверен? Успокойся, — сказала она. — Я пошутила».

Я почувствовал невыразимое облегчение.

«У меня тоже однажды было отравление, — сказал я. — Такая рвота, что... Ты в самом деле шутишь?»

«Конечно, шучу, — сказала она. — Во всяком случае, ты тут ни при чем».

«Что значит — я ни при чем?»

«Ты тут ни при чем», — повторила она.

«А... кто же?»

«Святой дух».

Я взглянул на нее.

«Это к вопросу о непорочном зачатии, — сказала она, вставая. — Пошли, надоело сидеть. Холодно».

Несколько времени мы брели молча по аллее, где кое-где белел в углублениях снежный налет, потом она вдруг сказала:

«Мой братец, вот кто!»

Легко присев, она собрала снежную крупу в щепоть. Бросила, поднялась, отряхивая влагу с пальцев.

Вдруг все стало ясно.

Мы шли, никто не попадался нам навстречу. Лишь у стены не-далеке притопывал сапогами охранник, а справа за садовой оградой плелись пешеходы, неслись и гудели автомобили, тяжело сошел город.

Вика. Я не мог этому поверить. Я не знал, что это бывает или, по крайней мере, может быть. Они были для меня почти одним существом, так что во сне я иногда их путал: мне снилась она, и в то же время это был он. Но, как человек и его отражение, они стояли спиной друг к другу и смотрели в противоположные стороны. И вдруг отражение повернулось. Прелестное отражение...

«Ты его не знаешь, а я знаю, — проговорила Вика, как будто отвечая на мой вопрос. — Ты его не знаешь...»

Нет, знаю, знаю! — хотелось мне крикнуть. Знаю! Лунный оборотень! Инкуб!

Она продолжала:

«Он помешан на идее — жить необыкновенно. Он кого хочешь может заговорить... Он... ну, одним словом, мне очень трудно это объяснить. Послушай, Леня... Я не знаю, что мне делать. У меня никого нет, кроме тебя. Я пришла в университет только для того, чтобы тебя увидеть. Я тебя ждала на лестнице... А когда ты появился, я сделала вид, что иду в деканат. Теперь, конечно... я тебе не нужна!.. То есть я вообще не знаю, была ли я тебе когда-нибудь нужна... по-настоящему. Я его просто боюсь, понимаешь, боюсь! И он меня заразил».

«Чем? Чем заразил?»

«Странно сказать: любопытством. Это как болезнь».

Это я мог понять. Я только не знал, что девушку это любопытство томит так же сильно, как и нас. Не удержавшись, я спросил: было ли это до того, как мы с ней?..

Она кивнула. «Понимаешь, Леня, ты и он — совершенно разные вещи».

«Разные вещи?»

«Ну да. Разные люди. С тобой, например, мне все ясно. С тобой не может быть никакого любопытства... С тобой может быть только любовь. Ты весь как на ладони. Ты... может быть, лучший человек, которого я знаю. Но до любви ты не дорос».

Мы молчали.

«Везет мне», — проговорила она.

«Как же вы?» — спросил я.

«А вот так. Он меня измучил. Говорил, что если я не соглашусь, он отравится. А он, знаешь? Он же на все способен. Свадьба Птоломея и Арсиной».

«Чего?»

«Есть такая гемма. Супруги-близнецы... Считалось, что никто не достоин быть женой фараона, только его сестра. Необыкновенно, а конец самый обыкновенный. У него целая теория... Ну, и притом обстановка, мы одни в целой квартире. Знаешь, какая у нас квартира? Ты, наверное, такой не видел. В общем, если хочешь, могу рассказать. Как-то я пришла домой, он меня встречает... Свет горит во всех комнатах... Он целыми днями сидит дома, валяется на ковре и читает. Или спит. А ночью бродит в халате, будит меня, и мы вместе закусываем. Обожают есть по ночам. Да и я тоже...»

«Что ты тоже?» — спросил я.

«Люблю ночью кушать. А ты?»

Я пожал плечами.

«Слушай, — сказала Вика. — Я ужасно голодная. Может, пойдем что-нибудь купим?»

«У меня больше нет талонов», — сказал я мрачно.

«О, Господи, опять... Как вспомнила про еду, так... Откуда только берется?»

Она стояла над урной и выплевывала слюну.

«Сейчас пройдет», — пробормотала она.

## ГЛАВА 39

Я не сомневаюсь, что мы были наказаны именно за «это», а все остальное было лишь поводом. Я верю в возмездие. Я знаю, что возмездие может воспользоваться несправедными средствами, может отыскать окольные пути, подобно тому как подпочвенная вода просачивается там, где ее не ждут. Но само по себе оно непогрешимо. Мы заслужили наказание и были наказаны. Я говорю — мы, а не она или он, потому что я был виноват не меньше, чем он; может быть, больше. И она это чувствовала. Ее рассказ не был точным и полным

пересказом всего, что случилось, хотя казалось, что она находила горькое утешение в том, чтобы, освободившись от недомолвок, выложить все. Искренность была единственно возможным языком, возвращавшим ей достоинство, — да и всем нам. Но было в ее рассказе и нечто такое, о чем я мог лишь догадываться; нечто бросающее особенный свет на эту «свадьбу Птоломея и Арсиной».

Видимо, Вика, ее брат, подразумевал стирание границы между действительностью и еще чем-то, может быть, мифом. Может быть, в этом и заключался соблазн — стереть границу.

Он принес и начал расставлять свечи, воткнул их где только можно было; вдвоем они убирали комнату, подолгу задерживаясь на мелочах, и временами казалось, что никакого сговора не было. Его и в самом деле не было, ибо она твердо и сухо сказала: нет. Они убирали комнату. Так бывает, когда приговоренного к смерти готовят к казни. Мысли о сиюминутном: куда поставить то, положить это... Впрочем, квартира в самом деле нуждалась в уборке. Оттягивали момент. Это оттягивание было не чем иным, как страхом, но в нем было и нечто освобождающее от страха, словно они уже давно были мужем и женой и не спеша готовились ко сну. Она боялась, что от свечей, расставленных на подоконниках, загорятся гардины. Настояла на том, чтобы убрать их с окон. Они задернули шторы. От свечей, стоящих перед зеркалом, большая комната преобразилась. Он распорядился вынести стол. Но она не могла двинуться от страха, страх сковал ноги, и она боялась споткнуться на ковре. Он стал просить ее помочь ему вынести стол. Умолял ее. Берись, сказал он. Вдвоем вынесли стол, точно гроб, и это усилие снова немного развлекло и успокоило. Разбросали по коврику подушки, Вика сидела в углу, а он оглядывался, как будто разочарованный тем, что все готово и больше нечего убирать. В эту минуту явилось «это». Откуда оно взялось, было неизвестно, возможно, Вика нашел его в письменном столе отца. Отец любил привозить разные любопытные штучки. Теперь он держал его между двумя пальцами, словно талисман. Пластмассовая коробочка с таблетками, таинственное какое-то средство. Как же оно действует? «Не знаю», — сказала она.

«Как это ты не знаешь? Ты ничего не почувствовала?»

Она пожала плечами и помотала головой.

«Но ведь ты сказала...»

«Это не я сказала, это он сказал».

«Что он сказал?»

«Что лекарство останавливает время».

«Чего?»

Она снова пожала плечами.

«Лекарство останавливает время, и любовь становится бесконечной», — сказала она словно в трансе.

«Что ты городишь?» — сказал я.

«Вика сказал...»

«Да не Вика сказал! — рассердился я вдруг. — Ты сама ответь».

«Вика сказал, — повторила она упрямо, — что с этими таблетками можно ничего не бояться». По-видимому, это был препарат, задерживающий извержение семени.

Мне захотелось бежать. Не оглядываясь и все равно куда. Пока я погружался в туманы, пока носился со своей жалкой любовью, тут из будущего времени перешли в настоящее и от томных мечтаний к «делу». Это был коварный миг, когда снаружи было одно, а внутри происходило другое. Всё было ложью и предательством. Мир богачей (уж не знаю, кого я подразумевал), которые могли позволить себе все, украсть у меня возлюбленную, но хуже всего было то, что она сама была грязь, они превратили ее в грязь. Малейшее воспоминание о том, что было раньше между нами, что произошло тогда вечером в университете, вызывало во мне нестерпимую боль. Я чувствовал, что теперь она тянется ко мне, ищет помощи и спасения; да она и не скрывала этого. Кажется, она даже сказала, что не может идти домой, не может видеть брата. Это было произнесено в некотором безличном контексте, в том смысле, что ей, вероятно, придется продолжать эту связь — либо перебраться к знакомым, возможно, взять академический отпуск, и я уж не знаю, что еще она собиралась предпринять, но за всем этим стояло одно: помощи, помощи! Чем я мог помочь? Я сделал вид, что не понял. И она поняла, что я притворяюсь, будто не расслышал и не понял как следует ее слов. Мы расстались, говоря друг другу, что надо будет что-то придумать, найти выход. Подразумевалось, что мы должны встретиться, но когда, где? Мы не успели договорить эти фразы, когда вдруг подъехал автобус, она вспрыгнула на подножку, двери сомкнулись, я остался. Сразу же подъехал второй автобус, я хотел было вскочить и ехать за ней, но заколебался; автобус помедлил несколько секунд, пассажиров не было... и уехал. Я остался на остановке, но возвращаться домой я не мог. Мне надо было куда-то деться. Идея бегства, как в давно прошедшие времена, вдруг всецело овладела мной, и тут меня осенило.

Я поехал на Комсомольскую площадь. Никакого плана у меня не было, обещание приехать (которое я и не собирался выполнять) могло служить разве только внешним оправданием этого путешествия, — я и адреса толком не помнил, главное было куда-нибудь деть-

ся, унести прочь, исчезнуть. Похолодало в самом деле. Холодный черный ветер пронизывал до костей. Я стоял в толпе, запрудившей платформу, наконец толпа заколыхалась, из-за темных пакгаузов показался и стал наползать навстречу ожидающим тусклый, горящий вполнакала глаз электрички. Толпа ринулась в пустые полусвещенные вагоны, началась давка; те, кто, как я, оказался между входами, вошли последними. Двери соединились. Минуту спустя поезд тронулся. Меня прижали к стене тамбура, я ощущал неприятную слабость в плечах, в ногах, мне хотелось сесть на корточки, что я и сделал, когда стало немного свободней, но и эта поза была неудобной, и я опустил совсем. Поезд с лязгом переходил с одного пути на другой, люди шарахались из стороны в сторону, я сидел, обняв руками колени и дыша в воротник шинели. Мне стало тепло, потом жарко, в голове плыли вереницы слов, мыслей. Первые минуты меня не оставляло не то ощущение, не то воспоминание о черном пронизывающем ветре, я как бы воочию видел, что декорации жизни раздвинулись и из щелей поддуло свирепым сквозняком. Но по мере того как я согревался, другие мысли и воспоминания постепенно усыпили меня. Я спал и не спал; пожалуй, это были воспоминания о том, чего не было. В памяти вставали лица, за которыми сквозило какое-то прошлое, но я не мог их узнать, словно в мозгу у меня поселились чужие мысли, чужие воспоминания. В то же время я хорошо сознавал, что сижу на полу в тамбуре вагона в холодном, гремящем, качающемся поезде, и время от времени поднимал отяжелевшую голову, глядя на выходящих пассажиров. На одной остановке вышло сразу много людей, площадка опустела, да и внутри вагона стало просторней, можно было войти и сесть, но я не мог подняться, я сидел на полу, меня не оставляла уверенность, что все это мне только грезится. Сон и явь были просто двумя обманчивыми видимостями одного и того же, более важного, но чего — я не мог понять. Привалившись к стене, я смотрел на стекла дверей, казавшиеся мне совершенно непрозрачными, но на самом деле голова моя лежала на коленях, и поезд, почти пустой, весь в тусклых лампах, с рядами пустых сидений и темных окон, визжа и качаясь, неся — казалось мне — в обратном направлении, а может быть, это был вовсе не поезд. Я поднял голову, где вся тяжесть сосредоточилась во лбу, в налитых смолой надбровных дугах, между глазами: у дверей стояла компания мужчин с незажженными папиросами в зубах, готовясь сойти. Удостоверившись таким образом, что я не сплю, я стал вспоминать разное, имена писателей, названия улиц, дату Саламинского боя; вспомнил о походе десяти тысяч и Павла Хрисанфовича, с которым мы не виделись уже

давно, — кажется, он хворал или уехал куда-то, — потом начал припоминать, как мы с Викой первый раз пришли в заброшенный дом на Тетеревом (почему-то мне хотелось сказать) бульваре; как поднялись по лестнице, увидели дверь в лохмотьях и среброглазого кота, как выглянуло нам навстречу пухлое, рыхлое, как булка, личико Клавы. Клаву я временно отставил в сторону и занялся прихожей. Я старался не убыстрять событий, соразмеряя ритм воспоминаний с той истинной скоростью, с какой всё это происходило в тот пасмурный день, и вещи обступили меня, все требовало внимания, словно мы вошли в музей: зеркало, шкаф, портретик над рабочим столом профессора; наконец, Хрисанфович вошел в комнату, сдвинув с места забуксовавшее время, и начались разговоры о метаастрологии и таинственном пути России. Вика острил, помахивал трубкой, а на кухне за дверью в одиночестве сидела Клава. И я стал представлять себе, играя сам с собой в какую-то игру, как я встаю, придумываю предлог выйти и выхожу на кухню, но Клавы нет, кухня пуста. Зато я вижу там еще одну дверь, что-то вроде черного хода, и, толкнувшись в нее, выхожу на площадку, ожидая увидеть лестницу, но вместо лестницы там оказался узкий загибающийся коридор, и я пошел по этому коридору. Игра настолько увлекла меня (как и сознание того, что я сохраняю контроль над своими мыслями, что это игра, а не сон), что мне уже не нужно было напрягать фантазию, ноги сами несли меня вперед. Навстречу мне шел контролер. Контролер стоял и ждал, когда я предъявлю билет. Билета у меня не было, но, к счастью, в этот самый миг я пробудился: контролер был сном. Я сидел, уронив голову на грудь, в пустом вагонном тамбуре, но и вагон был тоже сном. Явью был коридор и зал, похожий на зал каталогов в Ленинской библиотеке, где я шел и отыскивал свою букву. Вокруг ходили, тихо шаркая, вынимали и вставляли ящички. Сзади стоял Хрисанфович и подсказывал, где искать. В конце концов я нашел нужный ящик, правда, это была не та буква, но я числился здесь под другой фамилией. Я чувствовал, что сейчас я увижу и узнаю то, чего никогда не видел и не смогу увидеть: тайну своей жизни. В самом деле, не странно ли, что, узнав об удивительных достижениях продавца газет, о его науке, мы ни разу не попросили его открыть нам наше собственное будущее. Я сидел на полу с затекшими ногами и ждал, что будет дальше. Вот оно. Длинные и лоснящиеся от типографской краски пальцы профессора протянулись из-за моего плеча, выхватили нужную карточку, наверху стояла фамилия и даты рождения и смерти. Затем, как можно было догадаться, перечислялись события моей жизни, лесная школа, почта, и очень много еще внизу стояло,

частью зачеркнутое, с надписанными наверху исправлениями; эти помарки ставили под сомнение достоверность самого метода, о чем я сразу же хотел сказать, но времени дочитать до конца уже не оставалось. Поезд стал тормозить. С величайшим трудом я встал и, шатаясь, на онемевших, неживых ногах вышел на платформу.

## ГЛАВА 40

Многие существенные подробности для меня в то время как бы не существовали: я имею в виду бюрократическую сторону жизни, бюрократический аспект, столь важный в нашей стране. Поэтому я могу лишь строить догадки относительно того, на каких правах проживал в поселке, куда я сейчас направлялся, человек, предъявивший на меня свои права, — если он вообще обладал какими-либо правами. Итак, я оказался на голой платформе, впереди горел одинокий фонарь под жалким навесом, освещая название полустанка; было уже совсем темно. Я поплелся следом за кучкой людей, сходявших по лесенке на тускло поблескивающие пути, миновал шлагбаум, трансформаторную будку; приезжие рассосались во тьме, я шел мимо темных дач, мимо провалившихся мостков, стараясь припомнить объяснения, которые он мне давал. Кое-где в низких окошках тлели желтые огоньки керосиновых ламп. Улица кончилась, впереди было широкое поле, тонувшее во тьме, и я понял, что сбился с пути. Осталось либо вернуться, либо повернуть налево, где виднелись какие-то строения; я свернул влево и некоторое время спустя очутился у разрушенного палисадника с проплывшей мимо глаз ржавой табличкой, на которую я не обратил внимания и лишь позже, отойдя далеко, сообразил, что это и есть та самая улица. Никакой улицы, собственно, тут не было; лишь с одной стороны тянулся бесконечный, кое-где покосившийся палисадник, вдоль него канава, а далее начиналась пустошь — все то же поле, к которому я вышел с другой стороны. Оставался один-единственный дом, высокая островерхая дача, темневшая в деревьях в глубине участка. Спустя несколько десятков метров ограда окончательно развалилась. Но обнаружилось еще одно жилище. Среди остатков огорода, на отшибе, ютилась, моргая тусклым оконцем, хибарка с железной трубой. И вот я всхожу на крыльцо, не веря своей удаче, я стою перед верандой, где половина стекол заменена фанерками, рука моя поднимается к стеклу, я всматриваюсь в темноту и вижу спинку железной кровати, опрокинутые ведра, хромой детский велосипед... Я постучал, раз, другой, и он вышел.

Вышел, оставив открытой дверь, прикрывая ладошкой коптилку, маленький человек — такой маленький, что его можно было принять за карлика, с седыми, стоящими дыбом волосами вокруг пока того лба, в меховой безрукавке.

«Леня? — сказал он полувопросительно. — Боже! Ты?..» Мы вошли в комнату. На столе лежали остатки еды, в углу деревянный чемодан, кровать. Это было его жилье. «Сейчас, сейчас, — бормотал он, гремя алюминиевым чайником, кружа по комнате. — Как же так?.. Я бы тебя встретил... Боже мой». Я сидел, не раздеваясь, у края стола, мне было холодно. Рыжий лепесток огня, повевая, как кисточкой, струйкой копоти, гипнотизировал меня, я протянул руку и прикрутил пламя.

«Но ведь ты совсем болен, бедный мой мальчик», — пропел он, всплескивая короткими ручками. На левой руке не хватало трех пальцев. Он пощупал мне лоб маленькой влажной ладонью и поглядел мне в глаза своими выпуклыми глазами старой склеротической птицы, и я медленно взглянул на него совиным взором, он сидел на корточках и развязывал мне шнурки башмаков. Его лысина в венце вздыбленных волос колыхалась перед моими глазами. И я чувствовал, как голова моя мотается, когда он стаскивал с меня рукава шинели. Я слышал, как он задул керосинку, и остро запахло горелым керосином. Я лежал, укрытый одеялом, шинелью и еще чем-то, и он сидел рядом, озаренный пламенем коптилки, и помещивал ложкой в оловянной кружке. Он шептал, бормотал, приговаривал, протягивая мне ложку, и я слушал его и все ниже спускался по ступенькам платформы в темные подземелья, где надеялся наконец согреться. Я проспал, вероятно, часа полтора и, проснувшись, увидел, что он сидит в глубокой задумчивости подле кровати; прикрученная коптилка, как искра, мерцала на столе, и вся убогая комната тонула во мраке. Вздохнув, я выпростал руки из-под вороха одежды, лежавшей на мне. Голова у меня была удивительно свежа. Он посмотрел на меня и улыбнулся.

Лицо, у него было маленькое и широкое и улыбка несколько лягушачья. Было очевидно, что я опоздал на последнюю электричку. Некоторое время мы говорили об этом, оттягивая другой, главный разговор; он намеревался идти на станцию, звонить моим родителям о том, что я здесь ночую, я отговаривал его, солгав, что я их предупредил. «Разве ты едешь из дому?» — «Нет, но...» В таком роде продолжалась наша беседа еще некоторое время, и я чувствовал, что тяжкая нерешительность, та нерешительность, которую и я унаследовал от него, зреет в нем, как нарыв, чтобы наконец прорваться по-

током слов, быть может вовсе ненужных и не способных изменить положение. Что-то похожее на трудное и постыдное объяснение в любви, без всякой надежды, но избежать которого уже невозможно. К этому шло. Пламя полыхало на столе. Я пил чай и ел хлеб с большим аппетитом. Глядя на меня, и он усердно жевал мякиш обломками зубов, потирал руки. Время от времени он расхаживал по тесной комнате. И его голова со стоящими дыбом волосами металась по стене и потолку.

«Я здоров», — сказал я.

«Нет, нет, лежи. Я тебя устрою поудобнее... вот так».

Он говорил: устхою.

«Мне жарко».

«Не раскрывайся, вот так...»

«Вы, наверно, думаете...» — начал я.

«Ты мне говоришь “вы”?.. Впрочем, конечно, конечно. Как же может быть иначе?» — бормотал он и стискивал руки. Огонек копилки освещал половину его лица, другая была в тени, и глаз блеснул на темной половине, это производило странное впечатление. Он сидел на табуретке, упираясь ладонями в расставленные колени, голова в провале между плечами, как у птицы. Потом он встал и заглянул за марлевою занавеску в окно. Неплохая квартира, заметил он, но придется эвакуироваться, так как у него сто первый километр. Он спросил, знаю ли я, что такое сто первый километр. Разумеется, я знал и сказал, что сто первый километр — это тот, который следует за сотым. Пхавильно, сказал он. Собственно, мне и не нужно знать, но раз уж зашел об этом разговор... а что такое волчий билет? Волчий билет — это паспорт. Не такой, разумеется, который бывает у волков, потому что у волков всегда прекрасный, безупречный, настоящий паспорт. Волчий билет похож на настоящий паспорт. Вот, сказал он, я достаю из широких штанин. Как сказал Маяковский... На нем были старые мешковатые штаны. Он сидел на табуретке, седой бурьян волос колыхался над его плоским черепом. Если посмотришь на этот паспорт, то абсолютно ничего не заметишь. Но самая последняя шавка, самая последняя девчонка в паспортном столе поймет, что ты за птица, потому что в этом паспорте есть одна-единственная крохотная пометочка, всего два слова в пункте, «на основании каких документов выдан паспорт». На основании справки номер такой-то «и положения о паспортах». И вот это «положение», которое никто никогда не видел, эти два слова будут идти за тобой всю оставшуюся жизнь, а как же может быть иначе?.. Все это сопровождалось кашлем, сопеньем, потираньем

рук, похлопыванием себя по коленкам и бесконечными заверениями, что мне это не надо знать. Воспроизвожу его речь так, как она мне запомнилась.

«Сколько времени прошло с тех пор, как мы с тобой не виделись? Тогда, я имею в виду тогда! Впрочем, что я говорю, — ведь ты меня так и не видел. Ты меня не заметил, а я сидел и смотрел на тебя. Там была беседка. Но ты, конечно, ничего не заметил. И я был рад, что ты меня не заметил. Я для тебя в полном смысле слова чужой человек, — сказал он, кивая при каждом слове. — Я внушаю подозрение, я вызываю страх, а как же иначе? Все должно быть именно так, иначе и быть не может... А сколько я тебя тогда искал! Сколько я писал, ездил, обивал пороги. Ты и представить себе не можешь. И вот мы наконец встретились, Боже мой. И я вижу, как ты на нее похож. Я знал твою маму давно. Тебе это трудно представить... Я знал ее тогда, когда мне было двенадцать лет, ей — четырнадцать... Я встретил ее всего на несколько лет позже, чем Данте встретил Беатриче. Ее отец, твой дедушка, был в нашем городе уважаемым человеком, он был провизором. У них был дом на главной улице. А мой отец был картузником. Знаешь, что это такое? Картузник — это тот, кто делает картузы. На нашем квартальном был картуз, сделанный руками моего отца. Это был его самый лучший заказ... Мой отец был бедняком. Но он считался одним из лучших знатоков Торы. Он знал Шулхан Арух не хуже самого раввина. А суббота? Чтобы кто-нибудь посмел в субботу, я не знаю, чиркнуть спичкой, чтобы зажечь лампу! Ты знаешь, какой это был бы скандал? У нас на улице жил один человек, шабес-гой, так вот этот шабес-гой приходил и зажигал свет и делал всякую мелкую работу вместо мамы в этот день. А потом сидел на кухне и выпивал свой стакан водки и потирал вот так руки. И приговаривал: люблю еврейский народ! Люблю еврейские праздники! Мне было двенадцать лет. Не намного меньше, чем тебе, а? Я давал уроки. Я учился в коммерческом училище, был первым учеником. А у нас был первым учеником — ого! Это было не так просто. Я был первым учеником и репетировал детей состоятельных родителей. Вот так я и познакомился с твоей мамой. Не правда ли, как все странно сложилось? У нее были нелады с математикой. И с географией, по правде сказать, тоже не все обстояло как следует быть. Не все было блестяще. Но зато она играла на рояле. И то, что она играла на рояле, внушало мне необыкновенное уважение, потому что я сам полностью лишен каких бы то ни было музыкальных способностей. Я смотрел, как ее пальчики бегали по клавишам, и дивился этому необыкновенному искусству так, как если бы я слушал иностранца и удивлялся, как он быстро и ловко выговаривает слова, и при этом не

понимал бы ни слова... Потом она уехала в Петроград поступать в консерваторию, а меня жизнь повлекла в другую сторону. Я стал ниспровергателем старого мира. Эти слова для нас тогда очень много значили... Старый мир, Леня, — в этом понятии соединились вся несправедливость, вся мерзость, вся трусость, накопленные за десять веков. В нем сближались несоизмеримые вещи, то, что недавно еще было разделено огромным расстоянием... Да, изменение масштабов и дистанций, вот это главное. И становой пристав, и архиерей, и наш кагалный староста, и царь, и Распутин, все это было одно. Все это был старый режим. Я еще помню, как директор училища выступал на митинге по случаю объявления войны и закончил свою речь так: “За здравие царя, уря!” Вот это “уря”, можно сказать, воплощало для меня весь тот мир, да и только ли для меня? Революции сочувствовало подавляющее большинство народа, это было другое время, другая эра. И не только евреи, евреи в массе своей отнеслись к ней скорей недоверчиво, евреи ценят порядок, пускай даже несправедливый, потому что слишком хорошо знают, что в любой смуте они будут первой жертвой... Но молодежь зажглась... Не стоит сейчас говорить об этом, но, по-моему, в революции было много хорошего. Был полет, был идеализм. И все чувствовали: назад дороги нет. Одним словом, в семнадцать лет я был членом партии Поалей-Цион в нашем городке и даже был выбран председателем ячейки. Мне это потом припомнили, несмотря на то что, я должен сказать, наша партия на выборах в Учредительное собрание блокировалась с большевиками. По своей программе и по своим целям наша партия была пролетарской партией! Таки да, таки да! — сказал он. — Потом я покинул эту партию, стал комсомольцем... Это было лучшее время моей жизни, Леня... Когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе, — только я не был такой, как ты, высокий и красивый, я был маленького роста, я плохо питался, так вот, когда мне было столько же лет, я чувствовал себя, как будто у меня в кармане тысячерублевый билет, как будто у меня билет в царство небесное. Между прочим, я писал стихи. Я писал стихи в честь твоей мамы! Я писал стихи в честь революции! У меня был псевдоним: Перекати-поле. В нашем городке в двадцатом году вышел сборник моих стихотворений под названием “Стальной строй”, я не помню из него ни одной строчки. Началась гражданская война. Два слова, и больше не будем об этом... Возле нас в четырех верстах находилось богатое село. Там скрывалось несколько белых офицеров. Мы знали, что там скрываются белые офицеры. В апреле двадцатого года, может быть, в мае, но не позже, в этом селе вспыхнуло восстание. Объявился кулацкий батька, при нем штаб, торжественный молебен в церкви, хоругви и все прочее. Об этом мы знали, у

нас были лазутчики. И вот, я помню, прекрасный весенний день, и мы лежим, нас тридцать или сорок человек, по большей части таких же сопляков, как и я, перед нами свежевспаханное поле, а впереди село, изумительно красивое. Солнце встает, и купола блестят так, что больно смотреть... Лежим и ждем. И по ту сторону поля тоже лежат в ложине, но им солнце бьет в глаза, а нам в спину. Ни они не решаются подняться, ни мы. Кто-нибудь не выдержит, сделает выстрел, и сейчас же ответный, и снова лежим. Командир у нас был высокий, костлявый парень. При шашке, в руке наган. Былинная личность. Шагает, как журавль, вдоль цепи и повторяет: “Товарищи, патронов зря не расходовать. Зря патронов не расходовать, товарищи!” — одну и ту же фразу, все время. И вот там, за полем, видим, разворачивается трехцветное царское знамя, а ты знаешь, что значило в те годы для нас трехцветное знамя? — это было как красная тряпка... Разворачивается знамя, значит, сейчас пойдут в атаку. Свистнула шашка, блеснула сталь, и мы все поднимаемся и бежим на восставшее село. Слева от меня бежит Сёма Перельмутер, один из наших первых учеников, в толстых очках, прекрасно помню всю их семью. Справа красноармеец, черный, заросший щетиной до самых глаз. Вот так это было. Вот так это началось... Как я вступил в партию? Очень просто. Тогда все было просто. В двадцать третьем году в честь двадцатилетия РКП(б) губком комсомола передал в подарок партии тридцать комсомольцев, в виде исключения их сразу утвердили членами без прохождения кандидатского стажа. Я был среди этих тридцати. И вот представь себе, без году неделя, едва только приняли, начинается дискуссия о “новом курсе” Троцкого. Было опубликовано заявление сорока шести. На уездной партконференции группа делегатов, имеющих особое мнение, выделяет содокладчика. И этим содокладчиком таки был я! Все это мне, само собой, припомнили. — Он встал и начал бегать по комнате. — Что я хотел сказать? — спросил он, останавливаясь. — О чем? Да! Иначе и не могло быть. Иначе быть не могло! Все, что произошло, произошло закономерно. Ленин был абсолютно прав, когда говорил о закономерности исторического процесса, но он не догадывался, о какой закономерности идет речь. Колесо катилось вперед по назначенной ему дороге... Мы, может быть, этого не видели, думали, что это мы вращаем колесо. А оно катилось себе и нас везло. Одних тащило, других давило... Был такой еврейский поэт, Хаим Бьялик. Году в двадцатом он уехал из России. Так вот, когда его спросили: что у вас там, в этой стране, произошло? Он сказал: ничего особенного. Ахазер перевернулся на другой бок. В двадцатом году, если б этот Бьялик мне попался, если бы я услышал от него эти слова, я бы его расстрелял на месте! Это известные слова,

ты их еще услышишь... В них много грубого и несправедливого. Если вдуматься, то на самом деле несчастный хазер, этот огромный народ, беспомощный, как ребенок, сделал последнюю попытку вылезти из трясины. А вместо этого ушел в нее еще глубже. Этот слепой Голиаф схватился за столбы и обрушил на себя крышу и на все, что было вокруг него... Что я хотел сказать? — Некоторое время после этого слышалось бормотание и скрип табуретки. — Ты думаешь, что ты родился в Москве, — сказал он, — так указано в твоей метрике. Но на самом деле ты ленинградец, Леня, ты появился на свет на углу Невского и Мойки, там был большой красивый дом. Кажется, в нем жил Некрасов, если я только не ошибаюсь. В него попала бомба. Я имею в виду, во время войны. В этом доме ты родился на три недели раньше, чем указано в метрике, потому что через несколько дней после твоего рождения, как только твоя мама смогла встать, она уехала, а точнее говоря, бежала с тобой в Москву. А если быть совсем точным, то не в Москву, а сюда, вот в этот самый дом. Ты, наверно, не догадывался, что в этой комнате ты провел первые месяцы своей жизни. Пожалуй, тогда дом выглядел лучше... Я сказал твоей маме, поезжайте, все может быть. Когда все успокоится, приеду к вам. Эта дача принадлежала тете Риве, была у нас такая тетя, твоя двоюродная бабушка. И представь себе, все обошлось. Меня даже ни разу не вызывали. Как я попал в Ленинград? Я попал в Ленинград в двадцать четвертом году, я был направлен на учебу в Политехнический институт. И я разыскал в Ленинграде твою маму. В первый же день я явился к ней. По-моему, она очень обрадовалась. Мы оба изменились. Стали взрослыми. Разумеется, я помогал ей. Ее отец умер, семью выселили, то да се... Консерваторию она не кончила. Ее отчислили как дочь буржуазных родителей. Она была больна. У нее с детства было болезненное легкое. Не оба легких, а одно. Каждую весну повторялось воспаление, кашель. Все считали, что у нее туберкулез, но это был не туберкулез, а другая хвороба, несколько не лучше. Кто-то из врачей сказал, что ей полезно замужество, я не знаю, может быть, это сыграло роль... Словом, она была рада со мной встретиться, но о том, чтобы меня полюбить, не могло быть и речи. И так продолжалось довольно долго, прежде чем мы стали мужем и женой. Когда-нибудь тебе расскажу, как это произошло. Но в двадцать девятом году меня таки арестовали за участие в троцкистской оппозиции. Моим следователем был мой же товарищ, тот самый Сема Перельмутер, с которым мы брали штурмом кулацкое село. В камере можно было иметь перо и бумагу, вообще сохранялись еще старорежимные традиции. Бывшие оппозиционеры сидели и писали заявления... обосновывали свою позицию. Я не помню из нее ни одной строчки. В ответ на ре-

прессивные меры пели Интернационал, стоя перед окнами, всей тюрмой. Расскажешь кому-нибудь, так не поверят! Потом в газетах было опубликовано заявление видных участников. Я был отпущен на поруки на три дня, продумать свою позицию. Потом еще на три дня. Требовалось, чтобы мы подписали заявление о том, что мы разоружились перед партией. Вместо этого заявления я написал письмо в ЦКК Шкирятову. Это было в двадцать девятом году, а в тридцать седьмом это письмо лежало в моем деле. Мы жили, мы работали, мы махали руками, а где-то там пухли и копились наши досье... Словом, я возвращаюсь из тюрьмы в полной уверенности, что если не через неделю, то через две недели, не через две недели, так через месяц меня возьмут снова, а маму вышлют. И я принимаю решение. Через неделю после родов отправляю вас к тете Риве. Проходит месяц, еще месяц. Ничего не проясняется. Меня никуда не вызывают. Я как коза на веревке. Щиплю траву, но в любой момент веревка может натянуться. Живу без партбилета, на птичьих правах. О маме, о тебе никаких известий. Наконец, не выдерживаю, бросаю все, срываюсь с места и еду в Москву. Выхожу на Каланчевку, и что же я вижу? Огромная площадь между тремя вокзалами вся забита народом. Вся! Тысячи, может быть, десятки тысяч людей. Бабы, старухи, дети, бородатые старики, лежат, сидят, с деревянными сундуками, с мешками, с котомками, в залах ожидания, всюду, где только можно, народ. Деревня двинулась... Бегут от коллективизации. И я вдруг понял, что наша партийная борьба, наши разногласия, все эти платформы, заявления, собрания — только жалкая тень грандиозных и грозных событий, которые происходят в стране. Мы, как кучка насекомых, копошились на поверхности огромной дымящейся массы. Мы произносили длинные речи о классовой борьбе, о расслоении, о смычке. Мы руководили. Мы думали, что в руках у нас ключ от действительности, и, так сказать, рвали друг у друга из рук этот ключ... Мы мыслили широкими категориями. Но мы ни черта не понимали. Тогда, может быть, в первый раз в моей душе шевельнулось какое-то чувство ужаса перед грандиозностью тех сил, которые мы привели в движение, тех масс, которые мы всколыхнули. Стыдно признаться, но это так... Потом, конечно, все наладилось. Была введена паспортная система, и это человеческое наводнение спало. На Каланчевской площади установился порядок... Какое-то время спустя меня восстановили в партии, все наладилось, я стал работать в газете. Вокруг был голод, по улицам ходили нищие, но мы все были прикреплены к закрытой столовой для ответработников на Арбате, это там, где ресторан “Прага”. Обедали там, а завтрак и ужин получали сухим пайком. И это считалось в порядке вещей. Считалось в порядке вещей то, что мы

обедаем в ресторане «Прага», а по улицам ходят нищие. Считалось, что это временные трудности и результат кулацкого саботажа. Одним словом, на Каланчевской площади воцарился порядок, и мы этот порядок принимали за порядок во всей стране», — выговорил он, схватившись обеими руками за космы волос и качаясь на табуретке, которая скрипела, как старый корабль.

## ГЛАВА 41

«Я знал твоего отца, — сказал он, — ты видишь, я называю его твоим отцом. Он таки действительно стал тебе отцом, надо отдать ему справедливость. Он заменил тебе отца. Потому что я сгинул, я исчез, меня больше не существовало. Коза щипала травку и помахивала, знаешь ли, хвостиком, и все было прекрасно. А потом веревка натянулась, и нет больше козы! Я имел наивность думать, что мне не повезло и что я стал жертвой ужасной клеветы и подлости, когда та же самая газета, которая была моей боевой трибуной против классового врага, начала публиковать против меня серию статей, где меня самого называли классовым врагом и замаскированным бундовцем. Когда я всю свою жизнь ничего общего с Бундом не имел! Да, я имел наивность думать, что это недоразумение и подлая интрига... Но смею тебя уверить, что такое же недоразумение произошло с тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч. Это была какая-то дьявольская, не скажу сознательно поставленная задача, нет, не задача, а закономерность. Вот именно! Долгое время нам казалось, что мы овладели закономерностями истории, проникли, так сказать, в ее машинное отделение. Но на самом деле закономерности действовали сами собой, никого не спрашивая. До какой-то станции мы ехали и даже думали, что управляем этим поездом. А потом поезд набрал скорость, и мы слетели с подножки, а он пошел себе дальше! Одним словом, чистка за чистой, то да се... Люди стали исчезать на глазах. Все начало меняться. Вот тебе один маленький пример... Ты уже взрослый, я думаю, что тебе все можно говорить... Но ты, конечно, понимаешь, что то, что я тебе рассказываю, не надо никому повторять. Ты меня понимаешь?.. Так вот, я уже говорил, что довольно долгое время был газетчиком. Конечно, теперь мое имя исчезло бесследно, как тысячи и десятки тысяч других имен, но в свое время я был известным газетчиком. Между прочим, я некоторое время работал в «Известиях», не говоря уже о том, что постоянно там печатался. Я был знаком с самим Николаем Ивановичем Бухариным. Когда-нибудь потом расскажу тебе об этом замечательном человеке... Но я хотел тебе

рассказать один маленький случай. Один пример того, как менялось на наших глазах время. Захожу я как-то в кабинет завотделом партийной жизни. Фамилия его была... ну, неважно. Там сидит еще кто-то, неважно кто. И я слышу такой разговор: “У вождя нашей партии и мирового пролетариата не может быть такого низкого лба. Поднять выше”. Понятно тебе, о ком идет речь? Так с тех пор он и стал на два сантиметра выше. Но я не разделяю мнения тех, кто считает, что он один во всем виноват. Тут все гораздо сложнее. И я даже скажу тебе больше. Мы, так называемые левые, мы ничему так не радовались, как отмене нэпа. А что такое было решение перейти от политики ограничения кулачества к политике ликвидации кулачества как класса, что такое это было, как не решение покончить с нэпом? Когда Рыков, Томский и Бухарин опубликовали в “Правде” заявление о том, что они отказываются от своих взглядов, разве я не одобрял его искренне, всей душой? Мало того, оно казалось мне еще недостаточно решительным. Потом мы поняли, в какой террор, в какое безумие вылилась коллективизация. Но назад-то дороги уже не было! Задача была поставлена гигантская, неслыханная в истории. Октябрь был революцией в городе. Но страна, огромная страна осталась деревенской, лапотной. И теперь наступило время провести революцию в деревне, рано или поздно это нужно было сделать. И я тебе скажу даже больше. Надо было быть логичным. Надо было быть логичным и последовательным до конца и провести эту революцию со всей решительностью, на которую только были способны партия и пролетариат. Иначе государство, то государство, которое мы создали после Октября и отстояли в гражданской войне, в конце концов бы развалилось, потому что оно представляло собой противоестественный гибрид пролетарского города с мелкобуржуазной и кулацкой деревней. Эта деревня была колоссальным внутренним врагом, хотя бы она этого и не сознавала. И поэтому, однажды начав, уже нельзя было отступать. Нельзя было отступать потому, что наша политика в деревне, начиная с тридцатого года, вызвала такую ненависть, создала такой заряд мести и злобы, что он зажег бы кровавый пожар, если бы вдруг власть выскользнула из наших рук. То, что я тебе говорю, это вовсе не тайна. Об этом говорилось открыто, люди поднимались на трибуну и говорили, что если мы сейчас не свернем шею кулаку, а под кулаком подразумевался нормальный зажиточный крестьянин, то есть тот крестьянин, которого породила Октябрьская революция, ибо революция дала ему землю, если мы не свернем шею кулаку, он сам свернет нам шею! Мы это прекрасно понимали. В тридцатом году мы понимали, что мы составляем ничтожное меньшинство в стране, что мы маленькая кучка перед огромной враждеб-

ной массой. Перед этим пожаром Пугачевщина показалась бы рождественским фейерверком... Что же удивительного, что мы все были со Сталиным, что после двадцать девятого—тридцатого года никакой серьезной оппозиции уже просто не могло быть! Но тогда ты спросишь, почему же я, убежденный ленинец, революционер, член партии с двадцать третьего года, я, который мог только приветствовать решительные меры, почему я в конце концов был вычищен из партии, девятнадцать месяцев просидел в тюрьме, а потом меня вызвали и объявили, что, по решению Особого совещания, меня высылают в Казахстан на пять лет за участие в контрреволюционной бундовской организации, а спустя немного времени меня снова арестовывают и я уже по-настоящему узнаю, что такое сталинское следствие, а потом снова короткая передышка, и опять арест, и тюрьма, и лагерь, словом, все тридцать три удовольствия, — почему? За что? Почему столько людей, я бы сказал, лучших, преданных людей, о себе не говорю, — было вычищено, причем тогда, когда война с крестьянством была закончена, когда мы выиграли эту войну? Потому что надо было быть последовательным. Надо было освободиться от всех, кто усомнился и это свое сомнение поставил выше единства партии. Кто однажды нарушил эту ленинскую заповедь, важнейшую заповедь... В условиях, когда нам пришлось воевать с целой страной, партия должна была сжаться. Сталина упрекали в аморализме. Но, между прочим, никто никогда не обещал, что партия должна следовать общепринятой морали. И что такое общепринятая мораль? Разве можно было бы совершить революцию, выиграть гражданскую войну, выиграть классовую войну в деревне, если бы мы всегда и во всем считались с обывательской моралью? Пролетарская мораль — вот единственная мораль, которая нами руководила. А в условиях отчаянной борьбы уже даже не за власть, а за жизнь, ведь мы знали, что потеря власти означает для нас потерю жизни, — в этих условиях пролетарская мораль была не что иное, как партийная мораль. И я даже скажу больше: партийная мораль — это мораль руководства партии. Если эта мораль приказывала быть беспощадным, значит, надо было быть беспощадным. Надо было придумывать любые предлоги, любые, пускай самые абсурдные обвинения, чтобы освободиться от колеблющихся. Партия — это клин. И этот клин должен быть без сучка и задоринки. Одним словом, в тридцать втором году я был разлучен с твоей мамой навсегда. Я больше ее не увидел. Первое время, когда я был в ссылке, мы переписывались. Но однажды я получил от нее письмо, из которого узнал, что я уже больше ей не муж. Я не знаю, что со мной было, я рвал и метал, я, наконец, недоумевал! Но когда настал тридцать пятый год, тридцать шестой год,

тридцать седьмой год, когда меня привезли из Кокчетова прямо сюда и моим следователем был уже не Сема Перельмутер, от таких, как Сема Перельмутер, уже давно след простыл, а ублюдок, который двух слов не мог сказать без мата и который отмолотил меня в первую же ночь, так что я потом пластом лежал, — вот тогда я понял, как она была права. Я понял! Ее уже тогда не было в живых... И если бы не этот шаг, не это заявление, которое она написала, тебя, может быть, уже тоже не было бы в живых. И я бы не увидел тебя, как не увидел ее. Я, Леня, знал твоего отца, он действительно был тебе отцом все эти страшные годы. Я его знал, вопреки тому, что он обо мне думает, и он должен был меня знать, хотя вряд ли мог меня помнить, иначе он узнал бы меня тогда, перед войной, когда я так неосторожно явился к вам в дом. Но он, конечно, меня не узнал, он не притворялся. Зато я его помню. Боже мой! Два желания, всего два, у меня было за все эти годы. Увидеть тебя и увидеть наш городок... Конечно, вряд ли там кто-нибудь мог остаться, евреи погибли, а остальные? Тоже, наверное, разбежались кто куда. Между прочим, твой отец происходит из порядочной семьи, его отец служил на железной дороге, и жили они в казенном доме. Это была хорошая русская семья. И он, как твоя мама, ходил в гимназию. Я учился в коммерческом, а они ходили в гимназию... А уж как они встретились потом в Ленинграде, я не знаю. Конечно, я был удивлен, узнав о том, что он стал ее мужем и дал тебе свою фамилию, но в конце концов, почему бы и нет? Даже если бы ничего не случилось, если бы вообще не произошло никаких событий — поставьте меня и его рядом: кого бы она выбрала? Конечно же, его. Между прочим, твоя мама была необычная женщина, я не говорю о том, что она была талант, она была музыкантша, все это само собой, но я говорю о ней как о женщине. Она была красавицей, этого нельзя было не заметить. На нее оглядывались на улицах. И когда я рядом с ней шел, я чувствовал себя гордым, как индюк, и ревновал ее ко всем прохожим. Ты ее, конечно, не помнишь. Но видел ли ты хотя бы ее фотографии, или фотографий уже тоже не осталось? Между прочим, ее никогда не принимали за еврейку. Я не хочу сказать, что все еврейские девушки некрасивы, а все русские — красавицы. Но у нее действительно был совсем другой тип, и это касается не только лица, но и всего телосложения. Конечно, рядом с ней я не выглядел богатырем, что говорить... Твоя мама была высокая, у нее были серые глаза. Волосы? Волосы были очень длинные. Я люблю, когда у женщин длинные волосы. Тогда все стриглись, и эта завивка, знаешь... но я умолял ее не обрезать волосы. Они были длинные и мягкие. И от этих волос шел необыкновенный аромат. От этих волос кружилась голова. Они были такие мягкие, что просто текли

сквозь пальцы, текли по ее плечам... Конечно, она была рада, когда я ее нашел в Ленинграде. Она где-то служила, потому что ее отчислили, как я уже сказал, как социально чуждый элемент. Она была рада. Но, знаешь ли, дальше дело не пошло. Когда я что-нибудь говорил, она молчала. Я бывал у нее каждый день. Я доставал ей самые лучшие продукты и возил ее к знаменитым профессорам. Я разбивался в лепешку. И никакого результата. Она молчала. И вот представь себе: я решил покончить с собой. Смешно, а? На дворе двадцать пятый или двадцать шестой год, город бурлит, собрания, дискуссии, снова всплыло ленинское завещание, а я погрузился в личную жизнь, а я сижу и смотрю на эти волосы, на эти глаза. Эта девушка теперь важнее для меня всего на свете. Словом, после одной ночи, когда я не сомкнул глаз ни на одну минуту, я прихожу к ней рано утром, как снег на голову, пока она еще не ушла на службу, расстегиваю портфель, не говоря ни слова, и кладу на стол браунинг. Как? что?! Она ничего не понимает. Как же, я говорю, ты ничего не понимаешь, если ты своей индифферентностью довела меня до такого состояния? А ты когда-нибудь меня понимала, ты интересовалась когда-нибудь моей жизнью? Тогда она переменялась в лице и сказала, что она мне не пара. Значит, я говорю, ты подтверждаешь правильность моего вывода? Значит, мне действительно ничего не остается, как вот сейчас этой игрушкой разmozжить себе голову? На это она мне отвечает, что она считает, что она мне не пара, во-первых, потому, что она старше меня, а во-вторых, потому, что она больна. А просто так жить со мной она не хочет. Глупая, я говорю, а о чем я тебе толкую? Разве я прошу тебя жить со мной “просто так”?.. Пойдем в ЗАГС и регистрируемся! Словом, что говорить. Она меня уважала, она меня ценила. Она была моим другом, моей дочерью, матерью, сестрой, чем угодно. Но что касается всего остального, то в этом отношении я интересовал ее как прошлогодний снег. Мы поженились, мы стали мужем и женой. Но она жила в каком-то другом мире. Моя работа ее не интересовала. Вот так... а все, что было дальше, я тебе уже рассказывал. И вот ты теперь спросишь, зачем же я через столько лет врываюсь в вашу семью, я, выходец с того света? Зачем я пришел к вам в дом, зачем я нарушаю твой покой и покой всей вашей семьи? Я тебе отвечу. Потому что я твой отец. Так уж получилось, что у тебя два отца, и один из них, между прочим, таки я. Но, видишь ли... Дело не только в этом. Если бы дело было только в том, что я твой настоящий отец, я бы как-нибудь потерпел. Клянусь тебе. Я бы как-нибудь справился со своими чувствами. — Он остановился и потер лоб двупалой ладонью. — Слушай меня внимательно, Леня, мальчик мой, — сказал он. — У меня за плечами немалое прошлое, и, как видишь, я до сих

пор жив. Большинство тех, кто прошел мой путь, исчезли. Может быть, это мое счастье, а может быть, несчастье. Несчастье потому, что я увидел то, чего никто из нас никогда не думал увидеть. Но раз уж я дожил до этого, я должен был как-то это понять... С высоты моего опыта продумать и проанализировать весь ход событий... Ничто не происходит случайно. Если так все повернулось, значит, для этого были какие-то предпосылки. Я имею в виду не только мою жизнь... Все эти годы я потратил на то, чтобы продумать исторические закономерности, я должен был это сделать, и я пришел к определенным выводам. Я понял, что наша программа, наше дело, вся наша деятельность была основана на ряде ошибок. И эти ошибки дали себя знать уже в двадцатых годах, не говоря уже о тридцатых... Я говорю не о тактических ошибках. В конце концов, у кого их не бывает! Я говорю об ошибках стратегии и прежде всего самой главной, коренной ошибке, которая состояла в том, что мы в своих расчетах не приняли во внимание самый главный фактор — Россию. Да, как это ни смешно, именно Россия выпала из поля зрения и не была учтена как фактор, имеющий первостепенное значение. События затуманили нам глаза. Страну словно заволокло дымом... А когда этот дым рассеялся, мы увидели совсем не то, что ожидали увидеть! Я приведу тебе один маленький пример: году в тридцать шестом мне попадаетеся на глаза статья Николая Ивановича в “Правде” о проекте конституции. То есть что значит попадаетеся? Я читаю ее, как все читали. По-моему, это была его последняя статья, да и я, наверное, последний раз тогда держал в руках эту газету... Бухарин был секретарем комиссии по разработке конституции, а председателем был, если я не ошибаюсь, сам Сталин. Но это неважно... Читаю эту статью. Говорится о преимуществах нашей социалистической конституции перед конституцией фашистской Германии. Но фашисты тоже считали себя социалистами. И вот я читаю и вижу, что автор не просто говорит о преимуществах, но он сравнивает, он считает возможным проводить параллель между двумя государствами! И там, и здесь у власти стоят партии рабочего класса, и в обеих странах победа социализма с железной необходимостью приводит к установлению термидорианского режима, к диктатуре. Разве так мы представляли себе диктатуру пролетариата? Я не отрекаюсь от социализма. Я уверен, что социализм — это в конечном счете будущее всей планеты. Но какой социализм? Какое будущее? Россия нам это будущее не приближает, наоборот. Она скорее отдаляет его тем, что в ней произошло. Россия — это скорее отрицательный пример. Отрицательный! Дескать, вот что произойдет, если... и так далее. В этом смысле можно сказать, что революция потерпела крах. Когда это случилось? Я думаю, где-то

уже в самом начале. Еще при жизни Ленина... Можно было бы все это проследить во всех подробностях, хотя сталинцы сделали все, чтобы замутировать историю, но дело не в подробностях. Не в тактике дело, вот в чем трагедия! За политической историей стоят долговременные факторы, стоят закономерности, которые действуют на протяжении многих веков. Это и есть те факторы, совокупность которых я называю Россией. Видишь ли, революция была для этой страны последним шансом. Последней отчаянной попыткой свернуть шею чудовищу, которое называлось Российской империей и представляло собой самое отвратительное порождение истории, самое тяжелое наследство, которое страна получила от Византии и монголов. Это не моя мысль. Это мысль Маркса... И вот представь себе, сначала казалось, что эта попытка удалась. Чудовище испустило дух! В сущности, оно уже давно агонизировало, и революция просто добила его. Но затем большевики столкнулись с необходимостью строить новое государство. Государство, о котором у классиков марксизма конкретно ничего не сказано. Об этом как-то не было времени хорошенько подумать... Многие были уверены, что государство попросту отомрет, как только власть перейдет в руки пролетариата. Так думал даже Ленин — до тех пор, пока сам не стал главой государства. Согласись, что стоять во главе государства и проповедовать отмирание государства невозможно. Словом, стало ясно, что без государства построить социализм нельзя. И вот теперь что же мы видим? Мы видим, что чудовище, которое мы уничтожили, возродилось! Оно возродилось, и даже в еще худшем варианте. И я тебе скажу почему. Мы, я имею в виду марксистов, упустили из виду одно маленькое обстоятельство. Мы упустили из виду национальный фактор. Годами большевики спорили о том, можно ли построить социализм в отсталой стране, а надо было подумать о том, чем обусловлена эта так называемая отсталость. Мы не понимали, что нужно этому народу, потому что мы невнимательно читали его историю. А Сталин понял, хотя он невежественней любого учителя средней школы... Мы думали, что этому народу нужна свобода, равноправие, достоинство личности, свободный коллективный труд на самих себя. А на самом деле ему это было совсем не нужно, вот в чем дело, вот в чем трагедия! И сталинцы это прекрасно поняли. Мы, марксисты, опирались только на одну историю, на историю революционного движения в России. Нам казалось, что это — стержень русской истории. Ну что ж, рассмотрим эту историю! Ты, конечно, знаешь ленинскую концепцию трех этапов революционного движения. Посмотрим, имело ли оно массовую базу. О декабристах говорить нечего. Народники? Народники не получили никакой поддержки, как только крестьянские массы, этот самый на-

род, — как только он понял, что они хотят сокрушить государственный порядок и свергнуть царя. Остается третий этап, на котором революционное движение действительно приняло массовый характер, но этот третий этап совпадает с разложением монархии и всего феодального уклада, и теперь только мы понимаем, какой зловещий смысл имело это массовое революционное движение. Оно выражало недовольство народных масс тем, что империя шатается, недовольство царем, что он плохой царь, недовольство хозяевами, что они плохие хозяева, оно выражало страх и ненависть к демократии, которая начала развиваться в России, ненависть к городу, ненависть к капитализму, который несет с собой эту демократию. Да, это была антикапиталистическая революция, но не ради того, чтобы построить новое общество, а ради того, чтобы вернуться назад, к крепостному праву, к византийскому владыке, к хозяину. Тогда это мало кто понимал, но сейчас это ясно как Божий день... Это не была революция народа, доросшего до сознания свободы и понимания того, что он сам имеет право решать свою судьбу. Это была революция рабов... Я не собираюсь порочить русский народ, — проговорил он угасшим голосом. — Каков он есть, таков он и есть... Это народ, загипнотизированный имперской идеей. И он всегда предпочтет тот режим, который эту идею реализует, и того вождя, в ком она воплощена. И поэтому он будет держаться за сталинскую власть, будет проливать за нее кровь, будет совершать во имя ее подвиги, все вытерпит и все ей простит... Ибо только эта власть обеспечила сохранение империи. Только сталинская власть обеспечила порядок, как он его понимает... Большевики должны были установить такую власть — или сойти со сцены. Вот в двух словах итог и смысл нашей революции. К светлым вершинам коммунизма? Где они, эти светлые вершины? Как до них добраться, если государство вместо того, чтобы отмирать, с каждым десятилетием крепнет и свирепеет и уже оккупировало всю жизнь людей — и культурную жизнь, и экономическую жизнь, и даже личную жизнь? Я тебе скажу. Собственно, это и есть мой главный вывод... Никакого выхода нет и не может быть. Это заколдованный круг. Это безнадежная страна. Был шанс — но больше его уже не будет. Одним словом, это страна без будущего. Все, что может в ней происходить, это только к худшему. Я знаю, что ты скажешь: ты скажешь, что это точка зрения человека, потерпевшего крах. Его, так сказать, столкнули с поезда, и вот он теперь лежит под откосом, корчась от боли, и смотрит вслед уходящему поезду и предсказывает ему крушение... Но я не крушение ему предсказываю, нет, это государство несокруσιμο, но оно безнадежно. Оно неизлечимо, как неизлечим его народ. И кто знает, может быть, все даже к лучшему... Может

быть, я так никогда бы и не опомнился, если бы меня не выкинули из поезда. Я не имел бы времени подумать... Да, мы были уверены, что устремляемся к светлому будущему. Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка... А на самом деле мы ехали в новое средневековье. Получается так, что каждая новая победа, буквально каждый новый успех приводит к тому, что этот вурдалак становится все могущественнее! Теперь он раздавил самого Гитлера, и что же? Станет ли страна от этого счастливее?.. Ты посмотри на нее, ты только посмотри вокруг! Можно подумать, что над этой страной тяготеет какой-то злой рок. Куда ни поедешь, всюду развал, разруха. Грязные хибары, повалившиеся заборы, совершенно невероятные уборные! И не говори мне, что это результат войны. Это, конечно, результат войны, но война только добавила к тому, что уже было, и смею тебя заверить, через двадцать лет будет то же самое. И через двадцать лет ты на каждом шагу будешь слышать мат, и на каждом углу будут валяться пьяные... Это страна, где надо было загнать двадцать миллионов человек в лагерь, чтобы заставить их работать, и надо было восстановить в деревне крепостное право, чтобы опять-таки заставить крестьян работать. И что будет дальше, никто не знает, может быть, завтра в лагерях окажется пятьдесят миллионов... И все будут по-прежнему славить великого Сталина... Ибо никаких перемен, я имею в виду перемены к лучшему, ожидать невозможно. Нет альтернативы, Ленья. Полная беспомощность народа и никакой альтернативы, кроме хаоса. И это есть, если хочешь знать, самый большой козырь сталинской власти: никакого другого выхода быть не может, или этот порядок — или распад. Вот тебе баланс тысячелетней русской истории — как сказал поэт Некрасов: всё, что мог, ты уже совершил!»

«Мальчик мой, — бормотал он, стискивая руки и устремив на меня круглые глаза, глаза старой птицы, — мальчик мой... Я не для того тебя разыскал, чтобы мучить тебя загадками, и не для того, чтобы надоедать тебе рассказами о моей жизни. Моя жизнь... что моя жизнь! Моя жизнь прошла. Речь идет о тебе, о твоей жизни... Будем откровенны. Моя жизнь была ошибкой, потому что я принес ее в жертву ложному кумиру, и я не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку. Но я прожил свою жизнь не даром, нет! Мы все прожили свою жизнь не даром, потому что наш проигрыш дороже иной победы... Победители не способны чему-нибудь научиться, а побежденные... о!.. Надо было пройти через этот опыт. Вот почему я считаю, что опыт России представляет для человечества безмерную ценность. История сделала из России подопытного кролика. Когда-нибудь это

поймут... Но наша роль в ней сыграна. Леня, мальчик мой... Мы должны понять, кто мы такие в этой стране. Мы — я имею в виду евреев. Мы должны понять историческую и национальную судьбу России, но мы должны понять и нашу собственную национальную судьбу. Мы были верными детьми этой страны, мы считали ее своей страной. Я говорю не о вчерашнем дне, я говорю о веках. Евреи веками жили в России и сохранили ей верность даже посреди самых жестоких гонений. Антисемиты упрекали нас в том, что мы хотели гибели России и поэтому активно участвовали в революционном движении. Белогвардейцы тыкали нам в нос тем, что первые марксистские кружки чуть ли не наполовину состояли из евреев, что в двадцатом году евреем был чуть ли не каждый четвертый член Цека, что во главе советского государства, я имею в виду председателя ВЦИК, стоял еврей и что еврейские родственники были у Ленина, не говоря уже о всех его друзьях, и что в конце концов сам Маркс был евреем. Но при этом они забывают, что революция отвечала чаяниям русского народа, конечно, и других народов, но прежде всего русского, причем в совершенно особом смысле, как мы это теперь видим. Не в том смысле, что она избавила его от рабства, хотя вначале-таки избавила. А в том, что новый режим сохранил империю. Да, теперь мы это хорошо видим! Так что даже с этой точки зрения евреи хорошо послужили России. Тут какая-то насмешка истории, какой-то рок... Но они служили ей и в других областях: посмотри на литературу, посмотри на науку. Шахматисты, артисты, я знаю?.. Антисемиты упрекают евреев в том, что они захребетники и трусы и во время войны, дескать, отсиживались в Ташкенте, а я тебе скажу, что на фронте было полмиллиона евреев. А сколько погибло? Об этом они не пишут. Никто не имеет права упрекнуть евреев в том, что они плохо служили своей родине. Но что такое родина? Вот вопрос. Что такое национальная основа, национальная почва, если уж пользоваться этим словом, которое нам тыкают в нос антисемиты? Для русского человека это земля, на которой он живет. Вот эта самая глина, которую ты видишь вокруг себя... А наши корни глубже. Потому что они проходят сквозь эту почву и идут еще дальше. Родина — это не государство. Это надо понять. Государство сегодня одно, завтра другое. Сегодня оно есть, а завтра его нет! Что же это такое: география? Нет, не география. Для всех других родина — это и государство, и географическое место, но не для нас. Потому что родина заключает в себе и умерших, родина — это не только место, где я родился, но и место, где жили предки моих предков. Хорошо, скажешь ты, но ка-

ких предков, до какого колена? Я отвечаю. До той поры, до которой простирается историческая память народа. Русские помнят своих предков, живших на той же самой территории, на которой живут они сами, и больше никаких. Другие народы помнят себя с тех пор, как они живут там, где они живут сейчас, хотя у многих на самом деле была другая родина, еще более древняя, откуда они когда-то вышли. Но они ее не помнят. А евреи помнят. Вот и вся разница! Евреи помнят всю свою историю — почему? — потому что у них была письменность, и что еще важнее, потому что письменность, книга стала достоянием всего народа, а не только ученых или жрецов. Каждый еврей был обязан изучать эту письменность и эту историю, без этого он не мог считаться полноценным членом общины... У нас нет знати, потому что весь народ помнит свое происхождение. Весь народ знает, откуда он родом, кто его предки. И только поэтому это — народ, только поэтому евреи не исчезли, не растворились, как десятки, а может быть, и сотни других народов вместе с их цивилизацией и историей, которую они не удосужились запомнить. Другие народы — это народы одной цивилизации, одного исторического периода, а мы свидетели нескольких цивилизаций. Другие народы жили или живут внутри своей истории, а мы видели всю историю человечества. Мы старше истории: она прошла на наших глазах. Мы старше религии, ибо мы сами ее создали... Поэтому то, что для других наций служит определяющим признаком, — территория, государство, одежда, разговорный язык, я знаю? — для нас только эпизод, только роль, как для актера, который сегодня играет Гамлета, завтра будет играть Полония... Сегодня мы говорим по-русски, вчера говорили по-немецки, а семьсот лет назад по-испански. Сегодня мы носим пиджаки, вчера носили кафтаны и лапсердаки; у нас есть нечто поважнее кафтана... Более вечное, чем государство, чем все империи на свете. Где они, эти империи? Все рушилось, исчезали целые цивилизации, а евреи сидели и писали свою историю, молились и снова писали... Когда-то мы были в плену у фараона, и не было ничего на свете страшнее, чем этот фараон, а где теперь фараоны? Где Египет? Где Вавилон, где Рим, который растоптал иудеев, где, где? Сколько народов упомянуто в Библии, о которых никто никогда бы не вспомнил! Их помнят просто потому, что они когда-то воевали с евреями. И я тебе скажу больше. И нынешние великие нации когда-нибудь закончат свое существование, а евреи останутся. Евреи останутся и запишут в своих книгах, что когда-то, несколько веков, они жили в России. Да, еврейская история кажется чем-то необъяснимым, поэтому об нее обломал

зубы исторический материализм — это говорю тебе я, марксист и атеист! Не будем сейчас доискиваться до причин, один скажет, что это Бог ведет евреев, как он когда-то вел их через Синайскую пустыню, другой придумает что-нибудь другое. Я лично думаю, что объяснить загадку еврейской истории невозможно, для этого нужно выйти за пределы истории... Марксизм замечательно объясняет историю, не было еще такой стройной и последовательной теории. Но он объясняет только то, что находится внутри истории, понимаешь ли, то, что порождено самой историей. Все годы я думал над этим, у меня было время подумать... И вот я тебе скажу. Я тебе скажу, что стоит над историей: над историей стоит Израиль. Как мать над колыбелью ребенка. Что я хотел сказать... — он потер лоб. — Да! У нас отнято все. Все, что необходимо для исторического существования, что считалось необходимым для исторического существования. Но у нас осталась наша память. У нас осталась книга и сверхъязык, на котором она написана, *лашон кодеш*... Двадцать две буквы, из которых мы сотворили наш мир... Послушай, я тебе расскажу одну сказку, мне когда-то рассказывал ее мой дедушка. И ты когда-нибудь расскажешь ее своим внукам. Однажды Израиль Баал Шем Тов — ты знаешь, кто такой Баал Шем Тов? Это был великий учитель. Никто не знает, куда он исчез. Считается, что он не умер, он просто ушел. Ничего не поделаешь: бывают такие люди, которые не умирают! Так вот однажды он объявил, что срок пришел, тысячи лет еврейский народ ожидал Мессию и вот, наконец, дождался: Мессия идет на землю. Мессия идет! Чаша страданий переполнилась. Он не может не прийти. И если даже не захочет прийти, то он, Баал Шем Тов, заставит его это сделать, ибо недаром его прозвали Баал Шем Тов, что значит Хозяин благого Имени; он назовет это Имя вслух, он произнесет такое заклинание, что небу станет жарко, и Мессия, хочет он этого или нет, будет вынужден сесть на ослицу и отправиться в путь. Но это было ошибкой, потому что на самом деле чаша еще далеко не была полна. В ней еще оставалось много места... Впереди были еще печи Освенцима. Нет, еще не пришло время, Бешт (это его сокращенное имя) совершил ошибку, и за это он был наказан. С неба спустилось облако, накрыло его с головой, и в одну минуту он был перенесен на необитаемый остров. Но он оказался на этом диком острове не один. Вместе с ним был его ученик, по имени Герш Сойфер. И вот они стоят и думают, что им делать. “Учитель, произнесите какое-нибудь заклинание”. — “Какое заклинание”, — спрашивает Бешт. “Какое-нибудь, ведь вы же мастер, вы чудотворец, скажите волшебное слово.

Не можем же мы здесь оставаться. Здесь никого нет, здесь нечего есть”. — “Да, — говорит Бешт, — здесь действительно нет никого, и здесь нечего кушать. Но беда в том, что я все забыл... все слова”. — “Что же мы будем делать?” — “Ты должен сам вспомнить, — говорит Бешт. — Ведь я же тебя чему-то учил. В конце концов ты мой ученик”. — “Нет, — говорит Сойфер, — я тоже все забыл. Эти сволочи постарались отшибить у меня всю память”. — “Какие сволочи, не богохульствуй! Лучше постарайся вспомнить”. — “Я стараюсь, — говорит Сойфер, — но ничего не могу вспомнить. Знаю только одну-единственную первую букву алфавита: Алеф”. — “Алеф? — спрашивает Бешт. — Но я знаю еще одну букву, Бэйт. Давай вспоминать вместе. Как будет третья буква?” — “Третья буква будет Гимел”. — “Отлично, давай дальше!” И они стали вспоминать, и вспомнили, буква за буквой, весь священный алфавит. И это было единственное, что сохранилось у них в памяти, единственное, но самое главное, из чего состоит любой текст и из чего состоит весь мир, потому что мир — это тоже текст. И вот постепенно из букв начали сами собой складываться слова, а из слов сложилась фраза. И когда эта фраза сложилась, он громко произнес ее вслух. И они вернулись. Они вернулись, а Мессия так и не пришел. Ты понял, о чем эта притча? Нет? Так я тебе объясню... Ты видишь, что в ней три действующих лица: праведник, его ученик и еще одно лицо, о котором мы скажем позже... Праведник достиг вершины знания. По еврейской традиции близость к Богу невозможна без мудрости, этим она отличается от христианской традиции с ее уверенностью, будто первыми вступают в царство небесное нищие духом — иначе говоря, слабоумные! Нет, еврейская традиция не унижает разум. Праведность включает в себя знание, праведник — это ученый. Хасидизм пытался преодолеть законничество, это другое дело, об этом мы скажем ниже, но, как видишь, и величайший учитель хасидизма, Баал Шем Тов, — это тоже обладатель великого знания. И это знание дает ему сверхъестественную власть. Он может ускорить приход Мессии, заставить его сойти на землю. Другими словами, он может прекратить историю. Ты должен иметь в виду, что за терминами еврейского предания всегда скрывается какой-то другой смысл, а за ним еще другой и так далее... Но приостановление исторического процесса, обрыв истории — мы скажем проще: революция, которая имеет целью разом покончить со всеми несправедливостями и установить на земле то, что в другой системе представлений называется царством Божьим, — не может быть произвольным решением одного человека, хотя бы и одушев-

ленного самыми лучшими чувствами и... и намерениями. Любовь к народу, сострадание к народу завели Бешта слишком далеко. Он потерял терпение, как многие теряли до него, и решил, что чаша страданий полна, между тем как в ней не было еще и половины. Он решил, что дьявол выложил на стол уже все свои козыри и пора заканчивать игру. А дьявол — дьявол истории — шел-то, оказывается, с младших козырей, до старших еще было далеко! Старшие козыри дьявол выложил в двадцатом веке. И вообще неизвестно, сколько у него козырей... И вот высшая инстанция, которая только одна знает всю игру, наказывает праведника. Она наказывает его полным лишением памяти, а что значит лишиться памяти? Это значит потерять власть над вещами и утратить контакт с людьми. Вот что означает ссылка на необитаемый остров. Теперь рассмотрим вторую фигуру, второе действующее лицо: это реб Цви-Герш Сойфер. Сойфер — это значит книжник. Сойфер — не праведник, все, что он получил от учителя, — это формальное знание. Сойфер при Беште — это примерно то же, что Вагнер при Фаусте. Но при этом он представляет собой новую вариацию законника, это ученый новой формации; законник был чистым схоластом, корпел над книгами и извлекал из них все новые крупинки знания, а ученый нового времени — это каббалист, он манипулирует со знаками и формулами, и в этом весь смысл его жизни, знание для него — самоцель. Формальные построения, в сущности, и есть для него структура мира, никакого другого смысла в мире для него нет. Замысел Бешта — что-то вроде научного эксперимента, который должен подтвердить правильность теории. Естественно, что Сойфер делит наказание со своим учителем. И наконец, в этом рассказе есть третье действующее лицо, это — Спаситель, Машиах, что значит помазанник... Это загадочный персонаж еврейской истории, который вечно — при дверях, но который никогда не появляется, потому что его появление означало бы конец всему, без чего невозможно представить себе историю: конец войн, конец насилия, конец эксплуатации, конец государства. Это, если хочешь знать, далекий и окончательный смысл истории, смысл всех страданий и жертв, но он находится уже за пределами истории. Поэтому, пока длится история, Мессия не придет, сколько бы мы его ни ждали и сколько бы нам ни казалось, что мы уже слышим, как бренчат бубенцы ослицы, на которой он едет... Теперь ты понимаешь, что эта притча о чудотворце на самом деле — притча о еврейском народе. Всякий раз, когда нам кажется, что мы уже у цели, что избавление вот-вот придет, всякий раз нас

постигает жестокое разочарование. Всякий раз, когда мы пытаемся сбросить проклятье истории и выпрыгнуть из истории в рай, — нас ждет кара. Какая же это кара? Эта кара — забвение самих себя. Утрата памяти, единственного, что у нас есть, что сохранило нас как народ. Утрата памяти! И разве не то же произошло с нами сейчас? Бросившись в русскую революцию, как в окошко, за которым — алая заря, за которым все — блеск и голубизна, бросившись в это окошко, чтобы полететь, мы упали на камни, мы очутились на бесплодном острове. Мы забыли, кто мы и откуда мы. Мессия не пришел и никогда не придет, а мы? Что нам делать? Нам нужно восстанавливать память. Нужно начинать с азов, буква за буквой, слово за словом восстанавливать свою память, иначе говоря, восстанавливать самих себя... Мы разбились вдребезги, выпрыгивая из окошка, от нас уже почти ничего не осталось!.. Леня, — проговорил он, и в глазах его стояли слезы. — Леня, мы должны с этого острова бежать. Как сказал этот Цви-Герш, — он горестно усмехнулся, — как сказал Цви-Герш: не можем же мы здесь оставаться... Леня, мы должны уехать! Для этого я тебя разыскал».

Он остановился, тяжело дыша, глядя на меня в упор выпученными слезящимися глазами, и начал приглаживать ключья стоящих дыбом волос, точно смотрелся в зеркало. Так прошло несколько мгновений, потом он как будто пришел в себя и заговорил спокойнее.

«Забудь все, что я тебе говорил, всю эту философию. Дело не в философии. Мальчик мой... Я имею возможность выехать. Эмигрировать, пусть тебя не пугает это слово. Одним словом, навсегда покинуть эту страну. Это кажется невероятным, никому даже в голову не приходит, что отсюда можно бежать, и за одно упоминание, за одну только мысль можно схватить срок. Но это не значит, что это невозможно. Короче говоря, у меня есть разрешение. Это потребовало больших хлопот и, конечно, знакомств, с меня взяли подписку, что отъезд останется в тайне, и еще одну подписку, что я не буду заниматься антисоветской деятельностью. Я подписал. Почему? Потому что я действительно не собираюсь заниматься никакой пропагандой, я вообще не намерен заниматься политикой... У меня есть только одно маленькое желание. Я хочу написать воспоминания. Видишь ли, я хочу полностью рассчитаться со своим прошлым, с нашим прошлым. Я хочу описать все как было, я не хочу оправдываться. И я не хочу, чтобы ты... чтобы ты... здесь остался, — договорил он. — Послушай, что я тебе скажу... Ты можешь мне поверить: в этой стране больше делать нечего. Жить здесь невозможно.

Если бы я мог тебе рассказать, что здесь творилось и продолжает твориться, — вся эта колоссальная подземная система, миллионы, может быть, десятки миллионов заключенных... но не будем об этом. Исправить это невозможно, это надо просто забыть. Я уезжаю, уезжаю навсегда, безвозвратно, и ты едешь вместе со мной. Теперь, когда я добыл все документы, полностью доказал свое отцовство, ты имеешь право как мой сын ехать со мной. Твои родители пока еще не знают, они вообще думают, что я отступился и махнул рукой. Но я не могу махнуть на тебя рукой. Если бы не ты, я бы и не затеял все это. Ты для меня все, и я не имею права тебя здесь оставить. Твой отец инвалид. Он пьяница. Твоя мать... у нее другие заботы. Нет, я ничего плохого сказать о них не хочу. В конце концов, они тебя, воспитали, сделали для тебя все что могли. Но они несчастные люди, бесправные, еле сводящие концы с концами, и они ничем тебе помочь не смогут. Одному Богу известно, что с тобой будет. Ты можешь мне поверить. Я долго думал, прежде чем решился сказать тебе все. Я хочу тебе сказать, что там ты будешь свободным человеком. Ты даже не представляешь себе, какие возможности откроются перед тобой. Ты молод и, слава Богу, кажется, здоров. Что еще нужно? Ты получишь настоящее образование. Ты, наконец, станешь евреем. Ты знаешь, что значит быть евреем в России? Что значит дышать воздухом, в котором вместе с кислородом и азотом содержится еще один газ? Этот газ может быть таким же невидимым, как азот и кислород, но ты им дышишь, ты вдыхаешь его каждый день и каждую минуту: газ недоверия, газ презрения, газ ненависти к евреям! Ты это, может быть, еще не почувствовал, и дай Бог тебе никогда не почувствовать. Сейчас решается важный вопрос, — сказал он, — ты, может быть, слышал о том, что срок британского мандата истекает. Палестина получает самостоятельность. Ты будешь жить в собственном государстве, в подлинном социалистическом государстве, которое не имеет ничего общего с тем социализмом, который ты видишь вокруг... И, наконец, самое главное, у нас есть родственники. У тебя там целая куча двоюродных братьев и сестер, ты знаешь об этом? Я сделаю все, чтобы обеспечить тебе нормальную полноценную жизнь. Я разобьюсь в лепешку. Леня! Это редчайшая удача, ты вытянул счастливый билет. Послушай, что я тебе скажу. Ты никуда не пойдешь. Ты останешься здесь. Тебе не надо возвращаться... так будет лучше. Я сам съезжу за твоими вещами. Потом, перед отъездом, попрощаешься, а пока поживешь у меня. Так будет гораздо лучше. Леня, я хочу, чтоб ты понял... Скажи только: да, и больше ничего не надо, я беру все на себя.

Я объясню твоим родителям. Они люди разумные. Они поймут, что это в твоих интересах. Я уже заполнил все бумаги, я достал тысячу и одну справку, и достану еще, если понадобится. Мы едем, да? Леня, скажи: да?.. Да? Ты согласен?»

«Нет», — сказал я.

## ГЛАВА 42

Ночью наступила зима. Пока я слушал его, пока гремели выстрелы, пока Мессия сидел у ворот Рима, земля повернулась, и все вокруг, пустыри, канавы, картофельное поле, перед которым я кружил вечером во тьме и которое сейчас мы пересекли, чтобы сократить путь, шагая по комьям замерзшей грязи, — все покрыл свежий и чистый утренний снег. В сумраке мы оставляли черные следы на голубом снегу. словно первопроходцы, мы шли вдоль палисадников, мимо белых заколоченных дач, мимо мертвых деревьев. Миновали шлагбаум и поднялись по деревянным ступенькам, где снег был уже изрядно потоптан. Темные фигуры кучками стояли вдоль платформы. Над входом в зал ожидания тускло освещенный циферблат показывал какое-то невероятное время. Блестящая огненным глазом, подошла электричка, битком набитая людьми. Он вцепился в меня, стараясь дотянуться губами до моих окаменевших губ, — и поехал назад вместе с платформой, часами, темной станцией. Несколько мгновений я видел его сквозь мутное стекло: он стоял, воздев руки, в венце полыхающих волос. И исчез.

В Москве, идя в толпе по мокрому перрону, я увидел серое олово крыш, стальной гребень Ярославского вокзала и то особое, бледно-лиловое сияние, охватившее полнеба, которое служит знаком наступающего дня. Я был бодр, спокоен, слегка озяб и, несмотря на бессонную ночь, испытывал во всем теле ощущение чудесной перемены, которая произошла со мной. Я чувствовал себя так, словно переплыл холодную реку. Вся вчерашняя, прежняя, путаная и тягостная моя жизнь осталась на том берегу, единственное, что меня немного беспокоило, — это мысль о моих родителях, которые, наверное, с ума сошли от беспокойства: впервые в жизни я не ночевал дома. Я шел, ежась от холода, и думал, что придумать. Не было никакого смысла рассказывать дома, где я провел ночь. Я шел — и за всеми моими мыслями стояло, как лиловое сияние, горделивое сознание новой жизни. Я не знал толком, что это была за жизнь, к которой я стреми-

тельно приближался, в которую вступал с каждым шагом; но это была уже совершенно другая жизнь. Прошлое было достойно презрения. Я чувствовал себя взрослым.

Необыкновенно торжественно выглядел наш тихий переулок, усталый, как белым ковром, еще нетронутым снегом. Снег запылил машину, стоявшую против дома на другой стороне. За рулем дремал, опустив голову, шофер. Окна нашего дома отсвечивали металлической голубизной. Было еще совсем рано. Я вошел в темное парадное, позвонил, мне открыли, в темном, затхлом тепле квартиры я увидел бледное лицо мачехи, ее расширенные от ужаса глаза, и мне стало по-настоящему совестно. Она была одета, следовательно, не ложилась. Сзади стоял кто-то, в погонах и портупее. Я подумал, что кто-то приехал к соседям и по ошибке вышел открыть дверь, и еще какая-то сложная и путаная мысль промелькнула у меня в голове, мысль, что всегдашнее мое суеверие на этот раз оправдалось; то есть если бы оно оправдалось, все выглядело бы именно так. И мгновенная идея — повернуться и уйти — явилась мне как возможность, как ход в пьесе, если бы эта пьеса вдруг стала реальностью. «Леня, — пролепетала мачеха, — ты... тут у нас...» Человек отодвинул ее в сторону и, притворив за мной дверь, сказал: «Пройдемте, прошу».

Ирония заключалась в том, что меня действительно ждали. Нервничали, беспокоились и ждали, по-видимому, уже давно. Ибо требовалось, по крайней мере, несколько часов, чтобы превратить комнату в то, чем она стала. С изумлением оглядывал я наше тесное гнездо, точно расклеванное железным клювом. Все, что можно было взломать, разъять, рассыпать, было взломано и рассыпано. Ни одной вещи не осталось на месте. Белье валялось на полу. Занавеска над кроватью родителей была сорвана, постель перевернута, шкаф стоял растворенный настезь и пустой, зеркало было отвинчено и стояло между шкафом и Даниной кроваткой, тоже опустошенной, — вспоротый матрас висел, свесившись через спинку. Горел свет, хотя уже рассвело. В углу за диваном сидел Даня, точно островитянин, зачарованный зрелищем прибытия таинственных белых людей. За столом сидел один из них, курил и играл носком сапога.

Напротив сидел, насупившись, мой отец. Ожидание наполнило разоренную комнату, как удушливый газ.

Человек раздавил в блюдце окурок и протянул руку к портфелю, стоявшему возле ножки стола.

«Так, — сказал он. — Где гулял-пропадал? Поди сюда. Фамилия, имя?»

Можно добавить, что в комнате присутствовал еще один персонаж: присутствовал, так сказать, незримо. Он и потом остался неназываемым до самого конца, до нынешнего времени, когда, стоя уже на пороге могилы, я помянул его на этих страницах. Простой факт, легко вычисляемый уже из того, что его имя не фигурировало в бумагах, что им не интересовались следователи, этот факт — то, что он состоял на службе в ведомстве, куда меня должны были препроводить и где уже с двух часов ночи находился мой друг Вика, — этот факт так и остался в сфере подразумеваемости, ибо незачем пояснять, что я никогда больше не видел Николая Хрисанфовича Дымогарова. Да если бы и увидел — что он мог бы сказать в свое оправдание? Что наша гибель была предначертана звездами?

Несколько мгновений я вертел в руках ордер с печатью и подписью прокурора, мачеха металась по комнате, собирая в наволочку кружку, зубную щетку, еще что-то, и, собственно, на этом все было кончено, лейтенант отобрал ордер, шелкнул челюстями портфеля, — но тут произошло еще кое-что. Мой отец заскрипел стулом и медленно произнес:

«Вот что, господа хорошие...»

Лейтенант застегивал шинель, а другой ждал в дверях.

«Вот что, — сказал отец каким-то желудочным голосом. — Возьмите лучше меня. И делайте со мной все, что надо. Подпишу все, что хотите. А его не трожьте. Ясно?»

«Алексей, — это был голос мачехи, — что ты, Алексей?..»

«Уйди прочь, — сказал отец, вставая. — Сволочи, крысы вонючие...» И он добавил кое-что.

«Ты полегче, полегче!» — сказал лейтенант мрачно.

«Не трожь, говорю! Только попробуйте, гниды... Всех, гадов, перестреляю!»

С изумившей меня ловкостью молниеносным движением он выхватил из пиджака свой «ТТ» и выставил перед собой, прижимая локоть к груди и мигая сверкающим глазом. От неожиданности лейтенант шархнул, заслонился портфелем, а второй, стоявший сзади меня, сел на корточки.

«Руки вверх!» — гаркнул отец. Лейтенант начал медленно поднимать руки. Все это напоминало пародию на приключенческий фильм. Продолжая поднимать руки, лейтенант вдруг опрокинул ногой стул и бросился вперед. Через секунду пистолет лежал на полу. От сильного удара отец скорчился и сел на стул. Лейтенант поднял пистолет; ствол был просверлен и магазин пуст. «Падла старая, про-

ститутка, — буркнул он, — у, проститутка! — Он подошел к нему и замахнулся локтем. — Скажи спасибо, падла, что не до тебя сейчас, выбил бы тебе последний глаз. Ты бы меня запомнил, гадина». Мой отец молча поднял на него свое продавленное лицо, и это было последнее, что я видел. Меня толкнули в коридор и повели на улицу; один спереди, другой сзади.

1984

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИНФАНТЫ

*Camino del cementerio se encontraron dos amigos; adiós! dijo el vivo al muerto; hasta luego! el muerto al vivo<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Два друга встретились на дороге к кладбищу. Прощай! — крикнул живой мёртвому. До скорого! — мёртвый ответил живому. (*Испанский фольклор*).

**П**риехал цирк Бальдони! Приехали фокусники, акробаты, клоуны, дрессировщики зверей, пары, танцующие вальс на канате, прославленный маг-иллюзионист и пророк-предсказатель будущего. Спрашивается: как это могло произойти, кто их впустил в нашу страну? А что если экстрасенс, читающий мысли, разгадает государственные тайны? Если под видом клоунады нам будут внушать чуждые взгляды? Вы скажете, что нормальному человеку трудно заподозрить цирковое искусство в протаскивании буржуазной идеологии. Но в то время нормальных людей было немного. Спрашивается, кого считали нормальным. Похоже, что компетентные органы в самом деле совершили промаху.

Но, быть может, всё объяснялось очень просто: кто-то из высокого начальства захотел увидеть знаменитую труппу у себя дома, в Москве. На это и намекали знающие люди; такой пробежал шепоток. И что, дескать, органы ничего не могли с этим поделаться. Вообще рассказывали необыкновенные вещи. Разнёсся слух, — а слухи были в те времена то же, что сегодня телевидение, вернее, телевидению принадлежит сегодня роль, которую прежде играла молва, — будто ясновидящий пророк провёл серию сеансов для высшего руководства. Конечно, предсказание будущего — мистика, буржуазный предрассудок. Но зато будущее оказалось блестящим.

И вот, наконец, стало известно, что после закрытых спектаклей будут пускать всех. Цены не испугали публику. Очередь перед кассой выстроилась с полуночи, растянулась вдоль всего Цветного бульвара, загибаясь на Самотёку, потерялась где-то в перспективе Садового кольца.

Будущее несётся навстречу, будущее как бы уже существует. Где же? В будущем. Загадочная игра слов волнует воображение. Но осторожней! Пророчества опасны. Судьба небезразлична к гаданью. Судьба открывает карты пророку, но и пророчество накликает судьбу. Истинное пророчество не может не сбыться, ведь если оно не сбылось, то какое же это пророчество.

Короче, настала классическая пора гаданий — был Новый год.

Новый год — какой же именно? Один из тех ослепительных новых лет. Один из сумрачных, искрящихся в тусклом сиянии фонарей московских новогодних вечеров, когда одинокий Пушкин стынет среди

сутрбов, когда пустые громыхающие трамваи бросают жёлтый свет на отвалы снега. В подворотнях топчется озябшая нечисть. Во тьме безлюдных переулков скрипят запоздалые шаги. Когда вбегаешь во двор, и — по каменной лестнице, вверх, прыжками через ступеньку, — звонишь с замиранием сердца, слышишь стук каблуков, вступаешь в переднюю, в бывший коммунальный коридор, и навстречу запах хвои, духов, утюга, свежий дух мандаринов, и кто-то неузнаваемый, волосы под бугристой чалмой накручены на бигуди, поспешно скрывается на кухне. А там — раздвинутый стол занял половину просторной комнаты — будут танцы — широкий, словно шатёр, абажур озарил комнату тёплым оранжевым светом, вся в огнях нарядная ёлка в углу, и первый гость — кажется, это был Яша Меклер — мается от безделья, вертит в руках конверты с пластинками, крутит рычаг патефона. И вот зашипела игла, раздвинулись половинки мужественного аккордеона, всплакнул саксофон, брызнули и полились бессмертные, слаще звуков Моцарта, «Брызги шампанского».

*Тр-ра-та-та. Парáра, тра-тата.*

Тем временем в ванной, перед зеркалом обещаний и тайн, сбрасывают чалму, сгребают пластмассовые вафли, встряхивают головой, расчёсывают, приглаживают, взбивают, под конец поправляют плечики платья — инфанта в короне медных волос, с коком по тогдашней моде, в крепдешине с лиловыми розами, постукивая каблукчиками, вступает в комнату. Надо же, день рождения совпал с Новым годом. Звонок в коридоре, ещё звонок, визг, толчея, вваливаются гости. В какое счастливое время мы родились!

Было всё: и лапидарные тосты, и таинственный обещающий взор с другого конца стола, чоканье, поспешное поедание изумительных закусок, винегрета, краковской колбасы, селёдки под шубой — провожание старого года, словно отъедались за весь год. П-пах! — роскошное, пенистое полилось на крахмальную скатерть. Торжественное стояние с бокалами под клаксоны автомобилей с Красной площади, под гнусавый нисходящий перезвон курантов — будущее уже в пути.

Смех, суматоха, скрежет стульев, бархатно-блудливый бас патефона. Все выбирают из-за стола.

Медам и месье! Танго!

*Полночь, полночь вот уже пробила. А Марианна позабыла... Два шажка вперёд, два назад, поворот, два шажка вперед... Что я приду опять. О Марианна. Сладко спишь ты, Марианна.*

Свежее дыхание, шёлк, под которым слабый стан, путовки тесного бюстгальтера под ладонью, и только круглые ноги, на которые натыкаешься то и дело, выдают женщину. Как вдруг, о радость, гаснет электричество под абажуром. Потухли ёлочные огоньки.

«Ну вот; как нарочно. Обязательно в Новый год».

«Надо посмотреть, горит ли свет у соседей».

«Во всём доме погасло».

«Мальчики, я боюсь».

На мгновение — или только так кажется — барышни прижимаются к кавалерам. Призрак входит с пламенем, темно поблескивает подсвечник, её лицо неузнаваемо, пламя водружают среди рюмок и вилок, свеча одиноко сияет в глубоком, как омут, трюмо, среди неживых лиц; мерцают елочные шары, колышятся тени, — усесться поближе, прокрасться вокруг талии; в эту минуту в коридоре, в наружную дверь постучали.

Все застыли, стук повторился, хозяйка вышла в коридор, постукиванье каблуков, встревоженный голос: «Кто там?..»

Кто может быть, — жилец с верхнего этажа пришёл узнать, горит ли у нас свет. Почта принесла телеграмму. Мальчишки хулиганят на лестничной площадке. Фея Мелюзина стоит на пороге с букетом. И, смотрите-ка, в самом деле! Инфанта входит, держа в объятых огромный куль с головками роз. За ней — некто высокого роста, в чёрно-атласной маске, в плаще и цилиндре, похожий на графа Данило из оперетты «Весёлая вдова», на вернувшемся из-за границы Вергинского, на эстрадно-волшебника, на посланца судьбы; влага блесит на плечах, рот закутан белым кашне.

Снег каплет с шуршащей непромокаемой бумаги, с бледных роз.

«Здравствуйте, с Новым годом, — освободив рот, сказал гость хорошо поставленным голосом. — Извините за непрошеное вторжение...»

Ответом было молчание, изумление, гость развязал шнурок на затылке, скинул маску. Светлым взглядом обвёл растерянную компанию, посмотрел себе под ноги, не спеша разматал кашне, сбросил плащ и стряхнул влагу с лакированного цилиндра. Маленькое недоразумение, сказал он, таксист ошибся адресом. К тому же темень: говорят, это новогодний обычай, отключать ток. Только что со спектакля; так спешил, что не успел переодеться.

Кто-то осторожно спросил: «У вас здесь есть знакомые?»

Дальняя родственница, отвечал гость, хотел поздравить. Но, кажется, добавил он галантно, не прогадал...

И, словно по команде, словно кто-то хлопнул в ладоши, — может быть, сам прищелец, — всё засуетилось, задвигались стулья, заметался лепесток огня на столе, эхо блеснуло в зеркале. Все узнали артиста или сделали вид, что узнали: огромные цветные афиши цирка Бальдони были расклеены в городе. Все предлагали место, кто-то снова поставил «Брызги шампанского». Статный гость с искусственной астрой на лацкане фрака, в алой с горошком бабочке на шее, излучал обаяние, излучал

власть. Великосветским жестом — опять же из «Весёлой вдовы» — провёл ладонью по гладким чёрно-блестящим волосам, картинно обернулся: инфанта несла перед собой огромную вазу-горшок с розами. И следом за ней, с чистой тарелкой и фужером, стгорая от ревности, тот, кому выпало рассказывать эту историю, — вы догадались, что я говорю о себе.

Гость вознёс штрафной кубок, склонил блестящий пробор направо, налево. Цыганский хор хрипел патефонной иглой: *К нам приехал наш любимый... Пей до дна, пей до дна!* Гость пригубил из вежливости, поставил бокал и скромно попросил чего-нибудь покрепче. Было два часа ночи.

Белая головка явилась, одолженная у соседей. Он отыскал глазами на столе чистый стакан, налил почти до половины и, нахмурившись, опрокинул единым махом в рот. Блеснув очами, победоносно оглядел публику, щёлкнул длинными пальцами, что-то взял с тарелки, кружок колбасы, вспотевший ломтик сыра; вообще все заметили, что он пил, по-видимому, не пьянея, и почти ничего не ел. Инфанта опустила ресницы под его чёрным немигающим взором. Почему, собственно, её так прозвали? Сколько ей исполнилось? Дайте вспомнить.

По крайней мере в том, что касается Лены, память наложила запрет на всё случившееся с тех пор. Моя инфанта осталась прежней, она и теперь стоит передо мной — в блеске и красоте, тощая, как подросток, худосочная, как бывает с дочками богатых родителей, с расширенными зрачками, полными ожидания; пунцовые цветы на её платье желтоватого шёлка в тусклом свете огня казались лиловыми. Хрупкое тельце, бугорки груди, как у Дины Дарбин, — удивительно, как умели девушки того времени повторять популярных киноактрис: вдруг явилось целое племя субтильных, пышноволосых, большеглазых девиц в платьях или полупрозрачных блузках с геометрическими плечами, на огромных, как корабли, белых туфлях с острыми носами.

В провале зеркала отразился светоч, отразилась тускло-блестящая голова пришельца и квадратное, с глубоким вырезом, обнажившим ключицы, платье юной хозяйки. Под ним угадывался хилый стан подростка. Но при этом у неё были взрослые, крупные, полные ноги. Обтянутые абрикосовым фильдеперсом, с чёрным швом на икрах, они ступали крупно и уверенно, — ниже талии она была женщиной.

Она источала запахи иноземных духов, от которого я испытывал слабую дурноту во время танца; шёлковый абажур, мраморные слоники, фарфоровые пастушки, трофейная мебель из Германии, да и вся эта просторная, отдельная квартира, где мы были в первый и последний раз, отданная в наше распоряжение, — всё говорило, кричало о высоком начальственном ранге отца; никто не решался спросить, кто такой был этот загадочный папа, никого это, по правде сказать, не интересовало.

Москва неузнаваема, говорил гость, впрочем, ему едва исполнилось десять лет, когда родители увезли его навсегда. Мама, работавшая без лонжи, сорвалась с пятнадцатиметровой высоты. Отец взял с него слово, что он не будет воздушным акробатом, вопреки семейной традиции, и пришлось осваивать разговорный жанр. Тогда-то и обнаружились у него необычные способности. Лёгкий акцент выдавал гастролёра, говорившего на удивление правильным русским языком, но, может быть, и акцент был принадлежностью его амплуа.

«Кстати: мы не представились друг другу... как вас зовут? — мягко осведомился гость. — Маргарита? Наташа? Нет, нет. Ну конечно же! — воскликнул он. — Елена! Опасное имя — вспомните, из-за кого ахейцы воевали десять лет».

Он повернулся ко мне.

«А вас? Айн момент». Он назвал и моё имя. Но в конце концов он мог подслушать его за столом.

Гость остановил аплодисменты, слегка наклонив голову. Он угадывал имена, год и день рождения, можно было предположить, что кто-то заранее навёл для него справки и сейчас он откроет секрет; так фокусник, поразив публику, объясняет, как ему это удалось, — чтобы затем проделать нечто абсолютно непостижимое. Все чувствовали, что это только начало.

Между тем красноватый отблеск, словно отблеск подземного пламени, мерцал на лицах, свечка растеклась и пылала, как погребальный факел, посылая струйку копоти к потолку. Чародей простёр руку, щёлкнул пальцами, длинная белая свеча откуда-то взялась у него на ладони. Новый светоч озарил комнату и гостей нездешним светом.

Представление продолжалось, гость сидел вполоборота к пиршественному столу, слегка развалиясь, скрестив длинные ноги в атласных брюках, без фрака, в крахмальной манишке, с огнистой бабочкой, — помнится, эта бабочка, знакомая по трофейным фильмам, называлась «собачья радость». «Н-ну-с...» — произнёс он. По очереди мы выходили на середину комнаты. Никто ничему не верил — или хотел показать, что не верит, артист не выказывал ни малейшей обиды, подрагивал лакированной туфлей, поигрывал бровями. Как перед экзаменатором, вышел и стал перед гостем пышнокудрый романтик, наша курсовая знаменитость Яков Меклер. Ясновидящий воззрился на него соколиным оком.

«Вы, — сказал он и назвал Яшу по имени, — не в обиду вам было сказано, нерадивый студент. Зимний семестр вами закончен из рук вон плохо... Что ж, это простительно: ведь вы поэт. Вы пропускаете лекции, вы расхаживаете по галерее аудиторного корпуса, бормоча стихи, и они расходятся по всему факультету. Пока что, позвольте мне быть откры-

венным, ваши творения оставляют желать лучшего. Но это неважно; не беда; всё впереди. Вы талантливы, это главное, и к тому же честолюбивы; вы мечтаете о славе, и слава к вам придёт. Да, вы станете по настоящему знаменитым. Собратья по перу будут вам завидовать. Женщины будут домогаться вашей благосклонности. Впрочем, и теперь у вас больше шансов покорить сердце нашей прекрасной хозяйки, чем у других присутствующих...»

Последняя фраза прозвучала ядовитым намёком, и моя неприязнь к этому господину перешла чуть ли не в ненависть. Осчастливленный Яша хотел было усесться на своё место, голос прорицателя остановил его.

«Кстати... может, вы нам прочтёте что-нибудь?»

Яша Меклер счёл нужным слегка покапризничать, дескать, гость оценил его стихи невысоко.

«Ну, ну, мало ли что я сказал...»

Яша снова вышел на середину комнаты, поднял свою красивую курдючную голову, вперил взор в пространство и запел, завыл:

Ветер жизни мечту развеет,  
Но оставит тебя такой —  
О, моя полудетская фея  
С несказанною красотой!  
Мне обидно, что я не умею  
Быть серьёзнее день ото дня,  
Что, моя полудетская фея,  
Ты идёшь и не видишь меня...<sup>1</sup>

Все захлопали в ладоши. Было ясно, кого он имел в виду. Следом выступила полная, беленькая, с маленькими острыми глазками, розовощёкая девочка. Мельком оглядев её, прорицатель сказал:

«Вы — Оля!»

Все захихикали, она ответила с весёлым злорадством:

«А вот и нет!»

«Нет?» — спросил артист с наигранным удивлением. Он усмехнулся, переложил ногу на ногу и не глядя протянул руку к столу. Инфанта подала ему стакан.

«И на старуху бывает проруха, — сказал он добродушно и отхлебнул из стакана. — Внутренний голос подсказал мне, что у вас одно из двух пушкинских имён. У вас внешность Ольги. Но вас почему-то зовут Татьяна. Что ж, путь будет так».

Ему поднесли тарелку; подняв бровь, прорицатель взял двумя пальцами кружок колбасы, понюхал.

---

<sup>1</sup> Стихи Якова Серпина.

«Итак, — продолжал он, жуя, — что вам сказать о будущем... Несколько вариантов смутно рисуются передо мной... Но не будем колебаться. Изберём лучший...»

Что это означало? Означало ли — что судьба подчиняется гадалею?

«Перед вами, Таня, — и он описал руками какие-то круги, наподобие пазлов, — широкая дорога. Вы примерная общественница, комсорг группы, если не ошибаюсь? Вы на верном пути. Шагайте же смело. Вас изберут в члены бюро. Вы найдёте себе достойную пару, и у вас родятся близнецы. А умрёте вы... впрочем, зачем же заглядывать так далеко?»

Таня — или Оля — топталась на месте, от чего же, пролепетала она, от чего я умру?

Прорицатель улыбнулся, пожал плечами.

«От старости — только и всего».

Он взмахнул ладонью, как бы говоря: идите, вы мне больше не нужны, и круглощёкая Таня, ошеломлённая, покорно вернулась на место. Кто следующий? Никто не пошевелился. Свеча горела ровным спокойным пламенем. Гастролёр искал глазами очередную жертву. Пробежал шепот, кого-то уговаривали вполголоса. К прорицателю подтолкнули ту, которую все считали гордостью курса.

«Ага, — промолвил он, — вот это уже совсем другое дело. Лина? На этот раз я не ошибся, не так ли. Но если я говорю: другое дело, то я хочу сказать — более сложный случай. Дайте подумать... Вам двадцать лет. Догадаться нетрудно. У вас чёрные глаза без блеска, зато волосы блестящие, как смоль...»

Этого можно было и не говорить; и видно было, что ей не по себе. Медленным, тяжелым взором прорицатель обвёл её с головы до ног, с ног до головы, — раздел и одел. Лина кашлянула, машинально ощущала узел волос на затылке.

«Вы считаете себя дурнушкой, на самом деле вы красавица, но я не стал бы останавливаться на вашей внешности, если бы внешность так красноречиво не говорила о вашем характере, о вашей внутренней жизни... Вы, моя дорогая, робки, полны сомнений. Просто удивительно, до какой степени вы неуверены в себе!»

Наглый взгляд, бесцеремонность эстрадного фигляра. Лощёная кукла! И, небось, срывал оглушительные аплодисменты. Я понимал, чем он был мне так неприятен — и, увы, чем притягивал к себе инфанту. Похоже было, что игра зашла слишком далеко.

«Ваша скромность сочетается с гордостью, втайне вы презираете окружающих, ибо знаете, что вы на три головы выше их всех... Я вижу для вас две дороги. Обе ведут далеко... Но я-то, в отличие от вас, сомнений не испытываю. И смело выбираю для вас первую».

Что это должно было означать?

«Да, — бросил гость, скосив глаза в мою сторону, ибо, кажется, угадал мою мысль, — у каждого из нас несколько дорог. Но выбирать приходится только одну. Вот так; запомните это, молодой человек».

Он умолк; все ждали продолжения. Он повернулся к Лине.

«Вы не занимаетесь так называемой общественной работой, вдобавок ваша анкета... скажем так: безупречна. Надо ли говорить о том, что всё это затруднит ваше продвижение».

Неожиданно гость продекламировал:

Al Rey la hacienda y la vida  
se ha de dar, pero el honor  
es patrimonio del alma,  
y el alma solo es de Dios<sup>1</sup>.

«Вы, конечно, помните, чьи это строки. (Лина кивнула.) Да! — воскликнул артист и развёл руками. — Или карьера, или честь, так уж повелось на этом свете. Вам будут ставить палки в колёса. Из зависти, моя милая, из зависти! Опять же анкета... Но! — Он поднял палец. — Ум, талант, блестящие успехи — ведь вы и теперь говорите по-испански лучше всех присутствующих — преодолеют всё. Ваш руководитель видит в вас будущее светило, он просто не говорит вам об этом, из педагогических соображений... Больше того. Смею ли я сказать вслух, о чём вы давно уже догадались? Разумеется, вы не делаете никаких шагов навстречу... И всё же это произойдёт. Поздним вечером, в кабинете завкафедрой, когда однажды вы окажетесь наедине с ним, он, наконец, скажет вам... Что вы ему ответите?»

Прорицатель уставился в недопитый стакан, задумчиво крутил его двумя пальцами и молниеносно опустошил.

«Каковы бы ни были ваши чувства к нему, — впрочем, вы неспособны отделиться без любви! — что бы ни случилось, ваши успехи будут всё удивительней. Кто же не знает, что шеф — известный учёный. Он пробьёт для вас научную командировку, вы поедете вместе... Вы увидите древнюю Саламанку, собор Пиларской девы в Сарагосе, вместе с вашим возлюбленным, в толпе паломников будете стоять перед собором Сантьяго де Компостела. Авторитет учителя будет вам помогать и дальше, и со временем вы займёте кафедру. Ваш бюст, Лина... — само собой, я имею в виду не женский бюст! — украсит когда-нибудь вестибюль Академии».

---

<sup>1</sup> Пускай король распорядится моим добром и моей жизнью, но честь — это достояние души, а душа принадлежит только Богу. *Педро Кальдерон де ла Барка*.

Должен сказать, что впечатление от этой развязности было самое удручающее. Вдруг опять раздался стук в коридоре. Предсказатель будущего обратил медленный взор к дверям.

«Кто-то ломится к нам», — сказал он.

Пауза, стук повторился.

Он махнул ладонью. «Не имеет значения; постоит и уйдёт. Сидите, это вам показалось...»

Стук повторился.

«Какая наглость! Нет, больше он не посмеет. — Прорицатель щёлкнул пальцами. — Вот так. Никого нет и не было. А вот вы — вы там — подойдите, прошу вас».

Вася Скляр, к которому это относилось, не потрудился встать с места.

«Прошу», — мягко повторил гость.

Нахмурившись, Вася Скляр озирает тарелки и рюмки. Чародей подождет и заговорил снова. Он всё понимает, сказал он. Василий — не мальчик, он повидал жизнь. Как видно, в этой компании он единственный, кто не поддаётся внушению. Ибо искусство есть внушение! Всё, что здесь происходит, чтение будущего, — будем откровенны, — не более, чем внушение.

«Шарлатанство, не так ли? — улыбнулся гость. — Заезжий циркач разыгрывает публику. А? Как вы полагаете?»

Тут я снова подумал о фокуснике, открывающем публике свой секрет. Открыть-то он откроет. Но затем последует нечто сверхъестественное.

«Разыгрывает или не разыгрывает, — мрачно возразил Вася Скляр, — только я не собираюсь тут...»

«Вы хотите сказать: не собираюсь быть подопытным кроликом? О, ради Бога, разве я настаиваю? Друзья мои... Ни один артист, будь он даже знаменит, никогда не может быть уверен в успехе. И, я бы даже сказал, тот, кто абсолютно уверен в себе, кто, выходя на сцену, в убийственном сиянии прожекторов, один на один с многоглазой публикой, не испытывает волнения, страха, ужаса... — тот не артист! И потом, что это, собственно, значит: читать будущее? Разве будущее — это письмо, написанное симпатическими чернилами, и нужно только провести мокрой ваткой, чтобы проступили слова и строчки? Разве то, что нас ожидает, кем-то предустановлено, проложено раз и навсегда, как рельсы, с которых невозможно свернуть? А что если вы сели по ошибке не в тот трамвай, поехали в другом направлении? Или произошла авария на линии, вы пошли пешком и заблудились. Или вовсе передумали, вернулись домой... Сколько непредвиденного, какая тьма случайностей! И нас ещё будут уверять, что судьба прокладывает себе дорогу сквозь эту чащобу! Скажите, — он обратился к Васе, — ведь вы, кажется, играете на скрипке?»

Скляр пожал плечами, не сказал ни да ни нет.

«Вы где-нибудь учились? Нет, вы, конечно, самоучка, — проговорил задумчиво прорицатель. Он снова обвёл глазами всех нас. — Друзья мои, дети мои милые, не могу вам передать, как мне здесь у вас... уютно. Какие счастливые лица! И как удивительно было ходить по городу, где все от мала до велика, даже собаки, даже деревья, — все говорят по-русски! Не верится, что я снова на родине. О, Россия. Кто родился здесь, никогда тебя не забудет, никуда от тебя не уйдёт. Если б вы знали... — он высосал последние капли водки из стакана, — как утомительна эта бродячая жизнь. Да... жизнь прожить, как это говорит русский народ? — не по полю пройти... Так вот, уважаемый Василий. Может быть, вы нам что-нибудь сыграете? Леночка, если вам не трудно, будьте добры...»

Она возразила, что в доме нет скрипки.

«Вот как? Странно. Что же нам делать... Но вы всё-таки сходите, — и он указал пальцем, — я думаю, вы там найдёте».

Инфанта, заслонив ладонью свечу, вышла, я вызвался её сопроводить. Компания ожидала нас в темноте. Скрипка, к удивлению Лены, висела в соседней комнате на стене. Провидец вознёс свой кубок, водки там уже не осталось, но никто больше ничему не удивлялся — в стакане снова плескалось прозрачное питьё. Непохоже было (как уже сказано), чтобы он опьянел; пожалуй, только взгляд гостя становился тяжелее — и упёрся в Скляра. Вася Скляр был тщательно причёсанный и ухоженный мужчина в новом пиджаке и, единственный среди нас, при галстукке. Он прошёлся смычком по струнам, подтянул колки. Прорицатель, держа стакан перед собой, дирижировал другой рукой, притопывал лакированной туфлей. Вася сыграл вальс «На сопках Манчжурии». Бурные аплодисменты.

«Ваше искусство вам пригодится, — промолвил гость. — Позвольте, я скажу несколько слов вам в похвалу. Жизнь, будем откровенны, вас не баловала. Вся эта молодёжь, ваши сокурсники, ведь они представления не имеют о том, что значит родиться в глухой деревне, в тёмной избе, у неграмотных родителей...»

Вася Скляр скорбно возразил:

«Вы-то откуда знаете?»

«Откуда знаем, — прорицатель вздохнул, — это наше ремесло, наше, так сказать, искусство. Ваша жизнь, дорогой Василий, предстаёт моему взору как прямая дорога, и тут уж не может быть никаких колебаний. Вы, если не ошибаюсь, подростком вступили в комсомольскую ячейку, так, кажется, это называлось... У вас обнаружился и поэтический талант, вам помогло выдвинуться стихотворение... постоит, как это там?»

Он повёл рукой в воздухе, продекламировал:

А в углу мы богов не повесим,  
и не будет лампадка тлеть.  
Вместо этой дедовской плесени  
из угла будет Ленин глядеть!

Странно было после звучных кастильских стихов услышать эти вирши.

«Стихи были опубликованы в стенгазете... Обращает на себя внимание смелый образ: вы не хотите вешать Бога, вместо него повешен будет Ленин...»

«Ничего я такого не писал...»

«В самом деле? — удивился гость. — Выходит, я перепутал; простите великодушно; значит, это был кто-нибудь другой. Конечно, другой. Какой-нибудь там Твардовский... Но не в этом суть. Главное, на вас обратили внимание. Сверху заметили! Вы были перспективный кадр. Вы окончили рабфак. Так это тогда называлось. Потом война... не буду утомлять вас подробностями. Партия не могла рисковать своими кадрами — вы были солдатом в тылу. Потом педагогический техникум, вы стали партторгом... Потом вас перевели в столицу, московская прописка, всё такое... Было решено определить вас по учёной части. Правда, вы плохо успеваете, загружены поручениями, да и возраст, понятное дело, уже не тот. Но это не имеет значения, вы... — палец пророка снова взлетел вверх, — будете рекомендованы в аспирантуру!»

Кто-то засмеялся; смех тотчас же умолк. Понимали, что Вася Скляр человек простой, а в то же время и непростой, но в чём была его сила, толком никто не знал. Вряд ли это кого-нибудь интересовало.

«Вам угодно знать, что будет дальше».

Васе вовсе не было угодно, он считал необходимым решительно пресечь... И вообще, сказал он, кто вы такой? Гость как будто не слышал его.

«Вы пробудете аспирантом дольше, чем положено. К сожалению, вам не удастся подготовить диссертацию, начальству придётся поломать голову, но всё к лучшему! В конце концов вас направят председателем в колхоз. Мудрое решение. Вы вернётесь в деревню... И всё-таки мне кажется, что ваше истинное призвание — игра на скрипке».

Прорицатель поднял руки дирижёрским жестом, кивнул, топнул туфлей, и Вася покорно поднёс инструмент к подбородку. Пары кружились под звуки вальса «На сопках Манчжурии», пламя пошатывалось на столе, я снова чувствовал под ладонью узкую, слабую спину инфанты, пуговики лифчика. Дуновение её уст оведало меня, её ладонь

млела в моей руке, а правая рука вместо того, чтобы покоиться на моём плече, упёрлась мне в грудь, не давая нам сблизиться... Вдруг она вырвалась, музыка прервалась, — иноземный гость стоял в плаще, в белом кашне, держа наготове цилиндр и перчатки. «Нет, нет, друзья, не надо меня провожать, — говорил он, озабоченно роясь в карманах, — я и так задержался... Но где же мой паспорт, вдруг кто-нибудь остановит».

Я вышел с ним в коридор. Ура, ура! — раздалось в комнате. «Ага, — проговорил гость, — вот и свет починили!» Хилая лампочка тлела под потолком, утасла, снова затеплилась и, наконец, зажглась ровным неярким светом. Из комнаты доносился патефон.

Я спросил: «А что же будет со мной? Вы мне ничего не сказали».

«Вы верите в предсказания?» — возразил он. Мы вышли на лестничную площадку. Внизу слышались голоса, смех, подвыпившая компания спускалась по лестнице, хлопнула выходная дверь.

«Ей я тоже ничего не сказал. Вам не кажется, что в предсказаниях скрыта некоторая опасность? Судьба — это странная вещь... Можно ведь и накликать судьбу».

Некоторое время мы смотрели друг на друга; он как будто не решился уйти.

«Где же моя маска? (Сунул руку в карман). Нет, лучше не надо. А то ещё остановят... Так вы хотите, чтоб я и вам что-нибудь предсказал? Не хочется вас разочаровывать. У вас ничего не получится. Даже если вы наберётесь отваги. Она... как это говорится по-русски? — Он наклонился и с неожиданной грубостью прошептал мне на ухо: — Она тебе не даст. Всё, что могу тебе сказать. Иди, тебя ждут».

Я вошёл в комнату, где теперь было светло, и, преодолевая отвращение, сказал Лене, что артист желает отдельно с ней попрощаться.

После этого я присоединился к танцующим, но не вытерпел, оставил партнёршу и поплёлся в коридор. Выглянул на лестницу — там никого не было. Значит, они успели сойти вниз, она, такая болезненная, выскочила на улицу в лёгком платье. С этой мыслью я вернулся, шёл по квартире, толкнулся в дверь напротив кухни. На тумбочке в углу горела лампа под зелёным абажуром, темнела кровать. В сумраке на ковре посреди комнаты, спиной к дверям, инфанта, встав на цыпочки, обнимала гостя за шею, её губы прильнули к его губам, платье, поднявшись, подчеркнуло бёдра, я видел её высоко открытые, слишком полные для её хрупкого сложения ноги в чулках со стрелками. Она не слыхала, как я вошёл. Гость смотрел на меня из-за её плеча и густых, тёмно-медовых, снизу подвитых волос. Всё это продолжалось

минуту, не больше; но коридор показался мне до странности длинным, тёмным. Ни звука не доносилось из большой комнаты: ни голосов, ни патефона. Ощупью я нашёл дверь, вошёл. И увидел, что кое-что там изменилось. Там были другие люди. «Что вам надо? — запинаясь, спросил я. — Что вы тут делаете?» Тебя ждём, был ответ. «А как же Новый год?» Мне ответили: Новый год уже наступил.

.....

Постараюсь всё-таки восстановить всё как можно точнее. Итак: нашему гостю вздумалось попрощаться с инфантой наедине. На лестничной площадке их не оказалось, я вернулся, прошагал мимо гостиной, в коридоре было ещё несколько дверей, — вся квартира, как уже сказано, принадлежала родителям инфанты, — сунулся наугад в комнату напротив кухни, там горел ночник, прорицатель молча смотрел на меня из-за головы инфанты, она ничего не слышала. Всё это заняло несколько минут. Нам легче допустить расстройство в собственной голове, чем предположить, что планеты съехали со своих орбит; тем не менее я готов клятвенно подтвердить: то, что я увидел, — или те, кого я увидел, — не продукт большого воображения. Вообще-то говоря, всё бывает — даже то, чего не бывает. Остаётся вести себя так, словно ничего особенного не произошло. И в самом деле, ничего или почти ничего не изменилось. Стол в гостиной стоял по-прежнему, правда, выдвижные части оказались сдвинуты, и скатерть была другая. В большой вазе увядал букет роз, новогодний презент фокусника. (На который клюнула эта дура, подумал я мстительно.) Разукрашенная ёлка стояла в углу. Звезда поникла под потолком. В углу патефон. Новостью были три светильника молочного стекла вместо шёлкового абажура. Ровный белый свет превратил лица сидящих в гипсовые маски.

Я хотел было вернуться в ту комнату.

«Ты куда?»

«Пойду позову Лену».

«Слушайте, — спросил кто-то, — а куда она делась?»

«Она там», — сказал я.

«Не трудись», — промолвил старец библейского вида, в сивой бороде, с кудрями вокруг голого черепа.

Я опустился на стул.

«Знаете, — проговорил я в отчаянии, — ведь она... с ним...»

«С кем?»

«С этим... — я замялся, не зная, как назвать прорицателя. — С этим циркачом. С артистом. Я их застал...»

«Какой артист, ты что-то путаешь».

Старик следил с беспокойством за моими движениями, я держал в руках тяжёлую, чёрную, всё ещё холодную бутылку, вероятно, тоже

принесённую прорицателем, — это была славная Вдова Клико, о ней мы читали в книжках. Отколупнул станиолевую обёртку, взялся за петельку проволоочной спирали. Осторожней, сказал дед, подальше от глаз.

«Заявился в гости, — продолжал я, отворачивая проволоку, — никто его не звал. Вы его не знаете, вас там не было...»

«Здесь, ты хочешь сказать?»

Я повторил:

«Вас тут не было».

«Как это так, не было?» И кто-то, как эхо, отозвался: как это не было?

Пробка выстрелила, и полилась пена.

«Ах ты, Господи, разве так открывают».

«Ну, хорошо, — я стал разливать шампанское по бокалам, — а как мы Новый год встречали, вы хотя бы помните? Какая была снежная зима».

«И сейчас снежная», — заметил кто-то.

Он ждал, когда осядет пена. Старая женщина сидела напротив, с серыми косичками на затылке, с лицом, белым, как мел.

«Слава Богу, из ума ещё не выжили. Ведь правда?» — спросила она.

Все молча, с гипсовыми лицами, подняли кубки.

Старик продекламировал: «Вина кометы брызнул ток... Вкусно, — сказал он и погладил бороду. — Напоминает старые времена».

Я заявил, что сейчас докажу им. Не верите? — сказал я. Сивокудрый дедушка, утирая тылом ладони волосатый рот, вышел из-за стола, старуха отложила вязанье, переваливаясь, как утка, ковьяляла следом, и с ней вся компания. В пустой квартире стояла гробовая тишина, я приложил ухо к двери и услышал шорох. Мстительное чувство взыграло во мне; я проговорил вполголоса: сейчас увидите — и распахнул дверь.

Так я и знал! В зеленоватом сумраке, в углу комнаты кто-то лежал на кровати. Они уже лежали! Женщина на спине, закрыв глаза, он, уткнувшись в её голое плечо. Они не пошевелились, обессиленные тем, что, по-видимому, только что произошло. Я повернулся к стоящим за моей спиной, ну что, прошептал я злорадно.

«Ну и ничего», — сказал старик.

«Полюбуйтесь!»

Молча все вернулись в гостиную.

«Чем любоваться-то?» — спросила старая женщина. Сбитый с толку, я снова вышел в коридор, заглянул в тайную комнату.

Так уж устроен человек, что он испытывает горькое удовлетворение, когда оправдываются его худшие опасения... Но чувствует себя обманутым, если ожидания не подтвердились. Не могу найти другую причину, кроме той, что сумрак и ревнивое воображение обманули меня. В комнате, где, как я отчётливо помнил, она стояла, обнимая за шею артиста, после чего они улеглись, теперь по-прежнему светилась в углу лампа под зелёным матерчатым абажуром, смутно рисовалось ложе, а любовники исчезли.

Пора, чёрт возьми, знакомиться. Я узнал старуху с косичками. Вспомнилось, как циркач говорил, что она больше похожа на Ольгу, чем на Татьяну.

«Ты была такая... — лепетал я, — пожалуй, даже ничего... мило-видная...»

«Была, ну и что?»

«Активная общественница, выступала на собраниях...»

«Чего?.. — Она плохо слышала. — Что-то не помню. Да чего вспоминать?»

«Всё-таки он оказался прав...»

«Кто? А?»

Чей-то голос за столом прошамкал:

«Кто старое помянет, тому глаз вон».

«Предсказатель. Ладно, — сказал я, — оставим это. Расскажи о себе».

«Чего рассказывать. Рассказывать-то нечего. Жизнь прошла, и слава Богу». И снова спицы задвигались в её руках.

Я повернулся к бородатому старику: от буйной шевелюры остались белые кудерьки на висках и затылке, жёлтый череп Яши Меклера поблескивал в мертвенном свете. А я тебя тоже узнал, промолвил он, мы все тебя узнали.

Мне хотелось возразить, ничего удивительного, ведь я-то остаюсь каким был. И когда это они успели, думал я, электричество потухло во всём доме, пришёл артист из цирка Бальдони, пил водку, всё происходило этой ночью.

«Да... — проговорил я. — Вот так встреча! Кто из богов мне возвратил...»

Яков Меклер усмехнулся:

«Того, кто первые походы и браней ужас я делил».

«Когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил... — Я оглядел компанию. Мне было грустно и весело. — Что же вы, — сказал я, — чокнемся. Я с другом праздную свиданье, я рад рассудок утопить. Ты ведь тоже был у нас поэтом».

«Был», — отвечал Яша.

*«Ветер жизни мечту развеет. Но оставит тебя такой...»*

«Как же, как же».

«Небось стал знаменитым».

Он снова усмехнулся.

«Выходит, — сказал я, — всё сбылось».

Яша Меклер обернулся на сидящих, там развели руками. Он взглянул на меня с сожалением, знаешь, сказал он, я это занятие давно оставил.

«Поэзию?»

«Ну да. То есть не совсем. — Он объяснил: — Я переводчик. Понимаешь, перевожу. Других поэтов».

«Понимаю. Испанских?»

«Кто старое помянет!..»

«Да что это такое, — вскричал я с досадой, — мне не дают рта раскрыть!»

«Оставьте человека в покое. Он хочет знать... Каких там испанских, — продолжал Яша, — испанский я забыл. Да и не видел никакого смысла. Кто будет платить за этих испанцев? Я перевожу фантомных поэтов. Вернее, переводил».

Он смотрел на меня, как взрослый смотрит на несмышлёныша. Он и в самом деле годился мне в дедушки.

«Что тут не понимать, была целая куча республик, союзных, автономных, ещё каких-то. И везде свои поэты. Что-то кропали, пели под домбру, ну там, под кок-сагыз...»

«Кок-сагыз — это растение...»

«Знаю; какая разница. Одним словом, сочиняли. А чаще просто были местными шишками. Переводчик изготавливает стихи, национальный поэт стряпает под них что-то, якобы оригинал. Можно и без оригинала. Да я не один такой, — сказал он. — Мы, можно сказать, процветали».

Я по-прежнему недоумевал, ждал продолжения.

«Ты что, не знаешь, что произошло? Всё кончилось. Разрушать они мастера. Пенсия мизерная. Поступил было в инвалидную артель, жрать-то надо. Потом, правда, повезло, устроился по специальности».

По специальности, что это значит?

«Текстовиком. Писал слова для песенок. Для этих собачьих рок-певцов. Ты не представляешь себе, сколько их развелось. Но, между прочим, неплохо зарабатывал. Так и прожил до самой... ну, сам понимаешь».

Зимние ночи в Москве бесконечны. Мы сидели вокруг пустой бутылки, и не было никаких признаков рассвета в запотевших чёрных

окнах, отороченных хрустальными кружевами. Зябко, батареи еле тёплые. В этом доме всегда что-нибудь не в порядке. Яков Меклер пере- ставил бутылку на пол. Плохая примета, объяснил он.

И в эту минуту в коридоре задрезбужало. Мы повернули головы к дверям, я встал. Звонок повторился. Вернувшись к гостям, я сообщил:

«Там никого нет».

«Небось мальчишки, хулиганье, — проворчала старуха, прежде называвшаяся Таней, и почёсала темя спицей. — Надо бы дворнику пожаловаться».

«Правильно. Я слышал топот на лестнице», — сказал я, хотя никакого топота не слышал.

Мне хотелось спросить: поддерживают ли они связь с кем-нибудь ещё из наших? Вопрос был излишним. Лина сама вышла из-за стола и остановилась передо мной, как когда-то перед прорицателем. Я успокоился. Время соскочило с оси, принц Гамлет был прав. Но Лина, гордость нашего курса, мало изменилась. Всё те же гладкие и блестящие волосы, чёрные без блеска глаза, только румянец исчез, она была бледна алебастровой бледностью — следствие бессонной ночи.

Я приветствовал её по-испански, она как будто не слышала. Общее молчание. Лина заговорила сама, привычным жестом ощупывая узел волос на затылке. Насчёт предсказания — ведь я это хотел спросить? — всё правда, и соборы, и Саламанка, она всё это видела, побывала в стране своих грёз; жили в гостиницах, по целым дням бродили вдвоём. Ночью любили друг друга.

«Прекрасно, — пробормотал дедушка Меклер, — можешь садиться...»

Она добавила:

«Это он виноват».

Я не понял: кто?

«Он нагадал. Если бы он не пришёл, ничего бы не случилось».

«Но тогда, — заметил я, — не было бы и Саламанки».

«Да. И Саламанки бы не было, и ничего бы не было».

«Ты была счастлива?»

«Он сделал меня женщиной».

«Подожди, о ком ты говоришь: об этом гадале или о...?»

Лина ответила, прямо глядя мне в глаза:

«Я думаю, это одно и то же лицо».

Мы с Яшей переглянулись, он постучал себя по лбу.

«Если помните, — сказала Лина, ни к кому не обращаясь, — диссертация была готова ещё прежде, чем мы окончили университет».

Тут я не выдержал.

«Лина, о чём ты. Нам до окончания ещё далеко!»

«Я прошу, — сказала она тихо, — меня не перебивать. Я пришла показать тезисы. Он сидел в кресле. Подошла к зеркалу. Я видела его в зеркале, он был красив: высокий лоб и над ним дыбом стоящие седоватые волосы. Я спросила, заметил ли он что-нибудь. Нет, сказал он и вынул трубку из рта, что́ я должен заметить? Ты ничего не видишь, сказала я. Он ответил: ты слишком много работаешь, у тебя круги под глазами. Не надо сидеть по ночам, всё будет прекрасно, это я гарантирую тебе. Я усмехнулась и сказала: не знаю, так ли уж прекрасно, ты действительно ничего не заметил или не хочешь замечать? Я взялась обеими руками за низ живота, и тут он, наконец, догадался».

Банальная история, усмехнулась она; я спросил: а он что? Испугался, сказала Лина. Стал её уговаривать. Дело, конечно, рискованное, аборт запрещены, но у него были связи, нашёлся специалист, который делал это на дому.

«Я отправилась туда. Всё было договорено, меня ждали. Но я была до такой степени зла на него, не за то, что он не хотел ребёнка, а за то, что он был такой трус, боялся за свою репутацию, за своё место, боялся своей жены, и это после всех обещаний... словом, я уже разделась, и этот злоедающий тип в белом, в маске из марли, в резиновых перчатках, указал мне на кресло, что-то такое говорил, ворковал, дескать, не больно, пять минут потерпеть. Тут меня охватило такое омерзение — я схватила в охапку своё бельишко, платье, сверху набросила пальто и... и сбежала».

«А профессор?»

«Я с ним больше не виделась. Перестала вообще ходить в университет. Это был уже пятый курс, у всех дипломные работы, никто не заметил. Я уехала из общежития, чтобы он меня не разыскал. Да и зачем ему... Небось был рад-радёшенек, что я от него отстала. Диссертацию вычеркнули из плана. Я вообще этим больше не занималась. Все́й этой наукой...»

«Так тебе и надо», — изрекла старуха.

«Таня! — сказал Меклер. — Ты бы помолчала».

«Чего молчать. Раньше надо было думать».

Я спросил: что стало с ребёнком, где он?

«Мальчик родился уродом, болезнь Дауна. У меня в роду вообще не всё в порядке. Началось что-то ужасное, я видела, как он ползёт ко мне, уже совсем большой. А я его отталкиваю».

«Ты лучше покажи», — проговорил мрачно Яша Меклер.

Пуговичка под воротничком закрытого чёрного платья не слушалась, Лина взялась двумя руками и рванула, обнажив сине-багровую борозду вокруг шеи.

Тут снова задребезжал звонок.

Я вышел открывать; если бы оказалось, что это он, я бы не удивился, — и, надо же, так оно и было. Что же вы стоите, сказал я, заходите.

«Нет, нет, — промолвил чудодей, — меня ждёт такси... я на минутку».

«Цирк, кажется, уже уехал?»

«Сегодня был последний спектакль».

«А вы?»

«Мы, если не ошибаюсь, были на ты, — заметил он холодно. — Я успею на вокзал».

Как и в тот раз, он был в плаще, в шёлковом белом кашне и цилиндре. Но без маски.

Я сказал:

«Через порог разговаривать — плохая примета, зайди хотя бы в коридор. Они не слышат. Они вообще забыли о вас... о тебе».

«Ничего удивительного, — возразил он. — Так ты веришь в приметы?»

Мы стояли на лестничной площадке.

«Рад, что удалось повидаться снова, но я пришёл по делу, — сказал он. — Вряд ли я приеду когда-нибудь снова в Россию. Я бы хотел знать... чисто профессиональный интерес. Подтвердилось? Я имею в виду мои прогнозы».

«Ошибиться может каждый, — сказал я. — Можешь быть спокоен. Всё полностью подтвердилось».

«О! У меня камень с сердца свалился. — Он оглянулся и шепотом добавил: — Можно ведь и накликать ненароком... Adíós, — крикнул, сбегая по лестнице, предсказатель будущего, — счастлив был познакомиться!»

«Я поговорил с дворником. Он их приструнит», — сказал я.

Сидящие переглянулись, за столом произошло движение. Явилось новое лицо, невозможное в нашей компании, — девочка-подросток в рваных чулках и башмаках без шнурков. Она вела за собой длинноволового старика в помятом пиджаке и тряпичном галстуке.

«Это ещё что за номер, — сказал Яков Меклер, — тебя тут только не доставало».

«Всюду хулиганье», — пробормотал старик.

«У него смычок сломали», — сказала девочка-поводырь.

Старик тускло глядел, мигал красными веками. Молча, лодочкой, протянул ладонь.

«Бог подаст...» — отвечал Яша Меклер.

«Кто это?»

«Понятия не имею. Внучка... или просто так прибилась к нему. Много их сейчас».

Стоя у кафельной стены, на переходе под Пушкинской площадью, слепой Скляр исполнял вальс «На сопках Манчжурии», девочка пела. Какие-то парни, обритые наголо, вырвали скрипку.

«Я не знал, что у этого вальса есть слова».

«Наверно, он сочинил».

Я пробормотал:

«А в углу мы богов не повесим, и не будет лампадка тлеть».

«Это не я, — сказал дедушка Вася. — Это Твардовский. — Он повернул голову к спутнице: — Давай. Пой!»

Девчонка вышла на середину комнаты, встала в позу.

«Широка страна моя родная. Много в ней...»

«Не то поёшь!»

Она скорчила ему злобную гримасу, проворно подседа ко мне, сунула между ног грязный подол и зашептала:

«Я здоровая, вот-те крест. Хочешь, я всё умею...»

«А ну, пошла отсюда!», — грозно сказал Яша Меклер.

«Куда?» — жалобно спросила девочка.

«Катись откуда пришла. Оба катитесь...»

Кто-то сказал:

«Там человек тридцать погибло, не меньше».

Я воззрился на Яшу.

«Ну, теракт, взрыв. Разнесло весь подземный переход. Само собой, и от них ничего не осталось».

Девочка что-то жевала, торопливо сгребала пальцами остатки еды с тарелок, допивала из рюмок. Седая кудлатая голова спящего Скляра лежала на столе.

Между тем другое имя висело в воздухе. Я подумал, что, проведив прорицателя, забыл вставить в жолоб дверную цепочку. Сейчас повернётся ключ в английском замке, она войдёт.

О Господи, как мне не хотелось увидеть её, ссохшуюся, с провалившимся ртом.

«А чего, — сказала Татьяна, — самое время спать. Давайте, бабоньки. Тряхнём стариной».

Она отложила вязанье, приосанилась и широко раскрыла рот.

«Шир-рока страна моя родная!.. Как там дальше-то?»

Хор подхватил дребезжащими голосами:

Много в ней лесов полей и рек.

Я другой такой страны не знаю...

«Имей в виду, — сказал Яша Меклер, — наше время истекает. Новогодняя ночь, конечно, длинная, но и она когда-нибудь кончится. Народ устал...»

Он окинул меня взглядом, словно хотел сказать: ты-то ещё молодой. А мы люди пожилые. И неожиданно добавил:

«Ты ведь, кажется был к ней равнодушен».

«Как и ты».

«Я? что-то не помню. Путаешь, друг мой».

Над страной весенний ветер веет.  
С каждым днём всё радостнее жить.

Вася Скляр поднял голову.

«Не то поёте. Разорались...»

Набравшись смелости, я спросил прямо: что с инфантой? Как она поживает?

«Поживает? Да никак».

«Послушай... ведь это их квартира. Значит, они больше здесь не живут?»

«Кто?»

«Родители».

Яша Меклер длинно зевнул, погладил лысину.

«Смотрю на тебя. Ты как будто с луны свалился. Нет больше никаких родителей. Вообще никого нет, неужели не ясно?»

Догадавшись, я спросил, когда арестовали отца Лены.

«Откуда я знаю... Через неделю».

Хор умолк, все прислушивались к нашему разговору.

«Та-ак, — сказал я. — За что?»

«Милый мой, не надо задавать глупых вопросов. Когда вызывали, то спрашивали...»

«Кого вызывали?»

«Всех».

«И тебя тоже?»

«Что я, не такой, как все? Брала подписку о неразглашении, но теперь это уже не имеет значения. Теперь вообще ничего не имеет значения. Никого не интересует».

«Меня интересует», — сказал я.

«А меня несколько. Было и былём поросло».

«Значит, смерть — это равнодушие?»

«Да. Или наоборот».

Баба Таня — спицы так и мелькали в её руках — проворчала:

«Меня только не впутывай. Я тут ни при чём».

«Да ведь это уже не тайна, — сказал Яша Меклер. — Спросили, что мне известно о контактах с иностранцами. Что я мог ответить? Никаких иностранцев я в этом доме не видел. Вообще был там первый раз. По-моему, мы все там были первый раз. Потом вошёл чин повыше. А вот у нас есть сведения, что на квартиру прибыл агент, под предлогом встречи Нового года; что ты можешь рассказать об этом? Что я мог ответить... Мы были — своя компания, кроме нас, никого больше не было. Тогда он говорит лейтенанту: ну, что ж, придётся его задержать. Годков этак на десять. За пособничество, за укрывательство».

«Что же ты ответил?»

«Ничего я не ответил. Чин этот вышел, лейтенант говорит: ну хорошо, походи и подумай. Дня через два вызывают снова. Ну как, вспомнил? Положил передо мной протокол. Я стал исправлять орфографические ошибки, ни одного слова не было без ошибки, в третьем классе поставили бы двойку».

«И что там было написано?»

«Лейтенант стоял надо мной и говорил: мы университетов не кончали, давай подписывай. Что было написано... Было написано, что я подтверждаю о том... они так писали: подтверждаю не “что”, а “о том”. Что в ночь с 31 на 1 января на квартиру прибыл агент иностранной разведки, переодетый цирковым артистом... А что мне оставалось делать — и ты бы на моём месте...»

Любопытство томило меня, я спросил: а кто же всё-таки?..

«Кто настучал? — Старый Яша Меклер усмехнулся. — Не волнуйся, у тебя ещё всё впереди. Вся жизнь... Тогда и узнаешь».

«Ты что же. Тоже предсказываешь будущее?»

«Я его просто знаю».

«А что стало с Леной?»

«Что стало с Леной...» Он пожал плечами, покачал головой. Компания за столом приумолкла, дедушка Вася спал. Синий рассвет стоял за окнами.

«Не знаю, — сказал Меклер. — Куда-то делась. Вместе с мамашей. Их сослали, вот и всё».

Я спросил: кто-нибудь пробовал их разыскать? Пробовали; обращались в разные инстанции. Никаких сведений. Не было таких, вот и всё. И они не вернулись? Разумеется, не вернулись. Да, но... — хотел я возразить, но возразить было нечего.

Приехал заграничный цирк Бальдони. Что творится! Словно приземлились инопланетяне. На Цветном бульваре милиционеры на конях над толпой. Приостановлено трамвайное движение. Километровая очередь загибается на Садово-Самотёчную и дальше, чуть ли не до

Каретного ряда. Давка перед кассой. Спекулянты продают билеты по цене один к десяти. Приехал цирк, приехали фокусники-чудотворцы, волшебники-иллюзионисты, дрессировщики-укротители, приехали обворожительные ассистентки с голыми бёдрами, в лазоревых, переливающихся искрами трико, летающие акробаты, клоуны, музыканты, балет на канатах, роскошный шпрыхсталмейстер и таинственный пророк, предсказатель будущего.

И что особенно важно: из абсолютно надёжных источников стало известно, что предсказатель провёл серию сеансов для руководителей нашей партии, членов правительства и ответственных работников министерств. Прогноз великолепен.

Приехал цирк Бальдони, к сожалению, только на одну неделю, по два спектакля в день, и поздно вечером 31 декабря поезд с директором, шпрыхсталмейстером, реквизитом, с клетками для зверей и со всей группой неслышно отошёл от пустынного перрона Белорусского вокзала и, набрав скорость, помчался, посылая вперёд слепящие струи света, к западной границе, на другие гастроли в иные страны.

Никто не знал (и вряд ли когда узнает) о совещании ответственных чинов учреждения, вынужденного дать согласие на этот набег. О совещании, на котором было постановлено ввести чрезвычайное положение, — разумеется, и об этом никто не слышал. И было подписано, завизировано, размножено в инструкциях, в дополнениях к инструкциям и новых распоряжениях: каким образом следует подготовиться к прибытию иностранной делегации, усилить наблюдение, обеспечить своевременную обработку информации, принять меры к пресечению. Никто не узнал об этом, и слава Богу.

И настал Новый год.

Бегут, исчезают и снова бегут световые надписи на крыше дома «Известий» на Пушкинской площади, каменный человек с шляпой в руке стоит на своём постаменте между жёлтыми фонарями, снег покрыл его курчавую голову, плечи, складки плаща. Снег засыпал безлюдные тусклые переулки, в домах свет, никто не спит. Вбежать в подворотню, не оглядываясь на нечисть, притаившуюся в тёмных углах. Взлететь, прыгая через ступеньку, на второй этаж и с бьющимся сердцем надавить на пуговку звонка. Тишина, и затем в коридоре цоканье каблуков. Позвякивает цепочка, щёлкает английский замок, дверь отворилась как бы сама собой. Кто-то в порхающем, розовом улепётывает в ванную комнату. Большая гостиная, оранжевый абажур, праздничный стол, раздвинутый во всю ширину, и ёль в углу, опутанная финифтью, в цветных огоньках, с серебряной покосившейся звездой на верхушке. В гостиной уже мается от безделья первый гость, инспектирует патефонные пластинки.

Змеиным шипом шипит игла. Скрежещет аккордеон. И полилась бессмертная мелодия, сверкнули, брызнули — эх! — «Брызги шампанского»; а тем временем в ванной торопливо сбрасывают чалму, сгибают похожие на вафли пластмассовые бигуди, расчёсывают тёмно-медовые волосы, вертятся, охорашиваются... — инфанта в блеске юности, в испанской короне, в платье палевого шёлка с крупными розовыми цветами, с квадратными накладными плечами, вступает в комнату. Звонок в коридоре, шум, топот, вваливаются гости. Спешно подаются изумительные закуски. Я хочу рассказать о ней, о глазах с другого конца стола, но некогда, жизнь несётся, минуты скачут, хлоп — и шампанское полилось на скатерть, а из матерчатых недр радиоящика, с Красной площади, уже слышатся гудки автомобилей. Древний гнусавый перезвон курантов, двенадцать ударов похоронной меди. Ура! Снова шум, смех, народ выскакивает из-за стола...

«Медам и месье! Фокстрот!»

И в эту минуту вновь раздаётся звонок.

Это почтальон принёс телеграмму. Соседи сверху пришли поздравить. Мальчишки хулиганят на лестничной площадке. Фея Мелюзина стоит на пороге с букетом роз.

## СОНАТА ОПУС 90

Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen.

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 3/4 time signature. It begins with a melodic line marked *p dolor*. The lower staff is in bass clef and provides a harmonic accompaniment with a steady eighth-note pattern. The system concludes with a fermata over the final notes of both staves.

L. v. Beethoven, Klaviersonate e-Moll, op. 90

Для точности мне бы надо было указать дату этого приключения. Стыдно признаться, я не стараюсь его забыть; да и не хочу; наоборот, стараюсь припомнить все подробности, всё, о чём нормальная женщина никому не расскажет. Вот сейчас возьму лист бумаги, и — как на духу: всё как было.

Меня всегда удивляла откровенность современных писателей, ведь ясно, что под видом вымышленных событий описывается то, что было с самим автором. А если не было, если он всё придумал, значит, он не стесняется демонстрировать перед всеми свою разнузданную фантазию. Боюсь, что в конце концов я порву свои записи в мелкие клочки. Вернее, боюсь, что у меня не хватит духу порвать их. Это было бы изменой. А я уже сказала, что не хочу ничего забывать. Прошу моего сына, если случайно эта тетрадка когда-нибудь после моей смерти попадёт к нему на глаза, выкинуть не читая. Ему, я думаю, в голову не приходит, что со старушкой могло приключиться что-нибудь такое.

Обычно ставят в вину старшим, что они не знают, чем живут их дети, но это неверно: всё главное в жизни детей родителям известно. Потому что это абсолютно то же самое, что было главным в их собственной жизни, в жизни старших. Люди не меняются, что бы ни происходило в мире, и по-настоящему важные события в жизни мужчины и женщины всегда были и будут одни и те же. Зато дети ничего не знают о родителях. Если они и догадываются, что всё, что они переживают, когда-то переживали родители, то уж наверняка не могут себе представить, что родители до сих пор тянут всё ту же песню.

Я так и слышу голос моего сына: *в твои-то годы?* Вот уж, действительно, смех — на старости лет уподобиться собственным детям. Но хватит философствовать. Дело происходило во вторник, а число не имеет значения. Время одиннадцатый час, пора готовить к столу, а я всё ещё верчусь перед зеркалом; на косметику я не трачу времени, разве только чуть-чуть, мысль о том, что человек, которого я жду, подумает, что я намазалась, чтобы ему понравиться, для меня мучительна. Я стою перед зеркалом. Деловой осмотр давно закончен. Но какая-то сила меня всё ещё удерживает. Зеркало висит наклонно, от этого фигура выглядит короче; я снимаю его и прислоняю к стене; теперь, напротив, я кажусь себе слишком высокой.

Тело женщины просвечивает под любой одеждой. Этот сомнительный афоризм принадлежит моему бывшему супругу. Не стоило бы сейчас о нём вспоминать. Ложь: одежда меняет женское тело, делает его толще, тоньше, старше, моложе. Я недолго раздумывала, что мне надеть; повторяю, мне было бы неприятно, если бы гость решил, что я нарядилась ради него. Но, конечно, напялить на себя что-нибудь старушечье тоже не хотелось.

Последний, подводящий итоги взгляд; печальные итоги, что и говорить. Умение видеть себя — особое искусство, не каждая им владеет. Не искусство, а проклятие — способность увидеть себя такой, какая ты есть. Большинство смотрит в зеркало в надежде найти там не себя, а ту, которую хотят увидеть. Утро вообще не лучшее время для таких, как я, а в это утро моё лицо было ниже всякой критики. Это оттого, что я плохо сплю ночью. Вечером долго не ложусь, боюсь заснуть слишком рано и проснуться среди ночи, и, конечно же, просыпаюсь. И лежу, лежу... Боюсь ночей: по ночам меня осаждают страшные мысли. Ясно видишь, всё потеряно, и впереди ничего не осталось. Думаешь о том, как жестоко насмеялась над тобой жизнь, и эта мука тянется, пока не начнёт светать. Результат был в буквальном смысле налицо.

Я увидела себя, свои дряблые щёки, слегка алеющие под набрякшими нижними веками, свои грустно-насмешливые глаза, всё ещё сохранившие тёмный, таинственный блеск, которым я славилась в молодости. В последний раз, отступив на два шага, я оглядела всю себя, одёрнула юбку. Отмечу всё же ради справедливости, что белая кофточка с отложным стоячим воротничком мне идёт. Я надела бусы и отстегнула верхнюю пуговку. Мои груди, пожалуй, слишком бросались в глаза. Всё же я осталась собой довольна.

Он оказался пунктуален, ровно в двенадцать в прихожей раздался звонок. Я помедлила и открыла. Он вошёл. Моё жильё... что можно сказать о нём? Обыкновенная квартира в обыкновенном, паршивом блочном доме. С окнами без подоконников, с низкими потолками, одна из двух квартир, на которые мы с мужем разменяли наши бывшие хоромы или, лучше сказать, нашу бывшую жизнь. Теперешнее моё обиталище состоит из крохотной передней, кухни и комнаты, правда, довольно большой, где стоит инструмент. У окна помещается письменный стол (за которым я сейчас сижу), и есть ещё ниша вроде алькова, прикрытая занавеской, за ней стоит кровать. Память о моём неудачном супружестве. Мысль о том, что на этой кровати мы когда-то любили друг друга, что на ней был зачат наш

сын, меня давно уже не волнует. Итак, я выждала, пока звонок повторится, встала и вышла в прихожую. Я не стала спрашивать, кто там, открыла, зная, что это он, и в самом деле это был он, в пальто и шляпе, с букетом в руках.

Надо было, конечно, развернуть бумагу и воскликнуть, ах, какие чудные цветы, или он сам должен был развернуть; вместо этого я сказала: «Привет», и он, усмехнувшись, ответил: «Привет», — растегнул пальто, стряхнул капли дождя с шляпы, тут-то я и увидела, как он изменился, как страшно он изменился. И тотчас подумала, как же должна измениться я сама. «Но что же мы стоим?»

Следом за мной он вошёл в большую комнату, я всегда говорю: большая комната, словно у меня их несколько. Остановился и обвёл глазами стены, фотографии, люстру, рояль. На пюпитре стояли ноты, бетховенские сонаты. «Ты преподаёшь?» — спросил он. Я хотела задать ему встречный вопрос, но во-время остановилась. Он понял и ответил: «Я давно оставил музыку».

Когда я вспоминаю сейчас эти первые минуты, замешательство, смущённое стояние друг перед другом и первые фразы, которыми мы обменялись, то невольно вкладываю в каждую реплику какой-то особенный смысл, которого, может быть, вовсе и не было. Когда знаешь, что было потом, то кажется, что всё к этому и шло. Всё как будто говорилось неспроста, все вещи были участниками тайного заговора. Музыка на пюпитре и фотографии, следившие за нами, и пуговицы на моей блузке, которые я перебирала, словно хотела убедиться, что они все на месте. Потухший, блуждающий по комнате взор моего гостя... Почему потухший?

Вероятно, и у того, кто прочёл бы эти строки, возникло бы такое же впечатление умышленности; ошибочное впечатление. Конечно, я немного волновалась. Но не стоит преувеличивать: мы просто испытывали неловкость, обычную для людей, которые знали друг друга в юности, а теперь пытаются связать концы оборванной нити времени, лёгкое беспокойство, вызванное не столько встречей друг с другом, сколько встречей с прошлым. Должна сразу сказать: никаких особенных чувств я к нему никогда не питала. Разве что любопытство, желание немного помучить кавалера. Мне кажется, я никогда не была кокеткой, да в то время и не было принято у молодёжи заигрывать открыто друг с другом. Мне было любопытно поглядеть, как он будет реагировать на какую-нибудь туманную фразу, на какой-нибудь мнимо-многозначительный взгляд. Ну и, конечно, это чувство, знакомое каждой барышне: что надо иметь кого-нибудь возле себя про запас.

Мы сидели на кухне, где я выставила угощение, перебрасывались бессвязными фразами, он что-то спросил, я отвечала, всё это не имело ни малейшего значения. Вся жизнь, все эти годы, прошедшие с тех пор, как ни странно, не имели значения; мне не хотелось спрашивать, что с ним стряслось, его не интересовала моя жизнь. Важно было далёкое прошлое. Только оно было интересно. И разговор наш мало-помалу свёлся к бесконечным «а помнишь, как...» Вспоминали разные истории, перебивали друг друга, смеялись. И когда разговор начал истощаться и больше уже ничего забавного не приходило в голову, почувствовался лёгкий страх, что не о чем будет больше говорить, и мы всё ещё повторяли, как заведённые, чувствуя, что кончается завод: а помнишь?..

«Помнишь, как мы ходили всей компанией вечером по улицам, был Новый год, и прыгали через сугробы».

«И рисовали на снегу? Конечно, помню».

«А ветер какой был, помнишь?»

«Конечно».

«*Но бури севера не страшны русской розе. Как жарко поцелуй...*»

«Ну, уж этого не помню».

«Да, конечно... А помнишь, — проговорил он, — как я тебе написал письмо?»

Тут я почувствовала, что он нарушил правила игры. Была как бы молчаливая договорённость, о чём можно вспоминать — и о чём не стоит.

Почему не стоит? Сама не знаю. Потому что ведь ничего из этого не вышло. Потому что у нас *ничего не было*.

Помолчав, я спросила:

«Откуда ты знаешь, что я его получила?»

«Значит, — сказал он, — ты его получила. Ну, и как ты к нему... отнеслась?»

Я пожала плечами.

«Или уже не помнишь?»

«Я всё помню», — сказала я.

«И что же?»

«Я удивилась».

«И всё?»

«Я думала, что за этим последует продолжение».

«Какое же продолжение?»

«Ну... — я замялась, — что ты что-нибудь скажешь вслух».

Он усмехнулся: «Ты хочешь сказать, что я молчал, вместо того, чтобы приступить к дальнейшим действиям?»

Я тоже улыбнулась. «К каким же это дальнейшим действиям?»

Было ясно — что-то сдвинулось в эту минуту, и я почувствовала тревогу, хотя, я уже говорила об этом, никаких нежных чувств я к нему никогда не испытывала. Наш разговор за столом, весёлый и непринуждённый, даже немного растрогавший нас обоих, — кто же не умиляется воспоминаниям о юности, — наш разговор перешёл в другую тональность. В том-то и дело, что всё было важно в этом прошлом, в том числе и то, что казалось неважным. Шутки и смех прекратились, мой гость вертёл рюмку, он был, казалось, целиком поглощён этим занятием. Потом проговорил:

«Можно тебе задать один вопрос?»

«Зачем?» — спросила я.

«Мне интересно. Скажи, пожалуйста... У тебе тогда уже кто-нибудь был?»

«Зачем тебе знать?»

«Мне очень важно».

«Когда?» — спросила я, чтобы оттянуть ответ.

«В это время. Когда мы учились в консерватории».

Я пожалала плечами: «Какая же девчонка не увлекается».

«Я не об этом».

«Разве теперь уже не всё равно? Хорошо, — сказала я, — тогда я тебя тоже спрошу: а ты, когда мы учились... Ты думал, что у меня никого не было? То есть считал меня девицей? Извини, — я засмеялась, — слово какое-то нелепое».

«Да», — сказал он серьёзно, и эта серьёзность мне понравилась. Мне нравилось, что он не иронизирует, не смеётся над нашей молодостью и не изображает из себя всё изведавшего скептика.

«Я был в этом уверен», — сказал он и подлил себе и мне. Глядя на его искалеченную руку, я пролепетала:

«Я не очень-то разбираюсь. Мне сказали, хорошее. Венгерское».

Он похвалил вино.

«У меня есть ещё бутылка».

«Допьём эту, примемся за следующую... А водки у тебя не найдётся?»

«Я могу сбегать», — сказала я растерянно.

«Нет, не надо. Не надо», — повторил он.

«А почему, — спросила я, — ты был так уверен?»

Он пожал плечами. «Уверен».

Я усмехнулась. «По-моему, ты тогда тоже ещё был девицей».

Он промолчал, и я продолжала:

«Уж очень мы все друг друга стеснялись. Современная молодёжь не может даже себе представить, до чего мы были скованы. Пуританские времена, ты не находишь?»

Он рассеянно кивнул, о чём-то думал.

«Конечно, мы были слишком молоды, то есть я хочу сказать, ты был для меня слишком молод. Если бы ты был лет на пять старше...»

«Что тогда?»

«Не знаю», — я улыбнулась.

«Ты говоришь: тоже был девицей. Значит, и ты?..»

«Удивительный вы народ, — я рассмеялась, — вам всегда надо знать. Неужели это так важно?»

Он молчал.

«Не было у меня никого, — сказала я. — Ещё вопросы?»

Он откупорил вторую бутылку. У него было что-то с рукой, пальцы не разгибались до конца. Разливая вино по рюмкам, он чуть не уронил бутылку, пролил на скатерть и взглянул на меня с убитым видом.

«Ничего страшного. Это отстирывается»

«Говорят, надо солью посыпать», — пробормотал он.

Я подняла рюмку, выпили.

«Ну, хорошо, — сказала я. — Был один случай. Я ездила летом к бабушке. У меня была бабушка в деревне, в Тульской области. Я у ней каждое лето гостила. Ну, и там был один... тоже приезжий. Глупость, одним словом. Больше никогда не повторялось».

Помолчали.

«Ты разочарован?» — спросила я, улыбаясь.

Он тоже усмехнулся, встал из-за стола и вышел в «большую» комнату. Я слышала, убирая со стола, как он подбирал пальцем что-то. Потом сыграл кое-как несколько тактов.

«Ты знаешь эту вещь?» — спросила я, входя в комнату. Глупый вопрос: кто же не знает.

Он повернулся ко мне, повернулся вправо-влево на круглом стуле, это доставляло ему удовольствие, и сказал:

«Есть такой рассказ, по-моему, у Шиндлера. Князь Лихновский спросил у Бетховена, что он хотел выразить в этой сонате. Знаешь, что он ответил?»

«Не знаю».

«Он ответил, что в первой части говорится о споре сердца с рассудком, а вторая часть — это беседа с возлюбленной».

«Знаешь что, — сказала я, — по-моему, это ни к чему».

«Что ни к чему?»

«Ни к чему всё время возвращаться».

Я не задавала ему никаких вопросов, не спросила даже, есть ли у него семья, словно мы с самого начала условились, что будем говорить только о том, что касалось нас обоих. Я уже упомянула, как я была поражена происшедшей с ним переменой. Но теперь как будто начала привыкать, прежние черты проступили сквозь годы и невзгоды. Да ведь и он, увидев меня, наверное, не обрадовался.

«Я ещё хотел тебя спросить».

Я взмолилась: «Ради Бога, не надо!»

«Хотел спросить... у тебя были тогда неприятности?»

По своей тупости я не поняла, о чём он. Какие неприятности?

«Нас всё-таки часто видели вместе».

А, сказала я, нет, ничего особенного не было.

«Тебя вызывали?»

«Всех вызывали».

«И что же?»

«Ничего. Расспрашивали о тебе».

«Что же ты ответила?»

«Я не помню».

Наступила пауза, потом он спросил, знала ли я, что он вернулся. Знала; кто-то рассказывал. Не хотелось говорить ему, что я редко о нём вспоминала. И вообще считалось, что оттуда не возвращаются.

Я взглянула на часы.

«У тебя дела?»

Вместо ответа я спросила: «Ты завтра уезжаешь?»

«Улетаю». Он жил где-то далеко, может быть, в тех же местах, где освободился.

«М-да. Ну что ж».

Он встал и подошёл ко мне. Я стояла лицом к окну. Вот так и бывает — люди встречаются, потом снова расстаются, на этот раз навсегда. Он медлил, переминался с ноги на ногу; может быть, ждал, что я скажу: побудь ещё немного. Мне хотелось, чтобы он ушёл.

«Что я хотел сказать... — проговорил он. — Послушай, Аня», — и положил руку мне на плечо. Я отстранилась.

«Хочешь, — сказала я, — посмотрим альбом?»

«Альбом?»

«Да. У меня сохранились фотографии».

«И мои?»

«Твой нет. К сожалению. Сам понимаешь... Ладно, — сказала я, видя, что моё предложение не вызывает у него интереса, — пошли, выпьем на посошок».

«Слушай, — сказал он быстро, — только не удивляйся. И не говори сразу нет. Это, конечно, смешная идея, нелепая идея, но мы больше не увидимся. А может, и не такая нелепая... Мы не увидимся. Я хочу сказать, что... Ну, в общем, жизнь прошла!»

Я рассмеялась: «Это ты и хотел мне сообщить?»

Не отвечая, он отодвинул меня от окна и одним движением задрнул шторы.

«Что ты делаешь, зачем?»

«Свет. Слишком яркий свет, — сказал он. — Аня, мы можем возместить».

Я ничего не понимала.

«Мы можем возместить, — повторил он тупо. — Не говори нет. Пожалуйста».

«Что возместить?»

«То, чего мы не сделали. То, что мы потеряли».

Я спокойно возразила: «Я ничего не потеряла».

«Нет, мы потеряли. Аня, это моя просьба. Не возражай».

Тут, наконец, я упала с облаков. И, конечно, сказала самое банальное, что говорится в этих случаях:

«Ты с ума сошёл!»

«Нет. Не сошёл», — сказал он, не спуская с меня глаз, а вернее сказать, глядя сквозь меня. И добавил:

«Я ради этого приехал».

«Ага; вот как. Ты для этого приехал, — сказала я со злостью. — Спихватился. Через двадцать пять лет».

«Аня».

«Что Аня? Вот ты всё допытывался — была ли я с кем-нибудь и всё такое... А я, может, назло тебе... — Должна сказать, только теперь эта мысль пришла мне в голову. Но казалась мне очень убедительной. — Знаешь, как я была на тебя зла?»

«За что?»

«За что... Неужели непонятно? За то, что ты был мямлей, вот за что!»

Он подошёл к нише. «Э! э! — сказала я. — Ты что делаешь?»

Откинул занавеску.

«Между прочим, мой сын должен сегодня придти», — заметила я.

«Не придёт», — сказал он.

Я вздохнула. Это было чудовищно — то, что он хотел со мной сделать. Я сказала: «Образумься. Возьми себя в руки. В нашем возрасте!.. Лучше попросимся, и... будет хорошая память, как мы встретились...»

Он ничего не ответил.

«Мы ведь всегда были друзьями, а?»

Молчание.

«Ну, и, наконец — я просто не хочу!»

«Угу», — отозвался он.

Он был целиком поглощён своим занятием. Хмурый и озабоченный, снял покрывало, сложил аккуратно и, не зная, куда деть, повесил на спинку кровати. Из-под подушки вынул мою ночную сорочку, тоже повесил. Отвернул одеяло. Я следила, обалдев, за его движениями.

«Послушай. — Я предприняла последнюю попытку: — Неужели мы не можем без этого обойтись?»

Он покачал головой.

«Мы, в нашем возрасте?..»

Всегда лезут в голову нелепые мысли: я подумала, что на мне неподходящее бельё. «Выйди, — сказала я. — Ну, пожалуйста».

Когда он снова вошёл, — видимо, думал, что я приготовилась, — я стояла, не зная, что делать. Я уж не говорю о том, что тут было нарушение всех правил, тех правил, которые вбиты нам в голову чуть ли не с детства: что всё должно происходить без твоего участия, как бы против твоей воли. Интересно, как ведут себя молодые девицы сегодня? У меня был взрослый сын, но он мне ничего не рассказывал.

«Он должен скоро прийти», — сказала я.

«Он не придёт».

«Откуда ты знаешь? А если придёт?»

«Мы не откроем».

«У него есть ключ».

«Ты оставишь свой ключ в двери, он не сможет открыть».

«Но он подумает, что со мной что-то случилось!»

Это уже напоминало какую-то торговлю. Он держал свои руки у меня на плечах, мы смотрели в глаза друг другу, смешно сказать — я почувствовала себя какой-то несчастной, у меня даже навернулись слёзы. Мы смотрели друг на друга, но думала я не о нём, а о себе. Я невысокого роста, с юности была расположена к полноте. После родов похудела. Не могу сказать, что я вела сытую и довольную жизнь, вот уж нет. Нахлебалась достаточно. Может быть, и есть на свете сча-

стливые женщины, только не у нас. Как и большинство, после сорока я стала полнеть. Толстой я не могу себя назвать. Определённую роль сыграло то, что на мне была белая блузка, это опасный цвет. С одной стороны, он молодит, придаёт женщине свежесть. У меня всегда была нежная, молочно-белая кожа. Белый цвет идёт ко мне, моя кожа начинает светиться. Зато тёмные цвета придают ей болезненный вид. Моя мама всегда говорила мне: не носи тёмное, в тёмном ты выглядишь хворой. А с другой стороны, в белом расплываешься. Начинает выступать живот. Конечно, от талии мало что осталось. У меня довольно полные груди, но не оттого, что я пополнела. У меня всегда были полные груди. Говорят, это сочетается с глупостью. Становишься похожей на корову.

Счастье ещё, что в комнате было сумрачно, меня обуюл страх. Я боялась, что он увидит меня и я покажусь ему безобразной, я хотела, чтобы ничего не вышло, и боялась, что ничего не выйдет: как мы тогда посмотрим в глаза друг другу? В панике я пятилась и неожиданно села на кровать. А как же ключ, подумала я. Мы сидели рядом. Я прикрыла себя смятой блузкой, сунула лифчик под подушку. Он наклонился и стал у себя развязывать шнурки ботинок. Шнурок не развязывался. Не выйдет, ничего не выйдет, подумала я. Сейчас я вскочу и выбегу на лестницу; самый подходящий момент. Мне стало холодно. Он встал и задёрнул занавеску искалеченной рукой, и мы оказались внутри, словно в купе вагона. Я подняла на него глаза, он был в трусах и носках и очень худ. И я не могу передать, как мне вдруг стало ужасно его жалко. Я послушно сняла всё, что на мне ещё оставалось. Я спряталась от него под одеяло, подальше, к самой стене, взглянула украдкой — на нём уже ничего не было, и, глядя на него, я испытывала не возбуждение, а сострадание.

Это было странное чувство горечи, жалости, сострадания даже не к нему, товарищу юности, срубленной нашим злодейским временем, это была жалость к бедному человеческому телу, и, обнимая его, я гладила это тело, гладила костлявые плечи, лопатки, косточки позвонков и ложбинку на пояснице. Я знала, что ничего у нас с ним не получится, когда-то он был для меня чересчур молод, теперь я была стара для него, но меня это уже несколько не волновало. Я отвечала его поцелуям, гладила и утешала его, утешала, потому что для мужчин это вопрос самолюбия, глупой чести. Я грела его своей грудью и животом, мне хотелось сказать ему: всё хорошо, полежим спокойно. Но почувствовала его настойчивость, почувствовала боль и давно не испытанное ожидание близкого счастья.

Несколько времени погода задрезжал звонок, это пришёл, как я и предполагала, мой взрослый сын. Я быстро оглядела комнату, взглянула на себя в зеркало и вышла в прихожую. «Кто там?» — спросила я и открыла дверь, на площадке никого не было. Ни шагов на лестнице, ни звуков лифта. На случай, если дверь захлопнется, я захватила ключи, сошла вниз на несколько ступенек, вглядывалась в пролёт. Ни звука во всём доме. Я вернулась в прихожую и слушала эту мёртвую тишину, в которой мне всё ещё чудились шаги гостя.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| <i>М.Харитонов «Нам нужно восстанавливать память»</i> | 5   |
| Посвящение  | 20  |
| <i>Я Воскресение и Жизнь. Роман</i>                   | 21  |
| <i>К северу от будущего. Русско-немецкий роман</i>    | 97  |
| <i>Антивремя. Московский роман</i>                    | 255 |
| <i>День рождения инфанты. Повесть</i>                 | 407 |
| Соната опус 90  | 433 |

## Борис Хазанов

К северу от будущего

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*  
Дизайн обложки *И. Н. Граве*  
Оригинал-макет подготовлен *Б. Н. Марковским*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.  
Издательство «Алетейя»,  
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.  
Тел./факс: (812) 560-89-47  
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),  
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)  
**www.aletheia.spb.ru**

**Фирменные магазины «Историческая книга»:**  
*Москва*, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95  
*Санкт-Петербурге*, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.  
Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетейя» в Москве  
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru  
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83  
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.  
Тел. (495) 915-27-97  
Магазин «Гилея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28  
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездииковский пер., 12/27.  
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21  
Магазин издательства «Совпадение».  
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 26.03.2010. Формат 60x88 1/16.  
Усл. печ. л. 27,875. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.  
Заказ № 62.

## **КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЛЕТЕЙЯ»**

### **МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАХ**

#### **МОСКВА**

- Библио-Глобус  
Дом книги «Москва»  
Магазин «Православное слово»  
ООО «Паолине»  
Магазин РГГУ «Гуманитарная книга»  
Магазин издательства «Гнозис»  
Магазин «Русское зарубежье»  
Магазин Издательства УРСС  
Магазин «Гилея»  
Магазин «Фаланстер»  
Галерея книг «Нина»  
Магазин издательства «Совпадение»  
«Новое книжное агентство»  
«Книжная лавка обществоведа»
- ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5. Тел. (495) 781-19-00  
ул. Тверская, д. 8, стр. 1. Тел. (495) 629-64-83  
Тел. (495) 951-51-84, 951-34-97  
ул. Б. Никитская, д. 26/2. Тел. (495) 291-50-05  
Миусская пл., д. 6. Тел. (495) 973-43-01  
Тел. (495) 247-17-57  
ул. Нижняя Радищевская, д. 2  
пр. 60-летия Октября, д. 9  
Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28  
Малый Гнезниковский пер., д. 12/27. Тел. (495) 749-57-21  
ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-21-03  
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84  
ул. Покровка, д. 27, стр. 1. Тел. (495) 916-28-14  
Нахимовский проспект, д. 56/26. Тел. (495) 120-30-81

#### **САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

- Магазин «Историческая книга»  
«Книжный салон»  
Филологического факультета СПбГУ  
Магазин «Классное чтение»  
Книжный салон РНБ «Дом Крылова»  
«Дом книги»  
Магазин «Слово»  
Магазин «Русская симфония»  
Магазин «Перемещенные ценности»
- ул. Чайковского, д. 55. Тел. (812) 327-26-37  
Университетская наб., д. 11. Тел. (812) 328-95-11  
6-я линия В. О., д. 15. Тел. (812) 328-61-13  
ул. Садовая, д. 18. Тел. (812) 310-44-87  
Невский пр., д. 28. Тел. (812) 314-58-88  
ул. М. Конюшенная, д. 9. Тел. (812) 571-20-75  
1-я линия В. О., д. 42. Тел. (812) 328-63-42  
ул. Колокольная, д. 1

#### **ЕКАТЕРИНБУРГ.** «Дом книги»

ул. Антона Валека, д. 12

#### **НИЖНИЙ НОВГОРОД.** «Дом книги»

ул. Советская, д. 14а

#### **СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ТОП-КНИГА»**

<http://www.top-kniga.ru>. Тел. (383) 336-10-26, 336-10-36

#### **ТАЛЛИНН.** Магазин Kniga.ee

15189 Tallinn, Tõnismägi 2, Eesti Rahvusraamatukogu  
В вестибюле Национальной библиотеки Эстонии.  
Тел. (372) 630 7472  
Тел. (812) 560-89-47  
E-mail: [office@aletheia.spb.ru](mailto:office@aletheia.spb.ru)

#### **Заказ книга-почтой**

#### **Экспорт из России**

DataInternational Group

10122 Таллин Эстония. Тел. 646-03-81  
E-mail: [info@kniga.ee](mailto:info@kniga.ee)

ЗАО «Информ-система»

г. Москва, Севастопольский пр., д. 11а.  
Тел. 127-91-47, e-mail: [info@informsystema.ru](mailto:info@informsystema.ru)

Юпитер-Импэкс

г. Москва, Налесный пер., д. 4.  
Тел. 775-00-54, e-mail: [export@jupiters.ru](mailto:export@jupiters.ru)



**Борис Хазанов** (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, Русская премия (Москва). Живёт в Мюнхене.

В новом томе Собрания сочинений Бориса Хазанова представлены написанные в разные годы романы «Я Воскресение и Жизнь», «К северу от будущего» и «Антивремя», повести «День рождения инфанты» и «Соната опус 90». Общая тема, объединившая эти различные по времени и месту действия произведения, — память как залог бессмертия, как мост, соединивший историю и современность, как неиссякающий ресурс творчества. Книгу открывает специально написанное в качестве предисловия эссе Марка Харитоновна.

### **К северу от будущего.** Романы и повести

**Третье время.** Романы и повести

**После нас потоп.** Романы и повести

**Пусть ночь придёт.** Повести и рассказы

**Опровержение Чёрного павлина.** Повести и рассказы

**Литературный музей.** Статьи и эссе